



*Дорога Котляковская*

**В О С А Д Е**

---

## Annotation

Роман «В осаде» русской советской писательницы Веры Кетлинской рассказывает о подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны (Государственная премия СССР, 1948).

---

- [Вера Кетлинская](#)
  - [Глава первая](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
  - [Глава вторая](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
  - [Глава третья](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)

- [12](#)
- [13](#)
- [Глава четвертая](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
- [Глава пятая](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
- [Глава шестая](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)

- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [Глава седьмая](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!



**Вера Кетлинская**  
**В осаде**

**Глава первая**  
**Конец августа**



Смеркалось. Река тускло сияла, всей своей гладью вбирая последний угасающий свет погожего дня. Из леса сильнее потянуло запахами сосновых стволов, нагретых солнцем, и увядающей травы — мирными запахами начинающейся осени. Но вдали, над потемневшим горизонтом, вспыхивали кровавые зарницы, сопровождаемые глухими раскатами, и в чистом, живительно свежем воздухе с режущим свистом проносились снаряды, разрываясь где-то за лесом, за скошенными лугами.

Сорок мужчин и женщин ожесточённо и молча работали, углубляя траншею. Скрежетала под лопатами каменистая земля, гулко ухали кирки, ударяясь о камни, над насыпью размеренно взлетали и рассыпались комья влажной земли. Мелкие камни срывались, подпрыгивая, скакали по обрывистому берегу и звонко шлёпались в воду. Слышалось тяжёлое, прерывистое дыхание утомлённых людей, ускорявших движения каждый раз, когда снаряд вспарывал над ними воздух.

— Поди-ка сюда, Маша! — позвал Сизов, распрямляя ноющую спину.

Он снял кепку и подставил дуновению речного ветерка посеревшее лицо и седые, взмокшие от пота волосы.

— Закурим? — предложил он, прислоняясь к стенке траншеи и вознёю с папиросами и спичками пытаюсь унять дрожь пальцев.

Мария рассеянно взяла папиросу, прикурила и несколько раз затянулась горьковатым дымом отсыревшего табака.

Над ними неожиданно басовито прогудел снаряд.

— А где-то здесь, совсем рядом, наша дача, — удивлённо сказала Мария.



Снаряд разорвался ближе, чем все прежние, земля под ногами содрогнулась, с насыпи посыпались камешки.

— Злятся! — презрительно крикнула Соня, на секунду вскинув побледневшее лицо, и размашисто ударила киркой неподдающийся камень.

«Злятся — на кого? На нас? Значит, стреляют именно в нас?» Марии уже пришлось в последние дни осваиваться с новыми, вдруг ворвавшимися в жизнь понятиями — «пристрелка», «берут в вилку», «обстрел квадрата»... Вот этот берег, эта влажная земля и работающие тут люди — квадрат, взятый на прицел... Ей стало страшно, захотелось вдавиться в стенку траншеи, не видеть, не слышать... Упрямо тряхнув головой, она отшвырнула папиросу и заставила себя выбраться наверх. Тяжело карабкаясь вслед за нею, Сизов усмехнулся и крикнул ей:

— Вот тебе и дача!

Мария поглядела назад, где уже сгустилась вечерняя мгла, где были, но почему-то молчали свои. Затем повернулась к югу, где находились ещё невидимые немцы, откуда неслись их свистящие снаряды, Зарницы, возникавшие там, отсвечивали теперь на полнеба.

Сияние реки погасло, над низким западным берегом уже клубился туман. Мария поёжилась от сырости и неясного страха — неведомые опасности почудились ей в наползающем тумане.

— Что ж, мы своё дело сделали, — сказал Сизов, оценивая взглядом укрепления, протянувшиеся вдоль берега. — Вроде неплохо сделали, — добавил он без радости, думая о чём-то своём.

Мария тоже оглядела построенные ими укрепления. Её подвижное лицо — одно из тех лиц, что привлекают не красотой, а неуловимой и милой неправильностью черт и живой сменой выражений, — осветилось удовлетворением, гордостью. Но потом оно померкло, как будто до него дотянулся ползущий от реки туман.

— Иван Иванович... куда ж это наш майор запропастился?

— М-д-да... — неопределённо протянул Сизов и покосился в сторону недалёкого, но не видимого за поворотом реки моста, откуда донёсся дробный треск пулемётной и винтовочной стрельбы. Не желая волновать свою помощницу, он деловито сказал:

— Сейчас кончим и разыщем, пусть принимает участок.

Пронзительный воющий звук возник над ними, будто падая с неба. Мария скатилась в траншею и больно ударилась коленом об острие брошенной лопаты. Все лежали, только Соня стояла, стиснув в руках кирку и подняв к небу вздёрнутый носик, да старая Григорьева, прижимаясь к стенке траншеи всем своим мощным телом, гневно поводила глазами. Звук

удара и разрыва слился с новым воющим звуком.

— Нервных просят выйти, — сказал Сизов. — Мины.

Всегда спокойная Лиза, сестра Сони, зажала уши пальцами и заплакала.

— Молчи! — злобно крикнула Соня.

— Пришлите аптечку, — передали с другого конца траншеи, — ранен Сашок.

Лиза перестала плакать, вскинула на плечо медицинскую сумку и поползла по траншее туда, где несколько тёмных фигур склонилось над общим любимцем, пятнадцатилетним Сашком.

— Чорт знает что! — проворчал Сизов. — Миномёты бьют на близкую дистанцию...

— Опять! — прошептала Мария.

Завывание мин было самым противным звуком войны, самым страшным из всех, какие ей пришлось слышать до сих пор.

— Как Сашок? — крикнула она, стараясь преодолеть страх, и встала.

— Пустяком отделался, царапина, — издали ответила Лиза. — Кончаю перевязку.

Сизов поплевал на ладони и взялся за лопату. Он не хотел приказывать, он просто начал работать сам, как делал всё время с тех пор, как война подошла вплотную. И Мария, втягивая голову в плечи, тоже принялась за работу. Григорьева громко вздохнула и со злобой рванула и выкинула из траншеи тяжёлый камень. Было слышно, как он стукнулся о бревно, грузно поскакал по склону и бултыхнулся в воду.

— Куда наши-то подевались, не пойму! — сердито сказала Григорьева, выковыривая киркой второй камень. — То над душой висели, торопили, а когда работу принимать — никого нету!

— Большой бой идёт, — вслух подумала Мария. — Понадобится рубеж — придут.

Миномётный и артиллерийский обстрел прекратился, но от наступившей тишины стало ещё страшнее.

— Идут! — крикнули с дальнего края участка.

Из полутьмы вывалились сгорбленные фигуры.

Было что-то пугающее в их неверной походке, в угрюмо опущенных головах, в том, как они жались друг к другу, словно боясь потеряться. Мария кинулась навстречу: это были свои. Некоторые вели под руку раненых, а один качался, как пьяный, — он нёс на спине товарища, и нёс, видимо, давно — движения его были неточны, и дышал он с хрипом.

— Кто идёт? — окликнул Марию один из бойцов.

— Это мы... окопники... — сказала Мария, разглядывая странную группу.

— Так что же вы здесь делаете? — вскричал боец. — На кой чорт торчите здесь? Вы ж одни остались, все ушли! Мы — последнее прикрытие!

— Как?

— А вот так! — Боец сплюнул и сказал тише: — Хорошо, что они не пронюхали, а то бы давно здесь были...

Мария напряжённо всматривалась в полумраке в его лицо — грязное, морщинистое, измученное, злое, и под этой маской страдания и грязи ей мерещилось что-то молодое, знакомое, близкое — и в этом молодом и близком было безысходное отчаяние. Она не поверила словам бойца, вернее — не поняла их толком, это было слишком дико и страшно, но она поверила его отчаянию, и оно ошеломило её.

— Но почему? Почему? — спросила она, силясь понять. — Почему отступать? Мы так построили... и река... Майор говорил — им ни за что не пройти...

— Не знаю... — мрачно сказал боец. — Только сил никаких нет... Пять суток... каждый день... каждый день... и как!.. Сколько может человек? У них авиации туча... головы не поднять... Улетят и листовки бросают: «Ушли на заправку, ждите через двадцать минут...» Я в них из винтовки, из винтовки, из винтовки... К чорту! — вдруг выкрикнул он высоким, мальчишеским голосом, и губы его затряслись так, будто он сейчас заплачет. — К чорту, уходите, ломайте всё!

— Митя? — прошептала Мария.

Теперь, когда он почти плакал, она разом узнала его, узнала в этом грязном, постаревшем, измученном, искажённом злобою лице знакомые черты Мити Кудрявцева, своего соседа по квартире. Боже мой, Митя?! В мгновенном проблеске памяти возникло его лицо, которое было ничем не похоже на сегодняшнее, настолько начисто стёрла с него война юношеское, доверчивое выражение. Мария провожала его на фронт. Да ведь это было всего полтора месяца назад!. Форма на нём была новенькая, аккуратная, за ремень винтовки были заткнуты цветы, он был свежо выбрит, и окружали его друзья, студенты, — ополченцы! Он не смел при всех поцеловать её руку, а только погладил и сказал: «Целую...»

— Вы, Марина? — пробормотал Митя, болезненно морщась, будто старался узнать и всё-таки не узнавал. — Ну, и... уходите! Уходите скорее, или вы не понимаете?..

— На кой дьявол вас здесь оставили? — сказал другой боец и

поправил винтовку, висевшую у него на плече дулом вниз. — Пошли, ребята! И вы за нами! Или вам жизнь не дорога?

— Я не знаю, — растерянно сказала Мария. — Мы не сдали участок...

— Да пусть он провалится к богу, ваш участок! — закричал Митя ненужно громким голосом.

Мария отшатнулась от него и побрела назад, в траншею.

— Надо уходить, товарищи, — сказала она — Наши отступили, надо уходить...

И стала собирать инструменты.

Всё было кончено, всё гибло. Столько дней жила она, вдохновляющей надеждой, что вот здесь, на построенном ею рубеже, будет остановлен бешеный напор врага. Столько дней они все работали сверх сил, чтобы построить в срок, построить прочно... Напрасно! Поздно... Снова и снова вставало в её памяти измученное лицо Мити с трясущимися, непослушными губами. И страшнее его слов было то, что для него сейчас, видимо, просто не существовало ни уважения, ни любви, ни целомудрия, ни надежды...

— Скорее, товарищи, скорее! — повторяла она. — Мы не доберёмся до своих, скорее!

— Спокойненько! — негромко, но отдельно сказал рядом Сизов. — Лопаты сосчитайте, бабоньки, все ли?

— Все, все, сама считала, — откликнулась Григорьева.

Митя и другие бойцы уже удалялись. Окопники Тронулись следом. И как только они, оторвавшись от напряжённого, целеустремлённого труда, вышли через тёмные перелески на пустые, дымящиеся луга, война окружила их всеми своими зловещими звуками и красками. Гремели и полыхали выстрелы, вдали дрожало зарево пожара, где-то громыхали гусеницами танки, гудели моторы...

Уже совсем стемнело, когда они вышли на шоссе. В темноте, прорезаемой вспышками, — было трудно разобрать, где и как идти. Всё шоссе было запружено машинами, людьми, орудиями, повозками. Гремели тягачи, гудели автомашины, стонали раненые, натужно кричали командиры, устанавливая порядок.

Просвистел снаряд; столб огня, земли и дыма взметнулся впереди, на миг озарив округу, и в мгновенье, как вспышка магния, свете Мария увидела нарядную белую дачу с башенкой. Она узнала эту дачу. Мимо неё они часто проезжали с Борисом в самые первые дни их любви, когда всё вокруг казалось прекрасным и как бы созданным для них, для счастья. И невероятным, диким показалось ей всё, что окружало её сейчас, и всё, что

ожидало её впереди, и трудно было поверить, что её Борис находится где-то здесь, в двадцати километрах, в своём райисполкоме, который теперь, наверное, уже не райисполком, а какой-нибудь штаб обороны или штаб формирования партизанских частей.

Она шагала по обочине, тупо глядя под ноги и стараясь ни о чём не думать, не вспоминать. Густая грязь облепила ботинки, стало тяжело передвигать ноги. Мария попробовала выйти на кромку шоссе, но поскользнулась и упала. Загудел над ухом грузовик; она вскочила и уже не нашла рядом никого из своих. Крыло второго грузовика чуть не сбило её с ног, она отскочила в сторожу и побрела одна по вязкой грязи, всхлипывая и качаясь.

Некоторое время она шла рядом с грузовиком, который чуть не сбил её, потом грузовик уполз вперёд, а за ним шли пехотинцы — они шли спотыкаясь, раненые вперемежку со здоровыми. Потом и пехота ушла вперёд, а рядом оказался тягач с орудием. Мария уже не пыталась нагнать своих, ей только хотелось не отставать от других, хотя бы вот от этого тягача, чтобы не оказаться позади всех.

Орудие еле продвигалось, стиснутое со всех сторон гущей людей и машин. Потом Мария отстала и от этого еле ползущего орудия и некоторое время стояла, в каком-то оцепенении наблюдая возню около двух сцепившихся повозок. Пошла, снова поскользнулась — и упала, и не нашла в себе сил, чтобы подняться и шагать дальше. Очень близко разорвался снаряд, раздалось отчаянное ржание раненого коня. Мария разом очнулась от оцепенения и даже не подумала, а мимолётно ощутила: «Ленинград... Андрюша» — и рывком поднялась на колени, силясь встать.

— Жива? — спросил над её ухом дружеский голос.

Сильные руки помогли ей подняться.

— Василий, тут женщина ослабла, возьми-ка её под руку, — сказал тот же голос.

Мария пошла, опираясь на руки незнакомых бойцов. С трудом передвигая отяжелевшие ноги, она думала о том, что теперь, наверное, дойдёт и что нельзя не дойти, и, может быть, ничто ещё не погибло. Минутами ей казалось, что это Борис почувал, как ей плохо, и пришёл ей помочь, и она верила, что есть ещё и прочность прежнего, привычного мира, и надежда, и возможность всё исправить, изменить, отстоять.

— А ты не плачь, — вдруг сказал Марии её незнакомый спутник. — На то и война. Враз не победишь.

Странно было слышать сейчас эти грубовато спокойные, простые слова, но в них была правдивость, в них Мария обрела нужное её простое

объяснение непонятого и сложного явления.

— Да, — сказала она. И виновато добавила. — Я очень устала. Мы с рассвета копали. Но мне уже легче. Я дойду.

«Дойду», — повторила она про себя и удивилась неожиданно возникшей уверенности, потому что ей неясно было, куда надо пойти, где всё это кончится, где ещё существует иной, прочный, привычный мир.

Андрюшка играл на полу в косом луче закатного солнца. Мягкий розовый свет озарял белобрысую головку и пухлые ручки, разбирающие пирамиду цветных колец. Этот розовый свет пронизывал края откиннутых занавесок и дымящийся на столе чай. Марии хотелось протереть глаза — не спит ли она? Или, быть может, она спала вчера и в ночном кошмаре ей привиделось то, чего не могло быть на самом деле, то, чего не должно быть?

Она вышла в кухню и увидела свои ещё не вычищенные, облепленные грязью ботинки.

Мать, как всегда подтянутая, с завитыми и тщательно уложенными волосами, счищала присохшие комья грязи с её пальто. На руках у неё были старые перчатки — Анна Константиновна берегла свои пальцы пианистки.

— Как хорошо дома, — сказала Мария, целуя мать.

Она вернулась к сынишке, присела рядом с ним на ковёр и помогла ему расцепить кольца. Андрюшка разметал их по ковру, но тотчас притянул к себе и стал соединять с той же напряженной деловитостью, с какой за минуту до того старался их разъединить.

— Пей чай, Муся. Остынет, — сказала, входя, Анна Константиновна.

— Пусть стынет... Мама!

— Что, детка?

— Мама... от Бориса ничего не было?

— Ах, я сама так тревожусь... Сегодня в булочной говорили, что немцы сбросили парашютистов в Гатчине...

— Мамочка, не слушай ты, бога ради, что говорят в булочной!

— Да я и не верю, но ведь уши не заткнёшь... А ты мне никогда ничего не рассказываешь.

— Что же мне рассказывать?

— А ты знаешь, у тебя пальто пробито пулей или осколком, уж не знаю чем, только...

— Наверное, папиросой прожгла. И от Оли ничего не было?

— Уж Олю-то Борис наверняка эвакуировал. А за Бориса ты не бойся, он такой разумный и осторожный человек.

— Осторожный?

Странно, что мама, так хорошо умеющая разбираться в людях, совсем

не понимает Бориса! Или она просто втайне недолюбливает его? Любого безрассудства, необдуманной смелости можно ждать от Бориса скорее, чем осторожности и рассудительности... Но даже если в нём есть осторожность и рассудительность, они сейчас будут использованы им в таком страшном, таком опасном деле...

Резкий звонок заставил вздрогнуть обеих женщин. С одной мыслью побежали они открывать дверь.

Нет, не Борис!

Незнакомый лейтенант танковых войск держал конверт в запыленных руках, покрытых разводами грязи.

— Лейтенант Кривоzub, — весело представился он. — Марии Николаевне Смолиной письмецо от двоюродного брата. Жив, здоров, кланяется.

Письмо Алёши было коротко. Несколько бодрых слов, приветы: «Достаётся нам здорово, но духа не теряем. Отступаем с боями, лупим их сколько можем. Не беспокойтесь, к вам не пропустим». И всё.

Мария дала лейтенанту помыться и напоила его чаем. Лейтенант пожаловался, что не знает города, а ему надавали кучу писем и все надо разнести сегодня до темноты, чтобы к ночи поспеть на завод за новым танком. Вид у него был смертельно усталый, и, как только он на минуту замолкал, глаза его начинали слипаться. Но Марию приятно поразило его отличное настроение. И снова ей показалось, что вчерашняя ночь, встреча с Митей были дурным сном.

Лейтенант похвалил Андрюшу: «Ух ты, крепыш!» — и любезно сказал Марии, что Алёша — хитрец! — скрывал, какая у него красивая двоюродная сестра.

— Да ему и вспоминать нас, наверное, некогда, — заметила Мария, с удовольствием возвращаясь к забытому в последние дни ощущению своей привлекательности.

— Вот так раз! — воскликнул Кривоzub. — Чем труднее воевать, тем важнее помнить, кого защищаешь!

Мария разобрала кучу писем, которые надо было разнести; наметила самый короткий маршрут и пошла проводить лейтенанта. Ей хотелось расспросить его наедине.

— Ну, как у вас?

— Горячо! — ответил Кривоzub. — Вот уж месяц из боёв не вылазим. День и ночь. А толку мало. Сколько уж продрапали, и опять драпают. Одними танками не отобьёшься, а пехота...

Мария снова вспомнила Митю, его серое искажённое лицо и затем



ночь на шоссе.

— Но почему? Почему?

— Так ведь голов не поднять, — сказал лейтенант. — Авиация.

— А у нас?

— На нашем участке мы наших самолётов почти не видали... А ихние так и стригут, так и стригут, всё с бреющего полёта. Страшно, кто не привык. А кто у нас привык? Молодёжь, войны не видали.

Кривоzub говорил спокойно, рассудительно, и не чувствовала в нём Мария того беспокойства, которое томило её непрерывно, как тупая боль.

— Сколько ж ещё отступить! Так до Ленинграда докатитесь, — мрачно сказала она.

— Очень просто, — ответил Кривоzub. — И так уже недалеко осталось — куда ближе!

Мария с гневом покосилась на него, и резкое слово уже готово было слететь с её губ, но он вдруг сказал:

— Только ведь, знаете, каков русский человек? Терпелив, да упрям, его не переспоришь. А советский человек и того упрямее. И ведь разбередило его до сердца, а раз до сердца дошло — силушку подсоберёт, плечами поведёт да развернётся, да — размахнётся, да ка-ак ахнет! Так оно и будет.

И она поняла, что его спокойствие — не от безразличия, а от того, что он сам всё время воюет и успел познать не только горечь отступления, но и силу сопротивления, и что он верит, твёрдо верит в эту растущую силу.

Домой Мария возвращалась одна по аллее вдоль Марсова поля. Аллея была пустынна и душиста. От первых опавших листьев, от мокрых стволов, от пропитанной дождевой влагой земли исходил пряный аромат. На воде канала распростёрся один бледнолиловый лист, слегка покачиваясь на медленной струе. Марии было отрадно здесь после суровых улиц, где горожане закрывали витрины ящиками с песком, где тащились неизвестно куда вереницы телег и тачек с беженцами из пригородов, — из наскоро собранных узлов домашнего скарба выпячивались самовары и граммофоны, позади на привязи устало брели коровы, свободно скакали тонконогие жеребята... Было отрадно внимать тишине, нарушаемой лишь шуршанием облетающих листьев, после суровых улиц, где стучали, стучали, стучали молотки, где проходили, шаркая подошвами, войска и отряды строителей с лопатами на плечах, где проносились автомобили, вымазанные коричнево-зелёными полосами и укрытые ветками, где грохотали орудия и танки — не так, как бывало раньше перед парадами, а озабоченно, тревожно...

Здесь, на широкой площади, война ничем о себе не напоминала, и

ветерок с Невы был, как прежде, беззаботен и чист. Наступил час, всегда загадочно прекрасный, когда день уже кончился, но ещё не сгустилась ночь — в серовато-лиловое небо выползала ущербная неяркая луна, край неба над Петропавловской крепостью ещё алел. В неопределённом вечернем освещении и строгое здание Ленэнерго, и низкая гранитная ограда братских могил, и купы деревьев, и тёмная поблескивающая вода канала вдоль аллеи, и сама аллея, прямая и нежная, — всё это было так необыкновенно хорошо и так любимо, что сердце Марии сжалось от боли — да нет же! нельзя! невозможно, немыслимо отдать это даже на день, даже на час!

— Ведь они, говорят, уже в Стрельне, — донёсся до Марии возбуждённый женский голос.

Две женщины шли по проезду в одну сторону с Марией, отделённые от неё зелёной изгородью. Они шли быстро, поравнялись с Марией и стали удаляться, постукивая каблучками.

— Господи, — сказала вторая женщина, — туда ведь трамвай ходит. Двадцать девятый.

Мария поняла, что «они» — это немцы.

Аллея кончилась. Мария растерянно остановилась и оглянулась. Площадь вся лежала перед глазами, зелёная, просторная, прекрасная, как всегда. Всё так же свободно и легко венчал её плавный подъём моста с двумя рядами фонарей — их матовые гроздья, как гроздья винограда, были подёрнуты багрянцем заката. Справа чернела листва Летнего сада. Отсюда Мария не могла увидеть, но мысленно увидела — вдоль набережной сад окаймлён решёткой изумительно совершенного рисунка... Сколько раз в студенческие годы и потом, в поисках точного архитектурного решения, Мария бродила вдоль этой решётки, по этой площади, по этому городу, стараясь угадать секрет чудесного единства и соразмерности, превративших её любимейший город в цельное произведение искусства!

Всё было, как прежде, в её городе. Почти как прежде. Но на расстоянии нескольких остановок пригородного трамвая — немцы! Они хотят ворваться на эту площадь и залить вот эти братские могилы борцов за свободу кровью сотен, тысяч ленинградцев. Они расположатся на отдых в этих дворцах, сорвут и переплавят на новые пушки вот эту решётку, и памятник Суворову, и памятник Ленину на броневике... Они ворвутся в Петропавловскую крепость, в её темные, сырые казематы, где умирали, не сдаваясь, первые воины революции, и бросят в эти казематы тех, кто не сдался, кто не способен сдаться... Новая тюрьма! Здесь и повсюду — одну огромную тюрьму они хотят создать для всех нас, чтоб лишить нас всего,

что у нас есть, чтоб у Андрюши не было ни детства, ни будущего, чтобы я была уже не я, а затравленное, лишённое чести существо, чтобы мы все перестали быть людьми... Ленинград им нужен? Да, город Ленина, самую идею они хотят поработить, уничтожить, растоптать...

— Лучше умереть, — сказала она вслух. И это решение не испугало, а успокоило её.

Когда она подошла к своему дому, тёмная фигура дворника с противоголозом через плечо выдвинулась ей навстречу из подворотни:

— Товарищ Смолина! Такое распоряжение — сегодня в ночь собрать по дому все бутылки, какие есть. Утром сдадите в контору.

— Бутылки?..

— Ну, да. В танки их кидать, что ли.

К ночи приехал Борис.

Мария стирала на кухне детское бельё, когда раздался знакомый настойчивый звонок. Она выронила бельё и побежала в переднюю, не вытерев мокрых, в мыльной пене, рук. Анна Константиновна уже открыла дверь, и Мария увидела тяжёлый чемодан и вещевой мешок, просунувшиеся впереди Бориса. А за ними ввалился, хрипло дыша, и сам Борис в тёплом кожаном, не по сезону, пальто. Это был несомненно он — его широкоплечая высокая фигура, его сильные большие руки, его вьющиеся светлые волосы над крупным лбом, его прямой, немного короткий нос... и в то же время это был совсем не он, не его взгляд, не его губы, не его голос. Бросив на пол чемодан и мешок, он огляделся, запёкшиеся губы его дрогнули и произнесли странные слова:

— Слава богу, вы ещё здесь...

Он сел на ближайший стул, не раздеваясь, не улыбнувшись Марии, не протянув к ней рук, как всегда бывало, когда он приезжал в Ленинград. Он даже как будто не заметил её. Он положил на колени покрасневшие руки и стал отдуваться, шумно и глубоко, оттопыривая губы.

Онемев, Мария стояла в дверях и машинально обтирала передником мокрые пальцы. Анна Константиновна, строго потупив глаза, закрыла дверь на цепочку и отставила к стене чемодан. Борис поймал её косой наблюдающий взгляд из-под опущенных век, как бы впервые увидел её, а затем Марию, и странное, непохожее на прежнее, лицо его мгновенно изменилось — подтянулись губы, просветлели глаза, оживились мускулы, и вот уже прежний раскатистый добродушный голос как бы собрал и восстановил все черты знакомого Марии и любимого ею облика.

— Фу, как я мчался к вам и как боялся, что вы сорвётесь с места, — сказал этот голос, и прежняя сияющая улыбка завершила полное преобразование лица. — Муся, да где ж ты там, девочка? Или не рада?

Она рванулась к нему, спрятала голову в его больших, со вздувшимися жилами, руках и, не то плача, не то смеясь, повторяла:

— Боря... Боря... Боря...

— Ну вот, — сказал он снисходительно и обрадованно, целуя её. — Так и знал, что ты будешь тревожиться... Разве я похож на человека, который так себе, за-зря, погибнет?

— Но ведь можно и не зря...

— А тогда не жалко... а?

— Молчи.

Большой, шумный, слишком размашистый для тесной квартиры, он тщательно чистился, мылся, переодевался, на ходу выхватывая у Анны Константиновны то хлеб из корзинки, то жареную картофелину прямо со сковороды. Мария ходила за ним следом, касаясь его плеча, его мокрых волос, его руки, неотрывно смотрела на него и радовалась ему и не хотела, не позволяла себе вспоминать его таким, каким увидела несколько минут назад.

Он не спросил об Андрюше и, войдя в комнату, только мельком заглянул в кроватку сына. Мария не обижалась. Он не понимал, он никогда не понимал и не умел ценить сынишку... Но она любила Бориса, и тут ничего нельзя было поделать. Если бы они жили вместе, семьёй, её, быть может, оскорбило бы его отцовское невнимание. Но Борис работал в районе и приезжал редко, на два-три дня; эти дни были так насыщены страстью и радостью узнавания друг друга, что Мария сама отвлекалась от сына. А когда Мария выезжала в район как архитектор-строитель и встречалась с Борисом не только у него дома, но и на совещаниях в райсовете, и на строительных площадках, — тогда она с новой силой влюблялась в него, потому что он был связан с самыми дорогими её мечтами, с их быстрым и удачным осуществлением. И она, не ропща и ничего не требуя, жила от одной встречи до другой, считая дни и заранее радуясь, что увидит его. Сейчас, как и всегда, ей ничего не нужно было от него, лишь бы он был тут, рядом, большой, энергичный, уверенный в себе, ласковый, шумный.

— А где Оля? — спросила Анна Константиновна, подавая ужин.

— Крутится в своём комсомоле, — беспечно ответил Борис и, запрокинув голову, залпом выпил стаканчик водки.

Марии хотелось как можно скорее остаться вдвоём с Борисом и получить от него, как всегда, умное и подробное объяснение всему, что происходит. Но Анна Константиновна сама хотела объяснений и стала расспрашивать. Борис отвечал немногословно, снисходительно, но так, что всё становилось ясно.

Положив подбородок на сцеплённые руки, Мария смотрела на любимое лицо и слушала любимый голос. Всё, что говорил Борис, было сурово, но успокоительно. Анна Константиновна облегченно вздыхала, и Мария впервые поняла, какую глубокую тревогу скрывала она под обычной спокойной сдержанностью. Это была общая черта матери и дочери — умение сдерживать свои чувства, хоронить в себе и тревогу, и боль, не докучать своими переживаниями. А у Бориса Трубникова всё

рвалось наружу с жизнерадостной непосредственностью, и Мария особенно любила в нём это свойство. Бывало, он и старается сдержаться или скрыть свои чувства, а глаза выдают, подрагивание подвижных бровей, движения губ выдают. Или на совещании, когда обсуждался проект или ход строительства, — он молчит, откинувшись в председательском кресле, смотрит в сторону, а Мария только взглянет на него — и безошибочно угадывает, кого он поддержит, кому несдобровать, какое решение он примет... И в те редкие минуты, когда им случалось поссориться, — они оба были упрямы, — что бы он ни говорил, Мария всегда умела уловить, что именно для него главное, чего он хочет, как поступит...

Слушая его сейчас, Мария искала по неуловимым приметам то самое главное, что волнует его сегодня и что определит его поступки, и старалась разгадать, для чего и надолго ли он приехал, что он собирается делать в эти трудные дни и какая новая разлука, какая новая тревога надвигается на неё. Ведь не даром же он при маме ни словом не обмолвился о своих делах!..

Но, странно, сегодня ей не удавалось разгадать его. Она не узнавала его души ни в его логично построенных речах, ни в том, как он произносил то или иное слово, как он смотрел при этом, как хмурил брови или усмеялся. Голос был тот же — и не тот. Лицо то же — и не то. Как будто там, в передней, час назад, усилием воли собрав воедино все черты знакомого Марии облика, он приказал им служить ему, а душу запрятал. И теперь Марии нужно было продираться сквозь привычные представления о нём, мимо его гладких слов к той сути, которую она не понимала... и боялась понять.

— Сразу не победишь. На то и война, — ответил Борис на какой-то вопрос Анны Константиновны.

Мария встрепенулась. Где она слышала эти самые слова? На тёмном, обстреливаемом шоссе, от раненого измученного солдата... Там эти слова прозвучали большой правдой. Почему же в устах Бориса они звучат иначе? И почему Борис упорно обходит вопрос о цели своего приезда?..

— Не успокаивай нас, Боря, не надо, — резко сказала она. — Я была в твоём районе вчера. На шоссе. Я всё видела сама.

— Ты?.. Вчера?..

— Да, вчера.

И она стала рассказывать, что ей пришлось увидеть и пережить, совсем забыв, что она старательно скрывала правду от матери. Когда она заметила округлившиеся от ужаса глаза Анны Константиновны, было уже поздно смягчать краски.

— Не ожидал от Сизова, что он пошлёт тебя туда! — со злостью

сказал Борис и невесело улыбнулся Анне Константиновне. — Ничего, теперь уж что пугаться! Больше она никуда не поедет.

— Если будет нужно, поеду, — быстро и твёрдо сказала Мария.

— Поедешь в тыл с Андрюшей и с мамой, да!

Она вспыхнула от обиды, но Борис с покровительственной усмешкой отвёл её возражения:

— Я знаю, ты у нас храбрая и сознательная, тебе обязательно нужно на фронт. Ну, мы ещё поговорим об этом, правда? А сейчас пора спать. Я так устал...

Он громко зевнул, потягиваясь.

— Раз уж я всё равно проговорила при маме, я хочу рассказать о Мите...

И Мария рассказала про встречу у реки.

— И что ж ты сделала? — с гневом спросил Борис.

— А что я могла сделать?

Доброе лицо Бориса выразило презрение.

— Надо было пристрелить его, как собаку! Вот что сделал бы я на твоём месте.

— Митю?..

— Да, Митю!.. Он не Митя, а боец. И из-за таких бойцов немцы докатились до Ленинграда.

Мария молчала, подавленная. Да, у неё не хватило ни понимания, ни твёрдости. Она не сказала Мите ни одного слова осуждения. Она вела себя по-женски, по-бабьи... Ей следовало возмутиться, как возмутился Борис. Может быть, всё дело в том, что она растерялась сама?! Она готова была признать себя виновной. Но, вспомнив горсточку бойцов последнего прикрытия и неизвестного, хрипевшего от усталости бойца, что тащил на спине раненого товарища, и слова Мити о том, как он стрелял по самолётам «из винтовки, из винтовки, из винтовки» — и его хриплый вздох: «пять суток... каждый день... сколько может человек?..» — она усомнилась в том, что Митю нужно было пристрелить.

— А меня беспокоит то, что вы не привезли с собою Олю, — тихо сказала Анна Константиновна.

У Трубниковых давно не было матери, и Анна Константиновна, не очень жалуя Бориса, с материнской нежностью любила его двадцатилетнюю сестру.

Борис сдержался, но в глазах его сверкнул гнев.

— Мы не располагаем собою, — жёстко отрезал он. — Каждый выполняет свой долг.

И он встал из-за стола.

Мария радовалась, что, наконец, останется вдвоём с Борисом, и уже готовилась сесть рядом с ним на диван, положить голову на его плечо — так они любили сидеть, когда хотелось поговорить, — и спросить: «А теперь объясни мне...» Но как только дверь за Анной Константиновной закрылась, Борис сказал изменившимся, тревожным голосом:

— Слава богу, ушла!.. Дела очень плохи, Муся. Об этом не надо никому говорить, но наш район почти весь занят. То-есть утром так было, сейчас, возможно, и весь. Когда я уезжал, оставалась одна дорога. Поезда уже не ходили. У кирпичного завода шёл бой. Не сегодня-завтра немцы будут под самым Ленинградом. Они рвутся в обход. Со дня на день последняя железная дорога будет перерезана...

— Я знаю, — сказала Мария со спокойствием, которое удивило её самое. — Я знаю... Но сегодня был танкист от Алёши, он сказал очень верно: русский человек...

— Это всё лирика! — прервал Борис. — Сейчас не до болтовни. Мы едем завтра в ночь на грузовиках.

Завтра, и ни днём позже. Собирай Андрюшку, маму, бери самое необходимое и ценное...

Мария была так поражена, что не ответила. Борис почувствовал её молчаливое сопротивление, мягко привлёк к себе.

— Остаться здесь безумие, понимаешь? Я же не паникёр и не трус, я не растерялся, как твой Митя. Но я трезво оцениваю обстановку. Я сделал всё, что мог. Вывез оборудование литейного завода и мастерских... Остальное приказал закопать... Ты бы видела! Ни грузовиков, ни горючего... всё бралось с бою! Я летел на своём зисе, пока не лопнула крышка, потом висел на подножке последнего поезда. Поезд обстреляли из пулемёта. Бомбили... Я так боялся, что уже не застану вас...

— А где Гудимов? — еле слышно спросила Мария.

Борис не ответил, он продолжал, всё более распаляясь:

— Конечно, борьба не кончена, она ещё только начинается. Ты ещё увидишь! А сегодня надо работать, работать, работать! Если хочешь знать, именно тыл решит исход войны. Бешеными темпами разворачивать производство — вот что нужно! Каждый способный человек должен отдать этому все силы. Не важно, что ты хочешь, где ты хочешь быть...

— Постой, — звенящим голосом сказала Мария. — Это всё верно. Но я что-то не понимаю. Ты — один из руководителей района. Вы, что же, все уехали? И Гудимов?

Она вдруг представила себе Бориса таким, каким он ввалился в



квартиру час назад, и от этого ей стало трудно дышать.

— Гудимов — секретарь райкома, — вяло ответил Борис. — У него там свои задачи, у меня — свои. И в конце концов сейчас важнее развернуть наше производство на новом месте, чем геройствовать в немецком окружении и ждать, пока тебя раздавят.

— Наверное, это так и есть, — утомлённо сказала Мария. — Я хочу думать, что ты прав. Но почему у меня ощущение... и я не понимаю, почему Гудимов...

Борис подчёркнуто громко вздохнул. В голосе его звучало сдерживаемое бешенство:

— Ты всегда была идеалисткой! Но в условиях войны это нелепо. Нелепо и опасно! И твой Гудимов, если хочешь знать, вроде тебя. Партизанский вождь! Ты себе представляешь кучку агрономов, учителей и ветеринаров против полчищ танков, против артиллерии и «мессершмиттов»?!

— А где Оля?

Борис густо покраснел и крикнул:

— Вот и Ольга тоже! Брат её ищет по всему городу, а она в штанах, с карабином... Гудимов! Партизаны!.. Романтика!

— Ты... поссорился с Гудимовым, да?

— Я выполнял свою задачу, а он свою, вот и всё, — веско сказал Борис. — Я не понимаю, что ты мне стараешься пришить?.. Сейчас надо не философствовать, а собираться в путь.

— А Ленинград? — спросила она упрямо. — А Ленинград?

Он улыбнулся и притянул ее к себе.

— Девочка моя... Ты так неприспособлена для всего этого! И всё же надо трезво смотреть правде в глаза. Главное — не поддаваться панике...

— Это я поддаюсь панике?

— Ты не хочешь видеть правду. Пойми. На этом участке мы потерпели поражение. Мы расквитаемся за него позднее. За него и за всё. А сейчас надо работать и спасать то, что ещё можно спасти. И потом — зачем гибнуть тебе? И малышу? И маме? Зачем глупые жертвы? Что ты можешь сделать?

Мария резко отстранилась. Она уже не чувствовала дикой усталости, сковывавшей её волю.

— Как ты думаешь, что будет, если все ленинградцы возьмут и уедут, чтобы не жертвовать собою?

— Будет то же, что с Наполеоном в Москве. Немцы возьмут пустой город.

— Немцы?! Возьмут?!

— А ты что же... — помолчав, медленно заговорил Борис. — Ты уверена, что немцы не возьмут? Не могут взять?..

— Могут, — прошептала Мария. — Могут, если мы отдадим... Но мы не отдадим. Мы будем строить новые укрепления, баррикады, мы будем драться. Красная Армия и мы, мы все. До последнего человека! И Митя, которого ты бы пристрелил! И все, когда за ними будет Ленинград, когда схватит за сердце — все будут драться!..

Борис молчал. Она видела его большую фигуру с опущенными плечами, освещённую сзади настольной лампой. Она угадывала мрачное и смятённое выражение его лица. И она вдруг с острой жалостью и отчаянием оказала себе — да ведь это же Борис!.. Мой Борис... Я же люблю его...

Она припала к его плечу и заплакала.

Борис гладил её вздрагивающую спину и утешал, как маленькую:

— Я знаю, тебе тяжело. Но кому же теперь легко? Надо ехать, детка, надо ехать и постараться выиграть войну, и тогда всё вернётся, всё будет наше. А баррикады... Это же не пятый год, не Парижская Коммуна... Бронированная армия — как ты удержишь её баррикадами?

— Ну, и пусть я умру, это легче, чем оставить Ленинград немцам.

— Ты просто фанатичка! — снова начиная раздражаться, сказал он. — И странно, что ты забываешь о маленьком. У тебя сын!

— У меня ещё и муж! — взметнувшись, с неожиданной яростью крикнула Мария. — Муж, который должен защищать меня и моего сына! Своего сына!

— Тише!

— Почему тише? — с презрением бросила она. — Почему тебе кажется, что об этом надо говорить топотом? Потому, что ты не хочешь защищать?..

— Дура! Сумасшедшая! — прошипел он. — Можешь кричать сколько угодно. Разбуди мать, разбуди ребёнка, тебе же наплевать на их спокойствие! Ты же героиня романа! Жанна д'Арк!

Она смолкла. Никогда ещё он не был с нею груб.

И его грубость вдруг подчеркнула, что всё изменилось, что перед нею не тот Борис, которого она любила, а нежданно изменившийся, чужой, пугающий её человек.

— Маша, — спохватившись, позвал он виновато и ласково. — Не безумствуй! Не упрямясь. Не надо играть в героизм. Или ты обязательно хочешь, чтобы я был раздавлен гусеницами танка? Расстрелян во дворе

жакта? Громкие слова говорить и я умею, но неужели мне ещё притворяться перед тобой? В конце концов я просто не хочу быть лишней жертвой в той кровавой бане, которая будет здесь на-днях!

Она отошла в угол, села на детский диванчик, стиснула ладонями горячие виски. Что же это?.. С яркой отчётливостью встал в её памяти первый день войны, залитая солнцем дорожка сада и Борис в гимнастёрке и сапогах, улыбающийся, сильный, с могучими плечами, с громким, оживлённым голосом. Он подшучивал над нею и над Анной Константиновной: «Что испугались немцев? Ого! Они ещё нашей силы не пробовали!» — И сам казался Марии олицетворением этой силы... Как она верила ему тогда, как она любила его и как боялась потерять его в начавшейся жесточайшей войне! Куда же он исчез, тот обожаемый, могучий, весёлый человек?..

— Я ничего не понимаю, — сказала она негромко. — Минутами мне кажется, что ты... но я не понимаю, как это могло случиться, что ты..

Она не выговорила вслух, но про себя с беспощадной твёрдостью произнесла это короткое презрительное слово — трус.

Утро занималось вялое, пасмурное — или оно показалось таким Марии. Она не могла вспомнить, как заснула вчера. Был долгий до изнурения, мучительный разговор. Потом она плакала, и он поднял её на руки, снова любимый и более сильный, чем она, и говорил с нею, как с маленькой обессиленной девочкой, и жадно целовал её, а она всё слабела и подчинялась ему и своему желанию поверить в него, в любовь, в своё прежнее счастье.

А может быть, это был сон?.

Борис торопливо одевался — невесёлый, грузный. Он заметил, что она проснулась, и как-то жалобно, криво улыбнулся. Мария не чувствовала в себе ни воли, ни любви, ни презрения.

— Я ухожу, Муся. Забегу узнать, пришли ли грузовики. Потом в Смольный, оформить документы. А ты собирайся.

Так как она не отвечала, он подошёл и поцеловал её.

— Ты наговорила мне вчера много оскорбительного и несправедливого, — сказал он дрогнувшим голосом. — Но я не сержусь. Я забыл. Я люблю тебя и Андрейку... Если грузовики пробились, мы выедем сегодня в ночь.

Ей нечего было говорить, она сама не знала, что будет.

— Мама! — раздался торжествующий голос Андрюшки.

Розовый, в короткой старой распашонке, с глазами, сверкающими любопытством, он поднялся в кроватке, держась за перекладину.

— Папа! — вскрикнул он, узнав отца.

Борис подхватил сына, подкинул в воздух и вместе с ним подсел к Марии на край кровати. Он редко проявлял интерес к мальчику, и Мария всегда радовалась, видя их вместе. Но сейчас и эта радость не шевельнулась в ней.

— Я как мертвая, — сказала она, отворачиваясь.

— Ты устала. Наберись сил, детка, дорога будет нелёгкой. И вставай, буди маму, начинайте укладываться.

— Ладно, — уклончиво сказала она. — Ты иди, а то не успеешь побывать везде, где нужно.

— Ты сердись на меня?

— Нет.

Когда он ушёл, она впервые за утро спросила себя: что же делать? Ей

не хотелось ни ехать, ни оставаться. Закрывать бы глаза и не думать... Андрюша барахтался рядом с нею, пришлось встать, одеть, накормить его. Анна Константиновна спросила: «Тебе к девяти?» Мария ответила: «Да», машинально собралась и поехала в строительную контору. Там будет видно, что делать! Если уезжать, всё равно надо брать расчёт. А главное, надо поговорить, посоветоваться с Сизовым. За две недели работ на строительстве оборонительных укреплений Мария оценила и полюбила Сизова, того самого ворчливого, непокладистого Сизова, с которым часто ссорилась до войны и который ядовито и своенравно спорил с нею по поводу каждой детали её проекта сельской десятилетки.

В конторе Мария не застала никого, кроме кассирши. Все уехали на Московское шоссе и на улицу Стачек строить баррикады.

— А где найти Сизова?

— Иван Иванович где-то на участке возле Благодатного переулка.

Перескакивая с одного трамвая на другой, Мария мысленно подбирала слова, какими она объяснит Сизову всё, что на неё навалилось. «Я спорила и отказывалась, но раз он едет... у меня мама и сынишка...» «Понимаешь, Иван Иванович, если бы он ушёл в партизаны, я бы с ума сходила от тревоги, а теперь уезжать от всех тревог кажется ещё хуже...» «Ты мне скажи, как бы ты решил на моём месте, совсем честно скажи». «Ты не будешь презирать меня за то, что я уеду?»

Чем ближе она подъезжала к прифронтовой окраине, тем явственнее выступали вокруг приметы надвигающейся войны; Лежали кучи камней, металлического лома и труб, приготовленные для баррикад, кое-где угловые и нижние окна были заложены кирпичом, деловито сновали военные, к фронту неслись перегруженные грузовики, накрытые брезентом, на каждом шагу попадались женщины и подростки с лопатами, с ломом, с тачками — все они работали тут же, на улицах, или направлялись на работу ещё ближе к фронту. И всё невозможнее казалось Марии подойти к людям, строящим баррикады для самозащиты, и сказать им: «А я уезжаю...»

Иван Иванович стоял посреди улицы, у груды металлических ферм и калориферов парового отопления, его красный потрёпанный шарф развевался на ветру. Сизов что-то втолковывал четырём парнишкам, размахивая рукою в рваной, пожелтевшей от глины перчатке.

— А-а! Смолина! Иди-ка скорее сюда! — обрадованно закричал он, заметив Марию. — А я уж думал, тебя там убило позавчера! До чего же ты мне нужна, голубушка! Будешь бригадиром этой заслонки, поняла? Вот эти парнишки твои — четверо, и те бабочки — пятеро. Хорошая бригада!

Он стал объяснять ей, что и как надо делать. В середине объяснения вдруг внимательно поглядел на Марию и спросил:

— Дома всё в порядке?

— Всё в порядке. В общем, — смутившись, ответила Мария.

— Это и главное, чтобы в общем, а в частности можно доделать, так строители считают, — усмехнулся он и погладил Марию по плечу. — Ну, принимайся, золотко! Чего не договорил, соображай сама! — и побежал по улице к работницам, которые подкатывали к будущей баррикаде тяжёлые канализационные трубы.

С доверием людей, делающих общее незнакомое дело и желающих сделать его как можно лучше, к Марии уже обращались члены её бригады — так ли они начали? Не лучше ли будет положить фермы вот эдак, а в переплёты просунуть калориферы, а затем уже заложить камнем и засыпать землёй? Женщина с узкими плечиками примеривалась к будущей бойнице и предлагала делать пониже, а то выходит только мужчине по росту, но ведь будут и женщины?..

Мария согласилась с тем, что ферма, прошитая трубами парового отопления, будет прочным основанием «заслонки», поглядела, так ли заваливают пустоты камнями, и сама примерилась к бойнице — да, нужно пониже, чтобы и женщине и подростку было удобно стрелять. Затем ей пришло в голову, что камни надо засыпать землёй сразу же, ряд за рядом, так будет плотнее, особенно если трамбовать землю. Она никогда раньше не видела баррикад, и в институте никто не учил её технике их строительства, и окружающие её люди тоже никогда их не строили, но они старались изо всех сил.

Отгоняя свои неразрешённые сомнения, но всё время чувствуя их давящую тяжесть, Мария приглядывалась к товарищам, — так или иначе, каждый из них понимал, что нависла смертельная опасность, каждый из них решал этот вопрос — уехать или остаться — для себя, для своих близких... Или для них вопрос решился сам собою, без душевной борьбы? Может ли это быть?..

В бригаде были старые знакомцы Марии — Сашок, Григорьева, сёстры Кружковы. Мария знала, что у Григорьевой три сына и все на фронте под Ленинградом. Пожилая, медлительная и немногословная Григорьева работала по-хозяйски, обстоятельно и аккуратно, в её широких костистых руках таилась мужская сила, а всё её поведение выражало спокойствие и гневное презрение к врагам. «Они думают», «они воображают», — говорила она про немцев с холодной усмешкой. Мария понимала, что предложение уехать в тыл Григорьева сочла бы

оскорбительной нелепостью.

Сёстры Кружковы — Лиза и Соня — вели себя, как девушки, которым везде хорошо, были бы кругом друзья. Свои, кровные интересы связывали их с Ленинградом, и всё происходящее они принимали как неизбежное, страшное, но всё-таки интересное. Пожалуй, старшая из сестёр, Лиза, согласилась бы уехать, если бы кто-то настоял на этом и всё устроил бы так, что ей самой не пришлось бы затрачивать усилий. Но решать самой, волноваться, что-то менять в своей жизни было не в её характере. В неторопливых движениях, какими она привычно накручивала на пальцы белокурые пушистые волосы, в сдержанной улыбке и в немного сонных, красивых глазах сквозила уютная лень. Лиза служила на танковом заводе телефонисткой и в ночь должна была выходить на дежурство. Её сестра Соня была так непохожа на неё, что никто не признавал их сёстрами. Черноглазая и смуглая, как цыганочка, Соня принадлежала к тому типу девушек, которых нельзя представить себе вне комсомола, вне спортивных кружков и общественной деятельности. Напористая, насмешливая, быстрая, она успела к своим двадцати годам побывать и телефонисткой, и слесарем, и снималась в кино в мелких ролях — «украшала собою маленький кусочек экрана». Теперь она кончала шофёрские курсы, занималась в стрелковом кружке и собиралась то ли в моторизованные войска, то ли в танковые, но обязательно на фронт. Нарастающая опасность и ожидание больших событий вызывали у неё душевный подъём.

Вместе с девушками добровольно работала в бригаде их маленькая пожилая тётка, которую все почему-то звали Мирошей. Домашняя хозяйка, швея и рукодельница, Мироша, видимо растерялась, плохо понимала, что происходит, и от этого жадно тянулась к людям, которые больше понимают, знают, что делать, и с которыми проще переживать страшное время. В работе она была суетлива и бестолкова, но так охотно за, всё бралась, так внимательно, открыв рот, прислушивалась ко всем указаниям и так хотела суметь, что и у неё дело спорилось.

Больше всех заинтересовала Марию молодая женщина с узенькими плечами, в домашнем фланелевом платице, работавшая азартно и стремительно. Её звали Любой Вихровой, но девушки называли её Соловушкой, а Мироша, с уважением в голосе, величала Любовью Владимировной. По отрывочным разговорам в бригаде Мария поняла, что Люба Вихрова недавно вышла замуж за директора танкового завода и что сама она не то работала на заводе, не то происходила из кадровой заводской семьи. У Любы был брат Мика, лётчик-истребитель, и через этого брата Люба и Соня были как-то связаны. Однако Марию больше интересовало

другое — неужели муж Любы не считает нужным эвакуировать её? Что заставляет Любу оставаться в городе? Но чем больше Мария присматривалась к Любе-Соловушке, тем яснее ей становилось, что Люба и не решала ничего и просто отмахивалась, если с нею заговаривали об эвакуации, что ей свойственна в жизни беспечная лёгкость и в любой обстановке она чувствует себя естественно. Она не только не была похожа на замужнюю женщину, да ещё жену директора крупного завода, но всей своей азартной увлечённостью была сродни мальчишкам, работавшим в бригаде.

Старшему из мальчишек, Жорке, едва ли исполнилось восемнадцать лет. Он был франтоват и развязен, тщательно закрученный чуб намеренно выпускал на лоб из-под козырька «капитанки», курил толстую трубку и лихо сплёвывал сквозь зубы, явно кому-то подражая. О военной опасности он говорил с нарочитым пренебрежением, сквозь которое проглядывало жадное любопытство. Его приятель Колька был маленький, юркий, работал в паре с Жоркой и находился под его влиянием, и было удивительно, что он не только не отстаёт от более взрослого и сильного товарища, но опережает его и подстёгивает. Третьего, паренька лет шестнадцати, звали шуточно Андрей Андреечем, он играючи таскал любые тяжести и щеголял мускулами, развитыми, как у борца. Он болезненно переживал «несправедливость» военкомата, отказавшего ему в приёме в армию, и мечтал попасть в артиллерийскую часть. Младшим из мальчишек был Сашок, уже знакомый Марии. У Сашка было круглое детское лицо и тонкое, гибкое тело. Лёгкое ранение, полученное три дня тому назад, повышало его в собственных глазах и в глазах товарищей. Работал он торжественно, многозначительно. Чувствовалось, что возможность баррикадных боёв на родной улице наполняет его воинственными и честолюбивыми мечтами, что он строит баррикаду для себя лично и никому не уступит чести на ней сражаться.

Все эти разнородные люди, никогда не воевавшие и не желавшие войны, готовились теперь к борьбе ожесточённо и страстно. Когда Мироша передала слух, будто немцы уже подошли к Пулкову, Сашок заявил уверенно:

— Здесь только и начнётся настоящее дело!

Григорьева поддержала:

— Юденич тоже у Пулковской высотки прогуливался, и баррикады тогда здесь же строили. И всё равно — Юденич Питера не увидел, и они не увидят.

— Форты кронштадтские ка-ак бахнут! — сказала Люба.



— Зачем форты? — откликнулась Лиза с неожиданной горячностью. — Сейчас за Морским каналом линкор стоит, его главный калибр им покажет!

Колька авторитетно поправил:

— Не один линкор, кораблей много.

— У нас на линкоре свой артиллерист есть, — сказала Соня, метнув на сестру лукавый взгляд. — Попросим — поддержит.

— А у нас с тобою, по-моему, и лётчик на поддержку найдётся, — добавила Люба.

Серьёзные размышления перемежались шутками, тревога сразу же перебивалась обнадеживающим словом. Мария вслушивалась в разговоры, вглядывалась в лица людей, копошившихся по всей улице возле будущих баррикад, — и в душе её совершалась сложная работа, подготавливая решение.

«Есть на свете трусы, паникёры, себялюбцы? Да, есть», — говорила себе Мария, стараясь не думать о Борисе. — Да, они есть, — неохотно признавала она. — Но я с другими, с настоящими. Вот они — кругом, бок о бок со мною, питерцы, ленинградцы, неунывающий народ, готовый на неслыханную выносливость, когда дело коснётся его чести и свободы... Да, русский народ — это же они все, и Люба-Соловушка, и Сашок, и Мироша, и силач Андрей Андреич, и старая Григорьева, и Сизов, и неизвестный артиллерист главного калибра на линкоре, и тот боец на шоссе, и я — да, и я тоже!»

Никогда она ещё не чувствовала такой гордой радости оттого, что она, вместе с окружающими её и милыми ей людьми, — часть родного народа и того вернейшего отряда его, что зовётся — ленинградцы. Разве она задумывалась об этом раньше? Всё вокруг было своё, несомненное: люди, творчество, Ленинград. Право строить и создавать. Поддержка и уважение людей. Любовь и материнство. Всё прошлое и всё будущее. Всё казалось уже завоёванным и утверждённым раз и навсегда. Завоёванным теми, кто умирал, не сдаваясь, в тёмных казематах Петропавловской крепости, кто штурмовал Зимний и строил вот здесь, на этих улицах, революционные баррикады, чьи могилы пламенеют цветами за гранитною оградой на Марсовом поле... Для её поколения это было уже прошлое — волнующее, но далёкое. Принимая всё, как должное, она была такою, какою её воспитала жизнь — деятельной, любознательной, жаждущей счастья, поглощённой своим трудом, своей семьёй, своими замыслами и мечтами... А теперь, в дни надвигающейся опасности и величайшего душевного испытания, перед угрозой потерять всё, что дорого, она ощутила в себе

упрямую русскую душу и вдруг отчётливо поняла: все её мечты, замыслы, весь её труд — лишь крупинки большой народной жизни, вне широкого потока народной жизни ей нечем будет дышать, нечего любить. И, может быть, все прожитые ею годы отрочества и юности, наполненные учёбой, творчеством, трудом, страстью, думами и самовоспитанием, — лишь подготовка вот к этому дню, когда она отбросит своё нежданное горе и вместе с незнакомыми, но родными людьми сумеет построить свою первую баррикаду.

Когда она вернулась вечером домой, ей было совсем нетрудно сказать Борису:

— Я не поеду.

Её не удивило, что Борис всё-таки едет без неё и без Андрюши. Теперь она уже ничего не ждала от него, хотела только одного — конца разговоров, уверений, суеты, упрёков, просьб. С Борисом она и не ссорилась и не мирилась, даже помогла ему собраться в дорогу. Она видела, что он не может остаться, даже если бы захотел — ведь это значило бы признать все её упрёки справедливыми, сознаться, что он струсил. И она старалась не говорить о его отъезде, как будто ему предстояла обыкновенная деловая поездка. Борис согнулся, стал суетлив и неестественно вежлив, он много раз повторял, что проводит оборудование до места назначения — «я не имею права его бросить» — и сразу вернётся в Ленинград.

— Вот и чудесно, — сказала Мария. — Я приготовлю для тебя хорошенькую баррикаду.

Борис начал уверять, что до баррикадных боёв дело не дойдёт, что он слышал сегодня в Смольном успокоительные вести с фронта.

— У меня профессиональное разочарование, — пошутила Мария. — Неужели мы зря стараемся?

За ужином, чтобы нарушить гнетущее молчание, она рассказала о том, какие у неё славные люди в бригаде и как быстро все сдружились.

Анна Константиновна весь вечер ходила с непроницаемым лицом и за ужином притворялась, что не понимает происходящего между дочерью и зятем. Но тут она вскинула на Бориса потемневший взгляд и сказала с ударением:

— Такое время. Дружатся на всю жизнь и расходятся навсегда.

Мария удивлённо поглядела — значит, знает мама?.. Но Анна Константиновна уже потупилась и, как ни в чём не бывало, полоскала в тазике чашки.

Прощаясь, Борис хотел обнять Марию и заговорить с нею прежним, ласковым, неотчуждённым тоном, но Мария сдержанно поцеловала его и

шутливо сказала:

— Ты же приедешь, ненадолго прощаемся. — И подтолкнула его к двери: — Иди, грузовики ждут.

Закрыв за ним дверь, она с оцепенением слушала, как гулко звучат на лестнице его удаляющиеся шаги.

Расставшись с Марией Смолиной, лейтенант Кривоzub поехал на танковый завод. Новые мощные машины КВ, которые ему предстояло получить, были таким богатством для батальона, что он заранее предвкушал радость товарищей и весёлую возню с опробованием машин, и упоение первого боевого дела. Ух, и силища в этом КВ! Танк подвернётся — он танк протаранит, орудие сунется стрелять — он орудие раздавит, дом поперёк дороги станет — дом свернёт!

Огромный завод с затемнёнными корпусами и чёрными бесконечными дворами и переходами ошеломил его — не размерами своими, не танками и тягачами, ползущими без огней по дворам, а множеством танкистов, которые ходили здесь, как дома, озабоченные, со всеми знакомые, всем примелькавшиеся. У них у всех тоже были срочные ордера, они тоже рассчитывали на получение КВ в первую очередь, ругались между собою и покорно становились на любую работу, какая только нужна была, — лишь бы ускорить выпуск долгожданных машин.

Лейтенант Кривоzub прорвался к директору. Усталый, немолодой человек с охрипшим голосом встретил его виноватой улыбкой и злобно закричал в телефонную трубку:

— Сорок платформ, и ни одной меньше! И чтобы посудины были поданы немедленно, иначе я своё хозяйство не повезу! Ты понимаешь или нет, шутить с таким хозяйством!

Он долго препирался по телефону, а потом, не глядя, бросил телефонную трубку на аппарат и посмотрел на лейтенанта усталыми, добрыми глазами:

— Всё знаю. Срочный ордер. Острая необходимость. Танки нужны сегодня, даже сейчас. Так?

— Так, — со вздохом согласился Кривоzub. И тихо спросил — Эвакуируете завод?

У директора страдальчески сморщились губы.

— Ты приказ выполняешь, когда тебе приказывают? Ну, и я выполняю.

— Очевидно, надо, — грустно произнёс Кривоzub.

Директор вдруг оживился:

— Надо? Конечно, надо! Ты понимаешь, что на новом месте завод должен через два месяца утроить программу? Месяц назад принято решение, а сейчас корпуса для завода уже кончают... Кон-ча-ют! Ты когда-

нибудь слышал про такие темпы?! Во сне не снилось, даже в первую пятилетку — а уж на что темпы были! Вот сейчас перебросим оборудование, часть рабочих, мастеров, инженеров... — Он лукаво усмехнулся: — Я-то здесь останусь... ведь дело в чём? Там развернуться и здесь по-прежнему давать фронту машины, и старые ремонтировать тоже... Кто-то должен здесь управляться? — Он сам себя перебил, заметив, что ненужно заболтался с танкистом: — В общем, друг, ступай в сборочный и жди. Твоя очередь дня через два будет.

Кривоzub открыл рот, чтобы возражать, но в кабинет с шумом влетел толстый вспотевший человек, размахивая очками в простой металлической оправе, и ещё в дверях закричал:

— Это что же, Владимир Иванович? Мне в глаза одно, а за спиной — в список и на баржу, к чорту на кулички? Мне в глаза: «хорошо, конечно, пожалуйста», а сами списки подаёте и всё по-своему?

Директор, отдуваясь, развёл руками.

— Солодухин, не плачь, не кричи, добром прошу. Если от меня требуют, чтоб основные кадры завода ехали...

— А я выдвигенец! Меня ж только неделю назад крестили начальником! — Солодухин нацепил, очки, подозрительно оглядел директора и сказал ядовитым, обличающим тоном: — Сам, говорят, остаёшься? А нас — на баржу?

Владимир Иванович рассмеялся.

— Да не на баржу, милый человек! Не на баржу, а на самолёт! Основные кадры на самолётах... с семьями... с полным комфортом!

— Ты что же думаешь, — вскричал Солодухин, гордо выпрямляясь, — Солодухин комфорта добивается? О семье хлопчет? Фикусы спасать хочет? Да моя старуха — хоть золото мечи — с места не стронется! У меня сын таким вот лейтенантом под Красногвардейском дерётся! Я здесь тридцать два года в те же ворота хожу и тот же номер вешаю!

Он, видимо, устал кричать, и гордая осанка была утомительна для неповоротливого, грузного тела.

— Как хочешь, Владимир Иванович, — сказал он жалобно. — Но я тебе говорю последний раз, и ты вспомни, хоть ты теперь и директор, и мне начальник, что когда-то из моих рук мастерство получал... Уважь меня, Владимир Иванович, христом-богом прошу... Всё равно, на самолёт ты меня без милиции не заманишь.

Он повернулся и вышел, деликатно притворив за собою дверь.

А на смену ему уже входил старик очень высокого роста, сухощавый, строгий на вид, с небольшими седыми усиками над красивым ртом,

окружённым чёткими, мелкими морщинками, свидетелями жизни размеренной и трудовой, старившей ровно и постепенно, без сильных потрясений. За стариком вошло ещё трое мужчин, гораздо моложе, но таких же высоких и сухощавых. У старшего, которому могло быть лет около сорока, курчавились над губою такие же небольшие светлые усики.

— Династия Кораблёвых, — устало сказал директор и встал навстречу старику. — Ну, что скажете, Василий Васильевич?

Старик сел в кресло и покосился на танкиста, но Кривоzub прочно сидел на месте, не собираясь уходить.

— Вот что, Владимир Иванович, — сказал старик медленно. — Не могу! Я в заводском отряде против Юденича бился, и двое старших сыновей со мной — вот этот, Иван, и ещё Герасим, погиб он тогда под Пулковом... Сколько лет существует завод, столько лет на нём работают Кораблёвы.

Директор положил свою руку на руку старика и ответил:

— Как же теперь завод на новом месте без Кораблёва станет, Василий Васильевич? Кто первый трактор выпускал с завода? Вы! Кто первый танк — маленький, не чета теперешним, но первый, — кто его с завода выпускал? Вы! Кто первый КВ, гордость нашу, выпустил? Вы! Так как же сейчас вы завод свой бросите, когда на него такая огромная тяжесть ложится: на необжитое место перебраться, в недостроенных корпусах в месяц всё смонтировать и в ход пустить, а через два месяца утроить программу? Вы лучший наш мастер, вы же понимаете, что это значит. Кораблёв на своём веку сотни три квалифицированных рабочих обучил. И всё-таки они и сейчас к вам за советом бегут. А там к вам придут тысячи новых учеников. И это будут не питерские рабочие, а колхозники, школьники, женщины... Им — в короткий срок — танки выпускать. А Кораблёв от такого трудового подвига укроется? Василий Васильевич, это нельзя. Вам нельзя.

— Не могу, — сказал старик.

Сыновья стояли молча. Владимир Иванович кивнул на них:

— Кораблёвыми завод гордится. И новый завод, там, на Урале, будет гордиться Кораблёвыми. Здесь ваш младший сын ещё в молодых мастерах ходит, а там он будет — питерский золотой работник, опора производства. Василий Васильевич, я вас не уговариваю, я правду говорю. Надо.

Старик посмотрел на самого младшего сына — молодого, стройного с подвижным и непокорным лицом.

— Не подводил я завод ещё никогда, — сказал Василий Васильевич и вытер глаза большим клетчатый платком. — Ладно. Поеду. Но вот о самом

младшем прошу. И слышать не хочу — правильно ли, неправильно — прошу как уважения с вашей стороны старому Кораблёву. Младший, Григорий, пусть остается здесь...

Молодой Кораблёв перевёл на директора умоляющий и требовательный взгляд. Губы его сжались, упрямым движением он провёл ладонью по вспотевшему лбу.

— Я сейчас работаю на ремонте боевых машин, Владимир Иванович, — напомнил он.

— Хорошо, — сказал директор и пожал обе руки старого мастера, — будет по-вашему. И вы, Василий Васильевич, напишите мне оттуда, как и что. Очень вам будет трудно там. Но на вас я надеюсь. И на ваших сыновей.

Отец с сыновьями скрылись за дверью.

— Вот так целый день воюю, — устало сказал директор лейтенанту Кривоzubу. — И ты, парень, ко мне не приставай. Сходи сам погляди — сборка работает круглые сутки, машины со сборки так прямо и уходят на фронт. Красить некогда. Полтораста процентов ежедневно. Люди по неделям с завода не уходят. Придёт твоя очередь — получишь.

Зазвонил телефон.

— Кто не вышел? Почему? Да что он, с ума сошёл, теперь болеть? Снарядом? Фу ты, незадача! — Прикрыв трубку рукою, директор спросил Кривоzubу: — Ты слесарное дело знаешь? — И тотчас обрадованно сообщил в трубку: — Тут у меня как раз слесарь нашёлся. Сейчас пришлю.

Кривоzub поднялся.

— Тебя уборщица проводит, — без дальнейших объяснений сказал Владимир Иванович. — А насчёт танков не беспокойся. Никого ещё не подводил. К тому же, ты рядом со сборкой будешь. Последишь.

Оставшись один, Владимир Иванович вытащил из-под стекла, покрывавшего письменный стол, длинные списки, просмотрел один, вздохнул, вычеркнул в нём Солодухина и приписал его фамилию в конце второго списка.

Потом позвонил на свою квартиру, и голос его стал нежным и молодым:

— Пришла, Соловушка? Устала? Не знаю, родная, скорее всего, не приду. А утром забегу. Опять на баррикады? Так я пораньше баррикад забегу, хоть погляжу на тебя... А потом в Смольный. Знаешь, Солодухин остаётся. И Курбатов выпросился, я его начальником сборки ставлю... Ну, спи, Любушка, спи...

Ему захотелось домой. Соловушка вошла в его жизнь перед самой войной. Свадьбу праздновали в субботу 21 июня, а 22-го, после речи

Молотова, он помчался на завод, и с тех пор встречи с Любой были так кратки!

Утром он уже выезжал из ворот, когда к заводу подкатила машина секретаря райкома Пегова. Пришлось вернуться. С Пеговым был молодой инженер Пётр Семёнович Левитин, работник завода, ушедший в народное ополчение с заводским отрядом в первые дни войны.

— Узнаешь молодца? — весело спросил Пегов.

Владимир Иванович хотел схватить в объятия молодого инженера, но тот торопливо и испуганно отстранился — оказалось, Левитин только что из госпиталя, где ему «чинили спину».

— В отставку вышел герой, — сказал Пегов. — А я его к тебе, знаешь, зачем везу? В партком посадим его, когда Соколов уедет. Как смотришь?

— Я бы хотел на производство, — неуверенно сказал Левитин. — Я вполне здоров, да и...

— А партком что — не производство? Ты думаешь, у парткома теперь какие задачи? Первая — танки. Вторая — танки! Третья — танки!

Обрадованный Владимир Иванович немедленно повёл Левитина и Пегова по цехам, показать, как ладно и горячо работает завод, несмотря на то, что половина оборудования уже подготовлена к эвакуации и состав рабочих обновился на треть. К Любе он не попал совсем, а в Смольный выбрался уже во второй половине дня.

Он ехал по городу в приподнятом настроении, так как Левитин в парткоме был настоящей находкой при нынешнем недостатке кадров. Но на аллее, ведущей к Смольному, предчувствие неприятных разговоров оттеснило радостные мысли. Владимира Ивановича вызывали в Смольный всё по тем же эвакуационным делам, и он чувствовал себя не совсем безгрешным в том, что список инженерно-технических и рабочих кадров, намеченных к эвакуации, сокращался с каждым днём.

В бюро пропусков было оченьлюдно и даже накурено, хотя курить строго запрещалось. Владимир Иванович встретил массу знакомых и в очереди за пропуском, наконец, нашёл самый убедительный довод в пользу оставления рабочих в Ленинграде.

— Ты ж понимаешь, — сказал он директору другого завода, тоже намеченного к эвакуации, — ну как я докажу питерцу, ленинградцу, кадровику, что он должен родной город оставить в такое время?

— А почему не ответить, что сейчас — в окружённом городе — производство неизбежно сократится, а в тылу он принесёт гораздо больше пользы? — раздался за ними рассудительный голос.

Замечание было верное, но оба директора недоброжелательно



оглянулись. Владимир Иванович узнал старого знакомого, Бориса Трубникова.

— А ты здесь какими судьбами?

— Тоже свои заводишки перевожу, — сказал Трубников, оживлённо пожимая руку Владимира Ивановича. — Как я с ними выскочил от немцев — ну, просто тысяча и одна ночь!

— Постой, ты разве директором заделался?

— Зачем? Но я — председатель райисполкома, хозяйство всё равно моё. Или ты советской власти не подчиняешься, директор? — пошутил Трубников.

— Все под советской властью ходим, — в тон ему ответил Владимир Иванович. — А сам ты куда теперь?

— Да вот перевезу оборудование, устрою их на новом месте... а там в армию или... да куда пошлют! Я себе не хозяин.

— Ну да, ну да... — пробормотал Владимир Иванович и отвернулся, вытаскивая из внутреннего кармана партбилет. До окошечка было ещё далеко, но Владимиру Ивановичу не хотелось продолжать разговор, и товарищ его, протолкнувшись вперёд, ворчливо сказал:

— И чего нас с тобой мучают, Владимир Иванович? Видно, есть охотники добровольно ехать — и пусть едут!

Владимир Иванович поморщился и сказал громко:

— А знаешь, ко мне с этой эвакуацией сутки напролёт ходят. Изругали всего. И вот, кто не хочет ехать, упирается — я на того и в тылу надеюсь, что будет работать по-настоящему. А кто сам рвётся — нигде из него толку не выйдет! В тылу, думаешь, именины будут? Там, батенька, тоже фронт и темпы такие, что имя-отчество своё забудешь.

Разговор наверху оказался неожиданно приятным. Владимира Ивановича не только не ругали за то, что он остаётся сам, но и расспрашивали, как он думает разворачивать здесь производство на малом оборудовании и хватит ли остающихся в Ленинграде инженеров и рабочих. Разговор уже подходил к концу, когда вошла секретарша и вполголоса спросила:

— Тут Трубников, насчёт разрешения на отъезд... Ждать ему?

Собеседник Владимира Ивановича поднял на него поскучневший взгляд:

— Тебе, случаем, работника не надо? — И, не дожидаясь ответа, махнул рукою. — Ладно, пусть едет. Скажите — разрешаю.

Когда Владимир Иванович подъехал к заводу, заводские ворота были распахнуты настежь, и новый танк, весело громяхая, бежал по двору от

сборочного цеха к воротам. Владимир Иванович вздохнул — танк не успели покрасить, а Владимир Иванович любил, чтобы продукция завода шла в мир красивой, законченной.

На броне танка сидели рабочие, и во дворе, у ворот и за воротами останавливались рабочие и просто прохожие. Они смотрели на новый танк без улыбок, но в сдержанности и суровости их лиц и движений читалась такая глубокая вера, такая страстная, непоколебимая надежда, что Владимир Иванович, выскочив из машины, почтительно стал в сторонку, пропуская танк.

В открытом люке водителя мелькнуло лицо вчерашнего лейтенанта. «Словчил всё-таки?» — с удовольствием подумал Владимир Иванович, так как любил настойчивых и оборотистых людей.

Танкист узнал директора и, придержав машину, весело крикнул:

— Либо добыть, либо назад не быть — такая поговорка есть! — и ещё что-то, заглушенное лязгом гусениц.

За воротами рабочие соскочили с танка, остановились, молча глядели вслед. Молодая женщина, перебежавшая улицу, пропустила его и помахала ему рукой. Мальчишки, игравшие в войну возле баррикады, вытянулись в ряд и, не мигая, проводили глазами непокрашенный танк, уходивший с завода прямо в бой.

Затихал город, большой, неугомонный, — затихал преждевременно, по строгому закону осадного положения. Последние пешеходы, поглядывая на уличные часы — десять без трёх минут! — бегом возвращались домой. Ночные дежурные, управляя противогазы, занимали свои места у ворот и на крышах. Верхним постам завидовали: хорошо в этот час на покато́й кровле, всё ещё тёплой после солнечного дня, — можно лечь и дышать ночной свежестью, и смотреть с высоты на затихающий город, и чувствовать биение его напряжённой жизни, и слушать, слушать, слушать... Многие слышно в такую тихую ночь — глухое ворчание далёких орудий, настойчивые гудки паровозов на Финляндском узле, тяжёлый грохот танков, несущихся через город на запад и на юг, к фронту... И многое видно с высоты — оранжевые сполохи на западе и на юге, тревожные сполохи выстрелов, своих и немецких; иногда — далёкое зарево пожара, иногда — взлетающие в небо цветные нити трассирующих снарядов: может быть, у Пулкова, может быть, над Колпином или над Кронштадтом зенитчики отбивают воздушный налёт. А в городе пустынно, только на заводах — скрытая от глаз жизнь, напоминающая о себе глухим гулом машин, от которого дрожит воздух над затемнёнными корпусами. И трамваи, позванивая, трудолюбиво выполняют свою ночную работу чернорабочих..

В эту ночь трамвайные поезда шли по необычному маршруту — целые вереницы грузовых платформ заворачивали по запасной ветке в ворота танкового завода.

В гудящих корпусах делали танки. И тут же, в проходах, в углах цехов, быстро и гулко постукивали молотками, заколачивали ящики, одевали досками уезжающие станки...

Во дворах завода — мелькание фонарей, заклеенных синей бумагой, мелькание сотен людей в скудных полосах света, грохот лебёдок, крики: «А ну, взяли!», «Майна! Вира!», дребезжание цепей большого подъёмного крана, вырисовывающегося громоздким хоботом на фоне озарённого дальними выстрелами неба. Детский плач, женские тихие, растерянные голоса: «Катя, узел где?», «Уж скорее бы!» И однообразный быстрый стук молотков. Грузовики-пятитонки пыхтели и пятились к местам погрузки. Осипший голос прорезывал шум:

— Первый механический — сюда!

Второй голос, тоже натруженный, но более звонкий, выкрикивал неподалёку:

— Сборочный цех — сюда!

И толпы женщин и детей приходили в движение, летели в кузов корзины, чемоданы, узлы, матери подсаживали детей, надрывно плакали малыши, терялись в сутолоке любопытные мальчишки, которым всё надо было посмотреть, отчаянно звали матери: «Ванюшка!», «Витька!», «Кешка!», охали и кряхтели старухи, забираясь наверх.

— Поехали!

Грузовики выезжали, набитые до отказа людьми и вещами, другие грузовики въезжали в ворота, пытели и пятились к местам погрузки, и снова выкликали осипшие голоса:

— Двенадцатый цех — садись!

— Инструментальный — сюда!

И новые толпы женщин, детей, стариков суетились, вскрикивали, таскали корзины, чемоданы, узлы, устраивались в темноте и в давке; в больших кузовах сразу становилось тесно.

Мужчин тут не было. Некоторые подбегали помочь, хмуро успокаивали жён и ребят, строго наказывали мальчишкам сидеть тихо, потом торопливо отходили. Трамвайные платформы принимали груз, одетый досками. Заводские мастера провожали свои станки на платформы, обходили их кругом, щупая обшивку, говорили: «Хорош!» Иногда злой голос выкрикивал: «Осторожно, чорт, что делаешь!» Крановщики замирали, десятки рук любовно направляли качающийся в свете фонарей громоздкий ящик, тихие голоса бережно помогали руками: «Так! на себя! ещё раз! отпускаяй! есть!»

А рядом, в темноте двора, выкликали натруженные голоса:

— Третий цех — садись!

— Второй механический — сюда!

Новый отряд грузовиков выезжал со двора мимо нагружающихся трамвайных платформ, и вдруг женский голос, полный слёз и отчаяния, понёсся над дворами с одного из грузовиков:

— Прощай, милые! Прощай, Ленинград! Про-о-о-ща-а-а-а... — и захлебнулся, утонул в рыданиях других женщин.

Рабочие молча тянули к лебёдке тяжёлый ящик. Толстый запыхавшийся человек, услышав странные звуки рядом, вскинул тоненький луч фонарика:

— Василий Васильевич... Не надо... Вернётесь...

— Оставь, Солодухин. Не тронь.

И снова деловые оклики, осторожные приказания: «А ну, взяли! тихо! На себя, чорт, на себя! Вправо немного! пошла!»

И грохот лебёдок, дребезжание цепей, глухой стук спускающихся на платформу ящиков, стон потревоженной обшивки.

Уже перед утром стихли шумы погрузки, и негромкий голос сказал:

— Уезжающие, садись!

В рассветном полумраке все люди на минуту смешались, стало тихо, крепкие рукопожатия и поцелуи были длительны и безмолвны. Потом провожающие отхлынули. Уезжающие вскакивали на платформы, усаживались на ящики или рядом с ними. Закуривали трубочки, сворачивали папироски, огоньки спичек дрожали в усталых руках.

— Василий Васильевич, ты что же... разве не на самолёте?

— Нет уж... с заводом вместе...

— А Гриша твой... где же он?

— Оставляю здесь. Работает.

Лязгнув, тронулись платформы. Одна за другой выкатывали из ворот, сворачивали на трамвайную магистраль. Василий Васильевич сидел на последней платформе, свесив ноги, не опираясь ни спиной, ни руками, — прямой, неподвижный. Два сына сидели рядом с ним. Жена и невестки с детьми уехали на грузовиках.

Заводские ворота развернулись перед глазами и слились с тёмной линией забора, затем забор остался позади, и на несколько минут открылась отдаляющаяся панорама завода — крыши цехов, красные кирпичные стены старых заводских зданий и серые железобетонные здания новых цехов, больших, просторных, — новый завод, возникший на территории старого и принявший его название, его кадры, его неумирающие славные традиции. Василий Васильевич не мог увидеть, но угадал небольшое здание, где началась пятьдесят два года назад его рабочая судьба... первый корпус, где он, уже пожилой мастер, выпускал первый трактор — ещё маленький, малосильный, но такой нужный для восстанавливающегося хозяйства страны... новые корпуса, где он налаживал станки, требовательно и неотступно обучал молодых рабочих, где он начинал производство, недосыпая, ворча, ругаясь, заставляя переделывать, перекраивать, переставлять станки и людей, пока всё не налаживалось как следует...

Завод скрылся из виду; только трубы его, прямые, чёрные, ещё долго царили над убегающими вдаль кварталами домов. Василий Васильевич увидел и свой дом. Он не был там уже много дней, занятый подготовкой станков к эвакуации. Жена и невестки сами отобрали необходимые вещи и

сами привезли их вечером на завод.

Дом был новый, построенный в первую пятилетку, но Василий Васильевич считал его уже старым, потому что после него было построено для заводских работников много других домов, лучше, с более высокими потолками, с более просторными комнатами. Но дом Василия Васильевича был первым из построенных, и квартиру там дали из особого уважения. Много было тогда споров с женой: жена не хотела переезжать из старого деревянного домика на окраине, где у неё был огородик, где прямо под окнами можно было вешать бельё и где ничто её не пугало — ни лестницы, ни окна, откуда могут вывалиться с высоты четырёх этажей её внучата, ни краны газовой плиты, которые могут незаметно отвернуть ребятишки... Но потом жена пленилась ванной и горячей водой, и удобством газовой плиты, и тем, что для всего находилось место и можно было отдохнуть вечером с мужем, поговорить о своих делах без всякой помехи. Василий Васильевич чуть улыбнулся, мимолётно вспомнив все волнения с переменной квартиры, но улыбка сбежала с его губ. Окна его квартиры были закрыты, в ящиках на подоконниках ещё пышно цвели цветы, посаженные невестками, но поливать их теперь никто не будет, и цветы скоро завянут, засохнут — одинокие свидетели былой жизни...

Трамвай обогнул триумфальную арку, перегородившую площадь, — на посветлевшем небе чётко вырисовывались скульптурные группы коней, горячих, буйных, стремящихся вперёд... Эти кони были для Василия Васильевича давнишней милой приметой: показались кони — значит, дома. Но сейчас он их увидел по-новому — кони рвались в сторону, противоположную той, куда трамвай увозил Василия Васильевича, они бились и неистовствовали, они звали за собой — не на восток, на запад...

А под аркой и с двух сторон её уже поднимались контуры строящихся баррикад. Толстые канализационные трубы, заготовленные здесь, наверное, для ремонта подземного городского хозяйства, пошли на основание баррикады. Баррикада ещё только начата, какая она будет готовая — ему уже не увидеть...

Потянулась улица, носящая короткое звучное имя. Мало кто знал теперь человека, давшего улице своё имя. А Василий Васильевич помнил его так хорошо, как других своих товарищей по многолетнему труду, по многолетней борьбе. Он вспомнил сейчас грозные дни обороны города, когда в цехах строили бронепоезд и рабочие, уже с винтовками, прислонёнными к станкам, но ещё не оторвавшиеся от труда, не спали ночей, вооружая поезд, на котором сами пойдут в бой... Он тоже ушёл тогда, старый Кораблёв, с двумя старшими сыновьями, потерял одного

сына, но отстоял свой город, свою революцию, свой завод... А теперь?.. Куда едет он прочь от сражений в такие тягостные дни?..

— Неладно так-то... в такое время ехать...

Какое совпадение мыслей подсказало Ивану Кораблёву тихие, ни к кому не обращённые слова?

Отец покосился на него и вздохнул. Становилось всё светлее и светлее, городские кварталы проносились мимо.

Не было в этом городе ни одного квартала, незнакомого Василию Васильевичу. Вот здесь жила его Ксюша, тогда еще невеста, работница табачной фабрики, дочка старого токаря с завода Лесснера. Здесь он ходил в воскресную рабочую школу, организованную большевиками. Вот на этой площади он помнит массы рабочих, женщин, мальчишек, отправлявшихся к дворцу 9 января 1905 года... Он уже тогда не верил в милость царя, но пошёл потому, что шёл завод, и когда полиция начала стрелять, он кричал, потрясая окровавленной рукой: «Поняли царскую милость?!». Вот здесь, в угловом доме, во дворе, было его партийное крещение — первое собрание большевистского кружка... А здесь, уже после революции, после гражданской войны, он проезжал на трамвае номер 16 во Дворец Урицкого на заседания Совета, на собрания партийного актива... Там он слышал Кирова...

— Партия знает, что делает, — сказал он сыну. — Что ты понимаешь: неладно или ладно? А если подвоз немцы сорвут, если металла и топлива не станет, если завод разбомбят — как ты будешь танки выпускать? А сколько танков нужно против немецкой силищи — можешь ты подсчитать?.. Правительство и партия больше тебя понимают.

Он ворчал, но боль душевную не унять было ни воркотнёй, ни доводами разума. Вот он проходил перед его глазами в последний раз — город его жизни, город его трудовой славы... В нежном блеске раннего утра он был чист и задумчив, прямолинеен и чётко. Его строгой красоты не могли исказить ни ящики с песком, укрывшие витрины, ни бумажные кресты на стеклах, ни щели, вырытые в садах и на площадях. Белые кресты, ещё не потемневшие от времени, придавали домам даже некоторую нарядность. Но то, что вызвало к жизни эти кресты, эти щели, эти баррикады и ящики с песком, — смертная угроза, нависшая над городом, превращала его в живое любимое существо, и, как живое любимое существо, прежде всего хотелось заслонить его собою... Старому мастеру не дали права быть воином. Ему был предначертан иной, далёкий, извилистый путь борьбы — путь, требующий разбега во времени, месяцев усилий, а не дней единоборства. Василий Васильевич принимал задачу, как

рабочий и как солдат. Но... но если пока, сегодня не хватит сил, не хватит рук, не хватит горячих сердец, чтобы заслонить, чтобы отстоять, чтобы спасти город?..

А город уже проснулся. Пассажирские трамваи шли навстречу, задерживали грузовые платформы на скрещении путей. Люди высовывались из окон. Рабочие и работницы, торопившиеся на работу, останавливались на минуту и провожали глазами нагруженные платформы. Стрелочницы замирали над своими стрелками, милиционеры забывали взмахнуть жезлом, шофёры замедляли ход машин... Уезжаете?.. Увозят?.. Оставляете нас?.. Нагруженные платформы, пересекающие весь город — от фронтовой окраины к вокзалу последней, уже находящейся под угрозой железной дороги, завод, поставленный на колёса для дальнего пути, как не вздрогнуть, увидев тебя, как не вздохнуть, провожая, как не задуматься над собственной судьбой?..

Платформа медленно всходила на мост. Самое красивое место в красивейшем городе открылось жадным глазам уезжающих — Нева, перехваченная дугами лёгких мостов, замшелые стены Петропавловской крепости, с тонким шпилем, пронзающим, как меч, осеннее светлое небо, ростральные колонны, стоящие стражами по бокам стройного и прекрасного в своей строгости здания биржи, мощный и лёгкий дворец с вереницей темнеющих на фоне неба статуй, выстроившихся, как часовые, во всю длину его фасада... И, подобно скорбному эху, прозвучал в ушах Василия Васильевича женский неистовый вопль:

«Прощай, милые!.. Прощай, Ленинград!.. Проща-а-а-а...»

Он стиснул руками колени, чтобы унять дрожь. Прикрыл глаза — всё равно, жадный взгляд не мог вобрать всё, что хотелось запомнить и унести с собою. Но усталость... такая усталость охватывала тело, сковывала мозг... Потом надо разобраться... понять до конца, чтобы всё стало несомненным... поверить, что этот извилистый путь — самый правильный...

Мерное шарканье тысячи ног вывело его из оцепенения. С Выборгской стороны всходила на мост воинская часть. Нет, это не была воинская часть. Штатские пальто, кепки, кожанки, спецовки, пиджаки... но винтовки за плечами, но воинский чёткий шаг, старательная выправка, созданная не тренировкой на учениях, а страстью долга...

Они не пели, но Василию Васильевичу показалось, что они поют. Ему показалось, что грозная и знакомая с юности мелодия реет над ними, подобно знамени, омытому кровью:



Вихри враждебные веют над нами,  
Тёмные силы нас злобно гнетут.  
В бой роковой мы вступили с врагами....

Он встречался глазами с проходящими выборжцами, сквозь невольные слёзы обмениваясь с ними безмолвными обещаниями. Он мысленно принимал на себя всё более и более тяжёлые обязательства — без усталости, без передышки, всеми силами души и тела, всем опытом полувекового труда — помочь тем, кто идёт сражаться... И мысль о Григории, о младшем Кораблёве, доставляла ему горькую отраду.

Первые дни после отъезда Бориса Мария могла жить, только отгородившись от всего света. Она ни разу не заплакала, но в любую минуту могла бы заплакать, если бы дала себе волю, если бы призналась кому-нибудь в том, что с нею произошло. Она не говорила ни с кем, даже с матерью. Анна Константиновна тоже молчала. Иногда Мария ловила взгляд матери, исполненный сострадания и готовности разделить любое чувство... Но Мария отворачивалась. Нет, нет, не надо, только не об этом!

Ей было трудно подходить к сыну. Она не позволяла себе задумываться над тем, какую страшную ответственность взвалила на себя, решив оставить его здесь, и какую перемену в судьбе сына она вызвала, расставшись с Трубниковым. Потом, — говорила она себе, — потом, когда всё выяснится, всё определится... потом будет время всё решить...

Ей казалось, что должно прийти письмо, телеграмма, записка с посланным. Что мог написать ей Борис? Она не знала. Что-нибудь такое, что показало бы Бориса прежним, достойным любви, что подтвердило бы — он был прав, уезжая, без него ни оборудование, ни люди не доехали бы... а вот теперь он довёз их и спешит обратно... Пустяки! В глубине души она не верила этому и не ждала ничего. Короткое слово было сказано и звучало над нею каждый раз, когда она думала о Борисе. А думала она всё время, безостановочно, потаённо. Его будут оправдывать. Да и почему обвинять его? Он говорил правильные, разумные слова. Можно поручить ему написать статью «О роли тыла в войне» — это будет самая продуманная и гладкая статья Бориса Трубникова! Он, конечно, проявит всю свойственную ему энергию, чтобы скорее пробиться в далёкий тыл с грузами. Он один заменит в пути всех своих директоров, обрадованных присутствием напористого «толкача» с лужёной глоткой — уж Трубников заставит любого диспетчера, любого коменданта сделать всё, что ему нужно! Он будет много, очень много работать... И его оправдают — нет, его даже не обвинят! Кто узнает, кто заинтересуется тем, что этот волевой хозяйственник когда-то ввалился с мутными глазами, с искажённым лицом в квартиру любимой женщины и выдавил странные слова: «Слава богу, вы ещё здесь»... а потом уехал один. Нет, его некому обвинить. Он сам постепенно поверит тому, что поступил хорошо, достойно. Но ведь она, Мария, — она-то знает, что он просто струсил! Она-то знает, что Борис Трубников прячется от суда собственной совести, что он старался не

глядеть ей в глаза перед отъездом... Она-то знает: если бы Борис не струсил, он первый закричал бы с грубоватой насмешливостью: «Да что я, нянька — взрослым директорам носы утирать? Что у меня другого дела нет, как их провожать да беречь, чтоб не простудились!» Она как будто слышала его прежний раскатистый голос, и этот голос протестовал и глумился: «Были бы заводы настоящие! Заводики-то третьестепенные, ерундовые! Ну, будут они котелки выпускать, колёса, печки — очень хорошо, очень полезно! Но причём здесь я? Я ж председатель райисполкома — так дайте мне вместе с моим народом немцев бить! Меня каждый человек в районе знает, и я каждую тропку знаю!» Вот что мог сказать Борис Трубников. И от этого некуда было уйти...

Мария вспомнила Гудимова. Гудимов любил Бориса. Как ему, наверное, больно сейчас, что Борис покинул его и свой район в опасную минуту!.. А Оля?.. Она тоже любила брата. Училась у него, уважала его... Презирает она его теперь? Отреклась от него?.. Девушка, едва достигшая двадцати лет, она стала на тот путь, которым должен был пойти брат. Что может сделать Оля? А Борис мог бы сделать много...

Горе давило Марию, как тяжёлый камень. Может быть, она согнулась бы под его тяжестью, если бы у неё было время оставаться наедине со своими мыслями. Но времени было очень мало, и она сама старалась быть непрестанно занятой и на людях. Так проще.

Баррикады росли — ряд за рядом, улица за улицей. Их начали строить неуверенно, наугад, старанием возмещая отсутствие опыта. Теперь и Сизов, и Мария, и люди в их бригадах приступали к делу с уверенностью ветеранов.

Мария полюбила своих товарищей по работе, среди них ей было легче. Только Сизова она избегала — ему надо рассказать, а рассказывать нет сил...

Здесь, на баррикадах, приближение войны было единственной и жестокой реальностью. Каждое утро строители слушали под уличным репродуктором очередную сводку Информбюро. Утренняя сводка давала тон всему долгому рабочему дню. А сводки были мрачны. Советские войска отступали, с тяжёлыми боями оставляя города. В украинских, белорусских, в русских городах шли уличные бои — может быть, у таких же баррикад, построенных женщинами и подростками. Может быть, в эту самую минуту женщина, похожая на неё, на Марию, иступлённо поднялась во весь рост и метнула бутылку с горючим в надвигающийся немецкий танк...

«Ну, что ж, значит, и я смогу! — говорила себе Мария. — Ей тоже

страшно. Она тоже любит жизнь. Почему же ей умирать, а мне — спастись? Я смогу. Когда нужно будет — смогу».

Через неделю после отъезда Бориса утренняя сводка была особенно тревожной. «После многодневных тяжёлых боёв наши войска отступили. .» Во второй части сводки, где ежедневно отмечались героические воинские подвиги советских бойцов, рассказывалось о единоборстве одного советского лётчика с десятью немецкими самолётами, о самоотверженности молодого пулемётчика, несколько часов сдерживавшего натиск большой группы автоматчиков. Эти драгоценные крупницы беспредельного героизма народа блестели во мраке грозных событий, как ещё неясное обещание, как зов народной совести. Да, только так, не жалея себя, — иначе пока не совладать с бронированными армиями, не остановить их, не задержать их громяющей поступи по советской земле.

«Смогу я? — спрашивала себя Мария, представляя страшное одиночество молодого пулемётчика перед неминуемой смертью, и сердце её замирало. — Должна... Он мог, и я должна...»

Иногда ей хотелось хватиться за всякую добрую весть, чтобы поверить: опасность преувеличена, её пронесёт мимо, до меня не дойдёт... Но Мария сама отгоняла эту надежду. Возможность уличных боёв становилась с каждым днём всё неотвратимее.

Фронт был рядом, бои шли в дачных пригородах, артиллерийская канонада была отчётливо слышна в центре города. Газеты говорили языком первых лет революции: «Ленинград в опасности! Враг у ворот!»

Расклеенное повсюду воззвание руководителей ленинградской обороны Ворошилова и Жданова призывало горожан: «Встанем как один на защиту своего города, своих очагов, своих семей, своей чести и свободы!» Со всех концов страны — из Горького, из Баку, от ветеранов Красной Пресни и от шахтёров Донбасса приходили в Ленинград письма, рождённые гневом на врага, тревогою за судьбу Ленинграда и уверенностью, что не дрогнут, не отступят, во что бы то ни стало выстоят и победят ленинградцы.

— Нынче все взгляды — на нас, — говорила Григорьева, медленно и прочувствованно читая эти письма. — Не город мы, а Ленин-град.

Соня кричала:

— Будьте покойны! За нас краснеть никому не придётся!

Мария повторяла про себя запомнившиеся ей слова возвания: будем неукротимы в борьбе, будем беспощадны к трусам... Значит, я права. Я была беспощадна. Надо быть беспощадной и к себе, и к своей слабости. Не

пожалеть ничего. Ничего? Если погибну я, погибнет и Андрюша...

— Ну что, Маша, не сдрейфим? — спросил однажды Сизов, с трубочкой подсаживаясь к Марии.

— Постараемся не сдрейфить, — ответила Мария и вдруг просто, без подробностей, сообщила, что Трубников сдрейфил. Уехал.

— Д-да... — протянул Сизов и уткнулся в кисет, выскрёбывая со дна остатки табака. — Ну, и плюнь, — сказал он через минуту. — Он, видишь, нервный. А мы с тобой, видно, покрепче. Ты не сокрушайся.

— Обидно.

— Это конечно... Но знаешь, золото моё, время сейчас страшное. Мы даже не отдаём себе отчёта, какое страшное. И человек проверяется в нём, как под микроскопом, все потроха видны. Разве ты могла знать? Можно было всю жизнь вместе прожить и не узнать. Он и сам: не думал, что сдрейфит в тяжёлый час. А вот сдрейфил.

Больше об этом не говорили, но теперь Марии стало ещё лучше на строительстве баррикад — не надо было прятать глаза от дружеских глаз Сизова. И с каждым днём всё реже набегали тоскливые мысли. Горе отодвигалось, тускнело перед угрозой крушения всей жизни, всего, что дорого.

Немцы хозяйничают в Луге... бои на улицах Пушкина, под Гатчиной, под Колпином... последняя железная дорога перерезана у Мги... финны в Белоострове... немцы рвутся к Петергофу и Стрельне... они прорвались к Пулкову...

— Как раз к нашим баррикадам лезут, — сказал Сизов. — Что ж, бабоньки, придётся нам испытать в деле качество нашей работы? А?

— Качество подходящее, — откликнулась Соня.

— Да отсюда я один подобью десяток танков! — заявил Сашок, прищуривая глаз, как будто уже сию минуту собирался бросить связку гранат. — Становясь в очередь, фрицы, кому на тот свет охота!

Лиза недовольно покачала головой:

— А если они тебя?

— Ну, да! Я уже стреляный. Я знаю, как надо. И укрытие здоровое.

— Вот мы так шутим, шутим, — сказала Люба, расширив глаза, — а ведь, наверное, на самом деле придётся...

Все смолкли.

— Я только мин боюсь, — тихо сказала Лиза. — Брр, как они воют... И осколки от них...

Сизов усмехнулся:

— От чего бы ни было, помирать всё равно противно. Только зачем же

помирать? Я две войны отвоевал, а живой! Человека даже на войне убить трудно.

— Почему? — в один голос воскликнули девушки.

— А потому, золотые мои, что он сопротивляется, не хочет, чтобы его убили.

— Факт! — подтвердил Сашок. — На кой чорт!

Мария улыбалась и чуть-чуть, не затягиваясь, дымила папиросой. Сейчас ей не верилось ни в смерть, ни в поражение. Она вдруг поняла, что не боится, что ей удивительно привольно дышится в необычном мире баррикад, бойниц, готовых к бою людей и улиц. Душа её как бы распахнулась навстречу приближающимся боям, и всё, что с детства накапливалось в ней без применения — готовность к самопожертвованию во имя родины и революции, зависть к подвигам героев, комсомольская боевая страстность, — всё теперь ожило и требовало действия. Ведь недаром её поколение научилось петь: «Это будет последний и решительный бой» ещё до того, как могло понять подлинный смысл этих слов.

И вот он настал — её час.

Однажды утром, когда бригада разбирала инструменты, раздался оглушительный грохот. Грязный фонтан взметнулся над баррикадой. Тонко зазвенели стёкла, разбиваясь о мостовую. Люди упали, кто где стоял, пряча лица.

— Дальнобойный, — сказал Сизов, первым поднимаясь и отряхиваясь.

— Однако в городе страшнее, чем на воле, — признался он немного погодя.

Тогда все разом заговорили. Мироша уверяла, что её ударило в спину — «вроде кто толкнул со всей силы». Все объясняли, что упали от неожиданности. Соня ругалась, ощупывая себя дрожащими руками.

— А я испугалась, — тряхнув головой, сказала Мария и пошла к месту разрыва.

Часть недостроенной баррикады разметало снарядами, воздушной волной выбило несколько окон в соседних домах.

— Вот тебе и здоровое укрытие, — буркнула Лиза, косясь на побледневшего Сашка.

Бригада молча заложила брешь камнями и землёй и продолжала строить баррикаду, невольно прислушиваясь. Но в этот день немцы больше не стреляли.

Перед вечером где-то очень близко, как будто за спиной, ахнул выстрел. Потом другой, третий, четвёртый. Снаряды, гудя, проносились

над головами.

— Это в Благодатном переулке, — объяснил Андрей Андреич. — Гаубичная батарея стоит.

Батарея в Благодатном переулке! Все растерянно улыбнулись. Как ни как, не сразу привыкнешь к тому что через твою голову стреляют пушки.

— Вот мы и на фронте, — сказал Сизов.

**Глава вторая**  
**На последних рубежах**





Гудимов лежал на мшистой земле, в стороне от товарищей. Иногда он прикладывал ухо к земле и улавливал идущий издалека грозный, рокочущий шум. По шоссе шли немецкие танки.

Три часа назад, когда он вывел своих людей в лес, передовые танки уже ворвались на станцию и в город. Бой шёл у кирпичного завода. Противотанковая засада ждала немцев возле санатория «Сосновый бор»... Что произошло за эти три часа? Танки не задержались в городе и несутся по шоссе вперёд, на Ленинград...

Здесь, в чаще леса, было тихо и полутемно. Наверху по-летнему пекло солнце, обжигая верхушки деревьев, но внизу, под сплетающимися ветвями, царила душная сырость вечной тени.

Семнадцать человек деловито суетились возле землянок, чистили винтовки, некоторые переобувались, обучая друг друга несложному искусству обращения с портянками. Переговаривались тихо, будто их могли слышать. Когда неподалеку упала шишка, прошумев среди ветвей, все подняли головы и некоторое время молча всматривались в сумрак.

— Василь, — громко позвал Гудимов.

Акимов подбежал, обрадованный тем, что Гудимов нарушил молчание.

Гудимов внимательно и критически оглядел своего секретаря. Ладный охотничий костюм его (и ведь охотником был никудышным, просто но хотел отставать от райкомовской компании!) казался сейчас слишком нарядным, оперным. И сумка на боку — для форсу — из жёлтой блестящей кожи. Чем он так набил её? Наверное, половину вещей и брать не стоило. А полотенце, должно быть, забыл.

— Возьмёшь Трофимова, — приказал Гудимов, — выйдете к шоссе, к

развилке дорог, определите, куда идёт движение. Понял?

— Ладно, — нехотя сказал Акимов.

— Ты боец или кто? Повтори приказание.

— Взять Трофимова, выйти к шоссе и определить, куда идёт движение.

— Трусишь?

— Алексей Григорьевич, — горячо зашептал Акимов. — Я не трушу, но вы же понимаете, я никогда не ходил в разведку и не знаю...

— А ты не думай «разведка», а просто выйди на опушку и погляди. Ну, ступай.

Акимов и Трофимов ушли. Гудимов глядел им вслед, невесело усмехаясь. Кто скажет, что это умелые разведчики, ловкие партизаны? Управдел райкома и районный судья... Но когда-нибудь ведь всем приходится начинать.

К Гудимову несмело приближалась Ольга Трубникова. Она тоже казалась ряженой в мужских бриджах и сапогах, в кожанке поверх белой блузки, с рассыпающимися светлыми волосами, подстриженными по-мальчишечьи коротко. Когда ж это она постриглась? Хорошая у неё была коса, золотая, а на конце — почти белая и пушистая. И сама Ольга всегда казалась свежей, как утренний холодок; всё в ней было привлекательно и недоступно — девичий мир, к которому и тянет, и страшно подойти... Но сейчас Ольга напомнила своего брата, Бориса Трубникова, и это воспоминание было Гудимову неприятно.

— Ну что? — спросил он сухо.

— Разрешите поговорить с вами, товарищ командир, — опустив глаза, сказала Ольга.

— Садись, — он показал ей на траву рядом с собой.

— Алексей Григорьевич. . — Она умоляюще дотронулась до руки Гудимова, и губы её дрогнули. — Вы ничего мне не говорите. Что Борис?

— Я ж тебе сказал. Он эвакуирует оборудование завода и мастерских.

— Я не о том спрашиваю вас. Вы мне не доверяете?

— Как ты думаешь, я бы принял тебя в отряд, если бы не доверял?

— Алексей Григорьевич... он себя позорно вёл, да? Я чувствую, что он не так себя вёл. Все молчат, но я ведь понимаю... Я себе места не нахожу.

— Слушай, Ольга, — Гудимов сжал её руку и сразу отпустил. — Я любил Бориса и был дружен с ним. Но я перестал любить его и перестал считать его другом. Он поступил допустимо, но я ждал, что он поступит иначе. Вот и всё. А то, что он забыл о тебе и не увёз тебя с собою, это ещё

штрих.

— Я бы всё равно не уехала!

— Ну, и не будем говорить об этом. Только запомни: моё отношение к тебе совершенно не зависит от моего отношения к твоему брату.

Ольга молчала, сурово сжав губы.

— Как у вас дела с землянкой?

Ольга оживилась, в глазах затеплилась ещё несмелая улыбка.

— Очень хорошо получилось. Вы зайдите поглядеть. Совсем просторно. И самовар мы почистили. Коля воды принёс. Чуть начнёт смеркаться, поставим самовар.

— Как на даче.

— А что же? Мы ведь надолго здесь, надо устраиваться.

Гудимов прислушался и знаком велел Ольге сделать то же самое. Ольга смутно услышала далёкий гул машин, и взгляд её стал напряжённым.

— Оля... А ты веришь, что мы можем быть полезны?

— Да, — ответила она быстро, не задумываясь. Потом задумалась, с некоторым удивлением вглядываясь в хмурое и даже недоброжелательное выражение лица Гудимова. — Да, — повторила она, — не сейчас, не сегодня, но когда их основные силы пройдут. А как же?

Гудимов медлил, тоже вглядываясь в лицо своей собеседницы. Затем тихо заговорил:

— Конечно, так, Оля. Но для этого нам надо много поработать. Очень много. Какие мы в данный момент партизаны? Дачники, застигнутые грозой в лесу! Те, кто посильнее характером, должны будут работать, как черти, чтобы сколотить из группы дачников настоящий боевой отряд. Можешь ты это?

— Постараюсь.

Ольга ответила просто, поглядела на Гудимова ясными, умными глазами, в них было больше раздумья, чем уверенности, и это понравилось Гудимову. Не хотелось ему показной бодрости.

— Ну, и отлично. Так вот, для начала, возьми с собою кого-нибудь из твоих комсомольцев и ступайте к железной дороге. Поглядите, что там творится. Имей в виду, что дорога, должно быть, целиком у немца, так что не зарывайтесь.

Он оставил лагерь на своего заместителя — прокурора Гришина, и пошёл один в сторону города. Лес был знаком ему с детства, он знал здесь все грибные и ягодные места. Но теперь и в тишине леса, и в ярких пятнах солнца, пробивающихся сквозь листву, и в малиннике на опушке леса — во всём было что-то новое... близость врага?..

У опушки Гудимов залёг в кустарнике, огляделся и медленно пополз. Теперь он видел очертания города — но разве ему нужно было видеть, разве он не представлял его себе так ясно, как только можно? Каждую крышу, каждый палисадник, каждый ухаб на улице... От моста взбегает на пригорок Курортная улица. Направо — затерянные в сосновом лесу домики детского оздоровительного лагеря. Зимой и летом приезжали сюда ленинградские бледненькие ребяташки, лечились здесь, дышали сосновым воздухом и уезжали румяными, окрепшими. Теперь домики стоят заколоченные, а ребяташки... где они? Увезены в переполненных поездах на восток, надолго оторванные от родителей, от родного Ленинграда. Или бегают по пыльным улицам, перегороженным баррикадами, и под воющий рёв сирены укрываются в подвалах, превращённых в бомбоубежища?

Отсюда Гудимову видны были только окраинные дома и сады, но сейчас он видел отчётливо, до мельчайших подробностей и то, что скрыто от глаз — пожарный сарай, новый стадион, куда сбегалась молодёжь из всех домов отдыха, приземистое здание лодочной станции и расчищенную площадку у излучины реки... Сюда весной начали свозить строительные материалы для нового лёгочного санатория. В райкоме на стене ещё и сейчас висит, наверно, проект Марии Смолиной. Она называла его «Верю в здоровье». Стройные, чистые контуры, много мягкого света, много воздуха и зелени, крыша — балкон, частью застеклённый, для прогулок в дождливую погоду... Гудимов вдруг отчётливо представил себе, как рыжий нахальный немец тычет грязным пальцем в светлые листы проекта и хохочет: «Жаль, что не успели построить, мы бы открыли уютный публичный дом!»

От ненависти, стыда и отвращения у него пересохло во рту. Речка журчала совсем близко. Вода в ней всегда холодна, и по левому берегу течение нанесло песчаную отмель, на которой так хорошо бывало погреться на солнце после купанья. Если бы можно было хоть на миг окунуться в холодную быстрину... припасть губами к струящейся влаге... Нет, нельзя. Немцы, быть может, смотрят из окна ближайшего домика на его речку, на его лес, на его малиновые заросли по краю леса...

Впрочем, есть ли в городе немцы? Сколько видит глаз, все окна закрыты, все сады безлюдны. Будто вымер город. Далеко, с другой окраины города, поднимается к небу вялый дым — должно быть, догорает станция. А сюда, возможно, ещё не добрались?..

Он как-то вдруг заметил трёх человек, спускавшихся по улице к берегу. Они шли, взявшись под руки. В середине — женщина. Как странно они шли!..

Прежде чем Гудимов разглядел, что двое других — немцы, женщина отделилась от них и пошла, спотыкаясь, к реке. И тотчас он узнал её — Белякова, заведующая районной страхкассой, скромная, исполнительная, вечно о ком-то хлопочущая женщина. Он ей давал рекомендацию в члены партии несколько лет назад... И вот она идёт, спотыкаясь, втянув голову в плечи, потом ускоряет шаг, оглядывается... Выстрел, и женщина падает, цепляется за землю, переваливается через край обрыва и остаётся неподвижной на отмели.

В ту же минуту Гудимов тоже выстрелил, и один из немцев упал, выронив автомат. Второй немец побежал назад, залёг у частокола и начал беспорядочно стрелять в сторону леса.

Белякова лежала на отмели, положив голову на руку, как будто спала.

Гудимов выбрался из кустарника, ползком добрался до леса и побежал. Возбуждённый своим неожиданным поступком, он не сразу сообразил, что немцы не решатся углубиться в лес. Он присел у малиновых зарослей, сунул в пересохший рот несколько ягод и прислушался к наступившей тишине.

«Правильно ли я поступил? — думал он. — Не предупредил ли я их до времени, что в лесу есть партизаны? Хотя, что ж! Пусть знают. Пусть боятся. Они всё равно не найдут нас. Зато Белякова отомщена... Мог ли я думать тогда, что моя рекомендация пройдёт такую страшную проверку?.. Один гад уже поплатился за жизнь Беляковой. Один — это мало. Но ведь сегодня наш первый день. Почему они схватили Белякову? Выдал её кто-нибудь? Или она держалась с ними гордо, независимо, не желая смириться? Но почему она оказалась в городе — не успела уйти? Кого-нибудь устраивала, спасала, а о себе подумать, как всегда, забыла... Да, это не Трубников... Именем Беляковой мы назовём этот детский лагерь, когда вернёмся. И памятник поставим вот здесь, над обрывом. А пока — мстить за неё... Счёт начат. Даже легче дышать от того, что счёт начат.»

Подходя к партизанскому лагерю, Гудимов решил обойти его кругом и проверить бдительность дозорных.

— Стой!

Гудимов не понял, откуда идёт голос, и с интересом остановился.

— Пароль, — снова раздался голос.

— Народ.

Зашевелился кустик. Курносое лицо пионерработника Коли Прохорова выглянуло из-за кустика, потом Коля встал и кустик вместе с ним.

— Товарищ Гудимов, — обрадовался Коля. — А я даже струхнул — идёт кто-то и прямо на меня, прямо на меня.

Гудимов видел, что Коля совсем не струхнул, что он по-мальчишески доволен своей выдумкой и своими новыми обязанностями, как был бы доволен любой увлекательной военной игрой, каких он немало проводил, руководя пионерами.

— А ведь вы меня не видали, правда? — спрашивал он.

Второй дозорный лежал в траве и, видимо, замечтался, — он вскочил, когда Гудимов уже подходил к нему. Гудимов отчитал его и сердитым пришёл в лагерь.

— Разведчики вернулись?

— Нёт ещё.

Гудимов поглядел на часы. Он ходил больше трёх часов. До железной дороги было ближе, чем до города. До развилки дорог немного дальше. Но пора бы уж им вернуться! Оля смелая и неопытная, и она очень хочет оправдаться за брата..

— Почему не рапортуешь по форме? — резко сказал он Гришину.

— Так ведь всё в порядке, — удивлённо сказал Гришин и присел рядом с Гудимовым на поваленное дерево. — Нас мало, Алексей Григорьевич, — тихо проговорил он. — Неужели мы будем формалистику разводить?

— Прокурор ещё называется! — огрызнулся Гудимов. — А формалистику будем разводить обязательно. Ты проверил, как твои дозорные караулят? Не проверил? Что же ты делал здесь, начальник?

Уже темнело, когда вернулась Ольга.

— Мы пытались испортить рельсы, — огорчённо сказала она. — Но у нас не было инструмента... Два поезда прошли мимо нас... с орудиями... и оба — к Ленинграду...

Трофимов вернулся часом позже, а Василий не вернулся совсем.

Вытянувшись перед Гудимовым, как боец, Трофимов толково и не торопясь доложил всё, что удалось установить разведкой: танковая колонна и мотопехота прошли от развилки вправо, на хуторах за Косой горой пусто, в деревнях Ивановка и Старая Ивановка находятся ещё наши части, отступившие от станции.

Партизаны стояли кругом и слушали. Трофимов замолчал, и все молчали.

— А где Акимов? — наконец, спросил Гудимов.

— Акимов ушёл от меня возле Старой Ивановки.

— И что же он сказал тебе? — с трудом выговорил Гудимов.

— Сказал, что... Товарищ Гудимов, нехороший разговор был. Не стоит повторять.

Гудимов слышал напряжённое дыхание товарищей. Лиц не разглядеть

было, но, и не видя их, Гудимов понимал, что гнев, смятение и обида на всех лицах.

— Отчего же, повтори, — сказал он, — здесь партизаны, а не барышни. Им надо знать, как выглядят трусы.

— Он сказал, что если Красная Армия отступает и не может справиться с такой силищей, то семнадцать человек, плохо обученных и вооружённых, тем более ничего не сделают, и глупо погибать ни за што, ни про што...

— Ни-за-што, ни-про-што? — со злобою повторил Гудимов. И вдруг закричал, наступая на Трофимова — А ты что же? Отпустил с миром? Какой ты партизан, если предателя милуешь?

Он сам понял, что его крик неуместен. Трофимов часто и громко дышал, переминаясь с ноги на ногу, а партизаны стояли так тихо и неподвижно, как будто и не дышали совсем.

— А я сегодня немца убил, — подавив раздражение, сказал Гудимов и, уловив, как сразу потянулись поближе к нему люди, начал рассказывать по порядку всё, что произошло. Рассказывая, он думал о Беляковой и о тех, кто окружал его. Это же его актив, товарищи, с которыми столько лет рос, учился, работал. Все они добровольно пошли трудным партизанским путём. Опыта нет, жутко, но ведь и у него нет опыта, и ему жутко.

— Вот так погибла наша Белякова, — кончил он и всем корпусом повернулся к Трофимову, всё ещё стоявшему навтытяжку. — А ты, шляпа, помиловал дезертира, предателя! Акимов побоялся, что нас семнадцать, и удрал, чтобы нас стало ещё меньше. Попади такая сволочь к немцам, разве он не выдаст всех нас, чтоб шкуру свою спасти? А ты отпустил его.

— Я не догадался, — сказал Трофимов, облизнув пересохшие губы.

— Вот и плохо, что не догадался, как партизан должен с врагом поступать. — Он помолчал. — Я думаю, товарищи, что за свой позорный проступок партизан Трофимов подлежит расстрелу.

Ольга ахнула. Трофимов шагнул вперёд и снова застыл навтытяжку.

— А ты уж и приготовился? — добродушно сказал Гудимов. — На первый раз — забудем, благо ты разведку провёл хорошо и сам понимаешь. Тем более, что без Акимова мы стали не слабее, а сильнее. Верно, друзья? Или у нас ещё найдутся сомневающиеся?

— Нет у нас таких! — гневно сказала Ольга. — Мы уже знали, на что идём!

— Акимов и всегда был чиновничьей душой, — буркнул Коля Прохоров. — Из него всё равно толку никакого.

— С Акимовым — моя вина, не разобрался в человеке, — признался

Гудимов и заговорил, выбирая самые точные и строгие слова. — Проверьте себя, товарищи. Решать надо сегодня и до конца войны. Мы здесь не играем в партизан, а взяли на себя тяжёлую и страшную задачу. Каждый промах может стоить жизни всем. Начнём воевать — нам Акимовы не нужны. Кто в себе не уверен, пусть скажет сразу. Завтра за разговоры о беспомощности буду расстреливать на месте.

В полной тишине стало слышно, как пролетел поверху, над деревьями, ветерок и как где-то далеко бухает артиллерия.

— Ну, добре, — сказал Гудимов и тронул Трофимова за плечо. — Ступай делить сухари, раз жив остался. И даю тебе десять дней сроку — отличиться.

— Было бы где, — с облегчением откликнулся Трофимов.

Ночью, когда все уснули, Гудимов проверил посты, а потом прилёг на траве под деревом. Летнее северное небо тускло светилось между ветвями. Из ближайшей землянки доносился мощный храп. Гудимов не знал, кто из его бойцов храпит во сне. А ведь в партизанской жизни и это может иметь значение... Каждую привычку, каждое свойство характера надо знать в каждом человеке. Ведь от любого из шестнадцати зависит жизнь всех остальных. Они все доверились друг другу и — больше всего — командиру... Они заснули успокоенными, потому что поверили в его твёрдость, в его командирское умелое руководство. До сегодняшнего вечера он всё ещё был для них Алексеем Григорьевичем, секретарём райкома, теперь он стал для них командиром. Их пока всего шестнадцать, но насколько легче было управляться с большим районом, чем с этой горсточкой людей!.. А Василий — сволочь. Как это вышло, что семь лет работала рядом такая мелкая гадина, а он не знал этого? Был аккуратный, исполнительный секретарь, любой протокол или резолюцию находил в одну минуту, никогда не забывал ни одного поручения... а души-то в нём и не было! И Борис оказался шкурником. Потихоньку, как вор, укатил на своей машине, бледный от страха, что его остановят... Как это он сказал накануне? «Разве ты не понимаешь, что сейчас самое важное — быть в Ленинграде, отстоять Ленинград!» Трусливый болтун! А здесь мы будем бороться за что? Не за Ленинград? Поезд с орудиями, пущенный под откос, — разве это не помощь Ленинграду? Дезорганизация тыла немецких войск, наступающих на Ленинград, — разве это не помощь Ленинграду?.. Да и остановит ли Трубников свой бег в Ленинграде? Нехорошие у него были глаза во время того разговора. Неискренние, бегающие. Знает ли Мария Смолина, кого она любит? Нет, конечно. Неоткуда ей узнать. А жаль. Она славная. У Ольги такое же умное, открытое лицо... Она-то



оказалась настоящей!.. Мария — та, наверное, уцелеет, Трубников увезёт её в тыл. А Ольга?.. Кто из них уцелеет, из шестнадцати?.. Никчемная дрянь, вроде Акимова и Трубникова, останется в живых... Но много ли шансов дожить до победы у них, у спящих сейчас в этом тихом лесу?

Гудимов боялся думать об этом даже наедине с самим собою, — но много ли они сумеют сделать, много ли они успеют сделать, вступив в неравную борьбу с металлическим чудовищем, от которого тяжёлый гул стоном идёт по земле?.

Гришин вышел из землянки, окликнул Гудимова, опустился рядом с ним на траву.

— Всё думаешь?

— Думаю, что надо начинать действовать, — вполголоса ответил Гудимов. — И начинать с железной дороги. Тол у нас есть, народу нужно немного. А эшелоны идут на Ленинград..

Мика Вихров вёл самолёт над облаками.

Иногда он врывался в клубящийся серый пар, и тогда ему казалось, что он прорезает облака собственным гудящим, послушным телом, настолько сильно было в полёте ощущение своей полной слитности с машиной.

Стараясь не выходить из облаков и осматриваясь «в четыре глаза», как умеют осматриваться только лётчики, наблюдая воздух над собой, под собою и со всех сторон, Мика то и дело скашивал глаз на зелёный городок, проплывавший под крылом. Сквозь пелену влажного пара, паутиной оседавшего на лицо, Мика, видел, а ещё больше угадывал очертания дворцов, извивы аллей в парках, похожих сверху на кудрявый зелёный мех, рассыпанные тут и там зеркальца прудов. По милым приметам он» угадывал знакомые места — висячий мостик над протокой, мраморную девушку с разбитым кувшином, из которого струйкой льётся вода, сидящего на скамье Пушкина, такого задумчивого и такого живого, что даже забывалось, что это памятник, а хотелось заговорить с ним, пожалеть его и рассказать ему о себе... Мысль о том, что именно сюда устремляются тяжело нагруженные бомбардировщики, вызывала у Мики ярость и боль, и острое чувство своей личной ответственности. Он был один в небе. От него одного зависело, сбросят или не сбросят десятки бомб на маленький зелёный городок, где мила сердцу каждая тихая улочка, каждый уголок парка...

Город Пушкин! Лётная школа, робость и задор первых полётов, оценка учителя: «у тебя, парень, есть хорошие задатки» — скупая оценка, от которой он ходил неделю в состоянии восторга. Страстные ночные споры с закадычными друзьями по школе о том, что такое настоящий лётчик и настоящий человек. Первый самостоятельный вылет на глазах у инструктора и возбуждённых дружков... Успехи, благодарность в приказе, упоение оттого, что почувствовал полную уверенность в воздухе, овладение фигурами высшего пилотажа, новая благодарность в приказе и гауптвахта на десять суток за «воздушное хулиганство».. До сих пор весело вспомнить, какой каскад сложных фигур устроил он над аэродромом, упиваясь своей властью над машиной и ощущением своего мастерства. Вот когда он поверил, что может летать по-чкаловски! И даже гауптвахту он принял, как деталь чкаловской биографии, потому что Чкалову тоже было тесно в рамках учебных задач и Чкалов тоже расплачивался за озорство в

воздухе многими сутками ареста... На гауптвахте компания была весёлая, дружная, книг было много, и Мика впервые в жизни пристрастился к чтению, решив прочитать подряд всю серию романов о молодых людях XIX века, которую издавали, как объяснили Мике, по инициативе самого Горького. Жаль было, что среди этих книг нет повести о жизни Пушкина. Хотелось узнать и понять причины задумчивой грусти молодого поэта, каким он запомнился Мике по памятнику возле лица. Но такой повести не было, и вместо неё Мика успел прочитать только книгу с трудно произносимым названием «Кинельм Челлингги» трудно произносимого автора Бульвера Литтона, и чужая неудавшаяся любовь потрясла его, и он украдкой утирал слёзы, читая прощальное письмо девушки: «Дорогой, дорогой...» Ему самому захотелось необыкновенной, самоотверженной, несчастной любви, и когда приехала из Ленинграда Соня и дружки устроили им беглое свидание через окно, — он говорил такие многозначительные и печальные слова, что Соня спросила, здоров ли он, и сказала на прощанье, что он похож на Печорина. Только на второй день Мике удалось без ущерба для самолюбия выяснить, кто такой Печорин, и последние два дня на гауптвахте прошли за чтением «Героя нашего времени».

Когда он вернулся в школу, товарищи встретили его, как героя, но совсем не печоринского типа, и даже инструктор обращался к нему с уважением, потому что как-никак Мика показал «класс», и сам начальник школы сказал о нём, что Вихров «великолепен в воздухе», а это было главным, поскольку Мика был лётчиком. Затем снова приехала Соня, и они гуляли с нею в парке и катались на лодке по озеру, а потом вышли поглядеть Турецкую баню и долго сидели на ступеньках у воды, разговаривая о каких-то пустяках и думая о другом. Потом они пошли по тенистым аллеям, так и бросив лодку возле Турецкой бани («Чорт с ней, с лодкой, найдут, кому нужно», — сказал Мика), и всё было чудесно, и он чувствовал себя влюблённым и благородным, как Кинельм Челлингги. Но на висячем мостике, когда Соня взяла его за руку, он вдруг поцеловал её — и опомнился от звонкой пощёчины. В этом не было ни романтики, ни красоты. Пощёчина была отпущена сильной и решительной рукой. Мика разозлился до того, что повернулся и пошёл прочь, чтоб никогда не встречаться больше. Подумаешь, недотрога! А Соня крикнула вслед: «Советую вернуться и сдать лодку, а то без документа опять попадешь на губу!» Самым унижительным было то, что лодку, действительно, пришлось вернуть и лодочники не могли не понять, что лётчик потерпел неудачу... Но при выходе он столкнулся лицом к лицу с Соней. Её смуглое лицо

выражало такое невинное добродушие, что невозможно было расстаться с нею, тем более, что тут и там попадались гуляющие курсанты и было бы глупо оставить Соню, а потом увидеть её с кем-либо из обрадованных дружков. Мика взял её под руку и строго сказал, что проводит её на вокзал, так как считает ниже своего достоинства обижаться на женщину. Они дошли до вокзала молча и долго бродили взад и вперёд по перрону, и это молчание на людях сближало их. Он понял, что любит её, несмотря на пощёчину, любит не как Кинельм Челлингги и не как Печорин, а совсем по-другому и очень нежно, и в конце концов даже приятно, что она недотрога. Он сказал, что она не должна сердиться, потому что он не хотел оскорбить её и она ответила: «я знаю», после чего они пропустили два поезда и всё блуждали по перрону, и все люди, и все поезда мира не имели к ним ни малейшего отношения. Затем они очутились в туннеле под путями, над ними прогрохотал ещё один поезд, а они стояли в полумраке и целовались, отрываясь друг от друга, когда кто-нибудь проходил мимо..

Мика нашёл глазами белое нарядное здание вокзала и почти одновременно увидел бомбардировщиков на встречном курсе. Девять тяжело нагруженных самолётов плыли медленно, чётким строем.

Мгновенно забыв всё на свете, Мика углубился в клубящийся пар облака и стал забираться выше бомбардировщиков, идя на сближение с ними и заходя в сторону солнца, чтобы выбрать удобный угол нападения.

Бомбардировщики шли напрямик к маленькому зелёному городку, шли, не таясь, с самоуверенной наглостью. Как укол в сердце, пронзило Мику чувство ярости, он весь подобрался, и ярость стала холодной, сосредоточенно-спокойной, а ощущение слитности с машиной усилилось — теперь и пулемёт ощущался им как часть собственного тела. В точно рассчитанную минуту он вывалился из облака и нажал гашетку пулемёта, всем телом, слитым с самолётом, устремляясь на головной бомбардировщик. На какой-то миг он увидел белое лицо фашистского лётчика, а затем головной «юнкере» взорвался и из чёрного облака дыма стали валиться вниз его покорёженные обломки. Силою взрыва Мику потрянуло, он сумасшедше обрадовался, представив себе немецкого капитана с железными крестами и всю его паршивую команду, разлетевшуюся в клочья, и плавно развернул свой «ишачок», нацеливаясь на другой бомбардировщик. «Юнкеры» рассыпались во все стороны, заворачивая назад, и Мика погнался за двумя ближайшими, и снова обрадовался, увидев, что бомбардировщики сбрасывают бомбы в поле, чтобы облегчить себя. Ему удалось нагнать один «юнкере» и зайти ему в хвост. Взгляд упёрся в уязвимое место противника, туда же помчалась

струя пуль. Немца затрясло и окутало дымом, надо было подбавить ещё немного, но Мика не успел этого сделать. Из облаков выскочили два «мессершмитта», и всё внимание Мики разом сосредоточилось на том, чтобы увернуться от первой атаки и не допустить следующей.

Труден был бой маленького старого истребителя с быстроходными и более современными истребителями, Но уже не первый раз и Мика, и другие советские лётчики принимали такой бой, и не раз сбивали немцев с толку своей тактикой. Мика даже похвалился перед Соней, что «ишачок» маневреннее и никогда не подведёт, так что он ни за что не променял бы его ни на какие «мессеры». Сейчас, вычерчивая в воздухе стремительные линии и думая только о том, чтобы сбить противника и уцелеть самому, Мика использовал все хитрости выработанной коротким боевым опытом тактики неравного боя. Один раз ему удалось удачно развернуться и нырнуть под «мессера», послав ему в пузо пулемётную очередь, но «мессер» ускользнул невредимым, и Мика, выкрикивая ругательства, погнался за ним.

То, что произошло в следующую секунду, Мика толком не понял. Должно быть, он в азарте на короткое время упустил из виду-второго истребителя и не заметил его манёвра. Пуля свистнула у щеки, заставив Мику откинуться назад, а родной «ишачок» вспыхнул и начал валиться на левое крыло. Никакие попытки выравнять самолёт не удавались. Затем пламя дохнуло в лицо, и самолёт стал существовать отдельно от Мики — впервые непослушный и непонятный, дорогой, как сама жизнь, но уже обречённый.

Мика высвободился из кабины, оторвался от самолёта и увидел, как пылающий друг, беспомощно кувыркаясь, пролетел мимо него и врезался в землю.

Подтягивая стропы парашюта, Мика старался спуститься в лес, подальше от поля, где догорал самолёт, потому что не знал, кто там внизу — свои или немцы. И ему удалось дотянуть до леса. Зелёный курчавый мех быстро приближался, постепенно теряя сходство с мехом и распадаясь на острые пики елей, колючие шапки сосен и нежно-зелёные островки берёз. Мика влетел в зелёную гущу, цепляясь стропами за ветви, одна ветка больно хлестнула его по щеке... Всё! Тишина. Покой. Запах грибов и сырости.

Путь до своих потребовал полутора часов нудного блуждания — с остановками, с прислушиванием к шорохам и треску ветвей. В пути он старался не думать ни о чём, кроме самого пути: верно ли направление, где могут быть свои, не нарваться бы на немцев. Потом, когда он набрёл на

своих и ему дали мотоциклиста, Мика думал только о том, чтобы скорее добраться до полка, а в дороге, злясь оттого, что скорость и ветер в лицо были непривычными, земными, и трясло так, что душа может выскочить, он забеспокоился, как он будет докладывать Комарову о бое и как он скажет, что машина погибла... И впервые в жизни подумал о самом себе враждебно, презрительно, и ему стало горько, что он не погиб вместе с машиной... На кой чорт он нужен теперь и другим и самому себе?!

В полку его встретили радостно. Сообщение о гибели самолёта было уже получено от наземных постов, и Комаров, выслушав доклад Мики, деликатно сказал, что полтора самолёта за один — не так уж плохо, и послал Мику отдыхать. Но Мика видел, что Комаров еле сдерживает досаду — самолётов осталось вдвое меньше, чем лётчиков...

Мика пошёл обедать и ел с жадностью, так как здорово проголодался, но еда показалась горькой. Друзья окружили его, расспрашивали о бое, и Мика заметил, что они обращаются с ним не так, как обычно, а бережно и сочувственно, как с больным, и тогда ему стало до конца ясно то, что раньше он знал умом и во что не мог, не хотел поверить: другого самолёта ему не дадут, другого самолета нет...

Люба Вихрова только что пришла с работы, тщательно умылась — и поставила на плитку чайник, когда к ней ввалились два лётчика. Она сразу узнала старшего лейтенанта Глазова, большерукого, нескладного, очень доброго приятеля брата. Но Мику она узнала только тогда, когда он прошёл, не спрашивая разрешения, в комнату и поставил на стол бутылку водки.

— Пить будем, Соловушка, — сказал Мика и отвернулся, чтобы сестра не видела его дрожащих губ и некрасивой царапины на щеке.

— Вот уж не ждала вас сегодня, — щебетала Люба, накрывая на стол и стараясь показать, что она не замечает состояния брата: она решила, что он пьян.

Глазов хотел помочь Любе хозяйничать и разбил чашку. Его Люба тоже приняла за пьяного и даже спросила: «Не хватит ли вам на сегодня?»

— Нам на сегодня всего хватит, кроме водки, — ответил Глазов.

Тогда Люба выскользнула на кухню, позвала соседского мальчика, дала ему записку и скомандовала: «Одна нога здесь, другая там, и чтобы мигом собралась». И ещё не было налито по второй рюмке, когда появилась Соня. Мика восторженно покраснел, отодвинул рюмку:

— Ничего не понимаю... откуда ты взялась? Откуда вы знаете друг друга?

— А мы вместе баррикады строим, — сказала Соня. — Мы будем

сражаться, а ты будешь прикрывать нас с воздуха!

— Никого я не буду прикрывать! — крикнул Мика. — Кто я теперь? Без-ра-бот-ный! Лучше б я угробился вместе с самолётом.

Он уронил ершистую мальчишескую голову на руки. Глазов смотрел в тарелку, ничего не говоря, потому что он сам уже вторую неделю сидел без самолёта и не надеялся скоро получить машину. Женщины стояли над Микой и не знали, как утешить его.

— Перестань, Мика, — потрянув головой, сказала, наконец, Люба. — Решили пить, так давайте пить! Соня, возьми себе рюмку в буфете. Мика, подвинься, мы посадим сюда Соню. А я вам спою, спою со слезой — какую же сейчас другую споёшь? Теперь от грустной веселей становится, а от весёлой — слёзы..

И она пела, прикрыв глаза, высоким чистым голосом, а Мика пил водку и никак не мог напиться допьяна, и Соня, подавляя тоску, подливала ему водки и уговаривала выпить ещё, потому что женским чутьём угадывала, как нужно ему сегодня хотя бы короткое забытие.

Парило. Если смотреть в небо, от зноя рябило воздух. Внутри танка дышать было нечем, но на земле, возле танка, было приятно лежать, пожёвывая прохладные горьковатые стебли и поглядывая кругом, — тишина, безлюдье, сонный покой... И поле впереди непотоптанное, всё белое от ромашек.

— Интересно, есть тут кто, кроме нас, или нету? — вслух подумал Алексей Смолин, потянулся за ромашкой и стал обрывать лепестки, приговаривая: «свои, немцы, свои, немцы, свои..» Вышло «свои». Алексей отбросил стебель и покачал головой: — Что-то непохоже, чтоб свои здесь были. Врёт ромашка.

— Она только на любовь приспособлена гадать, — сказал Гаврюшка Кривоzub. — На любовь погадай.

Алексей сорвал травинку и попробовал её на вкус, но тоже отбросил — травинка была горькая.

— Ты заметь, — сказал он задумчиво, — если позиция вроде этой, обязательно нас с тобой посылают. Любит нас Яковенко.

Алексей привёл два танка на указанную ему позицию сегодня на рассвете. Задача была для него понятна и не нова — устроить засаду, одну из тех хорошо замаскированных и дерзких засад, которыми ошетибилась ленинградская земля, чтобы со страстным упорством во что бы то ни стало задерживать, изматывать, морально подавлять врага. Одну из тех засад, где численному превосходству наступающих противопоставляется внезапность удара, преимущество скрытой, хорошо подготовленной позиции в родных, до подробностей знакомых местах, когда каждое болотце, роцца, поворот дороги помогают своим и вредят чужакам. Одну из тех засад, где наглой самоуверенности противостоит злое мужество и готовность погибнуть, но не пропустить врага... Что ж, место было подходящее — с одной стороны болото, с другой лес, а между ними холмистый перешеек, вот это ромашковое поле и роцца, которую немцам никак не миновать. Роцца молодая, жидкая, но очень удобная для наблюдения и для смены позиций. Воевать здесь можно! Танкисты быстро окопались, замаскировали машины, отрыли запасные позиции, сделали расчёты стрельбы по ориентирам. Алексею всё больше нравилась позиция — впереди высотка, между высоткой и роццей поле — немцы будут как на ладони, только бей. Экипажи обоих танков были в приподнятом настроении. Серёжа Пегов



даже хорохорился: «пусть-ка сунутся!» Только одно смущало Алексея — давая задание, Яковенко сказал ему, что засада будет поддержана пехотой, а на месте Алексей никого не обнаружил. Наспех отрытые окопы по опушке рощи стояли необжитые, пустые. Алексей связался по радио с Яковенко и получил ответ: «Занимайте позицию впредь до нового распоряжения и действуйте по обстановке». Пока что немцы не появлялись, и после неторопливого обеда командиры лежали в тени, радуясь передышке.

— Впечатление такое, что тут километров на десять — ни души, — сказал Кривоzub.

— Я ж говорю... — лениво отозвался Алексей. — Война, будь она неладна!

Они помолчали.

— До чего ромашки здесь много, — вздохнул Кривоzub. — И никакого ей дела нет, воюем мы тут или прохлаждаемся... Ишь, цветут!

— Когда в небо смотришь, ни в какую войну не верится. Тесно на земле, что ли?

— Мне тесно! — убеждённо откликнулся Кривоzub. — С фашистами? Тесно!

— Ну, и мне с ними тесно. Я не о том... А ты никогда не думал, Гаврюшка, что вот тебя могут убить, а небо будет всё такое же, и трава такая же, и всё в мире будет как всегда, кроме тебя?.

— А чего о смерти думать? — неохотно откликнулся Кривоzub. — У нас говорят: хуже, когда боишься — лиха не минешь, а только надрожисься.

— Я не из страха. Я понять хочу. Я всегда думал так — что вот вокруг большой мир, и это всё — моё, для меня, живи, пользуйся, сумей только прожить хорошо, умно, интересно. А сейчас весь этот мой мир под угрозой, и не он для меня, а я для него, и чтобы он жил, мне, может, умереть придётся. Готов я? Не хочется, конечно, а готов.

— А я знаешь чего хочу? Дожить до такого дня, когда наши танки по Берлину прогрохочут. Или хотя бы по Кенигсбергу или какой там город первый от нашей границы. Даже помереть тогда согласен, только бы сперва одним глазком...

— Товарищ старший лейтенант, противник!

Алексей мгновенно очутился на своём командирском месте и прильнул глазом к смотровой щели. Два немецких лёгких танка медленно ползли из-за высотки к полю, белому от ромашек. Люки у них были открыты, и танкисты, прикрываясь от солнца рукой, лениво поглядывали по сторонам.

Алексей знал, что Гаврюшка с такой же быстротой, как и он, занял

своё место и не должен стрелять до того, как выстрелит командир взвода. Но Алексей побаивался, что у Гаврюшки может не хватить выдержки, а ему хотелось подпустить танки как можно ближе к роще, где им придётся разворачиваться, и тогда бить наверняка. Эти два беспечных танка были, очевидно, передовыми. Но, черт возьми; как они нахально двигаются! Гусеницы медленно подминают траву, мерцающую белыми звёздочками ромашек. А фрицам, видно, хорошо дышится на вольном воздухе. Курортная поездка! Ну, погодите!

— Товарищ старший лейтенант, — прошептал заряжающий Костя Воронков, — пора бы...

Алексей дёрнул бровью — нет, мол, не пора. Водитель Носов и радист Коля Рябчиков то и дело снизу заглядывали в башню. Алексей, успокаивая, поднял ладонь и прикусил губу, чтобы унять собственное нарастающее возбуждение.

Миновав середину поля, задний танк вышел на одну линию с передним и стал забираться вправо. В гулкой тишине Алексей слышал только рокот моторов и громкий стук своего сердца. И оттого, что тишина была такой гулкой и всё его существо было напряжено и приковано к неспешно приближающимся танкам, ему стало казаться, что немцы почуют засаду. Но танки шли спокойно. Они, видимо, решили обойти рощу с разных сторон. «Замечательно!.. Учебно-показательные мишени, как на стрельбах... Гаврюшка, конечно, догадается взять на себя левый танк, а мне — правый. Вот он сейчас доползёт до кустика, и как только его башня поравняется с кустиком (ориентир точно рассчитан), надо бить по башне. Только бы Гаврюшка выдержал. . его, наверное, сейчас трясёт от нетерпения, и дисциплина ему как нож острый... Вот сейчас... ещё минуту...»

Немцы были не более чем в трехстах метрах. Они не могли видеть хорошо замаскированную засаду, но, быть может, что-то им почудилось или осторожность взяла верх над желанием подышать воздухом, — командир головного танка полез вниз, чтобы закрыть люк. В то же мгновение Алексей ударил по башне, и не прошло и секунды, как выстрелил Гаврюшка — два выстрела слились в один.

Сквозь расходящиеся дымы выстрелов Алексей увидел, как полетели вверх рваные части башни правого танка и как задымил и вспыхнул левый.

Через несколько минут всё было кончено. Танки горели голубым пламенем среди белых ромашек. Немцы не выбрались из машин. Только на правом танке открылся было люк водителя, и ослепший от дыма немец высунулся наружу, но пулемётная очередь прошила его, и он повалился

назад.

Алексей выглянул наружу и увидел над соседним танком потное лицо Гаврюшки.

— Двух как не бывало! — крикнул Кривоzub.

— Сейчас появятся ещё, смотри в оба, — строго сказал Алексей.

Они ждали, вглядываясь в залитый солнцем горизонт так пристально, что слёзы набегали на глаза.

Грузовик с пехотой выскочил из-за высоты, застопорил и дал полный назад.

«Начинается», — сказал себе Алексей.

Он уже знал, что немцы не полезут напролом малыми силами, что они подтянутся и ударят по роце так, чтобы наверняка обезопасить себе путь, что скоро его два танка испытают на себе всю мощь ударов, наносимых злобно, широко, без всякой экономии средств. И он внутренне приготовился к тому, чтобы не дрогнуть, когда испытание начнётся.

Артиллерийский снаряд просвистел над танками и разорвался в роце далеко позади. Алексей плотно закрыл люк. Надо было ждать и не выдавать себя.

Снаряды падали по всей роце, один врылся в землю так близко, что танк тряхнуло и осколки зацокали по броне. От пыли и дыма ничего не видно было.

Потом стрельба прекратилась, и наступила тишина — необыкновенная, глухая, до звона в ушах. На землю пали сумерки, над болотом тонкими струйками, как табачный дым, шевелился туман — и каждая струйка тумана, каждое тёмное пятно вызывали настороженность, приковывали внимание до рези в глазах.

Ушли немцы? Притаились за высотой? Готовятся к удару?..

С наступлением темноты немцы не выдержали, стали нервничать. Над высотой взлетела ракета. Яркий неестественный свет озарил ромашковое поле, чёрные остовы обгорелых танков, склоны холма. На минуту ромашки вспыхнули, как огромный рой светляков. Потом всё погрузилось во мрак. И тотчас снова взлетела ракета.

Наблюдение за немцами велось неослабно. Все устали. Поели всухомятку, по очереди. Так же по очереди пытались спать, но никому не спалось.

Утреннюю зарю укрыли непроглядные тучи. Пошёл дождь. Берёзы стряхивали на землю отяжелевшие листья. Алексей увидел, что за сутки облетело много листьев, покрытых первой ржавчиной увядания. Осень?.. А может, и снаряды вчера помогли?..

В шесть часов Яковенко запросил по радио, как дела. Алексей коротко доложил об успехе вчерашнего дня и добавил: «К бою готовы». Ему хотелось спросить об обещанной поддержке, но он знал, что Яковенко сам всё понимает.

— Ваша задача — выиграть хотя бы сутки, — сказал Яковенко. И потеплевшим голосом добавил: — Желаю успеха.

Погода навевала скуку. Дозорные на опушке мокли и зябли. Алексея неожиданно сморило, и он проспал — может быть, полчаса, может быть, всего несколько минут. Сон освежил его, он выскочил из машины, чтобы размяться, и молча курил, слоняясь подле блестящего от воды танка. Он очень обрадовался, когда Кривоzub тоже вылез покурить.

Гаврюшка Кривоzub окончил военную школу уже во время войны и во взвод Алексея пришёл два месяца назад, в начале боёв на лужских рубежах. Теперь Гаврюшка считался уже бывалым танкистом, потому что два месяца на лужском плацдарме стоили двух лет. В тяжёлых, почти непрерывающихся боях, сражаясь малыми силами против танковых и моторизованных колонн врага, молодые воины приобретали опыт, менявший все их школьные представления о правилах и методах танкового боя. Они научились думать: «нужно — значит можно» — и побеждать в схватках, где, казалось, неизбежно было поражение. Они считали каждый день, замедливший продвижение вражеского нашествия, и сами потом удивлялись, подсчитывая, что дни слагались в недели и месяцы.

И Алексею и Кривоzubу запомнились бои под Молосковицами. Из продолговатой роци, прозванной танкистами «галошей» за её форму, они нанесли внезапный и сильный удар по танковой колонне немцев и перебили, подбили и сожгли много танков. Такого крупного успеха им еще не выпадало, и Алексей с Кривоzubом ликовали, поверив, что наступление немцев остановлено, что дальше они не пройдут. Пожалуй, эта совместно пережитая радость после многодневных изнуряющих боёв и положила начало их дружбе.

А потом выяснилось, что немцы прорвались глубоко на правом фланге и захватили станцию Молосковицы, а на левом фланге заняли деревню Лялино и совхоз, так что роца оказалась в «мешке». Надо было либо организовать круговую оборону в «галоше» и драться здесь до последнего, либо пробиваться назад через узкую горловину между станцией и совхозом. Приказано было пробиваться, пользуясь ночной темнотой. При отступлении танк Алексея, потрёпанный в бою, не завёлся и отстал от других. Они выбрались только перед рассветом, на малом ходу. Явившись к Яковенко, Алексей узнал, что Кривоzub ещё в середине ночи с двумя

бойцами пошёл к нему на помощь и до сих пор не возвращался. Алексей разволновался и хотел идти на поиски Кривокуба, но Яковенко прикрикнул на него: «Полезай на печку и спи, ты мне для дела нужен. Дружки чортовы!» Алексей улёгся на лежанке и почти сразу крепко уснул, так как не спал двое суток, но перед сном успел впервые осознать, что они с Гаврюшкой действительно сдружились по-настоящему и ничего не может быть для него больнее, чем несчастье с другом. Проснулся об оттого, что знакомый голос рапортовал совсем близко:

— Товарищ капитан, обшарил всю роццу, Смолина не обнаружил и танка тоже не обнаружил, нету там его танка.

— Гаврюшка! — крикнул Алексей, вскакивая, и больно стукнулся головой о потолок.

— Шлем надевать надо, когда спать ложишься, — серьёзно сказал Яковенко.

Гаврюшка полез наверх:

— Да ты здесь? Чорт косою! Я ж из-за тебя...

Они обнялись и крепко поцеловались. Алексей почувствовал слёзы на глазах и завозился, освобождая лежанку, а Гаврюшка виновато объяснял:

— Понимаешь, лазил по роцце и лазил. Немецкий разговор то справа, то слева. Думаю: неужто тебя угрохали?

— Ложись, — сказал Алексей.

Сидя подле друга, Алексей рассказывал как было дело, и не сразу заметил, что Гаврюшка слит. Тогда он прикрыл его курткой и ещё некоторое время сидел рядом, растроганный нежностью впервые понятого чувства. Какой дурак выдумал, что люди грубеют на войне? Никогда еще не было его сердце так открыто для любви и нежности, для воспоминаний и надежд... А проявлений меньше — так разве чувства сильны проявлениями?..

С тех пор они не раз бывали в разных переделках и знали, что в любой беде друг выручит, не подведёт, не оставит.

Сейчас у Гаврюшки был довольно помятый вид, и молодые озорные глаза его смотрели спросонья тускло.

— Не вылазят фрицы, — пробурчал он, зевая. — Скука!

— Ещё вылезут.

Они оба прислушались к тишине, звенящей и томительной. Алексей скосил глаза на часы, сказал:

— Одни сутки уже прошли.

— Они ещё потопчутся, — добавил Кривокуб.

— Дадутся им эти сорок километров, — сказал Алексей без

пояснений, и Гаврюшка понял его, кивнул головой.

— Длинные будут для них. И чем ближе к Ленинграду, тем длиннее.

Они оба ничего не знали о том, что происходит за пределами вот этой рощи, ромашкового поля и болота. Тут пролегала одна из многих возможных дорог наступления, здесь они должны были стать насмерть, чтобы не пропустить немцев. Они знали, что выстоят, и верили, что так же стоят, то же чувствуют их товарищи на всех других возможных дорогах, — разве может быть иначе, когда за ними — Ленинград?

— Сорок пять минут в дачном поезде, — вспомнил Алексей. — Сорок пять минут! В сорок пять дней не пройти им...

— Пожалуй, и в девяносто не пройти, — отозвался Кривоzub и быстро взглянул на друга — согласен ли он?

— Надо только, чтоб каждый делал своё дело, — сказал Алексей.

И как бы в ответ собственным мыслям вспомнил:

— А здорово у нас с тобой вчера вышло.

— Мы с тобой всю войну провоюем, и всё здорово будет.

— Спелись?

— Ага.

Через час от Яковенко пришёл приказ: одному танку остаться на позиции, второму немедленно вернуться за срочным заданием. Решение, кому оставаться — предоставлялось Смолину.

— Ну, что тебе отстукали? — полюбопытствовал Гаврюшка.

— Придёт время, сообщу, — сухо, по-командирски ответил Алексей.

Не обижаясь, Гаврюшка отошёл к своей машине.

Алексей стоял молча, стиснув челюсти, и поглядывал в сторону высоты, проступавшей сквозь дождливую муть, и на серое небо, где ветер уже рвал и разгонял тучи. После ночи, освещённой тревожным сиянием ракет, занимался день неизбежного боя. Всё предвещало бой — и зловещая тишина, наступившая с рассветом, и улучшение погоды, и простой расчёт, что за ночь немцы успели подтянуть силы. Удара можно было ожидать с минуты на минуту. И один из танков надо было отправить немедленно, пока видимость плохая и в небе нет авиации.

Алексей посмотрел на своих товарищей и встретил сочувственный взгляд радиста Коли Рябчикова. Рябчиков знал приказ. Знает ли он, что решил его командир? И побоятся ли он, побоятся ли другие парни остаться одни в этой проклятой роще, в этой недоброй тишине?

Алексей подозвал Гаврюшку.

— лейтенант Кривоzub, вернётесь в штаб батальона и получите новое срочное задание.

— Есть вернуться в батальон и получить срочное задание, — повторил Гаврюшка. И вдруг, поняв: — А ты, Лёша?

— Лейтенант Кривоzub, передайте комбату, что рубеж мною обороняется и будет обороняться до конца.

— Есть.

— Выходить немедленно.

— Есть, товарищ старший лейтенант. . Лёша, что же это?..

— Ладно, Гаврюша, сыпь...

Теперь Алексея интересовало только состояние своего экипажа. Не заскучают ли ребята, оставшись одни? Ребята глядели невесело. Даже башенный стрелок Серёжа Пегов, беспечный мальчишка, отчаянная головушка, — и тот притих.

— Вы чего губы распустили? — спросил Алексей, подходя к ним. — Или вы со мной когда-нибудь пропадали?

— Никак нет, товарищ старший лейтенант, — ответил Носов, — не пропадали... А что задумались — так ведь каждому жить хочется.

— Ишь ты, — буркнул Коля Рябчиков. — А под Молосковицами жить не хотели? Там хуже переплёт был.

— Да что ты меня учишь? — огрызнулся Носов. — Я, знаешь, больше твоего воевал, и случая не было, чтоб сдрейфил. В финскую войну под Кирка-Муола...

Серёжа Пегов махнул рукой:

— Бросьте психовать, чего уж! — и объяснил со вздохом: — Тишина эта действует. Хуже всякого боя... А вас мы не подведём, не беспокойтесь... Вот только бы ушли они скорее, раз такое дело. Уйдут, и всё будет в порядочке. А провожать всегда тошно.

Алексей приказал перегрузить часть боезапаса из танка Кривоzуба к себе. Авральная работа и дополнительный боезапас оживили людей.

— Теперь дело крепко, — приговаривал Серёжа Пегов, осторожно и ловко размещая снаряды.

С кривоzubовцами прощались неестественно весело, а потихоньку всовывали друзьям записочки и адреса родных: «Перешлешь при случае... если доведётся, занесёшь сам...»

Гаврюшка подошёл к Алексею:

— Лёша, я сразу к Яковенке и расскажу обстановку..

— Слушай, Гаврюшка, — с досадою сказал Алексей. — Мы с тобой друзья и всё такое. А в войне один танк с экипажем — это один танк с экипажем, и не больше. А до Ленинграда — сорок пять минут поездом. Так что ты сырости зря не разводи. Ясно?

Гаврюшка кивнул и протянул обе руки:

— Ну, бувай здоров!

Проводив товарищей, сели завтракать. Молча и ожесточённо очищали консервные банки, похрустывали сухарями. Ветер дул порывами, разгонял тучи. Первые бледные лучи солнца осветили рощу, скользнули по склону молчаливой высоты.

Алексей сосал сухарь и думал о давешнем разговоре, что каждому жить хочется. Да, хочется. А может быть, эта светлая роща — последний рубеж его жизни? Листья покраснеют и опадут уже без него, и зима начнётся без него, и не пойдёт он по молодому снежку, поскрипывая сапогами... Да, это возможно. Но, как никогда, чувствовал он в эти минуты, что от него зависит — жить или не жить. От его искусства вести бой, от его находчивости и смелости, от быстроты мысли и верности решений. Сумеет он действовать умнее, хитрее, напористей немцев — и отобьётся, спасёт и парней, и машину, и себя. Не сумеет — тут и могила будет, под берёзками. Да только некому будет рыть могилу...

— Вот ты говорил, Носов, что каждому жить хочется, — сказал он, и по тому, как сразу прислушались все, понял, что каждый по-своему думал о том же. — Хочется, конечно. Только без победы, думаешь, будет нам жизнь? Я так понимаю: если хочешь жить — дерись, как черт, ничего не бойся. Впятером, так впятером. Один останешься — один дерись.

— Так и будет, — сказал Рябчиков.

Около девяти часов в прояснившемся небе медленно проплыл немецкий разведчик, покружил над рощей и ушёл.

— Кофе напьются фрицы и начнут, — сказал Серёжа Пегов.

Ровно в девять появились бомбардировщики. Грозно гудя, они шли прямо на рощу. Алексей приказал всем лечь под танк, в отрытую глубокую нору.

В норе было мокро и душно. Взрывы бомб сотрясали землю так, что от стен отваливались пласты мокрой глины. Потом взрывы прекратились. Гудение самолётов удалилось и вдруг надвинулось снова с удвоенной силой. До танкистов донёсся треск пулемётов — немцы на бреющем полёте прочёсывали рощу.

— Все наверх, — приказал Алексей.

Надо было ждать врага наземного. Видно, этот путь к Ленинграду нужен немцам во что бы то ни стало. Значит, и на других путях им не сладко? Что ж, очень хорошо. А день предстоит жаркий... Беглым воспоминанием прошли в памяти собственные недавние размышления и прощание с Гаврюшкой, и разговор с товарищами. Последний рубеж



жизни? Нет, шалишь!

Он выпрямился и подмигнул своим парням. Он чувствовал себя в полной силе и знал, что в любом рискованном положении найдёт точное решение. Это ощущение было ему знакомо и всегда приносило удачу — командирской уверенностью называл его Яковенко.

Только успели скрыться самолёты, начался шквальный артиллерийский огонь. По броне цокали осколки, глухо шлёпали комья мокрой земли. Со стоном упала на машину вырванная с корнем берёза, и нежная веточка её закачалась перед смотровой щелью.

— Важные мы персоны, — сказал Серёжа Пегов. — Сколько боеприпасов на нас расходуют! Целый полк уничтожить можно.

— Пуганая ворона и куста боится, — отозвался Носов.

Бодрое настроение экипажа радовало Алексея. В таком настроении хорошо встречать трудную минуту. А она приближалась. Немцы не могли не разобраться очень скоро, что против них всего-навсего один танк... Они старательно бомбили пустые окопы, но в наступлении они быстро выяснят, что окопы пусты. Пулемётчиков бы сюда!.. Хоть двух... хоть одного...

— Рябчик, — позвал он радиста под влиянием мгновенной и занятой мысли. — Что, если ты с автоматом заберёшься в тот окоп, что справа, и когда пойдёт пехота, шуганёшь её с фланга? Только на месте не сиди, меняй позиции, понятно?

— Есть, понятно.

Рябчиков выпрыгнул из машины и пополз к опушке.

— Товарищ командир, разрешите мне тоже... в левый...

Это просился Серёжа.

Шипящий вой мин прорезал тишину. И на том краю поля появилась пехота — перебежками, с автоматами у животов, она бежала к роще.

— Иди, — сказал Алексей Серёже Пегову и пожал его руку. — Только не зарвись, нам ещё не раз воевать.

Он пожалел о своём решении, увидев, как Серёжа, еле пригнув голову, смело побежал между деревьев. Захлопнул люк, мельком подумал: придёт ли вновь увидеть товарищей? — и забыл о них, потому что немцы уже пробежали около половины поля.

— Давай, — выдохнул он, не глядя на Костю Воронкова.

Они открыли одновременный огонь из пушки и пулемёта.

Пехота залегла, но из-за высоты на полной скорости выскочили два танка. Алексей со злобным спокойствием, хорошо рассчитав, послал снаряд под гусеницы переднего танка и второй снаряд — по заднему танку. Передний покачнулся и стал, но второй помчался по полю зигзагами,

открыв огонь. Пехота поднялась и побежала вперёд. Носов бил её из пулемёта, с флангов заработали автоматы Серёжи и Рябчикова — Алексей видел, как падали немцы там, где их будто смахивали веера пуль.

Немцы заметались и повернули назад. Алексей не успел порадоваться этому, потому что танк упорно приближался, его снаряды ложились всё ближе, а сам он казался неуязвимым. Задыхаясь от страшной злобы и всеми силами души стараясь сохранить выдержку, Алексей продолжал бить по танку.

Танк вдруг осел на правый бок, потеряв гусеницу, но его башня тотчас повернулась и возобновила огонь.

Немецкая пехота, добежав до подбитого танка, залегла. Алексей видел, как командиры пытались погнать солдат в новую атаку, но солдаты не поднимались.

— Дрейфят! — в упоении крикнул он.

Теперь он сосредоточил все силы на том, чтобы попасть в башню проклятого танка, уничтожить пушку. И точным попаданием он разворотил башню. Танк замолчал. Но из-под разбитого танка выскочил танкист с пистолетом в руке, он что-то кричал и взмахивал рукой, не прячась от пуль, и пехота поднялась и побежала за ним во весь рост, крича и безостановочно стреляя из автоматов. Пулемётные очереди косили её, но танкист был цел и немцы продолжали бежать за ним.

— Немцы сзади! — вдруг крикнул Костя и, не дожидаясь приказа, прильнул к заднему пулемёту.

«Неужели конец?» — пронеслась мгновенная мысль. Алексей отогнал её. Он не знал, откуда там взялись немцы и много ли их, он только знал, что нужно продолжать бой и не теряться, потому что может растеряться и противник. Так учил Яковенко: «Ты не сдрейфишь — так он сдрейфит», это подтверждал опыт. Надо было делать своё дело до конца, до последней, самой малой возможности. И он продолжал бить по наступающим, коротко бросив Носову:

— Гранаты!

Автоматчиков, появившихся с тыла, было человек десять, они подбирались к танку, прижимаясь к стволам деревьев. Трое из них броском вошли в мёртвую полосу, где их не доставал огонь из пулемёта. Носов открыл люк и метнул гранату.

Алексею нельзя было оглядываться, он только торопливо вдыхал свежий воздух, рассеявший дым и духоту в машине и бил, бил по наступающим с поля. Он смутно понимал, что бьет по ним один, что автоматы Рябчикова и Серёжи Пегова замолчали, но и эту мысль он не

допускал до сознания, потому что поредевшая цепь неуклонно приближалась и неуязвимый танкист с узким уже хорошо видимым лицом бежал впереди, всё так же крича и размахивая пистолетом.

Алексей торжествующе вскрикнул, когда немецкий танкист на бегу подпрыгнул и опрокинулся назад. И вся наступающая цепь сразу показалась ему жидкой, непрочной. Она замешкалась, остановилась... Повернула назад... Побежала...

И тогда Алексей, продолжая подгонять немцев огнём, услышал немецкие выкрики у самого танка, и краем глаза увидел, как Носов метнул вторую гранату и как он рукавом стирает кровь, заливающую ему глаза. Алексей выхватил пистолет, чтобы помочь товарищам, но в это время раздался звонкий молодой голос: «Да здравствует Сталин, за мной!» и ещё: «Рота, за мной!», и затем басистое: «Ур-ра!», и одно за другим, на разные голоса: «Ур-ра! Ур-ра!» и дробь одинокого автомата.

— Ура! — подхватил Носов и метнул последнюю гранату.

Из группы автоматчиков не ушёл никто.

Весь потный, распалённый и гордый успехом, Серёжа Пегов подошёл к машине, для чего-то погладил ладонью её броню и, слегка рисуясь, сказал с небрежной усмешкой:

— На испуг взял. По ихней тактике.

Не удержался, звонко крикнул:

— Рота, за мной!

Но тут увидел залитое кровью лицо Носова:

— Да как ты это... друг...

Носов был ранен в голову. Его перевязали. Дали ему из фляги водки.

— А где Рябчик?

Рябчикова не было.

— Я пойду сам, — сказал Алексей, — Костя, гляди в оба.

Рябчикова он увидел, как только добрался до окопа. Качаясь и спотыкаясь, Рябчиков медленно брёл по окопу, не пригибаясь и, видимо, забыв об опасности, — он хотел к своим и ни о чём другом не думал. Увидав своего командира, он остановился и заплакал. Слабость была в нём неожиданна и испугала Алексея.

Короткий участок от окопа до своего танка они шли очень долго, потому что Рябчиков не давал командиру нести себя, а сам еле двигался. Он был ранен ниже плеча и потерял много крови.

Убитые немцы валялись возле танка и поодаль. На граве и на опавших чуть желтеющих листьях темнели пятна крови и копоти.

В поле тоже тут и там холмиками возвышались трупы. А живых

немцев не видно было, и над полем снова повисла давящая, как тяжелый зной, недобрая тишина.

Носов сидел под деревом, припав спиной к белой в пятнах копоти коре. Рядом с ним лежал на боку Рябчиков. Он мутнеющими глазами уставился на командира, и Алексей понял, как ему хочется уйти отсюда — к покою, к безопасности, к умелым рукам, облегчающим боль.

— Сиди уж, — сказал Алексей Носову, попытавшемуся подняться, и сам перевёл танк на запасную позицию.

Всем было ясно, что скоро всё начнётся сначала.

Рябчикова перенесли в укрытие. Носов хотел забраться на своё место водителя — должно быть, не был уверен, хватит ли у него потом сил.

Алексей знал, что всех занимает сейчас один вопрос, и спросил:

— Ну, друзья, как же мы с вами теперь считаться будем? Боеспособными или вроде вышедшими из строя?

Усталые лица повернулись к нему и застыли. Выражение их было странно: и усталость, и что-то более сильное, чем усталость — большое раздумье, и отсвет пережитого успеха, и тревога..

Первым ответил Носов:

— Боеспособные, товарищ старший лейтенант. Я могу работать.

— Да как тут уйдёшь? — буркнул Костя Воронков. И добавил: — Снаряды пока что есть.

Серёжа Пегов, пытавшийся расположить в машине трофейные немецкие автоматы так, чтобы они не мешали работать, весело крикнул:

— Трофеи-то? А?

Один Рябчиков не откликнулся. Болезненно морщась, он с напряжённым вниманием как бы прислушивался к чему-то, чего не могли слышать другие.

— Ты что, Рябчик? Плохо тебе?

Рябчикову было трудно говорить, он медленно, с хрипом выговорил:

— Ра-дио-о... чер-ти... за-бы-ли...

Пристыженный справедливым упрёком, Алексей полез под пушку на место радиста. Позывные звучали непрерывно, их давали, видимо, давно.

Когда Алексей выбрался наверх, усталость впервые проступила в его сорвавшемся голосе: — Приказано отходить.

Эта война не была похожа на войну, как её представлял себе Митя, записываясь в народное ополчение. Митя был студентом-электриком и готовился к мирной и точной профессии, но война пробудила в нём жажду подвига, и всё, что в предыдущие годы откладывалось в подсознании, — зависть к героям страны, совершающим смелые полярные экспедиции и труднейшие дальние перелёты, преклонение перед бойцами Мадрида и Барселоны, восторженное обожание Чкалова, генерала Лукача и Долорес Ибаррури, — всё это сейчас питало страстные и честолюбивые мечты о воинских подвигах, о славе, о прекрасном звании Героя Советского Союза...

Он понимал, что война будет тяжёлой и кровавой, и смерть казалась ему возможной, но и смерть свою он видел значительной и героической. Он ясно рисовал себе, как его боевые друзья (мужественные, загорелые люди) рассказывают Марии об этой славной смерти и передают его забрызганное кровью недоконченное письмо, и Мария тихо плачет и говорит: «Да, он любил меня... я знала это, хотя он никогда ни слова не сказал мне... Я только теперь оценила его...»

Но разве эта открывшаяся ему война была войной, какой он ждал?!

Война для Мити началась утомительным переходом, во время которого он до крови растёр ноги. И затем незаживающие ранки и мозоли непрерывно терзали его, отравляя существование больше, чем немецкие самолёты. Немецкие лётчики не могли видеть скрытую деревьями роту, они сбрасывали бомбы вслепую, и Митя не верил, что бомба может попасть в него.

Но когда Митя был послан с Колей Григорчуком, своим товарищем по институту, в штаб батальона через болото, поросшее редким кустарником, немецкий самолёт вдруг напал на них, как коршун на цыплят. Это было дико, нелепо до смешного и страшно до изнурения. Друзья забились под кусты, но кусты были слишком жидки, чтобы спрятать их. Пули впивались в землю, в сучья, сбивали листья с ветвей. Самолёт пронёсся так низко, что оглушил ревом мотора. Мите, хотелось выругаться, чтобы подбодрить себя и Колю, но собственный изменившийся от страха голос еще усилил ощущение беспомощности и стыда. Самолёт развернулся и снова помчался к ним на бреющем полёте. Митя схватил винтовку и выстрелил. Коля тоже выстрелил по самолёту. Но самолёт пронёсся над их головами, чуть не

задев кустов. Когда он, наконец, улетел, Митя долго не мог говорить, и ему хотелось спать — мучительно хотелось спать, так что он зевал до боли в челюстях. А ночью сна не было, и Митя с отвращением вспоминал испытанный им ужас.

Рота стояла в лесу под снарядами разрывами и бомбами, ничем себя не проявляя, а положение на фронте всё усложнялось и ухудшалось, немцы рвались в обход Ленинграда, перерезая железные дороги, к Колпину и к Неве. Никто ничего толком не знал, появлялись слухи, всё чаще повторялись слова: «берут в клещи», «прорыв», «окружение». Митя надеялся, что вот-вот его рота вступит в бой и тогда непременно начнётся перелом. Он с тревогой думал о Марии, и ему захотелось успокоить её какими-то очень убедительными словами. Он писал письмо долго и старательно, и начавшийся обстрел леса не оторвал его от письма. Снаряды стали рваться близко. Митя всё-таки закончил письмо, заклеил его и отдал батальонному письмоносницу. Письмоносниец пошёл к велосипеду, оставленному у дерева на краю тропинки, — и вдруг на глазах у Мити письмоносница разорвало на куски, и клочья писем, кружась, полетели по ветру. Шипящего свиста мин Митя уже не слышал, настолько поразило его это мгновенное уничтожение человека в прозрачном осеннем лесу.

А потом началось то, что за пять суток совершенно оторвало Митю от всего дорогого и важного, чем он жил до сих пор, и бросило его в новый, кровавый и грохочущий мир, где казалось ни мечты, ни добрые порывы, ни сама жизнь не имели цены. Сотни снарядов и мин с воем и грохотом обрушивались на них, потом прилетали десятки самолётов и последовательно бомбили квадрат за квадратом и прочёсывали лес пулемётным огнём, а через полчаса прилетали новые десятки самолётов, и начиналось все сначала, — это был неиссякаемый ливень огня. Но, к удивлению Мити, жертв было немного, даже невероятно мало, только все измучились и, если не молчали, остервенело ругались.

На пятое утро рота получила приказ занять оборону и прикрывать любой ценой отступление основных сил. Это был первый бой для Мити и его товарищей — но какой тяжёлый и горестный бой! Прижатые к земле непрерывным миномётным и пулемётным огнём, люди стреляли озлобленно и мрачно, не рассчитывая на спасение, стреляли для того, чтобы задержать наступление немцев на несколько часов и затем самим, если кто уцелеет, отступить за реку. Уцелели немногие, но немцев задержали. Митя не был даже ранен, но убило Колю Григорчука и ещё нескольких товарищей по институту. Коля упал рядом, и Мите некогда было отодвинуть труп, чтобы кровь не стекала под локоть. От запаха крови,

от страха и отчаяния Митю тошнило.

Именно в тот вечер, отступая с остатками роты, Митя встретил Марию на другом берегу реки.

Встреча с Марией была так же неправдоподобна, как и всё остальное, и Митя не поверил в неё. Он шёл, пошатываясь, мучаясь болью в ногах, мрачно ругаясь и желая только одного — дойти хоть куда-нибудь, где можно снять сапоги, свалиться на землю и заснуть...

В давке на шоссе он растерял всех своих. На рассвете истомлённый боец, оказавшийся рядом, сказал ему с улыбкой:

— Сапоги бы снять, а? Ничего больше не нужно!

И Митя сразу привязался к этому бойцу — высокому, широкоплечему, с лицом, даже в усталости освещённым незатухающей мыслью, с печальными и внимательными глазами.

Уже рассвело, когда бредущих по шоссе бойцов собрали на лугу возле какой-то деревеньки, пересчитали, построили и стали разбивать на роты, взводы и отделения. Митя держался своего случайного спутника, и они вместе попали в отделение сержанта Бобрышева.

— Музыкант Юрий Осипович, ополченец, — представился спутник Мити.

Сержант поглядел и переспросил:

— А фамилия как?

— Это фамилия Музыкант... А по профессии я ботаник.

— Немногим лучше, — вздохнул сержант. — Ну, товарищи бойцы, умываться к речке, а затем обедать.

Подъехала походная кухня, и все бойцы получили горячий обед.

— А теперь спать, — сказал Бобрышев, разочарованно оглядывая своё отделение. — Поспите малость, тогда поговорим, как с бойцами. А ну, валитесь!

За это разрешение бойцы сразу полюбили сержанта.

Когда сержант разбудил их, солнце уже поднялось высоко, и командир взвода, бледный, невесёлый лейтенант, повёл свой взвод занимать позицию. Небольшой пригорок перед болотистым лугом прикрывался сзади березняком, а в березняке стояла артиллерийская батарея, и это вселяло в пехотинцев уверенность. Грунт был податливый, мягкий, и рота окопалась хорошо. Музыкант прошёлся по березняку и радостно сообщил, что справа стоят танки. Бойцы окончательно повеселели. А тут ещё лейтенант громко заявил в трубку полевого телефона, что никуда отсюда не уйдёт и немцам хватит наступать — теперь потопчутся! За ужином шли разговоры о предстоящем бое, о Ленинграде, о том, что без артиллерии и танков с

немцем нельзя, а вот теперь и артиллерия, и танки рядом, и кто знает, может, и авиация подоспеет в нужный момент.

Оживлённый и отдохнувший, Митя с удовольствием разглядывал новых соратников, когда Бобрышев собрал вокруг себя своё отделение.

— Ну, будем знакомиться, кто вы есть, — сказал сержант, — рассказывайте, кто такие? Чем занимались до ополчения?

Сам Бобрышев оказался артиллеристом, и вынужденное командование пехотинцами его огорчало, тем более, что пехота была не настоящая, как он ожидал, а с бору да с сосенки, штатский необученный народ.

В отделении, кроме Мити и ботаника, нашлись ещё нотариус и учитель географии. Долговязый, не в меру худой учитель держался так не по-воински, что Бобрышев глаза от него отводил в сторону. Нотариус был загадочен. «А это что за профессия такая?» — спросил Бобрышев. Он, не стесняясь и не скрывая своего беспокойства, расспрашивал, что же умеют делать порученные ему люди, пытливо всматривался в их лица, в их фигуры и даже вздохнул:

— Вот угодил!

Но большая часть бойцов оказалась из ленинградских кадровых рабочих, с Выборгской стороны, с известных на всю страну заводов, и Бобрышев слегка оживился:

— Слышал я, что ленинградские рабочие нигде лицом в грязь не ударяли. Так что глядите, друзья, должно наше отделение себя показать в бою как следует. И до боя я вас буду учить, вы уж не обижайтесь — отдыха не будет. Вы ж не бойцы, дела не знаете, верно? А без знания с немцем неловко воевать. Он, чорт, изворотлив, хитёр.

Митя с жаром сказал:

— Вы не думайте, что мы необстрелянные. Мы всего навидались!

Он стал рассказывать, как досталось его прежней роте в бою у реки и как они всё-таки выполнили поставленную им задачу.

Жильцов, немолодой уже токарь с завода Карла Маркса, сочувственно сказал Бобрышеву:

— Я так думаю, что не всяк воин, кто в строю шагать приучен. Воевать и в бою научаются, когда уж очень хочется воевать с толком. А нам хочется. Значит, должно выйти?

Учитель географии добавил, покашливая:

— Мы все в переделках побывали. Горе учит.

Теперь вчерашний бой вспоминался Мите не горестным и мрачным, а героическим и славным. Им было сказано: любой ценой прикрыть отступление, основных сил, — и они это выполнили, хотя не очень приятно



знать, что позади тебя отступают.

— Ничего нет хуже этого драпанья под огнём! — сказал он, вспомнив ночь на шоссе.

Его поддержали все. Да, да, только не отступать, лучше помереть на месте!

Все эти люди невоенных профессий хотели воевать и побеждать. Но воевать они ещё не умели. Они не знали войны. Они не знали, что война будет такой — непохожей на военные романы, утомительной, путаной, без линии фронта, без ясной расстановки сил. Они не знали, что война — не только атаки и сражения, где храбрые побеждают, но и тягостные отступления, и кровавые неудачи, в которых и храбрым не даётся желанная победа. Они должны были всё испытать сами, на собственной шкуре узнать войну. И опыт покупался поражениями и кровью.

И Митя, и другие бойцы, доставшиеся Бобрышеву, были людьми, познавшими недолгую, но самую тягостную муку первоначального накопления военного опыта. Они ещё мало умели, но уже хлебнули солдатского горя. Отсутствие вдохновляющих побед не дало им ощутить свои собственные силы и стать настоящими солдатами. И Бобрышев не столько понял это, сколько чутьём угадал свою ответственность за души вверенных ему людей.

— Ну, и ладно, раз так, — сказал он, — вы тут народ сознательный, агитировать мне вас нечего. А бойцов делать из вас нужно.

Он снова с изумлением оглядел нотариуса:

— Скажи, пожалуйста! Так-таки всю жизнь заверял подписи, писал бумажки... а теперь воевать пошёл.

— Я под Веймарном двух немцев убил, — обиженно сказал нотариус.

— А мы танк бутылкой подожгли! — похвастал фрезеровщик со «Светланы».

Учитель географии усмехнулся.

— А нас один раз немец на хитрость взял. Гудит всё небо, будто самолётов триста на тебя мчится, а это один самолётик с усилителем звука — вот они что делают! А я человек невоенный, но раз воевать нужно, я хочу, чтобы меня научили и предупредили, что враг делает, чтобы я не растерялся... А то были случаи, когда я просто терялся...

Он поморщился, вспомнив что-то неприятное, и тихо добавил:

— Вообще же, мне кажется, я не очень боюсь умереть. Позор для меня хуже.

— Вот и будем воевать без позора! — поддержал Бобрышев. — Эх, друзья! — сказал он, помолчав. — До чего же не хочется этого позора. Я не

ленинградский, в Ленинграде у меня даже знакомых нет. А вот чувствую: отступить до Ленинграда — ну, лучше помереть!..

— Я лучше пулю в лоб пущу, — сказал Музыкант, — я всё равно людям в глаза смотреть не смогу. И жене... У меня жена смелая, умная, красивая... Мы с нею вместе в Ботаническом саду работали... Ребёнка ждёт, но когда я в ополчение записался, она ни слова не сказала... слезы себе не позволила...

Митя вдруг вспомнил встречу с Марией на берегу реки, впервые вспомнил не как дурной сон, а как мучительную явь, и ужаснулся самому себе.

— Скорее бы в бой! — сказал он пылко.

— Успеете, — отозвался Бобрышев, — а пока проверим малость, как вы пулемёт понимаете.

Бой начался на второй день перед вечером. И сперва он казался тем долгожданным боем, который принесёт победу. Митя слышал, как с воем пролетали над его головой снаряды с батареи, укрытой в березняке. И сам бил из ручного пулемёта по краю болота, где показались немцы. Немецкие самолёты прошли над полем боя и, встреченные зенитным и пулемётным огнём, сбросили бомбы в болото, не причинив вреда. Один самолёт покачнулся, накренился и пошёл, вихляя, вниз — должно быть, шлёпнулся где-нибудь неподалеку. Немцы снова выскочили на той стороне болотистого луга, но огонь артиллерии и пулемётов отогнал их, и хотя в расположении взвода стали рваться снаряды и мины, все повеселели и пришли в то состояние, когда помнишь об опасности, но уже не боишься её.

Но тут замолчала артиллерийская батарея в березняке, а слева, неизвестно каким образом попав сюда, выскочила группа немецких автоматчиков. Припав к земле и почти слившись с нею, бойцы яростно стреляли, и Бобрышев подбадривал их возгласами:

— Так! Так, ребятки, так! Дистанция четыреста! Так! Так!

Автоматчики постреляли и выдохлись, они стали отступать, не желая принимать боя, и всем хотелось бежать за ними и уничтожить их. Бобрышев весь дрожал от нетерпения, но лейтенант не только не позволил Бобрышеву поднять своё отделение в атаку, а почему-то злобно закричал: «Смотри лучше, чорт!» — будто он предвидел или знал, что будет делать враг. Стрельба тотчас возникла и сбоку и далеко позади. Все ждали, что вступят в бой наши танки, но лейтенант узнал по телефону, что они ушли к шоссе отражать прорвавшиеся немецкие танки.

— Отделение, слушай меня! Ленинградцы, подтянись, приготовься! —

громким шопотом сказал Бобрышев, и вид у него был настороженный и собранный, как у охотника, знающего о близости зверя и готового встретить его появление с любой стороны.

И зверь появился сзади, оттуда, где должна была быть наша батарея. С тыла по расположению взвода застрочили пулемёты и автоматы. Произошло замешательство, кто-то первый произнёс слово «окружение», слово полетело от отделения к отделению, но запнулось в отделении Бобрышева, потому что люди здесь подтянулись и сами сопротивлялись растерянности — каждый в отдельности и все вместе. В этом бою они были спаяны воедино.

Пули взвизгивали над головами, но лейтенант приподнялся и заорал, поблескивая неожиданно повеселевшими азартными глазами:

— Врёшь, к чёрту, не выйдет!

Он стал налаживать круговую оборону, и лицо у него было такое вдохновенно-уверенное, увлечённое, горящее весёлым бесстрашием, что Митя не поверил, когда лейтенант вдруг повернулся и медленно повалился на бок с простреленной головой.

В ту же минуту на другой стороне луга появились немцы — они стремительно шли во весь рост, с автоматами у животов, они с ходу открыли бешеный огонь, спотыкались о кочки и увязали в болоте, но продолжали идти вперёд.

— Ребятки, ленинградцы, держись! — услышал Митя голос Бобрышева.

Он припал к пулемёту и стрелял с упоением, с бешенством, и немцы падали, но их было много, и те, кто не упал, продолжали бежать по лугу, и Митя продолжал косить их очередями. Рядом с ним стрелял из винтовки Музыкант, при каждом попадании радостно вскрикивая» стрелял Жильцов и другие товарищи, и у немцев было так много потерь, что Митя верил: атака будет отбита... Вдруг он почувствовал за спиной какое-то странное движение и услышал ругань и крики, и, оглянувшись, с ужасом увидел, что большая часть взвода побежала, а Бобрышев и ещё несколько человек кричат и пытаются задержать и повернуть назад бегущих, но им это не удастся, и Жильцов стреляет по бегущим и кричит: «Предатели, стой!»

Митя продолжал работать у пулемёта. Учитель подавал ему диски, пока они были. Затем оба схватились за винтовки, но одиночными выстрелами ничего нельзя было сделать, а немцы уже приближались, уже были видны их искажённые лица, и Митю охватил безумный страх, что он останется один и будет схвачен или убит, и он вскочил и побежал тоже... Он увидел рядом с собою Бобрышева, Бобрышев бежал, выкрикивая одно и

то же исступлённое ругательство, а пули догоняли их. Упал Жильцов, упал фрезеровщик со «Светланы», но никто не остановился посмотреть, живы ли они, и вдруг перед Митей упал боец, и Митя увидел, что это Музыкант. Но задерживаться было нельзя, он перепрыгнул через упавшего и побежал дальше, задыхаясь от усталости, от ужаса и горя.

Он опомнился в стороне от выстрелов, в густом кустарнике, замыкавшем сосновый лес. Березняк остался далеко позади. Уцелевшие бойцы сбились в кучку. Их было всего десять или двенадцать человек.

— Ну, спасибо! — сказал Бобрышев, и губы его тряслись от ненависти, — ну, порадовали... воины!

Митя бросился на землю, еле удерживая рыдания. Ему хотелось умереть.

— А ты брось, — услышал он над собою голос учителя, — мы ж до конца держались, причём же здесь ты? Что ты мог сделать, когда вся эта сволочь побежала?

— Из моего отделения трусов не было, — сказал Бобрышев с гордостью. — Эх, жаль ребят! За-зря погибли. Кабы эти вороны не дернули...

Из их отделения уцелели только Митя, учитель географии и молоденький рабочий с «Красной нити» Саша Панов. Остальные были из других отделений, и Митя недоброжелательно поглядывал на них — вороны!

— Лучшие мои бойцы погибли, — грустно сказал Бобрышев, и Мите стало неловко, что он жив.

Они пробыли в кустах до сумерек, прислушиваясь к звукам боя, постепенно удаляющимся. В темноте Бобрышев повёл их через лес. Шли очень долго, соблюдая крайнюю осторожность. Поднялась луна, призрачный голубой свет скользил по стволам сосен.

— Привал, — сказал Бобрышев, всё ещё молчаливый и злой.

Они пожевали сухарей и заснули, не выставив даже охранения. На рассвете Митя проснулся от холода и увидел Бобрышева, возвращающегося из лесу.

— Теперь действительно окружение. Впереди немцы, и с боков немцы, — спокойно сказал Бобрышев, и Митя понял, что Бобрышев совсем не спал и сам ходил на разведку, ни на кого не надеясь.

— Вы бы меня разбудили, — со стыдом сказал Митя. — Или вы и мне не доверяете?

— Доверие доверием, а вывести вас отсюда будет не просто, — задумчиво и беззлобно ответил Бобрышев.

Он повёл свой маленький отряд, выбирая путь по каким-то ранее установленным приметам.

Они благополучно шли целый день, и Бобрышев разрешил только один короткий привал. На привале он подсчитал неприкосновенный запас продовольствия и ввёл жёсткую, голодную норму, но приказал по пути есть чернику и другие ягоды, какие попадутся.

Боец из другого отделения, армянин Кочарян, шепнул Мите:

— Вот это командир. Если бы у нас такой командир был — разве мы побежали бы? Никогда не побежали бы!

Во второй половине дня они вышли на шоссе, которое нужно было пересечь, чтобы попасть к своим. На шоссе царило оживление — проносились немецкие броневики и грузовики, тянулись повозки, на перекрёстке стоял солдат-регулировщик с таким уверенным видом, как будто он стоял здесь уже много дней.

Пересечь шоссе было невозможно, и Бобрышев повёл их вдоль шоссе по лесу, коротко сказав, что ночью придётся прорываться с боем.

Ночью движение затихло, тускло белеющая во мраке лента шоссе казалась безопасной и неширокой. Изредка проносились на большой скорости машины. Бобрышев толково объяснил, как перебираться через шоссе: рассредоточившись, перебежкой, с винтовкой наготове. Перебравшись на ту сторону шоссе, сойтись на условный звуковой сигнал. Бобрышев тихонько дал этот сигнал: прикрыв глаза и выпятив губы, он вдруг удивительно музыкально засвистел соловьём, и хмурое, волевое лицо его на секунду стало детским, добрым и бесконечно далёким от войны.

Над ними загудело небо — тяжёлые бомбардировщики плыли на восток, где-то высоко в небе тоже пересекая линию шоссе.

— Пошли, — сказал Бобрышев.

Они перебежали враспынную небольшое пространство, отделявшее шоссе от кромки леса, и уже бежали через шоссе, уверенные в успехе, когда яркие лучи автомобильных фар вспыхнули справа, и в этих лучах их согнутые фигуры определились отчётливо, как мишени. Очевидно, немцы были настороже, потому что автоматы зататакали мгновенно и машина круто остановилась.

— Вперёд! — звонко крикнул Бобрышев, в два прыжка преодолев освещённую полосу и бросаясь в канаву.

Оттуда он открыл стрельбу по фарам автомобиля. Митя и ещё несколько человек успели последовать за ним, но трое бойцов, застигнутых лучом на другом краю шоссе, отступили назад. Меткая пуля вывела из строя одну фару, и немцы выключили вторую, продолжая стрелять во все

стороны по крайней мере из десятка автоматов. Теперь, когда свет уже не ослеплял глаз, немецкий грузовик и прижимающиеся к нему солдаты стали постепенно вырисовываться на тусклой ленте шоссе, а притаившихся красноармейцев можно было обнаружить только по вспышкам выстрелов. Немцы, очевидно, поняли невыгоду своего положения, они полезли обратно в грузовик, продолжая стрелять наугад, и затем машина рванулась вперёд и на полной скорости промчалась сквозь строй перекрещивающихся пуль.

Когда бойцы собрались около Бобрышева, их оказалось всего семь человек. Два тёмных пятна на шоссе были телами бойцов, погибших, наверное, от первых же пуль, по ту сторону шоссе был убит Саша Панов. Одного бойца, тихонького и робкого, не могли найти. Бобрышев дважды свистал соловьём, подождал ещё и, вздохнув, сказал:

— Может, убёг со страху, может, и пропал. Надо итти.

Удручённые потерей товарищей, они пошли снова в глубь леса. В середине ночи Бобрышев разрешил утомлённым людям часок поспать, а сам сел и закурил. Сморенный усталостью, Митя тоже лёг, но вспыхивающий огонёк папироски заставил его стряхнуть сон и приподняться:

— Товарищ Бобрышев, если покараулить... или снова на разведку... давайте я. Вы и ту ночь не спали.

Папироса ярко вспыхнула, тихий голос ответил:

— Ладно, поспи пока. Разбужу.

Разбудили Митю крупные капли дождя, стекавшие с ворота шинели на шею. Было ещё темно, шёл крепкий звонкий дождь. Бойцы зашевелились — одни вставали, другие, не просыпаясь, старались получше укрыться шинелями. Бобрышев всех поднял и сказал строго:

— Быстренько, пошли!

К вечеру заболел учитель географии. Пришлось из-за него сделать привал. Учителя прикрыли шинелями, и Митя, набрав малины, совывал ему в рот ягоду за ягодой, надеясь, что от малины больной пропотеет и выздоровеет.

— Что ж, товарищи, — сказал Бобрышев, — конечно, двигаться с больным придётся медленнее, но товарища мы не бросим.

Митя даже удивился, что Бобрышев заговорил об этом, всё было ясно без слов. Но несколько часов спустя один из бойцов ушёл собирать ягоды и исчез. Бобрышев нахмурился и пошёл на поиски. Вернулся он с винтовкой, подсумком и пачкой документов.

— Вот какие шкуры бывают на свете, — сказал он и лёг, закрывшись с

головой шинелью.

Теперь их было шестеро, один больной и пять здоровых.

На рассвете Бобрышев приказал соорудить подобие носилок, и они пошли дальше, неся учителя поочерёдно. Нести больного через густой лес было тяжело. И очень хотелось есть. Только после полудня они вышли к какой-то деревне. Бобрышев велел хорошо замаскироваться, а сам пополз на разведку. Вернулся он с караваем хлеба и тёплым молоком в манерке, для больного. Учитель жадно пил, а остальные жевали хлеб и старались не смотреть на молоко, стекавшее по подбородку учителя с непослушных запекшихся губ.

— В деревне немцев до полусотни, — сообщил Бобрышев. — Женщина, что дала молоко и хлеб, говорит, будто вчера немцы прорвались далеко вперёд в сторону Павловска и итти туда опасно. Но фронт у них не сплошной, и мы наверняка пробьёмся, если не вдадимся в панику.

Запасы сухарей кончились. От слабости и голода никто не мог долго нести носилки, приходилось всё чаще сменяться.

У Мити снова разболелись, а затем сильно распухли ноги. На привалах он не снимал сапог, опасаясь, что потом не сможет надеть их. Питались одними ягодами, пробовали жевать сырые грибы, сдирали с деревьев и сосали кору. У Мити начался изнуряющий понос, он часто думал, что лучше было бы просто лечь и не вставать. Но Бобрышев упорно шёл вперёд и тихо говорил товарищам:

— Ничего, выберемся.

Его неизменно поддерживал Левон Кочарян, весёлый и выносливый армянин:

— Это не по горам ползать. Дойдём, товарищи. Чего тут не дойти!

Они шли навстречу боям. Звуки войны стали отчетливыми и не затихали ни днём, ни ночью.

Дважды проходили так близко от немцев, что слышали разговоры солдат. Теперь двигались ночью, а днём забирались в яму или в разросшийся кустарник и спали. Этого требовала безопасность, но у Бобрышева были и иные соображения — он видел, что итти так, как прежде, люди не могут. Он сам только напряжением воли заставлял себя вставать и день ото дня всё с большим трудом передвигал распухшие, отяжелевшие ноги.

На восьмые сутки скитаний вдоль фронта умер учитель.

— Похороним, а? — просительно сказал Бобрышев.

Четыре оставшихся бойца стали молча рыть могилу штыками. Митя старался изо всех сил, но руки были так вялы и неловки, что ничего не

получалось.

— Ладно, полежи пока, — сказал Бобрышев.

Митя лёг. Позвякивали, сталкиваясь, штыки товарищей. По жёлтому заострившемуся лицу покойника взбегал муравей. Где-то близко бухала артиллерия. Чирикала над головой птица. Митя закрыл глаза, и сразу всё завертелось и поплыло вокруг, и ощущение смерти вошло в душу, не пугая и не удивляя, — ощущение смерти как покоя.



Давно ли стоном стонала земля от фашистских танков и нельзя было высунуть нос не только на шоссе, но и на просёлочные дороги, чтобы не нарваться на немцев?

Как-то вдруг всё стихло. Фронт передвинулся на ближние подступы к Ленинграду, а здесь был уже немецкий тыл, и на просёлочных дорогах плотно вмятые следы гусениц обрастали жидкой травкой. Иногда по шоссе тянулись к фронту обозы, но их сопровождал большой конвой, и за ними оставалась пустота.

В городах бесчинствовали немецкие гарнизоны, гестапо хватало людей по любому подозрению, по любому доносу.

Отряд Гудимова потерял связи, установленные в первые дни. Кто-то выдал радистку; хорошо законспирированная рация была захвачена немцами, радистку повесили при въезде в город на сосне. Предателя установить не удалось, поэтому все связи в городе попали под сомнение. После первой удачной диверсии, когда группе партизан удалось разобрать участок железнодорожного полотна, к железной дороге не сунуться было, — дорога тщательно охранялась немецкими патрулями, у мостов выросли укрепления, и пулемёты держали под прицелом все подступы, по которым всю ночь ползали щупальцы прожекторов. Для нападения на конвой сил не хватало. И отряд жил, притаясь, в сырой чаще леса, без общения с миром, без известий с родины, в настороженном и томящем одиночестве.

Непрерывно, как и все последние дни, обдумывая положение отряда и перебирая возможности изменить его, Гудимов вышел к краю леса и остановился в кустах.

В поле, ярко освещённом осенним солнцем, женщины вязали снопы. Их было одиннадцать, старшая — уже старуха, а меньшая — девчонка лет пятнадцати. До Гудимова доносились их голоса — неторопливые, негромкие голоса людей, занятых делом. Только песен не было, смеха не было, и оттого ладная знакомая работа казалась ненастоящей.

Вдалеке виднелись крыши села. В этом селе был один из лучших колхозов района, тут Мария Смолина строила новую школу-десятилетку, и все они приезжали на праздник открытия школы — Мария, Борис Трубников, Гришин, Ольга...

Это было прошлой осенью.

Гудимов выбрался из кустов и смело пошёл к работающим женщинам. Он не знал их — или не узнавал. Но внутренняя уверенность вела его: под владычеством немцев, отрезанные от родины, лишённые привычного уклада жизни — разве могли они не научиться ценить, вспоминать, сравнивать?.. И разве не их дети читали с подмостков Пушкина и пели хором: «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер!» Эта девчонка с косами — не она ли плясала тогда комическую русскую, по-бабьи повязав платочек и веселя глаз опытной повадкой заправской плясуньи? А если и не она, то её подруга во всяком случае...

Женщины заметили постороннего человека и прекратили работу. Повернув к нему застывшие лица, они напряжённо ждали.

— Здравствуйте, гражданочки! — сказал Гудимов.

Женщины молча поклонились.

— Не узнаете?

Одна из женщин, тихо ахнув, оглянулась на село, потом на подруг.

— Никак товарищ Гудимов?

— Он самый.

Гудимов сел под копною и закурил. Женщины неподвижно стояли вокруг него и глядели без радости и без удивления.

— Или не рады? — спросил Гудимов. — А я вот увидел вас и припомнил, как мы с вами прошлый год открытие школы праздновали... Да не с тобою ли я плясал, молодка? — обратился он к старухе.

— Отчего же не со мной? И со мной плясал, за честь считал! — с широкой, смелой улыбкой отозвалась старуха и решительно подседа к Гудимову. — Не обижайся на нас, мил человек, что мы вроде как не рады. Испугались мы. Сколько страху натерпелись! Да и ты с бородой на себя непохож стал. И своих людей мы давно не видим. Так одни среди страхов и слухов живём. А тебе мы очень рады. Что ты живой.

— У нас говорили, что немцы вас повесили, — сказала девочка, краснея.

— Руки у них коротки вешать меня.

— А вы что ж теперь делаете?

— С немцами воюю — чего ж ещё делать? Теперь другого дела нет.

Гудимов курил и доверчиво улыбался женщинам.

Семь лет этот район, эти колхозы, эти люди были его большим домом, его семьёй. Им он отдавал все думы, всю энергию. И мечты его всегда были связаны с ними, и воплощались вместе с ними, через них. Как же им быть врозь теперь, в беде?.

А женщины, постепенно свыкаясь с ним, уже спрашивали:

— А на фронте что, не знаете? С Ленинградом как? И что же теперь будет? Объясни ты нам, товарищ Гудимов. Долго нам ещё под немцем жить?

Он сам не знал многого, и те же вопросы волновали его, но он объяснял им, как мог. И он делился с ними своей верою в то, что советский народ нельзя ни уничтожить, ни закабалить, что победа будет завоёвана, как бы трудно ни было.

Молодая женщина неожиданно расплакалась и виновато сказала:

— Давно настоящих слов не слыхали!

Старуха спросила напрямик:

— Что вам нужно, партизанам? Зачем пришёл?

Гудимов пока уклонился от прямого ответа.

— Захотел узнать, как вы живёте. Немцы-то у вас есть или нету? Хлеб для кого убираете — для себя или для немца?

Женщины заговорили наперебой, торопясь высказать всё, что наболело. Немцы были и ушли. Расстреляли секретаря колхоза Василия Ивановича, остальные мужчины успели схорониться, кто где. Увели с собою учительницу, она не хотела итти, отбивалась, её ударили прикладом и бросили в грузовик. С хлебом неизвестно, что будет. В селе немцы оставили власть — старосту. Привели откуда-то сукиного сына, Ермолаева старшего, того, что был завмагом и сидел в тюрьме.

Женщины рассказывали, жаловались, возмущались непорядками, они уже обращались к Гудимову, как к своей исконной власти, как к человеку, который рассудит и заступится, стоит только выложить ему всё, как есть. И эту их непоколебимую уверенность нельзя было не оправдать.

— Ладно. Разберёмся, — пообещал Гудимов. — А как у вас, о партизанах слыхали? Говорят о них или не слышно?

О партизанах никто ничего не знал, но все были уверены, что они существуют. Немцы тоже о них спрашивали. Дошёл слух, что на лесном перегоне недавно разобрали путь, движения не было несколько часов. Был недавно случай — немецкую повозку обстреляли в лесу, убили лошадь, но кто стрелял — неизвестно. Солдат прибежал ни жив, ни мёртв. Ещё, говорят, третьего дня мост у Косой горы, над балкой, провалился под немецким броневиком, и будто бы брёвна были подпилены.

— Это ваша работа? — спросила девочка с жадным любопытством.

— Партизанская, — сказал Гудимов. — Только партизаны бывают разные. Тебя как зовут? Таня? Так вот, Таня, если ты ночью подпилишь брёвна под мостом и немцы провалятся... или хлеб, немцами отобранный, ночью керосином обольёшь и подожжёшь — партизанка ты или нет?

— Партизанка! — с восторгом прошептала Таня.

— Ну, вот, видишь. Умному понятно. А здесь все умные. Кто и не был умён — немцы научили. А что вы женщины да девочки... так и в отряде девушки есть. И помощь нам будет ото всех, кто не хочет фашистской сволочи кланяться. Помощи нам хватит.

— Так чего тебе надобно? — нетерпеливо спрашивали женщины.

— Да пока немного. Хлеба испечь надо, надоело на сухарях сидеть. Бельё постирать.

— Может, ещё чего? Ты говори!

— Познакомимся — видно будет. А вам не страшно партизанам помогать? Узнают немцы — расстрелять могут.

— Могут, — согласилась старуха. — Не только расстрелять — повесят! Да что ж делать, мил человек?

Гудимов ушёл от них таким лёгким и счастливым, будто заново начал жить. И, вернувшись в лагерь, поглядел на своих товарищей по отряду как бы извне, со стороны, и его поразило, что он не замечал до сих пор их запущенного и нелепого вида. За месяц почти все мужчины обросли бородами, даже у Коли Прохорова что-то курчавилось на подбородке и над губою топорщились колючие усики.

Гудимов попросил у Ольги тёплой воды и зеркальце, закрылся в землянке, взглянул на своё отражение. Понятно, что женщины струсили, увидав такого лесного духа!

Он начисто сбрил усы и бороду, затем позвал Ольгу:

— Ну как?

— Ой, до чего же ты лучше стал!

— На советского человека стал похож. Такому скорее бабы поверят, правда? — Он лукаво подмигнул Ольге: — А ну-ка, организуй общественное мнение.

Парикмахерская была устроена под деревом, и около добровольного парикмахера быстро выстроилась очередь. Проходя, Гудимов громко сказал Гришину:

— Выжидать довольно! Пора действовать по-настоящему.

Он знал: через несколько минут эти слова будут известны всем. И, действительно, как только с бритъём было покончено, все собрались вокруг Гудимова, подтянутые, повеселевшие, и на всех лицах отражалось жадное ожидание перемен.

— Вы помните, товарищи, историю с обозом?

Все помнили. Партизанская разведка услышала ночью дребезжание колёс и устроила засаду. Когда в полутьме звёздной ночи показался

неясный силуэт первой повозки, партизаны открыли стрельбу. Встречной стрельбы не было, немцы, видимо, притаились, поджидая появления партизан. Но партизаны не поддались на эту уловку и отступили.

— А вот мне сегодня рассказали, как дело было. Ехал один немец на одной повозке. Испугался он до смерти и убежал. А повозку бросил. То-то она нам пригодилась бы, если бы там были патроны или гранаты, или, скажем, консервы!

— Первый раз... — смущённо пробормотал один из участников засады.

Гудимов махнул рукой, хотел было возразить, но понял — не нужно. Сдержанно сказал:

— Приготовьтесь, товарищи, проверьте оружие. Народ на нас смотрит, ждёт нашего партизанского слова. Пора начинать.

Он задержал Ольгу Трубникову.

— Ты, Ольга (он всегда избегал называть её по фамилии), пойдёшь в село пожить у одной старухи. Разведает, как да что. Старуха надёжная, поможет. А староста там — шкура продажная. Его надо убрать. Твоя задача — присмотреться, как это лучше сделать. Понятно?

Ольга кивнула головой и спросила, как ей одеться и за кого себя выдавать. Он видел, что она горда его доверием и в эту минуту совсем не думает об опасности поручения.

Вечером он провожал Ольгу. Старуха должна была встречать её за околицей и обещала выдавать её за свою племянницу. Девочка Таня взялась поддерживать связь между Ольгой и Гудимовым, так как Ольге не следовало отлучаться из села.

Шли медленно. Тёмные деревья то смыкались над ними, то расступались, открывая высокое небо с загорающими звёздами. Мох беззвучно оседал под ногами. Слышно было, как, шурша, опадают сухие листья. Лесная тишина дарила им всю вселенную и одновременно отгораживала их двоих от всей вселенной — они были вдвоём, всё остальное как бы перестало существовать.

Он услышал сдавленный голос Ольги:

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — это необходимо,

чтобы каждый вечер

над крышами

загоралась хоть одна звезда?!

— Что это?

— Маяковский.

Ему хотелось пожать её руку, но он не посмел.

— Ты берегись, — сказал он. — Не горячись. Если тебе что-нибудь покажется подозрительным, немедленно сматывайся — и назад.

— Как тогда наши ребята от одного немца? — насмешливо откликнулась Ольга.

— Ты здесь будешь одна. Без оружия.

— Я буду среди своих.

— Мне бы не хотелось подвергать тебя опасности Оля...

— Почему? — с какой-то внутренней стремительностью спросила она, повернув к нему лицо, тускло освещённое звёздами.

— Не хочется — и всё.

Ольга коротко вздохнула, отвернулась и сказала:

— После войны, Гудимов, тебе и не придётся подвергать меня опасности!

Старуха уже ждала. Они втроем коротко договорились о связи. Деловито попрощались.

Гудимов смотрел, как удалялись по белеющей дороге две женские фигуры. Ольга была в городской жакетке, в косынке, в сандалиях. Впервые за месяц он видел её в женском платье, без сапог, и может быть поэтому она показалась ему сегодня хрупкой, беззащитной и очень родной.

«Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно...» Нет, никогда не удавалось ему запомнить стихи. А Ольга знает их множество и читает их запросто, как будто они — часть её существа. «После войны...» Доживут ли они до этого счастливого «после войны»? Он представил себе свою просторную, пустоватую квартиру, где он никак не мог обжиться, потому что не успевал бывать дома. Окна раскрыты в сад. Сумерки. Ольга сидит на подоконнике в белом платье. Но, боже мой, почему она окажется в его комнате после войны?..

В лагере Гудимова поджидал Трофимов, вернувшийся из разведки. Вид у него был возбуждённый и виноватый.

— Товарищ командир отряда! — отрапортовал он, чуть задыхаясь. — В пути подобрал двух бойцов, попавших в окружение. Один — ополченец, токарь с завода Сталина Иван Короткое с оружием, слегка ранен в ногу, дошёл сам. Второй — личность невыясненная. Ранен, бредит. Несли на

руках. Документов не обнаружено... По виду — советский человек... Я так рассудил, что правильно привести их в отряд.

Трофимов ещё не имел возможности оправдать себя в бою, и самостоятельное решение о двух бойцах беспокоило его — вдруг окажется, что он снова сделал что-нибудь не так?

— Шли сюда окольными путями, — добавил он многозначительно.

— Окольными? — весело подхватил Гудимов. — Молодец, судья! Начинаешь забывать, что сидел при секретарше и телефонах! Ну, пойдём, показывай своих героев!

Иван Короткое уже освоился среди партизан и был в приподнято-счастливом настроении.

— Вот славно! — восклицал он со светлой улыбкой, молодившей его изнурённое, обросшее щетиной лицо. — Я всё думал — должны же встретиться какие-нибудь свои!

Гудимову он сказал:

— Что хотите делайте, никуда от вас не уйду! В свою дивизию мне теперь не пробиться, а советской власти и здесь служить можно. Винтовка с патронами при мне.

Раненый лежал в землянке на топчане Трофимова. Он был не только ранен, но до крайности истощён. Добиться от него ничего нельзя было.

— Музыкант... ботаник... музыкант... — бормотал он на все расспросы и недоумённо озирался воспалёнными глазами.

С ним предстояло немало повозиться, пока он станет в строй. Но пополнение отряда показалось Гудимову счастливым предзнаменованием: так оно совпало с возникшею в этот день уверенностью, что начинается новый период боевых действий.

На следующий день связист принёс записку от Ольги:

*«Товарищ командир, предатель за три избы от нас. Всё будет очень просто. Сообщите мне час, тётя Саша постучится к нему по делу, а тут вы начнёте действовать. Наметили трех человек вовлечь. Двое пареньки по 17 лет, один 28 лет, воевал в финскую, был ранен, одна нога короче, но боевой и ходит быстро. Когда придёте, они помогут. В селе два человека ненадёжных — молочница Клавдия Перкконен, подслуживалась к немцам и теперь к Ермолаеву, и старик Фофанов, подхалим и подкулачник, как говорят. Их не любят. Жду указаний. О.*

*Золотые мои друзья, как я к вам привыкла и как хочется вас видеть!»*

Вечером Ольга прислала вторую записку:

*«Сегодня Ермолаев пришёл от коменданта с приказом сдать весь хлеб в комендатуру. Утром Ермолаев будет сгонять людей на работу. Считаю политически очень важным свершить суд сегодня в ночь. В связи с хлебом настроение накалённое. Жду приказаний. О.»*

Гудимов немедленно послал ответ:

*«В 10 часов вышли Таню на обычное место встречать. Выбери удобный пункт — баня, сарай, изба. Трёх друзей вызови на этот же час, не раньше. Увидимся вечером.»*

Гудимов знал, что операция будет лёгкой и достаточно взять с собой одного-двух человек. Но партизанам было полезно участвовать в деле, а, кроме того, Гудимову хотелось провести его торжественно или, как писала Ольга, политически.

К назначенному часу отряд подошёл к селу. Таня встретила его за околицей, глаза её сверкали в темноте, она говорила восторженным и таинственным шопотом. Гришин развёл посты по намеченному плану. Остальные партизаны прошли за Таней в баню, одиноко стоявшую в конце большого тёмного огорода. В бане горел свет. Керосиновая лампочка освещала напряжённо-спокойное лицо Ольги.

— Вот и вы... — прошептала она и улыбнулась мгновенной жалобной улыбкой.

— А где твои молодцы?

— Сейчас придут.

— Хорошо, — Гудимов мимоходом пожал её руку. — Тебе не надо показываться вместе с нами. Иди пока домой и жди. Будем созывать народ — придёшь со всеми и с ними же уйдёшь. С нами ты не знакома.

Ольга не могла скрыть огорчения, но покорно кивнула и выскользнула в темноту.

Трое партизан подошли к дому старосты, и тётя Саша постучала в дверь.

— Чужой человек пришёл, просится ночевать, — через дверь говорила она. — Боюсь я его. Ты сходи, проверь документ.

Ермолаев, не открывая, неохотно ответил:

— Что ж ночью ходить! Приведи его сюда.



— Да что ты, начальник! Как же я приведу его? А вдруг он убежит, кто тогда перед немцем отвечать будет? Может, он шпион какой!

Ермолаев долго собирался, кряхтя и ругаясь, потом загремел запорами и вышел во двор. У калитки его схватили, обезоружили и повели в баню.

В жидком свете лампы партизаны увидели насмерть перепуганного человека с виновато бегающими глазками — он и всматривался в каждого из окружавших его людей, силясь понять, что его ждёт и всячески избегал встречи с чужими недобрыми взглядами, и лопотал что-то, ища оправданий, и съёживался, стараясь стать незаметным.

«Как на плакате, — подумал Гудимов, — до чего мерзок!»

— Соберите народ, — приказал он новым партизанам, привлечённым Ольгой. — Будем судить эту гадину всем миром, как полагается.

Видно, некрепок и неспокоен был нынче сон — через несколько минут в баню набилось народу до отказа. В предбаннике и в огороде тоже стояли люди, на полках и на печке страстно шептались возбуждённые зрелищем ребята, и с каждой минутой новые ребята, прошмыгивая между ног взрослых, присоединялись к приятелям, так что полки уже трещали, а светлые и тёмные головёнки торчали в три ряда.

Партизан жадно рассматривали, некоторых узнавали: «Да это Трофимов, судья!» «Сам прокурор здесь!»

Связанный староста стоял в углу и исподлобья озирался.

Гудимов не обдумывал заранее, какую речь он произнесёт. Он знал, что обстановка подскажет нужные слова. Он уверенно, по-хозяйски размещал людей в тесноте, перебрасываясь с ними шутками и заигрывая с ребятами, и всё время чувствовал себя дома, снова дома, среди родных. И уже не удивлялся тому, что люди сбегались сюда запросто, без расспросов, словно давно ждали этого часа и совсем так же теснятся вперёд и даже переругиваются из-за мест, как бывало раньше перед собраниями.

— Товарищи советские граждане! — начал он негромко. — Мы с вами сегодня в немецком тылу. Но советскими людьми быть не перестали и не перестанем. И советская власть была и будет нашей единственной властью. С немецкими захватчиками у нас один разговор — борьба. А предателей, изменников, продажных немецких прислужников мы будем уничтожать, как уничтожают вошь. От имени народа, от имени советской власти объявляю общественный суд открытым. Обвиняемый Ермолаев — бывший вор и арестант, а теперь немецкий слуга и предатель родины. Судьи — вы все. Сами решайте, что с ним делать.

Гудимов сел на лавку, предоставив Трофимову и Гришину

допрашивать подсудимого. Собрание молчало. Но при первой попытке Ермолаева отпереться от своей вины, высокий женский голос метнулся из предбанника: «Врёт!» Собрание загудело, и пожилой крестьянин протиснулся вперёд и закричал, потрясая рукой:

— А кто хлебом-солью немцев встречал? Не отопрёшься, гадина, народ всё видит!

Допрос стал всеобщим, свидетели выступали тут же, обращаясь ко всем за подтверждением своих слов, и десятки голосов подтверждали, и уже из предбанника и с огорода пробивались вперед новые свидетели, выкрикивая:

— Дайте я скажу! Да пустите же, граждане, я ему всё припомню!

Радуясь этому взрыву страстей, Гудимов с шутками и прибаутками придерживал их, чтобы собрание всё-таки оставалось организованным, настоящим собранием, потому что позднее — он знал это — люди будут припоминать всё и рассказывать о каждой подробности, и то, что партизаны принесли с собою не только возмездие, но и законность, и порядок, — будет одобрено, как свидетельство силы.

И люди охотно подчинялись ему, затихали, чтобы услышать его негромкий дружеский голос, смотрели на него с доверием, поощрительно, без страха.

Ольгу он увидел неожиданно — он как-то забыл о ней. Она стояла в углу в группе девушек. Встретив взгляд Гудимова, она повела глазами вокруг, и Гудимов понял, какое торжество для неё сегодняшний вечер.

Он написал на листке блокнота: «Дорогой мой товарищ, мы боремся за будущее счастье, за общее и, быть может, наше тоже. Но и в этой борьбе у нас будут часы вот такого удовлетворения и счастья. И жизнь хороша, и жить хорошо! Так, кажется, в стихах?»

Передавать листок было невозможно, он только показал ей глазами, что записка ждёт её, и Ольга поняла.

Допрос окончился. Гудимов предложил высказываться, но в ответ раздались пылкие голоса:

— А что тут говорить? Много ему чести — говорить о нём! Расстрелять его, как собаку, и всё!

Голосовали смертный приговор в суровом, торжественном молчании. Руки подняли все — большинство с уверенностью, смело, иные с оглядкой. Гудимов с интересом ждал, как будут голосовать указанные Ольгой «ненадёжные» — женщина, оглянувшись, чуть подняла руку и быстро отдернула её, а Фофанов с каким-то вызовом вскинул руку и долго держал её вскинутой, выпучив глаза и испуганно приоткрыв рот. «Ладно, —

подумал Гудимов, — это вам урок и предупреждение».

Когда старосту повели расстреливать, весь народ повалил следом.

Ни одна женщина не вскрикнула и не отвела глаз, когда раздался залп.

А потом Гудимова окружили плотной толпой, и началось второе, быть может, самое главное собрание, когда люди спрашивали, что же теперь делать, что будет дальше, часто ли будут приходить партизаны, и ощущение своей силы и неизбежности борьбы нарастало с каждым словом и захватывало самых как будто бы отсталых и пассивных людей.

И люди, возбуждённые этой необыкновенной ночью, приобщившей их к зарождающейся всенародной борьбе, уже ничего не боялись — они наперебой зазывали к себе партизан, и оказалось, что и баньки успели протопить, и угощение готово, и заботливые руки уже завязали в узелки — кто домашних пирогов, кто сала и луку, кто тёплых шанежек — что нашлось под рукою.

Когда отряд уходил из села, трое новых партизан стали в ряды вместе со всеми, и тогда выбежал из толпы пожилой колхозник, тот, что первым выступил на суде, и с ним его сын — паренёк лет шестнадцати, а за ними — ещё двое крестьян. Они тоже пристроились в ряды.

Гудимов увидел в толпе провожающих отчаянное лицо Ольги. Как ей хотелось, бедняжке, занять своё место и гордо пойти с товарищами у всех на глазах.

— До скорого свидания, друзья! — сказал Гудимов и начал пожимать руки, со всех сторон потянувшиеся к нему.

Ольга тоже протянула руку, и он незаметно сунул ей в ладонь записку. Она благодарно улыбнулась и сразу отошла.

Два дня всё было спокойно, и Ольга сообщала только, что хлеб не повезли, а спрятали, что из окрестных деревень приходят узнавать о посещении партизан, что кругом только и говорят о партизанах, о суде над Ермолаевым, о том, что «предатели всё равно ничего, кроме пули, не заработают».

Гудимов ждал карательного отряда и не ошибся. На третий день разведка сообщила, что на двух грузовиках приближаются немцы.

Засада была устроена поодаль от села, в лесу, у поворота дороги, где на ухабах машины должны были замедлить ход.

Иван Коротков первым метнул гранату под колёса головной машины, почти одновременно Коля Прохоров метнул гранату во вторую машину. Из-за деревьев засвистели партизанские пули. Завязался короткий бой.

Застигнутые врасплох, немцы сопротивлялись недолго. Собранные после боя трофеи были великолепны — автоматы, патроны, обоймы,

шинели, сапоги..

Трупы немецких солдат положили на дороге в ряд, на грудь офицера прикололи записку:

*«Собакам собачья смерть! Такая судьба ждёт каждого немецкого бандита! Свободный народ не будет рабом.  
Народные мстители.»*

Ещё через два дня под вечер, с кошёлкой для грибов у локтя, в партизанский лагерь прибежала Ольга.

— Товарищ командир... прибыла без разрешения... по очень важному делу... — Она перевела дух и виновато добавила: — уж очень хотелось самой...

Она принесла заявление, адресованное «секретарю райкома большевиков начальнику партизан т. Гудимову и районному прокурору т. Гришину и всем партизанам» от граждан другого большого села. Граждане подробно сообщали о всех притеснениях, чинимых немцами и их старостами, просили притти к ним и провести партизанский суд.

*«А мы все вам поможем и будем помогать, чем сумеем, потому что никакой жизни теперь нет, и у нас один выход — бороться вместе с вами, пока всех немцев не перебьём! Ждем вас, дорогие товарищи!»*

Склонясь над кроваткой сына и сонно покачиваясь в такт песне, Мария пела почти беззвучно:

Богатырь ты будешь с виду  
И казак душой,  
Провожать тебя я выйду —  
Ты махнёшь рукой...

И облегчающее сознание того, что сын ещё очень мал, спутывалось с горьким предвкушением далёкой скорби, и она думала в полудреме о том, что, быть может, теперешние страшные бои будут, наконец, последними для человечества и её минует материнская неизбывная тревога за существо, более дорогое, чем собственная жизнь... Но сколько раз матери над колыбелями сыновей страстно надеялись, что война — последняя и над новым поколением не будет нависать смертная опасность?..

Всё глуше звучали слова песни. В тишине стали слышны мягкие стуки дождевых капель и невнятные голоса дальнобойных орудий. «Вот мы и на фронте», — сказал Сизов. «И маленький спящий ребёнок тоже на фронте? И это я оставила его здесь... Это я буду виновата, если с ним что-нибудь случится... Прости меня, солнышко моё. Но ты даже не можешь простить, ты не понимаешь...»

Настойчивый, резкий звонок.

Очнувшись, Мария вслушивалась — вот мама прошла в переднюю, звякают запоры, хлопает дверь. Чей-то незнакомый голос, непонятные восклицания Анны Константиновны...

— Муся! — испуганным топотом позвала Анна Константиновна. — Муся, пойдй сюда!

Мария вышла, жмурясь от яркого света после полумрака детской.

— Муся... это Митя!

— Ну, и что же? Где он?

Мария решительно направилась к митиной комнате, но Анна Константиновна схватила её за руку:

— Он такой страшный, Муся!. Ввалился... ничего не объяснил... Я боюсь. Он... переодетый!..

— Переодетый?

— Я сразу вспомнила, что ты рассказывала... Может быть, он убежал?

— Глупости! — неуверенно ответила Мария и, не стучась, вошла в комнату Мити.

Она почти натолкнулась на него — Митя стоял у двери, придерживаясь рукою за косяк, и стаскивал с ноги сапог. От неожиданности он потерял равновесие и чуть не упал. Его обросшее лицо исказилось жалкой улыбкой.

— С приездом, Митя! — бодро сказала Мария. — Боже мой, в каком вы странном виде!

На нём были крестьянские поношенные штаны и рваная куртка, из-под которой виднелась грязная, расстёгнутая на груди рубаха. Вода капала с куртки на пол. Солдатские сапоги были забрызганы мокрой грязью выше щиколотки.

— Шёл солдат с фронта, — криво усмехаясь, сказал Митя простуженным и злым голосом. — Шёл и притомился.

Не здороваясь, он снова взялся за сапог.

— Садитесь, — сказала Мария. — Давайте сюда ногу! Давайте, давайте, ничего!

Она с трудом стянула с него сапоги. Ей было неловко смотреть на его почерневшие израненные ноги со вздутыми жилами. А Митя, не стесняясь её присутствия, блаженно шевелил занемевшими чёрными от грязи пальцами.

— Мама! — крикнула Мария от двери, — мамочка, скорее затопи ванну, ставь чайник и приготовь чего-нибудь поесть!

Она сказала Мите как можно веселее:

— Раз пришёл солдат с фронта, надо его обмыть и покормить. А разговоры потом. Верно?

Митя посмотрел на неё, и впервые в его усталом лице мелькнуло прежнее выражение преданности. Но это выражение было странно сейчас и не удержалось.

— Да о чём разговаривать, — сказал Митя, — рассказывать — не поверите, а раз не поверите — к чему время тратить?

Она предложила:

— Вы полежите пока.

Митя беспомощно оглянулся:

— Куда же я лягу такой?

Она решительно принесла ему халат Бориса:

— Снимите с себя всё и выкиньте за дверь и завернитесь в это, пока не

согреется ванна.

Побежала на кухню, налила в таз тёплой воды, поставила на пол перед Митей:

— Опустите ноги!

— Ну, зачем вы это... — пробормотал Митя, но послушно опустил ноги в воду и от удовольствия закрыл глаза.

Анна Константиновна сунулась было в комнату, но Мария не впустила её, плотно прикрыла дверь и тихо спросила:

— Ну, а теперь скажите мне, Митя, что с вами случилось? Откуда вы?

— Из окружения, — коротко ответил Митя.

— Боже мой... как же вы добрались?

— А всяко, — угрюмо сказал он. — Вы что хотите знать? Как в болоте валяются? Как сырые грибы жуют? Как умирают? Или роман с приключениями — «Двенадцать суток в тылу врага»?

— Знаете, Митя, даже в раздражении и усталости вы могли бы не говорить со мною таким тоном.

— Простите, — вяло откликнулся Митя и наклонился, ладонью растирая грязь на разопревших ногах.

— Вы голодны?

— Нет. — Он махнул рукой и поморщился. — Мне сейчас много есть нельзя. Попить — дайте.

Она принесла стакан чаю.

— А маскарад мой вы суньте в печку, там вши есть, — сказал Митя. — Что вы смотрите? Мы себя за окопников выдавали. Вот как вы были...

Помолчав, он вдруг спросил:

— Помните, как я вас тогда встретил?

Она молча кивнула.

— Противно?! — спросил он, отвернулся и коротко всхлипнул.

Мария поняла, что он не только устал, но жалок и противен самому себе и в таком состоянии не может ни смотреть на неё, ни разговаривать с нею по-прежнему.

— Нет, — сказала она искренне, потому что брезгливость уступила место всепоглощающей материнской жалости. — Нет, Митя, не противно, но страшно и больно... Если бы я могла помочь вам!

— А чем вы можете помочь? Сочувствием? Добрых намерений много. А получается... Ну, черт с ним! Что об этом вспоминать. И так тошно!

Марию мучил вопрос, который она никак не решалась задать.

Митя откинулся назад, прикрыв глаза, губы его распустились, и отросшая борода не могли скрыть их обиженного мальчишеского

выражения.

«Чепуха, — убеждала себя Мария, — не мог же он после двенадцати дней таких мучений не притти домой отдохнуть... Он же совсем ещё мальчик, и мне хочется обмыть, накормить и приласкать его, как Андрюшку... Он не привык... да и можно ли привыкнуть к болоту, к сырým грибам, к голоду?. Он пришёл отдохнуть — разве он не имеет права?..»

Мария вышла на цыпочках, унося с собою митины лохмотья. Она сунула их в топку ванной и без всякой брезгливости следила, как чадят и тлеют пропотевшие тряпки. На кухне Анна Константиновна жарила картошку и заправляла салат. У неё был всё тот же растерянный и виноватый вид.

— Ты что, мамулька?

— Не знаю, Муся... у него такой странный вид...

— Он из окружения, мама.

— Это правда?

— Что ты хочешь сказать, мама?

— Не сердись, Мусенька. Мне самой стыдно... Только... он не потихоньку пришёл?

— Ты боишься?

— Да! — воскликнула Анна Константиновна, — за него! Боюсь! Я дольше вас жила, Муся, я знаю, как легко сделать ошибку и как трудно потом исправлять.

Марии нечего было ответить. Разве её не томили те же сомнения?

Когда Митя вышел из ванной, в белой рубашке, открывающей покрасневшую от мытья тонкую шею, и от двери улыбнулся Марии, она снова устыдилась своих подозрений и повела его ужинать.

— Да вы и побриться успели?

— А как же? — воскликнул Митя. — Полный восстановительный ремонт! Анна Константиновна! Ну, что, похож я теперь на человека? А то вы перепугались до смерти, признавайтесь! Не то вор, не то бандит...

— Не то дезертир, — добавила Анна Константиновна.

Митя промолчал.

— Садитесь и ешьте. Чтобы всё было съедено, — сказала Мария.

Анна Константиновна хотела присесть к столу, но Мария глазами попросила её уйти.

— А что же мама? — спросил Митя, и Марию удивило, что он не рад остаться с нею вдвоём.

— А вам мало моего общества?



— Да нет, я так спросил...

— Расскажите мне, Митя...

— Ой, не надо! С меня хватит. Больше всего хочу забыть, забыть начисто. Будем говорить о чём-нибудь другом.

Но они ни о чём не говорили. Митя жадно ел, чокался, с наслаждением пил, а глаза его избегали внимательных глаз Марии.

Решившись, она спросила:

— А что вы думаете... что вы должны делать теперь, Митя?

— Спать! — развязно ответил он, зевая.

— Я не о том, — упрямо продолжала она. — Вы надолго домой? Когда вы должны являться?

Митя вдруг встал, отталкивая стакан.

— А вы не думаете, Мария Николаевна, — мальчишеским фальцетом закричал он, — вы не думаете, что человек должен выспаться и отдохнуть? Чего вы меня так торопите на убой?!

Она встала, побелев. Они враждебно смотрели друг на друга.

— Хорошо, — сказала она, — хорошо! Идите спать. Вам, действительно, надо выспаться.

И она, чуть не плача от обиды и злобы, стала стелить ему постель.

— Не сердитесь, — мягко сказал он за её спиной, — я что-то не то сказал... Я ещё не очухался, Мариночка... Вы не обращайте внимания... И вы мне ничего не рассказали о себе. Как вы живёте, Марина? Работаете?

— Да, — сказала она резко, — строю баррикады.

Она мало и плохо спала в эту ночь. Ей вспоминались злые слова Бориса: «Я бы пристрелил его, как собаку». Но ведь сам-то Борис... он же удрал от испытаний войны, он же злился потому, что его не сумели защитить!

Её разбудил непонятный шаркающий звук. Она вскочила и в халате выбежала в коридор. Митя стоял в кухне и тщательно чистил сапоги.

— Доброе утро, Мариночка! — приветствовал он её прежним почтительно-ласковым голосом. — Вот видите, я встал раньше вас.

— А куда вы так рано?

— Нужно, — улыбаясь, сказал он, — дело есть.

Они позавтракали и вместе вышли из дому.

— Я вас провожу немного, ладно? — предложила она.

— Чудесно! А вы не опоздаете на ваши баррикады?

Воздух был чист и прохладен, от него горели щёки. Улица, обмытая вчерашним дождём, была пронизана утренним мягким светом.

— Вы куда, Митя?

Не отвечая, он сказал:

— Я вам, кажется, нагрубил вчера? Ради бога, не обижайтесь, Мариночка. Я сам не свой был.

Нет, она не обиделась. Если бы только она могла до конца поверить, что вчерашние слова были случайной вспышкой раздражения! Если бы она могла быть уверена в том, что он поступит так, как нужно...

— Я просто хочу знать, куда вы сейчас идёте.

Он остановился, выпустил её руку.

— Вы что, подозреваете меня, что ли? — грубо сказал он. — Прикажете отчитаться? Пожалуйста. Иду являться в комендатуру, и другие ребята наши придут, а что будет дальше, не знаю. Удовлетворены?

— Митя... я не... Митя, Борис уехал, понимаете? Нашёл предлог и уехал. Если я могла ошибиться в нём...

Они пошли рядом, каждый думая о своём. Молчали. До комендатуры осталось два квартала.

— Знаете, Марина... не провожайте меня дальше. Мне всё кажется, что вы мне не верите.

Его откровенность застигла её врасплох. Да, ей хотелось дойти до дверей комендатуры и увидеть, как он войдёт.

— Ну, вот ещё, — сказала она, краснея.

Они неловко, нерадостно простились.

Вечером Анна Константиновна сообщила:

— Митя забегал.

— В военном?

— Нет, как ушёл утром. Мы с Андрюшей гуляли, а он прибежал, взял ключ, сбегал наверх и почти сразу вернулся. Видно, очень спешил.

— И он не в военном?

— Я же тебе говорю.

Что же это значило? Почему он, забежав, не оставил ни записки, ни адреса? Подозрения снова овладели ею — правильно ли она поступила, поверив ему на слово?

Прошло несколько дней.

Уже темнело, и Мария кончала работу на новой баррикаде, когда из проходящей роты бойцов её окликнул знакомый голос:

— Мариночка!

Митя шёл в строю, вторым с краю, он не мог выйти к ней, и она не могла подойти к нему. Но она пошла рядом, отделённая от него молодым армянином, который старался быть совершенно незаметным и даже голову откинул назад, чтобы не мешать им смотреть друг на друга. Они весело

переглядывались и говорили ничего не значащие слова.

Из-за поворота показался трамвай.

— Ваш трамвай, Мариночка, — сказал Митя.

— Да, да, сейчас.

— А баррикады стройте, — крикнул Митя, — только мы до них немца не допустим. Верно, Левон?

Боец, до сих пор старавшийся быть незаметным, повернул к Марии смуглое лицо с добрыми глазами:

— Сердцу больно, когда смотришь, как вы здесь баррикады строите, — сказал он. — Не допустим мы его до вас. Не сомневайтесь!

— Я верю, — серьёзно сказала Мария.

Она всё-таки пропустила трамвай. Она смотрела вслед уходящим на фронт людям, мысленно благословляя каждого из этих родных незнакомцев, и Митя, оборачиваясь, махал ей рукой, радуясь тому, что она стоит и смотрит.

Анна Константиновна гуляла с Андрюшей в садике возле дома. Андрюша узнал мать и побежал к ней навстречу, но ножки его, ещё неверные, почему-то всегда заносили его вправо, и Марии пришлось бежать и перехватывать его. Очень довольная, Мария подошла к матери с Андрюшей на руках.

— Ну, что? — спросила Анна Константиновна.

Анна Константиновна жила в постоянном возбуждении. Ей было труднее, чем людям молодым и осведомлённым. На работе в Доме малюток она бывала всего два раза в неделю на суточных дежурствах, и там не только не могла получить каких-нибудь объяснений, а ещё сама должна была всё объяснять, как умела, нянькам и сестрам. У неё было смелое сердце и женская, испытанная жизнью настойчивость. Но тяжёлые новости обступали её с утра — сводки по радио, рассказы беженцев, слухи, подхваченные в булочной и на прогулке. Она всё впитывала и ждала от дочери какого-то исчерпывающего, совершенного слова, которое поможет ей разобраться в событиях и понять, почему так происходит. Она слепо и безусловно верила в дочь, как часто верят матери в своих выросших детей. Когда-то они их нянчили, учили говорить, передавали им свой жизненный опыт — теперь птенцы выросли, обрели крылья, лучше и вернее матерей понимают изменившуюся жизнь, — и матери, растерявшись перед новым поколением, непохожим на их поколение, превращаются в больших беспомощных детей, которых надо учить, опекать, повседневно направлять.

— Всё в порядке, мама, — сказала Мария.

— Ты всегда успокаиваешь меня, как маленькую, что всё в порядке. А сегодня в булочной говорили, будто парашютисты высадились на Московском шоссе... будто бои теперь будут на улицах...

— И зачем ты только слушаешь, мамочка, что говорят? Рассказы о парашютистах давно надоели — это рассказы для школьников.

— Я и не верю... Но, Муся... ведь не женщины будут сражаться на баррикадах?

— У нас и мужчин хватает, мама, — успокоительно сказала она. — Знаешь, я сейчас встретила Митю...

Мать выслушала рассказ о встрече с Митей, и лицо её просветлело.

— Как хорошо!

Это было то же, что думала Мария, но теперь она спросила:

— Что именно?

— Господи, он же не один был в таком состоянии! — воскликнула Анна Константиновна. — И если они сейчас идут с такой охотой...

Мария поднялась к себе. Ей надо было написать Алёше. Она дружила со своим двоюродным братом ещё с тех пор, как Алёша защищал её в драках от мальчишек. В четырнадцать лет Алёша был немного влюблён в неё. Потом жизнь разнесла их в разные стороны, и когда они встретились снова, уже взрослыми людьми, между ними быстро установились приятельские отношения, к которым примешивалась бескорыстная юношеская нежность.

«Мой дорогой танкист», — написала Мария и задумалась. Она часто писала Алёше в эти месяцы войны, но никогда ей не было так трудно писать, как сегодня.

«Мы решили остаться. Ты поймёшь, что я не могла иначе. Я хочу делать то, что нужно, вместе с другими. Борис уехал. Он кого-то эвакуирует, что-то организует. Не знаю точно. Я с ним не поехала. Каждый решает за себя. Доказывать бесцельно. .»

Нет, она не договаривает. Разве Алёша не знает, как она любила Бориса? Она вспомнила Митю — ведь ему она доказывала? И это не было бесцельно? А разве не пыталась она ночь напролёт доказать, внушить Борису...

«Я думаю, что мы с ним уже не увидимся, даже если он вернётся. Мама хорошо сказала: сейчас такое время, когда дружатся на всю жизнь и расходятся навсегда».

Написав эти слова, Мария удивилась собственному равнодушию. Как случилось, что Борис сделался для неё чужим и далёким, что воспоминание о нём не вызывает ни боли, ни горечи? Она не заметила перехода.

Её перо снова заскользило по бумаге: «Если бы мы могли с тобой повидаться, ты понял бы, Лёшенька, как мне сейчас всё это безразлично...» Нет, письмо не получалось. Сухо, рассудочно, а потому неверно. Процесс был сложнее, глубже, и никакого безразличия в ней не было. Но она научилась отключать то, что уже пережито, — слишком много переживаний приносил каждый день, каждый час, и сердце привыкло рассчитывать силы.

«Алёша, в письме не получается правды, но я не лгу тебе. Если бы поговорить, ты бы понял. Я очень счастлива, что осталась. Я чувствую себя полезной и окружённой людьми, как никогда в жизни. .»

За окном и за стеною, в репродукторе, возник рыдающий вой сирены.

— Внимание! Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Воздушная

тревога! Воздушная тревога! — озабоченно объявил низкий мужской голос, и снова завывала сирена.

Ожидая конца сигнала (он мешал сосредоточиться), Мария смотрела в окно на тихое, уже по-вечернему бледное небо и на подростков, занимавших посты на крыше соседнего дома. Воздушная тревога не волновала ни Марию, ни подростков, ни других ленинградцев. Почти каждый день завывали сирены, но небо оставалось спокойным, зенитки молчали, враг не появлялся. Хотя немцы были под городом и их аэродромы находились теперь в непосредственной близости от Ленинграда — расстояние измерялось минутами полёта, — в возможность бомбардировок переставали верить. Ну, подумаешь, загудели! Опять ничего не будет...

Мария облегчённо передохнула, когда кончился противный вой сирены, и взялась за перо. Ясное объяснение своему счастливому состоянию пришло ей на ум; оно было связано с напряжённостью общей жизни и смещением понятий о личном и общем. Она обмакнула перо и искала слов для наиболее точной передачи своей мысли, — и вдруг разом весь внешний мир наполнился грохотом и гулом, таким незнакомым и таким страшным, что мысль отлетела, и нужно было судорожное усилие воли для того, чтобы усидеть на месте и справиться с порывом страха, с желанием бежать, бежать как можно скорее вниз, вниз, «низ, в подвал, в землю, за прочные каменные стены, под укрытие шести этажей. Мария стиснула пальцы так, что ногти вонзились в ладони, и усидела на месте. Она пыталась даже вернуться к мыслям, занимавшим её ранее, но ни одной мысли не было в голове. По крыше дробно застучали осколки — Мария не поняла, что это за звук, и бросилась к окну. Она увидела тех же подростков, испуганно прижавшихся к дымоходу, но сразу забыла о них: три самолёта с воем промчались над домами. Самолёты незнакомых очертаний, с жёлтыми изломанными крестами на загнутых кверху хвостах, окружённые белой пеной разрывов... Они промчались мгновенно, и у Марии было впечатление, что они летят сверху вниз и вот-вот где-то неподалеку врежутся, как снаряды, в дома...

Их воющий гул и трескотня зениток, и дробный стук осколков по крыше, и бешеный стук собственного сердца слились для Марии в одно. Она не помнила, как сорвалась с места, как очутилась на лестнице, закрыла ли дверь. Она помнила только внезапную тишину во дворе, когда, уже овладев собою, вышла из парадного. Тишина была так внезапна и полна, что всё происшедшее показалось небывшим.

Дежурная подошла от ворот к Марии:

— Девятка ихняя пролетела над самой крышей!

Мария ответила ей так же сдержанно:

— Я в окно смотрела. Очень низко они пролетели. — И спросила: — Вы моих не видали?

— В убежище пошли.

Мария уже входила в убежище, когда снова началась стрельба.

— Дверь закрывайте! — нервно крикнули ей.

За железной дверью, в полуподвальном коридоре, приспособленном под убежище, грохот стрельбы был почти не слышен. Освещённые двумя небольшими лампочками, люди сидели на скамейках, расставленных рядами вдоль стен. Одна женщина, стоя под лампочкой, быстро вязала на спицах, не обращая внимания на других, не прислушиваясь и, видимо, не желая ни видеть, ни слышать. Среди взволнованных взрослых не спеша топал Андрюша, с доброжелательным любопытством разглядывая невиданное сборище людей. Взрослые заигрывали с ним, звали его к себе, каждому было приятно подлинное спокойствие маленького человечка. Но в то время, когда они разговаривали с Андрюшей ласковыми и деланно-весёлыми голосами, их уши напряжённо ловили приглушённые звуки извне — что там? Господи, что там творится?

Анна Константиновна подошла к дочери, сжала её руку и тихо спросила:

— Страшно наверху?

Мария привычно ответила:

— Да нет, что ж там страшного.

Но лицо матери дышало такой душевной силой, что стыдно было отделяться общими словами.

— Привыкнем понемногу, — сказала Мария, обнимая мать, — первый раз всегда страшно.

Она снова вышла во двор. Теперь стрельба шла со всех сторон, то приближаясь, то отдаляясь. Раза два отчётливо слышался гул самолётов, но за домами их не было видно. Иногда раздавался пронзительный свист, земля содрогалась, звенели стёкла, и Мария отмечала:

— Бомба.

Её слегка лихорадило, но страшно уже не было.

С улицы сообщили:

— Пожар большой где-то. В стороне порта или немного левее.

Женщины, теснившиеся в парадном, обсуждали:

— Нефтехранилище, наверно...

— А может, завод какой?

Через несколько минут уже уверенно сообщали, что горят

продовольственные склады.

— Вы вот болтаете, — злобно сказала пожилая женщина, — а может, среди нас шпион слушает.

Все почувствовали себя неловко и смолкли.

Весёлый рожок возвестил отбой воздушной тревоги.

Мария добежала до угла и остановилась. Половина неба была окутана медленно поднимающимися клубами чёрного, тяжёлого дыма, а в их основании, где дым был особенно густ и чёрен, даже при свете догорающего дня желтели мощные языки пламени.

— Да, это не дом горит! — сказал кто-то рядом.

Мария стояла долго. Вечерние краски сгущались над нею в спокойном небе, а пламя дальнего пожара полыхало по-прежнему, и медленные клубы дыма, расстилаясь по небу, торопили наступление темноты.

«Началось, — вдруг отчётливо поняла Мария. — Вот оно — начало».

Она поднялась домой. Анна Константиновна наспех готовила для Андрюши запоздавший ужин. Андрюша побежал навстречу матери, но его непослушные ножки понесли его вправо, и путь к матери он проделал в два приёма: сперва завернул к дивану и ухватился за него, чтобы восстановить равновесие, потом пустился в дальнейший путь. Мария раскрыла объятия и подхватила сына на руки.

— Солнышко моё, — прошептала она, прижимая к себе его тёплое, подвижное тельце.

Никогда ещё не томила её такая мучительная, до слёз доводящая нежность, — и некуда было деться от чувства вины перед его младенческим неведением.



В её тихой квартире стало шумно. Марии казалось, что она сама попала в гости в необжитый, неустроенный дом. Андрюша бегал по комнатам, разглядывая новых людей и новые вещи. Вещи были запыленные, перемазанные извёсткой, и Анна Константиновна деликатно, но упорно оттаскивала от них ребёнка.

Маленькая суетливая Мироша в помятой нарядной шляпке и зимнем пальто, из которого ещё не выветрился запах нафталина, неутомимо развязывала узлы, перетирала, выносила на лестницу чистить, разбирала и распределяла по местам всё имущество семьи. Сонная и растерянная Лиза, лениво накручивая на пальцы полураспустившиеся локоны, делала вид, что помогает тётке, но толку от её помощи было мало. Она еле держалась на ногах после бессонной ночи, проведенной на улице. Нарушение привычного хода жизни ошеломило её. Кроме того, она ждала со дня на день, что артиллерист с линкора, старший лейтенант Лёня Гладышев, забежит повидаться с нею: он сообщил о предстоящей командировке на берег ещё пять дней назад. А что будет теперь? Правда, Лиза прикрепил к уцелевшей дверной раме записку с новым адресом и дважды втолковывала управхозу, что передать, если её будет спрашивать высокий моряк. Но разве можно быть уверенной, что Лёня догадается пробраться в разрушенный дом и что управхоз будет на месте и не перепутает, и что у Лёни хватит времени приехать сюда?

Сони, конечно, не было. Она целыми днями пропадала в разных военных учреждениях, добиваясь отправки на фронт. Но если бы Соня и пришла, она не облегчила бы работы Мироши: Соня была ещё менее хозяйственна, чем её сестра, а шуму поднимала столько, что ломило в висках. И так голова шла кругом от всего, что пришлось пережить за сутки!

Их дом разбомбило вчера вечером. Лиза была на заводе, Соня где-то бегала. Мироша рано легла в постель и дремала. Перед самым несчастьем, проснувшись от сильной стрельбы, Мироша решила встать. В пустой квартире ей было не по себе. Она спускалась по лестнице, когда в дом попала бомба. Мирошу оглушило и бросило наземь. Она так испугалась, что не пыталась ни встать, ни звать на помощь. Женщины из группы самозащиты подобрали её, кто-то сказал: «Несите в карету». — «В медпункт сперва, — заспорила другая женщина, — может, она и не живая».

— Что вы, милые, я ж совсем здоровая, — восторженно восклицала,

запротестовала Мироша. — Чего вы хоронить торопитесь?

Среди своих она отошла от испуга и тогда увидела, что от дома осталась только лестница, торчащая сама по себе, а вокруг одни развалины. Стоя на улице, она рассказывала всем, кого ей удавалось заинтересовать:

— Ведь никогда я по сирене не спускалась и сегодня в постель легла, но как время подошло, будто голос какой твердит и твердит — вставай! Только это я встала да начала спускаться, вдруг огонь, треск, всё сыплется...

Но её перебивали, каждому не терпелось рассказать своё.

После полуночи пришла с дежурства Лиза. Лиза растерялась ещё больше, чем Мироша, и всё повторяла: «Где же я теперь спать лягу?» Потом её позвали раскапывать обвал. Оказалось, что половина её комнаты во втором этаже висит почти не повреждённой, уцелели платяной шкаф и оттоманка, где лежат в нафталине зимние вещи. Лиза — полезла наверх с бойцами спасательной группы и собрала всё, что удалось найти.

Соня нашла Лизу и Мирошу на узлах посреди мостовой. Она несколько минут молча разглядывала висящую над развалинами знакомую стену своей комнаты, освещённую луной, потом узлы, сжавшуюся в комочек тётку, сонную Лизу и закричала, всплеснув руками:

— Ох, ну и народ! Да вы что, лунные ванны принимать собрались?! Неужто вы так и будете всю ночь на узлах сидеть?

Она побежала разыскивать активистов из соседних домов. Вместе с ними начала размещать жильцов разбомблённого дома на ночлег. Это она умела — нажать, накричать, потребовать, организовать. Она проносилась мимо с чужими ребятишками на руках, волочила чьи-то чужие узлы, ругала плачущую женщину, боявшуюся оставить без присмотра покорёженную кровать и этажерку: «Ну, кто их тронет? Ну, кому это барахло понадобится? Идите спать!» А про своих Соня забыла, и когда все были пристроены, оказалось, что Мироша с Лизой по-прежнему сидят на улице и Мироша совсем озябла. Соня отругала их и повела ночевать в домовую контору соседнего дома. Там было несколько скамеек и продавленный диван.

— Ну, теперь устраивайтесь сами! — сказала Соня, вытащила из узла зимнее пальто, завернулась в него и улеглась на скамейке, сунув под голову узел с платьями. — Спокойной ночи, счастливых снов!

В положенный час Мироша пошла в свою бригаду, не столько для того, чтобы работать, сколько из желания рассказать о несчастье и посоветоваться со Смолиной. Предстояли хлопоты о новой квартире, и Мироша заранее падала духом.

Мария решительно заявила, что никуда ходить не нужно, что она её

возьмёт сегодня же к себе и племянниц тоже, — всё равно из прифронтовых районов переселяют население в центр, а у Марии есть совершенно свободная комната, её рабочий кабинет.

Мироша прослезилась и стала отказываться:

— Ну, девочки ещё ничего, а я ведь беспокойная, всё суечусь и суечусь..

— Придётся не суетиться, только и всего, — сказала Мария. — И не реви, Мироша, чего ты киснешь, в самом деле? На фронте живёшь, не в тылу! Если можешь работать — принимайся, не можешь — иди домой.

— Мой дом теперь — весь город, такой большой у меня дом, — проворчала Мироша.

— Тогда берись, работай, после работы вместе поедем.

И вот они все оказались у неё. Острая жалость охватила Марию, когда она ввела их в свой рабочий кабинет — тихий, педантично прибранный, с гладкими чертёжными досками, с чертежами, свёрнутыми в трубки, с моделями зданий, занявшими целую полку над книгами.

Вспомнился месяц, когда она работала над проектом новой школы для одного из лучших колхозов того района, которым руководил Борис. Андрюшка только что родился, Борис и мама считали, что надо отказаться от проекта, вредно утомлять себя. Но Марии хотелось жить полнее и напряжённее, чем прежде, материнство не заглушило творческой мысли, а придавало ей особую глубину и чистоту. Мария вкатывала коляску в кабинет и ставила её подле рабочего стола. Андрюшка спал или гугукал потихоньку, разглядывая незнакомый мир непонимающими внимательными глазами. Когда приближался час кормления, он начинал проявлять беспокойство, но не плакал, а только вытягивал губки и, пыхтя, водил ими из стороны в сторону, смутно помня, что где-то рядом всегда находится утешающий тёплый материнский сосок. И Мария кормила его тут же, у рабочего стола. Пока он сосал, сначала быстро и сильно, потом всё ленивее и слабее, она думала о нём и о Борисе, и о своём проекте и о том, как выросший Андрюшка поедет с ней в район и она покажет ему уже не новые, но по-прежнему красивые, любовно обдуманые и построенные дома и скажет: «Это я строила!» Иногда, держа Андрюшку у груди, она разглядывала свой проект и от избытка собственного счастья лучше понимала большое общественное счастье, которое ей хотелось воплотить, и новая яркая мысль приходила в голову — мысль, оживлявшая весь замысел. Как ей хорошо, интересно жилось и работалось тогда!

— Здесь прямо как в церкви! — с уважением сказала притихшая Мироша.

«Что ж, — подумала Мария, — если для верующего церковь — место, где он может сосредоточиться в своей вере, то эта комната — моя церковь. Здесь я всегда бывала наедине с самой собой и со всем, что я любила, о чём мечтала, чего хотела достичь... Только где ж это всё теперь? Дома, построенные с такой любовью, заняты немцами или разбиты, сожжены... Начатый перед войною проект санатория пылится на шкафу, он никому не нужен. Бориса тоже нет, и любви нет. Остался Андрюша... но есть ли сейчас хоть одна мать на свете, чья материнская радость не отравлена тревогой и страхом?..»

— Пустая комната — это очень грустно, — сказала Мария, — я рада, что будут люди и голоса...

— А работать вам не понадобится?

— Работать?..

Она помолчала и вдруг подхватила, тряхнув головой:

— Конечно, понадобится! Да так, как никогда раньше! Больше, лучше, быстрее, чем раньше! А как же? Для чего же мы боремся, Мироша, если не для этого?

— Я сама часто так думаю, — сказала Мироша, вздыхая, — ведь какой из меня землекоп или каменщик? Я ж портниха! Я, бывало, девушке платье сошью, и она в нём запрыгает такая хорошенькая и молоденькая — мне и радостно. Я в молодости нарядов не имела. И всегда мне хотелось каждую молоденькую счастливой видеть. И наряжать её. Я красивое люблю, и мне бы всё было мирно и весело — так люди жить должны. И если б не злоба, что хотят жизнь нашу покалечить, никогда бы я за лопату не взялась. Во мне и силы-то никакой нету.

— А вот сила в тебе есть, — сказала Мария, обнимая Мирошу за худенькие плечи, — мы сами иногда не знаем, какие вокруг нас люди ходят, и сильные, и красивые.

Но Мироша, смутившись, начала болтать чепуху. Мария прервала её:

— Ну, ладно, располагайтесь, устраивайтесь.

Возня с размещением была в самом разгаре, когда прибежала Соня.

— Здесь живёт боец автомобильной роты Софья Кружкова? — от двери затараторила она. — Честь имею представиться, Мария Николаевна, зачислена бойцом Красной Армии. Пока при управлении тыла фронта, но это пока! Да и какой нынче тыл? Главное, приняли, а там моё дело, как на фронт перекочевать. Меня уж научили... Ух ты, какой мировой мальчик! — воскликнула она, увидев Андрюшку, и присела перед ним на пол. — Давай знакомиться, парень! Смотри, что у меня есть. — Она вытащила карманный свисток и засвистела. — Как, ничего, тётя? Стоит

познакомиться?

— А тревоги сегодня не будет, — заявила Лиза, отрываясь от окна, — смотрите, дождь пошёл!

Все устремились к окнам. Осенний унылый дождь только ещё начинался, но по тому, как плотно заволокло небо серыми тучами, ясно было, что зарядит он надолго. Никто ничего не сказал, все вернулись к делам, но стали спокойнее и веселее.

Было около восьми часов вечера, когда начались звонки на парадном. Марии пришлось бегать открывать, и она мельком подумала, что создала себе хлопотливую жизнь, пустив жильцов. Но пришедшие были приятны и интересны ей, и так сразу, безусловно включили её в круг семьи, что Мария забыла свою досаду.

Первым пришёл лётчик, назвавшийся Микой Вихровым. Он был удивительно, до смешного похож на свою сестру Любу, но держался дичком и на всех смотрел исподлобья. Они с Соней уселись на подоконнике в неприбранной комнате и то сердито спорили вполголоса, то молчали, то быстро целовались, если им казалось, что на них не смотрят.

Затем пришли два моряка, и Мария поняла, что один из них должен быть тем самым артиллеристом главного калибра, которым Соня дразнила сестру.

Они вошли шумно, всё ещё возбуждённые тем, что пережили у разбомблённого дома, пока не узнали, что Кружковы уцелели, и не получили их новый адрес. Они от двери заговорили об этом, но Лиза сказала, лениво передёрнув плечами:

— Ах, только не об этом! Знаете ленинградское правило? О бомбах не говорить.

— Есть, не говорить! — откликнулись лейтенанты, радуясь, что после долгого перерыва попали на берег и проведут вечер в женском обществе.

Фигура лётчика рядом с Соней смутила их.

— Знакомьтесь, Лиза, — развязно сказал Лёня Гладышев. — Ничего, что я привёл с собой незваного гостя?.. (Мика Вихров недоброжелательно уставился на незваного гостя.) Это мой брат, Лёня Шевяков, — добавил Гладышев и подтолкнул приятеля вперёд, — прошу любить и жаловать!

— Ваш брат? — удивилась Лиза, — у вас есть брат?

— А как же, — сказал Лёня Шевяков, — разве мы не похожи? Нас на корабле даже путают иногда, до того мы похожи.

Они были совсем не похожи, но все, кроме Мики Вихрова, охотно приняли неожиданного брата.

Приход лейтенантов оживил Лизу и пробудил в ней умение и желание

прибрать раскиданные вещи — через десять минут всё было убрано, если и не совсем разумно, то, во всяком случае, быстро.

Мироша и Анна Константиновна захлопотали на кухне. Война, воздушные налёты, разбомблённый дом, близость фронта — всё забылось. Окна завесили, стрельбы сегодня не было, молодёжь беспечно болтала, а старшие знали, что в доме гости и надо гостей хорошо принять. Мария чувствовала себя где-то между молодёжью и старшими. Ей нравилось быть среди молодёжи, но она не умела выключиться из войны так, как они, она не умела веселиться, как Соня, и лениво кокетничать, как Лиза, и принимать всерьёз болтовню лейтенантов. Тогда она вспомнила, что она хозяйка дома, и пошла помогать старшим готовить ужин. Когда все собрались вокруг стола и Мария налила всем по стаканчику вина, Лёня Гладышев сказал:

— За то, чтобы мы снова встретились в полном составе!

И Мария поняла, что никто не забыл о войне.

— За нового бойца! — сказала она, чокаясь с Соней.

— Ерунда это, — буркнул Мика, — совсем незачем девушке... ты себе представляешь условия работы шофёра на фронте?.. Да и вообще незачем!

Мика Вихров ещё не получил нового самолёта, и всё, что происходило на фронте, казалось ему ошибочным и скверным, потому что сам он лишён был возможности воевать и воздействовать на ход событий. Зачисление Сони в армию разозлило его, — он, лётчик-истребитель, сидит без дела, а девушка будет воевать!

— Ничего, — сказала Соня, — я тебе как-нибудь боезапас подвезу, спасибо скажешь. Без шофёров и лётчику делать нечего.

— Я разве лётчик? — огрызнулся Мика. — Вот посмотрю ещё денёк да и пойду к чорту, хоть в пехоту! Не могу я больше пить-есть и в небо глаза пялить!

— Немец потому и летает так нахально, что у нас самолётов мало, — сказала Мироша, — слышу, как они гудят безнаказанно, даже плакать хочется.

Лёня Шевяков обиделся, так как командовал зенитной батареей:

— Это неверно, что безнаказанно. Вчера одиннадцать самолётов под Ленинградом сбили, позавчера девять, третьего дня восемнадцать. Отдельные прорываются, да и невозможно совсем не допустить прорыва самолётов, когда у них теперь аэродромы — рукой подать.

— А прицельного бомбометания у них не выходит, — поддержал Гладышев, — швыряют бомбы с большой высоты куда придётся.

— Так это зенитчики, что ли, сбивают самолёты? —

недоброжелательно перебил Мика. — Зенитчики только мажут! Я вчера смотрел — ну, прямо злость трясёт. Идут немцы на две тысячи метров, не больше, а зенитки небо роют вокруг, то спереди, то сзади — ни одного попадания!

— Пусть-ка они к нам сунутся, увидят! — сказал Лёня Шевяков.

— Лёня, конечно, сразу всех посшибает, — пошутил Гладышев.

— Эх, дали бы мне машину, я бы их посшибал! — с отчаянием сказал Мика и вконец разозлился, увидав, что незваный гость, подозрительный брат Гладышева, слишком явно ухаживает за Соней. — Вам на линкоре что! — вызывающе крикнул он. — Сидите себе за толстой броней да иногда пальнёте главным калибром по невидимой цели. Вам что! Разве вы знаете, что такое настоящий бой?! Приходится вам драться один против трёх, один против десяти? Вам легко разговаривать...

Упрёк был злой, и отвечать на него было трудно, лейтенанты сами страдали от того, что ещё не участвовали в настоящем боевом деле. Но спускать лётчику не хотелось.

— Лётчики всегда думают, что, кроме них, никто по-настоящему не воюет, — отрезал Лёня Гладышев.

— А что вы делаете, вы? — не унимался Мика.

— Посчитаем потом, — успокоительно сказал Лёня Шевяков, — мы ещё не воевали. Сейчас вот они, — он кивнул на «брата», — дают «огонька» по мере надобности, и со дня на день надобность будет увеличиваться. А вы думаете, — обратился он к Мике, — что нам приятно сидеть без дела? Вы не можете себе представить, — сказал он Соне, — вот на фронте плохо, отступают наши, и всё кажется — если бы ты там был, не допустил бы!

— Я сама так чувствую, — согласилась Соня, — думаешь: буду там, всё иначе пойдёт. Кажется, что без тебя и дело не так делается, и людей поднять некому, и немцев не так бьют — правда?

Мика косился на Шевякова и Соню — ишь ты, уже нашли общие точки зрения! И почему Соня обращается к этому приглаженному лейтенантику, когда он, Мика, гораздо сильнее чувствует то же самое? До чего они падки на новых поклонников, эти девчонки! И Соня ничем не лучше других..

Мария слушала их спор и думала о том, что вот эти люди, собравшиеся здесь, хотят воевать во всю силу, и все они пока не воюют по-настоящему, и что таких людей ещё много... Какова же будет сила народа, когда каждый займёт своё место?

Она хотела сказать об этом, но звонок заставил её подняться. Она

увидела Любу и нескладного, чересчур высокого лётчика с широкими плечами и восторженной улыбкой на скуластом, обветренном лице.

— Не у вас ли мой брат, товарищ Смолина? — не здороваясь, спросила Люба.

— Вихров, Мика, я за тобой, дружище! — пробасил за нею лётчик.

И Люба, и лётчик были чем-то так взволнованы и обрадованы, что забыли поздороваться и перезнакомиться со всем обществом. Они сразу набросились на Мику, затормозили его, затискали в объятиях, несколько минут только и слышны были короткие, счастливые восклицания: «Ну, что, чорт?» — «Я же говорила!» — «Ого! я им теперь!» — «Мишка, друг, крутанем, а?» — «О-го-го!»

Мария решительно оторвала Любу от брата:

— Соловушка, мы хотим знать, что случилось!

— Живём, Соня! — крикнул Мика и стремительно подхватил Сою подмышки, поднял и расцеловал, не стесняясь многочисленных свидетелей.

— Ох, до чего ж я за тебя рада! — воскликнула Соня, тоже не смущаясь. Она давно поняла то, чего ещё не поняли другие.

— Самолёты идут! — задыхающимся от счастья голосом сообщила Люба.

Вскоре после того, как Мика взял увольнительную в город, в полку получили сообщение о том, что новые самолёты на днях придут в пункт Н (Глазов так и сказал — пункт Н). Завтра экипажи новых самолётов должны выехать для приёмки машин.

— Ну, я и поскакал тебя разыскивать! — на всю квартиру грохотал Глазов. — Думаю, опять ты напьёшься с горя, так лучше вместе выпьем на радостях!

Люба выбежала к вешалке и впорхнула в комнату с бутылкой водки.

— По такому случаю можно? — неуверенно улыбаясь, как провинившаяся девчонка, спросила она у Анны Константиновны.

На радостях пришлось выпить всем. Ещё несколько минут назад два моряка и лётчик явно мешали друг другу и были готовы поссориться, а теперь они стали приветливы и дружелюбны, обменивались пожеланиями военных удач и настоящих боевых дел, и Мика утешал моряков, похлопывая их по плечам, как давних приятелей:

— Не горюй, дружище, вы ещё повоюете! Ваша артиллерия — это, знаешь, какое дело? Ну, смотри, зенитчик, поддай им жару снизу, а мы долбанём сверху!

И женщины, облегчённо улыбаясь, не вмешивались в их мужской



разговор.

После ужина Люба пела. Она пела не по нотам и не по правилам, а так, как подсказывало настроение, так, как хотелось. Слушая её, трудно было оценивать её голос и замечать недостатки пения, но зато нельзя было не оценить её самое — её горячую, наивную, жадную до всего прекрасного душу. Люба пела русские и украинские песни, и голос её, звучный и тёплый, передавал слушателям всё обаяние непосредственного чувства, давшего жизнь народным песням, — и сильную безоглядную любовь, и тоску расставания, и близость к родной природе, и чистую простоту цельного характера. Песня сменяла песню, и каждый раз новой стороной раскрывалось существо маленькой певицы и по-новому звучал её голос — то весёлый и звонкий, чуть вибрирующий на верхах, то протяжный и грустный, то разудалый и дерзкий.

Когда Мария осталась одна в своей комнате, ей было и горько, и радостно, и обидно. Новые люди вошли в её жизнь. Новые судьбы скрещивались с её судьбой, волнения и надежды новых людей легко стали её волнениями и надеждами. Теперь, глядя в небо, она всегда будет тревожиться и о Мике, и о его забавном неуклюжем приятеле, так же, как отныне она будет тревожиться и об этих двух моряках, и о Соне... Но почему нет человека, о котором она могла бы тревожиться и которого могла бы ждать безраздельно, так, чтобы радость не приходила к ней лишь отражением чужой радости, и горе, если оно случится, было бы её личным, самым страшным горем? В эту ночь она поняла, что очень трудно иметь на фронте любимого мужчину, но это и гордость, и право, и счастье женщины в дни войны — провожать, тревожиться, ждать.

Только на вторые сутки после того, как танк Алексея Смолина оставил позицию в берёзовой роще, танкисты увидели своих. То, чего боялся Алексей, сбылось — берёзовая роща оказалась в тылу у передовых немецких частей, и обратно к своему батальону пришлось пробиваться с боями и в обход, по лесам и болотам.

К ночи они наткнулись на красноармейцев передового охранения. Русская неторопливая речь была так приятна, что Алексей выскочил из танка и кого-то обнял, и по-волжски окающий голос сказал ему из темноты:

— Хорошо, что свои, а кабы немцы? Ходите тут одни, словно в мирное время... Идите до нашего капитана, он и попить-поесть даст и обстановку расскажет. Митюха, проводи танк до капитана.

Через десять минут танкисты сидели в удобной, любовно отделанной землянке, не похожей на те наспех вырытые ямы, которые им приходилось видеть до сих пор у пехотинцев. Капитан Каменский был, должно быть, ещё молод, в его голосе и движениях чувствовалась молодая энергия, но красивое лицо его заросло бородой и помялось в тяжёлом сне, а припухшие покрасневшие глаза никак не хотели раскрыться как следует.

— Подняли вас! — с сожалением сказал Алексей.

— Да! — вздохнул капитан, не скрывая досады. — Чорт знает, до чего мне не везёт. Как дорвусь до койки — обязательно что-нибудь помешает.

— Вы бы нас куда-нибудь в другое место пристроили, — сказал Серёжа.

— Ладно, ладно, здесь я командир, знаю, кого куда! — ответил капитан, и в лице его мелькнуло то выражение насмешливой ласки, которое Алексей замечал у Яковенко.

Невыспавшийся капитан стал интересен и дорог, а уютная землянка и чистый стол с появившимися на нём консервами, хлебом, маслом, и большими кружками в цветочках, и хозяйственный боец, колдующий над котелками у раскалённой печурки, и свет керосиновой лампы — располагали к отдыху, к быстрой походной дружбе, возникающей мгновенно и не забывающейся никогда.

— Хорошо у вас, — сказал Алексей. И деловито добавил: — Хлопцы мои сморились, заслужили отдых..

— А вы нет? — спросил капитан, усмехнувшись. И крикнул бойцу: — А водка где? Ты уж не жалея, Перепечко, не жалея. Ведь знаю, что где-

нибудь у тебя припрятано. Тащи на стол!

— Есть тащить на стол, — охотно сказал Перепечко. — Я ж не жалею, — объяснил он танкистам, — а без приказа не полагается.

После основательного ужина раненых увели ночевать в санитарную землянку, Серёжу устроили по соседству, а Смолин остался у капитана.

— Ох, и спать же я буду! — воскликнул Алексей, вытягиваясь на койке.

— А я! — откликнулся Каменский. — Мне даже думать сладко, как я сейчас спать буду!

— Вы первый пехотный командир, который мне нравится, — неожиданно признался Алексей.

Если бы он не был таким сонным и счастливым, он никогда не позволил бы себе откровенничать.

Каменский шутливо откликнулся:

— Плохо угощали?

— Нет, не то, — серьёзно ответил Алексей, стараясь уяснить самому себе, что ему так понравилось в капитане. — Может быть, и то, как угощали, — сказал он, подумав. — Когда из боя приходишь, горячая еда и водка тоже боевое обеспечение, ведь так? Землянка у вас хорошая. И порядок. И всё нашлось быстро, без суеты. И ваш боец из боевого охранения, как сказал мне — идите до нашего капитана. . Ну, ладно! — сам себя оборвал Алексей, стыдясь своей откровенности. — Вы спать хотите.

Каменский, снимая сапог, смотрел на Алексея загоревшимися глазами.

— Вот вы понимаете это! — заговорил он со страстной убеждённой. — По-моему, если ты командир, так тебе до всего есть дело — и сухие ли у бойцов ноги, и как людей накормили, и какое настроение у каждого, самого незаметного твоего бойца! И обо всём у тебя душа болеть должна. И в батальоне у тебя и хозяйство, и настроение — всё должно быть отлично, тогда и воевать будут отлично. Равнодушие к людям у всякого человека противно, а у командира — преступно.

Он опустил ногу, так и не сняв сапога.

— Ну, встретил вас боец и сказал: «Идите до нашего капитана...» Вы почему об этом вспомнили?

— Знаете, капитан, — сказал Алексей, — положение тяжёлое, и слишком часто видишь растерянность или путаницу. А тут почуял я прочность. И в том, как он сказал «до нашего капитана» — уважение, любовь...

— Да! — подхватил Каменский, — они меня любят. Я знаю.

Он сидел на койке, забыв о сне, разгорячённый мыслями,

заинтересованный разговором со случайным своим собеседником. И Алексей понял, что у этого капитана есть своё прекрасное честолюбие: любовь бойцов для него высшая слава и награда, и сейчас он счастлив тем, что посторонний человек почувствовал эту любовь.

— Вот бы нам с вами вместе повоевать, — вдруг сказал капитан, — оставайтесь, а? У меня ведь батальон сейчас — не батальон, а прямо корпус в миниатюре. И артиллерия, и миномёты, и мотоциклисты — эти потайные, захватил три мотоцикла, обучил бойцов, держу при себе, докладывать не тороплюсь. Батареею подобрал при отступлении, выручил, тоже держу при себе. Занял рубеж и держу, и не отдам...

Не отдам! — выкрикнул он и посмотрел на Алексея злыми, горящими глазами, как будто Алексей собирался возражать ему. — Вот танка мне не хватает. Оставайтесь, а? Мы с вами таких дел наделаем!

Алексей, тоже забыв о сне, присел на койке и спросил так, как будто от него зависело, где он будет воевать:

— А что бы вы стали делать?

— А то, — убеждённо сказал Каменский, — что не могу я ждать, пока немец на меня нападёт. Сам нападать хочу... Вот, смотрите!

Он вытащил карту и развернул её перед Алексеем:

— Немцы вот здесь, они стремятся вот сюда и сюда, на охват — понятно? И вот если вы делаете удар сюда, а я в это время наношу удар здесь, с фланга, под микитки — я вам ручаюсь, что при быстроте и чёткости может быть успех... Окружение! Окружение! Мы бы им показали, что такое окружение!

— Мы через эту деревню прорывались, — указал Алексей, рассматривая карту и определяя по ней проделанный путь. — Ох, и петляли же мы! А немцы чувствуют себя беспечно, и если неожиданно ударить...

— Так давайте!

Алексей грустно улыбнулся:

— Если бы вы связались с нашим Яковенко через командование...

— Чувствую, волянка начнётся, — сворачивая карту, сказал Каменский и зевнул. — Ну, давайте спать.

— Давайте... А ваш батальон — тоже отступал?

Каменский покраснел и отвернулся.

— Тоже! Вот именно тоже! — с горечью сказал он. — А что было делать? Я принял батальон — ополченцы же! войны не знают. Командиры людей не изучили, бойцы командиров путают, в лицо не знают... В боевой обстановке притирались друг к другу и всё-таки переправу на Луге держали одиннадцать дней. Одиннадцать дней! с необученными,

необстрелянными людьми. Конечно, потери... Так я как пополнялся? Собираю людей по дорогам, отбившихся, легко раненых, отступающих — стой! и к себе! Приведёшь человека в порядок, — в подразделение. Скопом не брал, а раскидаешь таких в одиночку по хорошим отделениям и взвода, глядишь, человек и приобвыкнется быстрее, и духу наберётся настоящего...

— А вы сами, товарищ капитан, кадровый командир?

— А что?

— Да чувствуется и выучка, и любовь к военному делу, и понимание...

Каменский молодо, задорно рассмеялся.

— А вот и не угадали! Историк я... Ис-то-рик! Шесть лет в книгах рылся... выписки, картотеки... — Он снова рассмеялся. — Участвовать в живой истории оказалось интересней. Вот вы говорите — понимание, любовь... Да, люблю, и, мне кажется, понимаю. В гражданскую я мальчишкой воевал, конечно, но тогда не та война была... Хотя, вообще-то говоря, окопы рыли и блиндажи строили, и обеспечение, и сотни повседневных бытовых вопросов были те же... И опыт пригодился. Но не в этом дело. Что мне нравится — хотя и того, что мне не нравится, тоже хватает — активность! Меня бьют, да! Но и я бью, и могу бить больше, и буду бить больше, чем бил. Мы переправу одиннадцать дней держали — думаете, немец был другой или силы у нас были особые? Нет, всё те же. А порядок был, воля была, дух у людей такой был, чтобы не отдавать переправу, хоть ты тут умри! И не отдавали. И вот, когда я чувствую, что я командир и у меня есть общее понимание задачи и план, и уверенность в людях, и они во мне уверены и сделают то, что я им прикажу, когда я чувствую, что у меня в руке судьба большого дела и от моего умения и искусства зависит, что будет... Люблю, да!

— Яковенко, наш комбат, называет это — командирское чувство...

— Правильно называет.

Они помолчали, но ни тот, ни другой уже не могли заснуть и не хотели спать.

— Вот вы спросили — отступал ли я? Ну, да. Отступал. После одиннадцати дней боёв отступил, когда с боков никого не осталось и у меня людей больше половины выбило. И всё-таки ничего горше я в жизни не испытывал... Вот небольшое место, берег, деревенька, ты за них зубами грызся, и кровь тут везде твоих людей... и, кажется, встань они сейчас, — как бы я в глаза им поглядел?

— Я тоже во всяких переплётах был, — сказал Алексей. И живо вспомнилось ему ромашковое поле, отяжелевшие от дождевой влаги цветы,

колеблемые ветром, и серое, ветровое небо в тяжёлых тучах, сквозь которые медленно пробивалось осеннее солнце. — И на-днях ещё... Пехота подвела, мы в засаде... И я так думал: не мне судить, не мне разбирать, кто в чём виноват, почему да что. Я вот командир танка, командир танкового взвода. И моё дело выполнять любой приказ, и тут уж проявлять и инициативу, и смелость, и умение, и всё. И если я так буду и другой так будет, — вот дело и пойдёт как следует. Верно?

— Нет, не верно! — резко сказал Каменский и поднялся. Он был возбуждён и, видимо, рассержен. — Солдатское это рассуждение! Не больше... Приказ выполнять — да! Приказ безусловен — да! А если приказ не всё предусмотрел или устарел, пока ты дрался, да тебе в голову придёт новое решение, лучшее, и ты видишь, что оно победу даст?

— Да я не о таких случаях...

— Обо всех случаях! — выкрикнул Каменский. — Ты командир. Понимаешь: командир! Сегодня у тебя взвод, завтра случится — у тебя и батальон. Ты вот пехоту ругаешь, взаимодействие плохое. И верно, плохое, никуда не годное взаимодействие. Так вот может случиться, что завтра в бою мы будем взаимодействовать, и меня убьют, и начштаба убьют, и ты окажешься старшим командиром... Может это быть? Может! Так изволь заранее думать обо всём и мнение своё иметь обо всём — и кто виноват, и чем такой командир плох, и чем другой командир хорош. Когда в бой поведёшь, это тебе всё пригодится. Приказ исполняй. Но без понимания, без мысли, без продумывания и общего, и частного — ты не командир. Вот ты ругаешь — пехота подвела. А почему, понимаешь ты?

— Не выдерживают огня. Окружения пугаются... чего ж тут не понимать? Видел своими глазами.

— А как, по-твоему — плохие люди бегут? Не наши, не советские люди это?

— Нет, почему же...

— Ты не мнись, а пойми. Вот у меня ополченцы в батальоне. Есть, конечно, отдельные людишки — дрянь, они везде есть, но в основном народ-то — золото! Ленинградцы — рабочие, интеллигенция, пошли добровольцами, каждый понимает, за что воюет, и у каждого есть люди, которым в глаза не помотришь, если побитым вернёшься... Теперь они у меня — кремень, а не бойцы. Прикажешь стоять — он мёртвым и то не упадёт! А расспроси их — ведь многие вначале терялись, да еще как! Самим себе не верили, в оружие своё не верили. А почему? Почему, скажи ты мне, по-че-му?!

Алексей молчал, ожидая, что капитан сам себе ответит. И капитан

ответил:

— А потому, что люди не были воспитаны к войне. Я знаю, ты скажешь — как же не были, когда на значок ГТО сдавали и в армии обучались, и на летних сборах... Да не в том дело! Вот я парня одного спрашиваю — значок ГТО, с парашютом прыгал, квалифицированный рабочий и всё такое — как же ты побежал? ведь ты же родину свою предаёшь вот на этом бугорке, с которого бежишь... всю советскую жизнь предаёшь!.. Стыдится, молчит. Теперь он стал боец — лучше не надо. И вот я его как-то расспрашиваю — как он жил, что делал... И тогда же я подумал и стал проверять на других людях — да, так оно и есть! Очень счастливо наше молодое поколение — да и не только молодое — жило!.. Легко!.. Кто постарше, те ещё много беды видали... Своими ведь руками поднимали всё... А молодёжь трудностей настоящих не знала. Избавили мы её от больших трудностей. Подрастает парень — в школу, в пионеры, потом на работу — о нём уже заботятся, чтобы квалификацию ему дать, чтобы в комсомол «втянуть» — слово-то какое нелепое! И разговор вокруг него — и обслужи его культурно, и в учёбу его «втяни», и билеты в театр, чтобы уполномоченный привёз, и тем окружи, и так охвати... Это неплохо, мы за то и боролись, чтобы детям горя не знать, — да только воевать с такой подготовкой трудненько! Закалки нет!

Алексей сказал обиженно:

— Я тоже так рос, однако, воюю не хуже других.

— Чудак-человек! Разве ж я в обиду говорю? В мирное время — да разве я не хотел, чтобы сынишка мой горя не знал? Разве я не делал всего, что мог, чтобы сыну моему жилось легко и интересно? Для того и советский строй создавали. А что ты воюешь хорошо — так ты, во-первых, обучен, командир уже, у тебя и техника, и дисциплина... А мои парни разве теперь плохо воюют?.. Только я тебе вот что скажу: от мирной счастливой жизни, какой мы перед войной добились, и вот до этого окопного существования, в сырости, под огнём, среди смертей и ранений — ты понимаешь какой внутренний перелом должен произойти? Как самого себя перестроить нужно?

— Но ведь счастливому народу и терять приходится больше! — воскликнул Алексей. — Значит, и победа ему важнее! Я же, если меня взять или Кривокуба, друга моего, мы же горло немцу перегрызём, а своего не отдадим и в нашу жизнь немца не пустим!

— Во-во! — поддержал Каменский, — вот это правильно! Я тебе что сказал? Счастье балует, а избалованному человеку приспособиться на войне труднее, вот и всё. Но счастье своё кому же не дорого? И когда такой

счастливым человеком на фронте обтерпится, научится да поймёт, что вот сейчас всё решается и от него зависит, как будет дальше, — тогда наш народ так будет драться, как ещё не дрались люди, и никто его не сломит!.. А мы с тобой ещё увидим это. Мы ещё увидим, как будет наступать наш народ!.

Каменский прикрутил фитиль лампы и хотел задуть её, но новая мысль отвлекла его:

— А потом — привычка к дисциплине! — сказал он, останавливаясь перед Алексеем. — Вот ты должен взять винтовку и с полной выкладкой протопать пятьдесят километров да потом, не отдохнув, итти в бой и драться до последнего, а сверху тебя бомбят и артиллерия шпарит, и миномёты, да ещё откуда-нибудь сзади автоматчик палить начнёт. А ты должен действовать и слушать своего командира, и любой приказ выполнить точно и быстро, потому что в бою одна минута иногда успех решает. Страшно тебе, и больно тебе, а действовать ты должен, как машина, только ещё лучше, потому что с умом... Тут нужна железная воля — и дисциплина тоже железная... А дисциплины у нас мало было. И почтения к старшему тоже как следует не воспитывали. Вот ты мне скажи — привык ты с детства, с пионерского возраста, не опаздывать? Скажем, назначен у тебя пионерский сбор, в шесть — так, чтобы тебе стыдно было притти в четверть седьмого? Или тебе поручение дали выполнить в три дня, привык ты выполнить в три дня и ни на полсутки позднее? Не привык? В последние годы много делалось, чтобы ввести в нашу жизнь привычку к точности, к дисциплине, к порядку... со школы, с семьи начиная... А ты вспомни — когда был указ об опозданиях на работу, так ведь нашлись у нас такие люди, что им трагедией казалось: нельзя опаздывать на работу! А ты мне скажи — как можно воевать без дисциплины и порядка?

— Вот это точно!

— Не было бы точно, я бы не стал говорить.

Капитан закричал, укладываясь, и снова показался Алексею не молодым, а уже пожилым и утомлённым человеком. Но вот он заговорил, и голос его звучал молодо:

— А всё-таки, брат ты мой, мы ещё так драться будем, как ни один народ не дрался! Вот ты увидишь — силы у нас только разворачиваются, и уклад у нас такой, и сознание такое, и народный характер тоже такой — упорный, настойчивый. Расхлябанности у нас пока немало, и государство у нас молодое, но в системе общественной у нас более высокие принципы организации. Социализм! Сейчас немец на скорость бьёт, с ходу победить хочет. Но с ходу можно нас потеснить, а победить — не выйдет. А когда



борьба развернется и все наши силы соберутся — тут наше социалистическое качество и скажется. Да так скажется, как никому и не снилось... И тебе тоже, дружок, потому что — молод, другого не видал.

Алексей спросил робко:

— А долго война будет, как вы считаете?

— Долго! — со вздохом ответил Каменский. — Может быть, и не так уж долго, как тяжело... Наберись терпения.

— Да я что ж! Я человек военный.

— Женат?

— Нет, что вы!..

Капитан невесело рассмеялся:

— Хорошо ты сказал это — нет, что вы! Значит, думаешь — не стоит жениться?

Алексей смутился.

— Да просто не пришлось. Жены не нашёл. А так почему же?

Каменский молчал. Лампа начала мигать и коптить, капитан приподнялся и задул её, сказав: «Ну, спокойной ночи!» Алексей был растревожен мыслями и лежал, вглядываясь в чёрный мрак и прислушиваясь к напряжённому дыханию капитана. Спит он, или нет? Хороший он человек, а подумал, наверное, что я бездумный, легкомысленный парень, ни о чём не привыкший серьёзно рассуждать...

Алексей уже дремал, когда ясный, бодрый голос спросил его:

— А ты славы хочешь?

Алексей очнулся и от неожиданности не сумел ответить правду, а переспросил:

— То-есть как — славы?

— Эх вы, боитесь отвечать напрямик! — сказал Каменский. — То-есть как? А очень просто — орден получить, Героя Советского Союза получить... Хочешь?

— Конечно, хочу!

— И я хочу... — страстно подхватил Каменский. — Хочу славы, отличия... А как же? Ведь не за красивые глаза отличают. Мы воюем, и наше умение, наши успехи отмечаются вот этими наградами и званиями... И ещё я хочу потому...

Он неожиданно смолк. В темноте не понять было, какое у него лицо, но дышал он быстро, горячо, и Алексей не решился спрашивать.

— Вот ты заговорил о женитьбе, — после долгого молчания сказал Каменский. — И хорошо, что ты не женат! Прежде чем жениться, друг, — проверь сто раз. Сто раз подумай, если не хочешь быть несчастен.

Он опять помолчал.

— Если бы не темнота, я бы тебе письмо одно прочёл. Да я его и так помню. Женат я уже десять лет. Сынишка. Особого счастья не было, но и разладу не было. Эвакуировалась она в начале войны. Избалованная она у меня, жили хорошо, заботы у неё были всё мелкие — по хозяйству, с сынишкой. Да я сам заботлив, так что ей мало приходилось. Трудно ей одной было? Наверно. Она мне не жаловалась, но и между строк читаешь, — новое место, военные условия, о жилье, о дровах, обо всём самой думать надо. А она у меня к труду непривычная, полено расколоть не умеет... И вот письмо. Не мне письмо, подруге её. А подруга эта сейчас в армии, переводчица. Принесла мне и сказала: «Вот, Леонид Иванович, не хочу тебя расстраивать, а ещё больше не хочу, чтобы ты на фронте о ней вспоминал да скучал, — прочитай, что Лёлька пишет, не могу таить такую гадость». Хорошая девушка. А письмо — при мне оно, не сжёт, потому что с одного разу не поверишь. Вынимаю да перечитываю — правда ли? «Не осуждай меня, Валечка, — так она подруге пишет, — я знаю, что поступила не мужественно, что многие будут меня презирать. Леониду — (это мне) — я ничего не могу написать, он на фронте, как мне нанести ему удар? Но сейчас всё так страшно, так непрочное, и здесь мне было так плохо, так тяжело, все трудности навалились на меня сразу. И вот мне встретился человек, который меня полюбил и помог мне, и очень обо мне заботится. Он гарантийный инженер на большом заводе. Я знаю, что поступила плохо, но я не могла больше биться одна в этих ужасных условиях. У меня не хватило сил. Что будет дальше, я не знаю, но ведь жить-то хочется, и каждый живёт, как умеет...» Понятно? Жить хочется, а мужа могут убить, а тут заботы, квартира, удобства, гарантийный инженер... И профессия-то как нарочно — га-ран-тий-ный!!

Алексей только промычал «д-да...» и растерянно обдумывал, какими словами утешить капитана.

— Это урод какой-то! — воскликнул он. — Вы не расстраивайтесь. Не стоит она вас, и даже этого гарантийного тоже, наверно, не стоит... Таких баб жалеть нечего!

— А сын? — тихо напомнил Каменский.

И опять Алексею было трудно что-либо сказать.

— Сынишка пишет мне, — вдруг потеплевшим голосом сказал Каменский: — «Хочу, чтобы скорее кончилась война и ты приехал», а в другом месте — «хочу, чтобы ты был Героем Советского Союза...» Девятый год ему. В школу пошёл нынче.

Алексей задумался о том, как сложна жизнь и как трудна война, и как

на войне (и на фронте, и в тылу) обнажаются люди со всеми их хорошими и дурными качествами; потом он подумал, что действительно мало размышлял, анализировал, а размышлять и анализировать нужно для того, чтобы лучше воевать сегодня, и потому, что после войны надо будет восстанавливать жизнь всей страны и каждой семьи, каждого человека, вернувшегося с фронта, а это будет не легко и не просто. Он услышал негромкий размеренный храп, порадовался, что капитан, наконец, заснул, и мысленно пожелал ему побед, славы, звания Героя, и размечтался о том, что Яковенко прикомандирует его танк к батальону капитана и они вместе проведут стремительную операцию, вместе получают Героев и тогда пусть расстроится от обиды на свой промах эта мерзавка-жена, а сына они заберут от неё, и надо будет найти капитану настоящую жену...

Он заснул, обдумывая, как это всё устроить, и когда Каменский стал будить его, Алексею показалось, что он только что задремал. Он подскочил, по военной привычке, готовый немедленно действовать, но капитан добродушно сказал, что погода чудесная и пора пить чай, и радист уже целый час тщетно связывается с Яковенко, так что до выяснения обстановки можно позавтракать не спеша. Алексей с удивлением увидел, что капитан чисто выбрит, свеж и подтянут, никаких следов усталости и недосыпания нельзя было заметить в его красивом, перечёркнутом энергичными морщинами, оживлённом лице.

— Успели выспаться? — спросил Алексей с завистью.

— А как же? Три часа поспали — и хорошо. Бритву хочешь?

Алексей побрился, вымылся до пояса холодной водой и с наслаждением ощутил возвращение обычной бодрости. Перед завтраком он всё-таки сбегал повидать свой экипаж, проверил состояние раненых и повздыхал вместе с радистом, что никак не поймать Яковенко — не отвечает батальон!

— А я тебя проверял, лейтенант, — весело встретил его Каменский. — Зову пить чай, а сам думаю — если сядет завтракать, не сходя к своим бойцам, значит, плохой ещё командир. А ты и сходил.

Прошло два часа, прежде чем Коле Рябчикову удалось установить связь с батальоном и получить новый адрес его. Оказалось, что батальон находится очень не далеко.

В штабе батальона царило такое возбуждение, что никто не обратил внимания на возвращение Смолина, и Алексей даже обиделся: как-никак вернулись с боевого задания, с трофеями, с тремя ранеными, после прорыва немецких линий — можно, кажется, расспросить, обнять, просто сказать доброе слово.

Яковенко сидел над телефоном и кричал в трубку, время от времени мощно продувая её во всю силу своих лёгких.

— А, Смолин, очень хорошо! — воскликнул он и закричал в трубку: — Выслал два! — Смолин, ты в порядке? Ах, раненые... — Да, да. Два, два, больше у меня нет! Что? Громче, не слышу. Есть сообщить! Понятно!

Он положил трубку на аппарат и уставился на Смолина, видимо, совершенно не помня, откуда и почему появился перед ним этот лейтенант.

Помрачнев от обиды, Алексей с подчёркнутой официальностью и гораздо короче, чем хотелось, отрапортовал, как выполнено задание, какие взяты трофеи и каково состояние материальной части и экипажа. Но Яковенко снова вызвали к телефону, потом он выбежал, забыв отпустить Смолина, и Алексей ждал его, бледный от негодования, и думал, что надо скрыть от экипажа холодный приём, потому что ребятам будет обидно и раненые падут духом.

Яковенко вернулся, связист снова пытался кого-то вызвать, но ничего не выходило, и Яковенко нервничал и ругался. Потом он вдруг увидел перед собою оскорблённое лицо лейтенанта Смолина и тогда разом вспомнил, как два дня волновался об этом лейтенанте, как ждал сообщений и как сегодня ночью дважды вскакивал, чтобы проверить, нет ли связи со Смолиным.

— Алёша, милый, я ведь тебя и не... и не поздравил даже! — сказал он смущённо и подошёл обнять Смолина, но не обнял, а взял за плечи и сказал восхищённо: — А дружок-то твой! Кривоzub! Каково?!

Мгновенно забыв обиду, Алексей вскричал:

— Да я ведь ничего не знаю!

И Яковенко закричал в ответ:

— Чепуха какая! Как же тебе никто не сказал!

И выяснилось, что танк Кривоzubа из засады расстрелял танковую колонну немцев, что сам он цел, но попал под сильный огонь и к нему на помощь послано два танка — всё, что было под рукой. Сражение ещё продолжается, но уже ясно, что успех очень крупный, самый крупный за всё время боевых действий бригады.

— И ведь один КВ! Один! — восклицал Яковенко.

— Товарищ комбат, — умоляющим голосом сказал Алексей. — Разрешите заправиться, принять боезапас и пойти на помощь. Может, ещё успеем, а?..

— Так у тебя ж раненые!

— Товарищ комбат, машина в исправности, а когда ребята узнают, что на подмогу Кривоzubу...

— Тогда сыпь. У меня и впрямь некого больше послать. Чорт с тобой, сыпь, только быстренько.

Экипаж охотно принял новое задание, но Рябчикова пришлось заменить новым радистом из штабных — Рябчиков был плох.

Алексей Смолин, не отрываясь от смотровой щели, всё ждал, когда перед глазами возникнет поле боя с подбитыми и сожжёнными танками. Он вспоминал разгром немцев возле роши, прозванной «галошей», — неужели сегодня успех крупнее? От возбуждения у него пересохло во рту. Страшно хотелось увидеть Гаврюшку и сказать ему: «Чорт косой, что натворил!» и услышать в ответ: «Я знал, что ты появишься в самую нужную минуту, Смолин с Кривоzubом своё дело знают...» И всем существом хотелось боя — выручить, вмешаться, своим появлением создать решающий перевес, поставить последнюю точку...

И вот он увидел поле боя — мёртвое поле с нависшей над ним, будто утомлённой тишиной. На узком шоссе между болотистыми низинами лиловатым пламенем горело больше десятка средних танков, и в болоте возле шоссе торчало ещё несколько провалившихся, сцепившихся, покорёженных танков со свёрнутыми набок пушками, — страшное кладбище машин, свалка металлического лома, подёрнутая сизым, медленно тающим дымом... А на краю леса стояли три КВ, толпились танкисты, вились голубые дымки папирос — и Алексей понял, что он опоздал, делать ему больше нечего, бой окончен.

Он не видел Гаврюшки, но сразу узнал его танк среди одинаковых машин — танк-победитель стоял в ранах и ссадинах, чуть осев набок и гордо выставив в сторону побеждённых свою заслуженную пушку. Алексей подошёл к танку и с уважением потрогал его выносливую, изъеденную осколками броню.

— В музей бы его! — сказал рядом Серёжа Пегов, и Алексей удивился, что Серёжа будто угадал его мысль.

А тут появился Гаврюшка, весь закопчённый и похожий на негра. Глаза его ввалились, словно после тяжёлой болезни, но сверкали, как два фонаря. Гаврюшка обрадованно улыбнулся другу, и белые зубы, блеснувшие в улыбке, ещё усилили сходство с негром.

Они поцеловались, от Гаврюшки пахло дымом и потом, но было чертовски приятно поцеловать его в прокопчённые щёки.

— Вот и свиделись, — сказал Гаврюшка растроганно. — Я ж тебе говорил...

— Это я тебе говорил, — возразил Алексей. — Ну, и нащелкал ты их! — добавил он, оглядываясь на поврежденные и догорающие немецкие

танки.

И вдруг острая зависть пронзила его душу, омрачая радость встречи и победы. Он торопливо подавил её, но осадок чего-то постыдного остался.

День кончился празднично. Экипаж победителей чествовали, приехало большое начальство, и к вечеру стало известно, что Гаврюшку Кривоzubу представили к званию Героя Советского Союза.

— А всё вышло так просто, — рассказывал Гаврюшка Алексею. — Место у меня было очень удобное, у поворота, узкое дефиле среди болот, им и деваться некуда. А шли они, сволочи, как на прогулку — люки нараспашку, а танкисты наверху, в трусиках — загорают, мерзавцы, как на французском курорте! Привыкли!.. Ну; я подпустил их и ахнул в головной, а потом — в задний. Пристрелка была точная, попало как по заказу. Ох, и заметались же они! Вперёд нельзя, назад не пройти, я всаживаю снаряд за снарядом, они с шоссе в болото, вязнут, сцепляются... потеха! А курортники в трусиках прыгали как зайцы, ей-богу, со смеху помереть можно было, только смеяться некогда!. Они меня сперва обнаружить не могли, а потом дали жару! Только всё равно, ничего у них не вышло, а тут ещё ребята наши подошли... Ох, повезло! Это называется — повезло!

— Это называется Герой Советского Союза, — поправил его Алексей, и снова непрошенная зависть зашевелилась в нём, и он сам на себя рассердился, что может завидовать — да ещё кому! Гаврюшке?! Лучшему другу?!

— А что, к лицу мне будет золотая звезда, как ты думаешь? — легкомысленно спрашивал Кривоzub, выпячивая грудь.

Он не вспоминал о боях в берёзовой роще, ему было сейчас не до этого, так же, как и всем. Сегодняшняя победа оттеснила всё остальное... Да и, в конце концов, у Смолина ведь не было победы, только бои с неравными силами и прорыв, требовавший выдержки и расчёта... но на то и война!

Алексей навестил своих раненых. И Коля Рябчиков сказал ему:

— Вот, товарищ старший лейтенант, не останься вы на позиции вместо Кривоzubа, были бы вы сейчас Героем... Очень ребята за вас огорчатся.

— Вздор! — необычно резко крикнул Алексей. — Прекратите болтовню! Стыдно!

Вместо того, чтобы посидеть вечерком со своим экипажем, как он всегда делал на отдыхе, он лёг на койку, сказав, что умирает от желания спать. Но сна не было, злость на самого себя, на Рябчикова, на равнодушные товарищей, не поинтересовавшихся его боевыми делами, на легкомыслие Гаврюшки, блаженствующего среди похвал и поздравлений, — злость

душила его, тяжёлая, мучительная злость. Он вспомнил ночной разговор с капитаном Каменским, — тогда мир казался ему широким, умным и полным возможностей, а сейчас — узким, несправедливым, полным случайностей, как лотерея... Слава! Что такое слава? Удача! Может быть, гораздо больше героизма нужно было для того, чтобы остаться в берёзовой роще, отправив танк товарища вместо себя на задание, которое привело к такому героическому результату... А кто это оценит? Даже Гаврюшке наплевать, он теперь упоён своим успехом — что ему старая дружба? Золотую звезду на грудь — вот о чём он сейчас думает!..

Алексей не пошёл ужинать, притворился спящим. Он слышал, как Гаврюшка вошёл и несколько раз тихонько окликнул его. Алексей даже захрапел, так ему не хотелось видеть приятеля. И вдруг почувствовал, что дружеские руки заботливо укрывают его одеялом.

После ужина, когда Гаврюшка вернулся и сел на соседнюю койку с папиросой в зубах, не решаясь будить Алексея и скучая без него, Алексей не стал больше притворяться и, открыв глаза, в упор поглядел на друга:

— Ну, что, чорт косой? Счастлив?

Гаврюшка помотал головой, сердито кусая папиросу.

— Что так?

— Нехорошо получилось... — пробормотал Гаврюшка, отводя глаза. — Ты думаешь, я не знаю, что Яковенко не меня вызывал? Пойди ты, а не я, и всё было бы наоборот. Выходит, ты ради меня... а теперь я герой... Хорошо это, да? — совсем по-детски, чуть не плача, выкрикнул он.

— Вздор, — закричал Алексей, — болтовня! стыдно!

Он кричал те же слова, что недавно со злобой и обидой бросил Коле Рябчикову, но теперь в его голосе были нежность, благодарность и облегчение. Он вскочил, опрокинул Гаврюшку на койку, дал ему несколько здоровых тумаков и присел рядом, очень довольный.

— Не дури, Гаврюшка! Война длинная, мы с тобой ещё дважды героями будем! Мало немцев, что ли, не сумеем поделить?!

**Глава третья**  
**Обычная ночь**





Они вышли вместе. Анна Константиновна крепко сжимала руку дочери, словно хотела удержать её, не отпускать от себя. И Мария вела мать с особой, бережной нежностью. В эти дни почти непрерывных воздушных налётов они виделись очень редко, и каждая встреча могла стать последней. Обе чувствовали это, но болтали о том, о сём, как ни в чём не бывало.

— Мироша так привязалась к Андрюше, что радуется, когда у меня дежурство, — говорила Анна Константиновна. — И, честное слово, она даже ревнует ко мне!

— И ко мне, — отвечала Мария. — Она чудесное существо, но уж суетлива! Топчется, мечется, а всё попусту.

— Ах, да, знаешь, она вчера...

А третьего дня...

Они рассказывали друг другу о смешных оплошностях Мироши и украдкой поглядывали в небо, где порывы ветра разрывали спасительную облачную пелену.

Только на трамвайной остановке, прощаясь, Анна Константиновна быстро шепнула:

— Береги себя, Муся. Не рискуй.

И Мария так же быстро, вскользь, ответила:

— И ты.

Трамвай ушёл, и Мария осталась одна. Беспечная улыбка сбежала с её губ. Хмуро опустив голову, она зашагала по улице размеренным шагом...

Ей очень не нравились суточные дежурства матери в Доме малюток, где Анна Константиновна много лет работала музыкальным руководителем, а с недавнего времени — дежурным старшим педагогом. Даже в свою прежнюю музыкальную деятельность — в устройство наивных детских праздников и разучивание песенок — Анна Константиновна вкладывала всю — страстность беспокойного характера. Всё, что она делала, она делала образцово, красиво, с выдумкой и талантом. Пусть это был всего-навсего двадцатиминутный праздник для малышей — она мучила сестёр и нянь репетициями и спевками, ночами шила костюмы для кукол, изничтожая свои платья, если не оказывалось под рукою подходящих лоскутков. Воспитание музыкального вкуса и слуха у детей казалось ей важнейшей задачей. Мария старательно прятала снисходительную улыбку, когда мать с увлечением рассказывала о своём успехе или расстраивалась от того, что неуклюжая няня что-то перепутала... Впечатлительная, как ребёнок, Анна Константиновна не умела отдаваться делу наполовину. И вот теперь она отвечала уже не за чистоту первых музыкальных впечатлений детей, а за самые их жизни. Дежурный старший педагог! Ведь это означало — и старший пожарный, и комендант детского бомбоубежища, и в случае беды — руководитель спасательных работ!..

— Понимаешь, Муся, — говорила она, — важно не только спасти, сохранить детей... важно, чтобы они продолжали жить так, будто войны нет. Убереечь их от потрясений, от нервной травмы...

«А ведь ей шестьдесят лет, — вспомнила Мария. — Она умеет сдерживаться, казаться спокойной, но скольких усилий стоит её сдержанность!.. И это съедает её жизнь... Заставить её бросить работу? Но она ни за что не согласится. Да и предлога нет. Теперь, когда Мироша незаметно прибрала к рукам и Андрюшу, и хозяйство... Мироша — верный человек, добрая душа, но как страшно оставлять с ней Андрюшу...»

Бывать дома Марии почти не удавалось. Большой четырёхэтажный дом, где помещалась строительная контора, назывался теперь «объектом», и начальником этого объекта был назначен Сизов. Иван Иванович поворчал, что всегда его пихают в какую-нибудь дыру на затычку, а затем вызвал Марию и сказал:

— Дело такое, Маша. Мне нужен начальник штаба, и чтоб в штабе был полный порядок. Берись. Больше некому.

Мария пробовала отказаться. Она даже обиделась сначала — как может не понимать Сизов, что ей придётся почти целые сутки проводить на «объекте», а у неё ребёнок, и в эти ночи оставлять его мучительно жутко!

Сизов сказал со вздохом:

— Ничего не поделаешь, золотко. В мирное время разве я тебя отрывал бы от семьи!

И Мария стала начальником штаба объекта.

Объект был сложный — кроме строительной конторы, в доме помещались клуб и столовая строительных рабочих, несколько мелких разнородных учреждений и жильцы. Надо было организовать совместную дружную работу самых различных, впервые встречающихся людей, а это требовало бесконечных согласований и споров. Сизов целыми днями пропадал на строительстве рубежей, и вся повседневная работа по объекту легла на плечи Марии. Она не боялась работы, но её томило чувство личной ответственности за всё и за всех — за сохранность «объекта», за жизнь людей, за военный порядок. И так уж получилось, что «объект» стал её домом, откуда она убегала с чувством виноватости и куда возвращалась с тревогой — всё ли благополучно? «Ничего, я втянулась», — отвечала она на вопросы Сизова. Она впервые самостоятельно руководила людьми и испытывала неведомое ей прежде удовлетворение от того, что воля, чувства и настроения многих людей подчинялись её воле, подпадали под влияние её чувства и настроения.

Подходя к парадному, Мария подняла голову и согнала с лица выражение озабоченности и тревоги. Спокойной и приветливой вступила она в пределы своего «объекта».

Иван Иванович спускался по лестнице ей навстречу. Помятый красный шарф, как всегда, болтался на его шее. Подмышками он тащил два огнетушителя.

— Во-время пришла, опять ерунда с жильцами! — закричал он издали, забывая поздороваться с Марией. — Тимошкина не вышла на пост, прячется, а Клячкин принёс справку от врача, без печати и штампа, муровая справка! Я им сказал, что ничего и слышать не хочу, чтоб были на постах.

Мария отняла у него огнетушители и сказала с упрёком:

— Опять сам таскаешь? Больше некому?

Подумав немного, добавила:

— А Клячкина и Тимошкину я не пущу на посты, Иван Иванович, как хочешь, не пущу! Куда мне такие бойцы? Они сбегут, чуть что случись. Лучше их отставить и сообщить приказом, почему их не допускают до обороны дома.

— Ишь ты! — с удовольствием воскликнул Сизов и ласково потрепал Марию по руке. — Ну, хозяйству, хозяйюшка, а я понёсся дальше.

Мария была на второй площадке, когда снизу, вдогонку ей, раздался голос Сизова:

— Ты не начальник штаба, а прямо Спиноза! Спиноза!

Довольная принятым решением, Мария вызвала к себе Тимошкину и Клячкина. Она уже знала их обоих и понимала, как трудно им оторваться от привычного быта и почувствовать себя «бойцами». Скромный пожилой бухгалтер Клячкин просидел, наверное, лет тридцать на одном стуле, у одной конторки, пользуясь одними и теми же счетами, так что костяшки их должны хранить следы от прикосновений его пальцев. И дома он, наверное, многие годы одними и теми же движениями заменяет пиджак тёплой домашней курткой и засовывает подагрические ноги в разношенные шлёпанцы... А маленькая домашняя хозяйка Тимошкина годами жила интересами мужа, дочки, хозяйства, стряпала и стирала, судачила с соседками, запиралась на ночь на пять запоров — не дай бог, воры! — а теперь, конечно, затемно бегаёт в очереди к магазинам, чтобы «отovarить» свою иждивенческую карточку:.. И это — бойцы? Но всё-таки и они должны стать бойцами.

Не поднимая глаз от расписаний дежурств, Мария сказала с нарочитой небрежностью:

— Вы можете не беспокоиться больше насчёт дежурств. Мы пересмотрели списки группы самозащиты и оставили только надёжных, проверенных. Сегодня будет приказ о том, что вы оба от группы отчислены.

Клячкин буркнул себе под нос: «Очень хорошо!» — и застыл в недоумении. А Тимошкина села на стул, два раза громко вздохнула и расплакалась.

— Это как же так — надёжных? А чем же я ненадёжная? У меня муж на фронте, дочь в госпитале медицинский персонал, а я сомнительный элемент? Если я не вышла на пост, так я дочке вещи возила, она на казарменное перешла, бельё просила и тапочки... Разве я когда отказывалась? За что же меня опозорили? Во двор не выйдешь...

Клячкин спросил растерянно:

— Приказ вывешивать будете?

— Конечно.

— Тогда я... я не хочу! — выкрикнул Клячкин. — Я в этом доме двадцать лет живу! Я в банке на дежурства остаюсь, в банке доверяют!.. И как же так можно — без всякого предупреждения взять да ударить человека по самолюбию?!

Смеясь про себя, Мария строго сказала:

— Мы на фронте, товарищ Клячкин. Вашим самолюбием заниматься

некогда.

— А вот я возьму и выйду на пост, и никто меня не снимет с него!

Только уладилось с дежурством, как прибежала тётя Настя, комендант здания, и вызвала Марию вниз. У парадного стояла ручная тележка, нагруженная домашним скарбом. Ребёнок лет четырёх топтался возле неё, прижимая к груди игрушечный грузовик и ярко раскрашенную утку. Две женщины, молодая и старая, носили узлы и баулы с тележки в парадное. Мария пригляделась и узнала в молодой женщине жену рабочего Семёнова, одного из лучших работников Сизова. Сейчас женщина двигалась, как заводная, взад-вперёд, взад-вперёд, как будто боялась хоть на минуту остановиться.

— Разбомбило? — кратко спросила Мария.

Семёнова опустила на пол узлы и тихо ответила:

— Начисто. Вот тут всё, что осталось.

Лицо её не выражало ни горя, ни отчаяния, а только крайнюю усталость.

— Мой на оборонительных. Мы уж пока к вам.

Тётя Настя, недавно назначенная комендантом, дрожала за порученное ей имущество и на вновь прибывших смотрела не только с жалостью, но и с опасением.

— Куда ж мы их, Марья Николаевна? В штаб?

— А что им делать в штабе? Им расположиться надо, устроиться, выспаться. Открой комнату отдыха, пусть поселяются там.

— Насовсем? — ахнула тетя Настя.

— Нет, не насовсем, — усмехаясь, сказала Мария. — До победы.

Тётя Настя помолчала, горестно вздохнула и буркнула, звякая связкой ключей:

— Ну, пойдёмте.

Позабывшись об устройстве Семёновых и заодно прикинув, где и сколько можно разместить людей, если случатся новые несчастья, Мария пошла проверить, как идёт очистка чердаков от горючего хлама. Там её и застигла очередная воздушная тревога.

Мария выглянула в слуховое окно. На крыше, держась за перила, одиноко стояла Зоя Плетнёва, библиотекарь клуба. Её светлые волосы свободно трепал ветер, а пожарная каска болталась на боку вместе с противогазом.

— Простудитесь, Зоенька, — сказала Мария, становясь рядом с ней.

Ближние батареи молчали, но в районе порта и вокзалов яростно бухали зенитки. Самолётов Мария не видела и подумала даже, что огонь

просто заградительный, ко Зоя схватила её за руку и прошептала:

— Вон они... Марья Николаевна... вон они...

И Мария разглядела почти сливающуюся с облачной дымкой девятку самолётов. Они шли цепочкой, уклоняясь от рвущихся вокруг снарядов, затем один круто пошёл вниз, сбросил три бомбы и взмыл в облака. А за ним устремился второй, потом третий, четвёртый. . Издали бомбы казались крошечными кувыркающимися палочками, но взрывы их подбрасывали над далёкими крышами высокие фонтаны обломков.

Чувство горького бессилия рождала эта наглая бомбёжка среди бела дня.

— Что хотят, то и делают.

— У зенитчиков снарядов мало, — обиженно объяснила Зоя. — Каждый снаряд на счету. Они только прицельным бьют.

Внезапно возникший над головами рёв мотора испугал их обеих. Обе пригнулись, и Зоя, не надевая каски, прикрыла ею голову. Самолёт пронёсся над ними. Его полёт был так уверенно прям, что Мария закричала со слезами радости в голосе:

— Наш! Наш! Наш!

Маленький истребитель врезался в облака и скрылся.

Ухватившись за перила, Мария и Зоя смотрели, как вторично заходят бомбардировщики над облюбованным ими районом, где уже клубится дым пожара. Бомбардировщики шли тем же нерушимым строем, будто связанные один с другим, извиваясь среди разрывов... И вдруг разрывы прекратились, стало тихо, но строй разбился, рассыпался. Девять бомбардировщиков бросились в разные стороны от маленького истребителя. Мария не заметила, что случилось с одним из бомбардировщиков, она увидела уже тяжело падающий чёрно-красный клубок, а затем в небе закачались белые купала парашютов.

— Сбили... — выдохнула Зоя, прикрывая глаза.

— Один против девяти, — медленно сказала Мария.

Она вспомнила брата Соловухи Мику, и ей почему-то казалось, что это именно Мика Вихров прилетел на своём долгожданном самолёте «долбануть фрицев», и она старалась представить себе его мальчишеское лицо во время боя и то страшное одиночество, в котором он находился там, высоко в небе, один среди врагов.

Соня Кружкова, боец автомобильной роты, в этот час выполняла первое боевое задание. В числе пяти водителей ей было приказано поехать в район порта, получить спецгруз и отвезти по адресу.

— Никакие тревоги в расчёт не принимаются, — сказал черноглазый мальчишка-лейтенант, недоброжелательно глядя на Соню. — Понятно вам?

Лейтенант был зол, что ему подсунули девчонку, да ещё только что получившую шофёрские права, и он третировал Соню заносчиво и открыто, под одобрительные улыбки шофёров. Соня понимала это и решила терпеть всё безропотно, так как ей нравились и порядки в роте, и красноармейская форма, и шофёрские рукавицы, и заносчивость черноглазого лейтенанта, и недоверчивость шофёров. Она так долго добивалась зачисления в армию, что теперь ей нравилось решительно всё, и она была уверена, что скоро покажет себя и завоюет общее признание.

— Понятно, товарищ лейтенант, — чётко сказала она. И добавила с вызовом: — Это само собою разумеется, товарищ лейтенант. Разрешите исполнять?

Машину Сони выпустили последней из пяти. В хвосте других трёхтонок Соня понеслась по городу, очень гордая тем, что ведёт военную машину и выполняет военное задание. Было удивительно приятно ловить взгляды встречных шофёров и милиционеров на перекрёстках — нет, она не улыбалась им, а смотрела строго, гордо, как ей казалось, суровым взглядом воина.

Тревога застигла их ещё в пути. Пока сержант оформлял на складе документы, стрельба усилилась, и немецкие самолёты можно было видеть прямо над головой. Но погрузка началась, и Соня вместе с другими шофёрами помогала размещать в кузове продолговатые тяжёлые ящики. Бомба упала за три дома от склада, воздушной волной Соню сбilo с ног. Соня вскочила ещё до того, как к ней подбежали на помощь, и со стыдом заметила, что, кроме неё, все устояли на ногах. Покачиваясь, она подошла к своей машине, но у машины никого не было — грузчики разбежались.

— Разве их заставишь сейчас грузить, — сказал один из шофёров, — в подвал забились!

— Придётся самим, — как можно спокойнее ответила Соня и пошла за ящиком.

Вторая бомба упала поблизости — куда, за домами видно не было, но

запах гари и дыма ударил в нос.

— Эти штучки сдетонируют — мокрого пятнышка не останется, — буркнул шофёр и пошёл звать грузчиков.

Соня поняла, что ему страшно, и удивилась, почему не страшно ей. Но думать об этом было некогда, больше всего на свете ей хотелось первой нагрузить машину и первой выполнить задание, чтобы лейтенант задумался, может ли девчонка быть хорошим бойцом и водителем. И боялась она только одного — вдруг не хватит сил справиться с тяжёлыми ящиками, если грузчики не придут до конца налёта.

— Это что за безобразия?!. — услышала она за собой сердитый окрик.

Она испуганно оглянулась, уверенная, что окрик относится к ней. Но пожилой человек из складских начальников кричал не ей, а выглядывающим из подвала грузчикам;

— Стыдитесь! Девушка надрывается, а вы в щель забились, как бабы!

— Бабы теперь на крышах дежурят, — задорно отозвалась Соня. — Сравнение устарело!

Когда грузчики возобновили работу, Соня позволила себе передохнуть и закинула голову: по завываниям моторов в облаках она поняла, что над нею идёт воздушный бой. На мгновения в просветы облаков показывались горбатые туловища «юнкерсов», потом мелькнули знакомые очертания советского истребителя. Соне хотелось верить, что это Мика вылетел в бой, чтобы защитить её, и она мысленно послала ему привет и снова принялась таскать ящики, мечтая о том, как она расскажет Мике про свой первый выезд и про то, как видела его в облаках и знала, что это он... А если и не он, всё равно, это его товарищ, может быть, Глазов или ещё кто-либо... Не здесь, так в другом месте — Мика в воздухе и защищает ленинградское небо.



Люба-Соловушко уже три месяца жила в новой квартире, но до сих пор чувствовала себя в ней, как в гостях. Если бы Владимир Иванович бывал дома, у них наладились бы семейный — уклад жизни и хоть какое-нибудь хозяйство, для всего нашлись бы прочные, удобные места, и надо было бы бороться с окурками, сунутыми в цветочный горшок, с пеплом, обронённым на ковёр, со всем тем милым беспорядком, который вносит в дом мужчина. Но Владимир Иванович почти не бывал дома, и три комнаты его новой квартиры напоминали пустые номера гостиницы. Светлая стандартная мебель древтреста была расставлена парадно, как на выставке. Люба пользовалась только одной, самой уютной комнаткой, где стояла широкая супружеская кровать. По ночам она пугливо жалась к стенке на этой слишком большой кровати, стараясь чтением отвлечься от страха, какой внушала ей тёмная и тихая квартира. Вечерами, вернувшись со строительства баррикад, она сидела в кресле тут же, возле кровати, так как на ночном столике стоял телефон. В тёплые вечера она выходила на веранду или в сад, оставив открытой дверь, чтобы услышать телефонный звонок. Веранда и сад были её радостью, украшением её «дворца». Садик был маленький, тенистый. С веранды были видны трубы завода, где директорствовал Владимир Иванович, и, глядя на серый дым, вьющийся из труб, Люба представляла себе большие цеха и Владимира Ивановича, выслушивающего готовые танки. Почему-то ей казалось, что он именно выслушивает их, как доктор, и лицо у него, как у доктора, строгое и внимательное.

В садике висели детские качели, и Люба иногда, после телефонного звонка мужа, садилась на узкую доску и покачивалась, мурлыкая песенку. Ей было и хорошо, и грустно. Одиночество не угнетало её, она непрерывно ощущала, что любимый человек вот тут, близко, у другого конца телефонного провода, и знала, что он так же хочет видеть её, как она его. А редко удаётся — так на то и война. Проклятый Гитлер! Она выдумывала для него страшные казни — посадить его на высокую каланчу и обстреливать со всех сторон, чтобы он корчился от ужаса; привязать его к столбу, и чтобы на него один за другим пикировали самолёты...

На строительстве баррикад Люба подружилась с пятнадцатилетним Сашком. Он был близок ей весёлостью, озорством, любовью к увлекательному чтению, мечтами о баррикадных боях, бесстрашием и

острым языком. Сашок жил на одной улице с Любой. Мать его уехала за город на оборонительные работы, старшие братья были на фронте, отец почти не выходил с завода. Люба приводила Сашка к себе домой, поила чаем и болтала с ним, как с равным товарищем. Во время бомбёжек они развлекали друг друга пересказами прочитанных приключенческих романов, а если было уже очень беспокойно, убегали в сад, в защитную щель, и поочередно выглядывали оттуда.

В этот вечер Люба и Сашок сидели на веранде и старались не обращать внимания на гул самолётов, треск зениток и вой падающих бомб.

— На острове этом никого не было, — рассказывал Сашок, — кроме зловредного старика и мальчика, то-есть самого автора, который пишет. Это с ним в детстве произошло... Даже животных там не водилось, только птицы раз в год прилетали на остров выводить птенцов. И тогда старик с мальчиком собирали птичьи яйца, ловили птенцов и сушили на солнце их мясо. Это у них были заготовки на зиму. А на душе у старика была страшная тайна, а под полом у него были бриллианты. Он иногда поднимал половицу и перебирал свои сокровища, но мальчик ничего этого не знал... А когда на горизонте появился корабль, мальчик не знал, что это такое, и подумал, что это птица...

Обычно Люба слушала, по-детски раскрыв рот. Само неправдоподобие рассказа было для неё привлекательно, она любила следить за ходом авторской выдумки и загадывать — что будет дальше? Она никогда не торопила рассказчика, так как романы приключений тем и хороши, что в них всё непрерывно запутывается, а в самом конце распутывается ко всеобщему удовольствию. Но сегодня над головою творилось что-то такое страшное, что увлечься событиями на далёком острове было невозможно. И Люба рассеянно спросила, прислушиваясь к тревожному завыванию моторов над домом:

— А что за тайна у старика?

— Не спеши, — сказал Сашок. — Разве бывает в книгах, чтоб тайна открывалась в начале? Для этого старику — ого! — надо ещё ослепнуть и получить удар ножом по руке, и свалиться с утёса, и раскаяться перед смертью... Однако шумно сегодня! — заметил он, исподлобья поглядев вверх.

Но за серыми низкими облаками ничего не было видно.

— Ну, рассказывай, Сашенька... Фу, как они гудят! Это воздушный бой, правда?

— Факт! Слышишь, пулемёт шпарит. Не иначе — твой брат долбаёт.

— Ой!.. Ну, рассказывай, Сашок... Ты говорил, что появился корабль и

мальчик принял его за большую белую птицу — у него же паруса, верно?.. Ой, что это? Саша, что это?!

Чёрно-красный гудящий клубок пронёсся наискось высоко над переулком и через секунду с тяжёлым грохотом взорвался где-то неподалеку.

— Самолёт... — шопотом сказала Люба.

— «Юнкере», — успокоил её Сашок.

— А вдруг он на какой-нибудь дом упал?..

— Может быть...

Люба вдруг завизжала пронзительно, истошно. Длинные ноги, болтаясь в воздухе, скользнули мимо веранды. Тёмная фигура, опутанная стропами парашюта, бестолково раскачивалась, силясь удержаться на ногах, но не удержалась и шлёпнулась на землю, и парашют навалился на неё.

— Саша, миленький! — отчаянно закричала Люба.

Но Сашок уже перемахнул через перила крыльца, схватил стоявшую у крыльца лопату, и Люба увидела, как он со всего размаха ударил парашютиста лопатой по спине. Немец зарычал и попробовал вскочить, судорожно отпихивая спутавшую его ткань парашюта. Сашок ударил немца снова, но парашютисту удалось выпростать из-под парашюта голову, и Люба увидела его искажённое злобою и страхом, длинное, чужое лицо Визжа от ужаса, Люба схватила единственное оружие, которое попало ей на глаза — ведро с песком, и выплеснула всё содержимое ведра в ненавистное лицо. Пока немец отплёвывался и протирал глаза, Сашок оглушил его новым ударом по голове.

— Плашмя бей, плашмя, чтоб жив остался! — кричала Люба.

— У него пистолет! — кричал Сашок, продолжая бить немца.

Когда немец ткнулся лицом в землю, вконец оглушённый, Сашок деловито обыскал его, вытащил из кобуры пистолет.

— Связать его надо, — шепнула Люба, дрожа всем телом. — Сашенька, дружок, ты подумай только... — пробормотала она, глядя на немца сверкающими от возбуждения, широко раскрытыми глазами.

— А ну, давай, — буркнул Сашок, притворяясь равнодушным и хватая стропы дрожащими от волнения руками.

Они вдвоём закатали немца в парашют и накрепко опутали стропами, стянув их хитрыми узлами.

— Живо, Сашок, беги за милицией. Нет, постой.. — Она вдруг испугалась остаться одной с немцем. — Хотя, ничего, беги. . только поскорее... Нет, постой, я возьму пистолет.

Стиснув в трясущихся руках трофейный пистолет, она стала возле немца, вытянувшись, как часовой.

Немец открыл глаза и разглядывал Любу, растерянным, испуганным взглядом.

— Сволочь! Сволочь! Сволочь! — исступлённо повторяла Люба, подавляя страх и наслаждаясь возможностью высказать живому немцу в лицо всё, что она о нём думает. — Ну, что глядишь, гадина? Долетался? Бомбить женщин и детей — пожалуйста, а отвечать — сдрейфил? Вот мы тебя лопатой угостили как следует — ты и скис! Вошь ты тифозная — понимаешь, немец?

Из дома донёсся настойчивый трезвон телефона.

— Гадина вонючая! Из-за тебя порядочный человек волнуется, а я тут сиди возле тебя и карауль! Бандюга!!

Увидав милиционеров, входящих в сад вслед за Сашком, она крикнула им:

— Берите его, я сейчас!

И со всех ног бросилась в дом, к телефону, который всё ещё заливался настойчивым звоном.

— Володя, милый! Я в саду была, я слышала, что ты звонишь, но не могла подойти... В щели?! Как бы не так! Где? — она расхохоталась. — Стояла возле одного фрица и не могла отойти. Фрица! Господи, Володенька, как же ты не слышишь! И не возле чего, а возле кого! Ну, фрица, немца, парашютиста... понял? Очень просто, поймали и связали, Сашок за милицией бегал, а я с ним объяснялась по-русски. Ой, Володя, тут начальник приехал забирать его, мне некогда. Я потом позвоню!

Начальник отдал Любе честь и стал записывать её фамилию, имя и отчество. Он обращался к ней так почтительно, как никогда ещё никто к ней не обращался. И он сказал, что, по указаниям постовых, они искали этого парашютиста за несколько домов отсюда, в конце переулка, так что если бы не её храбрость..

— Вы его запишите, — скромно сказала Люба, указывая на Сашка, который отвернулся, стараясь выразить всем своим видом полнейшее безразличие. — Это всё он...

Оставшись снова вдвоём, Люба и Сашок сели тут же, в саду, на ступеньку крыльца и почувствовали себя не только счастливыми, но и совершенно измученными.

— Вот тебе и роман с приключениями, — устало улыбаясь, сказала Люба.

К пяти часам дня Сизова вызвали в райком. Иван Иванович не любил собраний и обычно, пристроившись где-нибудь в уголке на собрании, которого не удалось избежать, мгновенно засыпал под журчание голосов. Но теперь он шёл с удовольствием и интересом, так как секретарь райкома Пегов проводил собрания по-военному — коротко и чётко, не допуская общих слов.

Продолговатый зал заседаний с одной стеклянной стеной был уже полон, хотя Сизов пришёл без двух минут пять. Здесь были партийные и советские руководители, директора, хозяйственники. Многие — в военных и полувоенных костюмах. Необычно много женщин и стариков. Противогазы через плечо, противогазы, повешенные на спинки стульев, противогазы на коленях — вместо портфелей.

Воздушная тревога недавно кончилась, но грохочущие звуки разрывов время от времени доносились в зал, и стёкла тонко дребезжали. Здороваясь со знакомыми и приглядываясь к новым лицам (опять много народу на фронт ушло!), Сизов продвинулся вперёд, чтобы лучше слышать.

Было две минуты шестого, когда за столом президиума появился Пегов. Он постучал по столу карандашом и тотчас заговорил. Говорил Пегов негромко, глядя поверх голов собравшихся, будто там, на противоположной стене, видел тезисы своей сжатой до предела информации:

— Положение очень напряжённое, товарищи. Бои идут непосредственно под городом. Сейчас решается судьба нашего Ленинграда. До сих пор у нас оставалась ещё Северная железная дорога, по которой шло снабжение боезапасами и продовольствием. На-днях наши войска были вынуждены оставить станцию Мга, и таким образом последняя железная дорога немцами перерезана. Город зажат в кольцо, и немцы, очевидно, сделают всё возможное для того, чтобы замкнуть кольцо полностью. Надо отдать себе отчёт, товарищи коммунисты, что положение серьёзно. И готовить, людей к новым испытаниям. Драться придётся всем, кто способен держать оружие. В первые дни бомбардировок немцам удалось разбомбить и поджечь часть наших продовольственных складов, причём погибло и испорчено много продовольствия, а подвоз сейчас прекратился или почти прекратился. Меры принимаются, вы же понимаете, что страна нас не оставит... Но пока будет очень туго, и вы должны быть

готовы к тому, что в ближайшие дни хлебная норма будет снижена. Возможно, довольно резко.

Пегов помолчал, разглядывая лица сидевших перед ним людей.

— Что вы должны делать?

Где-то неподалеку раздался грохот взрыва, стёкла дробно зазвенели. Сидевшие у стеклянной стены тихонько пересаживались в глубь зала.

— Запишите, товарищи, — сказал Пегов: — завтра с утра проведёте новый набор в народное ополчение. С возрастом можно особенно не считаться. — Он вдруг добродушно усмехнулся: — Я вижу, многие в зале оживились. Не выйдет, товарищи! Никого из руководителей отпускать не будем. У нас здесь фронт не менее важный. И ты, товарищ Сизов, не надейся.

Иван Иванович сердито крикнул с места, так как терпеть не мог обращать на себя внимание:

— А я при чём? Я же молчу.

Пегов понимающе подмигнул ему и сказал грубовато:

— Молчу и думаю: раз возраст особой роли не играет, попробую-ка я надуть Пегова и дёрну на фронт с ополченцами — авось не поймает!

В зале засмеялись — в эти дни смеялись легко — и охотно, если был малейший повод. Пегов дал людям эту минутную разрядку и продолжал:

— Только инвалидов и больных вы мне, пожалуйста, не пишите — такой крайности покамест нет. Но, на всякий случай, организуйте у себя обучение — как метать бутылку с горючим, стрельбе. Это мы рекомендуем и будем проверять... Второе. Немцы начали сбрасывать большое количество зажигательных бомб. В основном, народ хорошо справляется с ними, у нас в районе не было ни одного крупного пожара. Но кое-где актив домов плохо обучен тушению бомб. Обучите завтра же, а ещё лучше сегодня вечером. Третье. В городе работает агентура врага. Дело агитатора сейчас не речи произносить, а ходить в очереди, в убежища, в подъезды, везде, где скапливается народ, и на ходу разъяснять, агитировать, разоблачать паникёров и шептунов. И каждого подозрительного человека проверять — шпионов, ракетчиков немало. Народ наш показал в войне большое единство, большую сплочённость... но враги у нас остались, и забывать об этом — преступление. Все антисоветские элементы подняли сейчас голову. Они будут играть на настроениях людей при снижении хлебных норм. Учтите это. И соберите коммунистов, агитаторов (сейчас каждый коммунист обязан заниматься агитацией), потолкуйте с ними конкретно и горячо, чтобы поняли до конца.

Он замолчал, покосился на стеклянную стену, дребезжавшую от

близких взрывов, и спросил:

— Вопросы есть?

Немолодая женщина в гимнастёрке приподнялась в конце зала и спросила звонким голосом:

— Женщины будут проситься в ополчение. Записывать?

— Да, — не задумываясь, ответил Пегов. — Если будут проситься, записывайте. Только с умом, с отбором. Есть у нас такие женщины, которые лучше иного мужчины сражаться будут. Молодых, здоровых, бездетных, да ещё если она физкультурница, стрелок да характером боевая — можно записывать. Ещё вопросы есть?

— Какие нормы будут?

— Пока не скажу. Решается вопрос. Ну, всё? Можно расходиться и браться за дело. Предупреждаю товарищей, что сейчас идёт артиллерийский обстрел нашего района, поэтому кучей не выходите и на улице держитесь осторожно, без удалства. Замечено, что наши руководители часто во время бомбардировок бравируют, лезут обязательно» а крышу, во время обстрела не укрываются, если снаряд рвётся, стесняются лечь на землю. Лишние жертвы могут у нас быть, друзья, а людей у нас мало, и люди нам нужны. Поэтому учтите — не храбрость это, а глупость. Всё. Расходитесь по одному, товарищи.

Иван Иванович посмотрел на часы — было двадцать минут шестого. Он вышел на улицу и с интересом остановился перед свежей воронкой от снаряда, разворотившего мостовую. «Не лезть на крышу, — проворчал он про себя. — Как же я других посылать буду, а сам в подвал спрячусь?.. Глупость, глупость! На фронт не ходи, на крышу не ходи!»

Поразмыслив дорогой, Иван Иванович подошёл к своему объекту в твёрдом убеждении, что указание Пегова не относилось к нему, так как Пегов не упомянул начальников объектов, а уж они-го обязаны самолично бывать везде, — на то их и поставили!

Начиналась ленинградская сентябрьская ночь. Уже объявили очередную воздушную тревогу, но в городе было пока тихо. Мария поднялась на крышу — проверить посты: она считала нужным подбодрить своим присутствием дежурных, да и не любила находиться во время бомбёжек внизу, откуда не видно ни врага, ни сопротивления ему.

Небо очистилось от облаков. Зеленоватые звёзды уже загорелись в нём, но ещё не сверкали в полную силу своего далёкого, всегда немного загадочного света. Через час, когда темнота сгустится, они станут ярче.

Мария смотрела в высокое спокойное небо, и снова удивилась тому, что в этом прекрасном мире, где столько мудрой гармонии, надо стоять на крыше под сиянием далёких звёзд и, держа наготове песок, лопату и защитные рукавицы, — ждать бомб, огня, смерти, разрушений...

Отгоняя ненужные горькие мысли, Мария подошла к тёмной и неподвижной фигуре дежурной и спросила, не появлялись ли самолёты.

— Нет ещё, — ответила женщина, и Мария с удовольствием узнала в ней Тимошкину, ту самую, которую утром хотела исключить из группы самозащиты. — Да вы идите, чего вам здесь стоять, я же никуда не уйду, — сказала Тимошкина гордо.

— Здесь лучше, — объяснила Мария и прошла по крыше на другой ее конец, откуда открывался вид на Неву и на районы, лежащие за Невой.

Чёрные воды реки поблёскивали, отражая звёзды. По мосту проплыли два тусклых голубых луча — автомобиль. Дома стояли чёрные, будто нежилые. В одном доме светлыми полосками обозначилось плохо затемнённое окно... но вот уже закачалась на нём штора и чьи-то торопливые руки наглухо скрыли свет.

Мария понимала, что это значило: какая-нибудь домохозяйка Тимошкина или Васильева прошла по улице, заботливо осматривая окна своего объекта, и заметила светящиеся щели в окне третьего этажа, и крикнула сердитым голосом своему связному, какому-нибудь Сашке или Кольке, что в десятой квартире опять безобразие, и мальчишка помчался наверх и поднял страшный стук, и важным от сознания ответственности голосом накричал на хозяев квартиры. Пристыженные хозяева сорвали с постели одеяло, чтобы лучше затемнить окно, и клялись, что этого никогда больше не будет... Мария знала, что тысячи таких женщин, мальчишек, девчонок ходят сейчас по улицам, ревниво оберегая мрак, окутавший город.



Она знала, что тысячи людей стоят сейчас на всех крышах так же, как она, и радуются полному мраку, поглощающему очертания самого красивого в мире города... И она подумала о том, что раньше, до войны, если ей случалось с высоты верхнего этажа озира́ть город, каждое окно казалось ей таинственным, скрывающим неведомую жизнь неведомых людей, чьих интересов и чувств она не знает и никогда не узнает. И в дни, когда её собственная жизнь не ладилась, она чувствовала себя затерянной в этом большом городе, где миллионы жизней текут независимо, не соприкасаясь с её жизнью... Теперь ей казалось, что она знает всё, чем живут её сограждане за плотно занавешенными окнами, что жизнь её полностью слита с жизнями других людей и всего города в целом.

Вдруг жёлтая ракета взлетела в небо за мостом, разбрасывая золотые искры. В её свете на миг чётко выступила из мрака конусообразная крыша вокзала.

Мария заметалась, бессильная что-либо сделать, как-то перехватить, погасить на лету эти предательские сигналы.

Стрельба донеслась до неё глухими ударами. В небе, споря со светом звёзд, замерцали огненные вспышки. Самолёт был невидим, но его путь угадывался по огонькам разрывов.

Снова взлетела за мостом ракета. Мария закричала: «Ракета!» — хотя её никто не мог услышать отсюда. Ей казалось, что, никто, кроме неё, не видит этих сигналов, и она всматривалась в темноту, надеясь уловить хоть какое-нибудь движение за мостом. Но темнота и расстояние скрывали всё.

Стрельба зениток стала громче, ближе. Противный дребезжащий свист падающей бомбы донёсся до Марии. Дом покачну́лся, на секунду крыша будто ушла из-под ног. Бомба упала в Неву, мельчайшая водяная пыль коснулась лица Марии.

— Опять ты, Смолина, на самую верхотуру залезла!

Иван Иванович стоял в слуховом окне. Мария обрадовалась ему, как родному.

— Снова две ракеты! Вон там! — сообщила она, подходя.

— Сколько этой сволочи ловят, а всё не переловят..

— Я бы их задушила!

— Поймать бы! А задушить охотники всегда найдутся.

Ещё бомба упала где-то далеко за мостом, было видно, как поднялся смерч обломков. Через минуту яркое пламя взметнулось к чистому небу и стала видна оседающая облаком пыль.

— Зажигалки, что ли? — спокойно сказал Сизов.

— Непохоже, — в тон ему ответила Мария.

— Где-то на Муринском, а?

— Мама там сегодня на дежурстве, — всё тем же спокойным тоном сказала Мария. — Где-то близко от них.

— А сынишка с кем?

— В бомбоубежище, в детской комнате ночует. Мироша с ним... — Помедлив, она заговорила, как ни в чём не бывало: — Знаешь, она такая смешная, Мироша...

Она пересказывала забавные истории об этой славной, суетливой женщине, а Сизов посмеивался и вставлял свои замечания, ехидные, но беззлобные. Разрывы сверкали теперь прямо над ними и вверху грозно гудел невидимый самолёт.

— А вот и зажигалки, — заметила Мария и продолжала рассказывать.

Как маленькие, блуждающие огоньки, мерцали тут и там ослепительно жёлтые растекающиеся костры, но они возникали и гасли, возникали и гасли, крошечные чёрные силуэтики, мелькая на фоне костров, изо всех сил боролись с пламенем, побеждали его и возвращали ночи её непроницаемость, и в судорожной поспешности их движений были единая воля и единый темп, объединявшие в эту ночь (как и во все предыдущие, как и во все последующие ночи) тысячи добровольных защитников города.

— Красиво! — со вздохом сказал Иван Иванович.

— Да... А я вчера письмо получила... от Трубникова.

— Ну, и что он хочет?

— Оно написано ещё с дороги. А шло месяц. Пишет, что здесь будет страшно, что будут бомбить.

— Спасайся, кто может?

— Вроде этого.

— Отвечать будешь?

— Посмотрю. Ответить, что уже страшно?

Она печально усмехнулась, а глаза её неотрывно следили за далёкой борьбой на Муринском, где пламя металось, билось и опадало, встречая со всех сторон ожесточённое сопротивление воды и человеческого упорства.

Мироша поднималась по лестнице между вторым и третьим этажом, когда где-то близко грохнула бомба. Мироша припала к перилам и прислушалась, но, кроме обычной трескотни зениток, ничего не услышала. Она постояла, раздумывая, куда идти — наверх или вниз. Андрюша уснул в детской комнате, и сейчас ему ничего не нужно было. Хотелось сбежать домой, поесть и захватить молоко на утро для Андрюши. Доставать молоко было с каждым днём труднее, и она боялась — вдруг квартиру разбомбят, и пропадёт целая бутылка чудесного молока. Она побежала наверх.

Дома было ещё страшнее, чем на лестнице: в незавешенные окна падали отсветы выстрелов и разрывов, радио передавало нервный стук метронома, учащённый, как сильное сердцебиение. Натыкаясь в темноте на мебель, ударившись с разбега лбом о раскрытую дверь кухни и удержавшись от крика только потому, что от собственного голоса в пустой квартире было бы ещё страшнее, Мироша ощупью нашла бутылку с молоком и только двинулась на кухню искать хлеб и сваренную днём картошку, как где-то близко снова упала бомба. Мироше не захотелось есть, она побежала к выходу. Уже в дверях ей вспомнилось: она сняла с Андрюши мокрые штанишки. Значит, утром нечего будет надеть ему. Она вернулась и долго рылась в ящике комода, путаясь в рубашонках и лифчиках. Но эти детские маленькие вещички неожиданно успокоили её. Впервые испытываемая нежность овладела ею, и с этой нежностью в сердце всё показалось ей нестрашным. Она разобралась, наконец, в ворохе детского белья, отобрала нужное и затем прошла снова в кухню, с аппетитом поела холодной картошки с солью, сунула в карман кусок хлеба и стала безмятежно спускаться вниз.

Некрасивая, неуклюжая, в молодости слишком робкая, а теперь не в меру суетливая, Мироша никогда не знала семьи и любви, не имела друзей, не видела ни веселья, ни радостей. Когда после смерти старшей сестры к ней приехали две подрастающие племянницы, которым некуда было деваться, она очень радовалась и некоторое время наслаждалась непривычным семейным оживлением в доме. Но девочки как-то слишком быстро подросли. Ни одной из них не приходило в голову приласкать Мирошу или позаботиться о ней, с эгоизмом весёлой молодости они, как должное, принимали услуги доброй суетливой тётки, подшучивали над ней и смотрели «не в дом, а из дому».

И вот теперь, потеряв привычный угол, в котором она прожила все взрослые годы, Мироша в новом и временном жилище обрела неожиданное счастье — маленький мальчик с любопытными глазами и звонким вкрадчивым голосом, проникающим в душу, интересовался ею, как равной, охотно гулял с нею и нуждался на каждом шагу в её заботах. Прошла всего неделя, как Мироша жила в доме, а она уже радовалась, когда Анна Константиновна уезжала на суточное дежурство, и ревновала, если Андрюша бросался навстречу возвращающейся бабушке или матери. Все неиспользованные силы любви обратились у Мироши на этого чужого ребёнка, случайно оказавшегося рядом с нею.

Медленно спускаясь по ступеням и шаря ногой на поворотах, чтобы не оступиться в потёмках, она думала о том, как ей успеть утром, пока Андрюша спит, согреть молоко у дворника, живущего рядом с бомбоубежищем, и что хорошо бы успеть накормить Андрюшу и вывести гулять до того, как придёт домой Мария Николаевна, пусть увидит, что бестолковая Мироша всё успевает и со всем справляется не хуже Анны Константиновны!

В бомбоубежище было очень людно, Мироша проскользнула в детскую комнату и постояла над кроваткой Андрюши.

— Ангелочек ты мой... — прошептала она, поправляя одеяло.

Мокрые штанишки висели на спинке стула. Оглядываясь, не заворчит ли кто-нибудь, она пробралась к рукомойнику в углу убежища и стала стирать. Строгая дама в белом халате поверх пальто подошла к ней и спросила:

— Вы что делаете?

Испугавшись, Мироша пролепетала:

— Штанишек на смену нет... маленькому...

Строгая дама сочувственно сказала:

— Да уж, с ребёнком сейчас трудно. Вы повесьте их на трубе отопления, к утру просохнут. — Она подумала и добавила: — А дежурить вам всё-таки придётся, хоть у ворот или по убежищу.

— Я с удовольствием, — охотно согласилась Мироша, радуясь тому, что ей не запретили стирать. — Только я робкая... если стреляют, я прямо трясусь... давеча наверх сбегала, за молоком, так руки-ноги дрожали... шишку на лбу набила...

Дама постояла, разглядывая Мирошу, и вдруг сказала:

— А всё-таки наверх побежала за молоком? Значит, и зажигалку побежишь тушить, если понадобится. Ничего, привыкнешь.

— Привыкну, — согласилась Мироша, — только не всякий день я могу

дежурить, ведь ребёнок у меня...

Строгая дама ушла, а Мироша всё бормотала себе под нос, что у неё на руках ребёнок, и всё её существо отзывалось на эти слова.

Лиза сидела одна в маленькой каморке заводского коммутатора, но тяжёлое положение на сборке было ей известно, как никому другому, так как этот сумасшедший инженер Курбатов непрерывно вызывал № 94 и ругался скверными словами с мастером Солодухиным из-за детали № 11–71. Лиза не знала, что это за деталь 11–71, но ей было ясно, что сборка танков должна идти бесперебойно, и она сочувствовала Курбатову и с волнением слушала перебранку между цехами, хотя от ругательств Курбатова её бросало в краску, — но, в конце концов, никто не знал, что она подслушивает, а задержка важной детали была достаточным поводом для того, чтобы обругать эту шляпу — Солодухина.

— Лиза, голубка, — попросил Солодухин, — если этот сумасшедший будет еще звонить, скажи, что номер занят.

— Не имею права, — злорадно отрезала Лиза. И добавила: — Вы бы лучше нажали с этим 11–71.

— Я ж нажимаю! — плачущим голосом сказал Солодухин и швырнул трубку.

Плановик вызвал главного бухгалтера, и они начали нудно и долго сверять какие-то цифры и препираться из-за них. В это время загудела сирена. Лиза съёжилась, так как сидеть одной во время бомбёжек было очень страшно, а коммутатор должен был работать с особенной чёткостью. Она соединила штаб ПВО с городом, а затем директора со штабом ПВО, и снова штаб ПВО с центральным наблюдательным постом. Она подслушала сообщение, что крупные соединения бомбардировщиков рвутся к городу, что три бомбардировщика обнаружены в их районе и ближайшие зенитные батареи открыли огонь. Последнее можно было и не сообщать, так как от стрельбы зенитных пушек, расположенных недалеко от окна коммутатора, дрожали стёкла. Начальник штаба доложил директору, что все дежурные пожарных и санитарных звеньев заняли свои посты.

Плановик всё ещё был соединён с бухгалтером. Лиза прислушалась, подозревая, что они со страху забыли повесить трубки, но услышала всё тот же нудный спор с перечислением цифр, параграфов и снова цифр. № 32 настойчиво звонил, и, конечно, это Курбатов опять вызывал № 94.

— Ну, не жми, не жми, — плачущим голосом умолял Солодухин, — я ж тебе обещал, я весь в мыле, будет тебе твоя деталька, только не жми, не жми, не порти мне нервы...

Курбатов ответил витиевато и длинно, Лиза отшатнулась от трубки, но всё же услышала стон Солодухина:

— Пожалуйста, без психических атак!

Трубка снова упала со звоном, и Лиза хотела вызвать Солодухина и сделать ему внушение за грубое обращение с телефонным аппаратом, но в это время её подкинуло на стуле и всё здание затрясло крупной, постепенно затихающей дрожью. И тотчас зажглась лампочка главного поста. Лиза привычно, не слушая вызова, соединила его со штабом и услышала сдержанный доклад о том, что тяжёлая бомба упала за оградой завода, воздушной волной выбиты стёкла сборочного цеха и на вышке контужена наблюдатель Сомова, но остаётся на посту. Лиза ахнула, так как хорошо знала Катю Сомову: они состояли вместе в одной цеховой организации комсомола.

Центральный пост продолжал докладывать, что бомбардировщики делают второй заход над заводом. Лиза втянула голову в плечи, дрожащим голосом откликнулась на вызов сборочного цеха и спросила Курбатова:

— Как у вас, все целы?

— Все и всё, кроме стёкол, да мелкие царапины... Дай мне этого мерзавца 94!

И снова началась ругань с Солодухиным. Но Лиза не слушала, так как центральный пост доложил, что пикируют два бомбардировщика. Гул стрельбы заглушил голоса, а затем руки Лизы оторвались от доски, воющий звон заполнил уши, и в наступившей темноте она полетела куда-то вверх, навстречу вою и грохоту, и больно ударилась боком и плечом.

Она очнулась в темноте на полу. Что-то лежало на ней. Она ощупала странный предмет руками и поняла, что это её стул. Кругом стояла полная тишина, на полу тянуло холодом. Лиза ощупала себя. Бок очень болел, и ныло плечо. Значит, она, несомненно, жива. Но вокруг неё всё было тихо и мертво, похоже было, что нет больше ни завода, ни людей, ни зениток, ни пикирующих самолётов, что она здесь одна живая на всей огромной территории завода... Она приподнялась, не зная, что теперь делать, как выбраться отсюда, и вдруг увидела свой щит, на котором нервно вспыхивали и гасли лампочки. Корчась от боли в боку, Лиза встала, добрела до коммутатора и, растерявшись перед множеством одновременных вызовов, отдала предпочтение директору, но в ответ на своё «алло» ничего не услышала. Тогда она откликнулась на вызов центрального наблюдательного, и очень далёкий голос потребовал штаб. А тут снова неистово замигала лампочка директора, и Лиза издали услышала: «Оглохли вы, что ли!» Она с отчаянием ответила: «Плохо

слышно, Владимир Иванович». И с трудом разобрала, что он требует штаб, и как сквозь вату донёсся до неё доклад штаба о том, что самолёты делают третий заход. Но ни стрельбы, ни воя самолётов не было слышно, и тогда она поняла, что завод жив и люди живы, и есть и стрельба, и пикирующие самолёты, а не слышит только она. Подавленная неожиданной бедой, она откликнулась на вызов Курбатова и умоляюще попросила: «Голубчик, громче, меня оглушило, я не слышу!» И Курбатов потеплевшим голосом сообщил ей, что бомба в пятьсот килограммов упала перед её окнами во дворе и погас свет, и пусть она соединит его с постом энергетики, а затем с 94. Она соединила с постом энергетики. В это время снова загорелся свет, и Лиза увидела, что весь пол осыпан штукатуркой, но глядеть было некогда, лампочки непрерывно требовали её внимания. Плановик сердито прокричал, скоро ли его соединят с главным бухгалтером. Бухгалтер ответил, и как ручеек потекли цифры, параграфы и снова цифры. А Солодухин вдруг сам потребовал сборочный цех, Лиза и его попросила говорить громче, и Солодухин закричал во весь голос Курбатову, может быть думая, что все немного оглохли, а может быть от радости:

— Чорт косолапый, получай пяток своих 11–71!

— Золото! — не своим голосом прокричал в ответ Курбатов. — Целую тебя, моя птичка. Только пяти мне мало, нажми, голубка, христом-богом прошу, нажимай дальше, ты лучший мастер в мире, Солодухин, дружище, не сдавай темпов! Ты там цел или нет?

— Стену продырявило, дует! — закричал Солодухин и снова шмякнул трубку, но Лизе некогда было делать ему внушение, потому что вызовы шли непрерывно.

И она кричала, переспрашивала, умоляла говорить громче.

Наконец, секретарь парткома спросил её дружески:

— Тебя, может, сменить, Кружкова?

— Не надо, Пётр Семёнович, — ответила Лиза, — Некому меня заменять, уж я доработаю, мне в полночь сменяться. Вы только погромче, я слышу, если громко.

— Спасибо, милая! — прокричал Пётр Семёнович, как будто она сделала ему личное одолжение. — Дай мне сборочный, Курбатова!

— 11–71 начала поступать! — поспешила сообщить ему Лиза, и снова заметалась среди вспыхивающих лампочек.

Было около двенадцати часов ночи, когда тревога кончилась. И Лиза с грустью подумала, что сменщица Валя, конечно, опоздает, так как она трусиха и ни за что не пойдёт пешком под бомбами на завод. Но без пяти двенадцать Валя впорхнула в комнату и что-то защебетала, тараща



испуганные глаза.

— Не слышу! — раздражённо крикнула Лиза.

Валя ещё больше вытаращила глаза и затараторила погромче, что это ужас что такое, весь двор разворочен и стена треснула... Лиза услышала, но почему-то рассердилась на болтовню подруги и снова закричала:

— Не слышу! Меня оглушило. Понимаешь?

— Господи! — вскричала Валя. — Как же ты работала?

Не отвечая, Лиза уступила Вале место у доски, но на прощанье всё-таки соединила сборку с Солодухиным и снова уловила ругань Курбатова и весёлую ответную ругань Солодухина:

— Через полчаса ещё пяток получишь, собака!

Это был третий рейс Сони за боезапасом. Днём, когда она нагрузила свою машину и понеслась обратно через наполненный стрельбой город, она была крайне довольна собою и ожидала, что сержант доложит о ней лейтенанту, а лейтенант похвалит её и внимательно посмотрит на неё, и в его недавно ещё наглых глазах восхищение смешается с удивлением и раскаянием. Она радостно ждала этой минуты, но пришлось заниматься выгрузкой, а тревога всё ещё продолжалась, и лейтенант коротко приказал снова ехать туда же за грузом и поторапливаться. Соня, страдая от ломоты в пояснице после непривычной работы, не отдохнув, вывела свою машину и помчалась по знакомому маршруту, стараясь не думать о том, что всё вышло не так, как хотелось.

Тревога кончилась, погрузка пошла быстро, и Соня стала для виду возиться с мотором, чтобы передохнуть, а когда они приехали обратно, им было приказано быстренько пообедать, и обед показался Соне таким вкусным, что она повеселела.

Но после обеда выяснилось, что получено новое срочное задание. Лейтенант забежал перед каким-то старшим лейтенантом, говорившим властно и очень сердито, и все машины, кроме сониной, получили новое предписание. Шофёры шопотом сообщали друг другу, что поедут на фронт, на передний край. А про Соню лейтенант сказал:

— Ладно, девушку пока не пошлём. Пусть возит, как возила.

Возражать не полагалось по уставу. Соня молча проглотила новое унижение, приняла документы от сержанта и одна поехала на знакомый склад. Сержант крикнул ей вдогонку:

— Ты не надрывайся, пусть сами грузят, а то к утру свалишься.

По пути, уже в полумраке быстро наступающей ночи, её застигла новая тревога. Теперь, когда Соня была одна и приходилось ехать медленнее, с трудом разбирая дорогу в тусклом свете синих фар, ей было гораздо страшнее, чем днём.

Она поняла, что очень устала и хочет домой, чтобы тётя Мироша напоила её горячим чаем и постелила ей постель, и ещё она поняла, что Мика снова должен быть в воздухе и, наверное, сейчас где-нибудь сражается, и что в любую минуту Мику могут ранить, убить, и что тогда всё потеряет смысл и будет тяжело и невыносимо горько жить на свете.

Чтобы не думать об этом и меньше бояться, она снова сама грузила

опасные ящики, поглядывая в небо, где скользили лучи прожекторов и рвались снаряды. Когда рядом с нею шлёпнулся осколок, она хотела подобрать его, но обожгла пальцы и долго дула на них, а потом кожаной шофёрской рукавицей всё-таки подняла виток горячего металла, сунула в карман шинели и решила, что покажет его Мике, и снова страх за него и тоска по привычному образу жизни охватили её. Она благодарно улыбнулась грузчику, сказавшему ей:

— Ну, и времечко! Девушка, а тоже воевать приходится!

Когда она ехала назад, на улице перед нею, метрах в ста пятидесяти, упала бомба, разворотив мостовую. Машину будто толкнуло назад, переднее стекло разлетелось на мелкие кусочки. Соня никак не могла понять, почему её не порезало стеклом, когда всё вокруг обрызгано осколками. Тогда ей вспомнилось, как говорил Мика: «Со мной ничего не будет, я заколдован вплоть до самой смерти», и она решила, что тоже заколдована до самой смерти, а смерть казалась ей очень далёкой, ещё более далёкой, чем Гонолулу, где Мика обещал ей прогулку под кокосовыми пальмами во время кругосветного перелёта, о котором они мечтали...

Лейтенант встретил её во дворе и разрешил погреться, пока разгружается машина. Но Соня обиделась на его важный, пренебрежительный тон и стала помогать бойцам разгружать машину. А потом лейтенант сказал ей, что придётся съездить ещё четыре раза. И Соня поняла, что это и есть военная служба, когда надо ездить и ездить столько, сколько потребуется, и нельзя ни уставать, ни жаловаться на боль в пояснице, ни признаться, что хочется спать, ни ответить дерзостью наглomu мальчишке — только потому, что он лейтенант и начальник...

Она вздохнула, военная служба выглядела мрачнее, чем ей казалось раньше. Но, отправляя её в новый рейс, лейтенант подошёл к машине и спросил заботливым, дружеским голосом:

— А почему у вас стекло выбито?

— Бомба упала впереди, товарищ лейтенант, — бойко отрапортовала Соня, — воздушной волной выбило.

— Не поранило вас?

— Никак нет, товарищ лейтенант. Я заколдована до самой смерти.

— Вот как! Это хорошо. А ехать можете?

— Могу, товарищ лейтенант. Задерживаться нельзя? Значит, могу.

Лейтенант внимательно посмотрел на неё, и хотя в его взгляде не было ни восхищения, ни уважения, смешанного с удивлением, Соня осталась довольна, так как он сказал ей без тени прежней презрительной наглости:

— Ну, езжайте, раз так. Потом отоспитесь.

И, снова осторожно пробираясь по затемнённомu городу и прислушиваясь к стрельбе зениток, Соня удовлетворённо улыбалась и думала, что всё можно выдержать. Даже интересно проверить и закалить свой характер, и очень хорошо, что она добилась своего и попала-таки на военную службу.

Пожилая домохозяйка Григорьева, работавшая в бригаде Смолиной на строительстве баррикад, не хотела записываться ни в пожарные, ни в санитарки и выдержала многодневный бой по этому поводу со всеми активистками своего дома. Она уверяла, что боится огня с детства, когда случился большой пожар в деревне, а на крыше у неё и в мирное время голова кружилась. Для санитарного дела она считала свои руки непригодными: «У меня ж лапы, как у ломовика, — говорила она, — я ж раненого не перевяжу, а покалечу! Я ж своё дитё пеленать боялась!»

Так она и слыла отказчицей и несознательной всё лето и осень, пока не начались бомбардировки города. А тут она всех удивила, вступив в спасательный отряд при районном штабе ПВО, занимавшийся раскопками разбомблённых домов. Здесь её недюжинная физическая сила нашла себе применение, но ещё больше и лучше подошел её характер — доброта и жалостливость, соединённые с упрямой волей, и привычка к простой, понятной работе, дающей немедленный результат.

На раскопках она не боялась ни свисающих балок, ни шатающихся полуразрушенных лестниц, ни стонущей темноты подвалов, где жались полузасыпанные, оглушённые, перепуганные люди. Ничто не могло испугать или остановить её, если она думала, что можно спасти ещё хотя бы одного человека. Она любила свою опасную, великодушную работу и увлекла ею троих пареньков, работавших с нею на баррикадах, — Жорку, Колю и силача Андрей Андреича. Мальчики показались ей подходящими товарищами потому, что они были ловчей и бесстрашнее взрослых мужчин. Коля был такой гибкий и тоненький, что мог пролезть в любую щель, а Андрей Андреича она уважала за огромную силу его тренированных мускулов. Жорку она не любила — «франтоват и нагловат», — но заодно с приятелями пришлось позвать и его: Коля без Жорки никуда не шёл.

В эту ночь отряд дежурил при районном штабе, и Григорьева, сидя с вязаньем у печурки, прислушивалась к незатихающим шумам боевой ночи и вздыхала: «Да, сегодня долго не повяжешь...» Вид у неё был мирный, совсем домашний — не боец спасательного отряда, а бабушка со спицами.

Через полчаса после начала тревоги отряд получил приказ идти на раскопку большого пятиэтажного дома.

— Полутемная бомба была, — сказала Григорьева, по звуку взрыва и силе удара безошибочно определявшая вес упавшей бомбы. — Ох,

повозимся сегодня!

Спицы и вязанье исчезли в её широком кармане, лицо стало строгим, и шла она впереди всех солдатским широким шагом.

Дом был расколот пополам, вся середина его сверху и до второго этажа была уничтожена взрывом, бесформенная груда обломков завалила второй этаж и входные двери. Не ахая и не сокрушаясь, Григорьева деловито осмотрелась и так же деловито, сухо расспросила уцелевших жильцов дома, где у них бомбоубежище, где входы в него, есть ли у квартир двери на чёрные лестницы.

Работа началась азартная, быстрая. Воздушный налёт продолжался, но работающие не замечали ни стрельбы, ни гула самолётов, ни падения новых бомб. Из-под обломков к ним доносились призывы и стоны людей. Оба входа в бомбоубежище были засыпаны, свет погас, люди метались и кричали в темноте, не зная размеров несчастья и преувеличивая их.

Григорьева работала во дворе, у запасного входа в бомбоубежище. Из бомбоубежища доносились крики и плач. Григорьева постучала в дверь мощным кулаком и закричала:

— Ну, чего? Чего? Подождать не можете? Уцелели, и слава богу! Помолчите немного, только душу тянете!

Дверь придавило осевшим потолком. Пришлось рубить её топорами. Григорьева с силой рванула на себя остатки двери и сказала, вдруг прослезившись:

— Ну, где вы, милые? Выходите...

Люди бросились в узкий выход, тесня друг друга.

— По одному, по одному! Ну, и народ! — кричала Григорьева, грубоватыми окриками пытаясь заглушить волнение.

Шатающиеся, бледные, обезумевшие люди выскакивали во двор и растерянно толпились под открытым небом, жадно вдыхая ночной воздух, смешанный с известковой пылью, и глядя на вновь обретённый мир остановившимися, непонимающими глазами. Женщины прижимали к себе детей, до боли стискивая их в объятиях, и ни за что не хотели хоть на секунду выпустить их из рук. Младенцы спали, некоторые плакали, и матери тут же во дворе кормили их, приговаривая бессмысленные слова.

Ошалевшая от ужаса старушка подбежала к Григорьевой. Она длинно, путано и слезливо объясняла что-то, её почти невозможно было понять, и Жорка сказал пренебрежительно:

— Ну, чего время тратить, она ж совсем рехнулась, разве не видно?

Но Григорьева уловила в безумной скороговорке старухи какие-то точные слова — семьдесят вторая квартира, мальчик. Она стала

допрашивать старушку, терпеливо выбирая из потока слов то, что ей нужно было. А затем уверенно сообщила всем, что в семьдесят второй квартире оставалась женщина с двухлетним ребёнком Стасиком, муж у женщины на фронте, она поленилась сойти вниз.

От квартиры 72 в третьем этаже ничего не осталось, кроме одной стены. Старушка показывала в пустоту дрожащим пальцем и приговаривала:

— Вот тут... вот тут... кровать его у этой стеночки стояла... хороший такой мальчик... послушный...

Григорьева первая полезла на груды обломков, широко расставляя ноги и хватаясь за расщеплённые брёвна. Мусор и щебень осыпались из-под её ног. Придавленные обвалом, женщина и ребёнок не могли быть живы, но Григорьева упорствовала: поищем!

Андрей Андреич рядом с нею осторожно разбирал обвал, сбрасывая вниз, на оцеплённую улицу, всё, что можно было. Прошёл час лихорадочной работы, когда Григорьева, подняв руку, шопотом сказала:

— Я слышу детский плач.

Все прислушались. Но никто ничего не слышал. Да и Григорьева уже не слышала. Может быть, померещилось?

— Нет, не померещилось, — упрямо настаивала она: — вот отсюда. Такой тоненький, жалобный голосок..

Ещё полчаса продолжалась разборка, и вдруг все явственно услышали доносящийся снизу захлёбывающийся детский плач.

— Осторожней!

Боясь потревожить груды обломков, чтобы они не обвалились на уцелевшего ребёнка, люди бережно, как драгоценность, высвобождали доску за доской, камень за камнем. Полуразрушенное перекрытие качалось у них под ногами.

— Тут провалишься к чорту! — буркнул Жорка, отскакивая, и Григорьева с ненавистью прикрикнула на него, что он может убираться к чорту, не ожидая, пока провалится, без него сделают.

Но Жорка ответил ей, что она здесь не хозяйин, и снова полез на шатающееся под ногами перекрытие. Детский плач отчетливо доносился снизу. Григорьева и Андрей Андреич начали с остервенением, забыв осторожность, раскидывать руками обломки, освобождая проход в обвале.

— Колюшка! — позвала, наконец, Григорьева, вытирая подолом струившийся по лицу пот.

Они раскопали узкую щель, и через эту щель детский голос был слышен так, как будто ребёнок совсем рядом.

— Пролезешь, Колюшка? — заискивающим шопотом спросила Григорьева.

Коля скинул пальто, взял ручной фонарь и попробовал вползти в щель. Но она была слишком узка даже для него. Ребёнок надрывался от плача. Андрей Андреич руками отдирает камни и штукатурку, расширяя лаз, а Григорьева лежала рядом на животе и говорила в темноту несвойственным ей ласковым, мурлыкающим голосом:

— Не плачь, миленький, не плачь, родименький, сейчас мы пойдём к маме, мой хорошенький...

Ребёнок затихал на минуту, ожидая, что его сейчас возьмут, а потом, обманутый в своём ожидании, заливался отчаянным плачем, и у мальчиков, расширявших лаз, от нетерпения дрожали руки.

Ладно, хватит!

Коля скинул с себя курточку и полез в щель.

Григорьева слышала, как он пыхтит и скрипит зубами от боли, протискиваясь среди острых камней и щепы. Но он всё-таки пролез, и луч фонарика замелькал где-то внизу. А затем сдавленный голос Коли раздался на том конце щели:

— Тут мать убитая... и он у неё в руках... я не могу отодрать его...

Ребёнок продолжал захлёбываться слезами, голосок его слабел.

— Коленька, постарайся, отдери, — умоляла Григорьева, — ты, главное, не бойся, сперва одну руку разогни, потом другую...

— Она застыла... и у него ножки придавлены..

Ясно было, что Коле очень страшно одному с покойницей.

— Сейчас я приду! — крикнул вниз Жорка и стал снимать пальто и пиджак. — Сейчас, Колька, погоди... Ты ребёнка успокой...

Забыв о том, что это ненавистный ей Жорка, Григорьева приняла от него одежду и ласково советовала лезть ногами вперёд и, главное, беречь лицо, не пораниться. Жорка стал проталкиваться в щель. Один раз он вскрикнул, потом застонал тихим, долгим стоном, но слышно было, что он уже внизу. Григорьева удивилась, услышав неузнаваемо добрый голос Жорки:

— Вот так, мой маленький, вот так, хороший, сейчас мы освободим твои ножки... Видишь, какой фонарик? Хороший фонарик, правда?

Ребёнок затих, только изредка протяжно всхлипывал.

Луч фонаря осветил щель.

— Берите ребёнка, я подам, — сказал Жорка.

Коля подошёл к лазу со вторым фонариком, и Григорьева увидела исцарапанное лицо Жорки и его окровавленное плечо под разорванной в



ключья рубахой. Жорка поднял на руках ребёнка:

— Берите, только потише, у него ножки ушиблены.

И Григорьева, вдвинувшись, сколько могла в щель, приняла ребёнка на свои огромные руки, ставшие мягкими и нежными, как руки матери.

Анна Константиновна накинула поверх халата пальто и вышла в сад. Сад был озарён розовым, колеблющимся светом близкого пожара, и в этом свете отчетливо выступали низенькие детские скамейки, маленькие, словно игрушечные, качели, деревянная загородка для «ползунков», аккуратно обструганные ящики с песком. В этом свете был хорошо виден и дом, построенный специально для детей, с широкими окнами и крытым балконом, опоясавшим второй этаж: там дети спали днём — летом в одних рубашонках, зимою в тёплых меховых мешках. Теперь стёкла были выбиты или поблескивали расходящимися трещинами. И детишки не спали больше ни на балконах, ни в своих светлых белых спальнях, где так много воздуха. Для них устроили спальню в подвале, тесно сдвинув кровати, а самых маленьких укладывали в бельевые корзинки, поставленные в ряд на стульях. Во время своих дежурств Анна Константиновна сплетала гирлянды из осенних листьев и украшала ими серые, угрюмые стены. Ей хотелось, чтобы дети не были лишены красоты даже сейчас, среди бомб и смертей.

— Второй час тушат, — сказал сторож, подходя к Анне Константиновне: — дом старый, сухой, хорошо горит.

Пламя, теснимое со всех сторон струями воды, то замирало, то выбивалось в новом направлении, но и здесь его настигали струи воды, и тогда шипение, пар и дым говорили о неутомимой силе сопротивления, более мощной, чем сила огня. Иногда искра залетала в сад и красным светлячком мигала на дорожке — помигает и погаснет.

— Скоро потушат, — успокоительно ответила Анна Константиновна, — теперь уж можно не беспокоиться.

Недавно, когда рядом, после падения бомбы, возник пожар, Анна Константиновна приказала подготовиться к тому, чтобы эвакуировать детей из дома, если пожар распространится. Сонных детей одели и положили в ряд. Каждая няня и уборщица знала, кого она должна взять на руки и куда выносить.

— Будете раздевать? — спросил сторож.

— Подождём. Пусть тревога кончится.

Карета скорой помощи взвыла у ворот. Санитар вынес из кареты что-то завернутое в одеяло, пошёл вслед за Анной Константиновной в дом.

В пакете был мальчик, перепачканный известковой пылью,

заплаканный, уснувший крепким сном измученного, настрадавшегося младенца.

— Няня, горячей воды, ванночку. Молока согрейте!

— Распишитесь, — сказал санитар.

Анна Константиновна расписалась в том, что приняла Анастаса Кочаряна, двух лет, мать убита, отец на фронте, адрес такой-то, дома ребёнка звали Стасиком.

— Очень плакал, перепугался, — сказал санитар, — я уж ему в дороге и песни пел, и палец давал сосать.

— Палец! — возмутилась Анна Константиновна. — Санитар — палец давал!

— А что с ребёнком делать, разве я знаю? Вы с ним осторожнее, у него ножки ушиблены.

Карета уехала. Анна Константиновна захлопотала — надо было ребёнка осмотреть, обмыть, накормить, уложить спать. У себя дома она сейчас ничего не стала бы делать с малышом, дала бы ему выспаться. Но принять в учреждение, где сотни детей, неосмотренного, невымытого ребёнка?..

— Мыть не будем! — вдруг решительно заявила она. — Ничего не будем делать. Как есть, пусть спит. На свою ответственность беру.

Медицинская сестра с возмущением всплеснула руками.

— Необмытого ребёнка?

— Да! — упрямо сказала Анна Константиновна. — К себе в дежурку возьму и сама с ним возиться буду. Знаете, иногда лучше ребёнку палец в рот сунуть, чем дать ему от слёз задохнуться. Травма ж у него! Травма!

Она взяла спящего мальчика в дежурку и положила на постель, осторожно высвободив его из грязного одеяла. Мальчик застонал и всхлипнул, не просыпаясь.

— Спи, Стасик, спи, моё солнышко, — приговаривала Анна Константиновна, поглаживая его по спинке.

Среди ночи Стасик проснулся, раскрыл глаза и, отвернув лицо от незнакомых людей, тихо заплакал.

— А ты лучше погляди: кто рядом с тобою спит? — спокойно сказала Анна Константиновна, — погляди, какой Мишка! Мохнатый, глаза, как пуговики, носик твёрдый — потрогай, какой твёрдый носик!..

Дети всегда, как зачарованные, слушали её певучий голос. Но Стасик только огляделся и снова залился тихими слезами.

— Ну, и не надо Мишку, Мишка будет спать вот здесь, на стуле, — продолжала болтать Анна Константиновна, пока няня готовила ванну и

бельё.

Она приняла уже многих детей, спасённых из-под обломков или подобранных беженцами, она знала, что все эти дети пережили страх и горе, непосильные для их возраста, и к каждому такому ребёнку надо было искать особый путь, чтобы он ожил и стал весёлым. Она видела всяких детей — дико ревущих, отбивающихся, испуганно тихих, отупело молчаливых. И за каждого шла борьба, и все уже стали нормальными детьми. Стасика она отнесла к числу особенно трудных детей, потому что его тихие слёзы казались проявлением взрослого, сознательного горя.

— Стасику надо спать, а сначала надо помыть ручки и ножки, и ушки, и глазки, — говорила она, раздевая ребёнка.

Ножки распухли, посинели, кровоподтёки и ссадины чернели на вздувшейся коже. Прикрыв ножки пелёнкой, чтобы мальчик не испугался, Анна Константиновна сама понесла ребёнка в ванну.

Тёплая вода была приятна и, видимо, облегчала боль в ногах, Стасик покорно лежал в ванне и позволял мыть себя. Но как ни старались Анна Константиновна и няня заинтересовать его, показывая игрушки, хлопая в ладоши, звеня колокольчиками, Стасик отводил сосредоточенный взгляд и оставался безучастным.

После ванны Анна Константиновна завернула его в тёплое, мягкое одеяло и посадила к себе на колени.

— А теперь мы будем пить молочко, да? А что это за штучка в бумажке? Да это конфетка! Ну-ка, давай развернём бумажку и попробуем...

Но мальчик равнодушно отводил глаза, и слёзы медленно скатывались по покрасневшимся от купанья круглым щёчкам. И это было самое страшное — недетская сосредоточенность розового, пухлого ребёнка.

У няни опустились руки, она вышла из комнаты. А когда вернулась, виновато объяснила:

— Не могу я таких вот несчастных видеть... Душа горит... Что делают, проклятые!.. — И добавила: — Я в сад выходила, пожар-то все полыхает, всё не унимается. Сволочь фашистская, что делают.

Анна Константиновна понесла Стасика к приготовленной кровати, но он судорожным движением вцепился в её рукав.

— Не хочешь? Ну, и не надо, давай посидим, поиграем.

Играть он не захотел и на все игрушки смотрел равнодушно.

— Я тебя положу вот так, у меня на руках, и спою тебе песню, а ты поспи...

Он послушно прикорнул у неё на руках. Анна Константиновна напевала колыбельную и вспоминала внука, его непоседливость, его

неугомонную шаловливость, его светлые весёлые глаза. С ним тоже может произойти вот такое... Не сегодня, так завтра. Останется один, без мамы, без бабушки, потрясенный страхом, на чужих руках. Так пусть эти чужие руки для каждого ребёнка будут материнскими, нежными, неутомимыми руками.

— Горит? — спросила она вошедшую няню.

— Горит ещё. Только потише. Такая там борьба идёт, прямо смотреть страшно. И пожарные, и свои жильцы как есть в огонь лезут, по брёвнышку растаскивают..

В няньки я тебе взяла  
Ветер, солнце и орла...

У Стасика медленно закрывались, открывались и опять закрывались помутневшие глаза, но пальцы его продолжали цепко держать рукав Анны Константиновны.

Улетел орёл домой,  
Скрылось солнце за горой...

Няня потушила свет и отодвинула край шторы. Красные прыгающие блики залетели в комнату. Пригнувшись Анна Константиновна увидела висящую в воздухе золотую балку. Балка вдруг надломилась и пылающими угольями полетела вниз.

— Кончают, — сказала няня.

Продолжая покачивать на руках уснувшего ребёнка, Анна Константиновна думала о том, что няня выразилась очень точно. Не пожар кончается, а люди приканчивают пожар. Среди неисчислимых бедствий страсть сопротивления захватила людей сильнее, чем ощущение бедствия. Она во всём — эта страстная сила. И в борьбе за детство Стасика — тоже. В конечном счёте, за что же и борются люди, за что же боремся все мы, как не за то, чтобы вернуть Стасику детство?

Поздним вечером Вера Подгорная вышла за ворота Ботанического сада и тихо пошла домой, не обращая никакого внимания на отчаянную пальбу зениток. Всё это время она жила, замкнувшись в себе, в своём горе и в своих мыслях, и сложность личных жизненных решений пугала её больше, чем немецкие самолёты. Две недели назад её разыскал в Ботаническом саду незнакомый сержант. После этого начались бомбёжки, бесконечно сменяющие одна другую воздушные тревоги, после этого бомба упала в оранжерею и весь персонал несколько суток не уходил с работы, спасая от осеннего холода нежные тропические растения... Всё это было после прихода сержанта, но Вера отчетливо помнила только разговор с ним. Всё происшедшее потом мелькало перед нею как сон — обрывками, неясно, невнятно...

Тогда она стояла среди кустов красных роз, которые отдал под её опеку Юрий, уходя в армию. Розы в этом году цвели долго и пышно, как никогда. Она срезала розы и, случайно подняв глаза, увидела главного садовода Терентия Ивановича, приближающегося к ней с незнакомым военным. Она сразу поняла, что военный принёс известие о Юрии — может быть, потому, что оба шли молча и издали всматривались в её лицо.

— Вера Даниловна, к вам, — сказал Терентий Иванович и свернул мимо кустов, не подходя.

И тогда Вера поняла, что известие плохое.

— Сержант Бобрышев, — представился военный.

Веры выронила ножницы и сказала тихо:

— Скажите сразу. Сразу. Так будет лучше.

Бобрышев всматривался в её сдержанное и строгое лицо, потом его взгляд скользнул по её фигуре. Должно быть, он знал, что она беременна, и боялся волновать её.

— Ничего, говорите. Только сразу, — повторила она и взяла его за руку.

А сержант вдруг поднял к губам её руку и поцеловал неуклюже и робко. И тогда Вера поняла, что Юрия больше нет, что Юрий погиб. Она не вскрикнула и не заплакала, только вся помертвела, будто оборвалась её собственная жизнь. Всё, что окружало её, отодвинулось, осталось только лицо сержанта его страдальчески сморщенные губы и голос, притушивший последнюю робкую надежду.

— Ваш муж много говорил о вас, — сказал он, — он говорил, что вы настоящая русская женщина, добрая, сильная, красивая... Я всё мучился, итти ли к вам... Убитый он упал или раненый, не знаю... Может, в вашем положении лучше бы ничего не знать? Но я подумал, что вам, пожалуй, уехать правильнее, или помощь нужна.

— Его не нашли? — почти беззвучно спросила она.

— При отступлении это было. Никого тогда не подобрали.

И тут она сказала слова, которых сама испугалась, но они жили в ней и теперь, как страстная, горькая мольба:

— Пусть бы уж он был убит..

Потом она попросила:

— Пойдёмте... походим...

Они молча пошли по дорожкам, среди цветов и деревьев, горевших всеми красками осенней, прощальной красоты.

— Значит, вы оба тут и работали? — задумчиво сказал Бобрышев. — Красивая у вас профессия...

И она начала торопливо рассказывать этому чужому человеку, что выросла в Курской области и с детства ухаживала за яблоневыми и вишнёвыми садами, а Юрий Музыкант рос на Украине, оба они любили свою профессию и пять лет работали вместе в Ботаническом саду и думали, что так и будут жить.

— Понимаете? — спросила она: — ведь это всё для человека, для того, чтобы люди жили красивее, лучше...

Прошло много времени, прежде чем она собралась с силами и смогла выслушать подробный рассказ Бобрышева о том, как погиб Юрий Музыкант. Они сели на скамейку у маленького пруда, и Бобрышев медленно вспоминал дни, проведенные вместе с Юрием, их разговоры и последний бой, когда Юрий упал раненым.

— Тогда трудно было хорошо держаться, — сказал он, — но про мужа вашего ничего худого не скажешь. Хороший был боец. Неопытный, правда, но стойкий.

— Он никогда раньше и винтовки не держал, — сказала Вера.

Они уже прощались, когда она неожиданно потеряла власть над собою.

— Скажите мне, что его убили... что он не мог попасть к немцам... Вы его мало знали, но он никогда, никогда не смог бы жить в плену... он бы руками задушил первого немца, который к нему подошёл бы... Скажите, что он был мёртв, вы же видели, как он упал, вы же должны понимать, когда человек падает мёртвый или раненый...

Проводив Бобрышева, она пошла к Терентию Ивановичу и сказала:

— Юрий Осипович убит... Убит!

— Может быть, ещё окажется... — начал было Терентий Иванович.

— Нет! — крикнула Вера, — я говорю вам, он убит... Я знаю...

Так она и жила с тех пор, не замечая собственного существования, единственной страшной надеждой — что смерть спасла Юрия от позорного плена, от издевательств и пыток.

Сегодня Терентий Иванович сказал ей:

— Столько горя сейчас кругом, что даже не знаешь, надо ли ещё цветы растить... Кому они нужны — цветы?

— А жизнь? — спросила Вера с отчаянием: — а жизнь мне нужна?

Но жизнь была нужна ей. Жизнь была нужна ей даже не потому, что ей предстояло в муках родить нового человека и в нём продолжить оборвавшуюся жизнь Юрия, но потому, что не жить — значило сдаться. А сдаваться она не могла, и Юрий не мог. Разве сейчас эти бомбы не воют в лицо: «сдавайтесь»? Нет, надо жить, несмотря ни на что...

Она уже подходила к дому, когда прямо над нею взвилась в небо и волшебным дождём рассыпалась ракета.

Вера остановилась. Вот они и здесь, и здесь тоже, убийцы! Они заползли в наш город. Какой-то притаившийся убийца исподтишка выстреливает в небо ракету, а другие убийцы в самолётах, нагруженных тоннами взрывчатого груза, мчатся на сигнал и несут смерть.

Откуда он стрелял?

Она стояла в темноте, боясь дышать. Откуда он стрелял, этот убийца?

Она не задумывалась над тем, что она будет делать, что она сможет сделать, — ей просто нужно было знать: откуда он стрелял?

Впервые за две недели она ясно и ярко воспринимала всё, что происходило вне её. Каждую тень подмечали её внимательные глаза, каждый звук улавливал её обострённый слух. И когда гул самолёта приблизился в грохоте нащупывающих его пушек, она охватила напряжённым взглядом улицу и тёмные дома — не выстрелит ли он снова, чтобы указать самолёту цель?

И он выстрелил.

Ракета взвилась и вспыхнула, путь её в темноте был не виден, но все нервы Веры были так напряжены, что по еле уловимому звуку она вскинула глаза на фасад своего дома и не столько увидела, сколько почувствовала, что во втором окне четвёртого этажа захлопнулась форточка.

Она ещё несколько минут смотрела на это окно. Тёмное, молчаливое окно. Зачем сейчас, во время воздушной тревоги, открывать форточку? Кому придёт в голову проветривать комнату, когда воздух сотрясается от



гула и грохота?.. Но может быть — ей показалось?. Нет! Форточку захлопнули вон там — во втором окне четвёртого этажа.

В домовой конторе, где теперь, помещался штаб ПВО, дежурила Зинаида Львовна, жена профессора, смазливая, нарядная и крикливая. Вера всегда избегала её с инстинктивным недоброжелательством сдержанного, думающего человека ко всему внешнему, шумному, показному. Зинаида Львовна наименее подходила для того, что собиралась делать Вера, но медлить было нельзя, и Вера строго, повелительно вызвала её на улицу.

— Кто живёт вон в той квартире?

— Это рядом с нашей, — испуганно сказала Зинаида Львовна, — а что?

— Кто там живёт?

— Боже мой, там доцент Скворцов с женой, с Милочкой. Знаете, такая молоденькая изящная дама, он недавно женился. А затем там прислуга, Фрося. И все, как будто. Нет, у них сейчас ещё родственники Фроси живут, беженцы из Кингисеппа. Старики. Милочка такая сердечная, она их пустила в кухню... Но, боже мой, что случилось, Вера Даниловна?! Вы меня так напугали, что у меня коленки дрожат...

— Пойдёмте наверх, проверим квартиру. Оттуда пускали ракету.

Зинаида Львовна ахнула. Вера видела, что она вся трясётся, и уже пожалела, что позвала её на помощь, — но Зинаида Львовна вдруг вся подобралась, как котёнок перед прыжком, прижала палец к губам и затем заговорила с уверенностью и энергией:

— Вот мой план! Идём в бомбоубежище. Смотрим, все ли они спустились и кто остался наверху. Потом идём проверять затемнение. Я ответственный дежурный, меня обязаны впустить, да и они же меня знают!

— Пойдёмте, только поскорее.

— А милицию не вызовем?

— Вызывайте. Но ждать не будем. Вдруг он еще раз выстрелит? Укажите им номер квартиры, пусть идут прямо туда.

Следуя за Зинаидой Львовной, Вера на миг испугалась, не показалось ли ей всё это, не выйдет ли страшной неловкости и стыда. Но она отогнала сомнения. Всё точно, форточка захлопнулась. Второе окно, четвёртый этаж. Зачем во время тревоги, ночью, открывать форточку?

В бомбоубежище Зинаида Львовна нашла и доцента с женой, и Фросю, и старушку-беженку из Кингисеппа.

— А дедушка твой где? — спросила Зинаида Львовна таким ласковым и невинным голоском, каким наверно, говорила с мужем, когда хотела обмануть его.

— Наверху, голубушка, наверху, — заныла старуха, — ноги у него разболелись, не может он по лестницам ходить.

— Вот и плохо, что наверху, — сказала Зинаида Львовна, — у вас не затемнено как следует, а он свет зажжёт, второе окно с краю так и светится.

Фрося всполошилась.

— А чего он там делает, в столовой? Не должен он туда ходить вовсе...

— Пойдём, проверим.

Пока они поднимались, Фрося ворчала:

— И не рада, что приютили... Старуха-то его мне тётка, она ничего, только стонет да жалости ищет... Не люблю таких! А старик разлётся, будто у себя дома, ноги у него, видишь, болят да сердце заходится, да желудок ёкает... Сидит и сидит, прямо глаза намозолил. И чего он в столовую лезет? Я ещё позавчера заметила: как пришли после тревоги, на ковре пепел обронён да махоркой пахнет. Ну, чего он лезет в чужие комнаты? По буфету шарить? Я хоть и закрываю теперь всё, а пропади что-нибудь — с кого спросят?!

Они уже поднимались от третьего этажа к четвёртому, когда Зинаида Львовна схватила Фросю за плечо и, сама замирая от ужаса, прошептала:

— Тише! Этот старик — шпион, понимаешь? Мы должны ворваться в квартиру так, чтобы застать его на месте. И протянуть время, пока не подойдёт милиция.

Обомлевшая Фрося беззвучно повернула ключ в замке и открыла дверь. Зинаида Львовна с Верой бросились в столовую и чуть не сбили с ног старика, шедшего им навстречу с ручным фонариком.

Не смущаясь, старик заговорил слезливым голосом:

— Слава богу, хоть люди пришли, не так страшно... а то прямо места себе не найду... пальба такая!.. Дом трясётся... Ой, даже сердце заходится... Уж скорее бы помереть...

— А мы затемнение проверяем, у кого-то в вашем этаже окно просвечивает, — с удивительной естественностью затараторила Зинаида Львовна. — Вы, дедушка, случайно не зажигали света?

Она села на сундук в передней и прислушалась.

— Страшно-то как! До чего же вы храбрый, дедушка, что вниз не спускаетесь!..

Старик, кряхтя, стал объяснять, что у него «отказывают» ноги.

Вера прошла в столовую и в потёмках нащупала форточку — она была прихлопнута, но на задвижку не закрыта. И к самому окну был придвинут стул — очевидно, старик влезал на него.

Вернувшись в переднюю, она при свете фонарика старалась разглядеть

старика. На продолговатом сморщенном лице топорщились жёлтые усы и поблескивали недоверчивые, настороженные глаза, странно не соответствовавшие расслабленной позе и жалобному голосу.

— И откуда у вас фонарик взялся, дядя? — спросила Фрося, усиленно подмигивая Зинаиде Львовне.

Вера не вслушивалась в подробные объяснения старика. Она вдруг с предельной отчетливостью осознала, что вот этот стоящий перед нею человек с настороженными глазами — враг. Один из той чудовищной армии убийц, что хлынула на советскую землю, бомбит, жжёт, убивает, грабит, калечит, — один из тех, кто убил её Юрия. Она только на минуту с брезгливостью и гневом подумала о том, кто он, вот этот первый увиденный ею враг — наёмный подлец или подлый фашист? Опытный шпион или недавно завербованный подручный убийца? Ей это было неважно. Следователь разберётся, по уликам и слезливым признаниям вытянет одну ниточку и по ней начнёт добираться до клубка... Для неё это просто враг, первый, которого она увидела своими глазами, чудовище из тех, что убили Юрия или замучили в плену...

Стоя в тёмном углу передней, она снова погрузилась в свой горестный и мучительный мир, и уже изнутри этого своего мира увидела мерзкое и страшное лицо врага.

Входная дверь распахнулась рывком, два луча фонарей рванулись из мрака впереди входящих людей.

Вера увидела мгновенно преобразившееся хищное лицо старика и стремительное движение его руки, выдернувшей из-за пазухи пистолет.

— Убийца! — закричала Вера и повисла на плече старика, стиснув руками его шею и стараясь пригнуть книзу его голову.

Старик упал, Вера повалилась на него, не отпуская. Старик хрипел и подкидывался всем телом, не по-стариковски сильным и мускулистым. Его локоть ударил её в живот, она с острым испугом вспомнила: «ребёнок!» — но продолжала стискивать шею старика, из последних сил, как в ночном кошмаре, стараясь удержать его и чувствуя, что он выскользывает из её рук.

— Всё, гражданочка, отпустите, — раздался над нею спокойный голос. Кто-то помог ей встать.

Разжав веки, она увидела в руках двух мужчин скрюченную, безвольно поникшую фигуру старика, суetyающуюся вокруг него и задыхающуюся от возбуждения Зинаиду Львовну, выступающее из темноты бледное лицо Фроси.

— Вы бы присели, — сказала Фрося.

Вера села на сундук, прислонилась к вешалке. Всем телом ощутила

покой. Но в ту же минуту выпрямилась и насторожилась, прислушиваясь к слабым, но внятным толчкам в своём теле — первым толчкам ребёнка.

— Вера Даниловна, а ведь мы с вами такую птицу поймали, что нам, по крайней мере, благодарность объявят, правда? — залепетала возле неё Зинаида Львовна. И вдруг, ахнув, другим, естественным голосом спросила: — Голубчик, да что с вами? Вы не повредили себе? На вас лица нет!

Вера только головой покачала, и Зинаиду Львовну поразило отрешённое от всего происходящего, покорное и блаженное выражение её усталого лица.

Пегов уже давно не спал ночами. Круглые сутки райком был штабом, куда стекались запросы, сообщения с мест и задания сверху — от Военного Совета, от горкома. Во время бомбардировок Пегов знал, что происходит в воздухе и на всей территории его широко раскинувшегося района. Он знал, как идёт тушение пожара в одном конце района, сколько откопали засыпанных обвалом людей в другом конце. Он знал, как выполняется производственный план на каждом предприятии района, и задержка детали 11–71 была известна ему подробнее и обстоятельнее, чем Лизе, хотя он и не слышал перебранки между Курбатовым и Солодухиным. О том, что телефонистка Кружкова, оглушённая воздушной волной, оставалась на посту, он узнал раньше, чем Лиза сменилась с дежурства.

Он знал очень много, сидя в своём кабинете, но приток сообщений не мог заменить ему живого общения с людьми. Поэтому, как ни трудно было ему вырываться из стен райкома, он всё-таки находил время для поездок по району, по-мальчишески удирал через заднюю дверь кабинета и по двору выбегал к машине, чтобы его не перехватили на парадной лестнице.

В этот вечер он побывал на раскопках большого пятиэтажного дома, поговорил с пожилой домохозяйкой Григорьевой, откопавшей уцелевшего ребёнка, и попробовал успокоить плачущего мальчика, которого при нём передавали санитару кареты скорой помощи. Он внушил управхозу, что надо узнать воинский адрес отца и сообщить, куда помещён сын. И это он велел санитару сообщить в Доме малюток, что ребёнка звали в семье Стасиком: чтобы новым людям было легче приучить к себе малыша.

Оттуда он поехал на швейную фабрику, возле которой упала неразорвавшаяся бомба. Место падения бомбы было оцеплено, из соседних домов удалили жильцов, но фабрика продолжала шить шинели так же, как солдаты продолжают воевать, когда на них сыплются снаряды и бомбы. Пегов прошёл в цеха. Утомлённые, взволнованные женщины поднимали лица от машин и вопросительно вглядывались в Пегова. Старые работницы узнали его и шопотом сообщали другим — радостный говорок пошёл по цехам, присутствие секретаря райкома в опасную минуту как-то облегчало напряжение и отодвигало опасность. Пегов поговорил с работницами. Да, они боялись, но никто не прекратил работы.

— Да разве кто уйдёт? — сказала одна работница. — Бойцам ведь хуже нас достаётся. А здесь почти у каждой — или муж, или брат, или

сыновья на фронте. Как же нам не понять?

Выйдя с фабрики, Пегов подошёл к сапёрам, уже работавшим на месте падения бомбы. Бомба ушла глубоко в землю, и обезвредить её было нелегко. Сапёры не надеялись справиться раньше следующего вечера.

«Значит, правильно, нельзя прекращать работу на фабрике», — сказал себе Пегов, с сожалением вспоминая встревоженных и скрывающих тревогу работниц.

— На танковый, — бросил он шофёру.

Танковый завод он любил больше всех других предприятий района. Он сам несколько лет назад был на этом заводе, тогда ещё тракторном, секретарём парткома, и весь процесс перестройки завода с производства тракторов на производство танков прошёл при его участии. Он знал на заводе весь основной рабочий костяк и — уже во время войны, когда часть людей ушла в армию, — способствовал выдвижению многих рядовых рабочих и инженеров, которых помнил как толковых, грамотных и не любящих болтовни работников. В районе пошучивали над его пристрастием к танковому заводу, но сейчас оно стало естественным и оправданным требованиями фронта. Кроме всего этого, Пегова тянуло на завод ещё одно, уже совсем личное чувство: на заводе постоянно толкались танкисты, принимавшие новые машины и пригонявшие на срочный ремонт старые, помятые в боях танки. И Пегов всегда находил время потолковать с танкистами о качестве машин, о последних боях — и как бы мимоходом спрашивал:

— А вы не встречали Пегова, Сергея, башенного стрелка?

Он приехал вскоре после того, как две бомбы упали в районе завода. Директора Владимира Ивановича он застал у секретаря парткома Левитина, где собрались парторги цехов, — новый призыв в народное ополчение должен был начаться на кратких митингах вечерней смены и на летучках во время ночной смены. Директор разъяснял парторгам, что часть рабочих не может быть отпущена заводом.

Пегов попросил передать этим рабочим, что их труд в полном смысле слова фронтовой, так что обид не должно быть.

— А теперь пойдём к Солодухину, поглядим, что у него затирает.

В цехе Солодухина обрушилась часть стены, и по цеху гулял ветер. Верхний свет был выключен, а лампочки над рабочими местами завешены плотной бумагой.

— Все к Солодухину! — обиженным голосом приветствовал Пегова расстроенный Солодухин. — Сегодня все к Солодухину, раз его затёрло! Я что, не понимаю? Совести во мне нет? Я весь в мыле!..

— Когда всё ладно, так чего же ходить, — сказал Пегов. — Запоролся, так уж не обижайся. Что у тебя стряслось?

— Ничего не стряслось, только стенка, — сердито огрызнулся Солодухин и тотчас стал толково и огорчённо объяснять, почему затёрло с деталью 11–71.

Зазвонил телефон, Солодухин зачертыхался и закричал рыдающим голосом:

— Вот! Слышите?! Кто звонит? Всё этот сумасшедший! Я могу не подходить, я знаю всё наперёд! Через него я скоро сам сойду с ума, вот увидите!

Спотыкаясь в тёмных переходах, он побежал к телефону, и Пегов услышал его неожиданно весёлый, лицемерно-наивный голосок:

— Что же ты, птичка, не забираешь свою 11–71? Или тебе больше не нужно? Целый десяток зря лежит, мне, знаешь, держать негде, начнут портиться, я не отвечаю. Стоячая вода тухнет, птичка!

Он выбежал из конторки, восхищённый собственным остроумием:

— Слыхали, как я его подкусил? Птичка, птичка, золотко, голубочек! Меня от его голоса трясти начинает! Птичка!

Пегов пошёл в сборочный. Курбатов сидел на своём командном пункте, откуда хорошо виден весь цех, и казался удивительно спокойным и даже неподвижным человеком. Но когда он поднял взгляд на вошедших, Пегов невольно загляделся на его большие, лихорадочно оживлённые, азартные глаза — такими Пегов представлял себе глаза какого-нибудь отчаянного кавалерийского командира, несущегося во главе своих людей в сокрушительную атаку.

— Наладилось с 11–71? — спросил Пегов, присаживаясь и закуривая.

— Пока радоваться рано, — уклончиво сказал Курбатов. — По-моему, Солодухина ещё дня три лихорадить будет...

Он стал спокойно пояснять свою мысль.

— Вы бы с Солодухиным вот так и говорили, — посоветовал Пегов, — а то старик психовать начал от ваших звонков.

— Во-во-во! Это мне и нужно! — воскликнул Курбатов. — Старик спокойствие любит, по-стариночке привык, а когда его на психику возьмёшь, он от злости горы ворочает.

Курбатов вдруг приподнялся, вглядываясь в происшествие на другом конце сборочного цеха, взял трубку цехового телефона, спросил:

— Что у вас? Что предприняли? Хорошо, только не спутайте! — Положил трубку, шутливо сказал: — Золотое правило: в своём цехе выдержка, с другими — нервы! — И встал, учтиво извинившись: —

Простите, мне надо пройти по цеху.

— Красавец в работе! — сказал Владимир Иванович. — Уйди я с завода, директором сажать можно. — И предложил, зная повадки секретаря райкома: — Пойдём танк поглядим, сегодня притащили, музейный танк...

Пегов увидел тяжелую машину. Краска вся облупилась, спеклась, обгорела.

— Сто восемьдесят ран, — с уважением сообщил директор.

Из-за машины вынырнул танкист и сказал, касаясь плоскости танка ладонью:

— Герой Советского Союза! Даже жалко в починку сдавать.

Танк оказался тем самым, на котором экипаж лейтенанта Кривокуба разгромил танковую колонну немцев. А танкист был его водителем.

Взволнованный и видом танка-ветерана, и рассказом водителя, Пегов робко спросил танкиста, не встречал ли он Сергея Пегова, башенного стрелка. Спрашивая, он побледнел и потянулся за портсигаром, чтобы папиросой унять волнение, — он всегда ждал, что ему скажут: «Серёжа Пегов? Убит, бедняга, прямое попадание в башню..»

— Серёжа Пегов?! — вскричал танкист. — Ну, как же! Приятель! Только вчера видел. Ого, Сережка Пегов, знаете, какую психическую атаку немцам отмочил?!

И он рассказал о засаде в берёзовой роще и о неравном бое, когда Серёжа в пустом окопе изображал отсутствующую пехоту, а затем бросился на немецких автоматчиков с криками — «рота, за мной!». Дружеское преувеличение украсило рассказ новыми героическими подробностями, автоматчиков стало не десять, а полсотни, и Серёжа не только стрелял из автомата, но и одновременно бросал другой рукой гранаты... Танкист чувствовал, что привирает, и Пегов чувствовал, что на самом деле было немного не так, но подробности и не имели значения, а преувеличение было понятно, так как нет ничего труднее точного воспроизведения подвига, совершённого другом.

— А вы, случаем, не отец его? — спросил танкист. — А то у меня письмецо лежит, в райком снести надо.

Пегов с жадностью схватил засаленный конверт, но прочитать письмо не успел, так как Левитин позвал его на митинг рабочих вечерней смены.

В проходе между двумя цехами рабочие стояли густой толпой. Те, кто мог примоститься где-либо, сидели в усталых позах. Левитин поставил столик с листом бумаги в центре прохода и коротко рассказал о том, что немцы на подступах к Ленинграду, сил на фронте не хватает, все рабочие, кого можно отпустить без особого ущерба для производства танков,



должны взяться за оружие.

Пегову показалось, что Левитин говорит слишком сухо и коротко, но после его речи один рабочий, уже седой, хотя всё ещё крепкий и статный, молча подошёл к столику, снял кепку и чётко написал на листе свою фамилию. За ним потянулись другие. Молодёжь шутила и держалась молодцевато, пожилые рабочие записывались деловито, без слов, и многие тотчас уходили, спеша отдохнуть. Уходя, спрашивали:

— Когда являться?

Пегов подошёл к седому рабочему, открывшему список добровольцев.

— Куда ж ты, отец, воевать собрался? Тяжело будет, сердце, наверно, да и ноги... Тебя, пожалуй, на заводе оставить полезнее будет.

— Сердце моё, товарищ Пегов, здоровое, только злое сейчас. А старости для коммуниста не бывает. Старость будет, если немецкая сволочь на шею мне сядет и погонять начнёт.

— Оно верно. Комиссаром тебя поставим.

— А чего ставить? Для должности у меня грамоты не хватит, а без должности я с народом говорить не стесняюсь, если нужда есть. Помогу.

Высокий рабочий подошёл к ним и стоял, ожидая конца разговора. Пегов взгляделся и узнал младшего Кораблёва.

— Григорий Васильевич, верно? — сказал он, радуясь точности своей памяти.

— Что же это происходит? — воскликнул Григорий Кораблёв, обращаясь и к Пегову, и к директору. — Всех пускают в отряд, а я что же? Не коммунист? Не рабочий? И потом, вы помните, Владимир Иванович, какое у вас условие с отцом было... как же вы?

Пегов заинтересовался: какое условие?

— Не хотел уезжать старик, — сердито объяснил Владимир Иванович, — условие поставил — чтобы вот его оставить. Так ведь оставили!

— Не так было, — мрачно сказал Григорий Кораблёв, — сами знаете, не только оставить. Нехорошо вы поступаете.

Пегов дотронулся до плеча директора:

— В самом деле нехорошо. Условия выполнять надо, а?

Директор покосился на Григория и вдруг махнул рукой:

— Ведь знаешь, что пойдёшь, раз задумал. Упрямство кораблёвское! И чего ж ты на меня жалуешься?

Кораблёв сдержанно улыбнулся:

— Знать-то знаю, так ведь не удирать же мне потихоньку. Не мальчишка.

Проходя к выходу мимо заслуженного танка, который уже начали разбирать, Пегов невольно задержался:

— Эх, бедность наша! Не будь они так нужны нам, эти танки, — взять бы его в надёжное место, поставить на виду и водить экскурсии: глядите, один из ветеранов Великой Отечественной войны!.. А придётся ему подправиться — и в бой!

Прощаясь с директором, он вернулся к своей мысли:

— Будем кончать войну, ты, Владимир Иванович, не прозевай, отхвати парочку таких штук. Заводской музей откроем, на самое почётное место поставим.

— Отвоеваться бы! — устало откликнулся директор.

В райкоме Пегова ждали и люди, и телефонограммы, требующие немедленных распоряжений. Уже забрезжил рассвет, когда он остался один, прилёг на койку, стоявшую за ширмой в углу кабинета, и распечатал письмо сына.

Томящая отцовская нежность охватила его при виде знакомого, всё ещё ученического почерка сына и наивного, детского начала письма: «Дорогой папочка..» Сын ничего не писал о своём подвиге, но подробно описывал уже известный Пегову разгром танковой колонны, а затем на целой странице убеждал отца, что советские воины грудью своей закроют немцам путь в Ленинград, и так далее, и так далее... Пегов рассмеялся. Попал мальчишка на фронт, и ему уже кажется, что прежде недостижимо умный папа теперь просто незнающий тыловик, которого надо успокаивать и агитировать, и он добросовестно, со всей комсомольской искренностью, переписывает то, что ему говорил на митинге политрук. . «Как стандартны бывают слова, — подумал Пегов с досадой. — Вот ведь умный, развитый мальчишка, а собственных слов не нашёл!.. А ведь для Серёжи Ленинград — родина, семья, вся жизнь, он на самом деле умрёт, но не пустит немцев в Ленинград, и когда он думает про себя о боях под Ленинградом, он, наверное, вместо «грудью закроем», рисует себе очень реальные и смелые действия своего танка, возможности дерзких подвигов, остроумных и смертоносных для врага контрударов, засад, нападений... А сел писать — и не нашёл своих слов, своих мыслей..»

Пегов приподнялся, записал в блокноте: «О формах и языке агитации». Вытянув опухшие от усталости ноги и закрыв глаза, он стал обдумывать, как лучше разъяснить завтра — нет, сегодня утром! — работникам отдела агитации и пропаганды свои требования.

На столике упорно звонил телефон. Пегов вскочил, привычным усилием воли отогнав тяжёлую дремоту. По мягкому звону он угадал

смольнинскую вертушку и поспешно взял трубку.

Негромкий, хорошо знакомый голос начал прямо с дела:

— Как у тебя с новым призывом ополченцев?

У Пегова были только первые данные по ночным сменам, он коротко назвал заводы и число записавшихся добровольцев.

— К вечеру будет более полная картина, Андрей Александрович, я вам сразу позвоню.

— Нужно вот что, — медленно, как бы раздумывая, сказал Андрей Александрович: — сегодня к концу дня нужно сколотить отряд... Ну, скажем, роту, но роту отборную, из рабочих, коммунистов... Роту, которую можно в случае острой надобности сразу бросить в бой. Сделаешь?

Пегов не торопился с ответом. Надо было ответить точно, потому что Андрей Александрович охотно советовался и выслушивал деловые соображения работников, но уж если поручение дано — проверял придирчиво, в срок, и требовал исполнения безоговорочно.

— Сегодня к концу дня? — переспросил Пегов, прикидывая в уме, откуда можно снять людей.

Все партийные организации уже дважды выделяли людей на фронт, коммунистов в районе осталось мало, и оставшиеся были заняты на таких постах и на таких производствах, где заменить их в один день нелегко.

— Это очень нужно, — сказал Андрей Александрович и, не настаивая на ответе, заговорил о других делах.

Но Пегов знал, что он ещё вернётся к первому вопросу, и продолжал обдумывать, что надо сделать.

— А кого ты думаешь командиром этого отряда выдвинуть? — действительно вернулся к первому вопросу Андрей Александрович.

Об этом Пегов совсем ещё не думал.

— Подумай, взвесь. Человек нужен самоотверженный и спокойный. Чтоб не потерялся, если трудно. И ещё подумай о том, чтобы взводы и отделения состояли из товарищей с одного завода, из одного цеха. В нынешних условиях важно, чтобы люди хорошо знали друг друга. И традиция завода вступает в силу.

Пегов вспомнил седого рабочего с танкового завода и рассказал о нём.

— И не надо его комиссаром, — сказал Андрей Александрович, — а в отряд... — он коротко вздохнул, — в отряд возьми его. Такой не отступит.

Он стал расспрашивать о положении на танковом заводе, о здоровье Левитина, о том, как справляется со сборкой Курбатов, и Пегов снова, как и в каждом разговоре, удивлялся, что память Андрея Александровича так легко и безошибочно удерживает фамилии, судьбы, характеры людей, даже

если он только слышал о них в сжатом рассказе по телефону.

— К восьми часам вечера отряд надо сформировать и подготовить к отправке. Ты мне позвони днём, как идёт дело...

Во время разговора Пегов уже наметил план действий и поверил в то, что, как ни трудно, но собрать нужное число рабочих-коммунистов удастся.

— Будет сделано, Андрей Александрович.

Он вышел в соседнюю комнату. Секретарша спала за столом, положив голову на руки. В утреннем жёстком свете в её тёмных волосах поблескивали седые пряди. Пегов вспомнил, что три недели назад она получила извещение о гибели сына, но ни на один час не прекращала работать. Сын... Отцовская щемящая жалость на миг захватила его, но он подавил её и осторожно коснулся плеча секретарши:

— Анна Петровна! Аня!

Она встрепенулась, виновато улыбаясь. Кожа под глазами у неё припухла, очевидно, она плакала перед сном.

— Анна Петровна, побыстрее разбуди всех инструкторов, — и ко мне. Да вызови через часок машину — поеду по заводам.

Кончилась ещё одна ленинградская ночь. Улетели бомбардировщики последней волны. Замолкли зенитные пушки. Сменились на постах дежурные. Раненых доставили в больницы, убитых — в мертвецкие. К местам разрушений шли бригады домашних хозяек продолжать раскопки. Техники и рабочие спешно исправляли трамвайные пути и заменяли оборванные провода. В опустевших бомбоубежищах на складных койках и на скамейках спали те, кому надоело спускаться и подниматься при звуках тревоги и отбоя. В домовых конторах сонные дежурные привычно отвечали на телефонные звонки: «Всё в порядке», даже не спрашивая, кто звонит, потому что тысячи людей, оторванных в этот час от своих семей, торопились узнать, всё ли в эту ночь обошлось благополучно.

Мария подняла чёрную штору и распахнула окно. Утренний холод освежил кожу. Светало. Лучи поднимающегося солнца ещё не коснулись земли, но добрались до серебристых аэростатов, паривших над городом, и небо казалось огромным прозрачным аквариумом, где плавали сотни розовых рыб.

— Иван Иванович, утро уже! — позвала Мария.

Ей хотелось показать Сизову, как красив в этот час Ленинград, но Сизов спал, свернувшись на диване, закрыв лицо неизменным красным шарфом.

Мария с сожалением закрыла окно, чтобы холодный воздух не разбудил Ивана Ивановича, и присела к столу. Спать ей не хотелось, и работать тоже не хотелось — её мысль, отчетливая и спокойная, возвращалась к полученному вчера письму.

Глаза её пробежали строки письма: «.. ради нашего прошлого, ради нашей любви умоляю тебя выслушать меня и понять... Ты бессмысленно подвергаешь опасности себя и Андрюшу... Ты не понимаешь, что вам предстоит пережить... Вспомни судьбу некоторых городов, о которых мы читали... Если бы я мог приехать! Но я не имею права бросить дело... заклинаю тебя нашим счастьем, не упрямясь и уезжай, пока не поздно, потому что может быть поздно...»

Она скомкала письмо. Ты правильно предвидел, Борис Трубников, всё вышло именно так: нас бомбят и обстреливают, и последняя, Северная железная дорога уже перерезана немцами... Всё так! Но почему ты думаешь, что я должна и могу отделить себя от судьбы своего города,

своего народа? Почему ты думаешь, что я отдам кому-то другому честь защищать свой город? Передоверю кому-то другому свой маленький боевой пост?.. Ты назвал меня фанатиком. Что ж, тогда мы все фанатики, мы все одержимы одной страстью — сопротивляться. Но без этой одержимости мы, быть может, уже потеряли бы Ленинград... Да, я многое испытала. Если бы твоё письмо не задержалось в пути, мне, быть может, стало бы жутко от твоих мрачных предсказаний... Я, быть может, содрогнулась бы над твоим письмом... И всё-таки даже тогда я тебе ответила бы сквозь слёзы, что не могу уехать, хотя всё понимаю, и боюсь, и колеблюсь порою... И предчувствую то, о чём ты не подумал, — голод... Вчера, сегодня, завтра — я была, есть и буду в бою, в медленном бою за свой город, за свою честь. И цену человеческой воле я узнала, и цену жизни, и счастья... И цену гордости я тоже знаю.

Она взяла листок бумаги и небрежно, карандашом, написала Борису Трубникову короткий ответ, презрительный и резкий — гораздо более резкий, чем она написала бы месяц назад, если бы письмо не опоздало.

# **Глава четвертая**

## **В решающие дни**



В рассветных сумерках пулемётный взвод вышел на позицию полевой батареи возле совхоза. Три года назад Митя гостил здесь на даче у Марии Смолиной. Ему стало бесконечно грустно, когда возле самой позиции батареи он наткнулся на обгорелые стволы и пеньки и догадался, что это остатки тенистой рощи, которую особенно любила Мария.

— Я здесь каждый бугорок знаю. — сказал он Левону Кочаряну, своему второму номеру.

— А мне вся земля теперь, как укор, — сказал Кочарян, — смерти искать буду, Митя...

Левон получил вчера письмо о гибели жены, о том, что Стасику придавило ножки и он отправлен в Дом малюток. Он не проронил ни одной слезы, только осунулся, потемнел лицом и всё прислушивался к разговорам о предстоящих боевых делах — в бою он хотел найти исход страшному ожесточению, сдавившему сердце.

— У тебя сын, — сказал Митя.

— Что мужчина один с ребёнком? — мрачно ответил Кочарян. — Ребёнок крошечный, вот такой, женские руки надо, а чужую женщину я не дам ему вместо матери... Государство растить будет, справедливые руки. А ласку материнскую... может, и не надо ласки, пусть память в нём гореть будет, как огонь, чтоб никогда не простил бандитам эту подлую бомбу...

Они уже подходили к совхозу, когда немцы начали бить по нему тяжёлыми снарядами. Бойцы перебежками, бросаясь от близких разрывов в дымящиеся воронки, добрались до батареи и укрылись в окопе. Окоп был



глубокий и надёжно прикрывал от осколков. Митя уже научился понимать толк в таких вещах и никогда не ленился старательно окопаться: лишнее поработаешь, зато потом спокойнее!

Артиллеристы рассказали, что это уже третий огневой налёт, два было ночью, — наверно, немцы что-то готовят... И пулемётчиков прислали из батальона не зря: определённо, надо ждать боя!

Как только замолчали немцы, заговорила батарея. Митя впервые находился под боком у орудия, ведущего огонь, а такое соседство показалось ему не очень приятным, но ладная и быстрая работа артиллеристов ему понравилась — понравилось соединение тонкого расчёта, который одухотворяет действия сложного механизма, с домашностью движений подносчика снарядов и заряжающего, с крайней простотой самого выстрела — дёрнул шнур, и снаряд летит многие километры, поднимает в воздух блиндажи, орудия, танки...

Митя залюбовался командиром орудия, его точными и красивыми движениями, слаженностью общей работы, исключавшей необходимость каких-либо объяснений, — люди понимали командира с полуслова.

Когда стрельба кончилась, Митя пошёл к артиллеристам знакомиться. Командир приветливо обернулся к нему, его родное, на всю жизнь запомнившееся Мите лицо улыбнулось, и Митя восторженно вскрикнул:

— Товарищ Бобрышев!

Бобрышев обнял его и повёл к своим товарищам:

— Смотрите, ребята, вот с этим молодцом мы у немцев в гостях двенадцать суток гуляли... Вспоминаешь?! А ты потолстел, брат, красноармейские харчи сытнее, верно?

Бобрышев говорил о выходе из окружения так, будто это была забавная нестрашная история. У Мити стало легко на сердце, с Бобрышевым он ничего не боялся, и приятно было, что Бобрышев искренне обрадовался ему:

— Значит, снова вместе воюем? Вот и ладненько, я за тебя трёх необстрелянных отдам. Как ты тогда из пулемёта по их психической шпарил, а?

Бобрышев вспоминал только то, что поднимало дух и уверенность бойца, и в этом была прямолинейная мудрость.

Немецкие снаряды снова ложились вокруг батареи, когда Митя увидел легковую машину, остановившуюся у парников. Невысокий плотный военный в макинтоше с большими звёздами на красных отворотах уверенно направился к орудию по тропинке между парниковых рам. За ним следовал адъютант, тревожно оглядываясь на рвущиеся снаряды.

Митя понял, что это очень высокое начальство, и вытянулся у своего пулемёта, теряясь при мысли, что начальство может обратиться к нему и надо будет ответить по уставу, а как отвечать, он не помнил...

Бобрышев, сидевший на земле у орудия, вскинулся одним движением и вытянулся в позе безукоризненно подтянутой, почтительной и одновременно свободной, потому что военная молодцеватость была для него естественной и приятной. Он начал рапортовать уверенно и радостно:

— Товарищ командующий фронтом..

Так вот это кто! Митя взгляделся в простое округлое лицо с добрыми и внимательно прищуренными голубыми глазами, окружёнными мелкой сеткой морщинок. Когда Бобрышев обеспокоенно предупредил, что немцы ведут по батарее огонь, эти глаза сверкнули молодой усмешкой.

— В трёх войнах был, товарищ сержант, и всегда замечал, что противник стреляет, на то он и противник, — сказал командующий фронтом. — Ну, где у вас немцы?

Бобрышев толково объяснил, показывая рукой, где расположен наш передний край, где обнаружены немецкие батареи. Командующий подошёл к орудию, открыл замок, проверил прицел и угломер. От его быстрого оценивающего взгляда не ускользнула бы ни одна неисправность, ни одна соринка. Но орудие было в образцовом порядке. И командующий сказал:

— Правильно. Берегите своё орудие, товарищи... Берегите! Народ вам доверил...

Слова его прозвучали просто и искренне, а в лице, как тень, прошла такая грусть, что Митя с мучительным стыдом вспомнил пулемёт, брошенный им при отступлении.

— Будем беречь, товарищ командующий, — взволнованно сказал Бобрышев, — жизнью своей... сбережём!

Снаряд разорвался неподалеку от орудия. Командующий приказал людям укрыться, а сам неторопливо пошёл к другим орудиям, как будто его не могли тронуть ни снаряды, ни осколки.

Митя провожал его влюблённым взглядом.

Командующий пробыл на батарее полчаса, и все облегчённо вздохнули, когда он уехал — не так, как иногда облегчённо вздыхают при отъезде начальства, радуясь, что всё сошло благополучно и никто не получил «фитиля», а от полноты любви и уважения, потому что командующий совсем не берётся, и в тревоге за его жизнь люди на батарее забывали о самих себе.

Около десяти часов утра немцы открыли ураганный огонь по всему фронту. В расположении батареи снаряды рвались так густо, что Митю,

лежавшего в окопчике у пулемёта, то и дело осыпало землёй и осколками стекла от взлетающих в воздух парников. Острыми осколками стекла будто обрызгало лицо не во-время оглянувшемуся Левону. Он застонал и, стиснув зубы, стал ногтями выдирать осколки из кожи. Кровь сочилась у него из-под пальцев. Митя послал его на командный пункт к санитару, и Кочарян пошёл, но очень скоро вернулся, обмотанный бинтами, так что видны были только глаза, ещё более мрачные под белизной бинтов.

— Командного пункта нет, — тихо сказал он Мите, — командир убит, рук-ног не осталось, помощник при смерти, политрук командует, тоже ранен. Одно орудия нет, разнесло. Большой урон!

По вспышкам огня и звукам боя Митя понял, что немцы ведут наступление в двух направлениях — справа от совхоза к разъезду, чтобы перерезать железную дорогу, и далеко влево, к высоте, которая господствовала над местностью и в этом секторе фронта была последней высотой на пути к Ленинграду. Он понял, что немцам удалось прорваться, а затем увидел танки и грузовики с войсками, мчавшиеся по шоссе, и это были немецкие танки и немецкие войска.

Израженная батарея продолжала вести огонь. Окровавленный политрук руководил огнём, переноса его по указанию КП батальона, а потом связь прервалась, и тогда политрук стал вести огонь так, как ему казалось правильное.

Орудие Бобрышева било прямой наводкой по шоссе. Митя напряжённо всматривался в пространство, простреливаемое его пулемётом, готовый в любую секунду открыть огонь. Но в сторону совхоза немцы не пошли. И это было мучительно — лежать под огнём, ничего не делая, находиться в пекле и не участвовать в сражении. Что там произошло, в родном втором батальоне? Живы ли товарищи, командир роты, пославший их сегодня утром на батарею, пулемётчики второго взвода, занимавшие оборону вон там, у шоссе и моста через речку?..

Во рту пересохло, губы запеклись. Когда Митя облизывал их, на языке оставался вкус земли. И после каждого близкого разрыва он глядел сквозь оседающую пыль — на месте ли Бобрышев. Бобрышев был на месте, и его орудие стреляло. Мите почудилось, что оно изменило голос и хрипело, как человек. Осколком убило заряжающего, движениями которого Митя любовался час назад, и одновременно ранило подносчика снарядов. Но орудие продолжало стрелять. Как живое существо, признательное за постоянный любовный уход, орудие напрягало все силы и не подводило людей, вдохнувших в него жизнь.

А потом стало тихо. Бой ушёл назад, вправо и влево от совхоза,

обогнув и словно забыв одинокую батарею. Тогда Бобрышев прошёл к другим орудиям и болезненно поморщился, встретив на пути кусок орудийного ствола с рваным краем. Потом он увидел воронку на месте блиндажа командного пункта, раненых, лежащих на носилках и на соломе, убитых, сложенных рядышком у парников.

Раненный в голову, в ногу и в живот, политрук подозвал Бобрышева. Он умирал, это было ясно и ему, и Бобрышеву. Смертный холод уже леденил его лоб и беспокойные пальцы. Политрук протянул к Бобрышеву эти беспокойные пальцы и сжал ими руку Бобрышева.

— Умираю, — проговорил он.

Бобрышев хотел утешить его, но не мог лгать, слишком просто и честно говорил политрук.

— Мы окружены, Бобрышев. Связи нет. Людей меньше половины. Орудий только два. Что делать — решай. Я уже не могу. Ты — старший и Комов. Тебе надо братья. Ты коммунист. Решай сам. Если жив будешь, скажешь...

Он не закончил.

— Хорошо, — сказал Бобрышев. — Жив буду — скажу, как ты боролся... и как умер, друг... Всем скажу...

— Скажи... — прошептал политрук.

— Сталину донесение пойдёт, — сказал Бобрышев, целуя умирающего. — Ну, прощай, друг!..

Митя, потрясённый гибелью стольких людей, приободрился, узнав, что командует Бобрышев. Что он будет делать, когда батарея отрезана от своих, а немцы прорвались вперёд, Митя не знал, но говорил товарищам, что очень рад оказаться в такую минуту с Бобрышевым: с ним не пропадёшь!

А Бобрышев осмотрел своё полуразрушенное хозяйство, по-новому расставил оставшихся людей, разослал разведчиков и сел над картой с сержантом Комовым. Уже перед вечером, после возвращения разведчиков, он позвал Митю.

— Ты знаешь эти места?

— Знаю.

— Жизни не пожалеешь? Не дрогнешь?

Стараясь говорить совсем спокойно, Митя ответил, что не дрогнет. Он мельком вспомнил лицо командующего, когда тот попросил беречь орудие, и его неторопливую поступь среди разрывов и свиста снарядов, и обещание Бобрышева: «Жизнью своей... сбережём!..»

— Смотри, — сказал Бобрышев, разворачивая карту. — Вот мы. Вот

наш бывший передний край — теперь его нету. Вот железная дорога и разъезд, где сейчас до десятка автоматчиков и больше никого. Немцы прошли вперёд, ударяя во фланг высоте и батальону капитана Каменского. Слева к высоте — немцы, и сзади нас за болотом тоже немцы, они, видимо, концентрируются для удара по Каменскому и для захвата высоты. Понимаешь обстановку?

Всё было просто, но Митя впервые за войну следил за обстановкой по карте и впервые ему должны были дать задание, ради выполнения которого он обещал не пожалеть жизни. Он волновался и не знал, что именно в обстановке важно понять.

— Теперь смотри. Если мы потащим орудия назад или вправо или влево. — мы угодим прямо к немцам. Поэтому с наступлением темноты я вывожу орудия вперёд, через бывший наш передний край к речке, там никому в голову не придёт нас искать, а затем по речке до железной дороги и прямо по шпалам мимо разъезда и в этот лес. А там уж и до капитана Каменского рукой подать. Иного пути нет, кроме как по шпалам: с боков болото, завязнем. Понимаешь план?

— Понимаю, — с уважением сказал Митя. План показался ему дерзким и невыполнимым, но он не решился сказать об этом.

Бобрышев усмехнулся:

— Думаешь, нельзя выполнить? А у меня весь расчёт на то, что никому в голову такое не придёт. Притом делать нам больше нечего. Ну, сегодня им не до нас было, так завтра хлопнут. Сил у нас принять бой маловато. Да и орудия сейчас слишком нужны...

Бобрышев на минуту задумался, может, тоже вспомнил своё обещание командующему или просто представил себе реальное осуществление своего дерзкого плана.

— Так вот, Митюша, — тряхнув головой, сказал он. — Пойдём мы мимо разъезда, а там немцы с автоматами. И нам со всей нашей техникой принимать бой несподручно. Разъезд нужно очистить до нашего подхода. Ты, — он зорко поглядел на Митю, — ты берёшь людей, пробираешься болотом и ударяешь по разъезду отсюда, с болота, где никто тебя не ждёт. Автоматчиков перебьёшь, разъезд займёшь и будешь нас ждать. С тобой пойдёт Пахомов, разведчик, он уже был там и знает, где перерезать ихнюю связь. Сам и перережет, он на это мастер. Все понятно?

Митя коротко сказал:

— Да.

— Думаешь, никогда разъездов не брал? — спросил Бобрышев и обнял Митю. — Надеюсь на тебя, как на старого друга. Ты тогда неплохо

держался. И поручить больше некому. А что не брал — так и я, друг, такого никогда не делал и не думал, что придётся...

Повеселев, неожиданно полностью поверив в себя и ощутив охоту испытать свои силы, Митя коротко спросил:

— Когда выступать?

После ночной беседы с танкистом Смолиным капитану Каменскому с новой остротой захотелось действовать. Выжидать казалось ему преступным. До Ленинграда оставались километры. Измотанные, подавленные, отступали по этим последним километрам остатки разбитых частей и одиночные бойцы, отбившиеся от своих. Навстречу им шли другие части, чуть оправившиеся от недавних боёв, наспех сколоченные и пёстро вооружённые — шли занимать последний рубеж. На этот последний рубеж на всём его протяжении наседали немцы, постепенно сжимая кольцо вокруг города. Немцы тоже были измотаны трехмесячными боями на путях к Ленинграду, но они не верили в серьёзность сопротивления. Ещё день, может быть, два или три дня — и они вступят в Ленинград церемониальным маршем, и получат всё, что так щедро обещано командованием: железные кресты, банкеты в отеле «Астория», богатую поживу и длительные отпуска..

Батальон Каменского должен был задержать их в районе высоты. Справа и слева от Каменского держали оборону два других батальона того же полка. Каменский не ждал прямого удара по своему батальону. Было вероятнее, что немцы попытаются прорваться с флангов в расположение третьего и особенно второго батальонов с тем, чтобы затем обрушиться на него и коротким ударом овладеть высотой. Вот уже двое суток передовые немецкие части топтались перед позициями полка, не предпринимая ничего, кроме разведки и огневых налётов. По всем данным, срок передышки подходил к концу...

Предстоящее немецкое наступление страшило Каменского. Боеспособность второго батальона вызывала у него большие сомнения: второй батальон ещё не переварил своего пополнения, не спаял людей в боевой обстановке, а командир его, по мнению Каменского, не обладал ни достаточной инициативой, ни достаточным пониманием современной войны. Да и вся оборона полка казалась Каменскому непрочной, вытянутой в длину и не обеспеченной в глубину.

Мысленно ставя себя на место командира полка, Каменский производил коренную реорганизацию всей системы обороны на этом участке и предпринимал решительные, неожиданные для врага боевые действия... Но в качестве командира одного из трёх батальонов, защищавших этот ответственный сектор фронта, Каменский мог только

ругаться со штабом полка, давать дружеские советы соседним командирам и принимать зависящие от него меры для укрепления своего участка обороны. Он усилил свой правый фланг на стыке со вторым батальоном, расположив там роту во главе со своим лучшим ротным командиром Самохиным и придав ему взвод пулемётчиков. Обдумал и улучшил расстановку своих огневых средств. Придирчиво улучшал связь... Но, делая всю эту работу, он томился ощущением неполноценности её.

«Мы сидим и ждём нападения немцев, — думал он. — Мы теряем шанс, — может быть, последний шанс! Ведь за нами уже городские окраины, баррикадные бои на улицах... У нас мало сил? Но и немец не тот, каким он рванул через наши границы в июне. Он наносит удары мельче и трусливее. Каждую новую рану он залечивает всё медленнее. Он далёк от своих баз. У него в тылу партизаны. Он, конечно, ещё силён, но и мы, чорт возьми, не так уж слабы! И, наконец, мы прощупываем его и знаем, что на этом участке он накапливает силы. Так почему не ударить первыми, пока он не собрал кулак для удара? Как можно допустить, чтобы враг начал бой по своему плану и в то время, когда ему выгодно?»

Сейчас нельзя было думать о большом контрнаступлении, о крупных операциях. Но даже малыми силами, при чёткости организации и при поддержке тяжёлой артиллерии, можно было если не отбросить немцев от предместий Ленинграда, то хотя бы нарушить их планы движения к Ленинграду, растрепать их силы так же, как это было сделано на Лужском плацдарме, заставить их остановиться и ждать подкреплений... А теперь, как никогда, Ленинграду надо выиграть время!

Каменский на свой риск провёл несколько боевых разведок, и разведки подтвердили точность и выполнимость его замысла, если... если командование полка согласится с ним. Однако командир полка, человек безупречной храбрости, но неумелый и безинициативный, слепо слушался своего начальника штаба. А начальник штаба не доверял командирам, боялся их инициативы, был безгранично самоуверен и проявлял педантичную медлительность во всех вопросах.

— Допустим, что мы принимаем ваш план (это ещё нужно санкционировать свыше!), — скучным голосом отвечал он Каменскому, — допустим, мы идём на такой риск и теряем один батальон — скажем, ваш, — целиком или почти целиком. Допустим, мы наносим немцам такое же поражение, то-есть и они теряют на этом один батальон, хотя наступающий всегда теряет больше обороняющегося. Но, допустим! А что будет с соотношением сил? Из десяти батальонов немцы потеряют один (я к примеру говорю), а мы из трёх один. Кто в накладе?



— Во-первых, при неожиданном нападении мы можем нанести немцам гораздо больший урон. А затем — причём здесь арифметика? Разве этим определяется успех?

Начальник штаба раздражённо морщился:

— Послушайте, капитан, мы же с вами не в индейцев играем. Ещё нужно, чтобы вы добились успеха!

Это труднее в бою, чем в праздных измышлениях. А если вы загубите батальон? Кем я заменю его?

Каменский зло рассмеялся.

— Вы? А кем вы замените мой батальон и другие батальоны, когда их уложат по очереди вокруг высоты?

Но поколебать начальника штаба Каменскому не удавалось, и он с ненавистью смотрел на сухое, властное и неумное лицо, раздражаясь от звуков холодного иронического голоса.

— Сейчас не время для авантюр... Я ещё поверю, что мы можем отбить немцев, но повести наступление... какими силами?! Вот этими деморализованными, пережившими всё отступление людьми?.. Новичками, вчера получившими винтовки?

— Да! — воскликнул Каменский, — да! Потому что это ленинградцы! Новички, говорите вы... а вы учитываете, что эти люди пошли добровольцами под лозунгом: «Враг у ворот! Все на защиту Ленинграда!»? Вы человек военный и знаете, что отступление деморализует людей... правильно! Но вы не понимаете, что есть такие моральные факторы, как Ленинград, как национальная, советская гордость! Наконец, у половины бойцов в Ленинграде семьи, дома, дети. Да, вчера они были подавлены отступлением, неудачами, потерями... Сегодня вступил в действие более мощный моральный фактор — Ленинград!

— Вам надо выступать на митингах, Леонид Иванович, — вялым голосом отвечал начальник штаба. — Я же привык говорить о военных операциях военным языком. А разговор о моральных факторах...

— У нас Отечественная война!

— Я не думаю, чтобы это слово заменяло самолёты и танки. — Он иронически сморщил губы. — Э, да что с вас взять... До войны вы, кажется, учителем были?..

«Старый трухлявый чиновник! — думал Каменский, вспоминая этот разговор и тревожно прислушиваясь к начавшейся канонаде. — Это же гибель, такие люди в нашей ожесточённой и именно *Отечественной* войне!.. Его снимут, конечно, но снимут тогда, когда он провалится... А его провал — это поражение полка, удар по фронту, по Ленинграду, это потеря

высоты... Нет, высоту я не отдам! Но что толку в этом, если они обойдут её, если они прорвутся прямо на окраины города?.. Я сам, сам виноват, я должен был обратиться выше, в дивизию, в армию... Чорт с ним, что не по инстанции! Дело-то важнее!.. Эге, такой огонь зря не открывают... Опоздали! Инициатива ещё раз у них...»

Немецкое наступление началось.

В первой половине дня Каменскому удавалось без особого труда отражать атаки, предпринятые немцами, видимо, лишь для того, чтобы сковать силы его батальона, — главный удар немцев приходился правее, на позиции соседа. Но к середине дня положение в районе высоты создавалось угрожающее. Прорыв немцев на участке второго батальона создал необходимость бросить на правый фланг все возможные силы и огневые средства даже за счёт ослабления центра и левого фланга. А немцы уже начали нажимать и на центр, и на левый фланг.

В течение этого долгого, тяжёлого дня капитан Каменский испытал всё напряжение командира, чувствующего, что у него не хватает сил для выполнения своей задачи — отстоять высоту, и глубокое удовлетворение командира, убеждающегося на деле, что подготовленные им к бою люди воюют умело и стойко, тем самым умножая силы батальона.

К исходу дня немцы затихли. Батальон Каменского удержался на рубеже. Только справа, на стыке с прежними позициями второго батальона, Самохину пришлось немного оттянуть назад свою подкову, чтобы немцы не ударили с фланга. Но Каменский понимал, что силы слишком неравны, что выдерживать атаку за атакой он сможет ещё сутки, может быть, двое суток, а потом... потом некому будет драться за высоту!

В конце дня командир полка побывал в батальоне и, уезжая, обещал завтра прислать Каменскому роту добровольцев и несколько миномётов. Но Каменский боялся проволочек, да небольшое подкрепление и не решало основного вопроса о судьбе высоты. И когда ночная темнота приглушила бой, капитан уединился в своём блиндаже и задумался всё о том же, всё о том же...

Карта лежала перед ним, испещрённая новыми значками. Справа от высоты, где ещё утром располагались позиции второго батальона, немцы врезались неприятным, нацеленным в обход высоты клином. Каменский смотрел на этот опасный клин, и чем больше он смотрел, тем яснее ему становилось, что сегодня этот клин увеличивает не только силу немцев, но и слабость их. Конечно, завтра немцы могут развить успех и превратить свой клин в разящее оружие против обороняющего высоту батальона. Но сегодня этот клин очень непрочен и очень уязвим с флангов, в частности,

со стороны высоты, если... если полк будет действовать, а не выжидать.

Он взволнованно обдумывал возможный контрудар по немецкому клину, когда ему доложили о том, что сержант и два бойца из второго батальона прорвались на дрезине из окружения и сержант просит доложить о них капитану Каменскому.

— Окружение! Окружение! — буркнул Каменский. Само слово было ненавистно ему, и вся история разгрома второго батальона раздражала и возмущала его. — Давайте их сюда... — добавил он неохотно.

Когда Бобрышев, Митя и Кочарян вошли в блиндаж, они увидели в скудном свете керосиновой лампы умное и усталое лицо с покрасневшими глазами и недоброжелательной усмешкой.

— Ещё из окружения? — спросил капитан, морщась.

— Так точно, товарищ капитан, прорвались через немецкое расположение на трофейной дрезине с десятью трофейными автоматами! — отрапортовал Бобрышев, несколько не смущаясь недоброжелательством капитана. — Заняли с боем разъезд и вывели в безопасное место два орудия. Прошу приказаний, как поступить с орудиями и бойцами. Хотим вступить в бой, товарищ капитан!

Каменский встал, подошёл к Бобрышеву, взял его за плечи и заглянул в его молодые, счастливые, смелые глаза. Потом он тем же изучающим взглядом оглядел Кочаряна и Митю.

— А говорят «деморализованы».. — со злостью сказал он. — Да с такими людьми!..

Оборвав себя на полуслове, Каменский подвёл Бобрышева к карте:

— Показывай, как и откуда шли, где орудия?..

Бобрышев показал путь, пройденный им, и сдержанно рассказал о том, как ему удалось вывести орудия, а Каменский сначала внимательно слушал и отмечал на карте путь Бобрышева, а потом откинулся назад и задумался. В его лице отражалась смена противоречивых мыслей и чувств. Бобрышев замолчал.

— Ясно! — сказал капитан и весело тряхнул головой. — Ну, спасибо, товарищи. Петров, дай-ка мне штаб! — крикнул он телефонисту. — Так вот, товарищ Бобрышев, идите поесть и отдохнуть. Скоро вы мне понадобится.

Выходя, Бобрышев обнял Митю и шепнул:

— Митюша, друг... сделали, а?

Митя детским движением на миг прикоснулся щекой к щеке Бобрышева и высказал то, что переполняло всех троих:

— Главное, не зря делали...

Затем они повалились спать. В те несколько минут, что отделяли Митю от глухого блаженного сна, он ещё раз с удивлением перебрал все события минувшего дня.

Вот он ползёт по болоту с Пахомовым и Кочаряном, цепляясь за кочки и то и дело проваливаясь в хлюпающую чёрную жижу... Вот Кочарян метким выстрелом снимает часового на платформе, а Митя бросает связку гранат в освещённое окно сторожки и, ворвавшись в неё, ещё двумя гранатами приканчивает уцелевших немцев... Вот он ходит по завоёванному разъезду, сам себе не веря, что захватил его так быстро и легко, подсчитывает трофейные автоматы, вместе с Кочаряном проверяет исправность дрезины и страшно волнуется, потому что Бобрышев с орудиями запаздывает... А потом происходит встреча, и все, конечно, довольны, но Бобрышев и его бойцы так измучены и озабочены, что ни одного радостного слова не сказано... Митя помогает задыхающимся от усталости бойцам спускать орудия с насыпи и вместе с Бобрышевым уходит разведать дорогу до леса. Будничность встречи взволновала Митю, отсутствие похвал как бы ставило его в один ряд с Бобрышевым и другими подлинно военными людьми — ведь и Бобрышев ни от кого не ждал похвал и не думал ни о чём, кроме дела, добровольно взятого им на себя... А потом Бобрышев сказал, что надо прорываться к Каменскому, иначе спасение орудий бессмысленно, и, подойдя к немецкой дрезине, подумал вслух: «Пожалуй, на дрезине быстрее всего...» Одна дерзость влекла за собой другую. Митя уже не удивился плану Бобрышева, так как впервые полностью верил в свои силы. И они на полной скорости прорвались через две линии — немецкую и свою, припав к трясущейся платформе дрезины, которая неслась в темноте сквозь перекрещивающиеся трассы пуль...

Митя не мог сообразить, успел ли он поспать или только задремал, когда связной Каменского растолкал его, повторяя:

— Капитан срочно требует. Капитан срочно требует.

Когда все трое вскочили, связной добавил топотом:

— Приведите себя в порядок. Там командующий фронтом...

Появление Бобрышева новым, наглядным образом подтвердило уверенность Каменского в том, что сейчас нужны дерзость и выдумка, дерзость и настойчивость. Он обрадовался Бобрышеву, во-первых, потому, что это был человек, действовавший именно так, как хотелось действовать самому Каменскому. Уже потом он обрадовался реальной поддержке, которую могли оказать батальону два орудия и пулемётный взвод — обстрелянные, энергичные, вдохновлённые удачей люди. Но как использовать эту поддержку?.. Орудия укрыты в лесу в центре

неприятельского клина. Если они начнут бить оттуда, это, конечно, вызовет у немцев переполох... но надолго ли? И боезапас при орудиях на исходе... Тащить орудия из лесу в расположение батальона можно только под самым носом у немцев, да и то обходом, что займет добрые сутки... А что если не делать ни первого, ни второго, а сделать самое лучшее — третье?..

Когда он отпустил Бобрышева отдыхать и сообщил начальнику штаба полка свой план в тех общих чертах, в каких это можно было сделать по телефону, начальник штаба с раздражением ответил:

— Экое ослиное упрямство! Мне дыры затыкать нечем, а вы...

Каменский даже не рассердился. Он опустил голову на руки и сразу полно ощутил собственную усталость — и боль в сердце, и тупое равнодушие к смерти. А ничего другого, кроме смерти, не сулила пассивность в часы, когда спасти положение могла только смелая — до мелочей продуманная, но отчаянно смелая вылазка... Смерть? Ну, что ж, значит, умрём, как умирают солдаты, дорого продавая свою жизнь... Но зачем? Зачем умирать, когда можно действовать, бороться, побеждать?

Он вдруг так ясно представил себе эту запрещённую, желанную операцию — представил себе не в общих чертах, а во всех подробностях, в движении и действии людей, техники... Если бы сейчас появился командир понимающий и решительный, Каменский мог бы доложить свой план убедительно и точно. Он мысленно вычертил на карте этот план и подсчитал все силы, которые нужны для его проведения. Конечно, Самохин получит задание, требующее выдержки и смекалки... и этот Бобрышев тоже... Вот какие воины у нас уже выросли за неполных три месяца войны!..

Каменский любил своих людей. Но он не колеблясь бросил бы их в задуманное им рискованное дело, на то и война, чтобы драться и жертвовать собою, когда нужно. Он знал, что из операции не вернутся очень многие. Но это будут жертвы, оправданные победой. А сейчас ему стало томительно больно думать о командирах, о бойцах своего батальона, обречённых пассивной тактикой штаба полка на бесперспективное, постепенное уничтожение... Нет, так нельзя. Я командир. Я обязан сделать всё, что зависит от меня, для немедленного изменения тактики штаба!

Он набросал сжатое, в энергичных выражениях, письмо и отправил его с ординарцем командиру дивизии полковнику Калганову. Он не знал его, но верил, что Калганов должен понять и заинтересоваться. Ведь речь идёт о самом важном, о самом дорогом — о Ленинграде идёт речь!

Через час позвонил командир полка, и Каменский ответил ему дрогнувшим от волнения голосом, вдруг предположив, что письмо уже

одобрено Калгановым и командир полка получил приказ... Но у командира полка были свои вопросы и заботы. На попытку капитана заговорить о своём плане командир полка ответил с досадой:

— Брось, Леонид Иванович, не до того сейчас...

— Не до того? — вдруг заорал Каменский и стукнул кулаком по столу так, что стол затрещал. — А что люди помереть должны бессмысленно из-за пассивности твоего начальника штаба — этой самодовольной тупицы...

Командир полка ответил примирительно:

— Психуешь, Леонид Иванович, и зря, не время сейчас счёты сводить!..

Но Каменский закричал, не дослушав:

— Время такое, что высоту защищать нужно, Ленинград защищать! И когда я знаю, что я прав, наплевать мне на всех, кто мне палки в колёса ставит!

Он расправил ушибленный при ударе кулак и хотел помахать им в воздухе, чтобы унять боль, но в ту же секунду, весь подтянувшись, распрямил вдоль тела привычно напряжённую руку. Вторая рука, бросив телефонную трубку, вытянулась тоже. И лицо его напряглось и застыло: в дверях блиндажа стоял командующий фронтом.

— Горяч! — одобрительно сказал командующий, мягким движением отвёл официальный рапорт и сел к столу, повернув к себе карту. — Так! — проговорил он, взглядом охватив обстановку. — Сосед подвёл? Неприятный клин получился... А кто это вам палки в колёса ставит?

Решимость, радость и жаркая надежда преобразили лицо Каменского.

— Товарищ командующий, я не боюсь смерти, но умирать бесславно и бессмысленно не хочу! — страстно сказал он. — Я хочу дела и вижу возможность такого дела...

— Что вы предлагаете?

Каменский взял красный карандаш и пунктиром обозначил путь, проделанный два часа назад Бобрышевым.

— Сегодня вечером группа бойцов с двумя орудиями из второго батальона под командованием сержанта Бобрышева прошла вот так, уничтожив на разъезде десяток автоматчиков и временно овладев разъездом для обеспечения прохода орудий. Орудия спрятаны вот здесь, доставить их ко мне, пожалуй, невозможно, да и нецелесообразно, если принять мой план. При условии артиллерийской поддержки и небольшого подкрепления людьми и танками (хотя бы двумя-тремя, — умоляюще добавил он), я посылаю ударную группу с автоматами и пулемётами в тыл противнику вот этим путём...

И он провёл жирную красную черту рядом с пунктиром, но в обратном направлении, завернув её дугой вдоль речки и стрелами определив места ударов.

— Если к моменту проникновения ударной группы в эту точку наша артиллерия откроет огонь вот по этим квадратам, а отсюда... — его карандаш уткнулся в позиции третьего батальона и провёл изогнутую стрелу, — а отсюда рванутся танки с десантом автоматчиков..

Командующий поглядел на часы и в тон Каменскому добавил:

— И это должно произойти сегодня на рассвете.

Искоса оглядев капитана, потрясённого оборотом дела, командующий приказал вызвать к проводу командира дивизии. Лицо его приняло жёсткое и недоброе выражение.

— Командир дивизии, кому вы докладывали план, предлагаемый капитаном Каменским? Вот и плохо, что не успели, что же, мне за вас поспевать нужно? Только что получили? — Лицо его подобрело. — Так вот, товарищ полковник, совершенно с вами согласен: хороший, своевременный план. Командовать прикажите Каменскому. Сообразите, какие силы вы можете ему подбросить... Ничего, захотите — так найдёте. И не к утру, а в два часа они должны быть здесь. Подробный приказ получите.

Он посмотрел на Каменского смеющимися глазами, очень живыми и молодыми.

— Ваш план пришёлся кстати, капитан. На рассвете мы начинаем контрудар вот здесь... — Он ткнул карандашом в соседний участок фронта. — Ваша операция собьёт немцев с толку и поддержит соседей. Инициатива и дерзость — вот что сейчас нужно! Если бы мы...

Он оборвал мысль, с удовольствием спросил:

— А где эти ваши молодцы, которые спасли орудия? Вызовите-ка их сюда.

И начал диктовать адъютанту распоряжения.

Лицо его снова стало озабоченным. Иногда он замолкал и щурил глаза, как бы прикидывая, насколько рискованна переброска с другого участка фронта тех небольших сил, что он хотел выделить Каменскому.

— Три танка, — грустно сказал он. — Но зато к ним — отряд балтийцев. Только что прибыли. Золотой бесстрашный народ... Матросы!

Он помолчал, как бы колеблясь и жалея пустить в бой тех, о ком думал.

— И ещё подкинем вам рабочую коммунистическую роту. Питерских рабочих-большевиков... Поберегите их, — сказал он совсем тихо, и это был не приказ, а просьба сжатого горем сердца.

Сержант Бобрышев с бойцами Кудрявцевым и Кочаряном вошли в блиндаж и вытянулись у порога. Взгляд командующего задержался на Бобрышеве.

— А я вас знаю, сержант.

Безошибочная зрительная память без усилий подсказала ему время и место, и отеческая ласка осветила его лицо.

— Вы быстро сдержали своё обещание, товарищ Бобрышев. Хорошо сдержали...



Второй день по железной дороге шли эшелоны к Ленинграду. Немцы подтягивали резервы для штурма. Перед воинскими составами проходили поезда с порожняком. Охрана была удвоена, и вечером лучи прожекторов то и дело ощупывали все подступы к мостам, задерживаясь на каждой подозрительной кочке.

Ольга, Гудимов и Иван Коротков лежали в болотистой низине, неподалеку от железнодорожного полотна. Нудно ныли над ухом комары, одежда промокла от сырости. Ольга устала отгонять комаров, они жалили шею, руки, прикрывавшие лицо, жалили ноги сквозь чулки.

Подползли Трофимов и комсомолец Женя Орлов, один из верных помощников и давних приятелей Ольги.

— Всё готово, — сказал Трофимов. — Товарищ Гудимов, мы будем подтягиваться к мосту. Пока вашего взрыва не услышим — не сунемся...

— Всё будет чудненько! — добавил Женя, и глаза его весело блеснули. — Им на несколько дней хлопот хватит.

— Ленинграду, может, несколько дней и надо, — сказал Гудимов задумчиво. — Идите, друзья, только осторожно!

Задача Жени Орлова и Трофимова состояла в том, чтобы воспользоваться суматохой, вызванной крушением, по воде подобраться под мост и взорвать его.

— Идите, — повторил Гудимов и пожал обоим руки. — Ну, что ж... — он не закончил, поцеловал Женю, потом Трофимова.

— Надо же мне мой долг отработать, — сказал Трофимов.

Ольга поцеловала обоих. Женя засмеялся:

— Ишь, как тебя комары разукрасили...

Он был растроган и не хотел показать этого.

Ольга смотрела, как Трофимов и Женя ползли по болоту, пока сумерки не поглотили их неясные силуэты.

— Слышу поезд, — шопотом сообщил Коротков.

Все молча разобрали свой груз и приготовились.

«Может быть, это мой последний день», — подумала Ольга, продевая руки в лямки мешка.

Издали по рельсам несло тонкое гудение — как гудение комара. Потом оно стало отчётливее, далёкий гудок прорезал тишину. Уже слышно было пыхтение паровоза.

— Приготовиться! — шепнул Гудимов.

Поезд пронёсся мимо, громяхая порожними вагонами. Гудимов пополз к насыпи. Коротков и Ольга поползли за ним. Теперь Ольге не было ни страшно, ни холодно, только трудно всползать по насыпи. Гудимов был уже наверху, торопливо закладывал мину. Вот к нему присоединился Коротков. «Что же я? — с ужасом подумала Ольга, борясь с оползающим гравием и тяжестью мешка. — Подвожу?..» Но Гудимов уже протягивал руки.

— Давай, — услышала она его шопот, — копуха!

Он сам заложил мину, Ольга присела рядом, тяжело дыша.

— Назад! — отчаянным шопотом крикнул Гудимов и столкнул её с насыпи.

Она покатила вниз и услышала басовитый гул приближающегося состава, даже издали похожий на тяжелое гудение шмеля.

— Бегом!

Они побежали в полумраке, спотыкаясь о корни, проваливаясь в ямы. Ольга упала, Гудимов подхватил её и грубо подтолкнул вперёд, уже не отпуская её плеча. Потом Гудимов швырнул её на землю и крикнул:

— Лежи!

Разбрасывая красные искры из топок двух паровозов, мчался длинный тёмный состав. На платформах смутно виднелись контуры больших предметов под чехлами. Орудия? Танки? — она не успела понять, потому что страшный грохот потряс воздух и толчком отдался по земле. Затем — ещё грохот, скрежет, красное пламя, протяжный крик, взрывы, тяжёлые удары падающих под откос платформ, несколько выстрелов...

— Славно! — сказал Иван Коротков.

— Поползли, — приказал Гудимов.

Позади продолжались взрывы и беспорядочная стрельба наугад. Прожектор у моста шарил по земле, по кустам, по краям откоса.

— А наши... наши... — шепнула Ольга так тихо, что её никто не услышал.

Но Гудимов сам сказал:

— Как-то там наши?..

Они доползли до леса и побежали, оглядываясь на вспышки пламени в стороне железной дороги. До реки было уже недалеко, когда новый грохот раскатился по лесу, гулко повторенный эхом. Ольга первой выбежала к реке и увидела в отсветах пламени медленно, как будто задумчиво падающие в воду чёрные переплёты взорванного моста.

— Пошли, — через некоторое время сказал Гудимов, — тут где-то

недалеко ручей. Возле него встреча.

У ручья они вымылись, напились, поели сухарей.

— Пора бы им, — сказала Ольга, но никто не ответил ей.

Они ждали до рассвета.

— Доблестная, славная смерть, — вдруг сказал Гудимов и снял шапку.

Они постояли немного, глядя на колючие контуры разбитого моста, всё яснее выступавшие в блёклых лучах рассвета.

— Надо итти, товарищи, — напомнил Гудимов.

И они пошли, не глядя друг на друга.

А на узловой станции десятками скапливались немецкие эшелоны, для которых не было пути.

Алексей крепко спал, когда его растолкали и позвали «срочненько» к комбату. Выражение лица у Яковенко было взволнованное и завистливое. Он молча протянул приказ. По приказу командующего фронтом... три КВ с лучшими боевыми экипажами, имеющими опыт наступательных операций... немедленно в распоряжение комбата капитана Каменского...

— Как во сне, — пробормотал Алексей. — Это ж тот самый капитан...

— Видать, стоящий капитан! По приказу командующего фронтом...

— Ей-богу, как во сне, — повторил Алексей и бросился будить экипажи.

Три мощных танка прибыли в распоряжение первого батальона на пять минут раньше назначенного срока. В темноте они обогнали быстро шагающую пехоту. Алексей высунулся из люка и спросил:

— Кто такие?

— Рабочая коммунистическая рота, — с гордостью ответил тихий голос.

Боец с флажком вынырнул из мрака:

— Товарищ командир, заворачивайте за мной под деревья. Капитан приказал замаскировать машины, а вам явиться к нему.

На командном пункте царила особая атмосфера сдержанности, строгости и нервного подъёма. Перебрасывались короткими репликами, курили одну папиросу за другою. Но не было ни бестолочи, ни ругани. Прибывших командиров встретил комиссар:

— Садитесь, товарищи, я вас познакомлю с обстановкой.

Каменский вошёл в середине сообщения комиссара, просиял, увидав знакомое лицо танкиста, и, подойдя к Алексею, сжал его руку, но ничего не сказал, а сразу подхватил заключительные слова комиссара — «такова обстановка».

— А теперь задача?

И стал сжато рассказывать общий план операции.

В это время прибыл командир отряда морской пехоты Стеценко. Он был в армейской форме, но что-то неуловимое — в манере держаться, в походке — выдавало иную, не армейскую выправку.

— Очень хорошо, — сказал, увидав его, Каменский. — Сейчас ваши бойцы получают ужин, и затем пойдёте на исходную позицию, вот сюда, — он показал на карте отмеченную точку левее высоты. — С вами будут три

танка КВ. В четыре сорок пять артиллерия с линкора должна дать по этому квадрату свой балтийский огонёк, и одновременно начнёт работать наша артиллерия. Вы подтягиваетесь вперёд и в пять ноль-ноль сразу за огневым валом идёте в стремительную, — он подчеркнул это слово, — атаку. Танки вырываются вот здесь и расчищают вам путь. Как надо сегодня драться, товарищи, учить вас не буду. Операция должна быть блестящей и быстрой. О начале атаки я оповещу двумя красными ракетами вот отсюда, — его карандаш уверенно ткнулся в тыл немецких войск, — следите за ними. Но даже если ракет не будет, всё равно действуйте. Но тогда помните, что от вас зависит всё целиком. Предупреждаю на случай. Потому что ракеты будут.

Он с удовольствием встретился глазами со Смолиным и Стеценко, потом внимательно поглядел на командира коммунистической роты Васильева. Вид у того был штатский, Васильев, видимо, совсем забыл» что ему не полагается сидеть ссутулившись и подперев щеку рукой. Но внимательный и задумчивый взгляд Каменского заставил его встрепенуться.

— Мы вас не подведём, — сказал Васильев твёрдо.

— Подводить вам нельзя, — сказал Каменский. — Перепечко, приведи сюда бойцов, что прибыли с Бобрышевым! — крикнул он и снова вернулся к мыслям о роли коммунистической роты в эту боевую ночь. — Мы до утра значительно ослабляем наш передний край. Основные силы я посылаю для удара с тыла и для атаки слева, где действуют моряки и танки. Оборону высоты держит коммунистическая рота — вплоть до успеха операции. Если немцы вздумают что-либо предпринять раньше нас, придётся трудненько. Рота ещё в боях не была, зато — ленинградцы, рабочие, коммунисты...

— Удержимся, — сказал Васильев. — А в самой операции разве мы не будем участвовать?

Он спросил это с оттенком обиды, а Каменский вспомнил тихую просьбу командующего, и ответил уклончиво, стараясь не обидеть командира роты:

— Вам, ленинградцам, доверена высота, ключ к Ленинграду. А где горячее будет — сказать пока нельзя. Тут на КП мой комиссар командовать остаётся. По обстановке — решите.

— Ты окончательно решил итти сам? — быстро и зло спросил комиссар.

— Да, — отрезал Каменский и обернулся к входящим бойцам.

Среди чудес этой ночи Алексей не особенно удивился встрече с Митей. А Митя в порыве радости чуть было не бросился обнимать родного

человека, но сдержался.

— Вы будете нашим проводником, товарищ Кудрявцев, — сказал ему Каменский. И улыбнулся: — Вы же здесь на даче жили, верно?

— Так точно, товарищ капитан! — с лихостью, какой никогда не знал за собою раньше, ответил Митя.

— А вы, товарищ Кочарян... — Каменский запнулся, мимолётным движением коснулся плеча бойца: — Я слышал, у вас особые счёты с немцами. Я вам поручаю очень ответственное и тяжёлое задание. Вы пойдёте сейчас по тому самому пути, по которому пришли сюда. Возьмёте с собою зажигательные пули... Пробраться ночью одному человеку до совхоза не составит особого труда. На рассвете ваш друг сержант Бобрышев с небольшими силами отобьёт совхоз обратно. Ваша задача... Стреляете вы хорошо?

— Охотник.

— Так вот, вы подберётесь к совхозу. По данным воздушной разведки, туда, на тракторный двор, немцы перекинули свою передовую базу с горючим. Ясна вам задача?

— Ясна, товарищ капитан. Уничтожить.

— Уничтожить, — повторил Каменский. — Очень большое дело сделаете, товарищ Кочарян. Если вам удастся, скроетесь где-нибудь и дождётесь сержанта Бобрышева. Не удастся — даром жизнь не отдавайте.

— Дорого отдам, — сказал Кочарян, блеснув глазами. — Разрешите исполнять?

Каменский пожал его руку и на миг задержал её — он любил хороших солдат, и ему было тяжело рисковать ими.

Кочарян козырнул, потом поклонился всем по-народному низко и неторопливо вышел.

— Через пять минут тронемся, — сказал Каменский Мите, подавляя вздох. — Может быть, мы и отобьём его...

Митя протиснулся к Алексею и сжал его локоть.

— Алёша, — зашептал он, — я не успел написать. Марине... Марии Николаевне... Сегодня мы с Кочаряном разъезд захватили. А сейчас я пойду проводником туда, в тыл. Если что, Алёша, ты расскажи ей. Я не хвастать, а ей очень важно знать. Она поймёт, почему...

— Знакомцы? — воскликнул Каменский, подходя. — Ну, прощайтесь, если так, нам пора. Большой тебе удачи, танкист!

Он отошёл, притянул к себе комиссара.

— Не сердись, друг... Честное слово, мне надо итти самому. И ты это знаешь не хуже меня.

Около часу ночи, в разгар воздушного налёта на Ленинград, старший лейтенант Гладышев получил приказ приготовиться к стрельбе всеми тремя орудиями. Он привычно ответил:

— Есть, приготовиться к стрельбе.

Башня была в полной готовности, а люди в башне только и ждали приказа открыть огонь.

В последние дни немецкие бомбардировщики много раз налетали на линкор и пикировали на него один за другим, с интервалами в несколько секунд, так что зенитчики не имели времени встречать самолёты на подходе и окружали корабль сплошной завесой огня. От близких разрывов бомб корабль содрогался, а вода вокруг него кипела. В короткие перерывы между налётами краснофлотцы бежали покурить на полубак, но обычного оживления там не было — воспалённые от бессонной и напряжённой работы глаза устремлялись к Ленинграду. С полубака открывался вид на город, и было горько и больно глядеть на потревоженное ленинградское небо, усеянное дымками зенитных разрывов, и на неравные воздушные бои, и на взлетающие над домами чёрные столбы взрывов, и на дымы пожаров. Особенно тяжело было смотреть на Ленинград ночью, когда над ним колебалось оранжево-красное зарево, а временами, как огненный дождь, рассыпались огоньки зажигалок. Ночью зенитчикам линкора не разрешалось вести огонь по самолётам, чтоб не выдавать позицию корабля, и вынужденное бездействие томило людей, усиливало их ярость и боль, и жажду боя. Когда главный калибр готовился к стрельбе и по всему кораблю снимали плафоны и вывинчивали лампочки, возбуждение охватывало всех, и тяжёлые залпы сопровождались гневными напутствиями: «Так их... ещё!.. по-балтийски!..»

Лёня Гладышев любил свою точную артиллерийскую специальность и ещё на учебных стрельбах до войны испытывал острое наслаждение от удачного залпа, от безукоризненного расчёта. Но никогда он так не ценил и не любил своё дело, как в последние дни, когда, выполняя задания фронта, бил по наступающим немцам. Совсем недавно он просился у начальства на сухопутный фронт и завидовал своему приятелю Стеценко, посланному командиром отряда морской пехоты — воюет парень, по-настоящему воюет, бьёт врага!. Теперь он сам бил врага всей мощью своих тяжёлых орудий, бил его на самых решающих направлениях, огневой стеной

преграждал путь к Ленинграду. Иногда он вёл огонь по невидимой цели, и только короткое красноармейское «спасибо» да лаконичные сообщения корректировщиков подтверждали меткость его огня. Но случалось стрелять и на близкую дистанцию прямой наводкой, и в стёкла стереотрубы он мог наблюдать движение немецких колонн и чёрные смерчи разрывов своих снарядов, смерчи, подбрасывавшие в воздух, как невесомые игрушки, тяжёлые немецкие танки и стволы разбитых пушек... И к радости успеха примешивалась тоскливая тревога: потому что всё это происходило вот тут, рядом с Ленинградом, почти в черте города, и с борта корабля было страшно и невероятно смотреть на знакомый берег, затянутый дымом сражения..

Сегодня на рассвете предстояла стрельба по невидимой цели — по узкому немецкому клину, врезавшемуся в расположение советских войск на подступах к Ленинграду. Лёня радовался, что линкор стоит носом к цели и поэтому именно его башне выпала задача помочь контрудару защитников Ленинграда балтийским «огоньком». И так как всё было готово, он решил побеседовать со своими людьми о предстоящей задаче.

— В Ленинграде два пожара, — сказал командир левой пушки Ларионов и стиснул челюсти, как от сильной боли.

— Зенитчики говорят, правее порта большой взрыв был, тонну сбросили, — добавил горизонтальный наводчик Смирнов.

«Кого тут агитировать? — подумал Гладышев. — Злость у всех, душа просит мести, только и успокаивается немного, когда ведут огонь...» Он с тревогою вспомнил Лизу.

Как-то она там, бедняжка? Одна, в маленькой клетушке заводского коммутатора? Или сегодня не ее дежурство, и она где-нибудь в полутёмном подвале прислушивается к шумам боя, бледненькая, сжавшаяся в комочек? Её завод как раз правее порта... неужели именно там упала тонна?.. Соня шутила: «Немцы всегда мажут, самое безопасное во время налёта — находиться на военном объекте!» А Лиза тихо сказала: «Главное, это быть не одной, на людях...» Ей-то, бедняжке, чаще всего приходится быть одной...

Он вышел на палубу и увидел над городом бледное зарево, придавленное тусклым светом занимающейся зари. И ещё он увидел, что по небу плывут низкие, рваные облака и по воде предутренний ветерок гонит лёгкую рябь.

Он поднял голову к планшетному мостику, чтобы перекинуться приветствием со своим другом Лёней Шевяковым, если тот не спит. Но в это время колокола громкого боя возвестили о новом налёте на линкор, и



Гладышев кинулся на свой пост, ловко лавируя среди разбегающихся по местам краснофлотцев. Задраивая дверь башни, он услышал голос Лёни Шевякова, усиленный мегафоном:

— Правый борт тридцать, пикировщик пятьдесят, четвёртая завеса, залп!

И тотчас над головою дали залп зенитки.

До назначенного срока стрельбы оставалось пятьдесят пять минут. Что бы там ни было, через пятьдесят пять минут башня откроет огонь. Только бы зенитчики отбились... Только бы ничто не помешало... И, стараясь представить себе, что сейчас творится наверху, он с особой надеждой пожелал успеха своему названному брату и его товарищам.

Лёню Шевякова тревога застала на мостике, потому что уже несколько дней он не спускался ни в свою каюту, ни в кают-компанию и успел забыть, как спят в койке и обедают за столом. Даже во сне, в перерыве между налётами, ему мерещились «юнкерсы», с воем несущиеся на него сквозь огонь — чаще всего ненавистные Ю-87, «горбыли», исключительно противные по внешнему виду самолёты, горбатые, с хищно выгнутыми крыльями и с гнусными повадками — они на большой высоте выходили прямо на цель, так что зениткам приходилось работать на предельном угле возвышения, и камнем шли вниз. Лёня просыпался от того, что во сне огневая завеса казалась призрачной, бесполезной, злился, что проснулся до времени, и снова, засыпая, прикидывал, как чередовать огневые завесы, когда пикирует много самолётов, как бить вернее. При встречах он посмеивался над Лёней Гладышевым: «Тебе что! Тебе думать не надо. Дали координаты — и пали!»

Зенитное военное искусство было молодо, оно не поспевало за ростом скоростей в авиации и, главное, требовало молниеносной быстроты в принятии решений, мгновенных расчётов, превосходной отработанности каждого движения у каждого бойца и совершенного взаимопонимания, потому что ни раздумывать, ни объяснять, ни повторять приказание было некогда. Несколько минут, а иногда и несколько секунд длилось отражение пикировщиков, и в эти несколько насыщенных минут или секунд полностью проявлялись все качества и недостатки людей и техники, все способности и слабости командиров, все результаты длительной учебной подготовки к этим мгновениям боевого действия. Лёня Шевяков считался на линкоре хорошим командиром батареи, его батарея неплохо отражала налёты и сбивала три «юнкерса». Но сам Шевяков был недоволен и батареей, и самим собою, ему казалось, что стрелять можно гораздо эффективнее, если додуматься до каких-то новых решений. Он ждал налётов, как

проверки своих мыслей, не помня ни об опасности, ни об усталости, одержимый одной командирской страстью — научиться бить точно, усовершенствовать своё искусство. Во время ночных налётов на город он стоял на мостике без видимого дела, стиснув пальцами поручни, и следил, следил, не отрываясь следил за стрельбой зенитчиков в городе и на подступах к нему, ловил их мельчайшие промахи, старался понять все уловки вражеских самолётов и сопоставлял их с теми приёмами, какие ему самому удалось подметить в бою. И думал, думал, неотступно думал всё о том же: чего я ещё не понимаю, что я делаю не так? После первых же боёв и Шевякову, и другим зенитчикам стало ясно, что при звёздных налётах на корабль командиру батареи не управиться с централизованным управлением огнём, так как каждая пушка и пулемёт имеют свою задачу в своём секторе. Командир дивизиона приказал переходить в таких случаях к самостоятельному отражению поорудийно. Шевяков на ходу научил командиров орудий действовать, с полной самостоятельностью. И вот они действовали сами, действовали хорошо, отразили все атаки на корабль, но Шевякову этого было мало, ему хотелось сбивать, уничтожать, загонять в воду проклятые «юнкерсы»; а это удавалось редко, потому что рассеянный во все стороны огонь создавал заградительную завесу, но не мог преследовать и добивать врага — не хватало ни времени, ни огня... Что же тут недодумано? Что можно и нужно делать?

И вдруг он встрепенулся и поднял глаза к небу, где столько раз видел врагов. Проведенные им и, казалось, проанализированные со всею тщательностью, бои представились ему по-новому. Он снова увидел в пустом, медленно светлеющем небе те группы самолётов, с которыми он сражался вчера и позавчера, и три дня назад, восстановил в памяти их маневры, их боевые порядки и темпы их атак — и как-то вдруг понял ускользавшую раньше суть их тактики.

Словно для того, чтобы дать ему возможность проверить свою догадку и испытать вытекающие из неё боевые решения, немецкие бомбардировщики снова появились в воздухе. Они шли двумя большими группами: одни заходили с носа, другие — с кормы. Их контуры были ещё смутны, но на серой зарябившейся воде неподвижная громада линкора должна была вырисовываться достаточно чётко. На группу, заходившую с кормы, Шевяков не глядел — её было кому принять. Ему предстояло отразить нападение в районе носовой части корабля, и он дал орудиям первые данные для стрельбы, продолжая наблюдать движение самолётов и пытаясь угадать замысел атаки. Самолётов было около сорока, и они шли все вместе, но потом стали разделяться на две неравные группы, и меньшая

группа стремительно понеслась на линкор справа по носу, а большая группа взяла влево.

Так и есть!

Он скомандовал переход на самостоятельное отражение, и командиры орудий открыли огонь по своим секторам. Первые пикировщики уже провыли мимо корабля, поспешно сбросив бомбы в воду, — и тут Шевяков решился на дерзкое новшество. Он закричал в мегафон, перегнувшись через борт мостика:

— Средняя и левая, сектор два!

Пушки мгновенно, но как-то удивлённо развернулись направо, огонь всей батареи встретил пикирующие по правому борту «юнкерсы», и Шевяков увидел, как один из самолётов будто столкнулся со снарядом... Противный «горбыль» так и не вышел из пике, а пронёсся со свистом над кораблём и врезался в воду. Этого Шевяков уже не видел. Он следил за группой самолётов, заходивших справа, — они прятались за облаками, стараясь подойти скрытно, и Шевяков обрадовался, что его догадка верна: правая, меньшая группа имела задачу отвлечь внимание и принять на себя часть огня, а основная задача — нанести мощный бомбовый удар — возложена на левую, большую группу. И поэтому нужно было как можно скорее отогнать, деморализовать группу отвлечения.

Пушки дружно встречали пикировщиков, пулемёты подхватывали очередную мишень и провожали её, когда самолёт выходил из пике. Шевяков с торжеством отметил, что некоторые самолёты не сбрасывают бомб, а делают ложное пикирование «для испуга», и группа рассеивается, торопясь уйти от сильного огня... А левая группа уже подходила, и Шевяков довольным голосом приказал средней и левой пушкам повернуть к своим секторам, а затем, когда первый самолёт пошёл в пике, азартно закричал:

— Правая, перейти на левый борт!

И сосредоточенный огонь заслонила корабль от основной группы атакующих.

«Что, не вышло? — прохрипел Шевяков, — разгадали вас?» Эта радость мелькнула и забылась, потому что только часть бомбардировщиков отворачивала, не выдержав огня. Остальные пытались дотянуть до корабля, бомбы падали так близко, что даже на мостике обдавало водяными брызгами, а по палубе плясали осколки.

Осколком ранило командира орудия старшину Дубровского, он упал, и к нему кинулись было на помощь, но он закричал так злобно, что его бойцы отскочили и продолжали делать своё дело, а Дубровский лежал в

лужице крови и командовал. . Лотом одновременно ранило на правом орудии наводчика и двух трубочных. Старшина Евграфов мигом переставил людей, взял со среднего орудия одного трубочного, так что орудие почти без запинки продолжало стрелять, и Шевяков самому себе крикнул: «Какие люди!», и по темпу атаки отметил, что нападение второй, основной группы начинает выдыхаться... Но за его спиною, на корме, шла ожесточённая борьба с другой группой самолётов. Он оглянулся, чтобы понять, как там идут дела, и увидел пренеприятное окно в облаках прямо над кормою — и в это окно как раз вывалился горбоносый «юнкере», окружённый вспышками разрывов, чёрная точка оторвалась от «юнкерса» и пошла вниз со страшной скоростью, с воем разрезая воздух... Потом выяснилось, что «юнкере» так и не вышел из пике, а пылающим костром рухнул в воду. Но Шевяков ничего этого не видел, и даже стрельба куда-то отделилась, и стало как будто тихо, только с воем летела прямо на него бомба...

Его обожгло горячим ветром, швырнуло назад и стукнуло головой о дальномер.

Очнувшись, он увидел корабль, окутанный дымом и вспышками, и самолёты, и свою батарею, и чутьём уловил, что его пушки не дали очередного залпа... Преодолевая боль в голове, он перегнулся через поручень и заорал сиплым, не своим голосом:

— Продолжать огонь!

И отшатнулся, потому что орудия дали залп на предельном угле возвышения.

— Возле башни пожар, — сказал рядом дальномерщик. — Никак в башню попало...

Шевяков снова перегнулся, всем сердцем ощутив: «Лёня Гладышев!» — и разглядел сквозь густой чёрный дым, вспоротый острыми ножиками пламени, развороченную броню, вдавленную внутрь башни толстыми рваными краями.

— Бомбардировщики по носу двадцать! — крикнул сзади наблюдатель, и Шевяков сразу забыл и о несчастье с башней друга, и о боли в голове. Новая волна «юнкерсов» шла на корабль. .

В носовой башне все орудия и всё хозяйство башни были только что заново осмотрены, проверены в действии, подготовлены к стрельбе, и Гладышев сидел на своей «голубятне», посматривая на часы и прислушиваясь к звукам боя, когда раздался оглушительный грохот. Гладышеву показалось, что он убит или ранен, потому что его окружил беспросветный мрак, полный звонкого гула. Потом сквозь этот гул

пробились стоны и другие звуки, и он понял, что не с ним, а с башней произошло несчастье. Он заставил себя поднять своё онемевшее, будто чужое тело.

— Товарищ командир, — донёсся до него тревожный, но сдержанный голос главного старшины. — В левой пушке что-то случилось. Ларионов стонет.

И одновременно снизу, из погребов, доложили, что всё в порядке, а затем очень спокойный голос Захарова, старшины, выдавшего виды, сообщил, что в верхне-зарядный погреб поступает вода.

Гладышев сразу пришёл в себя.

Чёрный едкий дым мешал пробиться свету, поднимавшемуся из нижних отделений башни. Дым ел глаза, душил, сдавливая горло. Но страшнее всего было то, что он мог быть дымом пожара.

— Пожара нету?

— Нет, товарищ командир.

— Шувалов! — крикнул он командиру отделения электриков. — Вооружить свет!

— Есть, — возник голос Шувалова где-то рядом, и сам Шувалов появился в боевом отделении с аккумуляторным фонарём.

Они бросились вместе с главным старшиной к левой пушке, но тут дым был так густ и удушлив, что Гладышев приказал надеть противогазы и сам натянул на голову липкий резиновый мешок. Сквозь стёкла противогаза, в жидком свете, затуманенном дымом, он увидел большую пробоину в жёстком барабане, пробоину, вдавившую внутрь башни грузные глыбы разорванного металла. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять: эти глыбы разорванной брони вклинились в стол башни и помешают ей разворачиваться. Но об этом пока и думать было некогда — в густом дыму мелькали струйки огня, огонь мог просочиться вниз, в пороховые погреба. Где-то поблизости тихо стонал раненый, но сейчас и об этом нельзя было думать. Гладышев вылез в пробоину, притаптывая струйки огня, и увидел в дыру батарейную палубу, где уже суетились бойцы. Он приказал им подать шланги. Не успел он выкрикнуть приказание, как навстречу ударила струя воды, поднялась и дождём полилась обратно, прибивая огонь. Горела парусина, укрывавшая орудия, пламя уже перекинулось на краску, с шипением пробиралось внутрь башни через амбразуру левой пушки.

Из темноты и дыма по-прежнему спокойно доложил Захаров:

— Товарищ командир, была лопнувши пожарная магистраль. Перекрыли. Вода поступать перестала.

— Хорошо. Вооружить шланг, тянуть наверх.

Струя била снизу и опала на горящую краску весёлым крупным дождём. Люди помогали воде, сбивая огонь ногами, бушлатами, а тут Захаров протянул второй шланг из верхне-зарядного погреба, и Гладышев, подхватив шланг, направил сильную струю к амбразуре левой пушки.

Ещё шипела вода на разогревшемся металле, дымилась обгоревшая краска, но опасность пожара миновала. И теперь мысль Гладышева заработала в новом направлении — что и как сделать, чтобы в назначенное время башня могла вести огонь. В 4.45 армия ждёт балтийского «огонька». Ждёт Ленинград... Надо сделать всё возможное и невозможное...

Он ещё не знал, каковы повреждения левой пушки (остальные, очевидно, целы), но ему было ясно, что вся башня не может разворачиваться, а следовательно, и вести огонь по цели, пока не убраны вклинившиеся части брони. А как их уберёшь за сорок минут? Дорезать автогенном? Тянуть тросами?..

Наверху ещё продолжалась битва с пикировщиками, но и стрельба, и завывание пикирующих самолётов проходили мимо сознания Гладышева. Открыть огонь в 4.45 — больше он ни о чём не думал и не мог думать. Он любил свою башню, но сейчас он осматривал её сухим изучающим взглядом, как врач осматривает и выслушивает больного — поднимется ли, будет ли жить?

Шувалов подтянул снизу переносную лампу, и в медленно рассеивающемся дыму выступило огромное неповреждённое туловище левой пушки, разорванная и свёрнутая жгутом палуба возле поста наведения башни и груды бесформенного металла на месте самого поста. Наводчик Смирнов сидел в седле, неподвижно склонившись к уже не существующему штурвалу.

— Убитый Смирнов, — тихо сказал главный старшина.

Ларионов лежал у замка орудия, ухватившись рукой за поручень ограждения. Он уже не стонал, он тоже смотрел на пушку и на пост наведения, и на неподвижную фигуру Смирнова. Лицо его было серо, и глаза туманились.

— Не трогай ноги! — невнятно сказал он санитарам. — Не тронь!

Он зарычал от боли, когда его переключивали на носилки, но тут же поманил к себе командира и пробормотал:

— Правым... можно... правым..

Гладышев не понял, о чём это он, и только много позднее сообразил, что Ларионов тоже думал о предстоящей стрельбе и радовался тому, что вместо разбитого левого поста можно наводить башню правым запасным.

Оставалось 38 минут. Нужно было делать всё сразу, одновременно,

молниеносно, и Гладышев отдал приказания, расставив всех своих людей. Одни проверяли механизмы и кропотливо выбирали руками осколки, обрызгавшие их, другие подносили баллоны с ацетиленом и кислородом, третьи заводили тросы, четвёртые убирали башню. Командир дивизиона подкинул бойцов из другой башни, и Гладышев поставил всех, кого можно было, к пробойне — вытаскивать части брони. Это была тяжёлая, грязная, мучительная работа. Автоген дорезал броню по местам разрыва, но неровные, многопудовые куски металла было трудно основать тросами так, чтобы тросы не соскакивали; иные куски так крепко вклинились в стол башни, что их не вытащить было. Гладышев сам возился с тросами, кричал: «раз, два, взяли!», тянул, напряжившись, неподдающиеся части брони, бегал к шпилям проверять, всё ли там в порядке; ему казалось, что шпили плохо тянут. Пробегая по верхней палубе, он заметил, что воздушный налёт кончился, но гораздо большее впечатление на него произвело то, что уже рассвело. Он позволил себе на миг задержаться, чтобы вынуть часы, — минутная стрелка подползала к семёрке, оставалось десять минут...

Он помчался назад, мимо натянутых, медленно ползущих тросов, и навалился на вклинившийся кусок брони, подталкивая его руками. Мимо него с мостика провели под руки раненого. Вжимая голову в плечи единым устремлением всего тела, сосредоточенным на толкании непокорной брони, он случайно увидел лицо раненого — мертвенно-бледное лицо Лёни Шевякова. Позднее он с дружеским состраданием вспомнил его, но сейчас даже не понял, почему так странно идёт Лёня, зачем он здесь, — все силы души и тела были прикованы к тяжёлым колебаниям застрявшей брони.

Вряд ли помогла его сила, наверное, раскачавшаяся броня вдруг выскочила из щели. Тросы поползли назад быстрее, и за ними потянулась кривая металлическая громадина, царапая палубу колючими краями.

Теперь на месте работ присутствовали и командир корабля, и старший артиллерист, и командир дивизиона. Гладышев даже докладывал им о принятых мерах и выполнял их приказания, но не чувствовал при этом ни робости, ни нервной подтянутости, испытываемой им обычно при старших начальниках. Сознание отбирало только суть происходящего и суть приказаний, помогающую делу. Оставалось семь минут... четыре... три минуты... одна... полминуты...

Именно полминуты оставалось, когда он кинулся в освобождённую для движения башню и сам ухватился за штурвал правого поста наведения, а затем осторожно повернул штурвал. Башня послушно пошла влево, беззвучно и плавно, как всегда. Гладышеву захотелось тотчас открыть

огонь, но надо было проверить основательно, и он не спеша развернул башню и влево, и вправо, и снова влево...

Главный старшина стоял рядом, сияя какой-то внутренней улыбкой. Его голос был привычно сдержан.

— В порядке, товарищ командир. Разрешите прогнать зарядники?

Минут уже не оставалось, истекала уже половина новой минуты — сверх срока, но нельзя было не проверить после аварии всю материальную часть: один застрявший осколочек мог привести к взрыву, к гибели корабля. И Гладышев кивнул:

— Давай.

Он внимательно следил за тем, как сперва медленно, а потом быстро и без затворов проворачивались механизмы. Истекала четвёртая минута сверх срока, когда он доложил на центральный пост:

— Товарищ командир дивизиона, к стрельбе двумя орудиями готовы!

Боевая тревога прозвучала для него, как гимн победы, и он дал выход своей радости, закричав ненужно громко, торжествующе, на всю башню:

— Подать боезапас! Орудия зарядить!



Митя лежал рядом с капитаном Каменским на влажном от росы бугорке, в той самой снесённой снарядами роще, которую когда-то любила Мария за прохладную тень и прекрасный вид, открывающийся на поля и перелески.

Тяжёлый безмолвный переход по лесу и по болоту остался позади, только ноющие от усталости, облепленные грязью, мокрые ноги напоминали о нём. И ещё вспоминалась тишина — плотная, насыщенная еле уловимыми звуками: шелестели осторожные шаги, сдерживаемое дыхание прорывалось у кого-нибудь коротким хриплым вздохом, поскрипывали ремни винтовок — и всё. А шло несколько сот человек с пулемётами и лёгкими миномётами.

Подле разъезда Бобрышев с группой бойцов отстал, чтобы выкатить из лесу орудия и в нужный момент ударить по разъезду, где уже снова копошились встревоженные немцы. Бобрышеву была поставлена задача — взять разъезд, оставить на нём пулемётчиков и стрелков для контролирования железной дороги, а остальными силами при поддержке орудий обрушиться на совхоз.

Мите очень хотелось попрощаться с Бобрышевым, но Бобрышев подошёл в последнюю минуту, коротко условился с капитаном о плане действий и, не прощаясь, исчез в темноте.

Митя повёл основной отряд в обход совхоза, полями. Начинало светать, и они шли, согнувшись, а потом поползли.

— Стой, — тихо скомандовал Каменский. — Ложись.

Каменский выслал разведчиков, они вернулись очень скоро.

Две немецкие батареи находились перед ними в нескольких сотнях метров. Орудия были повернуты в противоположную сторону, к фронту.

Каменский вызвал Самохина.

— Тебе — левую батарею. Главное — быстрота. Да проверь ноги у бойцов. Пусть хоть грязь обчистят, тяжело бежать будет.

— Уже приказал, — тихо ответил Самохин. И вздохнул: — Скорее бы!..

— Полчаса осталось. На отдых.

Самохин пополз назад к своей роте.

Каменский лежал, пристально вглядываясь в тёмное поле, которое предстояло пробежать в атаке.

— Кудрявцев, — позвал он, — ползи к Самохину, скажи, пусть возьмёт левее того бугорка.

Когда Митя вернулся, Каменский по-прежнему пристально смотрел вперёд. В блёклом свете лицо Каменского было красиво и строго. Митя доложил об исполнении и тихо лёг рядом.

— Студент? — шопотом спросил Каменский.

Митя кивнул головой. Он подумал, что сейчас от студента в нём не осталось ничего, и ему было бы странно вернуться в аудитории, к учебникам, к прежним беспечным друзьям. Да и нет уже прежних друзей! Кто убит, кто ранен, кто затерялся на дорогах войны. Коля Григорчук, лучший друг... кровь его стекала, под локоть, и некогда было отодвинуть труп, и от запаха крови тошнило... Коля, самый способный студент со всего курса, мечтавший остаться при институте и работать над проблемами аккумуляирования энергии, создать самозаряжающийся аккумулятор для подводных лодок...

Рассветный ветерок доносил с батареей немецкие голоса. Голоса были спокойные, уверенные... Убийцы и громилы, расположившиеся, как дома, на чужой, на нашей земле! С горькой злобой думал Митя о том, как он бросится на них и будет убивать их без пощады.

— Лейтенант Смолин — приятель ваш? — снова тихо спросил Каменский.

Митя не знал, как ответить. Они никогда не были приятелями и встречались совсем мало. Но Алёша Смолин показался сегодня таким родным, близким человеком, и фамилию его было так приятно произносить и слышать!

— Он двоюродный брат Марины Смолиной... она архитектор.... строитель... я с нею на квартире живу... она чудесный человек... и её мать... — Он шептал торопливо, боясь, что капитан спросит что-нибудь такое, на что трудно будет ответить. — У неё ребёнок маленький... она смелая...

Каменский не продолжил разговора, может быть, даже не слушал. Ночной мрак рассеивался, сползал в лоцины.

— Передайте на правый фланг сержанту Амосову: вон за тем кустом, по-моему, пулемёт. Пусть нацелит на него человек трёх.

Митя снова пополз с поручением.

Вернувшись, он застал Каменского под бугорком. Капитан раскуривал трубку, прикрывая её полый шинели.

— А что она делает теперь, архитектор?

Митя понял, что капитан слушал его рассказ. Он радостно

откликнулся:

— Строит баррикады. На окраинах.

Капитан лёг на живот, опустил голову на кулак, жадно затягивался.

— Вы любите её?. — не то вопросительно, не то утвердительно сказал он, не глядя на Митю.

— Это не то слово, — серьёзно ответил Митя, не чувствуя ни смущения, ни досады. — Я не знаю, как это назвать.

— Настоящее всегда трудно назвать, — задумчиво сказал капитан.

Вокруг было тихо. До начала артиллерийской подготовки оставалось двенадцать минут.

Митя помолчал. Столько сразу вспомнилось, и так хотелось передать капитану очарование и силу этой женщины, незримо присутствовавшей здесь, но Митя знал, что слова будут неуклюжи, и боялся, что капитан не поймёт его. Когда он заговорил, он сказал адрес — название улицы, номер дома, номер квартиры.

— Там она живёт. Мария Николаевна Смолина... это я называю её Мариной... Если со мною что-нибудь случится, там она живёт... И тогда вы сообщите ей, как я вёл себя в бою... Ей это важно знать...

Капитан коротко сказал:

— Хорошо.

Он повторил адрес и дважды повторил имя — Мария Смолина... Мария Смолина. Голос его звучал почтительно и нежно, как будто он знал все, что может рассказать Митя. И Митя, уже не боясь, стал рассказывать о том, как он пришёл из окружения, измученный, обзлётанный, потерявший веру в себя.

— Она взяла мои грязные, вшивые тряпки... принесла таз воды, чтобы я попарил ноги... устроила мне ванну и ужин... и тогда спросила, когда я должен являться... Я ей что-то наговорил... мне было противно думать об этом, понимаете?... я был как в бреду... в злом бреду... Она побледнела, а в глаза её смотреть было страшно. Я её спросил, что она делает, и она мне бросила с таким презрением, с таким гневом — «Строю баррикады!» Как плетью обожгла... Я на рассвете проснулся — и всё этот голос в ушах... Пошёл являться. Она меня проводила до комендатуры. Нехорошо это было... А потом я её встретил, когда на фронт уходили... На улице, возле баррикады... Лицо у неё стало такое хорошее, а руки были в земле... Она подняла руку и долго так стояла, провожая нас. Я бы не стал этого рассказывать, но вы меня знаете уже бойцом, правда? А я тогда поклялся себе вернуться только так, чтобы в глаза ей поглядеть без стыда... Вы ей скажите об этом.

Капитан молчал. Вид у него был невесёлый, и глаза неотрывно смотрели вперёд, туда, откуда через несколько минут должны вырваться в клубах дыма и огня снаряды, начиная бой.

— Ну, что ж, — медленно сказал он, скосив глаза на часы, — значит, за неё и пойдём сегодня в бой. За ленинградскую женщину, строящую баррикады, за руки, выпачканные в земле...

Капитан резко приподнялся, подтянул к себе ракетницу. Зарядил пистолет. Мите показалось, что у капитана слёзы на глазах. Он не удивился, он уже знал состояние обострённой чувствительности и душевной полноты перед боем, когда в мгновенном озарении человеку предстаёт вся жизнь.

— Если бы она знала! — прошептал Митя.

— А мы ей расскажем! — неожиданно весело отозвался капитан. — Кто раньше доберётся, тот и расскажет. Разве ж мы умирать собираемся? Жить будем, немцев бить будем!

И, взглянув на часы, другим, тревожным голосом сказал:

— Опаздывают балтийцы.

Оба смотрели на стрелку, скользившую по циферблату.

— Опаздывают, — повторил Каменский, но тут же воскликнул:

— Есть!

Многоголосый гром орудий рванул воздух. Каменский и Митя сползли назад и прижались к земле. Холодная роса освежила митины щёки. Митя прикрыл глаза и открыл рот, чтобы не оглохнуть.

Ослепляющий столб пламени вознёс к небу обломки орудия, пласты вырванной земли и целое дерево.

— Лежи, дурень, убьёт! — крикнул Каменский приподнявшемуся из любопытства Мите и рукою пригнул его голову к земле. — Красота! — кричал он ему в ухо счастливым голосом. — Ничего огонёк?! Своих не узнаешь! Какова точность, а?!

Митя не сразу понял, какая точность восхищает капитана, а когда понял, его бросило в жар при мысли, что откуда-то издалека, с невидимого линкора, вслепую несутся сюда снаряды весом в несколько сотен килограммов, посылаемые в невидимую артиллеристам цель на основании математического расчёта. Митя знал, что этот расчёт сложен и многообразен, что учитывается всё — от веса снаряда и температуры погреба, где он хранился, вплоть до поправки на вращение земли и вращение самого снаряда... И ничтожная ошибка, маленькая неточность достаточны для того, чтобы снаряд отклонился в пути и чтобы эти сотни килограммов упали немного левее или правее, не в узкую полосу земли, где сгруппировались немцы, а вот сюда, в эту рощу, на влажный от росы

бугорок, где лежат Митя и капитан Каменский...

Но балтийцы без ошибки посылали смерть немцам. Где-то в спокойной глубине корабля, в центральном посту управления артиллерийским огнём, похожем на научную лабораторию, математики в морской форме с выработанными годами тренировки быстротой производили сложные расчёты. Где-то на линии фронта, на укрытых от врага наблюдательных пунктах, моряки-корректировщики ждали падения первого снаряда, который мог убить и их самих, если бы математический расчёт был неточен, и передвижные радиопередатчики посылали на корабль указания, как вести огонь дальше. Эти указания молниеносно учитывались в центральном посту управления, молниеносно передавались умными аппаратами на орудия, и новые снаряды, как наделённые зрением существа, находили фашистскую батарею, зарывшийся в землю штаб, притаившиеся немецкие танки...

Митя лежал в нескольких сотнях метров от полосы земли, где вздымал огненные смерчи невидимый балтийский друг. Ещё десять минут балтийского шквала, а потом настанет очередь его, Мити, и он со своими товарищами ринется в атаку, опрокидывая, добывая, гоня прочь от Ленинграда проклятых захватчиков, и ринутся в атаку Алёша Смолин и его товарищи на мощных танках, опрокидывающих всё на своём пути... За Марию Смолину, за ленинградскую женщину, строящую баррикады на улицах родного города.

Внезапная тишина поразила слух больше, чем артиллерийский гром. В этой тишине щелкнули два выстрела, и две красные ракеты взлетели над рощей. И в ту же секунду Митя поднялся и, пригнувшись, побежал вперёд, и вся не видная за секунду до того цепь красноармейцев тоже поднялась и побежала пригнувшись, и капитан Каменский закричал звонким от напряжения голосом: «За Ленинград, за Родину, за Сталина, вперёд!», и Митя закричал «ур-ра!», и вся цепь закричала и побежала навстречу беспорядочным выстрелам.

Голова Мити была в каком-то тумане, но глаза отчётливо видели всё, а недавно пылавшие от усталости ноги стали лёгкими и гибкими. Митя вместе с товарищами добежал до немецкой батареи, торопливо разворачивающей пушки в сторону неожиданно появившихся красноармейцев, и немцам не дали развернуть пушки. Что-то крича, Митя увидел, как немцы побежали, и бросился за ними в погоню. Вдруг до его сознания дошло, что вот это и есть немцы, немцы, от которых он бежал месяц назад, немцы, которые сейчас убегают от него...

— Ура! — закричал Митя, и ему казалось, что все слышат его голос,

хотя сдавленный усиленным дыханием крик был беззвучен. Сильный толчок в грудь подкинул его, но такова была стремительная сила, увлекавшая его, что он пробежал ещё несколько шагов, а когда упал, руки его привычно выдвинули перед собой автомат...

На командный пункт батальона капитан Каменский вернулся в восьмом часу утра. В мягком осеннем блеске земля ещё дымилась после недавнего боя. Из каретки мотоцикла капитан придирчиво смотрел, как окапываются бойцы на новом рубеже, грустным взглядом проводил носилки, на которых несли раненых, приветливо помахал рукою командиру отряда моряков Стеценко, стоявшему на краю огромной воронки посреди дороги. Пока мотоцикл осторожно объезжал воронку, капитан приказал немедленно засыпать её и открыть для движения дорогу.

На командном пункте его ждали донесения командиров. Он знал, как удачно прошла атака балтийцев, знал, что танки Смолина прорвались в глубокий тыл противника и разгромили немецкую мотопехоту, спешившую на подмогу. Он знал, что орудия Бобрышева открыли огонь по немцам, слышал их залпы, но с радостью прочёл, что разъезд снесён несколькими снарядами, а затем занят, что рота немцев, засевшая в совхозе, уничтожена, что подсчитываются трофеи... Бобрышев сообщал ещё, что потери в отряде велики, тяжело ранен сержант Комов, убит разведчик Пахомов, но настроение бойцов превосходное, так как потери немцев гораздо больше и победа всех окрылила. Это слово «окрылила» в сухой военной сводке было особенно мило Каменскому. Командир рабочей коммунистической роты Кораблёв (почему Кораблёв?) сдержанно сообщал, что в 5.40 для поддержки наступающих и развития успеха рота пошла в атаку и выбила немцев из первой и второй линий окопов, после чего стала закрепляться на новом рубеже.

— Ишь, как он написал бездарно! — воскликнул комиссар, заглянув в донесение. — Ты знаешь, как они дрались?! Как они дрались?! Это ж герои все до одного, о них стихи писать!

— Как? — спросил Каменский, борясь с неожиданной слабостью. Он двумя руками с силою стиснул спинку стула, чтобы справиться с собою.

— Когда они заняли первую линию окопов, их осталось сорок человек. Командир, смертельно раненный, кричит: «Добивай немца! Ленинградцы, коммунары, вперёд!» И старик один... ну, не старик, а седой уже, знаешь, такой типичный питерский кадровик, тоже кричит: «Ленинградцы, ленинградцы!» Упал он, когда уже во вторые окопы ворвались и рукопашную схватились... Ну, и рукопашная была!.. Упал старик, и тут командование принял Кораблёв, — не знаю, воевал он когда-нибудь или

нет, а только талант в нём командирский... Ведь горсточка их осталась, а Кораблёв эту горсточку так направил, что их будто вдвое больше стало, а сам с гранатами... и кричит: «Вот вам за Питер, гады!»

— А ты что там кричал, комиссар? — нахмурился и прикрывая веками смеющиеся глаза, резко спросил Каменский.

У комиссара лицо стало мальчишески виноватым.

— Я?.. — он уткнулся в карту и буркнул: — Что надо, то и кричал.

Перепечко выглянул из-за перегородки, где готовил завтрак, и умоляющим голосом сказал:

— Товарищ капитан... поели бы... яичница перепреет!

В блиндаж ввалился Алексей Смолин. Вскинув чёрную руку к шлему, он отрапортовал ликующим голосом и засмеялся от избытка чувств:

— Ну, и здорово, товарищ капитан!

Каменский рад был ему, но подойти и обнять лейтенанта мешала всё растущая слабость, он рассеянно потёр лоб, стараясь что-то вспомнить, но вспомнить не мог. Комиссар заметил необычное состояние капитана, спросил встревоженно:

— Ты что, Леонид?..

— Сердце чего-то... Знаешь, как говорят — не только здоровое, но ещё на два вершка ширше обнакновенного, — пробовал пошутить Каменский, но сам не смог улыбнуться, и, решившись, позвал танкиста — Товарищ Смолин, пройдем ко мне, поручение одно есть...

Выставив за дверь Перепечко, он вытащил из-под подушки индивидуальный пакет и сказал, криво усмехаясь:

— Разрежь-ка мне гимнастёрку и перевяжи плечо. Только смотри — без болтовни. Царапина. А комиссар начнёт, и Перепечко душу выест... не люблю...

Перепечко из-за двери стонал:

— Товарищ командир, там яичница... ей-богу, сгорит!..

Каменский морщился, сдерживая стон. Алексей, путаясь неумелыми пальцами в размотанном — бинте, слишком осторожно стягивал раненое плечо.

— Товарищ капитан! — торжествующим голосом крикнул Перепечко. — Вас до телефона требуют со штаба дивизии...

— Пусть комиссар подойдет... Смолин, друг, да не копайся ты, право!

Перепечко настаивал:

— Комиссар вышел до раненых, товарищ капитан! Со штабу дивизии срочно!..

Перевязка была не закончена, и от боли тошнота подступала к горлу.



— Скажи, вышел командир, через пять минут будет.

Когда Алексей кончил бинтовать, Каменский запихнул разрезанную гимнастёрку под койку, с помощью Смолина натянул домашний мягкий свитер. Широкий синий ворот, прильнув к щекам, подчеркнул их бледность.

— Перепечко, водки!

Перепечко налил два стаканчика. Каменский с Алексеем чокнулись, выпили и поцеловались. Перепечко торопливо накладывал яичницу.

— Нет, нет, только не мне, — отмахнулся Алексей, — я пошёл.

Он был уже далеко, когда Каменский вспомнил то, что тщетно силился припомнить при нём. Он потребовал бумаги и карандаш, записал левой рукой, каракулями адрес. Но буквы сливались у него перед глазами, и ему пришлось лечь, чтобы не потерять сознания.

— Пиши, Перепечко... Марии Смолиной. «Капитан Каменский просит вас навестить раненого бойца Дмитрия Кудрявцева, отличившегося в бою...» Написал? Ступай быстренько в медсанбат, разыщи там раненого Кудрявцева, его должны в госпиталь отправлять. Скажешь, чтоб приложили к его документам и в Ленинграде сразу послали по адресу, понятно? Только чтобы в тот же день. Беги!

Перепечко со вздохом пошёл, но тут же вернулся.

— Товарищ капитан, с дивизии звонят... Сказать, нету вас?

— То-есть, как так нету?

Каменский вскочил, снова готовый работать. Минутный отдых и водка подкрепили его, а день был слишком удачен, чтобы не победить боль. И столько ещё дела осталось! Закрепиться, обезопасить себя от контратаки... проверить расстановку огневых средств...

Он подошёл к аппарату, с удовольствием чётко сказал:

— Капитан Каменский слушает.

Говорил полковник Калганов:

— Поздравляю, капитан, поздравляю и благодарю.

И сразу:

— Можете выехать сейчас? Командующий фронтом приказал вам срочно принять полк.

Каменский вытянулся, как будто командир дивизии стоял перед ним:

— Есть принять полк. Мне необходимо отдать приказания, товарищ полковник, прошу разрешения выехать через полчаса.

Ему пришлось привлечь на помощь Перепечко, чтобы помыться, побриться, стянуть с себя свитер и надеть чужую просторную гимнастёрку. Через полчаса он вышел подтянутый, свежий, и всё казалось ему каким-то

обновлённым — и собственное лёгкое, живучее тело, и солнечный, прохладный день, и необычная, не фронтовая тишина, нарушаемая лишь звяканьем котелков у кухонь, где получали обед красноармейцы.

Мотоцикл понёсся по шоссе, ловко объезжая воронки. Сидя боком, чтобы не тревожить ноющее плечо, капитан Каменский всматривался в очертания города, ясно обозначившиеся на горизонте. Сколько охватывал глаз, в стройном порядке тянулись строгие кварталы домов, величественные массивы заводов, кое-где оживлённые изогнутой линией подъёмного крана или сквозным узором железнодорожного виадука. И сколько охватывал глаз, из заводских труб поднимались к суровому ленинградскому небу сизые дымы, поднимались прямыми неколебимыми столбами, спокойно и грозно.

Григорьева стала каменщиком. Окна, заложенные ею, были надёжными укрытиями, с узкими и удобными щелями бойниц.

Вся окраина, где работал отряд Сизова, была теперь подготовлена к сопротивлению. Каждая улица, каждый перекрёсток, каждый переулок простреливались насквозь и в разных направлениях.

Баррикады и надолбы задержат танки и автомашины, а огонь из домов уничтожит живую силу. Из-за баррикад полетят под гусеницы танков связки гранат и бутылки с горючей смесью. Если враг захватит один рубеж, он наткнётся в нескольких шагах от него на следующий, не менее упорный. Если враг ворвётся в дом, его будет ждать борьба на каждой площадке лестницы, в каждой квартире, в каждой комнате, а если ему всё-таки удастся овладеть этим домом, оскалится, оцетинится следующий...

Работницы радовались, вникая в суть плана обороны. Они примеривались к бойницам и с удовлетворением хорошо поработавших людей рассказывали друг другу, что вот этот переулок неприступен, а через тот перекрёсток ни за что не пройти.

Григорьева бывала дома только ночами, и в опустевшей комнате ей было не по себе. Она подолгу сидела, устремив глаза на фотографии, висящие над столом, — на одной она была снята с мужем и тремя мальчиками, на другой старшие сыновья были уже взрослые, в красноармейской форме, а на третьей был снят младший, Мишенька, с товарищами по школе. Двое старших, Иван и Григорий, служили в пехоте. Мать очень хотела, чтобы младший пошёл в танкисты или в артиллеристы, там ей казалось безопаснее, но Миша тоже попал в пехоту и был на фронте в одной дивизии с братьями. С июля не имела она писем от сыновей, знала только, что дрались они под Кингисеппом и из этих боёв вышли невредимыми. Но с тех пор прошло много недель, каждый метр ленинградской земли был уже полит кровью — кто знает, живы ли, здоровы ли, трое её сыновей? И какие они теперь? Она старалась представить их себе выросшими, обросшими, закопчёнными в боях мужчинами... Но вспоминала их прежними мальчиками.

Иногда она садилась писать им письмо — адресовала старшему, а писала всем троим и называла их Ванятка, Гришутка и Мишенька, как будто они были маленькими. Но когда первые слова приветия и любви ложились на страничку письма, она не писала того, что тревожило и

томило её в часы одиночества, а вставали перед нею бойницы и баррикады, пулемёты и снайперские точки, которые она строила. И другие слова выводила рука: «Великая гроза разразилась над нами, сынки, вам дали винтовки и пулемёты от всего народа, чтобы били немцев проклятых. Бейте их, сынки, как можете больше, не жалейте ни одного, не пропустите их к нашему Ленинграду, а мы здесь строим такие укрепления, что не пройти никому. Не осрамите свою мать, сынки».

Написав письмо, она перечитывала его много раз и задумывалась, нахмутив курчавые седые брови. Ей хотелось приписать: «Берегите себя, сыночки мои родные», но она никогда не делала этого. И виделось ей, как, стреляя, бегут в атаку её сыновья, как падают, распахнув руки, а другие бойцы всё бегут и бегут мимо них... Ей хотелось бы плакать, но слёз не было, и она старательно запечатывала письмо, придавливая его тяжёлым кулаком, как печатью, и шла опустить письмо в ящик, чтобы скорее дошло.

И вдруг прибежала девчонка с запиской: «Мама, приходи сейчас на станцию, может успеем повидаться, и принеси, если есть, табаку. Ваня».

Девчонка говорила:

— Скорее, бабушка, меня дома ругать будут...

Григорьева схватила пачку припасенного для сыновей табаку, побежала за девчонкой.

— Да где они, милая?

— На запасных путях, бабушка. Скоро поедут. В теплушках стоят. Туда и ходить-то нельзя.

— Да куда ж они едут через Ленинград?

— Не знаю, бабушка. Отступают, видно, раз в ту сторону едут...

— Отступают?!

Хотелось ей спросить, один ли был боец, что писал записку, не трое ли их было, молодых и сероглазых. Но страшно было спросить.

Они долго блуждали по запасным путям, девчонка привычно пробиралась между составами, ныряла под буфера и уже с той стороны кричала:

— Сюда, сюда, не, отставайте!

Григорьева спешила за девчонкой, и в спешке утихла сосущая тревога. И как бы неожиданно возникли перед нею теплушки, в которых теснились бойцы, и за спиною ее раздался голос:

— Мама!

Боец стоял перед нею, высокий, обросший бородой, со впалыми глазами, с морщинами усталости на серых щеках. И надо было материнским глазом взглянуть в него, чтобы воскликнуть обрадованно и

горестно:

— Мишенька!

Она обняла его и три раза поцеловала, а потом ещё раз обняла — и поцеловала глаза, и в глазах загорелись детские нежные огоньки. Подошёл Иван, и его мать обняла тоже, но такой радости уже не было, потому что о нём она знала, что жив. А третьего не было. Где был третий?..

— Куда же вы едете, сынки? — спросила она, задыхаясь, замирая от предчувствия. — Почему от Ленинграда прочь, когда немец под Ленинградом?

Их окружили бойцы. Спрашивали:

— Как в Ленинграде? Держитесь?

— Не сдаваться же! — ответила она сердито. — А вы вот куда уезжаете от Ленинграда прочь?

— Мы не по своей же воле, мама! — сказал Иван. — Приказано, ну, и едем. Что ты с нас спрашиваешь?

— Мы себя не жалели, мама, — сказал Мишенька, — спроси кого хочешь. Наша дивизия в самых жарких местах билась.

— Верно, — сказали бойцы, — верно, мать, так оно и было. Про нас худого не скажешь. А потери у нас большие, пополняться надо, переформирование...

— Не знаю, — сказала Григорьева, мрачней, — это я не понимаю, переформирование или что, а как же от Ленинграда уезжать, когда мы на улицах баррикады строим? Вот девчонка, что с запиской прибежала, говорит — отступают ваши сыновья. А я — слушай? От родного города прочь, когда немец возле Пулкова сидит?..

Иван обнял её за плечи и показал ей на товарищей:

— Посмотри мама, измучены бойцы, с ног падают. Три месяца в боях без отдыха. А потом мы снова на фронт. Сидеть не будем.

— А народ не измучен? — сказала мать, распаляясь и стараясь подавить всё растущую тревогу. — Под бомбами работают, детишки под снарядами играют, подростки раскапывают задавленных людей. . Со мной на баррикадах Сашок работает — пятнадцать лет ему... Придёт немец, всех передушит, перевешает... Кто сейчас об отдыхе думает?

Сыновья стояли смущённые, другие бойцы тоже глаза отводили.

— Мама, табачку принесла? — спросил Миша, улыбаясь и поглядывая исподлобья, совсем как в детстве, когда просил о чём-либо или хотел успокоить рассердившуюся мать.

Она суетливо расстегнула пальто, достала из кармана халата пачку табаку. Знакомая повадка Миши растревожила её сердце, непрошенные

слёзы набегали на глаза, и вопрос рвался с губ: где третий?

— Спасибо, мама, второй день без курева сидим, — сказал Миша, бережно принимая табак и стесняясь при матери закурить.

— Да уж кури, что там, — сказала мать. И вдруг заплакала, всхлипнула — Вот и борода у тебя, как у большого... вырос...

Какая-то команда зазвучала вдоль теплушек, бойцы стали расходиться. Сыновья ещё стояли с матерью, но уже оглядывались озабоченно — вот-вот уйдут.

— Не беспокойся, мама, — сказал Иван, — отдыхать мы не будем, пока немец здесь стоит. Можешь надеяться.

Она посмотрела на старшего сына — совсем он взрослый и даже старый стал, и голос грубый, хриплый. Растерявшись перед этим незаметно состарившимся сыном, она пробормотала:

— Вы, конечно, больше меня понимаете, и раз вам приказано...

Новая команда прозвучала вдоль теплушек.

— Прощайте, мама. Теперь, когда свидимся, неизвестно..

Они обнялись, поцеловались строго, без слова. И только когда пошли они к своей теплушке, вцепилась она в рукав старшего и отчаянным шопотом выговорила, не глядя в лицо его:

— Не говорите вы... Гриша-то что же?.. Гриша... где?

Сыновья оглянулись, остановились. Старший сказал робко:

— Под Гостилицами, мама...

— Насмерть? — таким же шопотом спросила она.

Он кивнул головой.

— Похоронили его сами... всей ротой... — сказал Миша.

Она смотрела, как два её сына скрылись в тёмной теплушке. Железнодорожник с флажком пробежал, крикнул ей:

— Идите, мать, нельзя здесь посторонним находиться..

Она пошла. За спиною, лязгая, покатались теплушки. Уезжали два сына от Ленинграда. Постаревшие, серые, на себя не похожие. А средненького, Гришу, схоронили под какими-то Гостилицами... и по земле, где он схоронен, прошли немцы...

Командир попался ей навстречу, остановил её:

— Чего ходишь здесь, бабка? Не знаешь — запрещено?

Она вдруг с гневом закричала на него:

— А вам отступить кто разрешил? Сына моего схоронили, землю эту немец топчет... совесть у вас где? Куда остальных погнали от Ленинграда прочь?..

Командир молчал. Григорьева с ненавистью посмотрела на него и в

тусклом свете вечера увидела молодое лицо, такое же, как у Миши, и на лице этом проступили боль, стыд и растерянность.

— Не обижайся, — сказала она, смахнув слезу, и взяла его за руку, — тебе, видно, не легче...

И пошла, выпрямившись, не давая себе воли горевать.

Маленькая комнатуха коммутатора была привычна, как родной дом. Телефонистки давно оборудовали её всем, что могло придать ей уют. Лиза любила свою рабочую комнату и мечтала, что когда-нибудь Лёня Гладышев приедет на завод и увидит её здесь, колдующей шнурами и лампочками. Она любила и самую работу, сосредоточенную, одинокую и в то же время полную незримого общения со всеми участками большого завода. Но с некоторых пор ей стало не хватать зримого присутствия людей. И она завидовала подругам, работающим в цехах, хотя их работа была тяжелее. Боялись ли они так, как Лиза? Нет, наверное, а если боялись, то на людях было легче преодолеть страх. Обжитая, уютная комнатуха стала похожа на западню. Каждая бомба казалась нацеленной прямо сюда, а когда над заводом свистели снаряды, Лиза боялась прикоснуться к штепселям, как будто каждый штепсель мог ударить смертельным током.

В один из таких страшных дней Лиза откликнулась на вызов парткома и услышала ласковый голос Левитина:

— Это кто, Кружкова?

Левитин спросил, может ли она смениться и зайти в партком, где её ждёт лейтенант с линкора. Вспыхнув от радости, Лиза сказала, что бросить коммутатор никак не может, пусть лейтенант придёт к ней.

— Умоляю вас, если только можно, — добавила она. — Мне очень, очень нужно повидать его... Вы ничего не подумайте...

— Сейчас он придёт.

Отвечая на вызовы, Лиза напудрилась, поправила локоны, окинула комнатку зорким взглядом — всё ли опрятно и уютно. Комнатка снова понравилась ей, страшно уже не было.

Она улыбнулась навстречу входящему — и отшатнулась. Вместо Гладышева вошёл Шевяков, тот, что приходил однажды с Лёней под видом «брата», но теперь голову его стягивали бинты и глядел он как-то невесело. За ним со странным выражением лица шёл Левитин. Шевяков отдал ей честь, а Левитин слегка обнял её и тихо сказал:

— Поговорите, я пока за вас поработаю.

В молчаливом почтении Шевякова и в необычном предложении Левитина было такое пугающее внимание к ней, что она покорно отошла с Шевяковым в сторонку.

— Вы были дружны с Гладышевым, — сказал Шевяков, опустив



глаза. — Он был очень... очень привязан к вам...

— Был?. — мертвея, переспросила Лиза.

— Во время звёздного налёта... — пробормотал Шевяков, и губы его дрогнули. — Я не должен рассказывать вам подробности. . Но смерть его была мгновенной. Он вряд ли даже успел осознать смерть.

Когда Лиза пришла в себя, она сидела на диванчике, и Шевяков неумело подавал ей воду. Она отстранила чашку и встала. На доске нервно вспыхивали лампочки, Левитин путался и не поспевал. Лиза подошла и навела порядок, потом Левитин снова отстранил её, и она вернулась к Шевякову.

— Я любила его, — сказала она и сама удивилась тому, что это правда и что эту правду она не понимала раньше.

— Я очень любила его, — повторила она. И громко спросила самоё себя: — Как же так?

— Наши потери только начинаются, — виновато сказал Шевяков. — Я долго думал, говорить ли вам... Да ведь что ж оттягивать! После Лёни осталось несколько вещей... Мы с товарищами рассудили, что надо отвезти их вам.

Он вытащил из кармана знакомые Лизе ручные часы. Она знала, что под крышкочку часов вделана её фотография. Потом он передал Лизе ещё две её фотографии. Одну из них она увидела впервые. В прошлом году они были компанией на катке, приятель Гладышева фотографировал их, но снимок не получился, так как все двигались. Очевидно, лейтенант потихоньку снял её снова, когда Лёня, став на колени, зашнуровывал её ботинок. Почему Лёня никогда не показывал ей этого снимка? Должно быть, боялся, что она отнимет... Их знакомство ещё только начиналось, и она упорно отказывалась подарить ему свою карточку. С невыразимой грустью, как на чужую, смотрела она сейчас на весёлую, капризную девушку, не понимавшую своего счастья.

— И ещё тут его записная книжка, — сказал Шевяков, — вроде дневника. Хорошая очень... Мы даже не знали.

— Что мы знаем, пока человек жив? — оскорблённо воскликнула Лиза. — Ничего! Ни-че-го!

Когда Шевяков с Левитиным ушли, Лиза вернулась к своему щиту. Начался и кончился обстрел, а вслед за тем сразу начался воздушный налёт. Самолёты налетали волнами, через правильные промежутки, бомбы падали в районе завода и где-то далеко. Через десять минут после отбоя возобновился артиллерийский обстрел.

К концу смены Лиза торопливо убрала фотографии, часы, пухлую

записную книжку. Не хотелось расспросов сменщицы. Она почти бегом пересекла заводской двор, боясь встретить знакомых. В трамвае пристроилась на передней площадке, лицом к стеклу. Дома сказала Мироше, что хочет спать, заперлась на ключ и вынула из сумочки всё, что осталось от Лёни Гладышева. Вслух проговорила: «И больше ничего нет!..»

Неудержимо хлынули слёзы. Она позволила себе поплакать и открыла записную книжку.

Между непонятными формулами и вычислениями были разбросаны короткие записи. Это не был дневник, записи были случайны — названия книг, которые надо прочитать, изречения, выписки, расписания занятий, отрывочные наблюдения и размышления. «Каждый должен установить себе правила жизни, — прочитала Лиза, — сообразно своей высокой жизненной цели и своим убеждениям и раз навсегда подчинить свою волю этим правилам». Дальше запись: «У К. заговорили о писателе Бунине, а я его не читал. Игнали в знаменитых людей, Лиза написала: «Фет», а Жорка стал спорить, что такого не было. Чуть не сторел со стыда. А ведь сам знаю Фета только понаслышке». Дальше: «Толстой выработал круг чтения. Надо составить список и читать по плану». Потом шло несколько страниц каких-то формул и непонятный Лизе чертёж с подписью: «А ведь это, пожалуй, ценная мысль? Попробовать». На одной из страниц, среди формул, несколько раз написано: «Лиза». Дальше запись: «Всегда говорить правду, особенно тогда, когда это тебе невыгодно». Список книг — артиллерия, навигация, романы. Приписка: «Прочитать до 1-го июня», и вторая приписка: «Выполнено». И вдруг: «Пора всё кончить с Л. Она просто развлекается и смеётся над тем, что мне дорого и свято. Может ли жена моряка не любить море?»

Лиза по соседним записям определила примерную дату этой горькой записи. Она вспомнила ту весну, редкие встречи с Лёней, её досаду на то, что Лёня с охотой говорил о разлучавшем их плавании, тяжёлую ссору... Она вспомнила, как Лёва неожиданно перестал ссориться с нею, загрустил и нахмурился, и ушёл в какой-то не понятой ею угрюмой решимости... Она поспешно перелистала несколько страниц, разыскивая след их примирения, но нашла только крупно написанную дату: 17 июня. Был ли то день их новой, счастливой встречи? Она не помнила. Сразу за этой датой шёл расчёт стрельб, а затем чётко выписанные «Правила жизни»:

«1. Цель жизни — служение флоту; укрепление морского могущества родины.

2. В трудную минуту требовать от себя, как от коммуниста, больше, чем от других; в минуты успеха отказываться от славы и почёта для себя и

выдвигать тех, кто помогал и содействовал.

3. Не подчиняться женщине, но быть рыцарем в отношении любимой женщины и всех женщин.

4. Неустанно совершенствоваться, прежде всего в морском деле, затем — культурный уровень. Философия и искусство в первую очередь.

5. Ставить службу выше дружбы, но дружбу — выше всех других отношений. Ничего не жалеть для Друга.

6. Заставлять себя поступаться своими желаниями в мелочах и никогда не отступать в крупном, принципиальном, даже если это очень трудно.

7. Быть всегда до конца честным и говорить правду, особенно когда это тебе невыгодно.

8. Выпивать только для компании и во-время останавливаться. Без свинства.

9. Всегда владеть собою, не проявлять своих чувств и настроений, воспитывать волю и железный характер. Научиться подавлять свои желания».

Лиза несколько раз перечитала эти правила. Они, как внутренний свет, прояснили для неё образ Гладышева. Вот почему он порою так странно отказывался от удовольствий и сдерживал свою радость! Вот почему на новый год он уступил своему товарищу, молодожену, право сойти на берег и остался дежурить, хотя Лиза звала его на новогодний бал! Она сердилась тогда... Как стыдно, что она тогда сердилась!..

Она вернулась к началу дневника и стала вчитываться в те записи, которые сперва пропускала, как служебные. И теперь поняла, что этот круг его мыслей и интересов был основным, главным. «По вчерашнему учению в нашей башне катастрофа. Мы изолировались от корабля, мы должны были погибнуть, чтобы корабль уцелел и мог вести огонь. Мне было страшно представить себе, что так может случиться. Надо воспитывать волю. Адмирал Бутаков учил: когда идёшь на таран — надо думать о гибели неприятельского корабля, и только». Немного дальше: «Вторая звезда на башню утверждена командующим. Собрал личный состав, чтобы нам не зазнаваться. Во-первых, время между залпами можно ещё сократить; во-вторых, надо помнить, что в действительной встрече с врагом вести прицельный огонь будет гораздо труднее». По краям страниц, испещрённых формулами и расчётами, Лиза находила приписки: «попытаться», «оправдалось на стрельбах», «поискать ещё»... Да, это была его жизнь, смысл и радость его службы... Как он был бы счастлив, если бы она тогда поняла и поддержала его, вместо того, чтобы расстраивать его пустыми придирками, капризами и мелкими, глупыми обидами,

омрачавшими его любовь.

Она разыскала первые военные записи, но там не было ничего, кроме скупой хроники: «Покинули Таллин», «Пришли в Кр.», «Пока не воюем», «Был в городе, Л. не эвакуируется», «Первая бомбёжка города и налёт на нас»... «Враг у ворот, город под бомбами, в огне, мои ребята рвутся стрелять». «Стреляли!».

И вдруг размашистая запись на целую страницу в несвойственном ему стиле: «Да! Если умереть, то именно так и за это. В бою, в смертной схватке с врагом, ради своей родины, ради коммунизма, который будет, обязательно будет! За жизнь близких, за любимую, за свет в дорогих окнах. И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...» Только не надо гроба. Море примет меня в последний раз». Дальше было ещё больше деловых записей и расчётов, и среди них Лиза не сразу заметила короткую заметку: «Проверил свою силу воли. Авария от бомбы, звёздный налёт, мы вели огонь. Ни разу не проявил страха и владел собою. Жалко Ларионова и Смирнова. Приготовиться душевно к новым жертвам».

Она живо представила себе его душевную борьбу, старание подавить чувствительность и страх. С этим он вступил в свой последний бой. И когда смерть пришла — успел ли он осознать её и был ли он в этот смертный миг так же горд и не покорен страху?.. Да, наверное. И только острое сожаление обо всём, что составляет жизнь, а значит, и о ней, любимой, мелькнуло и... и оборвалось. Навсегда.

Лиза выпрямилась, закрыла дневник. Никогда ещё не видела, не чувствовала она Лёню так ярко и полно и верно. Сейчас она сумела бы быть достойной его любви и дружбы, его откровенности. Но это уже не нужно. Навсегда, совсем не нужно. Любила ли она Лёню год назад — и тогда, когда ссорилась с ним из-за его службы, и в последние недели, когда волновалась за него, и сегодня, когда пудрилась в ожидании, что он войдёт в её комнатушку?

Она стала вспоминать — одну за другою — все встречи с ним, по-новому понимая каждое его слово, каждый поступок и с горечью открывая, что была с ним капризна и недобра и думала только о себе, и так мало — так страшно мало! — отдавала ему. И вдруг ей вспомнилось, как они прощались летом, в первые дни войны: он уходил от неё по набережной, высокий, прямой, заставляя себя не оглядываться, а ей вдруг показалось, что вся жизнь уходит вместе с ним, и она даже метнулась было за ним и хотела окликнуть его и обнять, и сказать слова, которые никогда ещё не говорила ему... Как он обрадовался бы этим словам!.. И почему, почему она тогда удержалась?!

Она долго плакала, потом ходила по комнате, стараясь успокоиться и собраться с силами, но ей не удалось это. Для чего? Для кого? Ведь никого нет, ничего нет. Пустота.

Мария думала: так, наверное, идут в атаку, припадая к земле, вскакивая, перебегая открытые пространства и снова припадая к земле, чтобы переждать шквал огня. Продолжалась обычная городская жизнь — с работой на заводах и в учреждениях, с булочными и почтальонами, с детскими играми и сном в постелях. Но эта обычная городская жизнь стала теперь полем жестокого боя, с перебежками и замираниями под свист снарядов и бомб.

Двадцатиминутный путь от стройконторы до дому порою отнимал у Марии несколько часов — сирены загоняли в бомбоубежища или в парадные. Очень редко удавалось спокойно пообедать — примешься после отбоя за суп, а доедаешь уже под грохот зениток. И спать приходилось урывками, не раздеваясь. Сон был тяжёлым, а пробуждение — мгновенным: что, тревога?

Сутки за сутками пролетали в суете, в хлопотах о дежурствах пожарных, об огнетушителях и запасе воды, о сыне и его кормлении, и снова об огнетушителях и лопатах, и десятках других вещей, неожиданно ставших самыми главными и необходимыми.

Мария не заметила, когда закрылись коммерческие магазины и опустели рынки, но Мироша показала ей небольшой кусок хлеба и сказала: «Вот теперь дневная норма». У магазинов выстраивались очереди, надо было становиться затемно, чтобы «отоварить» карточки. Молочница, много лет носившая в дом молоко, оказалась «на той стороне», у немцев. В дни дежурств в Доме малюток Анна Константиновна получала стакан молока, сливала его в бутылочку и приносила внуку. В столовой обеды ухудшались с каждым днем и порции стали крохотными. Мария съедала водянистую похлёбку, а кашу целиком относилА Андрюше. И не в судках, а в маленькой баночке — несколько ложек жидкой каши без масла. Надвигалась новая беда — голод.

Мария вглядывалась в лица своих товарищей: понимают ли они, готовы ли они к новой беде? Лица были будничны. На них не отражалось ничего, кроме переутомления. Женщины в группе самозащиты стали по пустякам ссориться и раздражаться. Мария тихо просила их:

— Не надо, дорогие, не надо.

Они виновато усмехались:

— Да ведь мы так, Марья Николаевна. . от нервов..

Андрюша жил в бомбоубежище, в отгороженном дальнем углу, прозванном «детской комнатой». Около Андрюши по очереди спали то Анна Константиновна, то Мироша. Мария бывала счастлива, если удавалось отпроситься у Сизова на ночь к сынишке. Сонное дыхание Андрюши было безмятежно, приоткрытый ротик румян, раскинутые, в складочках, ручонки покойны — посмотришь, и уже отрада.

Подниматься домой не хотелось. Комнаты стояли покинутые, запущенные, счастье ушло из них. Там торопливо и скудно ели, иногда спали. От снаряда, разорвавшегося напротив, несколько стекол вылетело из окон, их заменили листами фанеры. Дни были солнечные, квадраты фанеры выделялись унылыми пятнами. Радио передавало последние известия и гулкое тикание метронома. Почтовый ящик пугал — Марию подстерегали конверты с красивым гладким почерком, ненужный, раздражающий голос из покинутого прошлого, мольбы и заверения, и упрёки — даже упрёки!

Больше никто не писал, как будто во всём мире не было ни друзей, ни родных. Замолчал Алексей — жив ли? Молчал Митя — жив ли? Где-то скитаются подруги — куда забросила их эвакуация? Безнадёжно молчит Оля Трубникова — она там, по ту сторону фронта... жива ли? и Гудимов, милый человек, тоже там. . жив ли?

И вот пришло письмо, непонятная, неразборчивая записка: «Капит. Каменский просит навест. ранен. бойца Дмитр. Кудрявцева отчившего бою». Что это значит? Что такое капит.? Капитан? Но тогда почему он так плохо пишет? Или за капитана писал кто-либо другой? И что значит «отчившего»? Почившего? Нет, нет, тут же ясно написано — ранен.

Мария не сразу заметила на конверте приписанный другим почерком адрес — очевидно, адрес госпиталя? По штемпелям она установила, что письмо послано восемь дней назад. Господи, мало ли что могло случиться за восемь дней!

Уже смеркалось, когда Мария добралась до госпиталя. У входа продавали цветы — огненно-красные гвоздики, жёлтые астры с вялыми, свисающими лепестками, резеду, издали привлекающую дурманящим запахом, лиловато-белый львиный зев. В этом году было много цветов, их продавали с лотков и прямо из вёдер на всех углах. И было удивительно видеть их пышную яркую красоту на потревоженных улицах, среди мешков с песком, заколоченных витрин и развалин. Мария купила большую охапку гвоздик. Митя любит их... Любил...

Ей показали маленькую, не общую палату. Значит, с ним очень, очень плохо?. Она вдруг представила себе Митю по-новому, страшно иным. Не таким, каким встретила на берегу оставленной реки, и не таким, каким он

ввалился к ней после выхода из окружения, и уж, конечно, не таким, каким видела его в последний раз у баррикады. Серым, равнодушным, с мертвенными губами, с тупым, устремлённым в пустоту взглядом...

Она собрала все силы, чтобы спокойно принять его таким, какой он есть, и вошла.

— Мариночка! — окликнул её счастливый, чуть задыхающийся голос.

И она увидела прежнего Митю, каким он был до войны — с блестящими глазами и мальчишеской улыбкой.

— Митенька! — вскрикнула она, поцеловала его, а потом прикрыла его глаза гвоздиками — уж очень влюблённо сияли эти прежние глаза.

— Что с вами, Митя?

— Пустяки, Мариночка... Мария Николаевна... Замечательно удачная рана! В грудь навывлет, и, понимаете, пуля выбрала такой путь, чтобы не задеть ничего! Даже доктора говорят, что умная пуля была! И что мне теперь долго жить, раз у меня такое военное счастье.

— Вы и на самом деле выглядите счастливым, Митя!

— Да, — серьёзно сказал он. — И вы так удачно пришли... Мне было очень важно сказать вам... Но подождите, я сразу не могу. Какие гвоздики чудесные! Цветы в Ленинграде!.. А вы похудели, у вас лицо такое тоненькое стало...

Он взял и крепко сжал её руку.

— Рана в грудь, Мариночка! В грудь, а не в спину!

— В этом я не сомневалась, Митя.

— Но вы ничего не знаете ещё. Вы всё-таки совсем ничего не знаете!

— Не знает, не знает, не знает! — раздался рядом отчетливый, раздражённый голос. — Никто ничего не знает! На кой дьявол вы торчите здесь на виду?

Мария испуганно оглянулась. Человек на второй койке лежал с закрытыми глазами, он потряс кулаком в воздухе и повторил со злобой:

— На кой дьявол вы торчите здесь на виду? Уйдите, вам говорят!

— Это он не вам, — зашептал Митя. — Это он бредит. Он всё время так бредит.

Со страхом смотрела Мария на чужое недоброе лицо. Сквозь щетину отросшей бороды просвечивали синевато-белые щёки. Тёмные веки были красивы, энергично и ярко очерченный рот тоже был бы красив, если бы его не искажала судорога боли и раздражения. Марии показалось, что раненый умирает.

— Это капитан Каменский, — шопотом сказал Митя. — Мы с ним в одном бою ранены. Он в плечо, а я в грудь. Меня подобрали, а он ещё двое



суток не признавался. Потом его привезли, он сразу разузнал, кто из его людей лежит. И меня просил к нему положить. Рана была нестрашная, но получилось нагноение, температура высокая, третий день бредит... Врач боится осложнений, а он говорит — ни черта! Мне так хотелось рассказать вам о нём...

— О нём?

— Когда он не бредит, он тоже вас ждёт. Мы за вас в бой шли. Я ему рассказывал, как вы меня провожали, а руки у вас были в земле...

— Ну зачем вы это?

— Ему можно, — горячо ответил Митя. — Тут его бойцы со мною лежали, столько рассказывали! Отступали всё, и не потому, что трусы, а уж очень плохо было, миномёты, пушки, самолёты, танки — ну, вы знаете. А он вскочил с автоматом в руке, кричит: «Стой, застрелю на месте!» А потом первым попавшимся: «Стойте, ребята, вы же сознательные, храбрые парни, как вам не стыдно заодно с трусами драпать!» — и давай вместе с ним остальных заворачивать. И рубеж заняли, залегли. Он сам у пулемёта, и, как очередь пустит, обязательно лозунг кричит: «За Ленинград! За советских людей! За Россию!»

— А он кто такой?

— Не знаю. Мы с ним только одну ночь воевали вместе. Говорить почти не пришлось.

— Митя, вы просто болтун! Вы всё о себе говорили, даже обо мне успели!

— Даже? Вы у нас главная тема.

— Но почему же? И что это такое, право! Зачем?

— Вы только послушайте... Лежали мы у бугорка. Немецкая батарея — рукой подать. Слышно-, как немцы говорят. А мы ждём. В атаку итти. И он мне сказал: пойдём в бой за ленинградскую женщину, за её руки, выпачканные в земле...

Скрывая волнение, Мария засмеялась и показала руки:

— А они у меня чистые. Даже маникюр сделала.

— Вы не смейтесь, — обиженно сказал Митя, снова притянул к себе руку Марии и погладил: — вы этого не поймёте. Я себе поверил. Что могу. И что другие могут. Сперва в Бобрышева поверил, потом вот в него, а с ним — во всю силу нашу...

Мария оглянулась на раненого и смутилась: раненый смотрел на нее заинтересованно и вопросительно, взгляд его был ясен.

— Товарищ капитан, познакомьтесь, — радостно сказал Митя, — это она.

— Здрав-ствуй-те, — медленно произнёс капитан, не меняя ни позы, ни взгляда. — Очень. Рад.

Его неотрывный взгляд смущал. Мария покраснела и пробормотала:

— Как вы себя чувствуете, капитан?

— Гвоз-ди-ки, — сказал капитан.

Глаза его замутились.

— ГвоздИ-ки, — повторил он, — гвОз-ди-ки, — меняя ударение, сказал он и улыбнулся. — Кому гвоздИки, а кому гвОздики. Вот так всегда... Стучат, стучат, стучат...

Не задумываясь, то ли она делает, что нужно, Мария под села к Каменскому, положила ему на лоб холодную ладонь и заговорила тихонько, протяжно, как говорила с сыном, усыпляя его.

— А вот сейчас уже не стучат... Сейчас будет легче... Вы чувствуете, уже легче... и вы подремлите немного... а я посижу и подержу так руку, она холодная..

Капитан заснул.

— Это чудесно, — шептал Митя. — Он очень мало спит. Ему снотворное выписали, а он всё равно не спит. Я знал, что вы ему покой принесёте...

— Митя, тут какая-то мистика, честное слово!

Мария хотела отнять занемевшую руку, но капитан зашевелился и заворчал так сердито, что Мария поспешно положила ладонь на его лоб, и Каменский затих.

— Я так и представлял себе, — шептал Митя. — Я так хотел, чтобы вы узнали его. Он самый храбрый и настоящий человек из всех, кого я знаю, хотя нас было несколько сотен, когда мы шли в тыл немцам, и это все были храбрые парни... Это так хорошо, Марина! И знаете, я всё время думал о вас.

Капитан вдруг открыл глаза и сказал:

— Ну, зачем же врать, Митя? Если бы ты всё время о ней думал, тебя бы убили. В атаке человек думает, как самому убить и не быть убитым. Ей красивых слов не нужно. Верно, Марина?

Помолчав, он сказал:

— Вы извините, что я попросту. Я о вас слышал так — Марина. Положите мне руку на лоб, если вы не устали.

Митя не был ни обижен, ни рассержен замечанием капитана. Он с грустным восхищением смотрел на Каменского, на Марию, на её осторожную руку, прикрывшую влажный лоб раненого. Со щедростью юношеского обожания он ничего не жалел и ничего не желал для себя.

Когда сестра пришла сказать, что Марии пора уходить, Митя попросил её поставить цветы в воду и виновато подвинул банку с гвоздиками к постели капитана.

Каменский снова открыл глаза и требовательно спросил:

— Когда вы придёте?

— Завтра, — ответила Мария.

Она шла по затемнённом городу, уже насторожившемуся в ожидании обычного вечернего налёта, и ей совсем не было страшно, что вот-вот снова загрохочут зенитки. Она сжимала в пальцах одну маленькую гвоздику. Гвоздика выпала из банки, у неё был короткий стебелёк, Каменский подхватил её и без слов протянул Марии. Он вёл бойцов в атаку и пролил кровь за неё? Не зная, не выдав, за неё... Я приду к нему завтра. Он должен поправиться. Что это рассказывал Митя о его ранении? Она не очень вслушивалась, она ещё не знала, как это важно. Рана загноилась, врач боится... кажется, так сказал Митя? Я пойду завтра, Сизов поймёт, я же не могу бросить их без всякой заботы. Я буду приходить так часто, как только смогу. К нему и к Мите.

Захлопали зенитки — сперва дальние, потом ближние.

Она продолжала шагать, не обращая внимания на выстрелы. И её никто не останавливал, будто шла она в ином, никому не ведомом мире. «Как странно, что ещё два часа назад ничего не было, — думала она. — Разве это бывает, чтобы человек сразу стал близок?»

Люба-Соловушко называла Сашка «краснощёкий брат мой». Сашок охотно заходил к ней в гости. Люба знала и хорошо рассказывала множество удивительных историй, у неё всегда находилось что-нибудь сладкое, и, наконец, знакомство с Любой льстило его мальчишескому самолюбию. Про себя он знал, что Люба просто девчонка и недавно кончила техникум.

Но для всех она была директорша. Отец говорил о директоре с почтением и удивлялся, как это Сашка пускают в дом, а мать пугалась, не натворил бы там Сашок чего-нибудь такого, что потом стыда не оберёшься.

Среди бедствий и страхов войны Сашок жил увлекательной, необычайной жизнью. Война не пугала его, а веселила. И он сам, и его сверстники вдруг вырвались из-под опеки и жили на равных правах со взрослыми. На оборонительных работах никому не приходило в голову обращаться с ними, как с детьми. С началом учебного года они вернулись в школу, но занятий почти не было, школьники дежурили на пожарных постах. За посты на крыше дрались, настолько там было интересно — удавалось увидеть и взрыв бомбы, и воздушный бой, и гибель самолёта. Уже на самой крыше дрались за осколки зенитных снарядов, так как зенитный осколок был «валютой» — на десяток зенитных можно было выменять осколок немецкого снаряда и даже, при удаче, осколок бомбы.

После редкостной удачи с парашютистом, превратившей его в героя всей школы и даже всего района, никакие милиционеры и никакие бомбы не могли загнать Сашка в бомбоубежище. Он вечно задирал голову, подкарауливая парашютистов.

Дома тоже всё переменялось. Никто не спрашивал, куда и зачем он уходит, и никто не ругал, если приходил он поздно. С отцом, которого Сашок до войны боялся, установились новые отношения. Отец работал в одном из самых засекреченных цехов и делал что-то такое секретное, что все расспросы Сашка ни к чему не привели.

— Я ж тебя не спрашиваю, где вы баррикады построили и где огневые точки, — сказал отец, — так что, давай, товарищ, условимся: полное невмешательство в чужие дела.

Это было ново и выгодно. Когда отец попробовал отругать его за оторванный рукав куртки, Сашок торжественно провозгласил:

— А невмешательство где?

— Ишь ты! — удивился отец. — Так ведь то насчёт военных дел.

— А кто тебе сказал, что рукав — не военное дело? При выполнении н-ского задания. Вот!

— Боек стал, — одобрил отец, — растёшь!

Мать ещё в самом начале войны уехала на строительство оборонительного рубежа под Кингисепп. Там она попала «в переплёт» (что за переплёт, она так и не рассказала), потом отступала с войсками, работала на новых, всё более близких рубежах и стала специалистом по сооружению дзотов (что такое дзот, она объяснила Сашке во всех подробностях). Она приезжала домой раз в две недели на двое суток, усталая, оживлённая и грязная. Сразу бежала в баню, потом стирала всё своё и всё, что накопили муж и сын, в любую бомбёжку безмятежно и с аппетитом пила чай, после чего «заваливалась» спать. Наутро она вставала чистая, румяная, надевала пёстрое ситцевое платье с короткими рукавами, и Сашку нравилось, что руки у неё «двухцветные» — до локтей коричневые от загара, а выше молочно-белые. Мать изменилась: движения размашистые, походка напористая, голос всегда повышенный — на воздухе он был, наверное, как раз впору, а в маленькой комнате излишне громок.

Сашок вспоминал прежнюю маму — прежняя постоянно беззвучно двигалась от плиты к буфету, от швейной машины к гладильной доске, всегда что-то стряпала, шила, штопала, перекладывала, мыла, незаметно делая всё, что нужно было мужу и сыну. Ей случалось ругать Сашку за опоздание, за продранные штаны или залитую чернилами рубаху, но ругалась она беззлобно, не отрываясь от работы, и ничего не стоило ускользнуть от неё на улицу. И была она прежде ласковая. Теперь она рассуждала о работе и о войне, как мужчина, знала о военных делах много такого чего не знал не только Сашок, но и отец. А когда соседка, уклонившаяся от трудовой повинности, попробовала посочувствовать ей, мать только усмехнулась:

— А я теперь дома, пожалуй, от скуки помру...

Заметив изумлённый взгляд сына, она растерянно оглянулась, застыдившись, что кто-нибудь ещё мог услышать её слова, притянула к себе Сашку, неловко приласкала и шлёпнула по затылку:

— Ну, беги, вояка!

Когда она уезжала, Сашок хмурился и отворачивался. Тоска по былой материнской заботе и ласке щемила душу.

Однажды вечером, приглядевшись к сыну, отец сказал:

— Товарищ дорогой, долго ты ещё собираешься в коротких штанишках бегать?

Сашок не понял и удивился — он давно носил длинные брюки на выпуск.

— Да я не о том. В школе, небось, собак гоняете?

— Отчего? Когда можно, учимся. А то дежури́м. В пожарных.

— И много ты пожаров потушил, пожарный?

Сашок обиделся.

— Что ж, мне нарочно поджигать? А парашютиста я поймал.

— Ещё одного?

— Да нет... откуда же их возьмёшь столько?

— Знаешь, дружок, были у нас такие граждане, что хотели на былых заслугах всю жизнь прожить. Так их попросили заняться делом. А ты одного поганого немца забыть не можешь.

— Да я ведь к слову. Я разве виноват?..

— Вот я и говорю. Пора делом заняться. Устрою тебя на завод. Как смотришь?

— Ясно, устраивай.

Сашку было жалко вольготной жизни неучащегося школьника. Но работать на военном заводе, делающем танки и всякие засекреченные вещи, было чертовски интересно и почётно. Наутро он встретился с Любой на оборонительных работах и похвастался:

— Надоело кирпичи таскать. Решил поступить на завод.

Люба вздохнула:

— А я прошусь, прошусь...

— Не пускает?

— Не пускает...

Домашние споры о поступлении на завод шли у Любы давно. Владимир Иванович отмахивался: «Ты же оборонительные строишь? Ну, и строй. Чего тебе ещё надо?». Месяц назад Люба с увлечением строила баррикады, но теперь она непоколебимо верила, что до баррикадных боёв в городе дело не дойдёт. И то, что мальчишка. Сашок, «краснощёкий брат мой», поступает на завод раньше её, показалось Любе невыносимым.

— Я тоже пойду, — сказала она. — Даже спрашивать не буду. Я как-никак техникум кончила.

Вечером, придя домой, Сашок застал в квартире старинного отцовского друга и сослуживца Ерофеева.

— А мама где?

Сашок объяснил, смутно догадываясь, что произошло какое-то несчастье.

— Так один и живёшь? — раздумывая, повторял Ерофеев.

Наконец, он решился и посадил перед собою Сашка.

— Ну, ты парень взрослый. Возьми себя в руки. Война без горя не обходится... — Он помолчал. — Сегодня снаряд попал в цех. Отца твоего поранило... Сильно поранило. Часа два мучился... И умер.

Он снова довольно долго молчал, глядя мимо Сашка, потом сказал строго:

— Хоронить надо. Мать вызвать надо. Знаешь ты, где она работает?

Сашок не знал, не мог вспомнить. Горя ещё не было, только ошеломление. Никак не собрать было мыслей.

— Кто её посылал-то? Райсовет? — допрашивал Ерофеев. — Как же ты не знаешь, милок? Ну, живо, слетай в райсовет да разузнай толком. Торопиться с этим надо. Время-то какое!

В райсовете Сашка направили к женщине, возле которой непрерывно трещал телефон, так что она каждому посетителю отвечала в несколько приёмов, между телефонными разговорами.

— А зачем тебе адрес Аверьяновой? — подозрительно спросила она.

— Отца у нас убили, — тихо сказал Сашок.

И вдруг эти вслух произнесённые слова раскрыли ему самому всю страшную неотвратимую правду: отца убили, отца нет, и никогда больше не будет.

— Сколько горя теперь на свете! — вздохнула женщина и стала рыться в списках. — Алло! Триста человек по наряду завтра посылаю, — крикнула она в трубку. И стала водить пальцем по страницам, приговаривая — Сколько горя, боже ж мой, сколько горя...

Сашку хотелось заплакать навзрыд, чтобы женщина обняла его, пожалела, повздыхала над ним. Но женщину осаждали посетители и опять трещал телефон...

Получив бумагу с печатью и расспросив, как и куда пробираться, Сашок поехал трамваем до конца маршрута, потом пошёл пешком. Мысль о том, что он идёт на фронт, отвлекла его. Было интересно предъявить на фронтовой заставе бумагу с печатью и беспрепятственно пройти по ту сторону шлагбаума, где была уже не просто улица, а фронтовая территория.

— погоди, паренёк, — окликнул его начальник заставы. И Сашок испугался было, но начальник сказал: — Пешком итти — ноги сотрёшь. Да и что плутать в потёмках? Переспи у нас, на рассвете отправим попутной.

В тепло натопленной землянке отдыхали бойцы.

— Вот вам, ребята, сынок, — сказал начальник. — К матери добирается за Большое Кузьмино. Отца у него в городе убило. Покормите его, и пусть поспит.

Усадив его на единственный табурет, бойцы наперебой протягивали ему ломтики пайкового хлеба. От этого непривычного сочувственного внимания несчастье снова встало перед Сашком во всей своей неотвратимости, отчаяние сдавило горло, и внутри что-то засосало до тошноты — не то горе, не то голод. Но есть он не мог. Перед ним лежало столько хлеба зараз, сколько он давно уже не видел, а есть не хотелось. Сашок всхлипнул.

— Что ж поделаешь, милый, — сказал самый старший из бойцов и погладил Сашка по голове. — Война!

Сашок сердито отодвинулся, по-детски, со всхлипами перевёл дыхание, взял кусок хлеба и начал медленно жевать его. С жадностью, преодолевая тошноту, Сашок съел всё, что ему дали бойцы, а потом лёг рядом с самым старшим, усатым бойцом.

— Сирот-то сколько остаётся, — сказал усатый, прикрывая Сашка шинелью.

И Сашок заплакал, уткнувшись лицом в шинель, потому что понял, что печальное слово «сирота» отныне относится к нему.

Усатый стал гладить Сашка по голове и ерошить его волосы, и от этой ласки Сашок притих и заснул.

На рассвете его посадили на попутную машину.

Когда Сашок добрался до матери, она только взглянула на него, побелев, вытерла грязные руки о передник и взяла бумагу с печатью. Сашок думал, что она сейчас заплачет, закричит, но мать закусил губу, постояла перед Сашком, глядя в землю, а затем велела ему подождать, пока она сходит за «увольнительной».

Сашок сидел на мокрых коротких брёвнах и старался вообразить, что делают с этими брёвнами работающие тут женщины. О несчастье с отцом он не думал, но под горло всё время что-то подкатывало, не то боль, не то тошнота.

— Пойдём, — тихо сказала мать, появившись снова уже в пальто и с вещевым мешком за плечами.

Они пошли к дороге, не разговаривая. У дороги мать сказала: «Садись», а сама продолжала стоять, прямая, безмолвная. Первый же попутный грузовик взял их — мать даже не просила, шофёр сам затормозил, увидав её лицо. В городе Сашок хотел вести её в заводской клуб, но мать сказала: «домой». Дома вымылась, переделалась, накинула на голову чёрный платок.

В клубе Сашок увидел отца. Он лежал под красным флагом на высоком столе, окна были открыты, и ветер шевелил его волосы и



свисающие края флага. Люба и ещё две женщины устанавливали в изголовье горшки с цветами. Увидав Сашку, Люба не поздоровалась с ним, а виновато вздохнула и на цыпочках вышла.

Мать опустилась на колени, прижалась лицом к флагу. Плечи её мелко дрожали, как будто она озябла. Женщины заплакали. Сашок забился в угол и заревел, стараясь не смотреть на мёртвого отца с шевелящимися на ветру волосами. Хотелось прилaskаться к матери, услышать её громкий голос, но мать всё стояла на коленях и беззвучно содрогалась плечами.

На кладбище рвались снаряды. В небе чуть в стороне от кладбища шёл воздушный бой, громко стреляли за деревьями зенитки, было похоже на военный салют. Гроб опустили в яму, и старики — сослуживцы отца — начали бросать лопатами землю. Мать стояла, не плача, на краю могилы и вздрагивала при каждом глухом ударе земли, падающей на гроб. Владимир Иванович положил на могильный холм большой венок и сказал:

— Прощай, Николай Егорович!

Незнакомый Сашку старик сказал, что Николай Егорович Аверьянов был хорошим рабочим, настоящим питерским большевиком и душевным человеком и что любили его все решительно. Сашок слушал и с отчаянием сознавал, что никогда не ценил отца так, как его ценили другие.

После похорон мать была дома ещё два дня. Она непрерывно что-то делала по хозяйству, старалась посылнее накормить Сашку, но разговоров избегала. Только раз тихо сказала:

— Как же ты теперь один жить будешь?

Сашок подошёл к ней и уткнулся лицом в её плечо.

— Не уезжай, мама...

Она крепко обняла его и пробормотала:

— А как же, милый? Ведь надо.

Вечером пришла Люба. Она попросила Сашку отнести записку Владимиру Ивановичу, и Сашок отлично понял, что его нарочно отправляют из дому. Когда он вернулся, Люба сидела вся заплаканная, и мать тоже, но обе улыбались.

— Пока я на работах, — сказала мать, — будешь жить у Любовы Владимировны. Смотри только, не балуй!

Ему было странно, что Любу называют по имени-отчеству, что он будет жить у неё и что другие считают её взрослой.

Рано утром мать уехала, а Сашок с корзинкой на плече отправился к Любе. Они вместе пили чай, и Люба вела себя как взрослая.

— Тебе когда в школу? А уроки вам теперь задают?

Сашок понял, что взрослые бывают настоящими товарищами только

до тех пор, пока от них не зависишь. Интерес Любы к его школьным отметкам оскорбил его. Он хотел нагрубить ей, но Люба высунула язык и сказала:

— Насчёт алгебры я тебе сочувствую. Ужасная гадость!

— Алгебра вещь нужная, — отрезал Сашок, чтобы окончательно сбить с неё спесь. — Я ведь собираюсь после войны в инженеры-металлурги. Но сейчас работать надо. И в школу я больше не пойду.

— Правильно, — охотно согласилась Люба. — И знаешь что, Сашок? Пойдём-ка мы сегодня же на завод. Не к Владимиру Ивановичу, а прямо в отдел кадров. Оформимся — и всё.

Они робко переступили порог отдела кадров, готовясь спорить и доказывать свое право. Но их никто ни о чём не спросил, только просмотрели документы и сказали утвердительно: «Конечно, необученные?» Через десять минут Люба и Сашок вышли за ворота людьми самого ответственного военного труда — сборщиками танков.

Они собрались в запущенной квартире с дружным решением — мирному провести сегодняшней вечер. Шквалистый ветер бросал в окна колкие струи дождя, крыша гудела и звенела. И всё-таки это была тишина, блаженная тишина, отдых.

Зачинщицей вечеринки была Соня, отпущенная до утра домой. Она забежала к Любе Вихровой, надеясь узнать что-либо о Мике, а затем притащила Любу к Марии Смолиной. По телефону вызвали с завода Лизу. Прибрали квартиру, соорудили жидкий, но изящно сервированный Анной Константиновной ужин.

И вот теперь, когда все собрались за столом, Соня сама сидела притихшая, раскачивалась на стуле и слушала, слушала... Гудение ветра и дождя только подчёркивало глубокую тишину города-фронта. И тишине не верилось, как не поверилось бы сейчас, если бы вошёл Мика и сказал: больше не расстанемся.

Только Марии было весело. Андрюша ошалел от просторов квартиры, от забытых игрушек и яркого света, не похожего на тусклый свет в бомбоубежище. Он бегал из комнаты в комнату, прижимая к себе столько игрушек, сколько мог захватить, ронял их, деловито собирал и снова пускался в путь, визжа от восторга. И Мария не уставала ходить за ним и смеяться вместе с ним. Андрюша ни за что не хотел ложиться спать и заснул стоя, припав к плечу бабушки. Уложив его и постояв над ним, Мария усмехнулась своей мысли: нормальная жизнь стала праздником. И мы все так привыкли к другому, что не знаем, как и вести себя, о чём говорить.

— Спой, Соловушка, — попросила она, вернувшись к столу.

Люба послушно запела, но, не докончив песни, смолкла.

— Не могу. Помолчать хочется.

— Как странно, — сказала Анна Константиновна. — Ещё недавно я никого из вас не знала. А кажется — моя семья. Полгода назад за этим столом собирались совсем другие люди, и все они оказались не такими, как думалось... Одни лучше, другие хуже, но все не такие...

Мария удивилась внутренней жестокости её слов. Зачем напоминать о том, что лучше забыть, вычеркнуть? Она знала у матери, наряду с душевной деликатностью и тактом, беспощадность суждений в тех случаях, когда Анна Константиновна считала нужным высказаться. Но зачем ей это сегодня?

— Мерила другие, — сказала Мария примирительно. — И другое мы в людях ценим.

— Нет, — решительно отвергла Анна Константиновна. — Ценим мы всё то же. А вот видеть стали зорче. И что касается меня, так я благодарна своей судьбе — хотите верьте, хотите нет! — что научилась вот так видеть и оценивать людей. А у меня жизнь к концу.

Она помолчала и многозначительно добавила:

— Вам, молодёжи, это ещё дороже. Вам с людьми всю жизнь жить.

Мария легонько обняла мать. Вчера Анна Константиновна, что-то почуяв материнским чутьём, заставила Марию рассказать про Каменского. Мария рассказала только про бой «за руки, выпачканные в земле», про встречу в госпитале и то чувство давнишней дружбы, которое внушил ей странный человек. Большого она не рассказала, да и было ли что рассказать? Было ли место зарождению новой любви в её душе, потрясённой недавним ударом, и могла ли сейчас, среди бомб и смертей, зародиться любовь? Разве время теперь для любви, для личной жизни? Нет, теперь нелепо и даже стыдно об этом думать... Но мать по-своему истолковала рассказ дочери и «расчищала почву» для нового чувства, обесценивая старое.

— Надо сперва победить, — отвечая на эту попытку матери, сказала Мария.

Соня поняла её иначе и возмутилась:

— Никаких сперва! Мы потому и победим, что проверяем и подтягиваем друг друга! И есть сейчас только одни стоящие люди — с которыми вместе воевать хорошо. А тех, кто себя спасает — тех я и за людей не считаю. А выживу до конца войны — руки не подам!

— Ишь ты! — мягко упрекнула Люба. — Да как ты судить можешь, кто спасается, а кто честно в тылу работает? Так ведь половину народа со счетов сбросишь..

— А что ты сама говорила про инженера какого-то, который трясся — лишь бы скорее уехать?

Люба рассмеялась:

— Так он трясся!..

— А я их по глазам отличу — кто человек, а кто — т тьфу! — вдруг азартно заявила незлобивая Мироша.

Упорно молчавшая Лиза вскинула глаза и с отчаянием сказала:

— Ничего мы не понимаем в людях толком, пока они живы. Ни-че-го! Почитайте, как об умерших пишут. Вы думаете, неправду пишут? Нет. Просто, умрёт человек — и начинают понимать, какой он был. И ценить. А

при жизни мы считаем людей хуже, чем они есть.

— Наоборот! — вскричала Мария, продолжая думать о своём.

— Да нет, Лиза умно сказала, — удивилась Соня. И спросила с усмешкой: — Что ты читаешь сейчас, Лиза?

— Каждую ночь одно и то же, — ответила Лиза, вскочила и быстро вышла из комнаты.

— Ого, как у неё нервы сдают, — снисходительно сказала Соня.

Мироша заступилась:

— А ты не смейся. Очень изменилась Лизанька.

— Ещё бы, — легкомысленно подхватила Соня. — Телефонную барышню с локонами, и вдруг — под бомбы! Изменишься...

Марию задела насмешка Сони. Ей казалось, что требовательность к людям, необходимая в такой войне, невозможна без доброты к ним. Чем менее был подготовлен человек к испытанию, тем ему труднее: И тем больше чести ему, если он держится. А молодечество было хорошо в первые дни. Сейчас оно наивно... и глуповато.

— По-моему, все изменились, — сказала она, — а может быть, стали более настоящими. Самими собою. Кроме Сони, — добавила она добродушно.

— Это я не сама собой? — взметнулась Соня.

— А и правда, — поддержала Марию Мироша. — Ты всё ещё играешь, Сонечка. В куклы.

— Я?!

— И дай тебе бог до конца войны остаться такою... Легче...

Люба вдруг снова рассмеялась про себя.

— Ты что? — спросила Мария.

— Я сейчас подумала, что мы завидуем уехавшим..

— Мы?! — возмутились в один голос все.

— Вот честное слово! — с озорством настаивала Люба. — Заставь нас уехать — не поедем. Из гордости, из патриотизма, из самолюбия — не поедем! И всё-таки нам страшно и хочется, чтобы всем было страшно вместе с нами. И всё-таки мы завидуем, что вот уехали люди и над ними не свистят бомбы. И никакая пушка до них не достанет. Владимир Иванович всегда внушает мне, что эвакуация — государственная необходимость, и наша беда в том, что мы мало эвакуировали. А покопайся у него в душе — он уважает именно тех, кто не хотел ехать.

— Это разные вещи! — возразила Соня.

— Может быть, Люба и права, — в раздумье сказала Мария, — но ты говоришь — государственная необходимость. А мы ведь презираем не тех,

кто о государстве думал, а кто шкуру свою спасал. Впрочем, ты права — у нас есть личное раздражение оттого, что нам страшно, оттого, что нам плохо...

— А разве мы все могли бы держаться, если бы думали, что правильнее уехать? — спросила Анна Константиновна. — Вот Мусе, конечно, нужно было уехать. С Андрюшей. Но когда Андрюша вырастет, ей было бы стыдно рассказать ему об этом. А так она расскажет с гордостью, и Андрюша будет гордиться.

От двери раздался мрачный голос:

— Надо ещё дожить до рассказов...

Лиза стояла у самой двери, припав спиной к стене, в полумраке поблескивали её глаза.

— Фу ты, панихида какая! — рассердилась Соня. — Лучше уж в куклы играть, чем такую скуку разводить.

— А я не вижу, чему радоваться, — сказала Лиза.

Мария подошла к ней и обняла её неподатливые плечи.

— Самим себе и друг другу, — тихо сказала она. — Что с тобою, Лиза? Лиза перестала упираться, беспомощно приникла к Марии.

— Случилось что-нибудь, Лизуша?

— Да, — шопотом ответила Лиза, — только не надо... никогда не спрашивайте... прошу вас...

— Хорошо, — шопотом пообещала Мария, поцеловала её и, обняв, подвела к столу.

— Вы послушайте, как непогода поёт! — сказала Мироша.

И все прислушались к гулу непогоды, радуясь, что непогода не ослабевает.

Ревела буря, дождь шумел...

неожиданно звучно запела Люба. И так же неожиданно, сильным и свободным голосом подхватила песню Анна Константиновна. Старательно и неверно поддержала Соня, за нею вполголоса Мария. Только Лиза молчала, да Мироша, с умилением оглядывая всех, покачивалась в такт песне.

— Боец Кружкова, шагом марш — спать! — сама себе скомандовала Соня, когда песня смолкла. И с привычной требовательностью обратилась к тётке — Мироша, в пять с половиной буди!

— А я-то! Ведь трамвай пропущу! — всполошилась Люба. — Муся,

проводи меня, золотко.

В передней Мария тихо попросила:

— Соловушка, ты теперь на заводе. Посмотри за Лизой. Что у неё случилось, не знаю. Но ей плохо.

— Ладно, всё будет в порядке.

Люба была непоколебимо уверена, что стоит взяться — и всё можно исправить и всякой беде помочь.

Целуя мать перед сном, Мария сказала ей обычные два слова:

— Спокойной ночи.

Но каким смыслом наполнились сейчас эти обычные слова!

И Анна Константиновна ответила, блаженно зевая:

— Выспимся за все дни...

Но — странно — сон не шёл к Марии, когда она с наслаждением вытянулась в постели. Давешний разговор растревожил её. И тревожила тишина, подчёркиваемая гулом ветра и дождя. Она уже давно научилась моментально засыпать и во время воздушной тревоги, и во время обстрела, если только не надо было дежурить. Она научилась успокаивать себя: «это не у нас» — и не прислушиваться к стрельбе и грохоту, если они не затрагивали её «квадрат». Она научилась отстранять своё горе, как если бы его не было. Порою ей удавалось убедить себя, что не было ни любви, ни горького разочарования, ни страшной опустошённости сердца. Порою она забывала о письмах, написанных красивым, гладким почерком... А сейчас, в невоенной тишине ночи, в мягкой и чистой постели, оставшись наедине с самой собою, она не могла уйти ни от войны, ни от прошлого, и всё горькое, не до конца решённое, нахлынуло на неё. И она металась в бессонной тоске, и затихающий шум непогоды нашёптывал ей: скоро рассвет, скоро прояснится, отдыха не будет.

Она не помнила, как, наконец, заснула, и утром не могла вспомнить, что томило её. Осталось только ощущение, что мать наивно, по-женски восприняла её рассказ о Каменском. Так, как будто нет ни войны, ни блокады, ни долга, поглощающего всё остальное. Но боль и смятение, питавшие бессонницу, не касались Каменского.

Унылые пятна фанеры раздражали глаза и, казалось, усиливали духоту в комнате. Мария распахнула окно, и навстречу ей рванулась ветреная свежесть осеннего утра. И, как будто впущенная Марией вместе с ветром, где-то за парящими на солнце крышами возникла и стала шириться заунывная разноголосица сирен.

— Ну, вот, — без досады сказала Мария.

Военная реальность вступала в свои права.

— Облачность разогнало, они скоро не прорвутся, — убеждённо, как знаток, заявила за спиною дочери Анна Константиновна. — Идём пить чай.



Чувство неловкости сковывало Марию, когда она снова переступила порог маленькой палаты. Митя сидел на койке, свесив босые ноги, и при входе Марии торопливо подобрал их под одеяло. Она старалась не смотреть в сторону Каменского, но именно его настойчивый голос встретил её:

— Наконец-то!

И затем:

— Почему вы нас забыли? Вы обещали прийти в пятницу!

Она улыбнулась и пожала плечами.

— Я вижу, вам лучше. Как ваше плечо?

— Отвратительно, — желчно сказал Каменский и смолк.

Митя покосился на него и стал виновато объяснять:

— Мы очень волновались, что вы не пришли, как обещали. Такие бомбёжки были! Мы всё прислушивались и определяли, где бомбы падают. И казалось — все в вашем районе.

Подобрев и утратив чувство неловкости, Мария села на табурет между двумя койками и стала рассказывать, что делала эти дни и как живут горожане. Избегая всего печального, она старалась отыскать в этом странном, полуфронтном, полугородском быту забавные чёрточки.

— Иду я мимо очереди, — рассказывала Мария, — две женщины ругаются: «Не бббыло здесь этой в синем пплатке», — заикается одна. «Была и будет, и перед вами пойдёт!» — настаивает другая. Вдруг свист, снаряд рвётся в нескольких шагах, вся очередь повалилась на тротуар. Пыль, дым. И вот все встают, соблюдая очередь, отряхиваются, и та, что ругалась, головой трясёт, чтобы извёстку стряхнуть, и кричит: «Ппосле меня хххоть ддесять ссиних пплатков, а я нне ппущу, и ввсё тут!»

Мария смеялась, и Митя тоже смеялся. Но, посмотрев на Каменского, оба смолкли.

— Что вы, Леонид Иванович? — тихо спросила Мария.

— А я тут лежи... лежи, как колода... — сквозь зубы простонал он.

Мария придвинулась к нему и тайком заглянула в температурный листок. Кривая температур колебалась между тридцатью семью и тридцатью девятью. Лихорадка упорно держалась, рана заживала медленно. Мария знала, как раздражало Каменского, что ранение помешало ему принять полк, и как страстно хотелось ему скорее подняться и

участвовать в войне.

Она стала тихонько говорить с ним, уверяя, что лихорадка уже проходит, а потом его очень быстро выпустят из госпиталя; перевязки можно делать и в полку, а под расписку выпустят, она знает случаи... Веря и не веря, он спрашивал, какие случаи она знает, и она тут же придумывала их со всеми подробностями.

Он взял её руку, осторожно поцеловал и сказал:

— Вас судьба послала ко мне, Марина.

— А раз судьба, значит, слушайте меня, и всё будет хорошо, — ответила Мария.

Каменский поморщился. Он не хотел шутить.

— Ну, расскажите, что в сводках. Под Москвой?

Зная, что Каменскому не дают газет, она отвечала коротко, стараясь рассказывать только о том, о чём он уже знал или догадывался.

— Это глупо — скрывать правду от взрослого человека, — резко сказал Каменский. — Вы думаете, я не знаю, что мы ещё будем отступать, что нам ещё долго будет трудно?

— Но под Ленинградом-то их остановили? Ростов держится. . И наше наступление под Ельней.

— Дорогая! Кто был на фронте и видел, сколько у них самолётов и сколько у нас, сколько у них танков и сколько у нас... Нам надо создать перевес в технике. На это нужно время. Вот Митя вам расскажет, сколько он прошёл, пока силу почувал. И если он сейчас выйдет настоящим солдатом, так потому, что ему посчастливилось видеть, как немцы перед ним пятками засверкали. Превратить миллионы штатских людей в воинов — на это тоже время нужно.

— Значит, война будет долго, и нечего вам нервничать из-за двух-трёх недель, — вставила Мария.

— А если я знаю, что я могу лучше, чем многие, воспитать солдат из людей, что мне доверены? Я умею это делать и должен делать. А первую задачу решает тыл — и, в частности, ваш муж, которого вы зря осуждаете.

— Вас неверно информировали, — бледнея, отрезала Мария. — У меня нет мужа.

Она возмущённо оглянулась на Митю. Но Мити не было. Когда и зачем он выскользнул из палаты? Эта непрошенная услуга разозлила Марию. Чувство неловкости вернулось, усиленное последними словами Каменского. Но Каменский, видимо, не собирался переходить на личные темы и продолжал, всё более возбуждаясь:

— А потом, почему вы думаете, что победа предрешена и дело только

в сроках? Мы можем и должны победить, если мы решим эти задачи и многие другие. Но ведь мы должны *успеть*. А что, если мы не успеем и немцы сумеют раздавить нас раньше?

— Нет! — воскликнула Мария. — Этого не будет!

— Не будет, — согласился Каменский. — Но почему? Потому, что мы *должны* успеть и успеем, если не только неделя — *день, час, минута* будут на счету.

— Потому, что весь народ поднялся, — сказала Мария и вспомнила новое чувство, возникшее у неё на строительстве баррикад, что и она, и Лиза, и Мироша, и Сашок, и Соловушко, и Соня, и Сизов, и Григорьева — это и есть народ, способный на всё и за всё отвечающий. Но вслух она выразила то же проще: — Знаете, у меня даже мама теперь начальник пожарного звена. И страшный педант в отношении пожарных правил. Так смешно..

— Совсем не смешно! — воскликнул Каменский, и лицо его стало счастливым и добрым. — Это и есть Отечественная война. О-те-чест-вен-на-я! — повторил он с удовольствием, вспоминая бывшего начальника штаба полка и его крушение (то, что начштаба так быстро слетел, показалось ему теперь ещё одним чудесным, победным признаком). — Но ведь отечество-то у нас особое, социалистическое. Значит, мы воюем не только с немцами? А и со всеми, кто ненавидит социализм. И нам нужно победить, хотя бы обезвредить своих врагов во всём мире. А то они нас задавят — попытаются задавить, во всяком случае.

— Вы считаете это возможным — повторение восемнадцатого года? — усомнилась Мария. — Крестовый поход четырнадцати государств против Советского Союза?

— А Мюнхен? — вопросом на вопрос ответил Каменский. — Разве Мюнхен не был подготовкой к нему? Немцы хотели нового сговора. Это им не удалось. Уже не удалось. Вот громадная победа! Договором с Германией в тридцать девятом году мы выбили карты из рук мюнхенцев, расшатали блок против нас. И сказали всяким чемберленам: «В вашей подлой игре мы не участвуем». А Гитлер не понял, что, кроме чемберленов, есть народы. И есть социалистическая держава. Так за это он и поплатится!

Мария знала, что Каменскому вредно много говорить, но разговор интересовал её, собственные разрозненные мысли приходили в порядок и прояснялись.

— Говорите тише и спокойнее, вам нельзя, — нежно попросила она. — Я всё время думала, что эта наша война — и Отечественная, и классовая... верно?

— А как же! — не обращая внимания на её просьбу, вскричал Каменский. — Фашизм-то что такое? Квинтэссенция воинствующего империализма! Так разве капиталистическим тузам немецкий фашист не ближе, чем русский большевик? И разве они не понимают, что после этой войны революционная демократия будет во всём мире сильнее, чем когда-либо! Так что им интересы своей страны перед перспективой потерять власть и доходы?

Он откинулся, утомлённый, глаза закрылись. Мария не шевелилась, боясь испугнуть его мгновенную дремоту. Но Каменский улыбнулся и проговорил, не открывая глаз:

— Очень хочется дожить до после-войны, Марина..

И, вдруг смутившись, заметил:

— Куда ж это Митя исчез?

— Я позову его, — торопливо сказала Мария.

Митя со страдающим лицом болтался по коридору.

Он выскользнул из палаты по доброму и самоотверженному побуждению, потому что видел, как нетерпеливо ждал Марию Каменский все эти дни и как преобразился, услышав издали её шаги. Но, оставив его вдвоём с Марией, Митя ощутил себя забытым, никому не нужным.

— Митюша, куда же вы сбежали?

— Я думал, он заснёт, — мужественно солгал Митя и вместе с Марией вернулся в палату.

— Что ж ты свою гостью покинул? — встретил его Каменский. — А мы тут всё международное и военное положение обсудили.

По успокоенно-радостному лицу Каменского и по смущению Марии Митя догадался, что им было хорошо вдвоём и позвали его просто из вежливости.

— А у нас в коридоре тоже дискуссия была, — грубоватым голосом сказал он. — Когда ни выйдешь, бойцы войну обсуждают.

— Ну, и что говорят? — быстро спросил Каменский.

«Нет, мне просто показалось», с облегчением решил Митя, так как думал, что любовь заслоняет все другие интересы.

— Верят бойцы, — начал он, вступая в разговор, в котором уже не чувствовал себя лишним. — Только один есть дядька, тот мрачно на всё смотрит: «Нет, не одолеть немца, где уж против такой силищи!» А потом и говорит: «Ох, не нравится мне война! После войны попрошусь на колхозную пасеку, буду пчёлку разводить, солнышку радоваться, чай с медком пить... Вот это жизнь!» Ему и говорят бойцы: «Да какая же колхозная пасека, когда ты говоришь — не одолеть! После войны ты,

выходит, под немцем будешь». Он так и подскочил: «То-есть как это под немцем? Что вы, братцы! Я говорю в том смысле, что трудно. А в конце концов, понятно, справимся!»

— Вот оно, вот оно! — восторженно воскликнул Каменский. — Чувствуете, Марина?

«Нет, не показалось», — сказал себе Митя и, покорясь грустной неизбежности, со стороны оглядел двух самых милых ему людей — да, они хороши вместе, да, так и должно быть...

Он потерял дар слова, когда Мария спросила, прощаясь в коридоре:

— Может быть, не приходите больше, Митя? А то вы меня бросили сегодня с вашим соседом, как будто я не к вам пришла...

Слова, смутившие Митю, она сказала не шутя, от всей души. С неё хватит! Она не хочет никаких новых отношений — это всё лишь новые тяготы и беспокойство. Неожиданное вторжение Каменского в её жизнь показалось помехой, отвлечением от сурового и делового строя жизни. И с какой стати этот человек так уверенно навязывает ей свою близость? «Судьба послала..» Ей это не нужно. Ей ничего не нужно, кроме того, чтобы жив был и здоров Андрюшка, чтобы на объекте всё было в порядке, чтобы немцы не вошли в Ленинград...

Она быстро шла по улицам. Хотелось до начала вечернего налёта успеть на объект и проверить расселение нескольких семейств, переехавших из разбомблённых домов. Это была её идея — создать в клубе общежитие для пострадавших рабочих. Но сколько прибавилось хлопот с появлением новых людей! Им нужно стряпать, стирать, укрываться во время тревог. Надо найти среди них пополнение для группы самозащиты. А как они будут вести себя, эти незнакомые люди, после того, как их уже однажды разбомбило?

Воздушная тревога захватила Марию в пути, и хотя она старалась не попадаться на глаза милиционерам и дежурным, её все-таки перехватили и загнали в убежище большого, благоустроенного дома. В убежище было очень светло и чисто, рядами стояли скамейки и стулья, на столах были разложены газеты и журналы, две сандружинницы в белых халатах следили за порядком. Мария с интересом осматривалась, прикидывая, что и как улучшить у себя.

Шум спора отвлек её. Пожилая дама в старых лайковых перчатках пристроилась рядом с нею и, стараясь загородить нарушение порядка своей широкой спиной, что-то варила на маленькой спиртовке. Женщины заметили её хитрость и подняли шум, уверяя, что спиртовка отравляет воздух и обязательно вызовет пожар.

— Но это же спиртовка! для щипцов! — уверяла дама, отбивая словесные атаки и упрямо продолжая держать кастрюльку над синим пламенем. — Это же спиртовка! дорожная! её в международном вагоне зажигать разрешают!

— А вот вы в международном и жгите! — кричали женщины.

Полная сандружинница с очень ясным, худощавым лицом подошла на шум и негромко спросила, в чём дело. Её мягкая и властная манера

разговаривать понравилась Марии. Выяснилось, что дама греет кашу для годовалого внука. Сандружинница принесла железный лист и предложила поставить на него спиртовку во избежание пожара.

— Вера Даниловна, ваша власть, а только несправедливо, — сказала одна из женщин, — у меня дочке тоже второй год, а я наверх бегаю кашу греть! Значит, и я могу со своим примусом сюда? У меня-то международных спиртовок нету!

— Тащите сюда кашу, гражданка даст вам согреть на своей спиртовке, — сказала сандружинница.

Тут возмутилась дама в лайковых перчатках.

— Да что вы, Вера Даниловна! Теперь спирт — такая редкость. Разве на всех напасёшься?

— А вы хотите только для себя? Тогда надо и греть у себя в квартире, — не повышая голоса, сказала Вера Подгорная. — Ведь мы убежище создавали и для вас, и для вашей семьи? И воздух вы сейчас ухудшаете для всех. Надо и о других думать.

Вера Подгорная устало опустилась на скамейку рядом с Марией и с еле заметной лукавой усмешкой наблюдала, как дама торопливо тушит спиртовку. Мария с растущей симпатией разглядывала худощавое, тонкое лицо сандружинницы и её непропорционально полную фигуру. И вдруг поняла, что полнота — от беременности.

Дама, держа руками в перчатках кастрюльку с кашей, поплыла через убежище в детскую комнату. «Международная» спиртовка в кожаном мешочке болталась у её локтя.

— Таковую не скоро научишь о других думать, — сказала Мария. — Правда?

— Она неплохая, — задумчиво ответила Вера Подгорная. — Её муж — крупный учёный. Она очень нежно заботится о нём и все тяготы нынешней жизни берёт на себя, чтобы он продолжал свою работу. Сын её в армии, невестка тоже работает, внучонок у неё на руках. Но это все... свои, что ли. А в чужих людях видеть своих... этому мы все только учимся.

— А всё же никогда не чувствовалось так, как теперь, что все едины, — сказала Мария. И спросила, показав взглядом на располневшую талию собеседницы: — Очень трудно вам?

— И трудно, и легче, — коротко ответила Вера Подгорная и встала. — Дороже этого ведь ничего нет...

Она пошла по убежищу, останавливаясь то тут, то там, чтобы успокоить взволнованных или приласкать ребёнка. Мария проводила её глазами, охваченная неясным сожалением, что уходит навсегда женщина,

которая могла бы быть другом. И что эту женщину ждёт страшное испытание — материнство среди смерти, в осаждённом городе. «Но к тому времени всё уже кончится, — сказала себе Мария, — не может это тянуться так долго...» — «А если долго, — не выдержишь?» — тотчас раздражённо спросила она себя. — «Я выдержу. Но все ли смогут выдержать?» — «А чем ты лучше других? Полгода назад и ты никогда не поверила бы, что выдержишь..» — «Но вот эта молодая мать... эта барыня в лайковых перчатках и её учёный муж... и годовалый внук... а Андрюша? Он уже теперь без молока, без прогулок, без нормального ухода и питания, в спёртом воздухе убежища...»

Это был давнишний разговор с самой собою, конца у него не было. Мария тряхнула головой и огляделась, чтобы развлечься. Но зрелище переполненной людьми подвала было надоедливо знакомо. Она откинулась к стене и решила отдохнуть, ни на что не обращая внимания. Может быть, удастся и задремать...

Не стрельба, не близкий удар бомбы, а внутренний толчок — нельзя! — заставил её очнуться. Мир, в который она погрузилась сонной мыслью, был мир запретный. Она ведь не хотела заглядывать в него, не позволяла себе даже касаться его воспоминанием. Дремота ослабила контроль разума. В спёртый воздух убежища вдруг просочилось свежее дуновение речного воздуха. Белые цветы табака раскрылись и вплели в запахи речных трав, нагретого сена и сосен свой острый томящий запах.

Она закрывает глаза и чуть покачивается, поддерживаемая сильной, нежной рукой, и так хорошо, так спокойно, так без слов понятна и желанна любовь... «Становится свежо. Ты не озябнешь?» — «Нет, милый, что ты!» И опять тишина, тишина — только тихий стрекот воды, перебегающей через корягу, да кузнечики в траве... В этой благостной тишине качаются воспоминания, они поднимаются лёгкими пластами, как туман над рекой, и мысль жадно встречает их и перебирает, и уже не туман, а яркие видения, похожие на явь, встают перед широко раскрытыми глазами.

Первая встреча в райисполкоме на совещании... Мария выступает сердито, запальчиво, она возмущена волокитой со строительством школы по её проекту — по её первому проекту! Она заранее ненавидит этого Трубникова, который якобы сказал, что у него есть заботы поважнее. А он слушал её без досады, и когда она кончила, улыбнулся своей обаятельной улыбкой: «Что верно, то верно! Вы ещё мало ругали меня! Ничего, товарищ архитектор, исправим!» Она подумала тогда, что он знает обаяние своей улыбки и умело пользуется им. Но всё же он ей понравился. А главное, он сразу так безусловно поддержал её требования, так быстро помог!



Осмотр площадки, деловые споры, в которых она не проявляла ни уступчивости, ни мягкости... И внимательные глаза Трубникова, следующие за нею, куда бы она ни пошла. Он отвёз её в город на своей машине и вдруг предложил: «Хотите, покатаемся немного на недозволенной скорости?» От смущения она сердито буркнула: «Хочу»... Была уже ночь, когда они возвращались из этой сумасшедшей поездки, машина шла совсем тихо, а Борис, держа руль одной рукой, другою изредка касался её руки и вполголоса рассказывал ей, сколько у него разнообразных забот и дел, как трудно со всем управиться и как он любит свой район, где каждый камень и каждое дерево о чём-то напоминают... У Дома колхозника он сказал, помогая ей выйти: «А теперь все дороги района будут напоминать мне о вас». Как ей не хотелось тогда расставаться! И ему тоже... Он воскликнул с негодованием: «И зачем это люди спят?» — Через два дня он вызвал её в райисполком. После короткого делового разговора предложил, чуть улыбнувшись: «Поедемте сегодня к вечеру на стройку, я сам договорюсь о материале и рабочих — и, если позволите, опять нарушу постановление о скорости». Она ответила, очень довольная: «Вы местная власть, вам виднее, какие постановления обязательны!» Они поехали и остались ночевать в селе — Мария у учительницы, Трубников у председателя. Борис разбудил её на рассвете и увёз опять в головокружительную поездку «навстречу солнцу». Автомобиль нёсся через поля, обрызганные росой, через леса, ещё тёмные и пахнущие ночной сыростью, проносился над реками, розовыми от зари. А потом они гуляли по мокрой траве в лучах встающего солнца, и первый поцелуй был неожидан, радостен и чист, как утро. И Марии казалось, что вся простая, раскрытая солнцу природа благословляет её любовь.

Очнувшись и с изумлением оглядывая незнакомый подвал с незнакомыми людьми, Мария ещё слышала свою мысль, звучавшую как бы со стороны: «Вот так начинается любовь». Это было продолжение внутреннего спора, ответ кому-то...

«О ком ты вспоминаешь? Зачем?» — спросила себя Мария с презрением. Теперь она точно знала, что воспоминания пришли к ней не впервые. Это они, в недавнюю не по-военному тихую ночь, томили её бессонницей. Они жили в ней всё время, тлея, как горячие угли под пеплом, и при каждом движении, при каждом дуновении, шевелившем пепел, вспыхивали и обжигали... Да, можно расстаться с человеком, если нет другого решения в душе. Можно научиться не любить его. Можно презирать его. Даже презирать... Но солнечное утро остаётся солнечным утром, и упоение сумасшедшей скорости, весёлости и разом вспыхнувшей

страсти будет вспоминаться по-прежнему прекрасным. Разве вычеркнешь из памяти самые лучшие годы только потому, что они прожиты с человеком, который изменил в тяжёлый час? Разве скажешь самой себе уничтожающие слова: «Ты любила зря. Твоё волнение было глупо. Твоя радость — нелепа. Твои лучшие переживания — самообман, ошибка. Ничего не было. Ты видела человека не таким, каков он есть, ты сама выдумала своё счастье!»

Она искала другого выхода, чтобы оставить нетронутыми эти драгоценные воспоминания. «Он сам не знал, что сдрейфит», — сказал Сизов. Да, он сам не знал этого, он был хорошим, умным, весёлым, он никогда не думал, что способен струсить в тяжёлый час... Да и думал ли он о том, что может настать тяжёлый час? И вот жизнь поставила его перед выбором — остаться для смертельной борьбы или уехать. Если бы ему приказали остаться, он, конечно, остался бы... Но жизнь позволила ему решать. Он мог выполнить свой долг руководителя до конца, как это сделал Гудимов, или поступить вопреки своему долгу, но так, что формально его не обвинишь... Преступление, совершённое в глубине души, не подсудно, не доказано...

А письма?

Не слушая то затихающего, то нарастающего гула войны, Мария требовала от самой себя беспощадной откровенности. А письма? Его гладкие письма, где те же заученно-правильные слова, где ни разу не прорвалось искреннее чувство стыда, где в порыве самооправдания он смеет упрекать её в фанатизме и равнодушии к сыну. Он ничего не хочет признавать, ни в чём не раскаивается, он только старается оправдать себя... Как бельмо на глазу, мешает ему и раздражает его сейчас образ когда-то любимой женщины. А Гудимов? Вспоминает ли он Гудимова и тот жестокий разговор, который, очевидно, произошёл между ними? А Оля? Как он при встрече посмотрит в глаза своей сестре?

Мария побледнела, сообразив, что он просто не верит в то, что они останутся живы.

«Ты человек или ты баба? — со злостью сказала она себе. — Ты не побежала вместе с ним, ты не захотела прикрыться формальной правотой... Так что же ты теперь тешишься воспоминаниями, когда ты знаешь, что он предал тебя и сына и свою родину, что он мелкий себялюбивый трус?.. Пусть все оправдают его и простят, но я-то знаю, что он просто струсил. Я-то никогда, никогда не смогу броситься к нему навстречу, как раньше, никогда не смогу сказать Андрюше — вот твой отец, люби его и уважай!

Андрюша... Все мысли, в конце концов, сходились к нему. Он

вырастет и спросит: «Кто мой папа?» «Почему у меня нет папы?» И будет так трудно в дни далёкого мира рассказать и объяснить ему. Поймет ли он неумолимую требовательность наших дней, этот суровый и беспощадный свет, обнажающий самую суть человека?.. Должен понять. Если она сумеет воспитать сына честным, смелым, неспособным на сделки с совестью... Воспитать бы только, вырастить бы только!.. А что если он погибнет сегодня или завтра?.. Она ни в чём не поступилась перед судом своей совести, но она не имела силы оторвать сына от себя и отправить в безопасный тыл. Если он выживет, он будет уважать её и гордиться ею... Но если он не выживет, а она по злой случайности останется жива — как она оправдается. . не перед Трубниковым, а перед самой собою?.

В убежище началось шумное движение к выходу. В открытую дверь влетела мелодия отбоя, и Мария обрадовалась ей, как спасению от гнетущих мыслей.

У двери она снова увидела приглянувшуюся ей сандружинницу. Вера Подгорная выпускала людей из убежища, стараясь предотвратить давку. В её истомлённом лице и негромком голосе сквозила огромная, давняя усталость. И всё-таки она тоже никуда не уехала? И она тоже связала свою судьбу и судьбу своего ребёнка с судьбою города?

Мария добежала до строительной конторы и чуть не расцеловала дежурную Тимошкину, когда та, поднявшись, рапортовала ей, что никаких происшествий на объекте не произошло. Всё показалось Марии многообещающе хорошим и простым, как только она увидела вокруг знакомые лица и почувствовала себя включённой в привычный круг военных хлопот.

— Тимошкина! — сказала она весело. — Сходи в общежитие и вызови ко мне старших от каждой семьи. Начнём наводить порядок!

Когда Люба Вихрова выбрала себе профессию монтажера, она была уверена, что выбрала лучшую профессию на свете. В самой силе электричества уже была чудодейственность. А человек, управляющий чудесной силой, был безусловно сродни доброму волшебнику.

Дочь заводского ветерана, вышедшего на пенсию, Люба по традиции готовилась поступить на завод, с которым была связана вся семья. У неё был прекрасный голос, и одно время она мечтала об оперной сцене, но отец и слышать не хотел об этом: «Пой себе на здоровье, когда хочется, а на работе надо заниматься делом». Люба легко согласилась, как вообще легко соглашалась на всё. Про себя она знала, что её ждёт необычайная судьба, какую встретишь только в романах. Пока жизнь шла обыденно, Люба училась, сдавала экзамены, пела для своего удовольствия, а всё свободное время зачитывалась приключениями.

Однажды в библиотеке заводского дома культуры Люба увидела хорошо одетого, немолодого человека с энергичным лицом. Он вошёл быстрыми, деловыми шагами и сказал, не обращая внимания на то, что библиотекарьша занята с Любой:

— Дайте мне какую-нибудь книжку на ночь. Поинтереснее, чтоб не заснуть.

Люба охотно посторонилась, пропуская вне очереди странного человека, не желающего спать. А библиотекарьша стала предлагать разные книги, и, по мнению Любы, вела себя страшно глупо. Она вытаскивала толстые романы современных авторов только потому, что это были новинки. «А этого вы ещё не читали?» Странный человек перелистывал книги и не соблазнялся ни Фейхтвангером, ни Томасом Манном, ни Генрихом.

— Господи боже мой! — потеряв терпение, вскричала Люба. — Если вы хотите не заснуть, возьмите вот это! Я до шести утра прыгала на кровати от нетерпения: что будет дальше?

Библиотекарьша неодобрительно покачала головой, но человек, не желавший спать, с весёлой готовностью взял протянутую Любой книгу.

— Такой читательнице грех не поверить, — сказал он. — Вот только книга толстая. А мне надо дождаться разговора с Москвой в три часа ночи. До шести мне прыгать ни к чему. Как же быть?

— Читайте с середины, — посоветовала Люба. — Будет ещё

интереснее.

Он засмеялся и ушёл, не дожидаясь, чтобы библиотекарьша оформила выдачу книги.

— Какой чудак! — фыркнула Люба.

Библиотекарьша укоризненно поджала губы:

— Это Владимир Иванович Снегирев, директор.

Через два дня, когда Люба меняла книги, в библиотеке снова появился Владимир Иванович. Гордясь своей ролью консультанта, Люба спросила его:

— Ну, как интересно?

Он узнал её и обрадовался.

— Здорово! — воскликнул он. — Я очень рад, что вы здесь. Ну-ка, что вы сдаёте на этот раз?

Просмотрев книги, сдаваемые Любой, он попросил переписать их на его карточку.

— Я даже забыл, что на свете бывают такие приключения, — сказал он потрясённой библиотекарьше. — Без промфинплана и без себестоимости продукции. Это освежает, как душ. Кто вы такая, девушка, что так здорово выбираете книги?

— Вихрова Люба, — независимо подняв голову, представилась она.

— Снегирев Владимир, — подражая ей, представился он.

— Я знаю, вы были учеником моего отца, — сказала Люба, чтобы он не задавался.

— Ого! Владимира Никитича дочка? То-то вижу — умная. Ну, как старик? Я к нему давно собираюсь. Поедемте сейчас, а?

Люба впервые ехала в легковой машине — правда, всего четыре квартала. Отец с большим достоинством встретил гостя, давал ему советы насчёт производства и угощал солёными огурчиками, грибочками и настойкой собственного изготовления. Владимиру Ивановичу всё очень нравилось.

— Вы не поверите, — восклицал он, — живу, как зачумленный. Кроме завода, ничего не вижу.

— Больно рано вас директором сделали, — сказал отец. — Конечно, молодому человеку такая ответственность! Ночи не поспишь.

Люба с удивлением посмотрела на Владимира Ивановича — какой же он молодой человек? На вид ему было лет тридцать пять.

— А ему как раз спится, — смеясь, сказала она. — Даже лекарство требуется, чтобы не заснуть.

— Помолчи, Любовь, когда взрослые говорят, — прикрикнул старик.

Но замечание Любы рассмешило Владимира Ивановича, он рассказал, как Люба помогает ему выбирать книги. Под конец вечера Люба пела песни по заказу отца, а потом и по заказу Владимира Ивановича. Когда он уезжал, Люба уже знала, что Владимир Иванович влюблён в неё, и это смешило её и смущало. Она с любопытством ждала, что будет дальше, но дальше ничего не было. Владимир Иванович не встречался ей больше и к ним не приезжал. Иногда она видела, как утром проносится к заводу его машина. Однажды, подкараулив её, Люба сделала вид, что поскользнулась, и упала на мостовую. Машина и в самом деле чуть не переехала её. Владимир Иванович выскочил из машины, помог ей встать и побледнел, узнав Любу.

— Вы... — пробормотал он.

— А вы меня узнали? — пролепетала Люба, испуганная своей неудачной шуткой.

— Садитесь, живо, — сказал он. — Я вас отвезу домой.

Она села рядом с ним и откинулась на подушку, раздумывая, что теперь делать. Пугать отца не следовало. Расставаться с Владимиром Ивановичем не хотелось.

— Отвезите меня к подруге, — попросила она и назвала адрес на Васильевском острове, который тут же выдумала.

Владимир Иванович взглянул на часы, тряхнул головой и повторил шофёру адрес. В дороге они болтали самым милым образом.

— Дома сорок здесь нет, — вдруг мрачно сказал шофёр.

Оба высунулись в окно — действительно, последний дом был № 38.

Люба невинно пожимала плечами, уверяя, что прекрасно помнит...

— Точно, — вдруг сказал Владимир Иванович. — Дом перенесли вчера со всеми жильцами на другую линию. Об этом было в газетах. Разве вы не читали?

— Конечно, читала! — подхватила Люба. — Со скоростью один метр в час. Жильцы продолжали топить печи и пользоваться электроприборами...

— А девчонки вроде вас торчали в окнах и кокетничали со зрителями...

Шофёр развернул машину, закурил и высунулся в окно. Владимир Иванович виновато покосился на шофёра и тихо спросил:

— Ну, как же вы жили это время, Соловушка?

— А почему вы не приехали к нам снова? — так же тихо спросила Люба.

Он помолчал и строго ответил:

— Потому что вам восемнадцать лет, а мне тридцать шесть. — И тронул шофёра за плечо. — Поехали обратно, Миша.

Они долго молчали. Машина уже неслась по знакомому району, когда Люба сказала:

— Это вы зря... Я бы вам книжки помогала выбирать.

Он вздохнул и не ответил.

Вечером он приехал к ней домой, советовался с её отцом по каким-то скучным производственным делам, а перед уходом потихоньку сунул Любе конверт. В конверте были театральные билеты и записка с просьбой пойти в театр, с кем она хочет, а если у неё нет лучшего спутника, позвонить ему по телефону. Она позвонила. И попросила его пойти с нею, только не в машине, а пешком, «как все люди». Они вели себя весь вечер, как двое мальчишек. Висели на подножках трамваев, в театре прятались от его знакомых, ели пирожные в каждом антракте, заедая огромными порциями мороженого, смеялись так громко, что на них оглядывались. Возвращаясь домой пешком через весь город, оба смолкли. А у её дома он спросил, задержав её руку:

— Соловушка... Если я приду к вашему отцу и попрошу у него вас. Вы согласитесь?

— Не знаю, — чуть не плача от волнения и страха, ответила она. — Подождите немного... Я не знаю...

— Вы сами виноваты, — сказал он. — Я ведь не хотел. Я понимал разницу лет... Если бы вы тогда не попали под машину, я бы ни за что не пришёл...

— Только вы с папой не говорите. Я сама... вы не торопитесь...

Она убежала в дом, перепуганная и обрадованная. Они встречались в каждый свободный час, и оттого, что свободных часов у Владимира Ивановича было мало, встречи были особенно желанны. Вечно что-нибудь мешало, любовь походила на скачку с препятствиями. Через две недели он всё-таки пришёл к её отцу и сделал предложение, как в старых романах. Отец от удивления не знал, что сказать.

— Ну, и коза-егоза! — наконец, пробормотал он. — Владимир Иванович, дорогой, ну, какое может быть возражение? Женись. Да только подумай сам, будет ли она тебе пара? Ведь дурёха ещё, вертунья! Какая из неё жена такому человеку?

— А без неё я сам не человек уже, — жалобно сказал Владимир Иванович.

Казалось бы, всё решено. Но тут, как в старых романах, отец выдумал требование — пусть Люба сначала кончит техникум. Пришлось подчиниться. Люба пыхтела, готовясь к испытаниям, а Владимир Иванович ремонтировал квартиру, волновался в те дни, когда Люба сдавала

испытания, и водил её выбирать обои и мебель. Перед самой свадьбой он показал ей завод и всем инженерам и мастерам, с которыми они встречались, представлял её, как свою невесту. Люба была наблюдательна и заметила: старикам льстило, что директор женится на дочке заводского человека, но её вид не внушал им почтения. Несколько минут она пыталась разыгрывать из себя серьёзную, умную девушку, достойную жениха-директора, но ей самой стало так смешно притворяться, что она поняла — никто не поверит. И стала сама собою, что и было лучше всего.

— Я скоро приду на завод уже не гостьей, а электротехником, — сообщала она, чтобы подчеркнуть свою самостоятельность. Но никто не принимал её сообщения всерьёз.

С детства Люба росла в окружении заводских людей и слышала о заводе много всяких рассказов. Но только с Владимиром Ивановичем она впервые переступила порог завода и своими глазами увидела литьё и прокат, угрюмую старую котельную и просторную новую, высоченные цехи, уютную заводскую электроподстанцию, весёлую модельную и гордость завода — новый цех сборки танков. Ей показалось, что она вступила в мир давно прочитанной, хорошо знакомой книги, где всё узнаётся сразу, хотя и выглядит немного не так, как представлялось.

Может быть, оттого, что прогулка по заводу в сопровождении жениха воспринималась, как развлечение, Люба запомнила завод светлым, огромным домом, где происходят увлекательные превращения одних вещей в другие — например, искрящейся раскалённой болванки в холодную отполированную, хитро обточенную деталь загадочного назначения, составляющую вместе со многими другими большими и малыми деталями страшную машину — танк. И тогда же она решила по окончании техникума заняться электросваркой, потому что в конце концов на подстанции скучно, а электросварщик похож на человека, похитившего с неба молнию.

Владимир Иванович решил иначе — лето надо отдыхать, читать книжки в садике своего «дворца», а по вечерам вместе гулять и развлекаться так, как захочется. В августе будет у Владимира Ивановича отпуск, и они поедут в Гагры — даже не поедут, а полетят на самолёте, а обратно вернутся на теплоходе через Севастополь. Осенью Люба поступит на завод, а ещё лучше — в институт.

Заманчивое будущее было перечёркнуто вторжением немцев. В садике «дворца» падали зенитные осколки, в Гаграх лечились раненые, в Севастополе шли бои, пассажирские самолёты обслуживали фронт, студентки рыли противотанковые рвы, Владимир Иванович дни и ночи проводил на заводе... А завод стал полем сражения, хорошо пристрелянной



мишенью для немецких артиллеристов и лётчиков.

И всё-таки, собираясь сейчас на завод, Люба представляла его себе таким, каким он ей запомнился во время весенней прогулки по цехам. Она ликовала при мысли, что Владимир Иванович пройдёт по цеху и вдруг увидит её работающей, в засаленном комбинезоне, и скажет, рассмеявшись: «Ну и ну! перехитрила!»

Но всё вышло иначе.

Подходя к заводу в толпе рабочих, Люба и Сашок попали под обстрел. Толпа рассеялась. Кое-кто ложился на землю, но большинство бежало к воротам. Люба и Сашок тоже побежали, в проходной отдышались, предъявили пропуска и хотели идти к цеху Курбатова, но в это время во дворе что-то лопнуло, грохнуло, ударило в лицо горячим воздухом — и в клубах дыма и пыли Люба увидела, как шатается и постепенно, словно нехотя, обваливается стена одного из цехов. В следующую минуту, подчиняясь властным приказаниям незнакомого человека, Люба и Сашок в числе многих других рабочих расчищали проезд и уносили на носилках битый кирпич и стекло. Люба услышала голос мужа за спиной и радостно оглянулась, но Владимир Иванович, не замечая её, прошёл мимо, и Любу удивило его постаревшее, хмурое лицо.

Через час Любу и Сашка отпустили, и они пошли к Курбатову.

Вопреки логике, Люба ожидала, что сборочный цех будет таким же, каким она его увидела весной: опрятным, подтянутым, щеголеватым. При входе на неё пахло холодом и сыростью. В разбитые окна, затянутые фанерой и парусиной, проникал ветер, но почти не проникал свет. Низко спущенные лампы были тщательно окутаны синей бумагой. В тёмном зале тут и там громоздились изуродованные, помятые танки. Люба видела мощные башни, сплюснутые, как игрушки из папье-маше, толстую броню, разорванную и закрученную, как картон, обнажённые колёса, повисшие в воздухе, и-валяющиеся на полу цепи гусениц с разбитыми звеньями. Некоторые танки стояли покинутыми, как мёртвые, у других возились рабочие, грохотали молоты, визжал металл, жужжали и искрились сварочные аппараты.

Стеклянная будка Курбатова висела в глубине цеха как скелет. Лесенка, по которой Люба взбегала весной, обвалилась и лежала тут же, скрученная винтом.

Растерянно озираясь, Люба подошла к ближайшим рабочим и спросила, где найти начальника цеха. Она не произнесла фамилии Курбатова, боясь, что ей скажут: «убит». Но рабочие ответили, что Курбатов только что был здесь.

— Да вон он, — и они кивнули куда-то в темноту.

Люба давно знала Курбатова по рассказам мужа и подошла к нему, как к человеку хорошо знакомому, хотя видела его только раз в жизни. Курбатов не узнал её, поморщился, соображая, где ему всего нужнее люди, и послал Любу и Сашка к мастеру Кораблёву.

Люба встречала у отца старшего Кораблёва, Василия Васильевича, и по сходству легко узнала сына. Сын был высок, худ, озабоченное, перепачканное сажей лицо обрамляла повязка, закрывшая лоб. Как и лицо, бинт был чёрен от сажи. Григорий Кораблёв только что вылез из обгорелого танка.

— Всего двое? — сказал он разочарованно, переводя взгляд с Любы на Сашка. — Видали? — крикнул он кому-то, возившемуся на танке: — рабочий класс пошёл — девочки да мальчики!

— Я кончила техникум, — обиженно сказала Люба. — И я бы хотела учиться на сварщика.

— Дело! — сказал Кораблёв. — А ты, парень, что?

Сашок, робея, объявил, что тоже хочет быть сварщиком.

— Это сынишка вашего Аверьянова, Николая Егорыча, — добавила Люба.

— Вот как! — с уважением протянул Кораблёв и покрутил головой, мучительно скривив губы — видно, раненая голова болела. Превозмогая боль, он сказал неожиданно слабым голосом: — Ну, вот что. Ученье теперь на ходу, между делом. Сегодня я вас поставлю подсоблять на очистке вот этого погорельца. А к сварщикам прикреплю. Постепенно подучат.

Сашок принялся работать так, как будто век провёл в цехе. Люба старалась подражать ему и работать весело, но когда среди обглоданного огнём металла ей попался кусок обгорелого планшета и шлем танкиста с приставшими к нему слипшимися от крови волосами, ей стало дурно.

В течение бесконечно длинного дня несколько раз начинались и кончались обстрелы, дежурные разбегались на посты, остальные рабочие продолжали работать. Два раза налетали немецкие самолёты, часть бомб упала где-то близко, так что танк глухо вздрогнул.

Кто-то сообщил рядом привычно-равнодушным голосом:

— К Солодухину опять два снаряда. И в заводоуправлении шмякнулся. Люба выскочила из танка и побежала к Курбатову.

— Товарищ Курбатов... что в заводоуправлении?.. Владимир Иванович?..

Курбатов удивлённо взгляделся в неё и узнал.

— Что же вы не сказались? — устало упрекнул он. — Не

беспокойтесь, Владимир Иванович только что был здесь.

Часа через два, оповещённый о её поступлении на завод, Владимир Иванович разыскал её в цехе. И снова он показался ей постаревшим, недобрый.

— Почему же ты не посоветовалась, Соловушка?

Обращение было ласковым, а голос неласков.

— Неудачное время выбрала, — добавил он.

К концу рабочего дня на всей территории завода начали рваться снаряды, и Люба узнала, что немцы всегда бьют по заводу в часы смен. Курбатов подошёл к Любе и сказал недовольным голосом:

— Владимир Иванович звонил, чтобы вас проводить к нему.

Люба поняла, что Курбатова стесняет присутствие в цехе директорской жены и что именно этого опасался Владимир Иванович. Она вошла к мужу с виноватым лицом и сказала, что хочет быть на «заводе сама по себе, что не будет даже заходить в заводоуправление.

— А вот это невозможно, Любушка, — грустно сказал Владимир Иванович и обнял её. — Я сегодня переволновался, зная, что ты здесь. Наглупила — теперь уж ничего не поделаешь. Но ты мне так дорога, девочка, что...

Он сам себя оборвал и строго велел ей помыться и прилечь за ширмами, пока он не освободится.

Люба легла, с интересом готовясь слушать всё то, что составляет мало известную ей умную, ответственную работу её мужа. Она упрекнула себя в том, что не подумала, как устаёт её муж, не сумела позаботиться о том, чтобы и на заводе ему было где отдохнуть. Экая жалкая койка с грубой подушкой! Но, растянувшись на жалкой койке и положив голову на жесткую подушку, Люба тотчас же сладко заснула.

Когда она проснулась, было тихо и темно. За ширмами горела настольная лампа, прикрытая газетой, и шуршала бумага, как будто в столе возились мыши. Откуда-то тянуло запахом крепкого табака.

— Правильно, — вдруг сказал за ширмой незнакомый голос.

— Другого выхода нет, — тихо ответил Владимир Иванович и чиркнул спичкой, закуривая.

Снова зашуршала бумага, потом Владимир Иванович и кто-то второй, кого Люба начала смутно узнавать, заговорили вполголоса. Качаясь между сном и явью, Люба то слушала, то проваливалась куда-то, и по обрывкам услышанного не могла уловить нить разговора. Но вдруг ей почудилось что-то такое тревожное и пугающее, что она приподнялась на локте, стараясь не проронить ни слова.

Секретарь райкома Пегов (теперь Люба узнала его) и Владимир Иванович говорили о заводских делах, перечисляя номера цехов и названия станков и машин. Но перечисление было вызвано тем страшным, что не сразу поняла Люба.

Пегов сообщил, что в ближайшие дни ожидается новый немецкий штурм, что этот штурм будет весьма ожесточённым и надо быть готовыми к тому, что немцы прорвут оборону, и, следовательно, ворвутся, хотя бы временно, на территорию завода. Это сообщение было передано и воспринято спокойно, как подробность уже известной обстановки, и теперь два человека, знающие свою ответственность, обсуждали будничным языком, что надо сделать сегодня ночью, завтра и послезавтра для того, чтобы немцы ничем не поживились.

Люба не всё понимала, но смысл сводился к тому, что некоторые цехи и некоторые группы рабочих переводились на Выборгскую сторону, а здесь оставались только те, кто занят ремонтом танков. Увеличение числа подбитых танков планировалось, как поступление любого промышленного сырья, и не верилось, что у этого самого Пегова единственный сын — танкист, сражающийся под Ленинградом... Люба вспомнила кусок планшета и шлем с присохшими волосами, и ей захотелось плакать. Но Пегов и Владимир Иванович говорили по-прежнему буднично о том, что надо немедленно приналечь на ремонт легко повреждённых танков и подготовить к уничтожению другие. Затем они стали обсуждать, кто и как будет «в случае чего» взрывать завод. И опять пошло сухое перечисление названий и фамилий, как будто речь шла не о том, что взлетит на воздух любимейшее детище вот этих двух деловито разговаривающих людей.

«Это и есть война», — сказала себе Люба, со стыдом вспоминая, как она хвастала своей храбростью («вот ещё, прятаться в щель!»), как она гордилась и зазнавалась оттого, что ей посчастливилось задержать парашютиста. Владимир Иванович никогда ничем не хвастался и говорил без рисовки: «я человек штатский», но готовился выполнить страшное воинское дело, одновременно сохранив всё, что возможно, для продолжения производства. И его не пугало то, от чего у Любы толчками билось сердце.

— А в общем, мы ещё повоюем, — сказал Пегов. — Главное на сегодняшней день — скорее вернуть в строй все танки, какие можно. На это и налегайте.

Люба услышала «на сегодняшней день» — слова, над которыми она не раз издевалась, уверяя мужа, что они должны войти в словарь бюрократического языка. От этих нелепых привычных слов ей вдруг стало

спокойно. Ничего страшного не случится! Эти буднично рассуждающие люди, действительно, подготовят к взрыву цехи и котлы и машины, но на каждый «сегодняшний день» будут выпускать танки, снаряды, мины и те секретные штуки, о которых Любе ничего не рассказывается. И другие такие же люди подготовятся отразить ещё один немецкий штурм и отразят его с помощью танков, снарядов, мин и тех секретных штук. И никогда немцам не прорваться туда, где хозяйничают эти люди...

Успокоясь, Люба задремала. Её разбудил голос Солодухина:

— Да, Владимир Иванович, — плачущим голосом говорил Солодухин. — И куда же мы двинемся с насиженного места? Опять же производство задержим минимум на неделю... И рабочие, как хотите, от своего завода и от своих домов...

— Экой ты, Солодухин, упрямец, — с досадой сказал Владимир Иванович, и по его голосу Люба поняла, что Владимиру Ивановичу самому очень не хочется отпускать Солодухина на Выборгскую сторону.

— А что снаряды, так ведь к ним привыкли — раз, и на Выборгской тоже не бог весть какая малина — два, — сказал Солодухин.

«Как хорошо, что сборочный не переводят на Выборгскую», — подумала Люба. То, что «на сегодняшний день» ожидается штурм с возможным прорывом обороны, перестало пугать её. Под звуки плачущего голоса Солодухина Люба зажмурилась, улыбнулась и окончательно заснула. И шумы очередного воздушного налёта прошли мимо её сознания, хотя в эту ночь на территории завода упала бомба, снова повредив цех Солодухина.

- Соловушка, подсоби!
- Любушка, поди-ка сюда!
- Любовь Владимировна, организуйте!

Она быстро и прочно вошла в заводскую жизнь. Её весёлость, её доброта, её азартная готовность всё делать и всем помогать привлекали к ней людей и непрерывно подбавляли ей работы, но работа не тяготила её, а вдохновляла. Все её романтические мечты о необыкновенном, порождённые книгами и воображением, влекли её к испытаниям, к подвигам, к проявлению своей энергии. Непрерывная опасность выдвигала перед нею новые, каждый раз неожиданные испытания. И все они были малы перед тем главным испытанием, к которому готовились ночью Владимир Иванович и Пегов и которое могло принести с собою и баррикадные бои, и рукопашные схватки в цехе.

Конечно, все быстро узнали, что в цех поступила работницей директорская жена. Но опасения Владимира Ивановича не оправдались. Никому и в голову не приходило делать поблажки директорской жене — не такое было время. Присутствие Любы в цехе согревало и поднимало людей. Доверие к требовательному директору возрастало оттого, что он не поберёт молоденькую жену. А если Владимир Иванович, не сдержав чувств, проявлял беспокойство о Любе, это сближало его с рабочими, как всякое проявление живого человеческого чувства. Может быть, всё сложилось бы иначе, будь иною Люба. Но в Любе чувствовали не «барыню», не директоршу, а свою заводскую девчонку, дочку старика Вихрова, сестру Мики, ушедшего с завода в лётчики.

С детства Люба усвоила от отца глубокое почтение к тому, что объединялось словом «производство». Когда Мика с мальчишеским озорством подшутил над мастером, отец ударил его и потом неделю не разговаривал с ним. Для старика была священна иерархия, создаваемая в заводских отношениях не официальным положением того или иного работника, а опытом, стажем, и умелостью. Сам он говорил «ты» всем ученикам и молодым рабочим, но такое обращение к себе разрешал только нескольким старикам, вместе с ним начавшим работу на заводе в давние, легендарные для молодёжи времена.

Окунувшись в заводскую жизнь, Люба увидела кругом гораздо более простые отношения между людьми. Люди вместе переживали опасность,

вместе после работы обучались стрелять, метать гранаты и бутылки с горючим. По тревоге все вместе бежали на посты — старые с молодыми, и если в цех попадал снаряд, вместе копошились в дымящихся обломках, спасая всё, что можно спасти. «Тяни!» — кричал один другому. «Вправо давай», — кричал этот другой, не разбирая, кто с ним на пару — старый или молодой, мужчина или женщина.

Рабочих в цехе не хватало, фронт и эвакуация обескровили завод. Новички, вроде Сашка и Любы, заняли положение, какое и не снилось им раньше — с ними считались, как с полноценными рабочими, им поручали дела, к которым раньше и не подпустили бы.

Наблюдая жизнь цеха, Люба вспомнила одну большую домашнюю работу, выполненную всей семьёй. Несколько лет назад, выйдя на пенсию, отец задумал пристроить к своему деревянному домику застеклённую веранду и капитально отремонтировать домик внутри. Сперва всей семьёй носили кирпичи, известь, алебастр, покупали и тащили на себе рулоны обоев, на тележке подвозили доски и стёкла. Лотом всей семьёй работали каждую свободную минуту, иной раз до утра, и каждый делал всё, что мог, не считаясь, кто сколько сработал. Теперь, в угрюмом, холодном, прострелянном цехе работа маленького коллектива рабочих и руководителей носила вот такой же, почти семейный характер. Все работали, сколько могли, помогая друг другу и не считаясь ни со временем, ни со своими официальными обязанностями. Это создавало у людей, окружённых смертью, разрушениями и бедствиями, состояние подъёма и душевной близости. А Люба, добровольно принявшая на себя тяжесть этого круглосуточного опасного труда, наслаждалась ещё и тем, что чувствовала себя очень хорошей, ко всем внимательной и доброй, всеми любимой.

Со дня её поступления на завод прошло уже недели две, когда она подслушала разговор по телефону. Секретарь парткома Левитин, сняв трубку, не назвал номера, а спросил:

— Кто дежурит? Кружкова? — И лицо его стало сочувственно-ласковым. — Ну, как дела, Лиза? Страшно? Я к вам скоро зайду.

Люба стояла рядом, красная от стыда. Как это вышло, что она легкомысленно забыла просьбу Марии Смолиной и своё обещание? А ведь это был единственный случай, когда от неё требовалось действительно и, наверное, безответное внимание к другому человеку!

Лиза по-прежнему проводила долгие напряжённые часы дежурств в маленькой клетушке коммутатора. Но теперь она уже не боялась ни одиночества, ни бомб, ни снарядов. Она даже предпочитала часы дежурств

всем другим часам суток, потому что коммутатор отвлекал её от безрадостных мыслей. Дома под подушкой лежал дневник, испещрённый формулами и чертежами, и в рассыпанных среди них записях Лиза с каждым днём глубже и полнее постигала другой внутренний мир, который мог принадлежать ей, но не был понят ею и теперь навсегда утрачен. Воспоминание о Лёне Гладышеве и о своём отношении к нему жгло её день и ночь. Прошло немногим больше года со дня их первой встречи, но Лизе казалось, что то была совсем другая, ветренная и злая девушка. Та девушка считала, что лейтенант Гладышев должен думать только о ней и жить только для неё, «если он любит по-настоящему». Она ненавидела его походы и учения, мешавшие встречам, мечтала о том, чтобы он перешёл служить в береговые учреждения флота, и устраивала ему сцены из-за того, что у него есть интересы и пристрастия, не связанные с нею. Теперь она понимала, что Лёня очень сильно любил её, если всё терпел... И вот она осудила ту, прежнюю девушку... но что толку в её запоздалом знании, в её никому не нужной любви? Лёня погиб, так и не зная, что любим, и с ним вместе, в чёрной холодной глубине моря погибла радость жизни, возможность счастья.

Она не сразу узнала Любу-Соловушко в худенькой женщине, облачённой в замасленный комбинезон с чрезмерно большими, подвёрнутыми у щиколоток штанами. А когда узнала, не обрадовалась, а только из вежливости изобразила на лице что-то вроде приветливой улыбки.

— Лизанька, я к тебе, — сказала Люба, усаживаясь на подоконник. — Ты ведь комсомолка?

Лиза подняла брови. Да, она комсомолка, она вступила в комсомол и посещала собрания, если они не совпадали с её дежурствами. Комсомол записал её в группу самозащиты и посылал её на строительство баррикад. Но какое отношение имело это к тому, что она пережила потом, что она узнала в эти дни горя и отчаяния... и что еще можно потребовать от неё?

— У нас в цехе аврал, — сказала Люба, тайком разглядывая Лизу и огорчаясь её угрюмым видом. — И рабочих рук страшно не хватает. А танки надо вернуть на фронт как можно скорее. Ты не придёшь после дежурства подсобить?

— Если надо, приду, — безучастно ответила Лиза.

— Скучно здесь работать, — заметила Люба. — Я бы пропала от тоски. Ты приходи, у нас весело.

Лиза сказала, не оборачиваясь:

— Веселья я не ищу. А притти я обещала, значит приду.



Люба вдруг обняла её:

— Не тоскуй, Лиза. Нельзя теперь... Ну, до вечера...

И убежала.

Лиза раздражённо усмехнулась ей вслед. Что они понимают все? «Не тоскуй. Нельзя». А бесцельно, безнадежно тянуть день за днём без радости и без будущего — можно? Вот и Мария Смолина, самый чуткий человек из всех, сказала эти нелепые слова: «радоваться себе и друг другу». А у самой муж сбежал, бросив её с ребёнком, ребёнок живёт под вечной угрозой, есть нечего. Зачем они все притворяются? Зачем эта круговая фальшь, этот глупый самообман? И Левитин «проявляет чуткость», заходит почти каждый день, пытается расспрашивать о её жизни, о Соне, однажды даже спросил, что она думает делать после войны. Она отвечала коротко, стараясь быть вежливой, а на последний вопрос ответила: «Ничего не собираюсь делать». Её злило, что он, зная о её несчастье, старается «обработать» её по-своему и отвлечь от горя глупыми мечтаниями о послевоенной жизни. Как будто ей нужна жизнь! Да и доживёт ли она, доживут ли они все до «после-войны»?

Она впервые вступила в цех Курбатова, о котором столько знала за четыре года работы телефонисткой. И цех, поразивший Любу своим мрачным видом, показался Лизе менее разрушенным, чем она предполагала, изо дня в день отмечая в памяти попадания снарядов и бомб. Ей пришлось таскать ящики с деталями из цеха Солодухина на сборку, и цех Солодухина удивил её ещё больше — разрушенная бомбой стена была восстановлена, в скудном свете, похожем на туман, у станков трудились рабочие, а сам Солодухин носился из конца в конец с неестественной при его полноте живостью.

Курбатов и Солодухин при встречах так же ругались и поносили друг друга, как и по телефону. Но, глядя на них, Лиза увидела то, что не могла уловить слухом: Курбатов и Солодухин любили друг друга и были необходимы друг другу, как воздух. Ругаясь, они обменивались взглядами, полными весёлой симпатии. Шумная суматошливость Солодухина выгодно подчёркивала строгий, чёткий стиль работы Курбатова, и Курбатову это нравилось. Язвительность Курбатова подхлестывала гордость Солодухина, и без этого Солодухину было бы труднее и скучнее. К тому же, они в итоге много и дружно работали, выполняя общее дело.

Работа Лизы была груба и утомительна. Лиза приносила в цех Солодухина маленькие, но тяжёлые отливки причудливой формы. Детали обтачивались и просверливались на больших шипящих станках и затем, снова сложенные в ящики, отправлялись на сборку. Лиза часа два таскала

эти детали, когда вдруг услышала, что эти детали существуют под номером 11–71. С удивлением и какой-то нежностью посмотрела Лиза на маленькие, причудливые изделия.

Как только стемнело, налетела немецкая авиация. В цехах, полных звона металла и жужжания сварочных аппаратов, звуки извне были не так слышны, как в комнатке коммутатора. Лиза порою даже забывала о том, что налёт продолжается. Но когда она случайно поглядела вверх, на лёгкий свод, за которым не было ничего, кроме воздуха, ей стало жутко.

Никто не говорил Лизе, сколько времени ей нужно работать. Её просто включили в коллектив людей, занятых ремонтом танков, и стали обращаться с нею без стеснения, как со своей. К ночи Люба повела её в бомбоубежище, где на печурке кипел огромный чайник, и все пили чай, а потом улеглись спать, кто на раскладушках и скамьях, кто на полу.

— А ты куда? — спросила Лиза, увидав, что Люба не ложится.

— Я только сбегая проводить танки, — шепнула Люба.

На следующий вечер Лиза снова пришла в цех, не ожидая приглашения. Жизнь цеха не привлекала её, но в цехе было легче забыться и время проходило быстрее. На вторую ночь она вместе с Любой пошла провожать танки.

Каждую ночь распахивались большие ворота цеха, выпуская в темноту боевые машины. Днём это было невозможно, немецкие наблюдатели не спускали глаз с непреклонного завода. Ночью танки гремели по заводской окраине обновлёнными гусеницами и затихали где-то между последними домами, уже на фронте. Рабочие любили напутствовать танкистов и стоять за воротами, прислушиваясь к тому, как затихает шум машин. Танкистам вручали записочки с адресами, и не было танка, отремонтированного на заводе, за которым не следили бы потом со всем пристрастием. Лиза знала, что фронт близок, но только в цехе она ощутила фронт непосредственно прилегающим к заводу.

Должно быть, Люба и Левитин были в заговоре, но Лиза поняла это много позднее, когда увидела себя постоянной работницей цеха. Они хотели «втянуть» её в ту самую жизнь, которая её томила. Она дала себя втянуть, потому что сопротивляться было незачем.

Снаряд разорвался посреди цеха, разворотил станок, убил одного рабочего и тяжело ранил шестерых. Левитин прибежал почти сразу же, помог унести убитого и раненых, а затем собрал митинг. Лизе казалось, что митинговать в такое время нелепо. Но Левитин объяснил, что заменить семерых рабочих некем, а план выпуска танков не может быть сорван ни на один час, так что надо искать выход.

— Что предлагаете, товарищи? — спросил он.

И хотя все и так работали много, рабочие решили работать за выбывших товарищей и план выпуска не срывать. И обязались обучить подсобников, чтобы поставить их к пустующим станкам.

После этого Левитин разыскал Лизу, подвёл её к большому шипящему станку и сказал рабочему, обслуживавшему станок:

— Поучи-ка её.

Лиза без любопытства, но старательно следила за станком и выполняла указания своего учителя. Она скоро установила, что вся сложность работы на станке складывается из простых, но очень точных движений, — стоит овладеть этой точностью, и работа будет проста. У Лизы были тонкие натренированные пальцы телефонистки, они усваивали новые движения без труда. Она не знала, что на этом станке можно обрабатывать различные детали, разными способами и скоростями и каждое изменение потребует новых приёмов и движений. С гордостью невежды она решила, что уже владеет новой специальностью, и увлеклась работой, раскраснелась, так что Люба, пробежав мимо, крикнула ей:

— Что, нравится?

Очень поздно, должно быть, около полуночи, Люба позвала её послушать письмо Василия Васильевича Кораблёва. Как и все заводские люди, Лиза знала старого мастера, и хотя его письмо не интересовало её, постеснялась сказать об этом и пошла за Любой.

В синем тумане смутно вырисовывались фигуры рабочих. На башне танка, поближе к тусклой лампочке, сидел Григорий Кораблёв с письмом в руке и не спеша закуривал, поджидая, чтобы собралось побольше народу.

Докурив и оглядевшись, Кораблёв снял кепку со своей забинтованной головы и начал читать письмо. Василий Васильевич писал о том, как шёл заводской эшелон, сперва под немецкими бомбами, потом пробиваясь через перегруженные всякими эшелонами станции — «и только тогда мы воочию увидели громадное всенародное бедствие». Он писал о том, как они высадились прямо в степи и вырыли себе землянки, в которых с тех пор и живут, но что в степи их ожидали стены заводских корпусов, «и эти стены выросли прямо на глазах, так много народу там работало и так все спешили». Приезжие занялись перевозкой и установкой станков, причём случалось — станки ставились в недостроенных корпусах, над ними делали навесы из палаток, и как только станок был налажен, на нём начиналась работа, а в это время кругом возводили стены и над головой настилали крышу. «И среди всего этого беспорядка и толчеи есть самый удивительный порядок в основном, а именно — через месяц с завода

выйдет первая машина, а потом мы будем выпускать их тысячами».

Перейдя ко второй части письма, Григорий Кораблёв повысил голос, подчёркивая его особую важность.

Но Лизе вторая часть письма показалась совсем неинтересной и похожей на резолюцию, пусть и хорошо, с чувством написанную, но всё-таки заменяющую личные переживания и мысли человека общими формулами. Понятно, что старый Василий Васильевич как бы совестится, что уехал от своих и живёт в безопасности. И естественно, что они там в тылу считают своим долгом не уходить с завода, не спать и не жаловаться на жизнь в землянках, а даже радоваться трудностям, так как именно эти трудности являются их оправданием. И естественно, что они там, в тылу, будут выпускать тысячи танков для фронта. Но вот старик пишет: «Мы знаем, что вы живёте одной мыслью — победить, что нет в вашей жизни иного смысла, как отстоять Ленинград», и слушатели удовлетворённо кивают головами, как будто и в самом деле нет у них другой мысли и другого смысла в жизни. А взять хотя бы Григория Кораблёва — куда же он денется, кроме завода, раз его демобилизовали по ранению и не эвакуировали? Или Люба — пришла на завод, чтобы быть поближе к мужу, играет в рабочий класс и наслаждается общей любовью, потому что она хорошенькая, весёлая и умеет петь песни. Много ли она думает о смысле жизни? Или я сама, — подумала Лиза, — со стороны может показаться, что я самая сознательная — с чистой работы перешла в цех, работаю, сколько сил хватает, даже домой не ухожу. А мне просто некуда деваться, мне всё безразлично, я жду естественного конца и ничего не хочу, ни на что не надеюсь..

Чтение прервал грохот взрыва, поколебавшего стены. Рабочие соскакивали с мест и устремлялись на посты. В поднявшейся пыли было трудно что-либо рассмотреть. И расслышать что-либо — тоже, потому что все звуки покрыл неистовый вой заводской сирены.

Когда сирена смолкла, стали явственны звуки зенитной стрельбы и трезвон пожарных машин, мчащихся мимо цеха.

Владимир Иванович появился в пролёте, вскочил на броневую плиту и закричал перетруженным, хриплым голосом:

— Добровольцы, в четырнадцатый цех!

Так как добровольцами вызвались все, он снова закричал:

— Пожарные и санитарные посты остаются на местах! Остальные за мной!

Лиза ожидала, что увидит страшную и захватывающую картину пожара, но не увидела ничего, кроме густого дыма, поглощавшего контуры

четырнадцатого цеха. Иногда багровый проблеск прорезывал пелену дыма, и снова дым застилал всё, и слышны были только свист водяных струй, шипение испаряющейся воды, стук топоров и зычный голос командира, несущийся откуда-то из чёрной пелены. Владимир Иванович увёл мужчин, а Лизу и Любу поставили к запасному насосу, подающему воду из водохранилища.

Так и прошёл остаток этой ночи — в размеренно однообразных движениях: вперёд — назад, вперёд — назад, вперёд — назад... Иногда кто-то кричал: «Нажимайте, девушки!» Один раз кто-то подбежал, спросил: «Вас сменяли, нет? Чорт знает что!» — и растворился в дыму, так и не прислав смены. По тому, как редел дым, Лиза поняла, что пожар затихает. И всё-таки команда прекратить подачу воды была неожиданна.

Лиза со стоном разогнула спину и удивлённо поглядела в совсем светлое утреннее небо. Четырнадцатый цех высился неподалеку чёрной, будто облизанной огнём коробкой.

Они добрались до своего цеха и опустились на первую попавшуюся скамью. И все рабочие садились и ложились, где придётся, закуривали и нехотя перебрасывались короткими замечаниями: «Вот чорт!», «Повозились!», «Ну, и ночка!», «Что ты скажешь, пиджак спалил!»

Прошёл Кораблёв, весь дёргаясь от боли в голове. Кто-то из рабочих посоветовал ему:

— Сходи в медпункт, порошок возьми. — И затем таким же будничным голосом добавил: — А Василь Васильичу так и отпиши: отстояли и отстоим.

— Да он и сам понимает, — ответил Кораблёв, — не мастер я писать.

Лизе было жаль Кораблёва. Но когда она услышала этот коротенький разговор и увидела, что он вызвал общее сочувствие, ей стало остро жаль всех этих хороших и смелых людей. Неужели они не понимают, что город окружён и дни его сочтены, что лишний танк может задержать неизбежное, но не предотвратить, что они могут потушить пять пожаров и ещё пять, но не могут помешать бомбе завтра или послезавтра упасть прямо на их головы, так, что и костей не соберёшь.

Ей, Лизе, город представлялся гигантской машиной, захваченной песчаной бурей. Машина еще в ходу, вертятся шестерни, скользят поршни, но песок облепляет машину, забирается во все щели, мешая вращению механизмов, ещё несколько минут — и все полетит к чорту. Она-то знала, что подача электроэнергии идёт с большими перебоями, а скоро может прекратиться совсем. Топливо на исходе, и подвоза не будет. Металл собирают по дворам, по складам утиля, цехов. Хлебная норма снижается, и

хлеб подвезти нельзя. Даже оружия нет, и комсомольскому активу выдают финские ножи для рукопашного боя... На что можно рассчитывать?

Но эти люди, считающие смыслом жизни защиту Ленинграда (а они так и считают, Лиза сейчас почувствовала это), эти люди не видят своей обречённости и надеются на всё, даже на победу. И надежда заставляет их работать круглые сутки, тушить пожары и презирать свист снарядов... Что ж, может быть, им и удастся оттянуть конец, это тоже важно, — отсрочка падения Ленинграда выгодна для всего фронта, для всей страны, для Василь Васильича, выпускающего танки. Слава богу, я достаточно сознательна для того, чтобы подумать и об этом. Но как можно не понимать, что нам-то уже нечего ждать, что победа придёт без нас? Мы — смертники.

Ровно в семь часов Лиза встала, пересиливая себя, и начала работать. Устала? не спала? Но какое это имеет значение теперь? Она горько и презрительно усмехнулась похвале своего учителя! Слепец! Он тоже ничего не знает...

В лесу было холодно и сыро. Днём ещё пригревало солнце, но к вечеру испарения сгущались в тяжёлый туман, от которого лица и руки становились влажными. В землянках по стенам текли струйки воды, а когда партизаны жарко натапливали печурки, от влажной духоты кружилась голова.

Оля Трубникова любила осень и всегда считала, что нет времени года прекраснее и нежнее. Разъезжая по своим комсомольским делам, она любила отправиться пешком, одна в какую-нибудь дальнюю деревню, и в лесу без конца любовалась неповторяющимся разнообразием цветовых сочетаний увядающей и облетевшей листвы, яркими пятнами рябины и волчьих ягод, неуловимой серовато-голубой плёнкой, затянувшей небо, прислушивалась к тихому говорку неблестящей, будто задумавшейся воды. Если в пути её настигал дождь, она весело подставляла голову и негромко пела, шагая по мокрой тропинке или прямо по мшистой земле, под деревьями, отряхающими крупные капли. После такой, прогулки было особенно приятно войти в тёплый дом к приветливым хозяевам, залезть босиком на печку, пока сушится обувь, выпить топлёного молока и уснуть крепким сном.

Она и теперь, выйдя поутру из землянки, умела подметить красоту листьев, словно укутавших землю к зиме, или серенького неба, спокойно распростёртого над оголёнными ветвями деревьев. Но теперь не было ни тёплого дома, ни сухой обуви, ни топлёного молока. Жизнь была изнуряюще трудной и опасной.

Часто Гудимов отправлял её в село к тётке Саше, и оттуда она ходила продавать грибы, яйца и молоко в районный центр или в соседние сёла, где стояли немецкие гарнизоны. Во время этих отлучек из отряда Ольга жила в тепле и спала в постели, а главное — долго и тщательно парилась в бане, но нервное напряжение мешало ей полностью насладиться простыми житейскими благами, и возвращение в лес было для неё праздником.

Ей, городской девушке, выросшей в довольстве и в холе, было трудно и страшно. И всё-таки если бы её спросили, что её мучает больше всего, она не сказала бы никому, но подумала бы, что для неё мучительнее всего её отношения с Гудимовым. Первый разговор в лесу, когда Ольга спросила о брате и Гудимов ответил, что у него нет больше друга, звучал в её ушах. Перед войной Гудимов был особенно нежен с Ольгой, любил поговорить с

нею и послушать, как она читает стихи. От былой нежности ничего не осталось. Борис Трубников стоял между ними. Только время могло помочь — время и храбрость, которая завоеует ей полное доверие и уважение.

Так думала Ольга, стараясь отличиться и доказать Гудимову, что она совсем не похожа на брата. И порою ей верилось, что это удастся, — ведь были же минуты радостного взаимопонимания, как во время партизанского суда над старостой, как в первые минуты после её возвращения из разведки, когда он брал её за руку, как будто хотел убедиться что это она — живая, настоящая... За эти короткие минуты она готова была платить любыми лишениями, опасностями, ради них она сама торопила Гудимова дать ей новое трудное задание. Уходя на пять, десять, пятнадцать дней, она помнила только дружеское напутствие Гудимова и тихую просьбу: «Будь осторожна». Вдали от Гудимова она испытывала восторженную гордость оттого, что он доверяет ей ответственные дела и что она справляется с ними, проявляя изворотливость и смелость. Но стоило ей вернуться в отряд, как после первых радостных минут начиналось мучительное отчуждение. Гудимов избегал её и так явно отдалял от себя, что даже Коля Прохоров заметил и спросил:

— За что на тебя сердится наш?

— Что ты! — притворяясь удивлённой, сказала Ольга, так как считала, что её отношения с Гудимовым касаются только их двоих. — Неужели ты не понимаешь, что он просто очень озабочен?

Коля Прохоров подумал и сказал:

— Пожалуй...

Положение отряда было тяжёлым. Фронт придвинулся к самому Ленинграду и стал таким плотным и неподвижным, что связь через фронт была невозможна. Гудимов действовал по своему усмотрению и ничего не знал о положении на фронте, если не считать хвастливой и часто лживой информации, наполняющей немецкие газеты и немецкие радиопередачи. Отряд вырос, многому научился, но тем важнее было установить связь с командованием Красной Армии.

В голове Гудимова созрел план установления связи через более южные участки фронта, — путь был гораздо длиннее, но зато легче. Там фронт проходил через леса и болота, а немцы держались только дорог и населённых пунктов. Гудимов поручил Ольге выяснить, как и с какими документами, в каком обличье можно безопаснее пройти к фронту и через фронт.

Сообщив ему всё, что узнала, Ольга хотела уйти, но Гудимов задержал её.



— Как ты думаешь, Оля... кого послать?

— Давайте пойду я, — бледнея, предложила она.

Гудимов покачал головой.

— Тут нужен парень. Сильный, выносливый, спортивного склада. Находчивый и немножко актёр... Что ты думаешь о Коле Прохорове?

Он смотрел на неё выжидательно, с мукой, которой она не поняла.

— Очень хорошо! — вскричала она. — И не сомневайтесь! Он пойдет и обратно вернётся. И если только можно не попасться, он не попадётся. Вы же знаете его.

Он долго молчал, раздумывая и по-прежнему вглядываясь в её лицо.

— Слушай, Оленька, — вдруг сказал он, отводя глаза. — Ты, может быть, не понимаешь? Это опаснее, чем здесь, чем в наших операциях. Его могут схватить, как шпиона, замучить, убить... Если ты не хочешь, я не пошлю его.

Она растерялась. Он, видимо, как-то иначе понимал её приятельские отношения с Колей?..

— Алексей Григорьевич, — тихо сказала она. — Я уже говорила вам — давайте, пойду я. А если вы думаете послать Колю — пусть он сам решит. Как же мне решать за него?

Колю Прохорова собирали в дорогу быстро и тщательно. Для него достали превосходные документы с немецким штампом. Он должен был выдавать себя за крестьянского парня, мобилизованного немцами на окопные работы и возвращающегося в прифронтовую деревню по болезни. Вся его биография, все его приключения в дни войны были придуманы подробно и убедительно. Недоставало одного — болезни. Коля был явно, несомненно здоров и за время партизанской жизни, измотавшей многих, даже поправился, окреп. Не заподозрят ли немцы обмана?

— С немцами встречаться не собираюсь, — сказал Коля. — Ну их! Я пойду сам по себе, и они пусть сами по себе. Но на всякий случай...

Подумав не больше минуты, он взял пилу и что есть силы полоснул себя по руке. Ольга вскрикнула. Но Коля даже не поморщился, только бледность разлилась по его цветущему лицу.

— Ну, перевязывайте, что ли, — выговорил он и присел на пенёк, зажав ладонью рану.

Ольга подбежала к нему, подчиняясь первому побуждению, и расцеловала его.

— Ты дойдёшь и вернёшься, — убеждённо сказала она.

— Если ты меня так целовать будешь, бегом прибегу, — пошутил Коля, скрывая смущение.

Проводить Колю пошли Гудимов и Ольга. Прощались весело, так, будто Коля уходил в приятное путешествие и ничего не могло случиться ни с ним, ни с остающимися. Поглядев ему вслед, медленно пошли назад. Ольге было грустно и очень хотелось услышать от Гудимова доброе слово. Но когда она заговорила с ним, он поморщился и не ответил.

Тогда она спросила с отчаянием:

— Вы на меня сердитесь, Алексей Григорьевич!

— На тебя? — со странным выражением боли и насмешки воскликнул Гудимов. После долгого молчания он сказал веско, строго: — Если ты провинишься — сделаю замечание. А сердиться на бойцов не имею привычки.

Назавтра Ольга снова ушла к тётке Саше, и, прощаясь с нею, Гудимов сжал её руку и шепнул:

— Ну, смотри, будь осторожна...

Она ушла, приободрённая, весёлая, а он покрутил головой, как если бы у него болел зуб, и заставил себя не думать о девушке, шагающей по лесу в деревню, занятую немцами.

Она должна была пробыть в отлучке неделю, но прибежала назад вечером того же дня, запыхавшаяся от бега и всё-таки мертвенно-бледная, с померкшими глазами. Скользнув без спросу в землянку Гудимова и, убедившись, что он один, она выговорила, бессильно опустив руки:

— Алексей Григорьевич... Ленинград..

Ему не надо было объяснять — что. Уже не раз Ольга присылала ему коротенькие записки: «Немцы сообщают — Ростов... Тула... Севастополь...» Иногда она или другие разведчики доставляли ему немецкую газету на русском языке под диким названием «Русская правда». Немцы не жалели слов, расписывая свои победы над большевиками. Они заверяли читателей, что на-днях Ленинград падёт. Ни Гудимов, ни партизаны не верили этому и издевались над немецким хвастовством. «Не будет немцев в Ленинграде!» — говорили они. Значит, немцам удалось?..

Гудимов так сильно сжал кулаки, что заныли пальцы, и, овладев собою, резко спросил:

— Разве ваше задание отменяется? Хотя бы и три Ленинграда...

Оля хотела ответить, но смолчала. Он заметил, каким маленьким — с кулачок — стало её лицо, как сильно похудели, словно сузились, её плечи. Но жалость только мелькнула, оттеснённая страшной новостью, которая требовала от него немедленного, очень твёрдого решения.

— Откуда это известно? — спросил он мягче.

— Они по радио сообщали. Я сама слышала. И салютовали залпами.

Пьют, горланят. Приглашают вечером на танцы.

— Наверно, врут, — сказал Гудимов. — Разве они мало вралы?

— Кажется, нет, — прошептала Ольга. — Они сообщают: после длительных уличных боёв ворвались... часть большевистских войск героически обороняется на Васильевском острове...

Это признание — «героически обороняется» — было той подробностью немецкого сообщения, которая заставляла поверить. Можно было отчетливо представить себе отчаянные баррикадные бои на Лиговке, на Садовой, на Фонтанке, на Невском, и то, как теснимые немцами защитники города взорвали прекрасные невские мосты и всеми силами уцепились за последний клочок ленинградской земли — за Васильевский остров, и как сейчас обрушивается на них лавина огня с того берега Невы и с неба...

— Ты уже сказала кому-нибудь?

Ольга оскорблённо вскинула голову.

— Вы меня считаете болтливой? — задыхаясь, проговорила она. — Или вы не доверяете или...

Он движением остановил её, притянул к себе и на миг прижал её голову к своей груди.

— Не сердись, Оленька, — сказал он. — Мы просто очень сейчас несчастны...

Из её глаз хлынули слёзы.

— Что же это... Алексей Григорьевич... что же теперь будет?..

— Будет всё то же, — с усилием сказал он.

Он отправил её, приказав никому ничего не рассказывать. Он давал себе одну ночь на то, чтобы пережить страшную новость и принять решение — как и на что направить силы и гнев своих бойцов.

И вот настала эта ночь. Перед тем как лечь, он по привычке обошёл уже разросшийся партизанский лагерь, придирчиво проверил караулы, постоял у входа в землянку. Небо расчистилось, и сквозь путаницу сплетённых ветвей сияли редкие звёзды. Где-то далеко над лесом взлетели цветные ракеты, озаряя весёлым светом верхушки деревьев, — немцы праздновали падение Ленинграда.

Гудимов вошёл в землянку, перешагнув через спящих товарищей и подкинул в печурку несколько полешек. Пламя вяло облизывало сырые шипящие полешки и, не охватив их, уползло в дымоход. Алексей Григорьевич тяжело опустился на скамеечку перед печкой, положил голову на руки и задумался.

В его сознании возникало множество коротких, ярких картин, и каждая

из них была горше предыдущей. Вот знакомое парадное с цветными стёклами, и по лестнице бегут, гогоча, немцы в зелёных шинелях, грубо стучат в двери и врываются в квартиры... Вот они окружили на углу, возле Гостиного двора, группу женщин и мальчишек, захваченных на баррикаде, и глумятся над ними: «Что, отстояли Ленинград?» Вот они бродят по набережной Невы и радостно хихикают, пяля глаза на гордость России...

Он отогнал навязчивые образы и вспомнил Колю Прохорова, пробирающегося сейчас к линии фронта... А где она, эта линия?! Сломив сопротивление Ленинграда, немцы должны были стремительно рвануться к Вологде, к Ярославлю, отрезая север с незамерзающим Мурманским портом... Высвободив свою многотысячную армию, осаждавшую Ленинград, они рвутся вперёд, в обход Москвы, с севера и с юга... Если невозможное оказалось возможным и Ленинград сломен — значит, обескровлена, разгромлена Красная Армия?..

А мы? — спросил он себя, потому что ход войны был связан для него с группой руководимых им людей и с его собственным участием в войне. И трезво сказал себе, что положение отряда резко ухудшается. Трудно рассчитывать на удачу Коли Прохорова. Ни связи, ни помощи снабжением наладить не удастся. Отряд окажется затерянным в глубоком тылу немцев, среди запуганного и потрясённого поражением населения.

Он рисовал себе эти как будто неизбежные следствия несчастья... и не верил им.

На что же я рассчитываю? Слеп я, что ли?

Он курил, глядя на жидкое пламя, мигающее сквозь дырочки в заслонке. Да, будет не так, — чётко определил он. Если Ленинград не удержали, значит, его нельзя было удержать, и нужны ещё месяцы, а может быть и годы, ещё усилия и жертвы для того, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Это больно, это позорно, что немцы взяли Ленинград. Этого нельзя было допускать. Но что я знаю о том, как это произошло и какова реальная наша сила, каково реальное положение на фронтах и в стране?

Тогда на чём же зиждется моя слепая уверенность?

Когда он разобрался в своих мыслях и ощущениях, он понял, что уверенность его не слепа и зиждется на очень простом и очень убедительном основании — на опыте последних месяцев партизанской жизни. Вот этот район, его люди — партийно-советский актив и самые рядовые жители, вроде тёти Саши, девчонки Тани и других, толстяк Трофимов и юный Женя Орлов, ценою жизни взорвавшие мост, городская девушка Ольга, сумевшая стать ловкой разведчицей, Коля Прохоров, без раздумья искалечивший свою руку, — это же часть страны, часть народа. И

вся страна, весь народ — такие же, как часть, известная ему, Гудимову. Их было семнадцать в этом лесу, и только один струсил. Потом их стало двадцать, потом тридцать, потом сорок пять, потом шестьдесят... Разве можно сомневаться в том, что и в других районах вот так же собираются для борьбы люди, не желающие терпеть над собою немца?

Мне неизвестно, есть ли ещё партизаны, кроме нас. Но я *знаю*, что они есть, потому что иначе не может быть. Или неверно всё, что мы делали за двадцать четыре года советской власти, или пламя борьбы разгорится и поглотит немцев. Или наша советская власть — родная народу власть, и тогда народ поддержит её в тяжёлой беде, поднимется, отстоит её, как самого себя, или... но другого «или» не может быть.

Он вспоминал довоенную жизнь и всё, что он сам делал в этой довоенной жизни. И не школы вспоминал он, не праздничные парады, не дом культуры и стадион, не все те достижения райисполкома и райкома, которыми он раньше гордился, — хотя и они мелькали в памяти. Он вспомнил дух доверия и требовательности, с каким относились к партии и советской власти самые рядовые, самые незаметные люди. У этих людей ещё многого не хватало. Мы не всё ещё успели сделать для благосостояния народа, у нас было множество прорех, и люди замечали их, порою ворчали, порою жаловались, но каждый знал, что имеет право на хорошую жизнь и на все блага жизни, и сознание своего права рождало требовательность и самостоятельность, настойчивость и активность. Он перебирал в памяти сотни людей, фамилий которых уже не помнил, — добровольный, увлечённый делом, энергичный актив. Да разве они когда-нибудь покорятся угнетателю, как бы силен он ни был!

Успокоенный, он вышел на воздух, даже не пытаясь уснуть, так как эта ночь была предназначена им для больших решений, и он не хотел ни комкать свои мысли, ни ограничиваться полуправдой.

Ночь была черна и тиха. Ракет уже не было. Предутренний ветер пролетал над лесом, шурша ветвями.

Гудимов думал теперь о самом себе. Утром он соберёт свой отряд и скажет людям, учившимся стойкости на примере Ленинграда, что Ленинград сломлен. Он должен повести дальше этих людей, не позволяя им отчаиваться и колебаться... Он впервые работает один, опираясь на других и руководя другими, но сам не получая руководства. Он — вожак — отвечает за всё: за жизни людей, за успех операций и выбор целей, за настроение всех жителей района и — в конечном итоге — за исход войны.

«Не слишком ли велика и тяжела ответственность?» — со вздохом подумал он, ощутив на миг и немолодые свои годы, и усталость, и

ограниченность своих сил. Нет... Он принадлежал к поколению государственных работников, которые были наиболее близки к массам народа как первое звено руководства. Как же им было не стать боевыми вожаками в самый трудный час!.. Хорошая гордость собою, своей душевной силой и своей трудной судьбой поднялась в Гудимове, вытесняя усталость и горе.

Перед тем как пойти вздремнуть до рассвета, он принял самое последнее решение, не оставлявшее ни одного неясного уголка, ни одного неразрешённого сомнения. «Даже если поражение будет страшнее, чем самые горькие предположения, — всё равно, это не конец. И как бы нас мало ни осталось, мы начнём всё сначала..»

На рассвете он собрал отряд.

Ольга впервые за два месяца присутствовала на общем сборе и теперь оглядывалась с радостным изумлением. Он очень вырос, их отряд, походивший в первые дни на группу дачников. Она попробовала сосчитать и сбилась — не то семьдесят три, не то семьдесят пять, а с дозорными наберётся под сотню. Возмужали, обветрились, похудели, но все чисто выбриты и одеты ладно, с воинским щегольством, какого так добивался Гудимов. Правда, одеты по-разному: кто в кожанку, кто в ватник, кто в шинель или полушубок. Но за плечами у всех винтовки или автоматы, у пояса — гранаты, выправка у всех молодецкая, даже у долговязого ботаника Музыканта. И если поглядеть как бы со стороны — это уже сила, воинская часть.

Гришин скомандовал: «Смирно!» Из землянки неторопливо вышел Гудимов. И Ольга, одна из всех знавшая о тягостной причине сбора, удивилась спокойному и просветлённому выражению его лица. Может быть, у него есть какие-нибудь новые, опровергающие сведения?

Гудимов начал говорить. Начал с того, о чём только что думала Ольга, — как вырос отряд, какими стойкими и надёжными проявили себя советские люди. И по тому, как он взволнованно говорил об этом, Ольга поняла, что никаких опровергающих сведений у Гудимова нет и что сейчас он произнесёт страшные слова — Ленинград взят.

И он произнёс эти слова громким, отчётливым голосом:

— Немцы сообщают, что ими взят Ленинград.

Ольге казалось, что после этих слов надо молчать, долго молчать, что всякие речи после этих слов будут фальшивы. Но Гудимов продолжал говорить, спокойно обсуждая, насколько правдоподобно это немецкое сообщение, — ведь немцы любят преждевременно хвастаться победами! Он даже пошутил, что немцы плохо знают географию и, быть может,

спутали весь Ленинград с Васильевским островом, так что на самом деле они не добрались ещё и до Канонерского?

Многие улыбнулись. В неуклюжей шутке Гудимова была душевная сила, приятная людям.

А Гудимов продолжал говорить, пересказывая соратникам всё, что продумал ночью. Готовясь к митингу, он колебался, надо ли сообщать непроверенную новость и надо ли готовить людей к резкому ухудшению обстановки, в которой им придётся воевать. Но всякая неискренность претила ему, и Гудимов высказал всё, что думал. И сказал о том, что покорить Ленинград нельзя, потому что Ленинград — это больше, чем город, это люди, это знамя, это символ ленинской непримиримости, и этот Ленинград никогда и никем не будет сломлен.

Потом он предложил высказаться партизанам. Как всегда, первым никто не решался говорить. И вдруг один из новых бойцов, пожилой колхозник, ушедший в лес после того, как немцы выпороли его за дерзкое слово, — новый боец швырнул шапку на землю и убеждённо сказал:

— Порази меня гром на этом самом месте — по-моему, брехня!

И люди закивали головами.

Юрий Музыкант просил слова, подняв руку и заслоняя ею побелевшее, с прыгающими губами, лицо.

— Товарищи, — выкрикнул он с неожиданной страстной силой. — В Ленинграде работа всей моей жизни. В Ленинграде осталась моя беременная жена. Мы не знаем, правда или неправда — немецкое сообщение. Но я клянусь: пусть я истеку кровью, пусть мои волосы поседеют, но я не сложу оружия и буду мстить, мстить, мстить...

Он вскинул руку, уже не заслоняясь ею, а угрожая.

Вслед за ним выступил Иван Коротков, ленинградский токарь.

— Сердце переворачивается, когда подумаешь, что немец идёт по Ленинграду, — сказал он. — И быть того не может. Что, товарищи, не знаем мы разве ленинградских людей? Что, товарищи, а сами-то мы — не ленинградцы? Не могли они сдать Ленинград, как мы сами не сдали бы его! Я предлагаю вести себя так, как будто мы не слышали этой новости. Воевать так, как будто по-прежнему недалеко от нас — несокрушимый наш город Ленина. И верить в его несокрушимость, как верили до сих пор. — Он подумал и сам себе ответил на своё сомнение: — Да, товарищи, такую резолюцию нам и надо принять: считать Ленинград не сданным!

Эхо рукоплесканий перекатывалось по лесу. Прокурор Гришин аккуратно записал резолюцию митинга в дневник отряда, а Гудимов приказал готовиться к новой, очень рискованной операции, в которой будет

участвовать весь отряд.



Мария проводила дни и ночи на своём «объекте», занимаясь десятками неотложных дел. Из-за перебоев в работе водопровода вода не поднималась на верхние этажи, надо было увеличить запасы воды на крыше и на чердаках, но запастись её было не во что, и Мария несколько дней хлопотала, пока достала обыкновенные бочки. Она вместе с дружинницами таскала воду наверх, но тяжёлая работа показалась ей пустяковой по сравнению с утомительной беготней в поисках бочек. Затем ей посоветовали обзавестись шлангами, чтобы в случае нужды подавать воду снизу, и она несколько дней бегала по учреждениям, раздобывая шланги. Созданное ею общежитие было источником постоянных хлопот. Чтобы устроить детскую комнату, пришлось перегораживать убежище, а материалов не было, достать их стоило многих трудов и перевозить пришлось вручную, на тележке. Как только ребят водворили в детскую комнату, у одной девочки обнаружился коклюш. Во время сильной бомбёжки женщины подняли крик, требуя удаления больного ребёнка из убежища, а мать девочки с плачем жаловалась, что «девочку выгоняют под бомбы». И Марии пришлось срочно устраивать в убежище специальный закут для коклюшной. Хлебную норму снова снизили, теперь рабочие получали 400 граммов хлеба на день, а все остальные горожане — 200 граммов. Простояв длинейшую очередь, хозяйки приходили домой с маленьким пакетиком пшена или чечевицы и варили жидкую похлёбку, которой не хватало и на один раз. В столовые отпускалось очень мало продуктов, но всё-таки в столовой прокормиться было легче, и Марии пришлось ежедневно заниматься рабочей столовой, следить, чтобы не было воровства. Но голодные люди всё равно ворчали и подозревали воровство, и Марии приходилось разбирать нарекания и жалобы, проверять порции на весах, успокаивать недовольных. Дома Анна Константиновна и Мироша бились с нуждой, пытаясь кормить досыта хотя бы Андрюшу, и Мария, придя домой, сразу попадала в тот же круг забот о еде.

Чувство ответственности так заполняло её, что сама она уже не замечала ни голода, ни усталости, — она знала, что ей нельзя устать или отчаяться. Она очень следила за собою, говорила с людьми ровным голосом, заставляла себя улыбаться на людях. Притворяясь спокойной, она и внутренне успокаивалась. В эти тяжкие дни она всё делала удачно и любая задача казалась ей посильной.

— Знаешь, Иван Иванович, — сказала она однажды Сизову, — в такой самоотрешённости очень легко жить.

— А какая ж у нас самоотрешённость? — возразил Сизов. — Мы сейчас самые что ни есть эгоисты. За жизнь свою уцепились, в рабство не хотим да ещё о хорошем будущем мечтаем.

Она рассмеялась, так неожиданна была мысль Сизова.

В ту ночь, проверяя посты, она не нашла на месте одну из лучших активисток группы, библиотекаря Зою Плетнёву. Зоя должна была дежурить на лестничной клетке третьего этажа. Мария стала подниматься выше, не желая верить, что Зоя струсилась и убежала с поста. И тотчас увидела Зою в окне четвёртого этажа. Она узнала остренький профиль Зои и пушистые волосы, уложенные на голове валиком, но её поразило незнакомое выражение безоглядного счастья на лице Зои, озаряемом трепещущими отблесками выстрелов и обращённом к мужчине, который держал её за руки. Всем своим существом тянулась девушка к этому высокому военному, какими-то быстрыми короткими словами отвечая на то, что он говорил ей. И, видимо, так значителен и прекрасен был их разговор, что оба совершенно не замечали того, что творилось за окном.

Откинувшись к тёмной стене, Мария несколько минут смотрела на них с изумлением и любопытством, с какими смотрят на экране чужую, непонятную жизнь. Потом тихо пошла вниз.

В комнатке штаба, устроенной в тёмном полуподвале бывшей дворницкой, никого не было. Мария легла на диван и закурила. Она думала о Зое Плетнёвой и о том, какой значительный и прекрасный разговор произошёл в окне, озаряемом отсветами выстрелов. Смерть витала над ними, но они были счастливы. Жизнь продолжалась, полнокровная и дерзкая в своём неуклонном развитии, даже в кольце осады.

Так ли это?..

Ещё недавно Мария находила утешение в полном отказе от личной жизни. Но тогда ей казалось, что личная жизнь оборвалась у всех, что таков закон войны. Теперь она видела, что даже под огнём каждый человек живёт всем, что ему дорого и близко. Вот и мама, как ей ни трудно приспособиться к военной обстановке, мечтает провести седьмого ноября детский праздник в своём Доме малюток, вечерами клеит цветные фонарики и вырезывает флажки, которыми украсят убежище! И на-днях она пришла домой счастливая: «Стасик улыбнулся! Я взяла бубен и стала танцевать с бубном, он смотрел и вдруг улыбнулся и потянулся к бубну!»

А Мироша? Она бьётся, чтобы прокормить всю семью, стоит в очередях, сушит на зиму коренья, бережёт каждую крошку хлеба, каждую

крупинку, каждую щепку. Но вот ей полюбился маленький мальчик Андрюша, и с ним жизнь кажется ей полнее и радостнее, чем до войны, когда жила с племянницами, «смотревшими не в дом, а из дому». И если Мироша с Анной Константиновной сходятся вместе, для обеих нет ничего важнее того, к кому побежит, кому улыбнется Андрюша...

В конце концов и забота Тимошкиной о тапочках, без которых её дочери будет неуютно в казарме ПВО, — это тоже продолжение жизни. В большом и малом старается человек жить так, как жил всегда, сохранить всё, что ему дорого и нужно. Не все строят баррикады и бойницы, не все делают снаряды и танки, не все стреляют во врага и обороняют город на пожарных постах. Но все сопротивляются смерти, разрушению и рабской покорности, ничего не уступая врагу...

«А я сама? — сказала себе Мария, удивляясь, что не понимала этого раньше. — Я ни от чего не отрешилась, даже от своего прошлого. Я ни на один день не забывала ни о чём, и я не удивилась, а позавидовала — да, да, позавидовала зоиной любви... И когда я вхожу к Каменскому, уже не к Мите, а к Каменскому, я чувствую себя любимой, и мне становится хорошо, и уютно. Он любит меня. В этом нельзя ошибиться это передаётся без слов. Нужно мне это? Нет. Но и отказаться от его любви, от встреч с ним я тоже не хочу... Они думают, что они нас задушили, прижали к земле, повергли в ужас своими бомбами? Так вот нет же! Не откажусь ни от чего, буду жить так, как будто их нет, не отдам ничего, что составляет жизнь!»

Она встала и снова пошла наверх.

Зоя стояла одна на третьем этаже, рассеянная улыбка блуждала по её лицу вместе с отблесками дальнего пожара.

— Затихает, — сказала Мария, выглядывая в окно.

Зоя поглядела на дальний пожар, видимо, сейчас впервые осознав, откуда доходит к ней мерцающий розовый свет, зябко поёжилась и сказала:

— Как это всё... противоестественно.

Мария спросила:

— Переживём мы... как вы думаете?

— Не знаю, — ответила Зоя. И после раздумья добавила: — Мы как Ленинград? Обязательно! А мы в частности... знаете, я почему-то думаю, и мы переживём.

На крыше дежурные сидели парами и устало переговаривались. Было холодно и почти тихо. Отбоя ещё не давали, но самолётов над городом не было. Дальний пожар замирал, расстилая над крышами вялый дым.

— Кажется, на сегодня отвоевались, — крикнула Мария дежурным.

— Похоже.

Ветра не было, но холод осенней ночи пронизывал насквозь. «Надо достать валенки и ватники для дежурных, — подумала Мария, — иначе не выдержать». Уходить вниз не хотелось, так широк был отсюда обзор затихающего боя, и так вольно здесь дышалось. Присев на покатую кровлю слухового окна, Мария некоторое время обдумывала, куда она завтра пойдёт добывать валенки и ватники. Она знала, что сперва ей откажут, но верила, что в конце концов добьётся своего.

Вчера Каменский сказал: «Никто, кроме нас, не мог стать руководителями войны против фашизма. Только наше государство заинтересовано в полном разгроме фашизма, и только оно будет последовательно драться и добывать его. В буржуазных государствах всегда найдутся любители полумер и сделок».

Вчера Мария просто согласилась с ним. Сейчас она подумала, что так или иначе это понимает, чувствует каждая из женщин вот на этих бесконечных опалённых крышах. Наверное, нет в мире людей, истомлённых неравной борьбой так, как они... и всё-таки именно они будут бороться до конца, не согласятся ни на какие сделки с врагом... Потом она подумала о себе. Раньше ей никогда не приходило в голову, что у неё окажется столько силы, что она возьмёт на себя частицу государственного дела, государственной ответственности. Но вот пришлось, и она организует, хлопочет, приказывает, увлекает людей, как заправский администратор? Как это вышло? Или сама советская жизнь готовит к тому, чтобы в трудный час почувствовать себя ответчиком за всё и за всех?.. А Трубников? Как же так?..

Назойливое воспоминание было нестерпимо. Но всё вызывало его, всё требовало решения, выяснения, ответа.

Совсем рядом оглушительно хлопнул выстрел. И сразу кругом поднялась торопливая стрельба. Как всегда в первую минуту новой опасности, сердце Марии будто оборвалось... Припав к холодной кровле, она овладела собою и постаралась разобраться, что происходит. Были видны яркие выхлопы огня, взлетавшие над крышами. Очень высоко в небе загорались и гасли звёздочки разрывов. Иногда трассирующий снаряд плыл вверх, вспарывая темноту сверкающей иглой, и его движение в высоту казалось медленным. Разрывы были беспорядочны, зенитчикам не удавалось нащупать путь вражеского самолёта, хотя его тонкое прерывистое гудение было слышно. Потом она услышала хорошо знакомое дребезжание несущейся вниз бомбы, закрыла глаза и вдавилась в крышу. «Вот и всё», — пронеслось в голове, и вместе с этой мыслью мгновенно и как бы всё вместе встало в памяти — летний вечер на даче, Андрюшка,

прыгающий в кровати, синяя калька незаконченного чертежа, сдержанный голос Каменского: «Вы всё-таки... берегите себя» — и ещё многое, что было для нее жизнью. Крыша вздрогнула и закачалась под её скорченным телом, грохот тяжёлого взрыва ударил в уши. «Мимо!» — поняла Мария, приподнимаясь.

— Мимо! — крикнула она, чтобы подбодрить дежурных.

— В дом номер семь, — ответили ей.

Закинув лицо к небу, где ещё расходились дымки разрывов, Мария глубоко вдохнула холодный воздух, физически ощущая, что вот это и есть жизнь и нет ничего важнее и значительнее этой простой жизни. Дышать, смотреть, чувствовать, двигаться... С проникновенной ясностью увидев, как бы со стороны, свою собственную простую жизнь, она сказала себе: только это и важно. Когда-то я обманулась — ну, и бог с ним. Теперь обман раскрылся, и очень хорошо, что он раскрылся! Если я стою счастья, я его завоюю сама, всё измеряя единственной точной мерой... А Трубникова больше нет для меня ни в настоящем, ни в прошлом, потому что теперь я знаю — он был мелким, себялюбивым, избалованным и легковесным человеком, и любовь его была мелкой, эгоистичной, ненастоящей.

Она отшатнулась от своего безжалостного вывода, но со злостью заставила себя сейчас, немедленно, всё вспомнить и понять до конца.

Да, это было упоительно — сумасшедшие поездки по полям, блаженное забытьё первой страсти, тайные встречи, его короткие наезды в Ленинград, когда он врвался в квартиру шумный, весёлый, нагруженный пакетами, и они устраивали два дня сплошного праздника, забывая всё на свете. Но, по существу, ведь он просто убегал от ответственности, от обязанностей! Даже после рождения Андрюши они продолжали жить врозь. Она закрывала глаза на всё, что смущало её, но как часто ей приходилось закрывать глаза и тешиться обманом! Он не хотел ребёнка, очень не хотел. И они тогда чуть не поссорились, а потом вышло так, что Мария, поступив по-своему, как бы взяла на себя все заботы об этом будущем ребёнке. И так повелось, что «быт» не касался Бориса, — недаром он внушал ей, что «быт губит любовь». Они редко встречались в зиму перед рождением ребёнка, но он так убедительно рассказывал о своей занятости и так заманчиво говорил о лете, которое они проведут вместе! Ей было очень трудно в ту зиму, сотни забот навалились на неё. А денег было мало, и она взяла на дом скучную техническую работу. Как у неё болела поясница от ночных сидений над сложными и скучными чертежами! Она ни разу не сказала об этом ни слова, встречала Бориса весёлой и подвижной, ласковой и беззаботной..

В июне, после её родов, Борис устроил ей сюрприз. Мама приехала за нею в больницу в автомобиле Бориса, автомобиль повёз их за город, на дачу, и Мария ахнула от восторга, открыв калитку и вступив на тенистую аллею, в глубине которой виднелся увитый зеленью дом... Да, всё это было хорошо, очень хорошо! Но Борис не приехал за нею и за ребёнком в больницу и не приехал на дачу ни в этот день, ни в следующий, а только через неделю, когда Мария уже вполне оправилась. Её покорило, что Борис без понимания и без нежности отнёсся к ребёнку, но она и на это закрыла глаза, она захотела поверить, что любовь к ней захватила его целиком... Борис привозил на дачу Гудимова, Олю, Акимова и других товарищей по работе. Предварительно шофёр выгружал на кухне корзины продуктов. Анна Константиновна хлопотала, устраивая ужин, всем было очень весело... Приезжал и помощник Бориса Горев, человек неприятный и неискренний, подхалим, Мария не понимала, зачем Борис приглашает его. Но однажды выяснилось, что этот Горев оборудовал дачу.... И, действительно, Борис, приезжая, весело обнаруживал то лодку, то вазу с цветами, то превосходный погребок за домом. . то-есть те милые мелочи, которые Мария вначале сочла проявлением его собственной трогательной заботы..

Да, эта летняя сказка, устроенная им, не стоила ему ни усилий, ни хлопот. А когда у Андрюши было воспаление среднего уха и Борис застал его на руках у измученной Марии, он сразу уехал под предлогом срочного вызова в Смольный. И не приезжал до тех пор, пока Андрюша не поправился.

Марию он любил, конечно, но любил для себя, ничем не поступаясь ради неё. Недаром, ворвавшись в квартиру после своего бегства из района, он сказал с облегчением: «Слава богу, вы ещё здесь..» А ведь он считал, что надо уезжать как можно скорее!

Почему я тогда удивилась и возмутилась? — спросила себя Мария. — Ведь он всегда был таким, думающим только о себе, избалованным властью и благополучием. Его любили, потому что он был жизнерадостен и умел нравиться. И если в районе что-нибудь шло плохо, винили его помощников, и он их винил, добавляя: «Доверился, не проследил. Всё надо самому!» И его жалели и щадили все, даже Гудимов... Не будь войны, он бы так и «прожил жизнь, окружённый любовью и уважением. И Мария закрывала бы глаза на его эгоизм, на его легковесное самодовольство... И только тогда, когда она стала бы стара и больна, она вдруг обнаружила бы, что друга у неё нет.

Стрельба ушла в сторону и постепенно стихла. Восток начинал

светлеть. На развалинах дома номер семь копошились маленькие фигурки, бродили мутные лучи фонариков. Проехала, завывая, карета скорой помощи. На соседних крышах возились люди, сметая щебень и пыль. И в окнах домов, сколько могла видеть Мария, жильцы убирали разбитые стёкла, вставляли выбитые рамы, прилаживали фанеру.

Подведя печальный итог своему прошлому, Мария не чувствовала ни боли, ни смятения, ни горечи. Её глаза осматривались внимательно и бесстрастно. Если завтра настанет её черёд, она вот так же выйдет убирать, латать, бороться. Это человеческое упорство было сродни ей и внушало спокойствие, и холодная, медленно светлеющая высота неба внушала спокойствие, а может быть, спокойствие выработалось в ней самой, как самозащита души, потому что иначе сейчас нельзя было жить.

Тихой звёздной ночью танки Алексея Смолина шли на новую позицию. Изредка взлетающие над фронтом ракеты освещали пустынную, вздыбленную снарядами низменность, пересечённую железнодорожными насыпями. Иногда из мрака выступали разрушенные строения, такие мертвенно тихие, что казалось — никогда не звучали в них человеческие шаги, человеческая речь. Но Алексей знал: жизнь не ушла отсюда. Отряд заводских рабочих сумел задержать немцев на подступах к этому пригороду и теперь держит оборону вон там, впереди, где чёрная мгла наглухо укрыла и заводские корпуса, и низкие домики с палисадниками, и наспех открытые окопы.

— Лучше помереть, чем плохо помочь им, — сказал Яковенко, отправляя Смолина, — вот тебе и весь приказ.

Иных приказов Алексей не слышал уже давно. Танки мотались с одного участка сузившегося под Ленинградом фронта на другой, отражали атаки немцев, совершали быстрые и отчаянные рейды по тылам противника — и всегда задание требовало: умереть, но сделать. В непрерывной смене опасных заданий и боёв Алексей утратил представление о том, что бывает на свете уют дома, сон в постели. И только порою удивлялся, что всё ещё жив и невредим.

Из темноты вынырнула чёрная тень. Алексей разглядел человека в штатском пальто, перетянутом пулемётными лентами, и в меховой шапке.

— А мы вас ждём, — сказал человек.

Голос его был старчески приветлив и гостеприимен, как будто никакой войны не было и Алексей приехал в гости.

Вторая чёрная тень, поменьше, появилась рядом. Свет звёзд отблескивал на стволе винтовки.

— Шура, — сказал старик, — проведи на позицию. Не знаю, так ли мы сделали.

Позицию выбрали удобно — сразу за крайним домом посёлка, в небольшом овражке. Укрытия были расположены умно, на хорошей дистанции одно от другого, но стенки были срезаны неправильно. Алексей указал командирам танков их места и вернулся к своей машине. Его товарищи уже взялись за лопаты, и Шура вместе с ними.

— Мы ведь не знали, как полагается. Мы всё ждали, ждали вас. Нам третий день обещают. Когда они прорвались к кладбищу и мы их оттуда



выгнали, нам сказали, что танки уже идут, и мы заняли здесь оборону. Стали вам укрытия делать, а как — объяснить некому. У нас и гранат не было. Теперь завод выпускает. Теперь-то мы спокойны...

Звонкий голос Шуры был очень серьёзен. Ясно было, что паренёк преисполнен чувства ответственности.

— Сколько тебе лет, Шура? — спросил Алексей.

— А что?

— В каком ты классе?

— Ни в каком.

— Ты не в школе?

— Здравствуйте-пожалуйста, — прозвучал сердитый ответ. — За кого вы меня принимаете, товарищ командир?

Алексей смутился и промолчал, стараясь рассмотреть в темноте собеседника с мальчишеским голосом, но лица не было видно. Фигурка была маленькая, быстрая.

— Вы тоже в ополчении? — спросил Серёжа Пегов тем изысканно вежливым голосом, каким всегда обращался к девушкам.

— Боец заводского рабочего отряда!

Теперь уже было несомненно, что перед ними девушка, и Алексей не понимал, как он мог ошибиться. Присутствие девушки со звонким голоском волновало и смущало его, продолжать разговор после нелепого его начала было неловко. Но Шура отложила лопату, вскинула на плечо винтовку и рассмеялась не без кокетства:

— А вы и растерялись! — сказала она. — Меня часто за мальчишку принимают. Мне даже приятно.

Алексей пробормотал какое-то объяснение. Язык его был скован, ничего умного не приходило на ум.

Шура сказала, вылезая из укрытия:

— Как сможете, приходите в тот домишко чайку попить. Я пока самовар поставлю.

— Это ваш дом?

— Наш.

— Тут и воюете, возле своего дома?

Она усмехнулась.

— Это немцы возле нашего дома воюют. Мы бы рады подальше.

— Так вы, что же и в бою уже побывали? — спросил Алексей торопливо, желая задержать девушку.

— А я не знаю, бой это был или не бой, — ответила Шура. — Они как стали приближаться, во весь рост, даже кричали что-то... мы залегли в окоп

и начали стрелять. А Куликов выполз вперёд навстречу танку и спрятался в яме, а когда танк подошёл, он вскочил и под гусеницы — бац! — целую связку гранат. И танк испортился. А потом Аверкиев и Настя Сулимова подтащили пулемёт, и пошли косить! Они тоже стреляли, а потом побежали назад. А потом снова всё сначала, — и опять их прогнали. Тогда они начали бить из пушек. Вот сейчас тихо, а всё время снаряды рвались. Это что, по-вашему, — бой?

— И удачный бой! — сказал Алексей. — Вы тоже стреляли?

— Стреляла. — Она подумала. — Я не хвастаю, я много стреляла. Но мне совсем не нравится. Зачем всё это выдумали только!

— А что же делать, если они напали?

— Это я понимаю. Я не о том... Может быть, после этой войны не будет больше войн, как вы думаете?

В её голосе звучала такая страстная надежда, что Алексей коротко ответил:

— Будем надеяться.

Но Серёжа Пегов воспользовался случаем, чтобы вступить в беседу, и начал рассуждать о противоречиях империализма и о том, что война есть продолжение политики другими средствами.

— Вот и надо уничтожить империализм и противоречия вместе с ним, — прервала его девушка. — Ну, я пойду самовар ставить.

Она ушла, сразу растаяв в темноте, а Носов сказал:

— Лекция не удалась.

— Нельзя упрощать понятия, — буркнул Серёжа.

Алексей смотрел, улыбаясь, в ту сторону, где исчезла девушка. Он увидел, как приоткрылась дверь и в мутной полосе синего света мелькнула фигурка с винтовкой за плечом. Он не видел её лица и не знал, какая она, эта девушка, отразившая две немецкие атаки. Но хотел видеть её прекрасной.

Танкисты обосновались на позиции. Алексей отправил Кривокуба связаться с командиром отряда. По-прежнему было совершенно тихо. Изредка взлетали над фронтом немецкие ракеты, и в неестественно ярком, неживом свете блестели мокрые листья на берёзках, укрывших танки. И в этом же злом свете Алексей увидел, как вышла из дому Шура и припала к стене, прижимаясь к ней ладонями, втянув голову в плечи. Через минуту в темноте раздался её голос.

— Товарищи танкисты... чай пить..

— Так я схожу, ребята, пока тихо, а потом вас по очереди отпущу, — виноватым голосом сказал Алексей и пошёл вслед за девушкой, с

волнением ожидая, что она обернётся к нему на свету и окажется той самой, какую представилась, с белокурой косой у нежного плеча, с глазами такими, что посмотришь и сам себе покажешься грубым, неуклюжим, недостойным...

Отца не было дома, мать приветливо шагнула навстречу.

— Добро пожаловать. Самые дорогие гости!

Мать была высока и пригожа той особою пригожестью старости, когда черты былой красоты и щедрая, испытанная во многих жизненных обстоятельствах, доброта души явственно проступают сквозь морщины и как бы осеняются мягким сиянием седины.

Шура прошла в глубину комнаты, поставила в угол винтовку, скинула пальто и шапку. Косы не было, прямые русые волосы, примятые шапкой, были коротко острижены и открывали сильную, с полосой летнего загара, шею. Шура провела гребёнкой по волосам, взлетавшим, как пух, привычным движением уложила их и обернулась к Алексею. Её небольшие карие глаза сверкали, раскрасневшееся на холоду лицо дышало свежестью, оно было проще и грубее, чем представилось Алексею, и вся её фигура, обтянутая узкой чёрной юбкой и белым свитером, была крупнее и полнее, чем показалось на улице. Но Шура, словно поняв, что Алексею очень хочется быть очарованным, улыбнулась ему с добродушной и немного лукавой доверчивостью. В её улыбке и обращении было обаяние, которого он искал и её крепкие руки, легко поднявшие большой самовар, показались ему прекрасными, и через минуту ему уже нравилось в ней все — и сильная загорелая шея и деревенский румянец, пылавший на круглых щеках, и глаза — небольшие, но горячие, быстрые с золотыми искорками.

Товарищи ждали его, и надо было торопиться. Терзаясь угрызениями совести, Алексей всё-таки затянул чаепитие и вёл неторопливый разговор с хозяйкой, не решаясь заговорить с Шурой. Ему страшно было, что она скажет что-нибудь не так и обаяние нарушится.

— Как же вы дочку в бойцы отпустили? — спросил он мать.

Она повела плечами.

— Разве лучше будет, если они в дом ворвутся и что-нибудь над нею сделают?

— Я же только помогаю, — вспыхнув, объяснила Шура. — И папу разве оставишь одного? Он ведь старенький уже, папа... за ним не доглядишь, — простудится или к немцам попадёт...

И ему снова понравилось, что она не рисуется и не скрывает при нём своей дочерней нежности. Он старался поймать её взгляд, она заметила это и всё чаще быстро поглядывала на него, так что золотые искорки в её

глазах прыгали. Но когда он волей-неволей допил свой третий стакан и отказался от четвёртого, она вскочила с места:

— Самовар-то стынет, а товарищи ваши не напоены!

И он вынужден был уйти, со стыдом признаваясь себе, что впервые забыл о товарищах и что Шура выставила его за дверь.

Ночью спать не пришлось. Вернулся из штаба отряда Кривозуб и доложил, что, по данным разведчиков, немцы готовятся к новой атаке посёлка, так что в штабе особенно радуются прибытию танков. После участия в операции Каменского Алексей увлекался планами неожиданных дерзких ударов и считал, что чем больше будет проявлено дерзости, тем несомненное будет успех. Но сможет ли неопытный отряд самообороны поддержать дерзкие действия танков? Алексей сам отправился в штаб, и всё ему там понравилось — деловые люди, спокойная уверенность, восторженное уважение к танкам и готовность поддержать их всеми силами. Командир и начальник штаба хорошо поняли, какие выгоды можно извлечь из внезапного появления танков, и с увлечением обсудили с Алексеем все возможные варианты боя. Алексей изучил карту и данные разведки, договорился о связи и взаимодействии. Когда вернулся к себе, он не хотел спать и с нетерпением ждал утра.

Светало. Над мокрую землёю стлался тяжёлый сизый туман. Как корабль, выплывал из тумана домик, где жила Шура. И окна его уже ловили первые проблески света. За одним из этих окон спала она, дыша безмятежной молодой силой. Глаза закрыты — спят. И золотые искорки тоже спят...

Переведя стеснённое дыхание и заставив себя отвернуться от её окон, Алексей окинул рассеянным взглядом подёрнутое туманом пространство, отделявшее его от немцев. Там, над туманом, как над разлившейся в половодье рекой, чернели верхушки деревьев, и в том лесу были сейчас немцы. А Шура, наверно, с детства бегала туда по грибы...

Туман из сизого стал розоватым. Алексей увидел, как эту качающуюся розоватую пелену прорезали багряные вспышки. Режущий свист пронёсся над головою, и в уши ударил гул многоорудийного залпа.

В этот день Алексей долго томительно выжидал, бездействуя, чтобы до времени не обнаружить себя. Потом его танки рванулись в контратаку, совершенно внезапно для немцев, и немцы побежали, бросая оружие. Это был момент радости и азарта, танки преследовали бегущих, расстреливали их и давили гусеницами, с ходу ворвались в немецкое расположение и нанесли немцам порядочный урон. Но уже на отходе, посреди «ничьей» земли, танк Смолина тяжело вздрогнул, повернулся и осел набок. Пока все

пушки, имевшиеся в распоряжении заводского отряда, старались прикрыть своих и заставить замолчать немецкие батареи, Носов осмотрелся и доложил, что застряли прочно. И в эту минуту его ранило в шею. Немцы усилили огонь, а потом пошли в атаку, мечтая, должно быть, захватить танкистов живьём. Алексей был слишком поглощён боем, чтобы заметить, как и когда появился рядом танк Гаврюшки Кривокуба.

— Давай-ка мне, живо! — крикнул Кривокуба.

Носова положили на крыло кривокубовского танка, Алексей лёг рядом. Кривокубовский танк рванулся к посёлку, петляя по пустырю среди рвущихся снарядов.

«Такую машину загубили! Такую машину!» — прикрывая собою Носова, со злостью и отчаянием думал Алексей.

Танк трясло и подкидывало, Алексея больно било о броню.

Когда машина остановилась, Алексей хотел соскочить на землю, но почему-то не смог, как будто тело его срослось с броней.

— Алёша, друг... — сказал над его ухом Гаврюшка.

Он поднял голову и увидел бегущую по овражку Шуру. Снаряд разорвался между ним и Шурой, взметнув фонтан земли и увядшей ботвы. Когда дым рассеялся, он снова увидел бегущую к нему Шуру.

— Как я волновалась, — сказала она. — Вы ранены?

— Пустяки, — ответил он и сам сполз с крыла, но стоять не мог, Гаврюшка и Шура подхватили его.

Он понимал, что ранен, но — странно — не чувствовал, куда, только никогда ещё не испытанная слабость клонила к земле.

— К нам! — сказала Шура решительно.

— Нет, — так же решительно отказался Алексей. И из последних сил крикнул ей — И нечего бегать под снарядами. Глупо!

Алексея перевязали. Раны были лёгкие: осколок скользнул по боку и по руке выше локтя. Алексею стало стыдно, что он раскис из-за такого пустяшного ранения, но его и сейчас мучило при виде окровавленной марли, брошенной санитаром. Его здоровое тело не мирилось с болью.

Но он сразу отвлёкся от боли, вспомнив про свою машину.

Весь день вокруг танка шла борьба. Подбитый, но не потерявший боевого значения мощный КВ был приманкой для немцев, а ползущие к нему немцы были хорошей мишенью — более десятка их полегло, не добравшись до танка. Открыв шквальный огонь, немцы выпустили танкетку и пытались увезти танк на буксире, но и это не удалось им. Тогда вокруг танка образовалась смертельная полоса, простреливаемая насквозь и находящаяся под непрерывным наблюдением с двух сторон.

К вечеру Алексея вызвала Шура. В её доме отлеживался Носов, ожидая отправки в госпиталь, и Носова страшно беспокоила мысль о танке.

Алексей вошёл в маленькую комнатку, где всё — от нарядной кровати до безделушек на комодке — говорило о том, что здесь живёт девушка. На кровати лежал осунувшийся за день, лихорадочно возбуждённый Носов. Ему было трудно говорить. Алексей наклонился и выслушал его прерывистый шопот. Носов считал, что танк надо отремонтировать на месте и увести своим ходом; и старался обстоятельно объяснить, что и как нужно для этого сделать.

Уверив раненого, что всё будет сделано, Алексей вышел в общую комнату, где его ждали с ужином. И бок и рука снова занули, есть не хотелось. Но он с благодарностью выслушал рассказ шуриной матери о том, как они беспокоились за него и как Шура побежала со всех ног встречать танк Кривокуба.

— Зато меня встретили бранью, — сказала Шура.

Приглядевшись, он понял, что она совсем не сердится на него за давешнюю грубость.

Она стала расспрашивать, что можно сделать для спасения танка, и Алексей пересказал предложение Носова.

Шура накинула пальто и спокойно сказала:

— Посидите, я сбегаю за папой.

Отца Шуры Алексей узнал только по пулемётным лентам, перетянувшим грудь, да по старчески приветливому голосу. Он совсем не был стареньким папой, за которым, по словам Шуры, надо было приглядывать, чтоб не простудился и к немцам не попал. Это был старик высокого роста и крепкого телосложения, подчёркнутого осанкой, полной достоинства. Лицо его, несмотря на глубокие морщины, дышало здоровьем и силой, а в живых карих, как у Шуры, глазах горели такие же золотые искорки.

— Марков, — представился он, энергично пожав протянутую Алексеем руку. — Я уж думал! — сразу заговорил он, отводя лишние объяснения. — Мы с утра прикидываем. И — прикидывай, не прикидывай — выход один: починить на месте. Смотраться туда ночью, осмотреть, поработать, если что нужно в заводе делать — сделать, потом ползти снова и кончать.

— Весь путь под огнём, — предупредил Алексей.

— Путь паршивый, да и там не слаще, — согласился Марков. — Но другого выхода ведь нету?

Жена его подошла и тихо спросила:

— Кто пойдёт?

— Самому придётся. Кого же тут пошлешь?

Она спросила так же тихо и ровно:

— Что приготовить тебе?

— Да вроде ничего. Рукавицы дай, удобнее ползти будет. Фонарь возьму. Да найди кусок брезента, чтобы затемниться.

Шура громко вздохнула, будто всхлипнула. Даже следа недавнего румянца не осталось на её побледневших щеках. Расширенные глаза её были прикованы к отцу.

— Папа, — сказала она, — я пойду с тобою, а?

— Только тебя мне не хватало там, — ответил отец и мимоходом погладил её по волосам. — Солдатик!..

В полной темноте Марков, Шура, Алексей и Серёжа Пегов миновали окопы первой линии и поползли вперёд.

— Здесь, — сказал Марков и подтолкнул Алексея в канавку.

Они лежали, пользуясь вспышками ракет, чтобы рассмотреть пространство, отделяющее их от танка. Потом Марков и Сергей вскинули на спины тяжёлые мешки и молча поползли в темноту. Прошло больше часу. Шура лежала совсем рядом, но Алексей чувствовал себя виноватым перед нею и не решался заговорить. Немцы вдруг открыли шквальный огонь. Снаряды падали возле танка и по всему пустырю, у окопов и за ними. Алексей и Шура скатились на дно канавы, но Алексею пришлось прикрикнуть на неё, чтобы она не выглядывала. Затем огонь стал затихать, и снова взлетела ракета, озарив обнажающим светом каждую травинку.

— Он не поползёт обратно, пока огонь, — сказала Шура. И попросила: — Дайте мне гранату, товарищ Смолин!

— Зачем?

— Если что случится... я поползу к нему.

— Ну, знаете, девушка! — возмущённо воскликнул Алексей. — Вы что ж — за подлеца меня считаете?

— Вы ранены, — просто сказала Шура. — И вы командир. А я тут каждую кочку знаю, это же наш огород, а дальше черника растёт, я тут всё облазила.

Снаряд упал за ними, возле самого дома Марковых. Слышно было, как посыпались стёкла.

Ну, вот, — сказала Шура, — теперь мёрзнуть придётся.

— Вам бы уехать, — сказал Алексей. — Чорт знает что! Пожилая женщина и девушка живут на переднем крае!

— А папа? — возразила она. — Да и куда же мы поедем?

Она вдруг приподнялась и схватила Алексея за руку. Он чувствовал на ладони её острые ногти. Ноготки то вонзались до боли в кожу, то отрывались, то снова вонзались...

— Возвращается!

Сколько ни вглядывался Алексей, он не видел ничего, кроме чёрной бугристой земли.

— Да нет же... Вам показалось.

Острые ногти снова вонзились в его ладонь. Два снаряда разорвались между ними и танком. Канавку запорошило землёй. Шура приподнялась ещё выше, облегчённо вздохнула и отняла руку.

— Ползёт, — сказала она. — Огородом ползёт...

Новый взрыв осыпал их землёй.

— Папа! — крикнула Шура, стряхивая землю с шапки. — Папа, сюда!

Теперь Алексей тоже видел быстро, не по-стариковски ползущую фигуру. Марков дополз до канавки и скатился в неё, хрипло дыша. Он не мог говорить и только погладил дочь по спине. Шура всхлипнула и прижалась щекой к его грязной руке.

— Сделаем, — сказал он, отдышавшись. — Беги-ка в завод к Егорычу, снеси вот это, пусть сварит. Он поймёт. И летом — обратно. Я пока отдохну.

Уже перед рассветом Марков пополз вторично к танку, и на этот раз с ним пополз Алексей. Шура с тревогой вскрикнула: «И вы?..», а потом дала на прощанье руку и шепнула: «У меня рука лёгкая...»

Пока Марков с помощью Алексея и Пегова закончил ремонт танка, стало уже совсем светло. Алексей успел закрыть люк и пробраться на место водителя, когда немцы открыли огонь. Но мотор послушно заурчал, танк сразу рванулся на предельной скорости и помчался по пустырю замысловатыми зигзагами, мешая прицельному обстрелу.

А затем, увидев смело поднявшуюся навстречу девичью фигурку, Алексей испытал короткую минутку гордости и торжества. Короткую потому, что яркая вспышка огня сверкнула перед ним, а когда дым и пыль осели, Шура лежала лицом вниз, безжизненно раскинув руки...

Алексей заставил себя вспомнить, что он — командир и должен продолжать своё воинское дело, то-есть в данном случае укрыть машину, посадить на связь радиста и затребовать от Яковенко нового водителя вместо Носова, а затем связаться со штабом отряда и подготовиться к совместным действиям, так как немцы, конечно, возобновят атаки... Он стал делать всё, что следовало, и это было для него самым трудным испытанием за всю войну.



Глубокой ночью он пришёл к могильному холмику за домом Марковых.

Дотронулся до него и поспешно отдернул руку, — так холодна и влажна была рыхлая, ещё не осевшая земля... И там, под грузом этой земли, девушка с золотыми искорками в глазах... может быть, это и было его жданное счастье? Теперь уже не узнать... И одно осталось сердцу — война, война, война...

Сквозь звон в ушах, не проходивший после ранения, он слышал мощный гул канонады в районе Пулковской высоты. От множества вспышек небо на той стороне было жёлтое и мерцало, как северное сияние. А в тёмной вышине горели звёзды, и запрокинутый ковш Большой Медведицы висел над самой головой.

Как смутное воспоминание о ком-то другом, всплыло в памяти его собственное предвоенное увлечение Циолковским, идеей ракетного двигателя и проектами межпланетного сообщения... Эх, чудила! Сперва надо привести в порядок и очистить от погани вот эту суматошную планету под названием Земля. И, пожалуй, ни на что другое жизни Алексея Смолина не хватает. Сколько может продлиться такая заваруха? Год? Два? Четыре? Во всяком случае, вряд ли удастся выскочить из неё живым...

Старики Марковы поставили на могилку столбик с красной звёздочкой наверху и вырезали короткую надпись: «Шура Маркова, 1923–1941, погибла от немецкого снаряда».

Здесь, перед этой жестокой могилой, Алексей равнодушно и даже с каким-то облегчением сказал себе, что настанет и его черёд. Неизбежность смерти в бою — рано или поздно — казалась ему закономерной. Не может же без конца везти человеку! Перед войной, как большинство очень здоровых людей, он холодел при одной мысли, что когда-нибудь оборвётся и его, такая хорошая жизнь. Теперь он не удивлялся ни своей выносливости и готовности погибнуть, если придётся, ни подвигам бойцов, шедших на явную смерть ради успеха порою совсем малого боя, ни той простоте, с какою старый Марков пополз под огнём спасать танк и с какою восемнадцатилетняя Шура взяла винтовку и стала стрелять в немцев, а затем предложила позвать отца для опасного дела, так как именно отец мог его выполнить лучше других. Естественными показались теперь и поразившие его недавно слова из письма Марии: «Если немцы возьмут Ленинград, я не хочу жить». Немцы подошли к этому пригороду, и люди бились насмерть, чтобы задержать их, не пропустить через вот этот обгагрённый кровью километр, потому что за этим километром — путь на Ленинград. Ради этого погибла Шура Маркова. А если немцы всё-таки

прорвутся куда-нибудь на Международный проспект или на улицу Стачек, сестрёнка Мария так же просто возьмёт винтовку и будет стрелять из-за построенной ею баррикады. И когда упадёт она, другая подхватит винтовку... Так же будет и со мною. В один скверный день товарищи скажут: «Убит, бедняга!», и Яковенко назначит другого, и всё будет продолжаться, как будто и не было на свете Алексея Смолина...

Пусть так. Но хочется знать, что не зря. Хочется знать, чем всё это кончится. Выстоит, уцелеет ли Ленинград? Кто выживет, и какую будет жизнь после победы?.. И, главное, хочется теперь же услышать очень умное и верное слово обо всём, что происходит, и обо всём, что будет дальше.

Так размышлял Алексей, сидя на садовой скамейке у могилы Шуры и поглядывая то на звёзды в тёмном небе, то на полыхающее в стороне пламя войны. Ему хотелось думать только об этой девушке, светло мелькнувшей в его жизни, но оставленные дела и назойливые мысли о войне лезли в голову. Экипажи пополнились шестью новыми бойцами взамен раненых. Как они покажут себя в боях? А разведка сообщает, что немцы усиленно гонят к Ленинграду эшелоны с техникой. И ещё — что по всему фронту немцы усиленно копают и строят... Чего ждать? Нового, сильнеешего удара? Последнего, сокрушительного штурма?..

Он не знал и ещё не мог знать того, что уже почувствовали немцы и о чём немного позднее заговорил весь мир: что в эти осенние дни и ночи, когда он вёл по несколько неравных боёв в сутки, чтобы уничтожить ещё несколько немцев, пушку или пулемёт, — что в эти осенние дни и ночи он и его товарищи по фронту совершили подвиг, равный чуду, остановив немцев под Ленинградом. Упоённая победами, кичливая и превосходно вооружённая немецкая армия неожиданно споткнулась, замедлила движение, затопталась на месте... и стала. Фашистские агитаторы ещё кричали на весь мир о падении Ленинграда, фашистские офицеры ещё хранили в карманах приглашения на банкет победителей в отеле «Астория», ещё — по инерции — продолжались атаки и разрабатывались планы решающего штурма ленинградской обороны... но уже командование немецких войск, злобно подсчитывая потери, приказало строить долговременные укрепления и глубокие блиндажи, рассчитанные на условия русской зимы.

Алексей не мог знать этого и с хладнокровием готовился принять и отразить новые, сильнеешие удары, — отразить во что бы то ни стало, хотя бы ценою жизни.

**Глава пятая**

**Слово**



Они стояли рядом у слухового окошка. Их глазам открывалась причудливая красота ночи, взбудораженной выстрелами, взрывами и россыпью быстро опадающих костров от зажигательных бомб.

Сизов молча попыхивал трубочкой, прикрывая ладонью её красный огонёк. В эти напряженные предпраздничные вечера он часто заходил к Марии, не проверяя её, но давая ей высказать свои тревоги и спросить совета.

Само присутствие Сизова внушало Марии уверенность, а его немногословие было приятно. Предположения, догадки, обсуждение расползающихся по городу слухов — и хороших, и страшных — лишь усиливали душевную смуту.

И вдруг Сизов, откашлявшись, сказал:

— А что, если тебе уехать? А, Маша?

Мария с досадой дёрнула плечом и промолчала.

— Я серьёзно говорю. Повоевала — и хватит. У тебя ребёнок, мать. Как установится на Ладоге лёд, начнётся эвакуация.

Мария отмалчивалась, и он продолжал уже сердито:

— В сентябре я тебя не уговаривал. Тогда такое дело было — баррикадное. То ли всем помирать, то ли задержать немцев. Ну, и задержали. А теперь война на сроки пошла. Захлопнули нас с трёх сторон, только и осталась нам одна ниточка — Ладога. И вот я тебе скажу, Маша: взять нас не возьмут ни штурмом, ни блокадой, но горя мы хватанём.

Мария повела рукой в сторону вспыхнувших неподалеку мелких костров:

— Сегодня много зажигалок бросают. Хорошо, мы огнетушители достали.

— Поэтому и доставали... Ты что, Маша, не хочешь отвечать? Я тебе серьёзно предлагаю. Я и в райкоме говорил уже.

— Зря.

— Жалко мне тебя стало, — утомлённо сказал Сизов. — Вот и всё.

Помолчав, он пробурчал со своей обычной шутливой манерой:

— Ну, гляди в оба, а я поплетусь. Шестого вечером приду на весь праздник, отпущу тебя. Хоть танцуй, хоть спи — как душа запросит.

Он ушёл, в потёмках шаркая подошвами, а Мария облокотилась на подоконник и закрыла глаза. Уехать?.. Ни бомб, ни снарядов, ни воя сирен. Андрюшка заснёт — и ничто не потревожит его сон. Пойдёт гулять — и наверняка вернётся... Можно поступить на завод или на большое строительство, там люди нужны, я же строитель, а не пожарный... Мама может поступить в очаг, и Андрюшку возьмёт с собою... И там тишина... безопасное небо... сон в постели... Я буду работать до упаду, я буду там полезнее...

Она раскрыла глаза и резко выпрямилась. Она уже знала этот предательский шопоток страха, подбирающего самые убедительные доводы. Стоит захотеть отступить — сколько доводов находится! Но если и не хочешь отступать — как трудно верить в успех неравной борьбы, вопреки всему, что нащёптывает страх!

Привычные звуки пальбы стремительно прорезал дробный звук, похожий на стук гигантского града. Оранжевый свет метнулся перед окном, и почти одновременно сквозь треск и звон донёсся женский вопль:

— Сюда-а-а-а-а!..

«Вот оно», — мелькнуло в уме Марии, когда она выскочила на крышу. Тут и там прыгало жёлтое пламя, ещё легкое, ещё только зачинающееся. Было так светло, что выделялся каждый шов кровли. На этом свету, как большая ночная птица, моталась чёрная тень дежурной Тимошкиной. И звучал всё тот же призывный вопль:

— Сюда-а-а-а-а!..

Совершенно забыв о высоте, Мария свободно побежала по скату крыши и подкинула ближайшую зажигательную бомбу ногой, как подкидывают футбольный мяч. Бомба сорвалась с крыши и полетела вниз, оставляя за собою огненный хвост. Женский голос со двора звонко крикнул:

— Хорош!

Вторую бомбу Мария схватила рукою в рукавице и сбросила вслед за

первою. И сама удивилась, до чего просто у неё это вышло, совсем как на учебной тренировке. Но по кровле уже растекалась горящая лава, и Мария стала забрасывать её песком, для верности притаптывая ногой.

Ещё несколько костров пылало в разных местах. Людей на крыше было уже много, человек шесть или восемь, и третью бомбу Марии не удалось сбросить, её перехватила чья-то рука, Мария только помогла тушить пламя и смутно угадала, что рядом с нею бухгалтер Клячкин, тот, что отказывался дежурить.

— Вот я тебя! Вот я тебя! — выкрикивал Клячкин, притаптывая песок и бешено вращая испуганными глазами.

Оранжевый слепящий свет сменился темнотой. Лишь на секунду вспыхивали и сразу погасали под песком последние струйки огня.

— Четырнадцать штук было, я сосчитала! — кричала Тимошкина. — Вот здорово справились!

— Я три штуки прикончила! — хвасталась Зоя Плетнёва.

Взволнованные пережитым и обрадованные успехом, люди уже не обращали внимания на прерывистый гул чужих самолётов и продолжающуюся стрельбу зениток.

И вдруг Зоя Плетнёва узнала Клячкина.

— А вы чего припёрлись, товарищ Клячкин? — с гневом закричала она, наступая на бухгалтера. — Как дежурить — нет его, а бомбы тушить — пожалуйста! Прибежал! Могли не беспокоиться, без вас справились бы!

— Ну, что там считать, — примирительно сказала Мария, хотя и ей было досадно, что Клячкин разделил с ними славу успеха. «Однако четырнадцать штук было! — подумала она. — Не зря учились, готовились... То-то Сизов порадуетя!..»

В это время со двора закричали:

— На крыше! Эй-эй, на крыше! Огонь в четвёртом!

Люди находились в таком возбуждённом состоянии, что новая беда испугала их сильнее, чем незадолго перед тем бомбы. А Мария с отчаянием вспомнила, что она — начальник, и ей следовало хорошенько осмотреться вместо того, чтобы легкомысленно радоваться. Она побежала вниз, на чердак, услышала за собою топот многих ног, сообразила, что всем бежать нельзя, остановилась и закричала не своим, грубым голосом:

— Куда?! Постовые — назад! Порядка не знаете?! Тимошкина, на пост! Плетнёва — вниз, подать шланги!

Пламя освещало угол чердака. Бомба пробила и крышу, и чердачное перекрытие, застряла в нём и разбрызгала струи огня, охватившие деревянные балки и проникшие в комнату четвёртого этажа.

— Огнетушители! Огнетушители давай! Песку, побольше песку! Лопатами кидай! Где лопаты? Слушать команду! Не толпиться! Лопатами кидай!

Мария распорядилась, внешне почти спокойная, но в мозгу билась жалобная мысль: господи, хоть бы Сизов вернулся, ведь это пожар, настоящий пожар..

Когда она направила в основание пламени пенную струю из огнетушителя, её ошеломило новое подозрение: а вдруг ещё где-нибудь недосмотрели?. Не поверив, что может обрушиться на неё такая напасть, она всё-таки послала двух бойцов осмотреться на чердаке и на крыше. Одним из этих бойцов был Клячкин. Он неохотно оторвался от людей, но почти сразу же прибежал назад с трясущимися губами.

— В антресоли горит! — кричал он ещё издали. — Товарищ Смолина, в антресоли горит!

Мария сначала не поняла, что он называет антресолями, а когда увидела, в чём дело, у неё перехватило дыхание.

Дом был старый, с запутанными и неудобными чердаками и лестницами, с различными хозяйственными достройками, сделанными, как бог на душу положит. Часть чердака была издавна отведена под надстройку, где устроили несколько комнатушек. Между крышей и потолком этой надстройки позднее проложили трубы парового отопления. Зажигательная бомба, пробив крышу, застряла между трубами и подожгла стропила и настил. Задыхаясь в тесноте, огонь расползлся, высывая вперёд клубы густого дыма.

— К телефону, вызывайте пожарную команду! — крикнула Мария Клячкину. — Да скажите Плетнёвой, пусть подаёт шланги сюда!

Она заставила себя приказывать ровным, неторопливым голосом. Размеры беды были настолько велики, что требовалось полное хладнокровие. «Одна! Одна! Хоть бы Сизов вернулся!» Мысль мелькнула, не задерживаясь. Мария негромко приказала:

— Подать все огнетушители.

Она с силой хлопнула огнетушитель головкой об пол и нацелила брызжущую струю в ползучее огненно-дымное облако. Рядом взвилась вторая струя. Дым ел глаза и мешал видеть.

— Товарищ Смолина, дозвонился! — закричал над ухом Клячкин. — Все команды в разгоне! Пошлют, когда смогут, только надежды мало! Сказали: что угодно, но не пускать огонь наружу, сохранить маскировку! Просили самих стараться!

Голос Клячкина прыгал от возбуждения. Мария, не отрываясь от дела,

громко сказала:

— Перестаньте трястись. Пойдите вниз и поторопите шланги.

Она отбросила израсходованный огнетушитель и взяла другой. Ей доложили, что пожар в четвёртом потушен и что осталось всего два огнетушителя. А пламя над антресолями не уменьшалось, сквозь чёрное облако дыма прорывались его багровые длинные языки... Если пламя вырвется на волю — какой прекрасный ориентир для немцев! Отсветы огня заиграют в стёклах конусообразной крыши вокзала, а мост отчётливо выступит на фоне заблестевшей реки... Что угодно, только не выпускать огонь наружу! А пожарная команда не приедет. Приедет не скоро.

Кашляя и плача от дыма, Мария отбросила последний огнетушитель и побежала узнать, почему не подают воду. Зоя Плетнёва с помощницами тянула ей навстречу пожарный шланг, на её закопчённом, с потёками пота лице отражалось удовлетворение — она, видимо, хорошо и толково поработала.

— Давай воду! — азартно крикнула она в лестничное окно.

Струя победно рванулась навстречу огню и дыму. Слышно было, как исступлённо шипит вода, сталкиваясь с огнём. Дым стал ещё удушливее, но багровые языки укорачивались и извивались, как живые, ища выхода.

И вдруг мощная струя упала, иссякла. Шланг стал лёгким и повис в руках.

Где-то на лестнице забулькала вода.

— Шланг лопнул! — закричали снизу.

Мария приказала как можно спокойнее:

— Давай ведрами по цепочке, с места обрыва!

Она поручила Зое организовать цепочку и послала одну из женщин в бомбоубежище, чтобы вызвать оттуда всех, кто способен работать.

— Товарищ Смолина! — окликнул её рабочий, прибежавший из общежития. — Я топоры принёс. Надо крышу ломать, оттуда сподручнее.

— А маскировка?

— Так ведь снизу не достанешь никак. Разгорится, можем ещё пуще костёр раздуть.

Мария покачала головой — нет, не дадим, не разгорится.

Воду начали подавать ведрами, но добраться до самого очага пожара было трудно. В узкое пространство под крышей можно было проникнуть только ползком, в удушливом горячем дыму. Сама удивляясь своему спокойствию, Мария спросила рабочего:

— Твоя как фамилия? Никонов? Никонов, голубчик, дай мне топор и надевай противогаз. Надо доставать отсюда.



Она окликнула Зою, пытавшуюся снизу выплеснуть воду в огонь:

— Зоенька, облей-ка меня получше и погоди, подашь наверх.

С холодной ясностью оценив положение, она взяла брезентовые рукавицы и надела поверх противогаза каску. Глухим, через резиновую маску, голосом приказала посадить её. Уцепилась руками за верхнюю балку, подтянулась и, невольно зажмурив глаза, поползла по узкому пространству, загромаждённым трубами, прямо навстречу чёрному дыму. Дым окутал её. Красная искра упала на рукавицу. Мария скинула искру и огляделась, соображая, что же теперь делать в этом жарком и душном аду. Она увидела горящую балку, потребовала воды, чуть не выронила тяжёлое ведро, но удержала его и с размаху выплеснула воду на балку, а потом стала отдирать балку топором. Кто-то сзади снова облил её водою. Вода освежила тело, но в дыму ничего не было видно и дышалось так трудно, что заломило в висках. Она продолжала работать топором, понимая, что ей не одолеть балку, и с надеждой поджидая Никонова — не оставит же он её одну? И Никонов, действительно, появился с другой стороны, а может быть, это был и не Никонов, в противогазе не разобрать... Неузнаваемый, какой-то трубный голос крикнул ей:

— Держись, шланг наращивают!

Задыхаясь и слабея с каждым взмахом топора, Мария продолжала отдирать балку. С другой стороны ей помогал Никонов или тот, кого она принимала за Никонова. Балка вдруг оторвалась и красной головнёй покатила к ним. Мария отшатнулась, крикнула: «Держи!», а потом, когда балка шлёпнулась вниз — «Воды!». На неё выплеснули ещё ведро воды, она перевела дух и, оглядевшись, поняла, что они сделали ничтожно мало и пожар продолжается.

— Товарищ Смолина, держите шланг! — вдруг раздался снизу голос Никонова, и она отползла назад и схватила шланг, мельком подумав, что, значит, работает с нею кто-то другой.

Крутая струя воды ударила из шланга в самый очаг пожара. Направляя струю и радуясь ей, как спасению, и боясь, чтобы она снова не иссякла, Мария думала, что Никонов — большой молодец, сумел нарастить шланг, без воды всё равно ничего тут не сделаешь. И было бы хорошо, если бы Никонов сейчас сменил её, так как больше она не может...

— А ну, девушки, посторонитесь! — раздался рядом с нею голос Никонова, который она узнала даже через противогаз.

Никонов отнял у Марии топор и полез в самую гущу дыма. Мария продолжала направлять струю и время от времени, приподнимая её, окатывала водою дымящуюся спину Никонова.

На взлетающем и опускающемся топоре прыгали красные отблески, но отблески становились всё бледнее. И дым редел.

Когда всё кончилось, они сползли вниз и сдёрнули противогазы. Никонов оказался действительно Никоновым, а в своём неузнанном товарище с трубным голосом Мария обнаружила Зою Плетнёву.

— Зоинька, — только и сказала Мария.

— А говорят — от противогазов никакого толку! — обычным голосом заметила Зоя, запихивая в сумку опалённую резиновую маску.

Снизу сообщили:

— Пожарная команда приехала!

— Поворачивай обратно! — весело отозвалась Зоя.

Но Мария прикрикнула на неё и пошла навстречу пожарным: пожарные всё осмотрят и проверят, а главное — скажут измученным добровольцам те самые слова, которые Мария от усталости не сумела сказать товарищам и которые никто другой не мог сказать ей самой.

Поднимаясь по широкой лестнице госпиталя на третий этаж, Мария с удовольствием обдумывала, как она расскажет Каменскому и Мите про вчерашний пожар и что они скажут, и как взволнуется Каменский. После отъезда пожарных ей удалось поспать всего два часа, но она чувствовала себя на редкость лёгкой и счастливой. Она с полным правом приняла короткую похвалу начальника команды. «Молодец!» — сказал он, осмотрев место пожара и выслушав её отчёт. «Молодец!» — повторяла она себе, вспоминая все подробности пережитого и особенно ту минуту, когда ей удалось овладеть собою, ласково спросить у Никонова его фамилию и затем наладить работу в противогазах..

Готовая улыбнуться навстречу сдержанно-радостному возгласу Каменского: «Наконец-то!», она уверенно распахнула дверь палаты — и от неожиданности остановилась на пороге.

Каменский сидел спиной к двери в белой накидке, из-под которой выглядывала пёстрая пижама. Парикмахер подстригал его волосы. Митя сидел на своей койке в обнимку с незнакомым Марии сержантом.

— Мариночка! — восторженно закричал Митя, и в его восторге была приподнятость духа, относившаяся, как поняла Мария, не к её приходу, а к событиям, происшедшим в палате до её прихода.

Каменский так стремительно повернул голову к Марии, что парикмахер охнул, отдёргивая ножницы.

— Что бы вам притти на десять минут позже! — вскричал Каменский.

— Вот первый случай, когда вам не кажется, что я опоздала! — весело отметила Мария, разглядывая помолодевшее лицо капитана.

— Во-первых, познакомьтесь: сержант Бобрышев, чудесный парень и храбрец, каких мало, — говорил Каменский. — Во-вторых, разрешите представиться: капитан Каменский в вертикальном положении и в человеческом виде, жаль, не успел достричься!... В-третьих, под праздник Митю выписывают из госпиталя с двухнедельным отпуском домой... В-четвёртых, нашёлся Кочарян, здесь же в госпитале, мы всё время лежали в разных этажах, и если бы не Бобрышев, так и не узнали бы ничего... Я очень хочу, чтобы вы навестили его, Марина...

Мария совершенно не знала, кто такой Кочарян и почему она должна навестить его, и чем славен Бобрышев.

— Дайте мне сесть и дайте парикмахеру закончить работу, — сказала

она. — И объясните мне всё толком.

Из возбуждённых рассказов Каменского и Мити, изредка дополняемых точными справками Бобрышева, Мария выяснила, что Митя пошёл в первый этаж на комиссию и по дороге встретил сержанта Бобрышева, с которым выбивался из окружения, а затем участвовал в спасении пушек и в операции Каменского. Бобрышев приехал с фронта навестить другого участника всех этих боевых дел, Левона Кочаряна, которого Каменский отправил в тыл к немцам с особым заданием. Никто не мог точно рассказать обо всех приключениях Кочаряна у немцев, потому что самого Кочаряна врачи запретили спрашивать — он был в тяжёлом состоянии. Но судя по тому, что представитель командования приехал в госпиталь и вручил раненому орден Красного Знамени, Кочарян проявил большую изобретательность и смелость. Узнав, что Кочарян лежит этажом ниже, Каменский «взбунтовался» против врачей и спустился повидать бойца, а заодно потребовал сапоги, брюки, пижамную куртку и парикмахера, чтобы покончить с больничным видом.

— Товарищ капитан, не двигайтесь, так же невозможно стричь, — тщётно умолял парикмахер.

— Я полтора месяца не двигался, — отвечал Каменский, покорно застывал, но через минуту, забыв о парикмахере, оборачивался к Марии или к Бобрышеву.

С минуты, когда Мария услышала фамилию неизвестного ей бойца, неясное воспоминание мучило её — где-то и в какой-то важной связи уже произносилась его фамилия. Рассказывал ли о своём товарище Митя? Вспоминал ли о сложном задании Каменский? Нет... Как всегда бывает в таких случаях, Мария упрямо и безуспешно старалась вспомнить то, что ускользало от неё. Кочарян... Кочарян... где?.. что?..

И вдруг, когда Каменский упомянул о жене бойца, погибшей от бомбы, разом возник в памяти взволнованный отрывистый рассказ Анны Константиновны о Стасике Кочаряне, извлечённом из зачочневших рук убитой матери, и потом, недавно, радостное сообщение о том, что Стасик, наконец, улыбнулся: «Я начала бить в бубен и плясать, он потянулся к бубну и улыбнулся!»

— Я могу рассказать Кочаряну про его сынишку Стасика, — сообщила Мария. — Как тесен мир!

— Совсем не тесен, — тихо возразил Каменский. — Просто вы посланы нам всем судьбой. Я вам говорил уже.

В этот день Мария так и не рассказала о событиях минувшей ночи. Каменский и Митя спрашивали Бобрышева о положении на фронте.

Наблюдения сержанта были ограничены участком одного полка, но и по этим наблюдениям выходило, что немцы оставили надежду взять Ленинград штурмом и закопались в землю. Из отрывочных бесед в палате Кочаряна со вновь поступившими ранеными Каменский извлёк и другую новость — жестокие бои идут в районе Невы и, по-видимому, на Волхове, значит, немцы пытаются замкнуть кольцо блокады и взять город измором. Мария сообщила, что автобат, где служит Соня Кружкова, ожидает переброски на Ладугу и что готовится новая эвакуация, — Сизов предлагал включить её в списки...

— Ну, и...

— Никуда я не поеду, — отрезала Мария.

Хотя Каменский и Митя убеждали её уехать, Мария видела, что оба гордятся её решением остаться, а ей самой почему-то казалось, что вчера ночью она уже прошла своё испытание и ничего более страшного с нею не случится.

Митя заранее радовался тому, что проведёт праздник дома. Мария пересказала содержание предпраздничной немецкой листовки, сброшенной с самолёта: «Седьмого будете праздновать, восьмого — хоронить». Она уверяла, что подобные листовки не вызывают ничего, кроме презрения, уверяла потому, что ей самой удалось презрением оттеснить страх, и окружающие её люди тоже не показывали виду, что им жутко.

— Усилим посты, вот и всё, — небрежно сказала она.

В городе объявили воздушную тревогу. Стрельба доносилась издалека и на просьбу дежурной сестры спуститься в убежище, все хором ответили:

— Нам и здесь хорошо.

Потом стрельба приблизилась, во дворе госпиталя взвыла сирена местной тревоги, и в коридоре зашаркали туфлями раненые. В палату заглянул врач и приказал всем немедленно спускаться.

— Пойдём, поможем вынести Кочаряна, — предложил Митя Бобрышеву.

Каменский и Мария не спеша пошли к лестнице, пропуская носилки с ранеными. Каменский стал очень бледен, на ходу его покачивало.

— Может быть, потихоньку вернёмся в палату? — предложила Мария. — Никто не будет проверять вторично, ушли мы или нет.

— Я давно не стоял на ногах, — объяснил Каменский и начал спускаться, придерживаясь рукою за стену. — Мы с вами посидим в вестибюле, и всё пройдёт.

Мария предложила свою руку, и он принял её, но вместо того, чтобы опереться, поднёс её к губам. Мимо бежали, ковыляли, тащили друг друга

раненые, и Мария с упрёком повела глазами в их сторону.

— А разве это стыдно? — с улыбкой спросил Каменский. — И что мне делать, когда, мне кажется, будто мы одни и сами по себе в целом мире?

— Какое тут одни! — усмехнулась Мария.

Стреляли зенитки у самого госпиталя, от сотрясения дребезжали стёкла и гудели металлические перила.

Теперь они остались вдвоём на лестнице, никто не перегонял их. На нижней площадке скучный голос однотонно покрикивал:

— Налево, налево. Не толпитесь у входа, проходите вперёд. Налево, налево!

— А мы не пойдём «налево, налево», — сказал Каменский. — Посидим здесь.

И он стал расстилать на ступенях газету.

Что произошло в эту минуту, Мария не поняла.

У неё было ощущение, будто под нею, треснув, раскалывается земля, будто горячий вихрь рванулся из трещины, всё сметая на пути.

Когда к Марии вернулась способность видеть и понимать, она с удивлением обнаружила, что сидит на той же лестнице, на ступени, заботливо прикрытой газетным листом, а Каменский крепко прижимает её к себе и прикрывает ладонями её голову.

— Целы? — спросил он.

— Кажется, да, — пробормотала она, не отстраняясь, а пристраиваясь удобнее под надёжной защищающей рукой. — Что это было?

— Бомба. По меньшей мере, полтонны.

— В это здание?

— Похоже.

Удивительную тишину, царившую вокруг, прорезал низкий утробный крик. В нижнем этаже протяжно и безумно кричал человек.

Каменский вскочил, увлекая за собою Марию. Они побежали вниз по лестнице, усыпанной стеклом и битой штукатуркой. Во втором этаже им путь преградил поток мутной, клокочущей воды, вода с шумом вырывалась из лопнувшей трубы и устремлялась вниз, танцуя по ступеням. Снизу неся уже не один голос, а многие стонущие и призывающие на помощь голоса.

Мария и Каменский пробирались по воде, цепляясь за перила. Миновав вестибюль, они свернули на звук голосов направо, в длинный коридор... и застыли на месте.

Длинный коридор был срезан беспорядочным нагромождением камней, расщеплённого дерева и скрюченного металла. Сквозь туман оседающей пыли откуда-то лился яркий, розовый свет, и Мария не сразу

поняла, что это самый мирный предзакатный свет солнца.

По уцелевшей части коридора ползла женщина в белой косынке и халате, с противогазом на боку. Она передвигалась на руках, подтягивая за собою раздавленную ногу. Мария хотела помочь ей, но женщина только кивнула в сторону палат, откуда неслись крики, и, стиснув губы, поползла дальше.

— Бегите в крайнюю палату, — властно сказал Каменский Марии и крикнул: — Э-эй! Кто тут здоровый?

Выглянула санитарка, спросила:

— Носить в операционную?

Мария слышала, как Каменский приказал носить в операционную и вызвать сюда ещё людей — «прячутся они, что ли?» Она вошла в крайнюю, полуразрушенную палату.

Перед нею на койках лежали люди — живые и мёртвые. Куски стен смешались с кусками человеческих тел. Стоны и мольбы сливались с бессвязной руганью. Навстречу Марии глядели глаза полные надежды, и полные муки, и полные молчаливой злости.

Преодолевая чувство беспомощности, Мария начала откапывать полузасыпанного на койке человека, потому что он кричал отчаяннее всех. Он перестал кричать и терпеливо помогал ей отбрасывать тяжёлые обломки, подбадривая её, если ей не удавалось сразу осилить обломок. От боли и напряжения по его лицу катился пот. Сколько времени это длилось, пока, наконец, появились санитарки с носилками и ещё какие-то люди? Женщина в военной гимнастёрке помогла Марии высвободить и положить на носилки раненого, а затем крикнула: «Берите!» И Мария послушно подняла носилки и вдвоём с женщиной понесла их по коридору, через вестибюль и по другому коридору в операционную. Затем обе вернулись в ту же палату и взяли другого раненого. Совсем ещё молодой боец вскрикивал от каждого прикосновения, плакал и сквозь слезы повторял, глядя на свою расплюсченную руку:

— На фронте уцелела, а тут... на фронте уцелела..

Ни Каменского, ни Мити Мария не встречала — да и не вспоминала о них. Она перекладывала на носилки раненых и носила их всё по тому же пути в операционную, какой-то седой врач приказывал ей поторапливаться, она бежала обратно и опять поднимала и перекладывала на носилки тяжёлые, окровавленные тела.

Много времени спустя до её сознания дошло, что розовый закатный свет погас и в коридорах расставлены фонари «летучая мышь», и тогда новая забота вернула её к обычной, собственной жизни: наступил вечер,

налёт продолжается, а на «объекте» ждут её и волнуются, огнетушители не заряжены, а мастер приедет только завтра, дежурные предоставлены самим себе и после вчерашнего пожара боятся...

С той же простотой, с какой недавно начала спасать раненых, Мария сказала врачу: «Я ухожу, мне пора», — обмыла руки у бачка с водой и пошла в раздевалку, на ходу снимая грязный халат. Номерок она обронила, но гардеробщица посмотрела в её лицо и молча выдала пальто.

Не оглядываясь на покинутое здание, Мария шла размеренным, тяжёлым шагом. Итти было далеко, покинутые трамваи стояли на путях, редкие пешеходы шагали так же размеренно, тяжело, как в долгом походе. Иногда постовые окликали Марию, требуя пропуск, она показывала паспорт и коротко объясняла:

— На дежурство.

Она ничего не вспоминала и думала только о тех неотложных делах, что заставили её итти сейчас, пешком, ночью, на свой пост. Позвонить насчёт огнетушителей, проверить, возобновлен ли запас воды в бочках, а песку — в ящиках, подбодрить весёлым словом дежурных... «Нас ведь недаром называли молодцами, верно?» — так она скажет своим женщинам... И только раз Мария до зримого ярко представила себе: завтра придёт на сутки Сизов, а она уедет домой и выспится, выспится, выспится...



Мария пожелала всем тихой ночи, раскрыла тугую дверь, шагнула через порог и словно провалилась в ночь. Не было видно ни тротуара под ногами, ни домов вдоль улицы, ни неба над головой. Совсем рядом прошлёпали осторожные шаги, одиноко прозвучал короткий сухой кашель.

Глаза постепенно привыкали к темноте. Чуть наметилось небо в густых рваных тучах. Мария недоброжелательно поглядела на тучи и на предательские «окна» между ними. Плохое сегодня небо. Надо итти скорее. Проскочить до очередного налёта...

На проспекте было светлее. Проползали, будто крадучись, тускло освещённые трамваи и автомобили с синими фарами. Иногда бледное сияние выбивалось на секунду из раскрытой двери. Вспыхивали огоньки папирос, вырывая из мрака незнакомое лицо, руку в перчатке, козырёк фуражки. Мария почти побежала, лавируя между тёмными фигурами прохожих. Мысли её были радостны и просты. «Андрюша ещё не спит, можно повозиться с ним полчаса, уложить и рассказать ему на ночь сказку. А за огнетушителями сейчас приедет мастер, добилась всё-таки... Да и не бывает так, чтобы дважды кряду попадало в одно место... Вот уже полпути пройдено, успею, проскочу... Выйти бы в переулки, там и во время тревоги можно...»

Не успела!..

Протяжный, томящий вой сирен повис над городом. В который раз за день, в который раз за неделю, за месяц?..

Сразу вспыхнула стрельба, и яркий луч прожектора вымахнул из-за домов и стал ощупывать края туч.

— Заходите, гражданки, заходите, не задерживайтесь! Немцев не видали? Заходите, вам говорят!

Мария вошла в парадное, где в неясном свете синей лампочки густо толпились люди. Она выбрала это парадное потому, что над ним поднималось семь этажей — самый высокий дом во всём квартале.

Кругом разговаривали:

— Семь перекрытий, надёжная стройка!

— Семь перекрытий — это да! А насчёт надёжности, так самые надёжные дома — восемнадцатого века. Потом уже строили полегче, потоньше.

— Мама, пойдём. Ма-ма! — плакал ребенок.

— А кто как не женщины? — звонко спрашивала молодая девушка рядом с Марией. — Чуть тревога — все в убежище, а мы — наверх, кто на чердак, кто на лестничные клетки. У нас вся команда женская!

—.. А потом и говорю: как же так? — упоённо рассказывал где-то в углу женский басовитый голос. — Рядом три объекта, а у нас ни ведер, ни черта! И управхоз за голову хватается, паникует... Подняла шум, до райсовета дошла...

— А главное — пустили бы в тревогу трамваи, ну, чего они стоят? Разбомбить его — это ещё сметь надо, а непроизводительная трата времени...

— Не прямое попадание страшно, а стёкла...

— Ох-ох-ох, спать хо-чет-ся!..

Притулившись у стенки, Мария прикрыла глаза.

Случайные отрывочные мысли возникали и исчезали, не задерживаясь. Как странно — всю жизнь говорили: этаж, потолок, дом, лестница, а теперь — перекрытие, лестничная клетка, объект.... Вот уж не думали зодчие восемнадцатого века, кто будет благословлять их за прочность построек!.. А пальба усиливается... Грохнула бомба... и когда-нибудь попадёт и в меня. Вчера прошло рядом, позавчера чуть не спалило... не всегда же будет везти?.. Зоя говорит — «противоестественно..» Да, жизнь стала неестественной и нереальной. А может быть, это только снится? Неужели это на самом деле — немцы в Стрельне и на Невской Дубровке, ежечасные налёты, бомбы, смерть... и неужели это я, Мария Смолина, Марина, Муся — это я — начальник штаба объекта? И только по доброте Сизова отпущена на сутки домой?..

Грохот. Ближние зенитные батареи.

Кто-то вбежал с улицы, сообщил:

— Всё небо в прожекторах, и садят, садят!

Молодая соседка Марии вытащила из портфеля кусок сухаря и со смехом рассказывала, что всегда носит с собою «аварийный запас» на случай, если застрянет во время тревоги.

— Было бы что носить, — откликнулись ей.

— Жевать не надо, — добродушно посоветовала девушка, — положить в рот корочку и сосать, так гораздо сытнее.

Мария обернулась на голос; голос был привлекательно звонок и жизнерадостен. Мария увидела курносое, симпатичное лицо и ещё успела подумать, что у девушки лёгкий характер...

Её подбросило и швырнуло о стену.

Лампочка погасла.

Что-то рушилось, свистело, гремело и лопалось в темноте.

Стоя на коленях там, куда её швырнуло, Мария нашарила рядом чьи-то тёплые двигающиеся тела и поняла, что осталась жива и невредима, что смерть ещё раз пронесло мимо.

— Рядом жажнуло, — сказала басовитая женщина.

— Четвёртый раз попадаю вот так же, — раздался над ухом Марии звонкий, жизнерадостный голос. — Гоняются за мной фрицы, а всё недолёты-перелёты!

Мария поднялась.

В парадном ругали Гитлера, деловито обчищались, размещались поудобнее, начинали шутить, как обычно шутят люди, ощутив наново свою жизнь. И вдруг алое пламя осветило окно, перечёркнутое полосами бумаги и зигзагами лопнувших стёкол.

— Загорелось, — сказал кто-то.

И стало тихо.

Мария кинулась к двери: по выработавшейся за два месяца привычке бежать к «очагу поражения». Но дежурная преградила ей дорогу и наставительно сказала:

— Пожалуйста, без паники. Где стояли, там и стойте.

У выхода грохот боя слышался явственнее, а может быть, снова усилилась стрельба. Потом Мария услышала дребезжащий свист бомбы и гулкий взрыв. Сотрясение почвы отдалось в ступнях. Через минуту — ещё более отчётливый свист, взрыв, удар в ноги. Затем — третий...

— Три по двести пятьдесят, — объяснил кто-то голосом знатока. — Эти всегда подряд спускают.

— Близко... Все в нашем районе.

— К празднику стараются, гады!

— Сегодня дадут жару!

Окно висело в глубине парадного, как ослепительно алый плакат. Плакат шевелился.

— Засветили факел, теперь им вольготно — лети да сбрасывай.

— То-то и оно!

«Да, — сказала себе Мария, вспоминая просьбу пожарных — «только не выпускать огонь наружу», да, дом пылает, как факел, лети да сбрасывай бомбы в район пожара, то-есть вот сюда, сюда, где я стою...» И она испугалась. Испугалась вдруг со всей силой и неудержимостью. Удобной мишенью для бомбометания показался ей непрочный закут, переполненный беспомощными людьми. А делать нечего, защищаться нечем, надо стоять в чужом парадном и ждать, убьёт тебя или не убьёт... Будешь ты жить,

дышать, чувствовать — или твоё изуродованное тело расплющится под глыбами обвалившихся стен, и кто-то уцелевший, разбирая развалины, скажет безразличным от усталости голосом: «Эту спасти поздно...»

Видение было ярко и подробно, как вчерашняя явь, и уже на это видение наплывало другое: Андрюша!.. Андрюша, в кровати, с запрокинутыми на подушку ручонками, розовый, тёплый... В грохоте раскалывается свод, и она быстро наклоняется над сыном и принимает на себя — спиной, головой, плечами, руками — всю тяжесть удара и обвала. Обломки, балки, куски штукатурки ударяют её, колют, засыпают, пригибают всё ниже, ниже... но Андрюша цел и даже не проснулся, и в маленьком защищённом пространстве под её грудью его ровное дыхание чуть приподнимает синее одеяло...

Она увидела всё очень ясно, как хорошо знакомое, и вспомнила все детали — от первого страшного удара по незащищённой спине до лёгкого колебания синего одеяла, и поняла, что тайком от самой себя видела это уже много раз и потому в часы бомбёжек её всегда так тянуло домой — *заслонить собою*. И все эти недели при каждом взрыве, при каждом сотрясении почвы, где-то в глубине сердца отдавалась боль: если *это случилось там*, я не заслонила собою..

Зачем я здесь? Как я смею укрываться здесь, когда моё место там... Где там?.. Воображение услужливо подсунуло ей видение её дома — нет, не её дома, а пустоты неба над развалинами бывшего дома, но мысль уже гнала её к другому дому, к дому, за которой она отвечает и откуда она сегодня ушла... Кассета зажигательных бомб рассыпается над ним, с треском вгрызаются бомбы в крышу, огонь разливается по чердаку, лижет стропила, бушует в антресолях... *а огнетушителей нет!*.. Буйное пламя вырывается на крышу, как бумага сворачиваются в огне железные листы кровли, и вот уже мощный столб огня поднимается к небу, где гудят горбатые «юнкерсы», столб — как факел, озаряющий весь район: и военную клинику, и мост, и конусообразную крышу вокзала... *А огнетушители не заряжены!*.. Мастер, конечно, не успел приехать до начала тревоги, Сизов уже отвык, уже не знает, где что лежит и что от кого требовать, а она дала себя уговорить и ушла... *А я отвечаю за всё...* и надо *заслонить собою* во что бы то ни стало...

Она услышала ликующую трель рожка. Отбой... Но кто знает, что произошло за этот час, что уже случилось?

Улица была тёмной, но по верхним этажам домов плясали отблески огня. Мария бежала, не выбирая дороги. За углом она споткнулась о шланг, пожарный крикнул ей: «Полегче, гражданка!» Она увидела остов

догорающего дома и чёрные переплёты пожарных лестниц на алом фоне, но не остановилась и побежала дальше — скорее увидеть, что там!

На перекрёстке хриловатые звуки радио на минуту приковали её внимание. «...Заседание Московского Совета...» Москва?! Она улыбнулась. Москва?! Это очень хорошо, что в Москве торжественно заседает Совет... Но она не задержалась послушать, она не могла оторваться от нахлынувших видений: придавленное обломками синее одеяло и запрокинутая на подушку детская рука, на которую наваливается, наваливается каменная глыба... и столб пламени, бросающий отсветы на чёрную воду Невы и на мост, и люди без огнетушителей, в дыму, голыми руками сбивающие огонь... И что ещё будет сегодня, в этот канун праздника, и завтра, в ненавистный для врага праздник? Что ждёт их всех, и как отвести удар, спасти, *заслонить*?

Она бежала по тёмным, притаившимся улицам, и знала, что вот тут, за уцелевшим фасадом, уже ничего нет — ни уюта, ни людей, ни самих квартир — дома нет, есть только фасад и торчащая в небо полуразрушенная лестница, по которой некуда и незачем подниматься. А вот здесь у дома скошен взрывом весь фасад, и с улицы можно видеть остатки чужого быта, повисший на краю пропасти красный диван и жёлтый веник в сохранившемся углу несуществующей комнаты...

Все эти развалины стояли на пути к её дому, беда подходила всё ближе. Кажется, немцы подступают именно к её дому, прицеливаются, бомбят и пока промахиваются, но вот-вот попадут... Нет, так нельзя жить! Два месяца напряжения, два месяца без передышки, без настоящего сна, под вечной угрозой гибели... а фронт всё ближе, он уже здесь, в самом городе, больница Фореля — передний край его, у Эрмитажа — бойницы, а немцы лезут всё дальше, они в Шлиссельбурге и в Тихвине, они пьют невскую воду, они нацелились на последнюю дорогу из Ленинграда в мир — на Ладогу... они под Москвой... они под Воронежом... на Дону!.. Когда же это всё кончится?.. Что же это такое? Так же нельзя жить!

Мария бежала переулками, спотыкаясь в темноте, натываясь на встречных. И вдруг откуда-то издали ясный голос, очень спокойный и неторопливый сказал себе и ей:

— ...наша армия терпит временные неудачи, вынуждена отступить, вынуждена сдавать врагу ряд областей нашей страны.

Она знала это, болела этим, но в звучащем над улицей голосе было такое спокойствие и *знание*, что Мария невольно прислушалась, ещё не понимая — почему, а голос спросил себя и её:

— Где причина временных военных неудач Красной Армии?

И по тому, как он тотчас уверенно и продуманно стал объяснять эти причины и ещё по тому живительному ощущению силы и душевной крепости, которое внушал каждый звук этого немолодого и мудрого голоса, — Мария поняла, что говорит Сталин.

Она остановилась — одна, в темноте, сдерживая дыхание. Она не видела репродуктора и не видела других людей, точно так же остановившихся там, где их застала речь Сталина, и ей казалось, что во мраке тревожной ночи Сталин обращается именно к ней со словами, которые так остро нужны ей сейчас — сейчас, когда после двух месяцев стойкости и сдержанности ею овладели смятение, усталость и страх.

Она слушала и про себя отвечала: «Да. Да. Именно так!» — и ей уже представлялось, что она и раньше думала так же, но не умела обобщить и высказать свои мысли.

Вой сирены воздушной тревоги оторвал её от голоса Сталина. Она побежала, преследуемая воем сирен и звуками занимавшегося над городом боя.

Сирены смолкли быстрее, чем обычно, и Мария снова услышала голос Сталина:

—...И эти люди, лишённые совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..

«Да, да, это мой народ. И как они смеют думать, что нас можно запугать бомбами?» — подумала Мария, и усилия жужжащих в небе «горбылей» представились ей жалкими и наглыми. Народ нельзя уничтожить, народ всё равно будет жить. И чем страшнее будут удары, тем горделивее и ожесточеннее будет сопротивляться, будет сражаться народ...

...Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получат.

Какой-то шум хлынул через рупоры, споря с шумами войны. Это был странно знакомый и позабытый шум, Мария не сразу поняла, что в далёкой Москве громко и самозабвенно рукоплещут люди, за себя и за неё, и за всех, кто слушает в этот час голос Сталина.

—.. Отныне наша задача, задача народов СССР...

С этим голосом над собою Мария дошла до угла, откуда могла увидеть свой дом или пустоту неба над местом, где он стоял. Она увидела дом таким, как всегда, чёрной машиной без единого проблеска света, и уже

знала, что через минуту увидит светлые волосёнки сына, торчащие из-под синего одеяла, и послушает его ровное дыхание, и наклонится над ним, чтобы защитить его от всякой беды, если беда близка.

Но уже не веря беде, она дослушала речь Сталина, а потом зашла в домовый штаб, к телефону и спокойно вызвала нужный номер, зная, что ей ответит Сизов. И Сизов — ответил ей:

— Маша?! Слушала?!

— Да, да! Как хорошо, правда?

— Замечательно, Маша!

Она повесила трубку и вышла во двор. Из соседнего сада частыми залпами били зенитки. В промежутках между залпами был слышен прерывистый гул чужого самолёта.

С чувством превосходства и вызывающего упрямства поглядела Мария туда, где кружился невидимый враг. Что, мечешься?... Подбираешься?. Нацеливаешься?.. Ну-ну, крутись, пока можешь!.. Недолго тебе осталось...

Она стремительно вошла в убежище, поразились было царившим там необычным оживлением, но тут же вспомнила — «в убежище есть радио!» Протискалась через толпу до двери детской комнаты — и с порога увидела светлый хохолок, торчавший из-под синего одеяла, не подошла к нему, а припала спиной к дверному косяку, стараясь преодолеть дрожь всего тела.

— Слыхали? — спросила её женщина, которую она видела и не видела, узнавала и не узнавала — настолько была вне привычного быта.

— Конечно, — ответила она, прислушиваясь.

И хотя она дослушала речь Сталина до самого конца, ей показалось, что она всё ещё слышит неторопливый голос, в котором звучит спокойное знание.

В этот предпраздничный вечер Соня Кружкова приехала на танковый завод за снарядами для зенитных пушек. Подогнав машину прямо к снарядному цеху и выяснив, что её очередь настанет часа через два, Соня обрадовалась и вприпрыжку побежала в сборочный цех проведать сестру. Здесь и застала её речь Сталина.

При первых звуках московской радиопередачи, все, кто был в цехе, устремились к репродуктору. И ещё до того, как открылось торжественное заседание, Кораблёв снял кепку и крикнул:

— Тише, товарищи! Будет говорить Сталин.

Все знали, что немцы прорвались к самой Москве и немецкие самолёты бомбят столицу так же, как они бомбят Ленинград, что жестокие бои день и ночь продолжаются на подступах к Москве, — но здесь, на ленинградском заводе, расположенном невдалеке от переднего края фронта, ни одному человеку не казалось странным, что лучшие люди столицы собрались на торжественное заседание по случаю XXIV годовщины социалистической революции и что на этом заседании, как всегда, будет говорить Сталин. Сталин в Москве, и Сталин делает доклад — ничего другого и не могло быть.

Слова Сталина ждали все последние недели. Гадали, о чём и как скажет Сталин. Предчувствовали, что Сталин выскажет и докажет то, что так или иначе думает весь советский народ — что ценою жертв и страданий, в тяжких боях и в настойчивом гряде будет завоёвана неизбежная и великая победа. Но когда Сталин заговорил, самый звук его голоса и первая вступительная часть его речи были неожиданны и поразительны для всех самых сдержанных людей. Сталин говорил неторопливо, будничным голосом делового человека, привычно анализирующего и объясняющего своим соратникам очередной этап в развитии государства — так же, как он это делал много лет подряд. И хотя этот этап был неслыханно тяжёл и Сталин не только не преуменьшал его тяжести, но и требовал, чтобы все советские люди до конца поняли глубину опасности, становилось ощутимо ясно, что советское государство стояло, стоит и будет стоять, как непреоборимая крепость социализма, и что в развитии советского государства переживаемый военный этап — только этап, и советские люди способны отразить и уничтожить страшную опасность, если они будут, каждый на своем посту, выполнять свой долг до



конца.

Таково было первое воздействие сталинских слов. И когда сирена тревоги властно ворвалась в цех, она родила не страх, а досаду и гнев.

— Да ну, хватит гудеть! — закричал Кораблёв, топнув ногой.

— Хватит! — закричало ещё несколько голосов.

А дежурные, на ходу надевая каски, уже разбегались по своим постам.

Соня стояла рядом с сестрой, взяв её под руку и подталкивая её в тех местах сталинской речи, которые казались наиболее значительными. При первых звуках тревоги Лиза побежала к металлической лесенке, уходившей в темноту гигантского свода, — её пост был наверху, на узком балкончике, окаймлявшем цех. Соня побежала за нею.

— Вот мерзавцы, не могли подождать! — кричала Соня, уворачиваясь от лизиних каблучков, мелькавших перед самым её носом.

— Это они нарочно, нарочно! — задыхаясь, отвечала Лиза, — нарочно, чтобы мы не слушали!

Ночь была черна. Ни одного огонька, ни одной полоски света не проблескивало во мраке, словно лежала кругом глухая степь. Только в стороне фронта полыхало сияние, да где-то в глубине невидимого города частые выхлопы огня отмечали начавшийся бой. И казалось невероятным, что там, где бьют зенитки, — не поле боя, а мирные дома.

— А ты уверяла меня, что не дежуришь, — упрекнула сестру Соня. — Что я, нервная барышня?

— Я только на днях попросилась.

— И, конечно, полезла на крышу!

— Так скорее... — равнодушно сказала Лиза.

— Скорее что?!

Лиза не ответила на резкий выкрик сестры. Было бесполезно объяснять неунывающей девчонке, что все они погибнут здесь и что сама Лиза уже приготовилась к смерти, и все её связи с жизнью ограничиваются пухлой записной книжкой, хранимой под тюфяком, но связь эта обращена только в прошлое. Было бессмысленно говорить жизнерадостной сестрёнке и о том, что одухотворяло теперь трудную и печальную жизнь Лизы, — о сознательном подвижничестве смертника, находящего в своём самоотрешении высшую красоту и усладу. Никому нельзя было сказать об этом — осудят и не поймут...

— Слушай, Лиза! — вдруг закричала Соня, перегибаясь через перила. — Да слушай же! Ты слышишь?

Далёкие выстрелы сливались в однообразный гул, и сквозь этот гул спокойно и веско звучал голос Сталина. Было слышно, как Сталин

кашлянул, как забулькала вода, переливаясь из графина в стакан, и снова зазвучала простая и уверенная речь.

Внезапно выстрелы захлопали совсем близко, заунывное урчание самолётов возникло над заводом. Лиза дернула Соню за рукав. Соня подумала, что сестра боится, но Лиза притянула её к раме с выбитыми стёклами, и мощный репродуктор из цеха снова донёс до них голос Сталина.

— Вороны, рядящиеся в павлиньи перья... — с иронической усмешкой сказал Сталин. И, помолчав, добавил с презрением:

— Но как бы вороны ни рядились в павлиньи перья, они не перестанут быть воронами.

Самолёт взвыл над головами, преследуемый лаем зениток, а затем ужасающий свист падающей бомбы оттеснил все другие звуки, нарастая и приближаясь прямо к тому месту, где застыли две маленькие девичьи фигурки. «Неужели именно сейчас?» — с отчаянием подумала Соня. «Вот и пришло... Но я не хочу, не хочу, не хочу!» — в смятении и ужасе беззвучно кричала Лиза, закрыв глаза.

От сильного взрыва здание цеха закачалось... но это была жизнь, это было спасение. Выпрямившись, сестры огляделись и в темноте не увидели даже места падения бомбы, только поняли, что упала она довольно далеко. Урчание самолёта всё ещё доносилось к ним. Бешено стреляли зенитки. Голубой луч взметнулся в небо и, наискось пройдя над заводом, выхватил из темноты обрывки туч, чёрный провал между ними и маленькую светящуюся палочку, похожую на стрекозу.

— Смотри, смотри! — воскликнула Соня, оправаясь от пережитого страха.

— Ворон! — со злобою сказала Лиза, переводя дух.

Светящаяся палочка крутилась и увертывалась, окружённая дымками разрывов, но цепкий луч неотступно преследовал её. Второй луч, прыгнув в вышину, скрестился с первым, взяв в перекрестье самолёт. И вдруг зенитки смолкли, разом наступила тишина, и в этой грозовой тишине отчётливо прозвучали слова:

—.. неминуемая гибель гитлеровских захватчиков и их армий определяется не только моральными факторами. Существуют ещё три основных фактора, сила которых растёт изо дня в день и которые должны привести в недалёком будущем к неизбежному разгрому гитлеровского разбойничьего империализма.

— Наш! наш! — закричала Соня, теребя сестру.

Маленький истребитель знакомых очертаний прорезывал светлые

полосы, отжимая немца от города, и голубые лучи помогли ему, цепко держа цель.

— Может быть, это Мика. . — сказала Лиза.

— Загорелся! — вскрикнула Соня.

Маленький истребитель дымился, в голубом луче чёрными тенями мотался дым, ломая контуры самолёта. Затем истребитель исчез из зоны света и вдруг стремительно вывалился из темноты прямо на немецкого бомбардировщика. Всё это произошло мгновенно, и сёстры восторженно ахнули, увидев, как тяжело и беспомощно падает бомбардировщик, разламываясь в воздухе. Луч света провожал его останки, прижав их где-то за пределами видимости к земле.

— А наш... господи, а наш?.. — пробормотала Соня.

В полосе света мелькнул истребитель, кувыркающийся через крыло, но прожектористы поспешно увели свет, чтобы не слепить глаза лётчику, и в темноте было слышно только громкое завывание мотора. Лётчик выделял замысловатые фигуры, стараясь сбить огонь. А над землёю звучал голос, полный мудрого опыта и насмешливого самообладания:

— Ссылаются на Наполеона, уверяя, что Гитлер действует, как Наполеон, и что он во всём походит на Наполеона. Но, во-первых, не следовало бы забывать при этом о судьбе Наполеона. А во-вторых, Гитлер походит на Наполеона не больше, чем котёнок на льва...

Далеко, в Москве, шумно рукоплескали. Здесь, в черноте боевой ночи, в шум рукоплесканий вплетался завывающий гул истребителя, выдерживающего в вышине лихорадочную битву с огнём. И казалось, люди в Москве, приветствуя спокойное мужество вождя, одновременно рукоплещут и подвигу вот этого одинокого лётчика.

— Слушай, Соня, — вдруг взволнованно позвала Лиза и обняла сестру. — Вот мы слушаем Сталина... И я ему верю — понимаешь? — во всём. Победа будет, — убеждённо сказала она. И с удивлением повторила: — Будет.

— Ну, конечно! — откликнулась Соня. — Я тебе всегда говорила!

Лиза печально усмехнулась.

— Ты не понимаешь, Соня. Ты не так понимаешь. У тебя все легко. А будет трудно. Но я вот слушала... И поверила... И подумала: наша смерть — это не так много в конечном большом счёте.

— Фу, ты! — отмахнулась Соня. — Вечно у тебя за упокой получается! Прямо уши вянут... Ой, да мне пора! — спохватилась она и побежала к лесенке, уже на ходу крича: — До свиданья, сестрёнка! Если мой лейтенант не обманет, завтра домой прибегу!.. Обкрутила я его,

шёлковый стал!

Коротко пропел рожок отбоя. Лиза села на верхней ступеньке лестницы, чтобы дослушать речь Сталина, и с досадой отогнала смутные надежды, рождённые упрёком сестры. Нет самоотрешение правильно, нам не выжить... Но вот сегодня стало очень ясно, что немцам — конец, неминуемый конец. А тогда и умирать легче. Легче?.. Да разве я боюсь смерти? Разве я дорожу своей жизнью? Воспоминание о недавно пережитом ужасе шевельнулось в её мозгу, но она постаралась объяснить его невыносимым свистом приближающейся бомбы. Нет, нет, она ничего не боится, она смотрит навстречу неизбежному открытыми и равнодушными глазами.

—.. Только выполнив эту задачу и разгромив немецких захватчиков, мы можем добиться длительного и справедливого мира, — говорил Сталин.

Мир?.. Длительный и справедливый мир?.. Лиза встала и вернулась в темноту, на холод ветреной ночи, возбуждённая противоречивыми желаниями и возмущённая непрошеной, прорвавшейся сквозь все запреты ума, настойчивой жаждой жизни — дожить, дожить до мира, пусть в одиночестве, пусть в горе, но всё-таки дожить...

После ночи, полной огня и грохота, настало праздничное утро с удивительной, неправдоподобной тишиной. В любой точке города в любую минуту мог разорваться дальнобойный снаряд — но немецкие батареи сегодня молчали. В нескольких минутах полёта от Ленинграда, на ближних аэродромах базировались немецкие самолёты — но они не поднимались в воздух. Тишина стояла в городе — невоенная и непраздничная, настороженно-внимательная тишина.

Впервые не было народных демонстраций, переключки оркестров и хоров, нарядной толпы на улицах и иллюминации на Неве. Кораблей было даже больше, чем бывало раньше в этот день, но они прижимались к набережным, затаившиеся, тёмные, с поднятыми к небу тонкими стволами зениток, и над всегда щегольскими палубами уродливо громоздились маскировочные сети и бутафорские фанерные домики с намалёванными на них голубыми окнами. Высоко над пустынными улицами, на всех городских вышках, стояли мужчины и женщины в касках, озирая горизонт воспаленными от ветра глазами.

И всё-таки праздник был праздником — пожалуй, даже особо торжественным, потому что в лютой борьбе с немцами люди отвели от себя страшнейшую угрозу порабощения и смогли поднять над своими баррикадами и бойницами всё те же славные красные флаги. И потому, что верное из верных слово Сталина вошло в души, согревая и проясняя их. И ещё потому, что не знающие блокады радиоволны принесли в Ленинград отзвуки самого желанного из парадов — парада советских войск на Красной площади, у стен Кремля, перед Ленинским священным мавзолеем, и с гранитной трибуны мавзолея снова говорил Сталин.

«Не так страшен чорт, как его малюют» — крылатое слово и впрямь летело из уст в уста.

Весь день стояла над городом тишина. И утомленные горожане, даже не зная всех усилий артиллеристов и лётчиков, оградивших их сегодняшней покоем, были убеждены в том, что тишину создала сила. И чувствовали эту упрямую силу сопротивления и в других, и в себе.

В этот день в Доме малюток состоялся детский праздник, который Анна Константиновна со страстью готовила в течение нескольких недель. Постороннему человеку могло бы показаться, что и готовить тут нечего — эко дело, спеть ребятам несколько песенок и показать им немудреное

кукольное представление! Но для Анны Константиновны за непринуждённой простотой праздника скрывался тяжёлый труд, волнения и страхи. Надо было уговорить нянь и сестёр разучивать песенки под бомбёжками так же, как они это делали до войны. Надо было проводить с ними спевки, научить их управлять из-за ширмы куклами и говорить за кукол на разные голоса, надо было самой мастерить кукол, вырезать и клеить флажки. Столяр ушёл в народное ополчение, так что и сколачивать ширму пришлось самой. У няни, которая лучше всех пела и играла с ребятами, за два дня до праздника погиб под Колпином муж, и надо было уговорить её всё-таки петь и танцевать с детьми... Дети тоже познали и горе, и смерть близких, радость была нужна им, как лекарство.

Ещё засветло покинув Дом малюток, Анна Константиновна чувствовала себя и усталой, и счастливой, и опустошённой тем, что все волнения и заботы, связанные с праздником, остались позади.

На трамвайной остановке она с тревогой осмотрелась, не зря ли ждёт. За последние месяцы ей частенько приходилось идти домой пешком, а до дому было шесть километров. Но сегодня почти сразу же подкатил трамвай, разукрашенный праздничными лозунгами, и в вагоне ей удалось сесть, что было уже совсем хорошо. Анна Константиновна с наслаждением вытянула ноги и развернула газету.

С первой полосы глянуло на неё лицо Сталина. После вчерашнего доклада Анна Константиновна с новым интересом и с новым чувством удивления и гордости всмотрелась в знакомое лицо. Он ведь такой же человек, как все люди, — думала она, — так же устаёт и так же волнуется... Но какая у него огромная подавляющая ответственность за всё и за всех! Он выполняет огромную многообразную работу и *не может* — что бы ни было — *не может* позволить себе устать, растеряться, утратить хладнокровие, даже если дела плохи. Тем более не может, чем хуже идут дела. . Мы можем гадать, что и как произойдёт. А Сталин должен всё понимать и предвидеть, всеми руководить и без ошибок принимать окончательное решение по важнейшим вопросам — государственным, военным, хозяйственным... Что же за сила у него, что в дни тяжелейшей беды и ответственности он может говорить перед всем миром с таким благородным спокойствием? Никакой показной бодрости, только глубокое понимание и прозорливый расчёт...

Анна Константиновна пристально и радостно разглядывала портрет. Лицо Сталина ярко выявляло смелый и сосредоточенный ум, хладнокровную рассудительность и волю, очень сильную и даже жёсткую. На такого человека можно положиться, он проведёт через все беды и бури,

не выпустит из виду главной цели и не забудет мелочей... Но сейчас Анну Константиновну обрадовало другое. В выражении глаз, в складке губ, в линиях морщинок, особенно тех лучеобразных морщинок, что возникают от смеха, в посадке головы и даже в том, как распространялась седина по его сильным, нердеющим волосам, — угадывались физическая выносливость и великолепное душевное здоровье, какие бывают только у очень крепких, морально-чистых и строгих к себе людей.

— Долгих, долгих лет тебе! — прошептала она.

Её сосед доверительно наклонился к ней и сказал:

— Он не успокаивает. Он действительно убеждён.

Легко, не чувствуя усталости, поднималась Анна Константиновна к себе домой, предвкушая весёлую встречу с Марией, с Андрюшей, с Митей...

Мироша тихо открыла дверь, стараясь не дребезжать цепочкой, и зашептала, многозначительно расширяя глаза:

— Спят... С обеда спят, не шелохнутся...

Но тут выскочил из митиной комнаты Андрюша и восторженно закричал:

— Бабуся! А у нас все спят! Мы на цыпочках ходим!

Вслед за ним на цыпочках выбежал Митя, наполнив квартиру громким шопотом:

— Слава богу, живая душа появилась! А то даже девушки, как пришли, так и ткнулись в подушки!

— И пусть спят, — решила Анна Константиновна, — пойдёмте пока на кухню и сообразим, что делать на ужин.

Митя легкомысленно предложил пустить в ход весь сухой паёк, полученный им на двенадцать дней. Мироша ужаснулась и посоветовала ограничиться овсяной похлёбкой, но зато сварить полный котелок. Анна Константиновна признала правоту Мироши, но увлеклась предложением Мити, потому что скупость ей претила, а беспечность была сродни. Так как за нею осталось решающее слово, она избрала золотую середину — накрошила в овсяную похлёбку митину колбасу, не трогая всего остального.

В передней раздался резкий звонок.

— Я сама! — воскликнула Анна Константиновна и побежала открывать. Она любила неожиданных гостей.

— Соня дома? — спросил Мика, входя, и уже потом добавил:

— Здравствуйте.

Внешне он выглядел всё тем же задорным мальчишкой. Но по каким-

то трудно уловимым приметам Анна Константиновна угадала, что Мика за это время сильно изменился или же с ним случилось что-то, изменившее его сегодня. Впрочем, все мужчины, приходившие в ее дом с войны, каждый раз приходили иными, изменившимися.

— А я вас вчера вспоминала, Мика, — сказала она, принимая от него фуражку. — Когда наш аэроплан над городом немца сбил. Вдруг, думаю, это Мика?

— А это он и был, — сказал Мика, поглядывая на дверь комнаты, в которой жили сестры Кружковы.

— Милый вы мой! — вскричала Анна Константиновна и, не зная, как ещё выразить свою нежность и восхищение, крепко обняла и расцеловала лётчика. — А мы в окно глядели и думали: кто этот герой? А потом так испугались за вас!..

— Я и сам за себя испугался, — сказал Мика, и в этом было то новое, что почувствовала Анна Константиновна: два месяца назад Мика никогда не признался бы, что пережил страх, а стал бы по-мальчишески хвастаться.

— Так что Соня... дома?

— Спит.

— Ну вот! А я чуть не подвёл её под «губу». Примчался к ней в автобат, требую, чтобы мне её вызвали. А она, оказывается, в негласном увольнении. Хорошо — ребята там славные, шепнули, в чём дело!

Анна Константиновна нерешительно приоткрыла дверь и тихонько позвала:

— Соня!

Но Мика отстранил её и шагнул в комнату. И это тоже было новым — несмотря на всё своё озорство, он никогда раньше не решился бы поступить так просто и естественно.

Соня сладко спала, свернувшись под тёплым платком. Мика присел на край дивана и всем лицом прижался к её плечу.

— Сонечка, — шепнул он в душную шерсть платка. — Жёнушка...

Недавно, давая сведения о своих родных в канцелярию полка, он назвал Соню своей женой. Эти сведения имели только одно назначение — в случае гибели лётчика Вихрова, траурное извещение было бы послано и в её адрес. Мика понимал это и произнёс слово *жена* торжественно, не перед скучным писарем, а перед лицом жизни и смерти. И то, что Соня ещё не была его женой, придавало его чувству особую, томительную нежность. Ежедневно барражируя над Ленинградом и сражаясь с «юнкерсами» и «мессершмиттами», он всегда ощущал под крылом самолёта город, где в смертельной опасности жила она, его названная жена, и сестренка Люба, и



строгий отец. И уже не весёлые воспоминания ранней юности бередили его душу, а всё желанное будущее, все чаяния его начавшейся зрелости вставали перед ним, взывая к его мужеству и мастерству. Он сражался теперь без озорства, с жестокой расчётливостью, всячески оберегая себя и машину, но внутренне приготовившись ко всему. Он никогда не говорил об этом ни с Глазовым, ни с другими приятелями, по и без слов знал, что они думают так же. Один за другими гибли в боях друзья. Вчера только невероятным напряжением удалось ему, Мике, спасти себя и обгоревшую машину, спланировав на городской аэродром без горючего в баках. И вот, как награда, короткое свидание с девушкой, которая, быть может, так и не успеет стать его женою...

— Жёнушка, — позвал он, осторожно целуя её в висок между прядками упавших на лоб волос.

Соня вздохнула, повернулась на спину и раскрыла ещё непонимающие, немного подпухшие во сне глаза. И таким милым, домашним теплом пахнуло на него от всего её сонного существа, что Мика снова припал лицом к её плечу в порыве никогда не испытанного им трепетного умиления.

— Мика! — радостно воскликнула она, приподнимаясь и стараясь заглянуть ему в лицо. — Мика, откуда ты? Я не слыхала!..

— Жёнушка! — еще раз сказал он, целуя её загорелые руки.

Взволнованная его новым и пока непонятным ей чувством, Соня, притихла. Но Мика уже застыдился своего чувства, как слабости. Оглянувшись на кровать, где спала Лиза, он всплеснул руками и шутливо ахнул:

— Мужчина в комнате! Лиза проснётся, с ума сойдёт!

Соня фыркнула, с готовностью переходя на привычный весёлый тон, но потом сказала:

— Нет. Она теперь какая-то шалая. Даже не пудрится.

— Да ну?!

Посмеиваясь, как всегда, над Лизой, он вернулся к обычному душевному состоянию и снова вёл себя весёлым сорванцом-мальчишкой, но для этого ему пришлось как бы спуститься с неведомой высоты. И сердце всё ещё трепетало от впервые постигнутой нежности.

Мария проснулась в густых сумерках и, не зажигая света, некоторое время лежала, свободно вытянувшись и наслаждаясь полным отдыхом. Потом она услышала приглушённые стеною голоса и смех в столовой, громкий шопот Мити за дверью: «Тише, она спит!» Вспомнила, что сегодня в сборе вся семья — и Митя, и девушки, что настал праздничный вечер. И

так же, как за минуту до того она жадно хотела покоя, так же теперь она устремилась к людям и деятельности. Чтобы ни ждало их завтра и послезавтра, сегодня она устроит настоящий праздник, как бывало до войны, как будет потом!

Она проворно вскочила и пошла в ванную. Вода показалась ей ледяной, но она заставила себя вымыться до пояса, а затем долго и тщательно растиралась полотенцем. Вернувшись в комнату, приложила холодные пальцы к горячим щекам, погляделась в зеркало и сказала самой себе: «Ничего. Один день поживи для себя».

— Но что? Что? Чего я жду?

Напевая и улыбаясь, она отстранила трезвые вопросы. Мало ли что может быть, ждать надо всего, самого хорошего, обязательно хорошего... Она натянула лучшие, тонкие чулки, надела лучшие туфли и остановилась перед платяным шкафом, раздумывая, что надеть. У неё было немного платьев, и только одно, сшитое перед войною, было новым. Тёмно-вишнёвое, гладкое, без всякой отделки, оно на редкость шло ей и очень нравилось Борису Трубникову. «Пожалуйста, надевай его только для меня..» — просил он.

Расчёсывая и укладывая на голове волосы, Мария испытующе посматривала на своё отражение в зеркале, не совсем доверяя своему насмешливо-спокойному настроению. «Так, значит, наденешь?» — и громко ответила:

— А вот и надену. Почему бы не надеть?

Платье, недавно безукоризненно облегавшее фигуру, оказалось теперь широким. Задорно свистнув, Мария повертелась перед зеркалом, изучая себя, разыскала чёрный кушак и стянула им платье. Так ей показалось ещё лучше.

— Смотри, мама, — сказала она, выбежав в коридор, — я опять тоненькая, какую была до Андрюшки.

Митя выскочил на звук её голоса.

— Боже мой... — пробормотал он. — Какая вы сегодня необыкновенная!

Девушки, увидев Марию, ахнули и побежали переодеться.

В столовой горела одна лампа, прикрытая поверх абажура тёмным платком. Мария плотно завесила окно, зажгла верхний свет, постелила лучшую скатерть.

— Праздник — так праздник! — говорила она, радуясь тому, что митин влюблённый взгляд неотступно следует за нею.

Мироша, устыдившись своей скупости, вытащила из каких-то

тайников и мелко крошила на тарелку последнюю луковицу.

— Прошу всех к столу! — провозгласила Мария и наполнила рюмки. — За то, — сказала она медленно, прикрыв блестящие глаза, — за то, чтобы победила жизнь!

Мика азартно поддержал её тост, все чокались. А Мария смотрела перед собою блестящими глазами и видела то большое и прекрасное, ни с чем несравнимое, что вечно манит своей неизбывной новизною, — то, что коротко определяется словом *жизнь*. Куда поведёт она? Чем подарит?..

Когда раздался звонок, она встала стремительно, как будто знала, одна из всех, кто стоит у порога. Сдерживая шаг (не перед тем, кто — пришёл, а перед теми, кто смотрел ей вслед), она вышла из комнаты, а там побежала по коридору, стараясь убедить себя, что это невозможно, и всё-таки веря предчувствию. Остановилась в двери и тихо спросила:

— Кто?

— Впустите, это я, — так же тихо ответил Каменский.

Она медлила, возясь с запорами. Значит, это правда, И от этого никуда не уйдёшь, — говорила она себе, сжимая в пальцах задвижку и медля отодвигать её, — значит, я его ждала. .

— Вы не хотите впустить меня, Марина? Я убежал к вам, как мальчишка. .

Она дёрнула задвижку и распахнула дверь. Губы её пересохли, будто на тёплом ветру.

— Я знала, что это вы.

Он схватил её руки в свои, поднёс их к щекам и стал тереться щеками о её ладони, как большой ребёнок, истомившийся без ласки.

— Спасибо, что вы мне сказали об этом...

— Это же так хорошо — ждать и дожидаться.

— А мне вдруг пришло в голову: что, если вы больше не придёте — теперь, когда Митю выписали!

Она засмеялась:

— Ну, знаете, это даже Мите не пришло бы в голову!

— Ради бога, Марина, не будьте рассудительной и не смейтесь. Если бы вы знали, как ловко я сбежал сейчас из госпиталя и как я нашёл вас, не зная ничего, кроме улицы и того, что дом шестиэтажный... Какая-то девица с противоголом хотела задержать меня, приняв за ракетчика. А у меня документы капитана, шинель лейтенанта... Знаете, что я ей сказал?

— Нет.

— Я сказал, что спешу к женщине, в которую влюблён без памяти, и если она понимает, что такое любовь, она меня отпустит.

— Отпустила?

— Конечно.

— Она плохо выполняет свои обязанности.

— Марина, она их выполняет великолепно! Бдительность ужасна без чуткости. Так же, как чуткость без бдительности.

Они стояли у входной двери и болтали, глядя друг на друга. Он всё ещё держал её руки в своих.

Из столовой выглянула Анна Константиновна, за нею высунулся Митя, закричал:

— Леонид Иванович!

И устремился было к Каменскому, но остановился и отвёл потускневший взгляд, — слишком явной была досада Каменского и Марии на то, что им помешали.

Каменский сам пошёл навстречу Мите и крепко обнял его, подёргав при этом за цветистый роскошно повязанный галстук:

— Честное слово, друг, я чертовски рад видеть тебя таким штатским франтом!

И Митя расцвёл, ещё раз примирившись с неизбежным, потому что он тоже был рад капитану.

— Нет, нет, не знакомьте, я сам! — Каменский подошёл к Анне Константиновне и поцеловал её руки: — За вашу дочь. И за Стасика Кочаряна.

Затем он шагнул в столовую навстречу любопытным взглядам. Он знал, чем вызвано общее любопытство, и не смущался, а радовался этому и старался понравиться всем — всем, кто окружает Марию, всем, кто может потом сказать о нём доброе или худое слово. Он подошёл к Мироше и ей тоже почтительно поцеловал руку, отчего Мироша вся зарделась.

— Вы — Мироша, я знаю, — сказал он. И весело обернулся к девушкам. — Вы — Лиза, а вы — Соня. А это, судя по роду оружия, Мика Вихров. Точно?

— Точно, товарищ капитан, — ответил Мика, очень довольный тем, что его заочно причислили к семье.

— А где самый младший и самый главный член семьи?

Андрюша спал. Каменский огорчился и упросил Марию показать ему мальчика.

Стоя поодаль, она смотрела, как склонился над кроватью Каменский, как он долго и неподвижно вглядывался в спящего ребёнка и затем, ещё ниже склонившись, тихонько поцеловал его в лобик, и снова, выпрямившись, застыл у кровати. Если бы Каменский просто

полюбовался её Андрюшей, как обычно любят хорошие люди спящими детьми, Мария не стала бы задумываться над этой первой встречей сынишки с её другом. Её влекло к новым впечатлениям, к той игре слов и взглядов, какую всегда сопровождает начало любви. Ещё минуту назад, когда Каменский знакомился с её друзьями, она беспечно говорила себе: ну, что ж, если это любовь — почему бы и нет? Я свободна, я молода, кто может запретить мне? Я ничем не хочу себя связывать, но я, кажется, влюблена в него и рада, рада, рада, что он — мой... И где-то в глубине её сознания мелькнула мстительная мысль о Борисе Трубникове.

Сейчас, глядя на взволнованное и строгое лицо Каменского, она внезапно поняла, что этот человек очень серьёзен и прям, что он заранее, ещё не объяснившись с нею, принял на себя ответственность, которую она не собиралась возлагать на него, и потребует от неё большого и полного решения, потому что ему нужно всё или ничего. И ей стало трудно и страшно с ним.

— Пойдёмте, — сказала она, открывая дверь в столовую, — я потушу свет, а то он проснётся.

Каменский перехватил её руку и резко закрыл дверь.

— Марина! — позвал он так, как будто она находилась на другом конце комнаты.

Она подняла к нему побледневшее лицо.

— Я люблю вас, — сказал он медленно и громко. — Я не знаю, когда вы станете моею, но вы должны знать, что я ваш. Пусть всё, что я буду делать на войне, я буду делать так, как будто это и ваш приказ.

Она молчала. На эти прямые слова можно было ответить только таким же прямыми, всякий иной ответ звучал бы недостойно.

— Не пугайтесь, — сказал он, грустно усмехаясь. — Я отдаю вам себя. Но я ничего не требую от вас, пока вы сами не захотите.

Б комнате тёти Саши, у небольшого зеркала, украшенного бумажными цветами, три девушки щипцами завивали волосы. Ольге было немного смешно и уже непривычно участвовать в этих девичьих приготовлениях к балу, но уклониться от них нельзя было — да и не хотелось. Со смешанным чувством весёлого ожидания, стыда и восторга смотрела она в зеркало на своё лицо, изменённое обрамлявшими его нехитрыми кудерьками. Исхудалое, обветренное, возбужденное предстоящим небывалым праздником, оно нравилось Ольге. И ей казалось естественным, что Гудимов, если не скажет сегодня, то подумает: «Молодец девушка, хорошо справилась с заданием! Толковый организатор, смела, инициативна... да и хороша собой!..»

«Хороша? — сама себя спросила Ольга, всмотрелась в своё отражение и сама же ответила: — Хороша».

— Ну, и удался пирог! — воскликнула за её спиною тётя Саша.

Ольга проворно встала и успела помочь тёте Саше переложить огромный пирог с противня на влажную салфетку. Тётя Саша закутала пирог салфеткой, потом шерстяным платком и одеялом.

— Тёплый принесём, — уверенно сказала она. И вздохнула: — Уж скорее бы!

Все три девушки, казалось, одинаково радовались празднику, и все три замирали от страха перед тем, что итти на хутора придётся тайком, в темноте, под носом у немецкого гарнизона. Но Ольга была спокойнее всех. Столько тревог, страхов и забот стоила ей подготовка к празднику, проведенная украдкой, через верных людей, так трудно было всё сделать, не выдавая себя, что волнение её уже перегорело.

Накинув платок, Ольга вышла на крыльцо. Деревенский душистый морозец наполнил её острым предвкушением счастья.

Взгляд её без интереса скользнул мимо школы, где топтался немецкий часовой, где вот уже вторую неделю помещался взвод немцев, вооружённых автоматами и двумя пулемётами. Непокойно жили здесь немцы, настороженно, угрюмо, в одиночку не ходили и придирчиво проверяли документы, хватая тех, у кого не было на паспорте штампа немецкой комендатуры. Но у Ольги был этот поганый штамп, и у всех, кому нужно, он тоже был — и в комендатуре, и среди старост у партизан имелись свои люди.

Оглянув безлюдную улицу, Ольга вперила жадный взгляд в зеленовато-серое вечернее небо. Так она стояла долго, закинув голову, зажимая у подбородка платок, и от мороза, и от нетерпения её пробирала дрожь. В памяти всплыли строки: «Значит, это нужно, чтобы каждый вечер в небе загоралась хоть одна звезда?» Да, нужно, очень нужно... Сегодня, как никогда...

И вот в сгустившейся мгле возникла жёлтая, почти прозрачная, как отсвет, точка, от её неясного сияния серые тона неба сгустились до черноты, а сама точка определилась, вспыхнула зелёным золотом и выпустила во все стороны блестящие иглы-лучики.

— Пора, — сказала Ольга, возвращаясь в дом.

Они вышли огородом, через потайной лаз в заборе, и углубились в лес. Шли без дороги, нагруженные корзинами и свёртками. Теперь звёзд в небе было уже много. Их рассеянный свет таинственно озарял заснеженные деревья, вырывал из мрака белые стволы берёз, стоявших островками среди других деревьев. Ольга вглядывалась в темноту леса, вслушивалась в его тишину и видела смутные тени, мелькающие среди деревьев, и слышала скрип шагов, и голоса... Может быть, всё это только казалось ей, но она ведь знала, что с первой звездой от всех окрестных селений украдкой вышли к заброшенным хуторам люди, для которых праздник Октября — по-прежнему светлый праздник.

Она одна не вздрогнула, когда из кустов раздался голос:

— Куда ночью без дороги идёте?

И весело ответила, стараясь, чтобы условный ответ звучал как можно естественнее:

— Для нас везде дорога есть.

Она узнала по голосу комсомольца Петю Малышева. Хотелось сказать ему что-нибудь дружеское, но не полагалось выдавать своё знакомство с партизанами. Она молча прошла мимо него, и не она, а одна из девушек, Ирина, задорно добавила:

— Мы ведь не чужие. Лес-то наш!

У тёмных и как будто совсем безлюдных хуторов их снова окликнул голос:

— Куда идёте, добрые люди?

И снова Ольга торопливо ответила:

— К друзьям на праздник, — но её перебили девушки, уже уверенные в том, что здесь все свои:

— С праздником! — восклицали они. — Принимайте гостей, хозяева!

— Проходите в большой дом, — сказал невидимый часовой.

Они вошли в тёмные сени, и сразу распахнулась перед ними дверь в ярко освещенную многими лампами большую комнату, где на столах, покрытых белоснежными скатертями уже была расставлена посуда, графины, кувшины и бутылки с золотистым пивом, квасом и домашними настойками всех цветов — медной рябиновкой, густокрасной клюквенной, розовой брусничной...

Гости сбрасывали в углу тулупы, шубейки, платки, разворачивали свёртки, открывали корзины — и с этой минуты сами превращались в хозяев, расставляя по столам всякую домашнюю снедь — пироги, ватрушки, миски с солёными грибами, огурцами и квашеной капустой, поблескивающей красными ягодками клюквы.

Всё это долго пряталось от немцев, со страхом и оглядкой вынималось из тайников и готовилось украдкой, при занавешенных окнах — но с тем большею торжественностью выставлялось сейчас напоказ.

Старуха Сычева, прозванная в селе Сычихой, которой, как огня, боялись не только ребятишки, но и взрослые парни и девушки, — эта грозная старуха принесла целый окорок, разукрашенный узорчатой бумагой. Никто не знал, с какою хитростью и смелостью сохранила Сычиха поросёнка, как выкармливала его в секретном подполье, как заколола ночью, одна, далеко в лесу, чтобы не услышали немцы. Никто не знал об этом, и никому не стала Сычиха хвастаться, только вошла в дом главной хозяйкой и, сразу осудив убранство столов, всё переставила по-своему, покрикивая на девушек и указывая, что и как делать. Была она в синем шёлковом платье, в котором не видал её никто, кроме таких же, как она, старух, подруг её молодости, помнивших и её короткое счастье, и то, как она голосила по молодому мужу, погибшему в Мазурских болотах в первую мировую войну, и как она потом, замкнувшись от всех, жила в своей одинокой избе, постепенно превращаясь в свирепую и жёлчную Сычиху. Сегодня её тёмные, вчера ещё старчески мутные глаза горели весёлым огнём.

— Добро пожаловать, хозяева земли нашей! — провозгласила она, когда в уже наполнившуюся гостями комнату цепочкой потянулись партизаны во всём своём случайном, но основательном вооружении. И пошла к ним навстречу, с хлебом и солью на вышитом полотенце, и низко поклонилась Гудимову и его товарищам.

Гудимов принял хлеб-соль, обнял старуху и троекратно поцеловался с нею. Партизаны скинули в стороне свои полушубки и шапки, но винтовки и автоматы ставили рядом с собою, у скамей.

Рассаживались, кто где хотел, женщины уже давно приберегли места



для мужей, да и девушки в большинстве своём знали, кого посадить рядом. Ольге очень хотелось подойти к Гудимову, но он только издали улыбнулся ей и посадил рядом с собою Сычиху.

И вышло так, что именно Сычиха, раздумываясь, произнесла первую застольную речь.

— Будьте здоровы, — сказала она партизанам. — А мы за вами — хоть на плаху. Иного пути, чем с вами, у нас не будет.

Ольга сидела рядом с Юрием Музыкантом. Юрий только недавно поправился после ранения, ещё не участвовал в действиях отряда и сегодня впервые вышел за пределы лагеря. Он восторженно осматривался и, видимо, никак не мог поверить, что этот богатый стол стоит в заброшенном доме, охраняемом часовыми, в глубоком немецком тылу, что все эти принаряженные, оживлённые люди могут поплатиться жизнью за участие в празднике.

«Знают они, что им угрожает в случае, если немцы что-либо пронюхают? Конечно, знают. Так же, как они знают, что фронт ушёл далеко в глубь страны и Красная Армия придёт на выручку не скоро... И всё же все они тут, — думал Юрий, — и никто из них не озирается трусливо...»

— На плаху... — тихо повторил он Ольге. — Вы понимаете, какая всенародность стоит за этим старинным словом старой крестьянки?

— Она хорошая, — просто ответила Ольга, так как знала Сычиху и числила её среди самых доверенных, надёжных людей.

Теперь поднялся Гудимов-, позволил налить себе самогону и шутливо погрозил пальцем хозяйке этого зелья:

— Ох, раньше я бы вас не миловал за такое дело!

Речь Гудимова незаметно перешла от шутки к серьёзному — к тому, что советские люди остались советскими и под немцем. Как бы отчитываясь перед высшей властью, он рассказал о том, что уже сделал партизанский отряд, и все рукоплескали его сообщениям. А Гудимов снова улыбнулся, сердечно поздравил всех с праздником:

— Выпьем за то, чтобы следующий праздник мы провели вместе со всей советской страной, победившей фашистов!

И пошёл вокруг стола чокаться, для каждого находя доброе слово или шутку. Около Ольги он остановился и сказал, обращаясь к Юрию Музыканту:

— Хороша девушка? Нашёл, к кому подсесть.

Чувствуя себя по-новому свободной с Гудимовым оттого, что должна была притворяться незнакомой с ним, и оттого, что завитые кудерьками волосы придавали ей непартизанский легкомысленно-девичий вид, Ольга

потеснилась на скамье и сказала задорно и радостно:

— А вы тоже подсаживайтесь, чем завидовать!

— Подсел бы, — с такую же новою свободой в отношении к Ольге ответил Гудимов и шутливо повёл рукою в сторону Сычихи: — да нельзя, свою даму бросил... Зато уж потанцуем обязательно!

Танцы начались ещё во время праздничного пира — самые ловкие плясуны и плясуньи выходили по очереди в узкий коридорчик между столами. А потом отставили столы к стенам, и пока старухи убирали остатки пиршества, партизанский гармонист заиграл вальс. Ольга сама подбежала к Гудимову.

— Пойдём?

Они первыми заскользили по кругу, выкликаая друзей, чтобы те последовали их примеру, и боясь взглянуть друг на друга, настолько неожиданно сильно и томительно сладко ощутили они желанную прелесть своего первого объятия. Пара за парю вступали в круг танцующих, стало тесно. Гудимов строго, на отлёте вёл Ольгу, уворачиваясь от столкновений с другими парами. И хотя он не был ни ловок, ни красив, ни молод, он чувствовал себя и ловким, и красивым, и молодым, и ноги его скользили с ритмичной лёгкостью, и ему неизменно удавалось уберечь Ольгу от толчков. Довольный, он решился поглядеть в лицо Ольги и вдруг увидел совсем рядом её испуганные счастьем, преданные глаза.

Всё его существо дрогнуло и отозвалось на немое признание этих глаз. Задыхаясь, он проговорил:

— Я сейчас оставлю тебя.

И добавил в ответ на её безотчётное движение:

— Нам же *нельзя* танцевать всё время вместе..

Она легко сжала его руку, прежде чем ускользнуть от него. А он подхватил сопротивляющуюся Сычиху.

— Не могу я, — кричала, отбиваясь, раскрасневшаяся Сычиха. — Уж если плясать, так давай кадрили с фигурами, хоть с какими затейливыми, вот это я могу! Тут я не подкачаю!

Гармонист послушно, ловким перебором, перешёл на кадрили, и тут вслед за Сычихой пошли в пляс и другие старухи да старики — старые с молодыми, не всегда в лад, зато с душою. Стало жарко и шумно, и до предела тесно, но никогда ещё, пожалуй, никто из присутствующих не испытывал такой весёлой гордости собою и такого беззаветного дружелюбия ко всем своим людям — а своими были все, кто не с немцами.

В одной из фигур кадрили Гудимов снова привлёк к себе Ольгу и, смело приблизив губы к её уху, прошептал:

— Послезавтра вечером не ложись. Слушай. Если всё пройдёт благополучно, буду ждать тебя на всегдашнем месте...

Она только кивнула, кадрили снова разлучила их. Кружась по очереди со всеми танцорами, Ольга улыбалась своим тревожным и всё-таки счастливым мыслям. Она правильно поняла слова Гудимова — на основе наблюдений, ради которых она прожила в селе последнюю неделю, Гудимов решил провести послезавтра ночью налёт на немецкий гарнизон. Она должна ждать налёта дома, то-есть у тёти Саши, дожидаться благополучного конца и тогда выйти на ту лесную полянку, где обычно встречается со связным... Всё это она поняла правильно, и так же несомненно было, что явиться она должна для нового задания, так как после уничтожения гарнизона сидеть в селе незачем... Но сейчас её взволновало то, что Гудимов встретит её сам, и то, как он обнял её и заглянул в её лицо, и ещё многие незначительные, почти необъяснимые, но отчётливые для сердца приметы... Они были той естественной наградой, без которой горько девичьему сердцу в двадцать лет.

Отдыхая в коротком перерыве между танцами, Ольга оказалась рядом со своей новой подружкой Ириной. Ирина обняла её и лукаво зашептала ей в ухо жарким, возбуждённым шопотом:

— Чудно-то как... И парни какие хорошие... Среди них городских много... вежливые... А я за тобою что-то заметила... А?..

— Что?

— Ты ихнего начальника хороводишь... А?.. Ничего дядя, интересный... И на тебя посматривает... Замечаешь?..

— Ничего ты не понимаешь, — со счастливой усмешкой сказала Ольга. — Я его не первый год знаю... я за него... хоть на плаху!.. А ты — «хороводишь»!

Ей не следовало признаваться в знакомстве с Гудимовым, но так неудержимо хотелось говорить о нём и признаться случайной подруге в том, в чём до этого дня она не признавалась и самой себе.

— Ой, — воскликнула Ирина, замирая. — То-то я замечала... значит, ты ихняя, да?..

— Конечно, — с гордостью шепнула Ольга. — Только ты молчи... молчи...

— Страшно-то как... страшно, а?..

— Ничего не страшно, — отмахнулась Ольга, И снова шепнула: — Молчи...

«Хоть на плаху», — мысленно повторила она, гордая своим признанием и той полной освобождённостью от боязни и колебаний,

которую она сейчас чувствовала.

Огромная любовь, подобно живительному ветру, захватила её и как бы подняла над всем плохим и страшным, что может с нею случиться на её опасном партизанском пути. Эта любовь сосредоточилась сейчас на одном человеке, но она вмещала в себе весь мир привязанностей, надежд и желаний Ольги. Ольга любила всех, кто окружал её сегодня, но среди всех — только одного, потому что с ним для неё неразрывно связалась всё, что было ей желанно и свято. Ей казалось, что ей не нужно ничего, лишь бы он был рядом, ласково взглянул на неё, снова сдержанно обнял её в танце — и в то же время она ждала, требовала от него больше, чем от кого бы то ни было, потому что он был для неё лучше, отважней, ловчей всех... Если бы её спросили сейчас, счастлива ли она, Ольга, не задумываясь, сказала бы: да! — а потом, если бы задумалась, с удивлением добавила бы, что она теперь счастливее, чем до войны. Она не ждала от Гудимова ничего, кроме новых поручений, изредка — поощрительного слова, совсем изредка — сдержанной дружеской ласки, но было счастьем итти за ним и хорошо выполнять его задания, жить интенсивной, насыщенной событиями жизнью, делать в полную меру своих способностей и сил — и даже всегда немного сверх меры... И счастьем было знать, что делаешь самое основное, главное, ответственное и прекрасное дело для родины, для человечества, для своего любимого.

Ощущение счастья возбуждало жажду деятельности. Если бы вот сейчас Гудимов повёл отряд на операцию, она бы сумела по-пластунски ловко и незаметно ползти, хотя раньше ей никогда не удавалось это как следует... Если бы сейчас гармонист снова ударил русскую, она бы решилась одна выскочить в круг и, наверное, сплясала бы легко и уверенно, хотя до сих пор никогда не решалась на это... Ей казалось, что она в состоянии сделать теперь всё, что угодно, таким лёгким и верным ощущалось ею собственное тело, так радостна и деятельна была её душа.

Гудимов собрал на прощанье всех вместе, в тесную группу, и первым запел давно не слышанные грозные, торжественные слова революционного гимна. Одни подхватили уверенно, точно, как слова давно исповедуемой великой правды. Другие, на лету угадывая каждое слово, строку, образ песни, старательно и упоённо подтягивали, может быть, впервые раскрывая для себя победоносную силу учения, ради которого они уже боролись и подвергали свою жизнь смертельной опасности. Старая Сычиха никогда не знала слов «Интернационала», но она гордо вскинула голову и пела громко, неожиданно звонко, по-деревенски заливаясь на верхах, иногда произвольно заменяя одно слово другим, ещё более гневным. И

распалённое лицо её выражало страстное увлечение и удивление перед широтою и величием открывшейся ей истины.

И если гром великий грянет...

самозабвенно выводила Ольга, в лад с Сычихой заливаясь на верхах, и всем своим существом ощущала, что гром уже гремит и последний решительный бой начат, и она — в бою за самое красивое и святое дело, свершаемое храбрыми — ради всех.

Немецкий часовой топтался у здания школы, нервно позёвывая и настороженно вслушиваясь в недобрую, немирную тишину. В этой загадочной, неистребимой стране он не верил ни в тишину, ни в покорность напуганных женщин, — ни в игры присмиривших детей. Все двери были закрыты, все окна — черны, но часовому чудилось, что за дверьми кто-то таится, что в окна кто-то высматривает его... а в сторону близкого леса он и смотреть боялся, так зловеще качался мрак под деревьями.

И вдруг часовой, содрогнувшись, прижался спиной к двери. Звуки пения неслись из лесу, струились с неба, плыли над тихой деревней — звуки торжественные и грозные, неуловимые и всё же явственные... Часовой потряс головой, стараясь отогнать ночное наваждение, и снова прислушался. Всё было тихо в спящем селе, ни одного огонька не мелькало в окнах, ни одна половица не скрипела за дверьми, ни одной тени не было на голубоватом чистом снегу... Он покосился в сторону леса — ни одна ветка не шевелилась, ни один сучок не трещал под ногами... но весь сумрачный грозный русский лес, казалось, тихо дышал мелодией «Интернационала».

Часовой вскрикнул, когда маленькая чёрная тень метнулась возле крыльца.

— Хальт! — крикнул он, хватаясь за автомат.

Это была только собака — обыкновенная лохматая дворняжка. Она остановилась и повела носом, принюхиваясь к запаху чужого человека. Солдат поднял автомат и выстрелил. Собака задёргалась на снегу. Кровь растекалась чёрными струйками и дымилась на морозе.

Часовой опустил автомат, тяжело дыша. Никто не вышел на выстрел, всё было по-прежнему тихо и пустынно. И по-прежнему, неуловимая и беспощадная, как дыхание самой земли, звучала мелодия, которую нельзя было ни застрелить, ни бросить в огонь, ни наколоть на штык, ни ударить заскоружлым солдатским сапогом...

Уже вторую ночь Ольга ждала, не ложась, не смея ни заснуть, ни выйти из дому. Она ночевала у Ирины, потому что дом Ирины помещался почти напротив школы и был удобен для наблюдения за немцами, а большой огород вплотную подступал к лесу, и через него Ольге было легко уйти незамеченною.

Лёжа рядом с подругой, Ольга всматривалась в белеющие квадраты стекол, стараясь не пропустить начала... И всё-таки она пропустила его. Багровое пламя уже залило кровавым светом всю комнату, когда она очнулась от короткого забытья.

Ольга подбежала к окну. Охваченная со всех сторон ровным, высоким пламенем, школа горела, как гигантский факел. На розовом снегу чернела безжизненная фигура часового, всё ещё сжимавшего в руке автомат. Коротко простучала автоматная очередь.

Рванулись две гранаты. С небольшими промежутками звучали одиночные выстрелы.

— Это ваши?.. — припадая к Ольге горячим плечом, спросила Ирина.

Не отвечая, Ольга смотрела на горящее здание и на немца, появившегося в окне второго этажа. Ах, если бы сейчас винтовку!.. Немец высадил раму и уже вскочил на подоконник, когда рядом с домом Ирины раздался выстрел. Немец повалился обратно, в чёрный провал окна.

Через несколько минут всё было кончено. Улица заполнилась народом, женщины обнимали партизан, звали в дома отдохнуть.

— Некогда нам, — отвечали партизаны. — Сегодня дел много.

Ольга, обнявшись с Ириной, ходила по улице, всматриваясь в лица партизан. Она узнала Юрия Музыканта и весело переглянулась с ним. Командовал партизанами Гришин. Значит, Гудимов не участвовал в операции? Или ранен?..

Раненых партизан — их было всего двое — перевязывали в доме тёти Саши. Ольга побежала туда. На крылечке стоял Гришин, загораживая своей широкой фигурой дверь.

— Не любопытствуйте, девушки, — сказал он многозначительно. — Тут всё в порядке. Идите по своим делам, кому куда нужно.

Ольга поняла намёк и тихонько отступила. Значит, Гудимов её ждёт? Значит, не он ранен? Или её встретит кто-то другой?..

— Смотрите, люди! — кричала Сычиха, широко шагая вдоль улицы. —

Глядите, люди, как партизанские костры пылают! Глядите, люди!

Школа догорала, сухие балки распадались красными углями, и эти красные угли уже затягивало серым туманом. Но Сычиха смотрела в другую сторону, и все посмотрели туда же — за лесом полыхало два ярких зарева...

— Конец им пришёл! — возбуждённо бормотала Ирина, прижимаясь к Ольге. — Это ведь конец им, а?..

— Пришла и на них управа! — говорили кругом. — Дождались...

Захваченная общим возбуждением и радостью, почти не скрываясь от Ирины, Ольга побежала через огород, по знакомой тропинке, в лес. До условного места было полчаса ходу, но Ольга пробежала это расстояние минут за десять и, запыхавшаяся, счастливая, остановилась на полянке.

Гудимова не было.

Убедившись, что она здесь одна, Ольга спокойно села на пенёк и только тогда, почувствовав через шерсть чулка промёрзшую кору, сообразила, что прибежала, как была, в старых валенках без портянок, в лёгкой ирининой жакетке под небрежно накинутым платком. И сразу плечами, шеей, грудью почувствовала, что стоит крепкий ночной мороз. Потуже закуталась в платок, начала ходить взад-вперёд, взад-вперёд, чтобы не застыть, ожидая.

Жив ли, невредим ли Гудимов? Сумеет ли он притти? И может ли быть, что он забыл о назначенной встрече?..

Ноги коченели, особенно левая нога, на которой валенок стёрся на пятке почти до дыры. Ольга шагала всё быстрее, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться. Хрустнула ветка. Она шагнула на звук, заранее улыбаясь навстречу Гудимову. Но всё было тихо в лесу.

Зарева пожаров бледнели, опадали. Вот уже одно погасло совсем.

И снова сгустилась темнота, в морозном небе ярче заблистали звёзды.

Гудимова не было.

Вот погасли и два других зарева. До утра было ещё далеко, но повеяло ветерком, похожим на предутренний — неопределённым и пронизывающим. Снова хрустнула ветка, что-то зашуршало в кустах. Ольга не могла больше маяться по полянке, она припала к дереву, стараясь не двигаться и сохранить тепло под туго натянутым платком, быстро перебирая пальцами в валенках, чтобы не дать им совсем заоченеть. От слёз смерзлись ресницы, она старалась не плакать, радоваться успеху товарищей, думать о Гудимове...

Он сам нашёл её, ахнул, торопливо распахнул бекешу и крепко прижал её к себе.

— Разве можно так! — испуганно говорил он, растирая тёплыми руками её плечи и спину. — Без ватника, без шубы... Я же мог до утра не притти... Ноги замёрзли?

— Замёрзли... — как девочка, пожаловалась она и крепче прижалась к его груди.

— Сейчас же пойдём в лагерь.

— Подожди... — пробормотала она, обхватывая его руками под бекешей.

— Вот ведь легкомыслие какое! — сердито, чтобы скрыть растроганность и жалость, сказал он. — А ну-ка, завернись поплотнее и сядь вот сюда...

Она оказалась в его бекеше на том самом пеньке, на котором мёрзла недавно. Он стянул с неё валенок, стянул чулок, крепко растёр её ногу снегом, пока блаженное тепло не разлилось по всему её телу, потом быстро снял со своей ноги портянку, обернул ногу Ольги и всунул в валенок. Потом проделал то же с другой ногою.

— Ну, вот, — сказал он. — А теперь пойдём.

— Спасибо. Возьмите свою бекешу.

— Не замёрзнешь?

— Мне очень хорошо.

Он надел бекешу, внимательно оглядел тоненькую фигуру Ольги в короткой жакетке и юбчонке, снова притянул её к себе и завернул полою бекеши.

— Ну, слушай, партизанка, — строго сказал он. — Сегодня у нас большой день... большая ночь. Шесть гарнизонов — до одного человека. На двадцать километров кругом — ни одного фрица. А у нас ранены семеро, убит Петя Малышев...

— Петя!..

— Очень жалко... Очень. Целой очередью прострочили... А в отряд пришло ещё сорок шесть человек. Трофеев много, два грузовика, мотоциклов двенадцать, рация. Займём круговую оборону, немцев больше сюда не пустим. И вдоль железной дороги житья им не дадим...

— Мне так хотелось участвовать...

— А разве ты не участвуешь? Ты — наши глаза.

— Что мне теперь делать?

— Иди к тёте Саше и выпишись как следует... — Он помолчал, поморщился. — Только не очень долго спи... Пойдёшь на станцию. У тебя там явка есть?

— Есть. Сегодня пойти?



— Обязательно. Нам надо узнать, как реагируют немцы, что предпримут. По всей вероятности, они попытаются послать карательный отряд. Если бы тебе удалось завязать знакомства...

Она крепче прижалась к нему и покорно сказала:

— Хорошо.

— Ты только... береги себя. Ты не могла бы взять кого-нибудь с собою?..

— Постараюсь. Подружку я завела одну, Ирину... Или Сычиху?

— Лучше подружку. Это та — кудрявенькая?

— Да.

— Можно ей верить? Она знает?

— Немножко знает... У неё двоюродная сестра кассирша на станции. Очень удобно.

— Ты только берегись.

Он осторожно погладил её плечо. Она слышала, как гулко и сильно бьётся его сердце.

— Ну, согрелась?

— Я сейчас побегу. А у тебя ноги замёрзли без портянок, да?

— Нет, мне даже жарко. — Он усмехнулся. — Ты греешь.

Она взглянула на него снизу вверх и разглядела его похудевшее с прошлой встречи лицо с обветренными на морозе губами, с чёрным пятном на скуле. «Наверно, запачкался на пожаре», — с нежностью подумала она и с трудом подавила желание поцеловать эту запачканную скулу.

— Слушай, — вдруг сказал он, отстраняясь и весь настораживаясь.

Она выскользнула из бекеши, готовая исполнить любое приказание. Но Гудимов молча указал на небо.

Далеко в небе гудел самолёт.

— Разведчик? — вопросительно сказала Ольга.

Немецкие самолёты давно уже не летали в этом районе. Иногда их соединения стороною проносились к фронту, но одиночным разведчикам делать здесь было нечего. Вызвано ли его появление пожарами и гибелью немецких гарнизонов во всей округе?.. Но что увидит разведчик ночью?..

Гудимов махнул рукой и продолжал слушать. Ольга старалась разглядеть выражение его лица, скупое освещённого звёздами. Выражение было непонятное — напряжённое и восторженное, ярко блестели глаза, обращённые к небу... И вдруг Гудимов подхватил Ольгу, приподнял и крепко поцеловал.

— Это же наш, Оля! — вскричал он. — Ты не понимаешь, это же наш! Наш! Уточка! Неужели ты не узнаёшь?!

Теперь ей самой было удивительно, что она не отличила от прерывистого гудения немецких моторов это родное, неторопливое тарахтение маленького советского самолёта.

А самолёт гудел всё ближе, слышно было, как он разворачивается над лесом, завывая...

— Он что-нибудь сбросит, да?

— Наверно...

— Посигналить бы ему... вдруг он не знает, что мы здесь существуем...

— Оля, глу-пы-шка! Ты всё ещё не понимаешь самого главного! Это же конец изоляции! Это же значит, что Коля Прохоров дошёл!..

Он снова взял её за плечи и заглянул в её лицо:

— Поняла, как это много значит для нас?

— Может быть, он и Колю сбросит? — воскликнула она и сразу испугалась, что он истолкует её вопрос так, будто для неё Коля Прохоров не только товарищ и друг.

Но Гудимов весело поддержал:

— Очень возможно! Коля такой парень, что ему прыгнуть ничего не стоит! Эх, Оленька, хорошо-то как!

Он заторопился в лагерь, откуда партизаны должны были подать условные сигналы, — о них сообщил командованию Коля Прохоров, если ему удалось перебраться через фронт. Ольге тоже захотелось пойти в лагерь, узнать новости, может быть, повидать Колю, но Гудимов коротко сказал:

— Ну, беги, спи. Если задание изменится, я успею сообщить тебе.

И хотя на прощанье он нежно погладил её руку и снова сказал: «Береги себя!» — она видела, что ему сейчас не до неё и все его мысли там, в лагере, где его, быть может, уже ждут важные сообщения и приказы..

Когда Ольга вошла в село, все уже спали, небо начало светлеть на востоке, и побелевшие звёзды гасли одна за одной. И оттого, что на двадцать километров вокруг нет ни одного немца, вся вселенная показалась Ольге дружелюбной и родной, как собственный дом, куда заходишь просто и в любом настроении, не притворяясь, ничего не тая.

Смело стучась к Ирине, Ольга вспомнила, что ей надо завтра — вернее, сегодня, через несколько часов — уходить туда, где нет ни Гудимова, ни партизан, туда, где немцы, опасность, потайная, напряжённая жизнь без единой минуты спокойствия, где даже спишь настороженно... И ей стало до злости обидно и до слёз жалко себя...

Гудимов сейчас беседует с Колей Прохоровым или с кем-либо ещё

прилетевшим с «Большой земли». Он, наконец, узнает всю правду о том, что происходит на фронте, где пролегает этот далёкий фронт, когда перейдёт в наступление Краевая Армия... А она ничего не зная об этом, должна пойти навстречу врагам, разъярённым уничтожением гарнизонов, следить, разузнавать их намерения, ежеминутно рискуя собой... завязать знакомство с немецкими офицерами... «Хорошо», сказала она покорно. Хорошо?! А если они заставят её пить и веселиться с ними, если они будут приставать к ней, если они... Хорошо, она пойдёт, но если с нею что-нибудь случится, она повесится. Да, повесится... И пусть Гудимов тогда поймёт, как жестоко толкнул её на это...

Всё ещё со злобою она вспомнила их недавнюю встречу и то, как Гудимов приказал ей выспаться — «только не очень долго» — и уходить на станцию...

Но воспоминание скользнуло мимо этого и вернуло ощущение блаженного тепла и покоя, когда он прижал её к себе под бекешей и осторожно гладил её плечи, и спросил: «Ну, согрелась?»

Но почему же он так жестоко отослал её именно сегодня, когда так хочется быть со своими?

Она проснулась через несколько часов, разморённая слишком коротким сном. Тётя Саша принесла ей корзинку с яйцами и с сушёными грибами, нанизанными на нити, домотканое полотенце, старую кофту. Это значило, что Ольгу торопят, что она пойдёт сейчас за двенадцать километров на станцию продавать свой нехитрый товар и завязывать знакомства...

— Пойдём, Ириша, вместе? — предложила она беспечно. — Там сейчас барахолка большая. Может, купим чего...

К её удивлению, Ирина легко согласилась. Мать снарядила её в путь, и девушки вышли за село, на безлюдную лесную дорогу.

Оглядываясь на село, Ольга всё ждала, что увидит Гудимова выходящим из дома тёти Саши или другого, где, быть может, расположился партизанский штаб. Но, кроме часовых, никого не было видно. Может быть, Гудимова и нет здесь. Но тогда кто же послал тётю Сашу с корзинкой? Жаль, что тут вертелись Ирина и её мать, не удалось расспросить... Если бы он только вышел на крыльцо, улыбнулся, поглядел вслед... Неужели он сидит за одним из этих окон, занятый своими делами, и даже забыл, что она должна сейчас пройти, быть может, в последний раз?..

Они ещё не отошли и на километр от села, когда раздался прерывистый гул чужих моторов. Три тяжёлых самолёта летели низко над

лесом. На чёрных хвостах, загнутых кверху, отчётливо выделялись желтые изломанные кресты.

Ольга видела даже головы в шлемах, торчавшие из кабин — лётчики осматривались, видимо, потеряв направление среди этих белых снегов и однообразных лесов. Но только что успела Ольга подумать об этом, как все три самолёта совершили одинаковый полуповорот в сторону села, нырнули вниз и затем взмыли вверх, роняя тёмные кувыркающиеся палочки... и тотчас заухали взрывы.

А самолёты возвращались к селу. Один из лётчиков заметил две человеческие фигуры на дороге и устремился к ним. Ирина вскрикнула и упала на снег. Ольга стояла, прижав к себе корзинку, и смотрела на приближающийся, зловеще гудящий самолёт. Несколько пуль со свистом ввинтились в снег рядом с нею. Тра-та-та-та-та — дошла до её слуха дробь пулемёта.

А самолёты уже снова развернулись над селом, и снова заухали тяжёлые взрывы. Над селом взметнулось бледное, розоватое на дневном свету пламя.

Девушки прямо по сугробам, набирая в валенки снегу, побежали под деревья. Оттуда, дрожа от страха и злобы, они увидели, как немецкие бомбардировщики в третий раз развернулись над селом и сбросили бомбы. Потом самолёты пронеслись совсем низко над домами, так что ненадолго девушки потеряли их из виду за деревьями. Но длинные пулемётные очереди всё объяснили им — немцы обстреляли жителей села, пытавшихся потушить пожар...

Потом всё стихло. Бомбардировщики улетели.

— Пойдём, — сказала Ольга, подталкивая обомлевшую от страха Ирину.

— Куда? — пробормотала Ирина. Губы её всё ещё тряслись.

— Куда шли, туда и пойдём.

— Может, домой?.. — жалобно сказала Ирина.

Ольге самой хотелось назад, в село — увидеть, что натворили немецкие бомбы, узнать, кто пострадал... Но теперь ей было ясно, что немцы уже открыли военные действия против партизанского района и Гудимову необходимо срочно разведать, не стягиваются ли сюда по железной дороге войска и что собираются предпринять немцы. «Спи. Только не очень долго спи...»

Ирина сделала несколько шагов к дороге, стараясь обходить сугробы, и вдруг вскрикнула:

— Мина!

На снегу, потревоженном снежной осыпью с деревьев, лежал небольшой тёмный пакет, перевязанный бечёвкой.

С наблюдательностью, развившейся у неё за месяцы партизанской жизни, Ольга осмотрела никем не примятый снежный наст и сразу заметила и снежную осыпь, и оголённые ветви, сквозь которые скользнул сверху пакет, и то, что пакет слегка врезался в снег, — значит, летел с большой высоты...

— Это же наши! Ночью! Уточка! — закричала она, смело хватая пакет и разрывая бечёвку.

Из обёрточной бумаги высвободилась пачка газет. Хорошо знакомых, привычного формата, со знакомой строгой печатью, с неброским коротким и выразительным названием в левом углу: «ПРАВДА»...

— От 7 ноября 1941 года, — шопотом прочитала Ирина.

Ольга торопливо развернула газетный лист, и с него, как будто прямо ей в глаза, ласково, внимательно и требовательно посмотрел Сталин. Ничего тревожного не было в этом взгляде, только сила, знание и суровая требовательность.

— А они брехали — в Америку улетел! — сказала Ирина. — На копейку им верить нельзя — немцам.

— Ой, Иринушка, ты только прочитай..

И Ольга сама начала читать вслух: «Доклад на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы 6 ноября 1941 года...» Понимаешь? Города Москвы!.. В Москве!.. Ничего они не взяли — ни Москвы, ни Ленинграда, вот видишь... И не возьмут!..

Обнявшись, плечо к плечу, придерживая перед собою раскрытую, газету, обе девушки стали читать доклад Сталина. Слово за словом, не торопясь, не забегая вперёд глазами, потому что каждое слово было весомо и очень важно для них в этом докладе.

Ольга первую дочитала до конца страницы и, поджидая, чтобы дочитала подруга, вернулась к уже прочитанным и поразившим её словам: «...продвигаясь в глубь нашей страны, немецкая армия отдаляется от своего немецкого тыла, вынуждена орудовать во враждебной среде, вынуждена создавать новый тыл в чужой стране, разрушаемый к тому же нашими партизанами, что в корне дезорганизует снабжение немецкой армии, заставляет её бояться своего тыла и убивает в ней веру в прочность своего положения...»

«Значит мы — действительно большая сила», — подумала Ольга и ярко представила себе, как по всей огромной территории, захваченной

немцами, в лесах, в глухих селениях, в горах таятся вот такие же отряды партизан и такие же девушки, как она, пускают под откосы поезда и ходят разведчицами в расположение немецких гарнизонов, ничего не боясь... Она вспомнила, как в последнее время настороженно и неуверенно держались немцы, даже по селу ходили только группами, с автоматами. Вспомнила, как весело и дерзко отпраздновали советские люди свой праздник в ту самую ночь, когда в далёкой Москве перед депутатами трудящихся Сталин говорил о непрочности немецкого тыла... Знает ОН о нашем отряде? Если Коля Прохоров дошёл, наверное, знает... А быть может, он даже вызвал Колю Прохорова к себе, и, может быть, Коля рассказал ему о разведчице Оле Трубниковой — «глазах» отряда...

Они дочитали доклад до конца, стоя плечом к плечу в лесу среди снежных сугробов, не замечая, как коченеют на морозе пальцы, бережно поддерживающие газетный лист. А когда дочитали, Ирина потянула к себе газету и робко попросила:

— Я возьму номерок... для сестрёнки... Ведь пронесём, а?

— Пронесём! — уверенно ответила Ольга и стала прятать газеты, чтобы пронести их на станцию. — Мы в них яйца, заворачивать будем... Пусть читают люди.

И они пошли — две девушки — туда, где были немцы, пошли лёгким шагом, беспечно поскрипывая валенками.

Над улицами завивался мокрый снег. Холодное дыхание надвигающейся зимы проникало во все щели дома. И вместе с ним проникал страх — как пережить зиму?

Постояв в холодном коридоре и собравшись с силами, Мария рывком открыла дверь общежития и, входя, быстро спросила:

— Как дела, гражданочки?

С каждым днем ей становилась всё труднее притворяться бодрой, и с каждым днём всё мучительнее было совершать привычный обход «объекта». Создавая в клубных комнатах общежитие для семей рабочих, пострадавших от бомбардировок, она затратила много сил на его благоустройство. На первых порах в общежитии было чисто и даже уютно, дети копошились в отдельной комнате под присмотром двух бабушек, женщины брали воду для стирки в котельной и сушили бельё на батареях парового отопления. Но за последнее время общежитие переполнилось, а люди стали апатичными и слабыми. Дети жались к матерям и часами лежали на кроватях под шубами и платками, выглядывая оттуда большими пристальными глазами. Паровое отопление поддерживалось еле-еле, Мария старалась растянуть остатки угля на самые холодные месяцы.

— Паровое-то кончилось, — встретили Марию угрюмые голоса.

— Почему кончилось? Немного, но должно топиться, — сказала Мария и приложила ладонь к трубе.

Труба была холодна.

— Сейчас проверю, почему Ерофеич не топит.

Она с невольной брезгливостью оглядела комнату.

Старуха Семёнова лежала на постели в валенках и шубе, из-под платка выбивались нечёсанные волосы. На подоконнике стояли грязные кастрюли. Пол не мели дня три.

— Убирать надо, — строго сказала Мария, указывая на мусор. — Что же вы, гражданочки?

— Силы нету...

— Распускаться не надо, — бросила Мария и, взяв веник, стала подметать. — Неужели самим не приятнее в чистоте жить?

— Какая жизнь! — отозвалась одна из женщин. — Погляди, мой-то на работу уже не пошёл. Лежит.

Рабочий Семёнов, один из лучших каменщиков Сизова, лежал под

тулупом и курил, глядя мимо Марии злыми глазами.

— Что же ты, Семёныч? — испуганно спросила Мария, наклоняясь к нему. — Или заболел?

— Заболеешь, — сказал Семёнов и швырнул окурок в угол. — Хлеба-то опять сбавили.

— Как сбавили? Что ты говоришь?

— Так и сбавили. Поди в булочную, почитай.

Мария знала, что есть в городе люди, распространяющие злые слухи. Но то были враги. А Семёнова Мария знала ещё до войны как хорошего работника и славного человека. «Поди почитай». Может ли быть, что и без того нищенская норма снова снижена? Ведь уже после праздника, тринадцатого ноября, было снижение до 300 граммов рабочим и до 150 граммов всем остальным..

— Сколько же теперь, Семёныч? — спросила она робко и представила себе, как Мироша возвращается из булочной с маленьким ломтем, который надо будет делить на ещё меньшие, ничтожные дольки...

— А такая чудная норма, что мне сто двадцать пять граммов, а мужику моему двести пятьдесят, — закричала жена Семёнова. — И бабке сто двадцать пять, и ребёнку сто двадцать пять... Живи, как хочешь!

Мария механически сосчитала в уме: значит, на меня, на маму и на Андрюшу 375 граммов в день, 375 граммов на всех... Надо было отвлечься от своих расчётов и страхов. Надо было немедленно сказать что-то такое, что успокоило бы и приободрило всех этих мужчин, женщин и детей, вопросительно смотревших на неё. Ведь для них она была представителем власти, обязанным всё понимать и всё объяснять.

Но что сказать успокоительного, когда впереди — голод, самый настоящий голод, да ещё зимою!

— Плохо, — сказала она, присаживаясь. И повторила вслух: — Значит, на мою семью, на всех троих — триста семьдесят пять граммов...

Она сказала это не для себя, для них. И женщины откликнулись сочувственно:

— И у тебя, и у мамы твоей служащие карточки? Да, плохо!

— А сынишка-то, поди, больше взрослого ест!

— Ребёнку разве откажешь!

И тогда Мария сказала:

— Это голод, товарищи. Голод. И пока блокада держится, пока немцы нас душат, не может быть иначе. А они нарочно окружили нас и бомбят Ладогу, чтобы даже по озеру не могли мы получить хлеба. Они того и хотят, чтобы мы руки опустили, головы повесили, слегли на койки и перестали



работать, перестали сопротивляться. Им же только этого и надо. Перестанем мы снаряды делать — им воевать легче. Перестанем оборонительные строить — им дорога открыта. Ляжем мы — они нас голыми руками возьмут.

Семёнов крикнул и приподнялся. Лицо его дышало злостью и досадой.

— Намекаешь? Устыдить хочешь?

— Хочу, — зажмурившись, выкрикнула Мария. — Хочу, Семёныч, потому что выхода у нас другого нет, только одно нам осталось: не сдаваться.

— А если человек больной?

— Какая это болезнь, Семёныч, раз лежишь да куришь? Когда болен, от табаку тошно. Не больной ты, а голодный. Но что же ты будешь делать через две недели, посидев на новой норме, если ты уже сегодня слёг?

Жена Семёнова потянула Марию за рукав:

— Не надрывай ты ему душу. Он встанет. Лучше скажи Иван Ивановичу, чтоб зашёл. Они с моим мужиком дружат.

Мария покачала головой.

— Не позову. У Иван Иваныча и так дел много. А если его помощники ложиться начали — ещё дела прибавилось.

Она подтолкнула ногою окурок, брошенный Семёновым.

— А безобразия разводить в общежитии не позволю. Ещё раз увижу на полу окурки — оштрафую и из общежития выселю.

И она ушла, с видом властным и спокойным, но со смятением и горечью в душе. Встанет ли Семёнов? И хватит ли у неё сил добиться порядка, чистоты, подтянутости от этих ослабевших людей?

В котельной было теплее, чем везде, но топка уже остывала и в серой золе чуть-чуть алели последние искры огня. Кочегар Ерофеев, пожилой и болезненный человек, спал возле котла, громко присвистывая носом.

— Ерофеев! — закричала Мария, возмущённо дёргая его за ногу. — Ерофеев! Ты что, с ума сошёл, спать на работе!

Ерофеев сел, неохотно протирая глаза.

— А ты меня накормишь за работу? — спросил он равнодушно.

— А ты советский человек или кто? — вместо ответа со злобою спросила Мария. — Ты в тепле работаешь, рабочую карточку получаешь, сколько бы ни было, всё лучше служащей! А людей морозишь, настроение у них подрываешь, как самый настоящий немецкий прихвостень!

— Эко завернула, — сказал Ерофеев и встал на ноги. — Разве так можно — сразу уже и прихвостень, и немецкий, только шпиона не приклеила. Ну, задремал немного. Так ведь подтоплю — и всё.

— Ерофеич, дорогой, — попросила Мария, чуть не плача, — добром прошу тебя — держись. Топи!

— Не чурбан, понимаю, — ответил Ерофеев. — Только не говори мне таких слов.

Мария немного погрелась у котла и, заставив себя оторваться от его тёплой стенки, пошла на антресоли, где сидели дежурные верхних постов. Это она придумала недавно — устроить в одной из верхних комнат тёплый уголок, где могли бы отдыхать дежурные. Тревоги были так часты, что не имело смысла каждый раз после отбоя спускаться, да и сил не хватало бегать по лестницам.

В дежурке у топящейся печки сидели Зоя Плетнёва и Тимошкина.

— Тихо сегодня, — сказала Мария и присела к печке. — Говорят, бомбёжки скоро поутихнут. Будто бы у немцев горючее не настоящее, а эрзац. Замерзает.

Она слышала такое предположение и не верила ему, но решила снабдить своих дежурных. Им было очень трудно часами выстаивать голодными на морозе.

— Всё равно, тулупы нужны, — сказала Тимошкина. — Обстрелы ведь будут.

Марии удалось раздобыть валенки, но ничего другого ей пока не дали, и мечта о тулупах — о дворницких, огромных тулупах — стала навязчивой мечтой всех дежурных. Шёл ли дождь или снег, были ли они голодны или утомлены — все верили, что в тулупах было бы легче.

— Благодать у вас, — сказала Мария, грея руки у огня. — Уходить не хочется.

— И не уходи, — откликнулась Тимошкина. — Ляг на коечку и подремли. Что бегать-то зря? Теперь бегать нельзя.

Медленные шаги возникли за дверью. Такие медленные, что все насторожились. Вошла тётя Настя, ходившая в булочную. Она добрела до стола и бережно положила на него маленький свёрток. Вынула из-за пазухи три хлебные карточки и две из них отдала Зое и Тимошкиной. По медлительности её движений можно было понять, что она всячески оттягивает минуту объяснения и всеми силами старается овладеть собою.

Зоя Плетнёва достала нож и потянулась к свёртку. Из газеты высвободился небольшой кусок хлеба с прижатым к нему довеском. Зоя приподняла кусок и вскинула испуганный взгляд на тётю Настю. И все взгляды впились в лицо тёти Насти.

— Да, — сказала тётя Настя, отворачиваясь. — С нынешнего дня по сто двадцать пять граммов.

— Господи... — прошептала Тимошкина.

— То-то я смотрю, — бойко заговорила Зоя и нацелилась ножом, чтобы разделить хлеб на три равные доли. — Тут не сообразишь, как и резать. Ну, и кусок поделю на три и довесок поделю на три.

Все смотрели, как она отмеряет, режет, сравнивает куски и перекладывает крошки от одного куска к другому, чтобы вышло ровно.

— Ладно, не мучайся, от крошки не насытишься, — деликатно сказала тётя Настя и потянула к себе одну долю.

— С чаем давайте, без чаю какая еда! — предложила Зоя. И, ставя на стол чашки, виновато и тревожно поглядела на Марию: — Мария Николаевна, а вы... чайку?

— Да нет, спасибо, я уже пила, — ответила Мария и встала. — Мне пора.

Страдая от мучительного голода, спазмами сжимающего внутренности, и стараясь не глядеть на кусочки хлеба, Мария насильно улыбнулась и вышла. На лестнице её догнала Зоя.

— Мария Николаевна!

Уже справившись с собою, Мария спокойно отозвалась:

— Что, Зоенька?

— Вы бы попили чаю... согрелись... я вам и хлеба немножко дам...

— Что ты; Зоя!

— А что? — гордо вскинув голову, вскричала Зоя. — Думаете, не могу? Презираю я, кто дрожит над своими крохами! Никогда не унижусь до этого... Не позволю!

— Так и надо, Зоя, — сказала Мария. — И я тоже... Но я право не хочу сейчас. Ты иди... ешь.

— Мария Николаевна... вы верите, что мы выдержим?

— Верю, — ответила Мария. А потом сама себе задала тот же вопрос и сама себе вслух ответила: — Да, верю.

— И я, — быстро сказала Зоя, блестя глазами и сжимая локоть Марии. — Надо только совсем не думать о голоде и ни о чём таком. Надо только держаться, как будто ничего такого и нет... правда?

— Правда.

— Вы знаете... у меня здесь жених... зенитчик... с той батареи, что в садике стоит...

— Я его видела с тобою.

— Да? Он очень хороший.

— Мне тоже так показалось.

— Как война кончится, мы поженимся.

— Ты его очень любишь?

— Если мне бывает муторно, я только пройду мимо садика... Вызывать его неудобно, понимаете, у них же не разрешается. Но я пройду мимо, и мне хорошо.

— Ты об этом и думай.

— Я иногда так счастлива, — сказала Зоя с удивлением. — Очень счастлива. Несмотря ни на что.

— Да. Я понимаю, — сказала Мария и вспомнила Каменского.

Но недавний праздничный вечер показался сном, испытанное тогда чувство радости не вернулось.

Она не прошла ещё и двух пролётов лестницы, когда наверху зазвучали громкие голоса и затем судорожный плач. Она остановилась, вслушиваясь. Плач раздавался всё громче, перебиваемый резкими выкриками.

Мария взбежала наверх, задыхаясь от усталости и от дурного предчувствия.

Зоя толкала в сторону Тимошкиной остатки своего хлеба и выкрикивала:

— Думаешь, мне хлеба жалко?! На! Ешь! Попросила бы ты добром, я бы тебе всё отдала! Но тащить — это хуже фашизма! — а Тимошкина отталкивала остатки хлеба обратно и плакала в голос.

На скрип двери все обернулись. Зоя в последний раз толкнула хлеб к Тимошкиной и, присев у печки, нагнула к огню распалённое лицо. Тимошкина в последний раз оттолкнула хлеб и, рыдая, повалилась на койку.

Тётя Настя сказала, ни к кому не обращаясь:

— Вот оно как. У своей подруги корку воруют. Что ж это делается с людьми?

— Как хотите, Мария Николаевна, — дрожащим голосом заявила Зоя, — но я с нею дежурить не буду. Мне не хлеб нужен, а совесть. Мы же вместе сколько бомбёжек выстояли! А с такой подлостью у нас никакого доверия не может быть. Разве я теперь на неё понадеюсь?!

Тимошкина притихла, только плечи её дрожали.

— Ладно, — сказала Мария. — Ладно. Тимошкина, пойдём со мною вниз. Я вам кого-нибудь пришлю.

Тимошкина покорно встала, оправила платок и утёрла слёзы, но тут взгляд её упал на остатки зонного хлеба, и она снова зарыдала, грохнувшись на колени рядом с Зоей и забормотала, всхлипывая и цепляясь за плечо Зои:

— Прости, Зоенька, не позорь ты меня, сама не знаю, как такая

гадость получилась, не в себе я была, отдам я тебе завтра всё, как есть, все сто двадцать пять отдам, не позорь ты меня перед людьми, век такого не было..

Презрительно высвобождаясь, Зоя отрезала:

— Ладно. Встань.

Но Тимошкина продолжала умолять и плакать, цепляясь за отталкивающие её руки. Презрительный ответ Зои был хуже давешнего крика, и Тимошкина чувствовала всем своим простым и несчастным существом, что стоит ей сейчас подняться и выйти — останется она среди людей одна, всеми отринутая, и некуда ей будет деться со своим стыдом.

Хотя Тимошкина была жалка в своём унижении и бесспорно виновата, а Зоя права в своём негодовании и, кроме того, именно она пострадала, Мария невольно сочувствовала Тимошкиной — настолько Зоя была сильнее и счастливее. И она прикрикнула на Зою, как на виноватую:

— Ну, и хватит, или ты тоже с голоду сердце потеряла? Унижения чужого хочешь? Прости её, да и дело с концом.

Зоя оскорблённо выпрямилась:

— Это вы мне?

— Тебе, — так же резко сказала Мария. — Не понимаешь, что женщина в затмении была? Она, быть может, уже месяц от себя куски отрывает для дочери! Ты молодая, одинокая, ты понять не можешь... а гордишься!

— Так если бы она добром...

— Ну, и повинилась она, на колени перед тобою встала... мало тебе?

Чувствуя, что силы ее на исходе и дальнейшие разговоры только затянут тяжёлую сцену, Мария снова пошла к двери — и уже в дверях, найдя самое правильное решение, окликнула Тимошкину:

— А ты вставай и немедленно иди в булочную, возьми хлеб на завтра и отдай Плетнёвой. Поняла?

Когда она вернулась в штаб и закрылась там, чтобы притти в себя, ей пришла в голову простая и страшная мысль: сегодня первый день сниженной нормы. Что же будет дальше?

Всё пережитое за последние недели показалось ей лёгким по сравнению с наступающими бедствиями голодной зимы и той сложнейшей борьбой за души и за жизни людей, которую ей предстояло начать.

Кто-то постучал в дверь, подёргал дверную ручку и снова постучал, Мария с досадой спросила:

— Кто?

— Да свои, Мария Николаевна, свои! — ответил добродушный

женский голос. — От Иван Иваныча.

Не узнавая голоса, Мария открыла дверь и увидела Григорьеву. Старуха показалась ей огромной в мужском тулупе и в мужской меховой шапке, прижатой к голове вязаным платком.

— А ты сдала! — огорчённо сказала Григорьева, разглядывая Марию. — Одни глаза остались. Против лета — половинка.

— Мы все не толстеем, — ответила Мария с улыбкой. Её обрадовал приход Григорьевой, потому что в этой старухе она угадывала жизнелюбие и упорство, которые были сейчас так необходимы.

— Иван Иванович тебе привет слал, — сказала Григорьева, усаживаясь и оглядывая комнатушку. — Здесь и живёшь?

— Когда здесь, когда дома...

— Холодно у тебя, — недовольно заметила Григорьева и потрогала чуть тёплые батареи. — Печурку поставить надо.

— Надо, да печника нет. Одного залучила, он две печурки сложил да и скрылся, не докончив. Сами кое-как доделали.

— Печурку я тебе сложу, — Григорьева тяжело поднялась и начала выстукивать стенку, отыскивая дымоход. — Вот он, голубчик! — Она прикинула глазом, где удобнее ставить печурку. — Пожалуй, на месте дивана поставлю, трубы протяну через всю комнатушку, от них теплее... Я ведь, Маша, к тебе насовсем пришла... — добавила она и села, опустив на колени большие натруженные руки.

Мария смотрела вопросительно, тревожно.

— Не могу я дома жить, — объяснила Григорьева шопотом, будто боясь, что кто-нибудь подслушает её малодушное признание. — Сына у меня убили... средненького... С тех пор, как войду в квартиру, всё его вижу. Вот тут он бегал, тут щенка кормил, тут играл... И всё маленьким вижу. Всё маленьким... Не могу я там жить. Силы сейчас нет, чтобы плакать, а без плача не могу. Мне Иван Иванович приказал: иди к Смолиной в общежитие и помоги ей там управляться... — Помолчав, она подняла на Марию суровые, бесслёзные глаза: — Что, трудно тебе?

— Бывает...

— Днём я тебе ничем не помогу, — деловито сказала Григорьева. — Мы сейчас опять почти что на передовой копаемся, ходить-то далеко. Пока доплетёшься! А ночью можешь на меня надеяться.

Распахнув тулуп, она вынула из кармана бумажник, а из бумажника — маленькую фотографию.

— Вот он... Гриша.

Она не выпускала фотографию из рук, и Марии пришлось наклониться

к ней. Григорьева, не отрываясь, смотрела на любительский и, видимо, неудачный снимок.

— А другие сыновья пишут? — спросила Мария, чтобы отвлечь её от мёртвого к живым. — Где они теперь?

— А бог их знает, — сердито сказала Григорьева и спрятала фотографию. — Их, видишь, отправили. Мимо Ленинграда на Большую землю. Пишут, что воюют за Ленинград, только с другой стороны. Правда ли, нет ли — не знаю.

— Почему же не правда?

— Отругала я их тогда... Да и что, в самом деле? Бабы воюют, а здоровых бойцов в тыл гонят, разве дело?

Она решительно размотала платок, скинула тулуп.

— Ну, где у тебя кирпичи брать?

— Ты что же... сейчас и примешься?

— А чего мешкать? Раз пришла, надо за дело браться. Меня и Сизов просил: погляди, чтобы Смолина там не пропала, она о себе думать не умеет. Вижу, он правду сказал. Начальница, а живёшь в таком холоду.

Она отодвинула от стены диванчик, на котором спала Мария.

— Это и есть твоя кровать? Ну, ладно. А я уж ни в какое общежитие не пойду. Здесь, у печки, стелиться буду.

Марию немного задела бесцеремонность, с какою Григорьева вторглась к ней и всё повернула по-своему. Но в то же время вторжение чужой сильной воли принесло ей надежду и облегчение.

В начале декабря сержант Бобрышев прибыл с фронта в Ленинград на курсы лейтенантов. Прихрамывая после недавнего лёгкого, но болезненного ранения, он шёл по чёрным улицам, наощупь пробираясь мимо баррикад и спрашивая постовых, как называется улица и какие здесь номера домов. В прошлый свой приезд Бобрышев видел город тревожным, озарённым вспышками выстрелов и отблесками пожаров, но полным страстного напряжения борьбы. В этот вечер не было ни налёта, ни обстрела, ни один проблеск света не нарушал темноты, и Бобрышева тягостно поразила негородская мертвенная тишина, навевавшая мысли о трагической обречённости города. А утром он поглядел в окно, и тревога его рассеялась — весь белый, укутанный ещё не тронутым снегом, город казался праздничным и трогательно спокойным, как будто его трагическая и грозная судьба только приснилась.

Занятия начинались на следующий день, и после скудного завтрака по тыловой норме Бобрышев без труда получил увольнительную до вечера.

Он дошёл до трамвайной остановки, но не увидел ни трамваев, ни рельсов. Только заиндевелые провода тянулись над белой улицей.

Поправив на спине вещевой мешок, Бобрышев зашагал к центру, придерживаясь трамвайных проводов, так как плохо знал город. Рана в бедре заныла, но он не позволил себе замедлить шаг, — после посещения Веры Подгорной он собирался заглянуть в госпиталь к Кочаряну и к капитану Каменскому, а если останется время, то и на квартиру к Мите Кудрявцеву.

От занесённых снегом рельсовых путей веяло грустью. Он заметил, что выпавший за ночь снег никто не убирает, что пешеходы осторожно идут друг за другом по узким тропкам, как в деревне.

Кировский мост, заваленный сугробами, показался ему бесконечным. Всё сильнее прихрамывая, Бобрышев смотрел вперёд, в даль проспекта, замутнённую туманом, и с горечью признался себе, что выполнить намеченный план не может. Странно, что на фронте даже в первые дни после ранения он не чувствовал такой усталости, — нет, не усталости, а тошнотной слабости.

Вера Подгорная вышла к нему в пальто и белом вязаном платке. Лицо её осунулось и посерело. Глаза стали огромными и какими-то очень чистыми. Она просияла, узнав сержанта.



— Мне так хотелось увидеть вас! Я была уверена, что вы ещё придёте...

Она предложила ему пройтись по саду, очевидно, ей негде было принять его иначе. А ему было неловко признаться в своей усталости.

В снегу Ботанический сад показался Бобрышеву величественнее, чем осенью. Из нетронутой белой глади поднимались огромные белые деревья с чёрными прожилками ветвей, выделявшимися узором на серовато-белом небе.

Вера шла легко, выпрямив стан. Весь её облик выражал успокоенность и ту материнскую сосредоточенность в себе, которая часто бывает у женщин, ожидающих ребёнка. Но Бобрышева испугала сероватая бледность её впалых щёк.

— Я очень о вас беспокоился, — сказал он. — Как вы справляетесь одна?

— Разве мало теперь одиноких? — откликнулась без жалобы Вера. — Да я и не одна.

— Мы о вас часто вспоминали с товарищами.

— Они знали Юрия?

— Нет. Но я рассказал о нём и о вас. О профессии вашей.

— Вам нравится наша профессия?

— Очень она мирная. Радостная. На фронте о таком думать приятно...

Она помолчала, обдумывая его слова.

— Все сейчас стали какие-то другие, необыкновенные, — сказала она. — В одном доме со мною живёт жена видного ботаника нашего. Такая важная барыня. Кашу согреть внуку — и то приносила какую-то заграничную спиртовку в кожаном мешочке. А теперь мы в бомбоубежище детскую комнату наладили, она там дежурить взялась — с целью, конечно, чтобы внука на чужих не оставлять. И, представьте, учит ребятишек, поёт с ними, даже пуговицы им пришивает... А то ещё жена профессора Зинаида Львовна. Ну, та просто дамочка. Мы с нею в сентябре случайно ракетчика поймали. Гордилась она — смешно было смотреть! Зато ответственность почувствовала. Боец, да ещё отличившийся! У нас в доме лопнули трубы, так она бригаду организовала, в изящном лыжном костюме по чердаку лазит с водопроводчиками... Пришла я на-днях домой, — у меня в комнате дворник буржуйку ставит. Оказывается — Зинаида Львовна позаботилась.

Она рассказывала, сбоку поглядывая на Бобрышева, и вдруг глянула в упор и быстро спросила:

— Вы ничего о Юрии не знаете? Если знаете, скажите сразу.

— Нет, ничего. Я бы сказал.

— Я не горюю... Может быть, потом это придёт. Сейчас я невозмутимая стала. Ребёнку лучше, а я иначе и жить не смогла бы.

— Я теперь на курсах в Ленинграде, — сообщил Бобрышев, борясь со всё возрастающей слабостью. — Можно мне навещать вас?

— Конечно!

— У меня в Смоленске жена и дочка остались.

Он показал Вере фотографию. Девочка была совсем маленькая, лет двух или трёх, с большим бантом в светлых, зачёсанных кверху волосах. Жене было на вид лет двадцать — не мать, а старшая сестра, такая же курносенькая и светловолосая, с лукавыми глазами. Вера почувала, что Бобрышев любит её сильной и беспокойной любовью.

А Бобрышев сказал, жмурясь и отводя взгляд от фотографии:

— Я им писал, чтоб уезжали. Да у неё там старики. Может, и уехали в последнюю минуту... разве теперь узнаешь!

— Кончится война, — сказала Вера, — а радоваться будет трудно. В каждой семье горе. Все семьи вразброд. Сейчас своё горе отстраняешь. А тогда тяжелее будет. Увидишь, что чужие мужья домой пришли — тоска задушит. А то придёт с войны человек — семьи нет. Отдохнуть захочет — дома нет..

Бобрышев кивнул, но немного спустя ответил:

— А ведь знаете, не так оно будет. Конечно, и так тоже, но отдых нам ещё нескоро выйдет, и отдыха мы сами нескоро захотим. Сколько разорёно, с мест сдвинуто, уничтожено! И захочется это всё скорее в порядок привести. Вот куда мы все бросимся... Мы как-то в стереотрубу на Пушкин глядели. Парки его порублены немцами, скошены снарядами. И вот вам скажут: пришло ваше время, садоводы, перевозите деревья, пересаживайте, цветы разводите, пусть будет ещё красивее, чем было. И вы себя забудете!.. А когда люди вместе жизнь налаживают, своя жизнь тоже в порядок приходит.

— Может быть...

— Раны останутся. Но что ж раны! Вот я уже два раза ранен. Рубец остаётся, а человек жив. Ноги оторвало — безногим жить приспособливается человек, раз жить хочется. Слеп — и слепой зацепку в жизни находит. Так уж устроена душа у человека, что воля жизни побеждает.

— Должно быть, да... Вас бойцы, наверное, любят, товарищ Бобрышев?

— Живём дружно.

— У нас тоже дружбы больше стало. Но как-то все люди вокруг

разделились. Одни дружат, помогают друг другу. А иные в свою нору зарылись, свой кусок втихомолку жуют и на всех волками смотрят. Такой тип, кроме супа и каши, ничего уже не видит и не понимает. Как с такими блокаду пережить?

— Лютеет человек с голоду, если выдержки в нём нет.

— Не лютеет, а звереет. На фронте вы этого не видите. А когда такой зверь у тебя хлеб крадёт... карточки из-под руки вытягивает...

У Бобрышева вдруг закружилась голова. Сперва чуть-чуть, потом всё сильнее. Снежные сугробы будто взвихрила метель. Стараясь пересилить головокружение, Бобрышев поднял глаза. Но белые лапы ветвей с чёрными прожилками влажной коры несколько раз отчётливо перекувырнулись и уплыли в белесоватую муть неба.

— Что с вами? Бобрышев!

Он открыл глаза. Вера натирала ему виски снегом.

— Глупость какая, — пробормотал он, пытаясь подняться и стыдливо отводя её руки. Лицо Веры качалось перед ним вместе с ветвями деревьев, то приближаясь, то удаляясь.

На скамье снег лежал толстой подушкой, и Вера старательно смела его рукавицей, прежде чем усадить Бобрышева.

— Вы... голодны? — шопотом спросила она.

Он усмехнулся и покачал головой.

— Что вы!.. Какой же у меня голод?.. Ерунда, последствия ранения.

— В первое время голода у меня это часто бывало, — сказала Вера. — Я подумала, что и у вас..

В вещевом мешке, связанные в узелок, лежали два пакетика концентратов гречневой каши, десяток сухарей, несколько порционных кусочков сала и недельный паёк сахара. Он скопил это на фронте для Веры Подгорной, потому что знал, как туго с гало в городе с хлебом. На фронте было тоже голодно, но Бобрышев не замечал этого, может быть, потому, что после ранения потерял аппетит. Ещё сегодня утром ему казалось пустяком, что он пропустит обед. А сейчас мысль о еде, находящейся рядом, мутила. Он заторопился уходить.

— Вот, возьмите, — сказал он торопливо, прощаясь с Верой у ворот. — От души..

Она ни за что не хотела брать.

— Нет, нет, нет!.. — отмахивалась она, покраснев. — Как можно!.. Вы сами...

Должно быть, она не очень поверила его давешнему объяснению.

— Вы нас обидите, Вера Даниловна. Это не только от меня. От всей

батареи, — солгал Бобрышев. — И не вам, а... ребёнку.

Выйдя за ворота и медленно шагая к проспекту, он на миг ярко представил себе сухари и кусочки сала, которые он откладывал в течение недели. Сало, примятое и чуть присыпанное хлебными крошками, упрямо маячило перед глазами. Он слышал его запах, щекочущий и душный. Чувствовал на зубах его неподатливую, плотную мякоть.

— Гадость какая! — громко сказал Бобрышев, чтобы отвязаться от назойливого видения.

Так вот о чём говорила Подгорная. Вот как он начинает травить душу. Голод.

Лиза редко ночевала дома. Ходить домой было утомительно — да и незачем. Батальон Сони перевели на Ладогу. Бывая в городе, Соня иногда забегала домой, но всегда неожиданно, так что повстречаться с нею было трудно. Мироша раздражала Лизу вздохами и неумелыми попытками выяснить, что случилось с племянницей.

— Ничего не случилось, — резко отвечала Лиза. — И что ты пристаёшь, право!

Она жила при заводе, в команде ПВО, никого не сторонясь, но и ни с кем не сближаясь. Изредка предпринимала путешествие домой, чтобы выяснить, живы ли там и нет ли известий от Сони.

Однажды, придя к ночи домой, Лиза застала на своей кровати заплаканную сестру.

— Что с тобой? Соня!

Соня вскочила, и Лиза увидела в её руках записную книжку Лёни Гладышева.

— Зачем ты... — крикнула Лиза, вырывая книжку.

— Это подло! — сквозь слёзы крикнула в ответ Соня. — Подло скрывать!.. И кому это нужно!.. Я вижу, ты какая-то шалая... И Мироша говорит — второй месяц ходит сама не своя... Я сразу как почувствовала... Стала рыться... Не ждала от тебя!.. Подло!.. Подло!..

— А кому сейчас дело до чужого горя? — воскликнула Лиза.

— Мне, Мироше, Смолиной, всему свету дело! — запальчиво ответила Соня. — Поплакать вместе, и то легче...

Она обняла сестру за плечи, но Лиза не заплакала и смотрела в сторону сухими глазами.

— А зачем других расстраивать? У каждого своих бед хватает. А мне теперь всё равно. И мне ничего не надо — ни слёз, ни жалости, ни утешений... И жизнь мне не нужна... Зачем?..

— Это ещё что? — отстраняясь от сестры, возмутилась Соня. — Да как ты смеешь так говорить! Сейчас! Во время войны! В блокаде!

— А блокада причём? И что ты меня агитируешь? Как Левитин!..

— Не знаю, как Левитин или кто, но твой Левитин, наверно, умный человек. Да ты понимаешь, что с такими настроениями мы блокаду не выдержим?!

— Нет, не понимаю, — обиженно сказала Лиза. — И чего ты чепуху

порешь, в самом деле? Блокаду! Я для фронта больше твоего делаю! Ты всё по-прежнему судишь — барышня, с локонами! Алло, алло! А я теперь токарь, детали для танков вытачиваю, это поважнее, чем баранку крутить! И никто мне разряда не устанавливал, и никто почти не учил, а работаю и брака не делаю. И ты смеешь меня попрекать!

Соня только отмахнулась.

— Нашла чем хвастаться! Работаю! Немец в Лигове — да не работать!.. А ты мне лучше скажи, ты с каким лицом по заводу ходишь? Ты какое настроение людям внушаешь?!

— Никакого, — растерянно буркнула Лиза. — Перестань кричать.

— Сейчас не бывает «никакого»! Неужели тебе не понятно? У одного человека улыбка — десять приободрились! Один с постной рожей ходит — у двадцати настроение портится. Ведь бодриться можно, а на самом-то деле плохо!.. — Соня помолчала, колеблясь, говорить ли то, что вертится на языке, и сказала быстрым шопотом: — Вы все думаете — Соня бодрячок, сквозь розовые очки смотрит. Думаете, я не вижу? Плохо, очень плохо, и нескоро улучшится, я больше вас всех знаю, — две тонны везёшь, как богатство, да мучаешься с ними чорт знает как, а нужны-то сотни тысяч тонн! А сверху бомбят, сбоку стреляют, внизу трещит... У нас сегодня Вася Егоров, чудный парень, вместе с машиной под лёд провалился, пока вытаскивали — не дышит...

— А причём здесь я? Что ты навалилась на меня? Я тоже под обстрелом работаю и ничего не говорю, и не жалуясь, а хочется мне жить или не хочется — так это никого не касается. И тебя тоже.

— Нет, врешь, касается! — крикнула Соня. — Ты что, себе принадлежишь? Если хочешь знать, ты сейчас права не имеешь распускаться! Ты сейчас обязана выжить, понимаешь? А кончится блокада — чорт с тобой, умирай, пожалуйста!

Лиза так удивилась, что не нашла ответа.

— Ты не кричи на меня, — со слезами в голосе сказала она. — Тебе хорошо учить. А если бы твой Мика...

Соня стремительно повернула к сестре побледневшее лицо с таким взрослым, несвойственным ему выражением, что у Лизы сердце сжалось от страха перед неизвестной бедой.

— Мику я давно не видела, и, жив ли он, я не знаю, — силясь быть спокойной, выговорила Соня. — Я когда еду, всегда вижу их истребители. И почти каждый раз — воздушный бой. И очень часто — падает истребитель, иногда сгорает на льду, как костёр. Или лётчик на парашюте выбросится, а «мессеры» кружат вокруг него и расстреливают... Сегодня

вот так расстреляли... Мика был или нет? Не знаю.

— Сонечка... — прошептала Лиза и хотела обнять сестру.

Но Соня ожесточённо тряхнула головой.

— И всё-таки я ни разу себе не позволила остановиться, задержаться, разузнать... И если я себя раньше не жалела, то сейчас вдвойне не жалею.

— Я себя тоже не жалею.

Соня взяла записную книжку Лёни Гладышева и подняла её перед собою.

— Я прочла, — сказала она. — Понимаешь ты его как человека? На твоём месте мне перед ним стыдно было бы.

— Да ведь я...

— Мало ты его понимаешь, Лиза! И любовь твоя — не любовь. Я — пока еду — столько передумала. И я тебе скажу — ничего-то мы раньше в любви не понимали. Вот ты всегда говорила, что мы с Микой только хиханьки да хаханьки... А Мика мне пишет... Мика пишет... На, читай.

Она достала из кармана гимнастёрки комсомольский билет и вытянула из его футляра листок бумаги, сложенный треугольником. Развернув, перечитала раз и два, видимо, каждый раз заново понимая слова Мики и удивляясь им. Потом протянула листок сестре и впиалась глазами в её лицо, желая полностью уловить все оттенки чувств, вызываемых письмом.

*«Сонечка, жenuшка, сейчас уезжает к вам наш парень, может быть, хоть он повидает тебя и расскажет мне, что ты жива, невредима, смеешься чему-нибудь или замерзла, греешься у печурки. Хоть что-нибудь узнать о твоей жизни! У меня всё в порядке. Дерусь и буду драться. Я хочу, чтобы ты знала, родненькая: всегда и что бы ни случилось со мною, я благословляю нашу любовь, она даёт мне силы ничего не страшиться и, если нужно будет, умереть без сожалений.*

*Мика».*

Письмо было написано неумелым, неустановившимся почерком, с некстати поставленными завитушками и росчерками в конце слов, но за этой неумелостью почерка, за этими нелепыми завитушками ещё удивительнее выступал недетский, глубоко продуманный и выстраданный смысл письма.

— Мика! — дочитав до подписи, изумлённо повторила Лиза.

— Мика! — с гордостью повторила Соня. Тщательно запрятав обратно письмо, она сказала с какой-то испуганной радостью: — Вот если так

любить и так чтить свою любовь, к живому ли, к мёртвому ли... тогда после всего... ну, после победы... тогда и плакать можно будет...

И вдруг, наперекор своим словам, заплакала и сердито отвернулась.

Лиза отвела глаза, спрятала под тюфяк записную книжку Лёни Гладышева и спросила будничным голосом:

— Ты надолго?

— До половины двенадцатого. В ночь выезжаем.

— Чаю согреть?

— Согрей. Я там хлеба вам привезла буханку. Промёрзлого. Отогреть надо.

До половины двенадцатого оставался час. Сёстры, не сговариваясь, провели его в обыдённых разговорах, пили чай с ломтиками жареного хлеба, потом Соня курила у печки толстую самокрутку, по-шофёрски лихо управляясь с нею, Лиза ворчала на Соню, зачем она начала курить, а Соня объясняла, что на морозе табак согревает. За пять минут до срока Соня стала собираться. Лиза вышла проводить её. Они шли по тёмной улице, держась за руки, но к разговору, взволновавшему обеих, не возвращались и простились без нежностей.

— Ну, счастливый путь.

— И тебе счастливо работать!

— Приезжай, Соня!

— А то как же!

Расставшись на углу с сестрой, Лиза постояла на месте, слушая, как бойко поскрипывают её валенки на снегу. После давешнего разговора она уже не могла с прежней снисходительностью думать о Соне, и в то же время понимала, что никогда не сможет быть такою, как Соня, что она просто не умеет ни жить так, ни чувствовать. И к растерянности перед тем, что сегодня открылось ей, примешивалась зависть.



Капитан Каменский был очень беспокойным раненым, и главный врач охотно отпустил его под расписку, тем более, что после разрушения части здания в госпитале стало до предела тесно.

Попутная машина подвезла Каменского к штабу фронта. Ещё в пути началась воздушная тревога, и когда Каменский выскочил из машины на тёмную мостовую, его глазам открылось по-южному чёрное, в крупных звёздах, небо, вспарываемое красными, зелёными и жёлтыми трассами зенитных снарядов. Каменский задержался у подъезда, жадно всматриваясь в большое небо и дыша холодной сыростью ноябрьского воздуха. Это было не то пугающее, мрачное небо, каким оно виделось через окна госпитальной палаты. И воздух был нов — бодрящий воздух борьбы.

Вопреки скучной бумажке, определявшей его состояние и возможности, Каменский вошёл в командный отдел штаба с незыблемой уверенностью в том, что выйдет отсюда командиром своего прежнего полка или своего прежнего батальона, или хотя бы другого, но действующего, воюющего подразделения. В душной, накуренной комнате, где сидело и уныло слонялось в ожидании приёма десятка полтора командиров, уверенность Каменского постепенно сменялась дурными предчувствиями. К тому же болело плечо, и хотелось лечь — может быть, и в самом деле он ещё не оправился от ранения, а может быть, сказывалась госпитальная привычка.

Молодой подполковник, принявший Каменского, сразу отвёл разговор о фронтовом назначении и вообще склонен был рассматривать Каменского как некадрового командира из тех, что достаточно напутали в первые месяцы войны. Зато он заинтересовался педагогическим прошлым Каменского, записал для памяти основные данные и назначил Каменского явиться завтра к вечеру. Оскорблённый и раздражённый, Каменский вышел в длинный плохо освещённый коридор. Мимо него сновали штабные офицеры с папками и фронтовики в перетянутых ремнями шинелях и в овчинных полушубках, с оттопыривающимися на боку планшетами. Каменский вглядывался в них, и какими бы они ни выглядели — озабоченными, весёлыми, сердитыми или усталыми, — он завидовал каждому, потому что у каждого из них было своё место в войне.

Каменский ходил взад и вперёд по коридору, притворяясь идущим по делу и обдумывая, к кому и как обратиться, чтобы попасть на фронт. Плечо

ныло всё более нестерпимо, и от этого собственное положение рисовалось Каменскому донельзя безрадостным и безнадежным. Когда он услышал знакомую фамилию — Калганов, — упомянутую двумя проходящими мимо командирами, он ухватился за эту фамилию, как за якорёк спасения, путь не очень верный, но всё-таки якорёк.

— Товарищ капитан! — крикнул он, догоняя командиров. — Простите, где сейчас полковник Калганов?

За то время, что Каменский пролежал в госпитале, фронт стабилизировался, управление им реорганизовалось, вместо войск Красногвардейского укрепленного района и временных оперативных групп сколотились новые армии, занявшие оборону на разных секторах фронта, так что разыскать старых сослуживцев было нелегко. Полковник Калганов... Неужели тот самый полковник Калганов, командир его дивизии?..

— Генерал-майор Калганов, — поправил капитан. — Он здесь, вторая дверь налево.

Калганов был на совещании, но скоро должен был вернуться. Каменский с удовольствием сел в глубокое кресло в углу приёмной. Ему вспомнилось утро после успешного боя. В то утро они встретились впервые. Жалоба Каменского командующему фронтом не могла быть приятна Калганову. Но Калганов сумел подавить в себе ненужные переживания и встретил Каменского дружелюбно, с интересом и доверием. Тогда задачей дивизии было закрепить успех, то-есть удержать те два километра перед высотой, которые удалось отвоевать Каменскому. Они хорошо поработали вместе в тот день и на следующий, и Каменскому случалось надолго забывать о горячей боли в плече и растущей лихорадочной слабости. Он украдкой, воровато проскальзывал в медсанбат на перевязки и отталкивал градусник, который пыталась всучить ему женщина-врач. На третий день Калганов приехал в полк, и они вместе лазили по переднему краю, проверяя ход работ по сооружению долговременных огневых точек. Потом вернулись в штаб полка и сели ужинать. Каменский выпил водки, чтобы разогнать странную вялость и беспомощность всего тела, но тело существовало как бы само по себе, не подчиняясь воле и сознанию хозяина.

— Вам выспаться надо, — сказал вдруг Калганов. — Что это вы, Леонид Иванович? Какое-то у вас лицо сделалось...

— Пустяки, — сказал Каменский и с усилием встал.

Ему хотелось освежить лицо и шею холодной, очень, холодной водой... Что было дальше, ему никогда не удавалось вспомнить. Как из

тумана, выплывали исшарканная сапогами ножка стола и сильные руки Калганова, ухватившие его плечи, и тот звериный нелепый крик, который вырвался у него при грубом прикосновении к ране... Следующее воспоминание относилось к потряхиванию санитарной машины уже на пути в госпиталь..

— Леонид Иванович! Леонид Иванович!

Он встрепенулся, спросонок удивлённо разглядывая стоявшего перед ним генерала и незнакомую комнату... Когда и как он умудрился заснуть?

— Товарищ генерал-майор, прошу извинить меня, — сказал он, вскакивая. — Задремал, ожидая...

— Да я уже час здесь и, нет-нет, выхожу поглядеть на вас, — сказал Калганов. — Приказал не будить. Да мне скоро ехать, а повидать вас хочется. — И, осторожно обняв Каменского ниже плеч (запомнился ему тот крик!), он подтолкнул его к двери своего кабинета. — Ну, рассказывайте, герой. Где вы? Что? Подлечили вас насовсем?

Как часто бывает с фронтовиками, хоть короткое время провоевавшими вместе, они встретились после перерыва более близкими друзьями, чем расстались. И Каменский даже не стал просить Калганова о помощи, так ясно ему было, что Калганов сделает для него всё, что нужно. Сразу успокоившись относительно своей личной судьбы, Каменский вернулся к прежнему строю мыслей и чувств, и ему захотелось обобщить разрозненные сведения, доходившие к нему в госпиталь, и толково разобраться в обстановке на фронтах — в первую очередь, на Ленинградском фронте.

— Тяжело, — серьёзно, но без всякого уныния сказал Калганов и вздёрнул шторку, открывая карту-десятивёрстку, занимавшую почти всю стену. — Вот поглядите.

Со сжавшимся сердцем окинул Каменский общий очерк фронта. Хотя он приблизительно верно представлял себе положение, но запечатленная извивами шнура, флажками и значками линия производила тягостное впечатление. Не углубляясь в изучение общего, Каменский поспешно и пристрастно уткнулся в одну, самую дорогую, выстраданную точку фронта. И хотя он знал от Бобрышева и других, как там обстоят дела, обозначение укреплённой высоты с вынесенной на два километра вперёд линией передовых укреплений доставило ему удовлетворение.

— Видишь, не отдали. А ты ругался, — сказал Калганов.

Каменский не помнил этого, но было вероятно, что он всячески отбивался от госпиталя и наговорил много лишнего. Поэтому он не поддержал разговора, а только виновато улыбнулся и вновь отступил на

несколько шагов от карты, чтобы охватить её взглядом.

Два вала немецкого наступления, стремительно катившиеся к Ленинграду через Двинск — Псков и через Ригу — Вильянди — Раквере — Нарву, остановились у самого Ленинграда. Остановились, но не отхлынули, а бились у его стен, уже без прежней мощи, а с подтачивающей, упрямой злостью. И третий — финско-немецкий — вал перехлестнул через границу, разлился по лесам и озёрам Карельского перешейка, упёрся, как в дамбу, в старый железобетонный пояс укреплений...

Как маленький островок, омываемый с запада водами Финского залива, с востока — водами Ладожского озера, а с севера и юга — валами вражеского наступления, ленинградская земля казалась на карте неправильным, вытянутым по углам четырёхугольником, в котором сам город занимал непомерно, недопустимо большое место. Стиснутый в нижнем углу четырёхугольника, Ленинград почти соприкасался с линией фронта. Чёрные квадратики его кварталов сбегали вниз, к шнуруку, обозначавшему фронт, а некоторые из них — мясокомбинат, больница Фореля, питомник — были на линии огня. Порт смыкался своими причалами с дамбой Морского канала, а по другую сторону дамбы тянулись немецкие укрепления, и оттуда, наверное, в простой бинокль видны и причалы, и портовые склады, и эллинги Ждановской верфи...

Чёрный шнурок отделял от Ленинграда такие привычные его пригороды, как Гатчина, Павловск, Пушкин, к другим он подбирался вплотную — Колпино, Пулковое... Извиваясь среди флажков, отмечавших все мелкие колебания фронта, шнурок петлёй охватывал Ленинград, прикасался к Неве и затем следовал по линии её левого берега вплоть до её истока, где красный флажок на Шлиссельбургской крепости — на Орешке — обозначал последнюю точку чересчур короткого фронта. А город Шлиссельбург был уже за шнуром, у немцев, и дальше немцы вырвались на побережье Ладоги, отхватив небольшой, но очень важный его кусок. Здесь, в районе Синявинских болот и узловой станции Мга, замыкалось кольцо блокады. За эти ворота Ленинграда шла кровопролитная незатихающая борьба. С востока, с «Большой земли», в эту болотистую почву вгрызались армии Волховского фронта... На карте не были отмечены позиции Волховского и Карельского фронтов, но чья-то рука крутыми чёрными дужками обозначила основные точки немецкого и финского наступления, и Каменский отчётливо увидел полуосуществлённый замысел врага — встречными ударами от Петрозаводска и Лодейного Поля на юг и от Тихвина на север сомкнуть второе, большое кольцо полной блокады... Пока ещё кольцо не сомкнулось, где-то там под Волховом, под Тихвином и

у Свири бились наши армии, отражая натиск врага. И пока им это удавалось, голубой овал Ладожского озера был для ленинградской земли последней непрочной коммуникацией с «Большой землей», с родиной.

Но у Ленинграда была ещё и своя «малая земля», для которой он сам являлся «Большой землей», — Ораниенбаумский пятачок. Под короткой змейкой острова Котлин, готового ужалить врага всеми батареями Кронштадта, красноармейцы и моряки отстояли кусочек суши от Петергофа до Копорской губы, суши, включавшей Ораниенбаум и мощные форты — Красную Горку и Серую Лошадь. Вытянутой подковой огибал шнурок этот маленький кусочек советской суши. Вся линия фронта была здесь не больше 75 километров — но сколько крови стоил каждый не уступленный врагу километр!.. Немцы захватили Петергофский дворец и парк со знаменитыми фонтанами, прочно уцепились за берег Финского залива к западу от него — до Стрельны, до завода Пишмаш, до бухточки напротив Ленинградского порта, полностью отрезав «пятачок» от суши и держа под огнём морской путь из Ленинграда. Жирные красные линии наметили на карте единственную водную коммуникацию, соединяющую две части сражающегося Ленфронта; подобно двум рукам, протянутым друг к другу для взаимной поддержки, тянулись эти линии от Ораниенбаума вверх и от мыса Лисий Нос по прямой через залив, сходясь, как в братском рукопожатии, в Кронштадте.

Каменский внимательно всматривался в раскрывшуюся перед ним картину запечатленного боя и видел за нею ещё очень многое, что нельзя запечатлеть, но что видит каждый фронтовик за скупыми знаками отработанной военной карты. Большие и малые цели, выгоды и помехи, мысль командиров и усилия бойцов, труд, пот, кровь, зреющие возможности и безвозвратные потери, дух людей и цифры соотношений.

От этой невесёлой карты ему не стало горько. Душевную собранность и желание вложить в борьбу собственные силы — вот что рождала в нём эта карта.

— В подобном сужении фронта есть свои преимущества, — спокойно заметил Калганов и спустил шторку. — Помните, что у нас получилось вначале? По двадцать пять — тридцать километров на одну дивизию, а дивизия численностью в полк! По одному орудью на километр!.., самое большое — по два-три орудия! Никакой глубины обороны, никакого второго эшелона, однолинейность... Прорвётся немец в одном месте и рвёт фронт, как нитку. А теперь боевые порядки уплотнились, артиллерии по двадцать пять стволов на километр, не считая миномётов, оборону построили в глубину, несколько полос. Пусть-ка сунутся!

Каменский с радостью слушал и то, что говорил Калганов, и самый звук его голоса. Конечно, положение фронта было тяжелейшим, оно было, пожалуй, хуже, чем два месяца назад, когда Каменский и Калганов вместе работали над укреплением района вокруг высоты. Но, видимо, с тех пор очень закалился дух армии, укрепилась военная организация, в плоть и кровь людей вошли уверенность в своих силах и готовность сражаться и побеждать.

— А что у них? — спросил Каменский.

— Закопались, — ответил Калганов оживлённо. — И, знаете, силы у них уже не те. И состав не тот. Среди пленных немцев попадаются очень хлипкие, каких в августе — сентябре не попадалось. И всякого сброду нагнали, даже испанскую «голубую дивизию» из франкистских прохвостов... — Он усмехнулся: — Как нам было плохо, мы с вами помним, Леонид Иванович. Из последнего бились. А вот эта наша неравная, отчаянная, борьба всё-таки три месяца трепала немцев на подступах к Ленинграду, вывела из строя их лучшие дивизии, обескровила их, измотала. Вспомните, как мы боялись тогда, в сентябре, немедленного ответного наступления. Мы же думали, что они могут собрать такой кулак, который разmozжит наши головы. А они не смогли! Уже не смогли...

Они так и не предприняли ни одной значительной попытки.

Калганов удовлетворённо помолчал и заговорил другим, деловым тоном:

— Впрочем, силы против нас стоят изрядные. В общем, двадцать одна дивизия — это без финнов, — из них три танковые и моторизованные. Одна дивизия СС... Сейчас идёт жестокое сражение под Москвой. Наше сопротивление оттягивает от Москвы двадцать одну дивизию. Плюс стратегические выгоды.

— А что в районе Волхова — Тихвина?

— Должны отбить Тихвин. Должны. Бои там идут тяжёлые. Да ещё в тамошней проклятой обстановочке — болота, распутица, леса... Вы обратили внимание на Невский пятачок?

Он до половины вздёрнул шторку и ткнул пальцем в маленький клочок берега Невы возле 8-й ГЭС, против Невской Дубровки, — в пустой клочок земли, отвоёванный у немцев на левом берегу.

— Месяц бьёмся за этот пятачок. Баня! Одна переправа чего стоит! Самое кровавое место фронта... Пытались расширить плацдарм и развить наступление на Синявинские болота, на Шестой посёлок и дальше соединиться с Волховским фронтом. Пока не вышло. Но на себя мы тут оттянули немало сил. А это уже помощь, волховчанам легче.

Он добавил тихо:

— Если им удастся отбить Тихвин и воспрепятствовать немцам и финнам соединиться по ту сторону Ладожского озера — Ленинград спасён. Не удастся — положение... весьма... затруднится.

И тотчас, встряхнувшись, спросил:

— Ну, а вы что теперь, Леонид Иванович? Куда вас приткнули?

Каменский коротко доложил свои дела и попросил помочь ему попасть на фронт.

— Знаете, друг мой, — сказал Калганов. — Когда я вас там увидел спящим, я поглядел, поглядел и решил: не иначе, как сбежал до срока из госпиталя и пришёл проситься на фронт. Хорош психолог, а?

— Я вполне здоров и окончательно поправлюсь, когда. .

— Леонид Иванович, не ври, милый, ты ещё нездоров и не притворяйся. Я уже учёный. А потом, ты думаешь, на фронте сейчас очень интересно? Сейчас у нас задачи очень простые: наладить снабжение по Ладоге и обеспечить эту коммуникацию — раз. Воспитывать войска к предстоящим боям — два. Придёт время для настоящего дела — пойдёшь командовать. Обещаю. А перезимуй здесь. Хочешь со мною работать? Мне как раз офицер нужен. Дам возможность и на фронте побывать — да ещё не на одном участке, а везде.

Каменский встал.

— Спасибо, товарищ генерал-майор.

— Товарищ генерал-майор будет завтра, когда вы явитесь на работу. Ну, Леонид Иванович, рад, что вы целы. Ох, и напугали вы меня тогда!. Валится под стол, я на выручку, а он как заорёт! В машину — силком... Упорный вы человек...

Жужжа ручным фонариком, Мироша кое-как сползла по тёмной обледенелой лестнице. Бог знает что делалось на лестнице. Все носят воду — и носят с трудом, через силу, от этого вода расплескивается и замерзает, образуя ледяные наросты на ступенях.

Дверь на парадном с трудом открывалась из-за тех же проклятых ледяных наростов. Хоть бы на ровном месте у людей хватило ума не расплескивать воду! Скоро нельзя будет ни войти, ни выйти..

Выбравшись на улицу. Мироша сунула фонарик в карман и поплелась к булочной. Было темно, хотя шёл шестой час и город уже — медленно, неохотно — просыпался от тяжёлого голодного сна. То тут, то там мелькали неясные человеческие тени, и все направлялись в ту же сторону. Мироша заторопилась.

Она поднялась до света, чтобы занять очередь одною из первых, но у булочной уже стоял длинный хвост. Люди подходили, молча занимали место, потуже закутывали шеи платками и шарфами, тщательно засовывали руки в рукава. И молчали. До открытия булочной оставалось полтора часа. Постепенно светало, и видно было, как клубится над очередью пар от дыхания.

Холод и тоска томили Мирошу. Было нестерпимо стоять на одном месте и молчать.

— Не знаете, гражданочка, хлеб привезли? — спросила она у стоявшей впереди женщины.

Женщина, не желая открывать закутанного полумаской лица, утомлённо пожала плечами и не ответила.

Сзади кто-то напирал на Мирошу, стараясь придвинуться к желанному входу в булочную. Хотя Мироше было теплее от вплотную придвинувшегося к ней человека, она всё-таки огрызнулась, чтобы нарушить молчание, чтобы поругаться, что ли, — стоят, как изваяния, а ведь люди, люди! — разве можно молчать столько времени!

— Извините, — прошелестел за её спиной старческий вежливый голос. — Холодно, знаете... Сил нет стоять...

— Ну, и придвигайтесь поближе, — разрешила Мироша, сразу забыв желание поругаться. — Теперь уж недолго ждать.

— Сегодня двадцать восемь градусов мороза, — сообщил вежливый старичок. — По Реомюру. Давно не было такой суровой зимы. И хоть бы



дров... или хлеба... чего-нибудь одного вволю...

— Что поделаешь! — сказала Мироша, вздыхая. — Потерпеть надо. По Ладогe хлеб везут. У меня племянница..

Почти счастливая оттого, что удалось разговориться, Мироша стала рассказывать и то, что знала от Сони, и то, что придумывала тут же сама.

— Продержаться надо, — говорила она, повышая голос, чтобы слышало побольше народу, — на том берегу Ладоги продовольствия горы лежат. Один очень большой военный говорил, что ждать недолго. Обратите внимание, теперь к открытию булочной хлеб всегда есть, значит, муку подвозят без перебоев. Моя племянница по два раза в сутки оборачивается туда и назад, а ведь она девушка..

— Да тише вы! — вдруг прикрикнули на Мирошу. — Разболтались!..

Готовая к схватке, Мироша обернулась на голос, но все смотрели не на неё, а куда-то на угол, где хрипло звучало радио.

— Важное сообщение, — проговорил кто-то.

— Так о Ростове объявляли, — напомнил другой.

И вдруг вся очередь, не сбиваясь, стала тихо перемещаться поближе к углу дома, где чернел репродуктор. Переместилась и замерла.

— ...наши войска... заняли город Тихвин...

— Тихвин! — как один человек, вздохнула очередь.

— Тихвин! — вдруг звонко закричала высокая женщина, стоявшая в очереди первой. — Гражданочки! Тихвин! Вы понимаете, что это значит?! Тихвин!.

— Вот видите, — закричала Мироша и вдруг заплакала и обняла старичка, а потом ещё кого-то... — Я же говорила, потерпеть надо... Вот и выручают наши!.. Разве ж бросят нас без подмоги?..

— Теперь ещё Мгу взяли бы... — мечтательно сказал старичок.

— Возьмут! — убеждённо подхватила Мироша. — Туда, знаете, сколько войска стянуто?..

Высокая женщина вытерла слёзы и сурово сказала:

— Ну, давайте назад.

И вся очередь стала пятиться, соблюдая порядок. Попятилась до дверей булочной и замерла. Люди снова потуже закутали шеи, вдвинули руки в рукава. Пар от дыхания клубился над очередью, как туман. И тихо шелестели голоса:

— От Тихвина до Мги недалеко...

— Теперь и норму, должно, прибавят...

В этот час старая Григорьева проснулась и долго смотрела в темноту, свыкаясь с тем, что несчастье только приснилось... Один и тот же сон приходил к ней каждую ночь, и каждую ночь, просыпаясь, она не имела сил радоваться пробуждению, потому что сон казался ей вещим.

Белые снега виделись ей, белые-белые бескрайные снега, и дымный налёт на снежном насте, и разорванная колючая проволока, полузанесенная снегом. Медленный полёт снарядов виделся ей — очень медленный и до ужаса неотвратимый полёт снарядов, расчерчивающих серый полумрак красными и зелёными трассами. И все они приближались прямо к ней, а она была не она, а младший сын Мишенька, Мишенька бежал, полз и снова бежал вперёд по глубокому снегу, хрипло крича и задыхаясь от крика и от бега, бежал прямо навстречу неотвратимым снарядам и вдруг падал плашмя, лицом в снег...

— ...наши войска... заняли город Тихвин!..

Она села на своём тюфяке, вслушалась, закричала:

— Маша! Марья Николавна!

Мария, ещё не раскрывая глаз, вскочила с диванчика, готовая делать всё, что нужно, всё, что придётся — спасать, тушить, успокаивать, приказывать...

— Радио, Машенька! Радио слушай! Тихвин..

Мария выслушала сообщение до конца, потом прослушала его вторично. Значит, началось... Первые шаги победы. Только трусы и малoverы считали нас фанатиками, мы знали, что делаем, мы сопротивлялись и верили в победу, и вот она идёт, идёт сюда, в голодный мрак осады...

Когда Мария дрожащими руками нащупала спички и подожгла фитилёк коптилки, она увидела, что Григорьева сидит, покачиваясь, закрыв глаза, и частые слёзы сбегают по её морщинистым изглоданным морозом и ветром щекам.

— Ты что?.. Родная, зачем?..

— Слава богу, — сказала Григорьева, открывая глаза полные страдания и того высокого жертвенного подъёма, который, быть может, впервые на земле с такой силой и полнотой владел душами людей. — Слава богу, если не зря...

В тот же час на танковом заводе, в цехе Курбатова, рабочие и работницы маленькой, сплочённой кучкой стояли под репродуктором и слушали голос московского диктора, торжественно повторявшего сообщение Информбюро. Их было немного сейчас в громадном цехе, и они уже вторые сутки не уходили с завода. Два искалеченных тяжёлых танка получили они для ремонта и для смены башен, два танка, которые нужно было скорее вернуть в строй. Всю эту ночь люди работали на пределе. Жидкий рассвет, просачиваясь в разбитые окна, оттенял землистую бледность лиц. И необыкновенно было выражение восторга и уверенности на этих истомлённых лицах.

— Ну, что будем делать в честь победы, товарищи? — спросил Григорий Кораблёв, улыбаясь.

Он ещё недавно обещал своим людям перерыв для отдыха и ещё недавно сам мечтал уснуть, закрывшись в конторке.

— Продолжать придётся, — ответил самый старый из рабочих. — Порадовались — вроде как выпались. Что ж теперь другого сделаешь?

— Не спать же сейчас! — воскликнула Люба.

— Теперь и не заснёшь, пожалуй, — вслух подумала Лиза и первой пошла к своему рабочему месту, с некоторым удивлением прислушиваясь к невнятным голосам надежды и радости, звучащим в её душе.

Значит, победа может поспеть и к ним? Значит, спасение возможно?..

Над грузной машиной танка заискрилось ослепительное пламя сварки. Люба с гордостью смотрела через щиток, как кипит, стягивая трещину, раскалённый металл.

\* \* \*

В этот же час Вера Подгорная слушала, прижав ладони к животу, как властно бьется в ней новая, созревающая жизнь. Её бесслёзные глаза затуманились, и она сказала громко, как обычно говорила в эту зиму, отгоняя одиночество и мертвую тишину: — Теперь мы с тобою, кажется, выживем...

\* \* \*

Тем же утром, радуясь позднему рассвету, капитан Каменский мчался навстречу потоку санитарных машин в район Невской Дубровки со

срочным пакетом из штаба фронта. Войска Невской оперативной группы вели незатихающие кровавые бои на Неве, пытаясь расширить плацдарм на левом берегу и прорваться в район Синявинских болот в направлении станции Мга; в крайнем случае они должны были сковать противника и отвлечь на себя часть немецких войск, сопротивляющихся наступлению Волховского фронта. Каменский не слышал торжественного сообщения по радио. Он ещё ночью узнал о взятии Тихвина и теперь был поглощён заботами своего, Ленинградского фронта.

Упорно переправляясь через Неву и ещё на переправе неся огромные потери убитыми, ранеными и затянутыми под лёд, войска вгрызались в немецкую оборону... и не могли прогрызть её. Удастся ли заметить какую-нибудь возможность, не замеченную другими? угадать хоть небольшую слабость противника, не угаданную другими? Удастся ли хоть что-нибудь придумать, подсказать, посоветовать?.. Ведь надо, надо, надо опрокинуть немецкую оборону и прорваться туда, к Мге и Тихвину, разрывая кольцо осады...

\* \* \*

Тем же утром Митя Кудрявцев один в окопчике, заваленном трупами, вглядывался слезящимися от напряжения глазами в белое пространство перед окопчиком и время от времени, припав к автомату, неторопливо выпускал короткую, хорошо рассчитанную очередь. Уже скоро сутки — день, вечер, ночь и этот первый час утра, — как Митя с товарищами обороняли занятый ими немецкий окопчик. В течение этих часов Митя иногда оглядывался и замечал, скольких товарищей уже нет в живых, и тогда ему казалось, что сам он неуязвим и останется неуязвимым до тех пор, пока удерживает окопчик. Только что рядом затих раненый ещё ночью боец Карпушин, последний его товарищ. Митя подтянул к себе оставшиеся диски и снова внимательно оглядел неподвижное белое пространство перед окопчиком. Он ничего не знал о Тихвине и ничего не знал о том, что творится на соседних участках боя, он думал только о том, чтобы удержать с таким трудом завоёванный окопчик до прихода подмоги, и о том, как он будет удерживать его, если немцы снова полезут в атаку, как уберечь себя от шальной пули и как растянуть оставшийся боезапас...

Ничего важнее этого окопчика не было для него сейчас на свете.

А в полукилометре от него, в тот же час раннего утра, Алексей Смолин в четвёртый раз атаковал небольшой бугорок, прекращённый немцами в крепость, и для него не существовало сейчас ничего важнее этого бугорка, который ему было приказано захватить. Когда утренний блеск заиграл на взрытом снарядами снегу, Алексей протёр полуослепшие от бессонного напряжения глаза, размазав по щекам пороховую копоть, и сказал себе, что он пробьётся во что бы то ни стало, лучше помереть, чем этак топтаться возле одного бугорка. А когда Яковенко вызвал его по радио и спросил: «Ну, как?» и вдруг многозначительно добавил: «Нажимай, Алёша, волховчане взяли Тихвин!» — Алексей представил себе Тихвин в виде такого вот бугорка, который невозможно взять и который всё-таки взяли... И он повёл свои танки в пятую атаку.

**Глава шестая**  
**Стиснув зубы**



Кончался тысяча девятьсот сорок первый год.

Каменский работал много и с увлечением, жадно учась всему, что могло пригодиться ему как командиру. В штабе он повседневно сталкивался с основными вопросами руководства, снабжения и обеспечения армии, о которых имел очень смутное представление в батальоне. Теперь он видел общее положение, общие замыслы и потребности фронта и понимал, что они порою расходятся с замыслами и желаниями низовых командиров, склонных судить обо всём по положению на своём участке.

Калганов сдержал своё слово и давал Каменскому возможность бывать на разных участках фронта. В свободные минуты он любил по-дружески побеседовать с Каменским и скоро сделал его своим первым доверенным помощником. Каменский ценил это и знал, что работа в штабе даст ему знания и опыт, полезные для любой командной должности. Но стоило ему остаться наедине с самим собою, как тоска по непосредственному боевому делу, по прежним своим боевым товарищам — командирам и бойцам — начинала грызть его. По ночам не спалось, ныло плечо и осаждали горькие, тревожные мысли.

Разгром немцев под Тихвином был огромной, спасительной победой, избавившей Ленинград от угрозы полного окружения. Но кольцо блокады по-прежнему охватывало город, подступая к самым его окраинам. Правда, теперь Ладожская ледяная дорога — последняя коммуникация Ленинграда — стала короче, удобнее и подвергалась сравнительно меньшей опасности — с берега простреливалась только небольшая часть трассы. «Дорогой жизни» с благодарностью называли её ленинградцы. Она не давала городу

погибнуть, но еле справлялась с самыми неотложными, первостепенными перевозками и пока, в результате героических усилий, лишь поддерживала бесперебойное снабжение хлебом по голодной норме...

В безрадостных думах Каменского обступали истощённые, опухшие от голода и холода ленинградцы — обступали и спрашивали всё одно и то же: «Скоро ли вы нас спасёте?» В жизни они проходили мимо него не глядя, равнодушные, занятые своими мыслями и делами, без жалоб и упреков, проходили своей неточной, медленной походкой. Может быть, они хорошо понимали: армия делает всё, что может, нельзя требовать от неё того, что сейчас невозможно, непосильно... Может быть, они понимали это, но Каменскому чудилось, что каждый встречный говорит ему с презрением и гневом: «Ты — военный, тебе дано оружие, чтобы бить врага. Отчего же ты ходишь здесь, живой, с оружием на боку, вместо того, чтобы уничтожать немцев?»

Попытки опрокинуть немцев в районе Синявинских болот не удались. Каменский побывал на «пяточке» на левом берегу Невы, видел мучительную переправу войск через Неву под прицельным огнём противника. Ощущал упорство, с каким командиры и рядовые бойцы прогрызали немецкую оборону. Встречал раненых, открывавших воспалённые от боли глаза, с вопросом: «Ну, как там? прорвали?». Нет, войска не были виноваты. Они делали, что могли, с каждым днём обогащаясь опытом штурма долговременных укреплений, но у них ещё не хватало ни сил, ни техники, ни боезапасов, ни умения. Нужно было ждать, пока лихорадочная работа тыловых заводов и ленинградских простреливаемых цехов снабдит армию всеми средствами наступления. Нужно было ждать, пока командование сможет стянуть под Ленинград необходимые силы. Нужно было упорно, повседневно учить, тренировать войска, в малых боях обучая их для будущих больших боев... А пока — держать линию фронта и охранять последний путь из заблокированного города к родине. А пока — голодать самим и знать, что рядом голодают, мучаются, мёрзнут женщины, дети...

Каменский разговорился однажды с бойцом-снайпером. И боец, деревенский парень с добродушным лицом, сказал ему, мрачно насупясь:

— Так ведь как же, товарищ капитан. Съездил я недавно в Ленинград... посмотрел... И они на меня смотрят — жители... Так я рад был обратно вернуться на передовую. Совестно. А теперь, как немца поддену, в книжечку себе отмечу — вроде как очистишься от стыда. И сам себя правым чувствуешь.

Затем он стал объяснять Каменскому все хитрости своего



истребительного искусства. Говорил он спокойно, обстоятельно: о своих хитростях — с лукавой усмешкой, об убитых врагах — с холодной злобой.

Приехав в тот день в город, Каменский отправился к Марии на «объект» и, сидя у печурки в её тесной комнатке без окон, сказал ей с горечью:

— Сейчас есть только одно счастье — воевать.

Мария недобро усмехнулась:

— А что вы предлагаете мне?

В последнее время между ними установились отношения, похожие на вооружённый мир. Поводом для назревающей ссоры являлось желание Каменского эвакуировать Марию с Андрюшей и Анной Константиновной, для чего он хотел воспользоваться предстоящей ему поездкой на Ладожскую трассу. Мария склонялась к тому, чтобы отправить Андрюшу с бабушкой, а самой остаться в Ленинграде, но на это не соглашалась Анна Константиновна: «В такое время дробить семью — кроме горя, ничего не будет. И не возьму я такой ответственности на свою душу. А потом — на кого же я всех ребятшек брошу? Это же дезертирство!»

Мария и Каменский с радостью открывали друг у друга сходные мысли, взгляды, родство душевных укладов, и охотно уступали друг другу в том, в чём они не сходились. Но в вопросе об эвакуации Мария не проявляла никакой уступчивости, лицо её становилось упрямым и недоброжелательным, она злилась и, видимо, готова была поссориться навсегда. Каменскому не хотелось ссориться, и всё же он опять заговорил о том же, потому что ему была невыносима мысль об опасности, которой она подвергалась ежедневно, и о том, что с нею будет, если погибнет Андрюша.

— Перестаньте! — закричала Мария, бледнея. — Перестаньте травить мне душу, — или не приходите больше!

Каменский опустил голову, оскорблённый её резкостью. Но её угроза показалась ему такой невыполнимой, что он тихо засмеялся и сказал:

— Не выйдет.

— Что? — не поняла Мария.

— Не приходите...

Она медленно краснела, глаза её сияли. Он взял её руку и осторожно поцеловал. Рука огрубела, в шершавую от холода кожу въелась коготь. «За руки, выпачканные в земле», — про себя повторил он. Когда он вспоминал ночь перед атакой и разговор с Митей Кудрявцевым, всё казалось ему предзнаменованием, которого он не сумел тогда понять.

— Знаете, Марина, — сказал он, радуясь её смущению. — Если бы сейчас не было вот этой тьмы, голода, обстрелов, смертей... если бы вы

были сейчас нарядной, с маникюром. . вряд ли я бы так любил вас...

Он не ждал ответа, и сам первый заговорил о другом. Взволнованная его признанием, Мария с трудом понимала то, что он говорил о политике англичан и американцев. Её всегда удивляла способность Каменского мгновенно переключаться с интимного разговора на военные, общеполитические темы и говорить об этом с увлечением, целиком отдаваясь своим мыслям. Она любила людей, живущих напряжённой умственной жизнью, но ей хотелось, чтобы Каменский проявил больше пылкости и настойчивости, меньше рассудительности. И она обрадовалась, когда — в середине длинного рассуждения — Каменский неожиданно потянулся к её руке, прижал к своей щеке её шершавую ладонь и воскликнул почти со стоном:

— И всё-таки — если бы вы уехали! Как бы я был спокоен тогда...

— А зачем нужно быть сейчас спокойным?.. — возразила она. Но, желая утешить его после недавней обиды, предложила:

— Пойдёмте ко мне. Сегодня я отдыхаю дома.

Когда они вышли на улицу, уже стемнело, но где-то за домами вставал молодой месяц, в его отражённом сиянии голубоватым блеском мерцал снег, сугробами заваливший и улицы, и крыши, и подоконники. Чуть мерцали и стены домов, покрытые густым инеем — должно быть, иней выступал на стенах оттого, что дома были нетопленные. Но Мария думала не об этом — уже привычном — бедствии, а о том, что белые плоскости подчёркивают архитектурные формы, придавая городу таинственный, новый, почти сказочный вид.

— Смотрите, как красиво! — сказала она, останавливаясь. Они вышли на набережную, окаймлённую белыми домами с искрящимися обледенелыми балконами, с мерцающими обиндевелыми колоннами. Перед ними простиралась широкая бело-голубая гладь Невы с неясными силуэтами вмерзших в лёд кораблей.

Среди сугробов от одного берега к другому тёмной ниточкой вилась пешеходная тропка, и по ней медленно двигались две чёрные точки. Вглядевшись, Мария различила фигуру человека, впряженного в нагружённые санки. Она поспешно отвела взгляд.

— Пойдёмте, здесь холодно.

Они тихонько пошли дальше. С Невы действительно веяло морозным ветром, но идти быстрее было трудно, ноги не слушались. Со льда донеслось негромкое постукивание лома. Они поравнялись со спуском к реке и увидели на льду несколько тёмных фигур.

— Прорубь долбят, — прошептала Мария, поёживаясь, и потянула

Каменского в ближайший переулок.

Здесь она сказала, указывая на развалины разбомблённого дома:

— Мне бы хотелось разработать проект жилого дома на место этого... Он был не очень хорош.

Каменский понял, что она старается сохранить радостное настроение и поддержал её мечту — почему бы ей и не разработать такой проект? Кончится блокада, и настанет пора восстановления...

— Мы будем знать, как жить после войны, — сказала Мария.

Входя в свое парадное, она спросила:

— Правда ведь, где-нибудь в тылу... вообще, не здесь, никто не поверит, что мы бываем иногда счастливыми?

— Счастливыми?! — воскликнул Каменский, нащупывая во мраке перила и подавая ей руку, чтобы она не поскользнулась на обледенелых ступенях.

— Да, да, — быстро сказала Мария. — И ради бога не возражайте. Вы должны понять сами. Или молчите. Не сбивайте. Мне так хорошо сейчас. Я бы хотела, чтобы вы все, все понимали. Все!..

Ей было бы трудно доказать кому-нибудь, что в этих нечеловеческих условиях существования можно порою чувствовать себя счастливой. Но это было так. Чем непосильнее было бремя, тем глубже и полнее было удовлетворение от того, что хватает сил нести его, не сдаваясь, не жалуясь. Впервые в жизни Мария расходовала свои силы так безостаточно, впервые она чувствовала себя такой необходимою людям — даже тем, кто ворчал на неё, требовал от неё невозможного и срывал на ней своё голодное раздражение. Пусть это была ничтожно малая точка в обороне Ленинграда — её «объект», и пусть только крохотной частицей коллектива ленинградцев были люди, которыми она руководила, — но разве не из малого слагается большое?

Только разговоры об эвакуации нарушали её душевное равновесие. Ведь всё определялось внутренней настроенностью. Надо было уверовать в то, что никакого чуда не будет, что тебя лично никто не спасёт, не выручит, что ты и твои близкие будут до конца разделять судьбу города, а значит — надо бороться за свой город и за его судьбу, как за самого себя, как за своего ребёнка. Но борьбы открытой, вооруженной не было. Баррикады занесло снегом. Борьба заключалась в терпении и выдержке, в стойкости личного поведения и в том, чтобы в голоде, во мраке, в холоде подбадривать окружающих людей и помогать тем, у кого силы иссякают. Это и значило — *выдержать*. Мария сумела создать у себя такую душевную настроенность, но знала, что её силы тоже не безграничны, и

раздражённо отметала всё, что могло поколебать её, ослабить её волю.

— Вы же знаете, я упорствую только потому, что люблю... — глухо сказал Каменский, помогая ей передвигаться с одной обледенелой ступени на другую. В полном мраке ему было легко говорить ей о том, что он обычно таил про себя. — Мне трудно прожить день, не увидев вас, и всё же я настаиваю, чтобы вы уехали куда-то за тридевять земель. Дико, правда?

Помолчав и тяжело дыша от усилий, которых требовал подъём, Мария сказала:

— Ну, вот. Я задумалась и сбилась со счёта. На каком же мы этаже?

Холод, мрак и безмолвие окружали их.

— Подождите. Передохнём и разберёмся. У меня есть несколько спичек. И как вы здесь ходите одна!

— Я всегда считала ступени, — виновато объяснила Мария.

— Слушайте! Кто-то поднимается!

Оба перегнулись через перила. Где-то, внизу, как на дне глубокого колодца, прыгало пятно жидкого света и гулко звучало шарканье подошв, жужжание ручного фонарика и негромкие голоса. Людей не было видно, свет двигался перед ними, выхватывая из мрака то обиндевелые, в сосульках, перила, то голубоватые наросты льда, под которыми скрывались ступени. Люди поднимались всё выше, слышно было их усиленное дыхание.

— Фу, ты! — сказал один. — Колени трясутся от страха. Живы ли там?

— Похоже на мёртвое царство, — ответил другой. — Мне на фронте никогда не было так жутко...

— Да это же наши! — воскликнула Мария и закричала вниз в глухой чёрный колодец: — Митюша! Алёша!

— Мёртвое царство! Жутко! — через минуту подшучивал Каменский, по очереди обнимая Алексея Смолина и Митю. — А мы вот ходим себе и ходим. И говорили сейчас о счастье.

— Мы же с фронта, к вашим ужасам не привыкли, — отшучивался Алексей.

Когда Анна Константиновна увидела входящих с дочерью гостей, она стыдливо ахнула, поставила коптилку на столик и скрылась.

— Я только переоденусь, — донёсся из темноты её голос. — Можете снимать шинели, в комнате тепло.

Она вышла снова уже в пуховом платке на плечах. Под модной тщательной причёской её осунувшееся лицо выглядело особенно истощённым и бескровным. Но большие тёмные глаза оживлённо блестели.

— Идите в мусину комнату, там мы все теперь живём вокруг

печурки, — говорила она мужчинам. — Печка ещё не протопилась и чайник скоро закипит. Только не разбудите Андрюшу.

Добравшись до своей кровати, Мария не могла не лечь, — её тело настоятельно требовало отдыха. Стараясь не заснуть она смотрела на мужчин, усевшихся в кружок перед печкой, слушала их голоса, смутно понимала, что Митя и Алёша были вызваны для награждения орденами, со стыдом отметила, что она лежит и молчит в то время, как надо встать, расцеловать их, поздравить... Когда она проснулась, Анна Константиновна рукою в рукавице снимала с угляй чайник, а мужчины разговаривали шопотом. Должно быть, она спала всего несколько минут, судя по тому, что чайник только что закипел...

— Можете говорить громко, я не сплю, — сказала она.

— А ты поспи, Муся отдохни, — сказал Алексей. И продолжал начатый разговор: — Это вы правы. Несвойственная русскому человеку холодная расчётливость. И так же несвойственное ему чувство непреходящей, холодной ненависти. Это в психологии каждого снайпера-истребителя. Но сейчас это массовое явление. Что же, значит, народ приобрёл новые, несвойственные ему черты?

— Ненависть родилась от гнева, от горя, — сказал баском Митя. — А расчётливость — это уже приложение... раз без неё нельзя.

— По-старинке считалось, что русскому солдату самое свойственное — рукопашный бой, — заговорил Каменский, помешивая горячие, вспыхивающие синим пламенем угли. — И верно, в рукопашной русский солдат — царь и бог. Ну, а в артиллерии? Ты, Митя, наблюдал в работе твоего приятеля Бобрышева? Тоже царь и бог! Или, скажем, танки. Ну-ка, Смолин, кто крепче воюет — немецкий танкист или русский?

— А по-моему, — сказала Анна Константиновна, с победоносным видом накрывая чайник пёстрым гарусным петухом, — а по-моему, тут дело не в национальности, а в идейности. В разнице целей и убеждений...

— Прямо в точку, тётя Аня! — подхватил Алексей. — Грабитель смел, пока цел, а когда по шапке надавали, он в кусты... За что ему жизнь отдавать — чтоб другой наградил?

— К сожалению, они не просто грабители, — заметил Каменский. — У них есть убогая, гнусная, преступная, но философия. Целое поколение немцев оболванено фашизмом. И они будут драться очень упорно, даже когда поймут, что их дело проиграно. И всё-таки и здесь, под Ленинградом, и где-нибудь под своим Берлином они будут драться хуже наших бойцов.

— А знаете, что я вспомнил, Леонид Иванович? — сказал Алексей. — Нашу ночную беседу в землянке... Помните? Счастливому народу труднее

раскачаться на войну, но за своё счастье он будет драться так, как никогда ещё не дрались люди на земле.

— Помню... Но, должно быть, я был тогда прав только отчасти. Во всяком случае, о ходе войны у меня было представление неточное, узкое, со своей кочки, а с кочки немного увидишь. Помните, мы с вами сколько тогда ворчали? Тут пехота побежала, там сосед подвёл, здесь авиация не прикрыла или артиллеристы сплеховали. Всё это было. Но целого мы не видели. А в целом получилось то, о чём Сталин нам спустя два месяца сказал: в целом немца измотали и спеси ему сбили, блицкриг его сорвали, урон ему нанесли сильнейший и вот теперь начали громить по частям — под Ростовом, под Тихвином, под Москвой... И мы с вами, что бы там ни случилось порою, первыми остановили немцев под Ленинградом...

— А я другое вспомнила, — многозначительно сказала Анна Константиновна. — Вот вы вошли сегодня, Митюша... с орденом, с отличием, настоящий воин, даже лицо у вас другое стало... А мне вспомнилось, как вы сюда из окружения вернулись...

— Это когда вы меня за дезертира приняли?

Он искусственно засмеялся и оглянулся на Марию. В глубине комнаты было полутемно, и Митя не увидал, а угадал улыбку Марии.

— А что ж, Митя, — сказал Каменский. — Я вас встретил уже обстрелянным, на вас можно было положиться. Сейчас вы — герой, с орденом за боевые дела. А ведь и вы когда-то от немца бегали, верно?

— Я же был мальчишкой, — срывающимся голосом сказал Митя. — Конечно, случалось так, что и бегал...

— Уменья не хватало, — заговорил Алексей. — Я хоть и не бегал, а как вспомню свой первый бой — ну, разве это бой?! Азарта много, злости много, а действовать экономно, друг друга беречь, бить точно в уязвимые места — не умели! Но что вы верно сказали, Леонид Иванович, — и тогда уже я видел в том, как мы воюем, что-то глубоко отличное от того, как воевали немцы. Я уж не говорю о том, что можно назвать общим замыслом, стратегией, войны. Но даже в психологии, в настроенности каждого бойца... Тут говорили — расчётливость и ненависть. А я бы сказал — беззаветность. И, если хотите, любовь.

— Любовь? — переспросила Анна Константиновна.

— Да. Любовь. Ко многому любовь — к родине и к товарищам, к нашему Яковенко — чудесный он командир! — и к каждому нашему кустику на каждой нашей полянке... Ко всему в целом, это и есть наша жизнь... Да и к танку своему тоже... Так ведь и сильная ненависть бывает только там, где есть сильная любовь. А расчётливость и у нас есть, да ещё

какая! Только мне кажется, что она во всяком деле есть, если человек этим делом владеет.

— Вот мы и вернулись к началу разговора, — перебил его Каменский. — Ты спрашивал, Алёша, что же, новые черты в народе появились? Может быть, и не те, что мы называли, они действительно — приложение. . а новые черты, конечно, появились. Или, если хочешь, выявились. Они до войны еще сформировались, в годы пятилеток. Смелость, презрение к шаблонам, уважение и доверие к технике, товарищество, умение коллективно жить и коллективно бороться, масштабность мышления, чувство ответственности — я бы его назвал чувством государственной ответственности... Русского характера, который сказывался в рукопашной, мы не потеряли, наоборот, этот характер закалился, усилился. Но и рассчитывать, планировать, предугадывать научились. Так ведь, хозяева!

Он поглядел в полумрак, стараясь увидеть Марию. Она встала и подсела к огню, обняв Алексея.

— Вы говорите так, будто мы уже победили, — сказала она. — Мы все говорим так. И в этом, наверно, самое полное проявление нового качества советского человека.

— А всё-таки до победы ещё далеко, и мне за вас всех страшно, — сказал Алексей и погладил прильнувшую к его плечу голову Марии. — Уехали бы вы, право...

— Брось, Лёшенька, — протянула Мария.

Каменский ревниво поглядывал на то, как ласкова Мария со своим братом, каким нежным румянцем ложатся отблески огня на её похудевшие щёки, — и сам не понимал, почему ему не хочется больше настаивать на давно продуманном и бесспорно разумном решении.

С тех пор как Люба и Сашок поступили на завод, они редко уходили домой и обычно ночевали в заводском бомбоубежище, приспособленном под общежитие бойцов групп самозащиты. Сашок чистил приходящие на ремонт танки, бегал с поручениями по цехам, приглядывался к работе сварщиков, а иногда и помогал им, по тревоге дежурил связистом в заводском штабе ПВО. Он бывал во всех цехах завода, даже в том особо секретном цехе, где работал перед смертью его отец и где делали «те штуки». Завод стал его домом, его семьёй, средоточием всех его интересов и жизненных планов. Он голодал, почти не замечая голода, и был непоколебимо уверен, что на днях Красная Армия возьмёт станцию Мга и всё наладится. Мать присылала ему изредка коротенькие, ласковые письма. Она работала на строительстве оборонительного рубежа в верховьях Невы и не приезжала домой с осени.

В декабре она вернулась совсем.

Она пришла на завод и вызвала сына в проходную. Сашок увидел её запавшие, лихорадочные глаза, блестящие на обветренном, скуластом от худобы лице, и сердце его сжалось от тоскливого предчувствия.

— Отпустили меня, сынок, — сказала мать виновато.

— Совсем? — испуганно спросил Сашок, страшась услышать то, о чём молчаливо свидетельствовал весь облик матери.

— Захворала я, — еле слышно сказала мать. — Ты домой вернёшься... или как?

— Понятно, вернусь, — солидно ответил Сашок. — Ты иди. Я только смену доработаю.

В цехе его страх развеялся. Он всем сообщил, что вернулась мать с оборонительных и что она захворала. Слово это звучало нестрашно, и Сашок сам поверил, что всё обойдётся. Домой он бежал вприпрыжку. Ему представлялось, что мать в домашней обстановке уже оправилась и встретит его по-прежнему заботливой, домовитой, всё умеющей делать быстро и хорошо, как никто другой. Но когда он вошёл в комнату, мать лежала на кровати с полузакрытыми глазами, накинув на себя одеяла и полушубок. Сухие губы её потрескались от жара.

Увидав сына, она приподнялась и, стараясь держаться по-прежнему, как ни в чём ни бывало, стала расспрашивать Сашка, чему он успел научиться, кем он будет на заводе, когда выучится, сколько он зарабатывает.



Её обрадовало, что сын стал самостоятелен и путь его жизни определился, что на заводе много старых отцовских друзей и что они внимательны к Сашку. Но глаза её смотрели всё с тою же странной робостью и виноватостью.

Она заставила себя встать и вынула из печки котелок картошки.

— Ой! Откуда? — воскликнул Сашок, теряя всю свою солидность.

— Накопала на брошенных огородах. Я тебе цельный мешок привезла.

В её лице впервые мелькнула гордость.

— Ешь, сыночек, — сказала она и присела у стола, любуясь, как быстро и жадно ест Сашок. — Наголодался, бедняга...

Мёрзлая картошка имела тошнотворно сладкий вкус, её мучнистая масса вязла во рту, но это была еда. Сашок опомнился, когда на дне котелка осталось три картофелины.

— А ты, мама? — спросил он со стыдом.

— Доедай, Сашок, — сказала мать. — Я не хочу.

Он доел картошку без охоты, мучаясь подозрениями. Ночью, когда мать потушила свет, он, наконец, решился спросить:

— Ты очень заболела, мама?.. Тебе плохо, да?..

— Ничего, отлежусь.

— А что у тебя? Доктор что сказал?

— Простыла я на земле, — коротко объяснила она. — Лёгкие болят. А так, доктор говорит, организм здоровый... — Она долго молчала и затем еле слышно проговорила: — Ничего, Сашок. Запомни мои слова: отольётся им всё наше горе. Отольётся!

И Сашок понял — плохо ей, совсем плохо.

В последующие дни мать поджидала его с работы, как, бывало, поджидала отца. Спешила накормить его и расспрашивала о заводских новостях. Обманутый деланной бодростью матери, Сашок постарался отстраниться от страшной правды, открывшейся ему в первый вечер, и жизнь у них пошла так, будто ничто не угрожало разлучить их. Но в самых тайниках его сознания бился детский ужас перед неизбежной утратой.

— Ешь, мама, — просил он, не зная другого средства сбересть её.

— Я уже ела, сынок, — отвечала она и сложив руки, следила за тем, как он ест. Потрескавшиеся губы её шевелились, будто она жевала вместе с ним.

Он не мог удержаться и съедал всё, что она давала ему, но всё настойчивее требовал, чтобы она ела вместе с ним и всё меньше верил её утверждениям, что она поела перед его приходом.

В выходной день он последил за нею и заметил все её увёртки.

— Ты меня обманываешь! — сказал он с обидой. — Ты думаешь, я не вижу?! Ты от картошки отказалась, а кожуру потихоньку съела... А ты больная, тебе важнее есть, чем мне!

Она обняла его и прижалась щекой к его волосам, краями губ поцеловала его в висок и просто сказала:

— Обоим не выжить, сынок. Выживи хоть ты.

Чувствуя себя снова маленьким и совершенно беспомощным перед надвигающимся несчастьем, Сашок снизу вверх поглядел в её лицо — оно было грустно и спокойно. В глазах не было ни лихорадочного блеска, ни обречённости, а светилась материнская бескрайная любовь.

Он всхлипнул и прижался к матери, и ощутил горячую влажность её руки и бестелесную удобу её плеч и груди. Ему живо вспомнились её крепкие красивые руки, какими они были ещё осенью, — загорелые до запястьев, а выше молочно-белые. И её звучный голос, каким она тогда говорила — будто в поле, на ветру. Ему захотелось плакать навзрыд, но он только сопел носом, жалобно припав к изнурённому, снедаемому болезнью, бесконечно дорогому существу, от которого отходила жизнь.

Утром он пошёл на завод с твёрдым решением поговорить с Любой, со старыми друзьями отца, а может быть, и с самим директором, и просить помощи — он не знал, чем можно помочь в такое трудное, голодное время, но верил, что столько взрослых, хороших людей сообща что-нибудь придумают.

Станным показался ему завод в то утро. Угрюмым. Затаившимся. Не отдавая себе отчёта в том, что изменилось, Сашок прошёл в свой цех. Пусто было в цехе. Белый иней осел на металле, нетронутый снежок лежал в проходах. Звуки жизни неслись из соседнего цеха, руководимого Солодухиным. Сашок заспешил туда, но увидел только несколько рабочих, упаковывавших в ящики готовые детали. Не смея спросить их, что случилось, Сашок остановился рядом с ними и сказал:

— Доброе утро!

— Добрее не бывает, — буркнул один из рабочих.

Оробев, Сашок поплёлся дальше. Навстречу ему попались Курбатов с Григорием Кораблёвым. Обычно они сами заговаривали с Сашком при встрече, а сейчас прошли мимо, не обратив внимания на его приветствие. Потом он увидел директора — Владимир Иванович шёл по двору с таким видом, будто у него болят зубы.

Сашок направился в общежитие групп самозащиты. В подвале, заставленном койками, было пусто. На «буржуйке» в большом чайнике клочкотала, бесцельно выкипая, вода.

Сашок отодвинул чайник с огня и присел у печки, грея руки. И вдруг увидел совсем близко Лизу Кружкову. Она лежала на одной из ближайших коек, натянув до подбородка одеяло, и смотрела на Сашку остановившимся взглядом.

— Здравствуйте, Лиза, — сказал он.

— Здравствуй, — ответила она.

— Захворала?

— Нет.

— А у меня мама захворала... Очень...

— Дистрофия? — равнодушно спросила Лиза.

— Нет... Лёгкие болят. Простыла на земле-... У неё совсем сил нет...

и одни косточки остались...

Он всхлипнул и опустил голову.

Лиза долго молчала. Выражение безразличия ко всему на свете постепенно сменялось выражением сочувствия. Она встала и под села к Сашку.

— Не плачь. Может быть, её можно в больницу устроить?

— Говорят, мест нету...

— А если завод похлопочет?

— Не знаю... Я хотел попросить... Да сегодня, что-то случилось?

— Случилось? — с горечью воскликнула Лиза. — Ничего не случилось, Сашенька... Ничего! — Она сама всхлипнула и заговорила с отчаянием, впервые высказывая вслух то, что переполняло её, и совершенно забыв, что перед нею пятнадцатилетний мальчишка. — Всё одно к одному... На что рассчитывать? Ничего не случилось и уже не случится. Стал завод. Скрипел, скрипел — и стал. Тока нет. А и был бы ток — сколько дней ещё протянули бы? Угля нет, металла нет. Люди от голода качаются... Всё одно к одному, Сашенька. . К концу. .

— К концу? — переспросил Сашок.

— А ты как думаешь?

Она взглянула на него с надеждой. Даже от мальчика было бы приятно услышать какое-нибудь обнадеживающее слово.

— Не знаю... — пробормотал Сашок.

— Всё одно к одному, — повторила Лиза.

Прекращение работы завода потрясло её, ошеломило, выбило из колеи. Так же, как другие окружающие её люди, она своими руками создавала средства для победы, провожала их в бой и не могла не верить в то, что они помогут. После взятия Тихвина она стала надеяться на скорое избавление. И хотя в одиноких размышлениях она по-прежнему убеждала себя в том,

что ей лично ничего от жизни не нужно, надежда бодрила её. После сообщения о разгроме немцев под Москвой её охватило страстное нетерпение. Со дня на день она ждала ещё более победных сообщений. Она жадно расспрашивала всех военных, приехавших на завод, и бредила станцией Мга...

Эта маленькая узловая станция, название которой до войны, знали только железнодорожники да окрестные жители, вдруг стала известна каждому ленинградцу — взрослому и ребенку. Она явилась ключом, замкнувшим кольцо блокады. И хотя от самой станции не осталось уже ничего, кроме развалившихся труб на пепелищах, — за эти развалины и пепелища шли ожесточённые, кровавые сражения, трубы и пепелища переходили из рук в руки, бомбардировщики висели над ними, снова и снова перепыхивая стонущую землю, снаряды крошили всё, что ещё уцелело, и срезали под корень последние расщеплённые стволы когда-то дремучего леса, окружавшего станцию. Никаких сил не жалели немцы, чтобы удержать эту обугленную землю — отступить от Мхи значило для них отказаться от блокады, от плана удушения ленинградцев голодом, а удержать Мгу значило для них: с суши Ленинград полностью окружён, а есть плацдарм для будущего наступления на Тихвин, на Волховстрой, на Ладогу для полного удушения ленинградцев. Немцам не удавалось развить свой успех, но и советские войска ещё не имели сил для того, чтобы разгромить их здесь и овладеть Мгой...

А горожане, чья судьба решалась в непрекращающихся боях, жили надеждами и слухами. Слухи распространялись почти ежедневно, то плохие, то хорошие, их ловили от «очевидцев» и «участников», выдумывали сами в поисках самоутешения. Лиза принадлежала к числу тех горожан, что воспринимали всякий слух и то отчаивались, то радовались. Провожая за ворота танк, в ремонт которого была вложена частичка и её труда, Лиза рисовала себе всегда одну и ту же картину — танк врывается на станцию Мга, утюжит гусеницами немецкие траншеи, в упор расстреливает бегущих немцев... и вот уже тяжеловесные поезда проходят мимо наспех построенной будки с надписью мелом «Мга» и дежурный пропускает их без остановки, потому что это — *хлеб ленинградцам...*

И вот — завод остановлен. Не будет больше ни танков, ни мин, ни тех секретных «штук» — мощных миномётов...

— Весь смысл был в том, что мы работали, — сказала она Сашку. — А теперь нам и делать нечего... Лежать и ждать...

Сашок поёжился и не ответил. Он думал о матери, о том, что она лежит сейчас одна, с потрескавшимися от жара губами, и что он вернётся к

ней и скажет: «Знаешь, завод стал...» Может быть, и заводская столовая закроется, раз рабочим незачем ходить на завод... А тогда как же?

— Пойдём к Левитину, Саша, — вдруг сказала Лиза, надевая ватник. — Поговорим насчёт твоей мамы.

Ей было невмоготу сидеть без дела и думать, думать, думать... Возможность заняться сашиными делами оживила её.

— Если с больницей не выйдет, мы в комсомол зайдём, — говорила она, шагая с ним к зданию, где помещались заводские организации. — О бытовом отряде слыхал? Они помогают. Чем можно, конечно, но помогают.

У Левитина, как всегда, было много народу. Большинство пришло в партком узнать: что же теперь будет, надолго ли остановлен завод, надо ли приходить на работу или сидеть пока дома? Лиза и Сашок заметили, что всем одинаково не хочется отрываться от завода, что всех пугает перспектива сидеть дома...

— Обнадёживать не буду, — говорил Левитин усталым от бесконечных разговоров голосом. — В ближайшие дни ток не дадут, с током пока худо. Кто очень слаб, может побыть дома. Здесь тоже дело найдётся. Вот наши монтеры придумывают одну штуку..

Все посмотрели на монтеров. Их было трое — двое пожилых мужчин и Люба. В ватных штанах и куртке, в оленьей шайке и расшитых бисером пимах Люба казалась хорошеньким мальчишкой. Она замахала руками в цветастых варежках и лукаво затараторила:

— Нет, нет, пока ничего не рассказывайте! Нельзя! Если сделаем, тогда будем хвастать, а пока не надо! И бригада у нас укомплектована, и всё продумано. А рассказывать — только сглазим!

— Сглазу мы не боимся, — сказал старший из монтеров. — А болтать до времени, конечно, ни к чему. Да и сколько мы сможем дать энергии от колеса? Чепуха! На ваш стационар да в контору, ну, может, в один какой-нибудь цех..

Лиза не поняла, от какого колеса монтеры думают давать энергию, и не знала, что такое стационар (ничего подобного на заводе не было), но её подбодрил самый факт какой-то продолжающейся деятельности. Она улучила минутку и сообщила Левитину о болезни сашиной матери.

— Помочь нужно? — спросил Левитин и тут же сказал: — Значит, ты и возьмёшься за это дело. В больницу районную сходишь, договоришься, потом свезти её придётся... лежачая она? Тогда на саночках. Ты в бытовом отряде состоишь?

Лиза смущённо покачала головой.

— Ну, начнёшь делать, значит и состоять будешь. Ты с ними свяжись,

у них с больницей отношения установлены и вообще все входы-выходы им известны. Да вот Соловушка тебя сведёт с ними.

Люба захотела сама навестить больную. Она поворчала на Сашка, почему он сразу не рассказал ей о болезни матери, тут же потянула Лизу в комитет комсомола, где помещался и штаб бытового отряда, потом в больницу — «вырывать» койку.

Когда они в зимних ранних сумерках вышли из больницы, добившись места для больной, Люба вдруг села на ступени и попросила:

— Подожди... Немножечко отдохнём...

Лицо её побледнело, глаза глядели жалобно.

Лиза села рядом и почувствовала себя такой утомлённой и слабой, что, казалось, ей уже не подняться с этих ступеней.

— И как мы её потащим, если она лежащая? — со вздохом сказала Люба. — Я сегодня что-то рано выдохлась. Вчера мы с девушками пятерых больных отвезли, и всё на салазках. Больные, теперь, правда, лёгкие, но всё-таки...

— Ничего, дотянем. Да здесь и недалеко, — сказала Лиза, вставая.

Она представила себе, как они потянут вдвоём салазки с больной и как будет потом приятно, что сделано что-то хорошее, полезное людям, и ей захотелось скорее сделать это и взяться ещё за что-нибудь подобное, и ходить, преодолевая голод и слабость, пока сама не свалится... Радость самоотвержения по-новому предстала перед нею, и она заторопилась навстречу этой радости.

— Я вчера возила, возила, ну — прямо лошадь, — пробурчала Люба, неохотно вставая. — Так ведь если лошадь — лошади тоже сено нужно...

Когда колонна грузовиков выходила из Кабоны, первые порывы ветра взметали и бросали под колёса пригоршни сухих снежинок. После трёх дней жестоких морозов потеплело. Но Соня опытным взглядом окидывала низкое серое небо и сузившийся горизонт, который будто приближался с каждой минутой.

Дорога была хорошая, и колонна неслась полным ходом. Требовалось только следить за идущей «впереди машиной, чтобы не врезаться в её кузов, если она затормозит. Это не мешало думать, и Соня думала о Мике. Неделью назад она получила от него коротенькую записочку: «Вчера погиб Глазов. Будем мстить за него. Целую тебя, моя родненькая». Когда он называл её так, это значило, что ему очень грустно. Сержант из БАО, доставивший записку, рассказал ей, что Глазова нельзя было узнать, так он обгорел, и что Мика очень плакал. Соня никак не могла представить себе Мику плачущим.

В последний раз они виделись три недели назад. Соня приехала в Кабону ночью и хотела сразу завалиться спать, но ей сказали, что лейтенант приказал явиться к нему, в какой бы час она ни вернулась. Соня выругалась и потащила к лейтенанту. А там сидел Мика, в новом белом полушубке и уже немного пьяный, так как лейтенант угощал его спиртом. Лейтенант сказал: «Ну, слава богу», и сразу вышел, а она села рядом с Микой, как была, с перепачканными руками, в ватном костюме с пятнами масла, и Мика сам снял с неё теплую шапку, расчесал её слежавшиеся волосы и поцеловал её в губы, в один глаз, в другой и снова в губы. Потом он её угощал разведённым спиртом и консервами, как хозяин. И сказал, что её лейтенант хороший парень, гостеприимно встретил и догадался вовремя «смыться». Ещё он сказал, что ждёт её уже три часа и ему пора возвращаться в полк, чтобы забраться в койку до побудки, так как он в «самоволке». Она сказала: «Ой, Мика, это же нехорошо!» а он ответил: «Нехорошо! Я вижу, ты очень недовольна!» Они снова поцеловались, и она вышла проводить его, но он захотел сначала проводить её, и они долго стояли у входа в её землянку, на морозе, прощались, молчали и снова прощались. Потом она всё-таки пошла проводить его до шоссе, и там они опять всё прощались, пока не подоспела какая-то машина, которую Мика подхватил, чтобы добраться до аэродрома. Шофёр был весёлый и уговаривал Мику взять с собою «барышню», обещал даже отвезти её

обратно, но тут Мика ревниво нахмурился и сказал: «Не на такую напали». Они зашли за машину и в последний раз попрощались, а шофёр сердито крикнул: «Долго вы там любезничать будете?» И тогда Мика вскочил в кабину, и машина ушла, а Соня махала рукавицей и долго видела голову Мики, высывающуюся из кабины, — и вдруг сообразила, что уже светло. Она несколько дней волновалась, не попался ли Мика с этой своей «самоволкой», но, видимо, всё обошлось..

Теперь она думала о том, что Мика очень плакал, и о том, что он недалеко отсюда дежурит на аэродроме, готовый в любую минуту подняться в воздух и отогнать немцев, если они налетят на трассу. Но похоже, что налёта не будет: видимость плохая, и как бы не было метели...

Не успели они отъехать от Кабоны пять километров, как порывы ветра участились, окрепли, горизонт растворился в серой пелене, посыпался крупный снег. Ветер крутил его, бросал в стекло, взметал и снова бросал. Кузов передней машины то исчезал, то снова появлялся. Соня напевала привязавшуюся к ней мелодию песенки, но теперь думала только о том, чтобы не врезаться в переднюю машину и не сбиться с дороги в этой чортовой метели.

Передние машины вдруг загудели и замедлили ход. Соня тоже нажала клаксон, ещё не зная, в чём дело. Навстречу из туманной пелены выплыл грузовик с брезентовой кибиткой, натянутой на кузов, — обратным рейсом машины вывозили эвакуируемых ленинградцев. Грузовик прошёл, за ним выплыл второй. Знакомый шофёр высунулся из кабины и что-то прокричал Соне, но она не разобрала что. Одна за другой проходили встречные машины, и многие шофёры что-то весело кричали. Соня изнывала от любопытства и всё замедляла, замедляла ход, пока не проехал другой знакомец, Костя Попов, с зычным голосом, за который его дразнили дьяконом. Костя крикнул, свободно перекрыв завывание ветра и гул машин:

— Там норму прибавили! С двадцать пятого!

«Там» — значило: в Ленинграде.

— Сколько? — крикнула Соня.

— Двести и триста пятьдесят! — успел крикнуть Костя и проехал.

Соня поняла — рабочим — триста пятьдесят, остальным — двести граммов в день. Прибавка небольшая, норма оставалась голодной, но всё-таки это была прибавка, и она должна была произвести огромное впечатление в городе. Соня представила себе, как Мироша впервые получила свои двести граммов и затараторила на всю булочную: «Вот и прибавили, по Ладоге-то муку везут и везут, я ж говорила, я знаю, у меня там племянница шофёром...»



Встречные машины проплывали одна за другой, многие шофёры высовывались, чтобы прокричать Соне новость, и она радостно улыбалась им и кивала. Видимо, у всех было такое ощущение, что они получили бесценную награду за свой тяжёлый круглосуточный труд.

Грузовики прошли, снова впереди ничего не было, кроме вихрей снега и то исчезавшего, то черневшего перед носом кузова. Потом они объехали застрявшую машину. Шофёр возился с мотором, подняв капот. Из кибитки выглядывали женщины и ребяташки. Впрочем, может быть, тут были и мужчины, разобрать трудно: у всех до глаз закутаны лица, на всех намотаны платки, пледы, шарфы, ребяташек можно отличить только по росту, из-за борта машины видны лишь их головёнки с пристальными, усталыми, непомерно большими глазами. Ничего, доехали бы только до Кабоны, там их накормят горячим супом и хлеба дадут вволю... Говорят, их везут в Ярославль и там лечат в специально открытых для ленинградцев домах вроде больниц или санаториев...

Ветер резко изменился, стал дуть в спину, кузов передней машины побелел, и Соне приходилось напряжённо всматриваться, чтобы следить за ним.

И вдруг разом метель прекратилась, ветром отнесло тучи, открылось высокое небо в быстро бегущих облаках. Негреющее солнце выглядывало в «окна» между облаками, мириадами искр отражаясь на снегу и слепя глаза шофёрам. Соня сощурилась, чтобы не так болели глаза.

Сразу похолодало. Стали коченеть пальцы, хотя под шофёрскими рукавицами Соня носила ещё домашние тёплые перчатки. Глаза слезились от сверкания снега, слёзы смерзались на щеках.

Теперь надо было ждать и другой беды — сверху. «Прилетят или не прилетят?» — подумала Соня и тотчас увидела звено «юнкеров», вывалившихся из-за облака.

«Юнкеры» резко пикировали на колонну и сбросили бомбы. Бомбы упали в стороне. Колонна растянулась, увеличив интервалы между машинами, и прибавила ходу. Соня вся подобралась, но мысли её были не здесь, а на аэродроме, где сейчас, наверное, поднимаются в воздух истребители. Поднялся ли Мика? Думает ли он о том, что вот в этой колонне (сверху она, наверное, кажется колонной крохотных, игрушечных машин) — что в этой колонне, которую он должен охранять, идёт и её машина?.. Наверное, думает. Он сказал в ту встречу: «Я как погляжу вниз, всё представляю себе: вон там и моя Соня пыхтит».

Она услышала знакомое гудение ястребков. Видеть их она не могла, воздушный бой завязался позади колонны. Но там, среди ястребков, был,

конечно, и Мика... «Не беспокойся, прикрою», — сказал он, целуя её на прощанье. А когда погиб Глазов, он плакал. Сколько его товарищей уже погибло!.. В последнюю встречу она начала расспрашивать его о знакомых и быстро переменяла разговор, потому что Мика всё отвечал: «Погиб, бедняга» или «Ранен, отправили», и вид у него сделался смутный.

Немецкие самолёты появлялись со всех сторон и упрямо лезли к трассе. Воздушные бои вспыхивали то тут, то там. Иногда Соня слышала злобное завывание моторов и трескотню пулемётов над головой, затем бой уходил в сторону, и Соня видела кувыркающиеся в облаках, поблескивающие на солнце палочки. И старалась распознать свои, родные истребители. Каждый истребитель казался ей микиным. Вот он сделал крутой вираж, вот он свечой пошёл вверх. Было жутко представить себе, какой там наверху морозище. Замечают ли лётчики этот холод в пылу боя? Как они дышат на обжигающем ветру? Мика — как он дышит?..

Соня загляделась и чуть не поплатилась за это — еле успела отвернуть от воронки и рывком вывела машину по трескающемуся, проваливающемуся под колёсами льду. Её бросило в жар, громко стучало сердце. Отругав себя и отдышавшись, она дала себе слово смотреть только вперёд, на дорогу. Но когда упал подбитый ястребок, она почувствовала это и успела заметить, как он грохнулся в сугробы. Мика?.. Ей неоткуда было узнать, чей самолёт разбился. Боже мой, неужели Мика?.. Ей вспомнилось, как он говорил, улыбаясь: «Ничего, Сонечка, я буду жив до самой смерти!» Эти смешные слова успокаивали её. Но ведь и Глазов думал...

Немцы продолжали лезть. То справа, то слева от трассы вздымались тяжёлые фонтаны воды и битого льда. Соня уже много раз попадала под бомбёжку — и не верила, что немцы угодят в грузовик, но трещины были опасны так же, как бомбы. Приоткрыв дверцу, чтобы выскочить в случае беды, Соня вела машину на предельной скорости.

Моторы самолётов — своих и чужих — взвыли над её головой. Ожесточённо били пулемёты и пушки. Соня успела подумать о том, что бой идёт прямо над нею. Справа что-то мелькнуло, чёрное и красное, стремительно падающее. В ту же секунду гром взрыва оглушил её, машину тряхнуло и подбросило. Приоткрытая дверца захлопнулась, ударив Соню по пальцам. Соня вскрикнула и выровняла машину.

Немецкий бомбардировщик, взорвавшись на собственных бомбах, ушёл в воду. Соня увидела огромную воронку и догорающие на льду лужицы расплескавшегося бензина.

Воздушный бой продолжался.

Ещё один самолёт, подбитый, полетел вниз, выровнялся, закачался и

врезался в снег неподалеку — это был истребитель, свой. . И тотчас свист бомбы резнул уши, лёд задрожал, как в лихорадке, синяя трещина возникла перед носом грузовика, — Соня, сразу вспотев, рванула машину вперёд и проскочила, услышала отдаляющийся гул самолётов и остановилась, потому что упавший истребитель лежал всего в двухстах — трехстах метрах и лётчик мог быть жив...

Она перелезла через снежно-ледяной вал на краю дороги и поползла по глубокому снегу к самолёту. Ноги то и дело проваливались в сугробы. Осколки льда царапали руки. Иногда под снегом оказывалась вода, и тогда Соня кидалась в сторону, боясь упасть в недавнюю, затянутую ледком воронку.

Самолёт лежал на боку, на смятом крыле. Видимо, лётчик, ведя раненый самолёт на посадку, не успел выпустить шасси или потерял сознание ещё в воздухе. Соня мгновенно вспомнила решение Мики: «или спасти машину, или угробиться вместе с нею...» Мика?..

И вдруг она увидела Мику. Он перевалился через край кабины и соскользнул в сугроб. Соня побежала, задыхаясь от усталости и волнения, проваливаясь, вылезая, снова проваливаясь. Мика приподнялся, знакомым движением сорвал с головы шлем и ткнулся лицом в снег.

Она добежала до него и остановилась. Светлые короткие волосы были микины и не микины. Мальчишеский затылок в пятнах крови был микин...

Она села в снег и осторожно подняла голову лётчика. Он вдруг дёрнулся, незнакомое молодое лицо оживилось выражением бешеной решимости, рука потянулась к кобуре...

— Свои, чудила, да свои же, разве ты не видишь?! — сказала Соня, доставая индивидуальный пакет. — Куда ты ранен, дружок?..

Лётчик взгляделся в Соню, откинулся на её руки, затих. Глаза его замутились.

— Подержи голову, я перевяжу, потерпи, милый, — просила Соня, перевязывая разбитую, всю в ссадинах, окровавленную голову.

Лётчик скрипнул зубами от боли, привалился головой к коленям Сони и спросил:

— Ты кто?

— Шофёр. Соня Кружкова. Ты Мику Вихрова знаешь? Это мой жених.

Лётчик на секунду приоткрыл глаза, чтобы посмотреть на Соню, но заинтересованность была слишком краткой, а страдание слишком сильно. Он полежал с закрытыми глазами и сказал:

— Жалко Вихрова. Хороший был парень. Приятель.

— А что с ним? — пролепетала Соня, помертвев.

Лётчик молчал. Может быть, он и не слышал её вопроса.

— Милый, родной, ты только скажи слово. Что с ним? Скажи, милый. Что с Вихровым? Ты слышишь меня?..

Он с усилием проговорил:

— Может и жив. Не знаю. Разбился он. Вслед за Глазовым. Отправили.

Он повернулся на бок и ткнулся лицом в сонину руку. Она почувствовала острую боль в пальцах. Ах, да, это придавило дверцей, когда взорвался бомбардировщик... Может быть и жив. А может быть и нет... «Я буду жив до самой смерти...» Вслед за Глазовым. «Мы будем мстить за него. Целую тебя, моя родненькая». Он плакал, а потом пошёл в бой... Его подобрала и отправили куда-то, куда отправляют тяжело раненых...

Лётчик шевельнулся и открыл замутившиеся глаза.

— Девушка, — забормотал он еле различимо. — Документы возьми. Сдашь командованию. Самолёт охраняй. Починят... Скажи...

Он замолк. Рука его нашла сонины пальцы — те, что придавило дверцей — и сжала их в последнем земном стремлении к человеку. Соня никогда не видала умирающих, но на этом молодом пригожем лице смерть проступала так ясно, что Соня наклонилась к его губам и коснулась их, стараясь уловить, есть ли дыхание.

— . . всё что мог, — отчётливо проговорил лётчик и стиснул сонины, ноющие от боли, пальцы, — скажешь... Ленинграду... всё, что мог...

Выражение успокоения появилось и застыло на его лице.

Соня осторожно сняла с колен голову лётчика, взобралась на крыло самолёта и начала махать рукавицей проезжающим грузовикам. Её долго не замечали. Наконец, два грузовика резко затормозили, шофёры выскочили из машин и поползли к самолёту по сониным следам. А Соня продолжала махать рукавицей, потому что по дороге мчалась санитарная машина. Потом она увидела командира, стоявшего на крыле санитарной машины, и тогда соскочила в снег и снова взяла на колени голову лётчика.

Он был её лет или даже чуть старше, но Соня смотрела на него с материнской жалостью и взрослым уважением. «Всё что мог..» Этот храбрый мальчик сделал все, что мог, для Ленинграда, для неё, для того, чтобы хлеб шёл в осаждённый город бесперебойно. Думал ли он о своей жизни, оборвавшейся сегодня, о том, как — мало он прожил и сколько возможностей было у него впереди? А Мика?.. Что думал Мика, лёжа вот так, на снегу, когда сквозь боль проблескивало сознание?.

Подожли шофёры, санитары и командир.

Соня вместе с командиром нашла документы погибшего, мельком прочла: год рождения 1922, место рождения — Красноярск... она

продиктовала командиру последние слова лётчика и попросила, чтобы их обязательно напечатали в ленинградской газете.

— Обязательно, — сказал командир. И ласково спросил: — Подвезти вас в Кабону?

— Я в Ленинград еду, — резко ответила Соня. — Я и так провозилась тут...

Она добрела до машины, с трудом разогрела мотор и погнала свой грузовик по опустевшей дороге, под опустевшим небом. Весь мир опустел. Ничего не было, кроме мороза, снега, усталости, боли в пальцах.

Потом она увидела одинокую встречную машину. Шофёр высунул руку, прося остановиться. Соня затормозила и узнала своего товарища по роте, Вальку Зайцева.

— Закурить есть? — спросил Валька. — А там норму прибавили. С двадцать пятого.

Она заставила себя улыбнуться и вытащила табак. Закурили.

— Ты что одна?

— Своих догоняю.

— Авария?

— Нет. Самолет тут подбили. Помогала летчика спасать.

— Живой?

Она качнула головой.

— Хуже нет их профессии. Полетал, полетал — и крышка.

— Да. — Она крепко затянулась горьким табаком, сплюнула в снег и сказала, поглядев на небо: — Пожалуй, сегодня успею ещё раз обернуться.

— Ну, ну, — сказал Валька. — Покудова!

— Там воронок накопили, осторожно! — крикнула Соня, залезая в кабину, и рывком тронула с места примёрзшую ко льду машину.

Мария засветло отнесла баночку со своей похлёбкой домой и не спеша возвращалась на объект. В этот последний день сорок первого года весь город был подёрнут морозной дымкой и сквозь неё таинственно и незнакомо проступали обиндевелые здания. Низко над горизонтом висело клубком багровое облако — где-то там, за морозным туманом, пылало солнце.

На пустынных улицах ничего не напоминало о том, что близится новогодняя ночь. И всё-таки Мария всем существом ощущала, что день необычен. Преодолевая лютую стужу, до её щёк долетало тёплое дуновение. Была ли то надежда?..

У парадной «объекта» Мария увидела Зою Плетнёву с её зенитчиком. На исхудалом лице Зои было то же выражение самозабвенной радости, как той ночью в окне, озарённом пожаром.

Мария кивнула им и торопливо прошла, чтобы не мешать короткому свиданию.

Сегодня всем начальникам объектов было приказано находиться на местах и приготовиться на случай налёта или усиленного обстрела. Мария занялась дежурствами, водою, песком, затем прошла по общежитию, поздравляя с наступающим Новым годом и предупреждая всех, кто мог двигаться, чтобы в случае нужды пришли помочь.

В комнатке штаба топилась печка, и Григорьева в праздничной вязаной кофте сушила вокруг трубы мелко расколотые дрова. С дров, шипя, капала вода.

— Ничего, они сегодня нам не помешают, — сказала она Марии с той безусловной уверенностью в своей правоте, с какой всегда высказывала своё мнение. — Они мороз хуже нашего не переносят, а потом нажрут и перепьются; разве они могут трезвыми вперёд заглядывать?

Пришла Зоя Плетнёва и стала у печки, отогреваясь. За нею вошла тётя Настя и постелила на стол чистую домашнюю скатерть.

— Им наперекор отпразднуем, как полагается, — сказала она с весёлым злорадством.

— А вино получили? — спросила Мария.

— Тимошкиной доверили, — многозначительно ответила тётя Настя.

Тимошкина явилась с корзиной и бережно извлекла из неё графин с вином и обёрнутые полотенцем высокие бокалы с золотыми ободками.

— Со свадьбы не трогала их, — говорила Тимошкина, перетирая и расставляя по столу бокалы. — А сегодня — хоть бейте, не жалко! Ещё бы доченьку мою сюда, в такую компанию!.

— А я уж набрала кружек да чашек, — сказала Григорьева.

— Как можно, в такой вечер! — ахнула Тимошкина. — Не нужно ли еще чего? Я принесу.

После злосчастной истории с зоиным хлебом Тимошкина не только не избегала Зои и тёти Насти, но тянулась к ним и заглядывала им в глаза, стараясь удостовериться, что её проступок забыт и прощён. В её старании услужить им было что-то жалкое и одновременно милое, потому что за этим старанием угадывались не страх и не угодливость, а стыд и потребность в любви и согласии с людьми. Мария с тревогой следила, не оскорбит ли Зоя небрежностью или снисходительностью эту добрую душу. Но Зоя обращалась с Тимошкиной запросто, как ни в чём не бывало.

Шёл одиннадцатый час, когда радио объявило об артиллерийском обстреле района.

— Я пойду, — сказала Тимошкина. — Вы пока сидите. Может и ничего.

Никому не хотелось покидать тёплую комнату и ползти по тёмной лестнице на промёрзший, продуваемый сквозняками чердак. Но когда Тимошкина, закутавшись до глаз, вышла, всем стало неловко сидеть в тепле.

— Я пойду с нею, — первая сказала Зоя, поднимаясь.

Мария завернулась в тулуп и вышла на парадное. За несколько часов улица неузнаваемо изменилась. Выпал снег, наметя новые сугробы и похоронив все следы. Над нетронутым белым покровом разливался яркий голубой свет, бросая на него отчётливые тени — прямоугольные от целых домов и причудливо-изломанные от развалин. Морозная дымка искрилась, пронизанная лунным сиянием.

Мария прислушивалась к далёкому свисту снарядов равнодушно, без страха. Ей вспомнилось, как Андрюшка сказал: «Это не снаряды, а понарошку». Она невесело улыбнулась. Весь этот окружающий её обледенелый, безлюдный мир был словно нарочно выдуман для того, чтобы умертвить надежды и силы. Что снаряды! — страшна вот эта мёртвая, застылая тишина...

Обстрел прекратился, а Мария всё стояла, замороженная недоброй красотой ночи. Скрип снега обрадовал её, как вестник жизни.

По середине улицы шёл человек. Иногда он останавливался и клонился к сугробам, но каждый раз выпрямлялся и рывком, будто толкая

самого себя, двигался вперёд — шагнёт в сугроб, утвердится в нём, вытянет из сугроба другую ногу, снова шагнет... Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал.

— Врёшь, дойду!. Тут повалиться — дёшево будет, — расслышала Мария.

— Товарищ!

Прохожий остановился и медленно обернулся на голос.

— Вам далеко, товарищ?

— По какому счёту? — вопросом на вопрос откликнулся он. И, подумав, сказал: — По старому — минут пятнадцать, по нынешнему — часа полтора. Я бы побежал, да ноги не бегут.

Мария удивилась его многословию и насмешливости его голоса.

— Зайдите погреться, а то не дойдёте.

— Печка топится? — с надеждой спросил прохожий и шагнул к парадному.

— Дайте руку, у нас темно, — сказала Мария.

— Подниматься не надо? — спросил он, послушно шагая за Марией по тёмному коридору. — По лестницам я не ходок. Наверх ещё вползу, а вниз центра тяжести не хватает.

— Где ж вы его потеряли, центр тяжести? — пошутила Мария.

— Где? — протянул прохожий. — В последнюю тарелку борща обронил.

Женщины уже вернулись с постов и отогревались у печки.

— Подвиньтесь, товарищи, — попросила Мария. — Вот... человека обогреть привела.

Женщины потеснились, без любопытства разглядывая неожиданного гостя. Григорьева подала ему кружку кипятку, коротко спросила:

— Откуда идёте?

Он, не отрываясь, выпил кипяток, блаженно чмокнул губами и виновато признался:

— С Малой Охты.

— Господи! Да как же вас понесло в такую даль?..

Прохожий откинул шарф, закрывавший нижнюю часть лица. Сквозь пепельный налёт изнеможения через каждую морщину, через каждое движение бровей, рта, глаз властно пробивались энергия и насмешливость.

— Новый год! — сказал он. — А у меня тут дочка жила замужняя. Три месяца не мог выбраться. Жива ли? Такая уж традиция — в эту ночь подсчитывать: что прибыло, что убыло, с чем в новый год вступать. Вот я и двинулся на переучёт.



Он усмехался, но в глазах держалась тревога. Вперив взгляд в красное пятно на раскалившейся печурке, он вытянул над ним большие, распухшие от холода руки с вьёвшейся в поры металлической пылью.

— Без четверти двенадцать, — шепнула Зоя, и все невольно покосились на прохожего.

Он отдёрнул руки и встал, запахивая пальто.

— Раздевайтесь и садитесь к столу, — сказала Мария, ставя шестую тарелку. — Будете нашим гостем.

— Ну, какие теперь гости? — возразил прохожий. И вдруг подошёл к Марии упругим, лёгким шагом, каким, наверное, ходил прежде, взял руки Марии в свои и внимательно взгляделся в её лицо: — Вправду приглашаете? Спасибо. Возле доброго сердца теплее, чем возле печки.

— Ишь ты! А возле обоих, верно, и совсем хорошо, — проворчала Григорьева, снимая с кастрюлек дымящиеся крышки.

Приход лишнего едока спутал её расчёты, но она, пошептав себе под нос, рассчитала заново и положила на каждую тарелку по ложке пшённой каши и по полторы ложки чёрных макарон.

— До чего же хорошая вещь пшено! — воскликнула Зоя. — Подумать только, до блокады я просто ненавидела его! А сейчас ничего не хочу — дали бы полную тарелку пшённой каши. И масла не надо.

Все томились над тарелками, ожидая полуночи.

— Макароны-то, как негры, чёрные, — сказала тётя Настя. — Их бы сохранить для будущего музея, хоть несколько штук. Говорят, осенью на Ладоге разбомбили баржи с мукой. Водолазы муку спасли, да она размокла, вот и пустили её на макароны.

— Интересно, пишет ли кто нашу историю? — заговорил прохожий. — Записать бы всё, день за днём, как мы работаем, как живём, что едим. И вот такую новогоднюю встречу тоже записать...

— Без пяти двенадцать!

— Какие тосты сегодня произносить? — как бы про себя тихо произнёс прохожий. — Была такая песенка — «За милых женщин...» А слово можно сказать по-разному. Можно так, что получится вроде как за подбородок ущипнуть. А можно и так, что вроде как в ноги поклонился. Я бы сегодня так и сказал.

— Ну, за женщин что же пить... в такую ночь! — стыдливо возразила Зоя. — Я хочу другой тост сказать, настоящий.

— Поднимайте бокалы, полминуты осталось! — предупредила Мария.

Зоя высоко подняла бокал. Отсвет бедного огня тускло заиграл на стекле и потух в черноте вина.

— За Советскую власть!

Все встали, чокнулись бокалами и молча выпили, глядя друг на друга. И Мария увидела, что все окружающие её лица красивы и праздничны и полны силы.

— Я родилась при ней и, пожалуй, по-настоящему о ней не задумывалась, — сказала Зоя, когда все сели. — А теперь я чувствую, что никакая другая власть не устояла бы под таким напором. И никакие другие люди, кроме советских, не выдержали бы такого. Я как-то думала, что было бы с американцами в их небоскрёбах, случись у них такая блокада. Без света, без лифта, без топлива — где-нибудь на сороковом этаже! А я уверена: мы и в небоскрёбах выдержали бы.

— Хорошего вам жениха, девушка! — сказал прохожий.

— А у меня и есть хороший, — гордо ответила Зоя.

— Умная головушка, Зоенька, — сказала тётя Настя. — Я вот думала: вина мало, а тостов много. За победу — надо? За Сталина — надо? Без него и победы нет. А наш Ленинград как не помянуть, когда за него души горят? А Красную Армию? Ведь как ей тяжело приходится, вся в крови отбивается... Всё помянуть надо. А ты так придумала, что и просто, и коротко, и всё сказано.

— Да... — задумчиво протянул прохожий. — Сами мы её создавали, сами к ней и привыкли. Вроде родного дома стала: пока живёшь, не замечаешь. А как замахнулись на неё... Весь ты тут. И всё, что сделал в жизни, и всё, что в будущем хочешь. Кажется — сам бы лёг костями, лишь бы она здравствовала..

— Да разве мы себя пожалеем? — воскликнула Тимошкина. — Знать бы только наверняка, что победа будет.

— А как же? — сказал прохожий. — Как же может быть иначе? Весь народ старается.

Мария разливала по бокалам остатки вина, когда зазвонил телефон. Могли позвонить из районного штаба и из райкома, но Мария знала, что звонит Каменский, потому что он должен был, не мог не позвонить ей сегодня. Всю последнюю неделю он находился в командировке на фронте, она не знала, где именно, но всё равно он был недалеко — или за Благодатным переулком в стороне Пулкова и Лигова, или за Рыбацким в стороне Красного Бора и Колпина, или под Сестрорецком, или на Неве где-нибудь в районе Невской Дубровки. В кольце осады не было дальних расстояний.

В трубке что-то повизгивало и трещало, но сквозь эти шумы долетел до неё знакомый голос:

— Это вы, Марина? Вы здоровы? И Андрюша? С Новым годом, дорогая!

Она радостно кричала в ответ, но её голос не мог пересилить взвизги и свисты на линии. И вдруг шум куда-то отодвинулся и в наступившей тишине она услышала голос Каменского очень близко, как будто он стоял рядом:

— Этот год будет нашим. Понимаете, дорогая, нашим!

Их разъединили. Посторонние голоса ворвались в трубку, кто-то надрывно кричал: «Хозяйство Капралова? Хозяйство Капралова?»

Кого имел в виду Каменский — их двоих или всех? Марии всегда представлялось, что человек с фронта знает что-то важное и счастливое, отчего сегодня, завтра, в любой час всё может чудесно измениться. Да и разве теперь, отделишь судьбу двоих от судьбы всех?

— За наш год! — возгласила она голосом человека, владеющего радостным секретом.

И все весело чокнулись с нею. Шла двадцатая минута ново-го года.

— Хорошо так жить, — неожиданно, с чувством сказал прохожий, и все повернулись к нему в изумлении и ожидании. — Хорошо жить, — повторил он, — когда из такой вот каморки без окон — и то далеко видно...

Гудимов в последний раз вышел к зарослям кустарника, долго всматривался и вслушивался, потом резко повернулся и пошёл в лагерь.

— Пора, — сказал он Гришину. — Ждать больше нельзя. Через десять минут выходим.

— Антонов вызывается сходить в село, — сказал Гришин. — Дорогу он знает, и пройти вдвоём им будет легче...

— Хорошо. Позови ко мне Антонова.

Антонов был обстоятельным человеком, надёжным и сообразительным, и Ольгу уважал — это она привлекла его в отряд. В селе он свой человек и в случае нужды найдёт помощь. Но что сможет он сделать, если Ольгу уже схватили?..

Два дня назад Ольга прислала Таню с невесёлыми новостями. И без того тяжёлое положение резко ухудшилось. После месячной упорной обороны, в результате которой Гудимову пришлось отступить снова в лес и, принять под своё покровительство сотни бежавших от немцев жителей, немцы разведали местоположение лагеря и стянули к нему отряды карателей с полевой артиллерией. Ольга сообщала о том, что немцы получили приказ в пятидневный срок «ликвидировать» партизан, что всем участникам карательной экспедиции обещаны награды и отпуска, что лагерь обложен со всех сторон и надо ждать решительных действий со дня на день — начнут, как только приедет какой-то эсэсовский генерал, о котором офицеры говорят, что он хочет «взять всю славу себе»... Ольга просила разрешения вернуться в отряд, как только узнает, что генерал прибыл. И ещё она передала «на всякий случай», что Ирине «доверять больше нельзя»...

Встревоженный Гудимов пробовал выяснить у девочки, что произошло с Ириной.

— Загуляла с ихними офицерами, — брезгливо скривив губы, сказала Таня. — С перепугу. Думает пережить за офицерскими спинами.

— Скажи Ольге, что я приказал немедленно вернуться сюда, — сказал Гудимов. — А ты не попадёшься в пути?

— Не-е, — протянула Таня. — Я кустарником, кустарником, а потом бором, они в самую чащобу не полезут.

Гудимов смотрел, как она исчезла в густом кустарнике.

С тех пор истекли вторые сутки. Много раз за эти сутки выходил

Гудимов к кустарникам, вслушивался, всматривался... Ольга не возвращалась. А медлить было нельзя. Немцы начали методический обстрел леса. Их разведывательные группы несколько раз вступали в соприкосновение с партизанскими заслонами. Остаться здесь — значило принять бой с целой дивизией эсэсовцев, с артиллерией.

Гудимов гордился тем, что против него бросили регулярные войска и пушки. Он вспоминал свои тайные сомнения в первые дни партизанской жизни, когда у него было семнадцать человек и один из семнадцати сбежал, испугавшись... Теперь у него числилось бойцами шесть с половиной сотен, а в лагере было больше тысячи человек. Он не мог не принять женщин и детей, бежавших к нему под защиту. Это были жёны, матери и дети партизан, это были советские люди, предпочитавшие ютиться в лесу, чем жить «под немцем». Но они, вместе с ранеными и больными партизанами, тяжёлым грузом висели на отряде и сковывали его активность. Их надо было кормить, лечить, охранять, расселять по землянкам. Гудимов установил закон — любой человек, пришедший к партизанам, зачисляется в отряд и подчиняется всем приказам командиров. Все женщины и дети, кроме самых маленьких, были у него пристроены к делу — стряпухами, швеями, истопниками, связистами, сапожниками, прачками, уборщицами. С тех пор как немцы обложили лес, ходить за водой к реке нельзя было, и десятки детишек и старух были прикреплены Гудимовым «к воде» — собирали и растапливали в котлах и кастрюлях снег. За всеми этими женщинами и детьми укрепилось шутовское название «батальон обслуживания». В общем «батальон» приносил партизанам пользу, но ещё больше обременял их. Особенно теперь, когда надо было решать — принимать или не принимать бой, а если не принимать — как уйти?..

Гудимов считал неразумным принимать бой.

Посоветовавшись со своими командирами и с лучшим знатоком здешних мест — охотником Владимиром Петровичем, прозванным в отряде «дедом», Гудимов принял дерзкое решение — под носом у немцев вывести всех своих людей в глухие леса за девяносто километров отсюда. Единственный путь, которым можно было попытаться пройти, лежал через незамерзающие болота. Владимир Петрович знал тропу через болота. Марш следовало проделать скрытно и стремительно, больных, раненых и детишек — нести, отстающих не оставлять. Удастся ли это? Должно было удаться. Другого выхода не было...

И вот всё было готово, продумано, рассчитано, а Гудимов медлил...

Дав указания Антонову, он со стеснённым сердцем прошёл по рядам построившихся к походу партизан, сказал им несколько бодрых слов и

последним взвалил на плечи тяжёлый вещевой мешок.

— Пошли!

Владимир Петрович шёл первым, прокладывая след, крепко вжимая валенки в снег. Окладистая борода его побелела вокруг рта, он выглядел настоящим рождественским дедом в своём овчинном тулупе и шапке с ушами. Партизаны любили его, берегли и посмеивались над ним: «Ты у нас, дед, единственный партизан, как полагается по форме». Стрелял дед без промаха, гордился этим и в свободные часы развлекал партизан охотничьими историями. Сейчас он шёл неторопливым, но быстрым шагом охотника, привыкшего много и легко ходить. Такой ходок мог отмахать без отдыха десятки километров. Но остальные?.

Гудимов шёл по следам «деда», оглядываясь на растянувшуюся в вечерней темноте и исчезающую за деревьями цепь. След в след шли люди, без разговоров, молча. Маленькие детские следы ложились в большие. След в след. Шли женщины. Шли мужчины со своими или чужими ребятами на руках. Несли на носилках раненых и больных. «Обозники» тащили на спинах мешки с мукой или с патронами. След в след, без отклонений. И где-то в конце цепи шли «концевые» со своей примитивной, но остроумной «техникой» — один равнял снег граблями, другой заметал его веником. Если до утра пойдёт снег, никакие следопыты не найдут пути, по которому прошла тысяча людей...

«Всё ли я предусмотрел? — думал Гудимов, в сотый раз перебирая все возможные осложнения. — Да, как будто бы всё предусмотрено... Как удивятся и разозлятся немцы, израсходовав боезапас и затем обнаружив пустые землянки!..» А Коля Прохоров написал мелом на стене своей землянки: «Привет вашему идиоту-генералу от неуловимых партизан. До скорой встречи!» И другие молодые ребята написали — каждый что мог придумать пообиднее. Молодёжи в походе достанется больше всех — им и груз дали потяжелее, и помощь отстающим на них возложена. Ничего, эти не скиснут до времени. А вот женщины... ребята...

«Прав ли я, что пошёл с ними сам, а не остался с несколькими молодцами выручать Ольгу, если она попала в беду?..»

Этот вопрос томил его целые сутки. Закон партизанской выручки подсказывал ему желанное решение — отправить людей с Гришиным, а самому остаться. Но это значило — бросить отряд в опасную минуту, когда тяжелейший переход требует особо чёткого руководства. И там, впереди — что их ждёт? Надо устраиваться на новом месте, устанавливать новые связи, искать другие партизанские отряды, действующие в том районе, находить организационные формы совместных действий. . А может быть, в

пути придётся принимать вынужденный бой?.. А может быть, немцы предпримут наступление сегодня ночью, пустятся по свежему следу и настигнут отряд на марше?.. Нет, командир не имеет права оставить свою часть в боевых условиях. И это смутило бы и омрачило партизан. Они бы сказали: командир нас бросил. И многие бы сказали — «из-за девушки»..

Скажут ли так?.. Дал ли он повод думать так?.. Разве он не глушил в себе чувство с беспощадностью, с гневом к самому себе?.. Как это в стихах, что читала Ольга? «Наступал на горло собственной песне...» Они тогда спорили с Колей Прохоровым, действительно ли Маяковский наступал на горло собственной песне. Ольга горячилась и доказывала, что поэт был бунтарём и борцом по природе, по внутренней сути, и «другой песни» петь не мог. А Гудимов слушал в сторонке и думал о том, что понимает поэта лучше, чем эта молодёжь, что внутренний мир человека очень сложен и порою противоречив, что можно быть страстным борцом по зову сердца и всё-таки бороться с собою... Он делал это. Но он допустил чувство в своё сердце. Он ни разу не позволил себе удержать Ольгу, уберечь от опасности... Он даже ходил на встречи с нею только тогда, когда этого требовало дело... Но мог ли он спрятать свою томительную тревогу, когда она уходила, мог ли он скрывать свою радость, когда она присылала весточку или возвращалась сама? И разве боевые товарищи, жившие с ним бок о бок, могли остаться глухи и слепы?

Скрипел снег под валенками. Поскрипывали деревья под порывами ветра. Заплакал ребёнок, мать испуганно зашикала на него и, наверно, дала ему грудь, потому что ребёнок всхлипнул и затих. На таком морозе, на ходу... А муж этой женщины, может быть, идёт впереди или сзади, слышит плач своего ребёнка, лишённого родной кровли и колыбели, слышит затруднённое дыхание измученной жены... Помогает это ему воевать или мешает?.. Помогает любовь воевать. . или мешает?.

Люди идут. — след в след. Маленькие детские следы послушно ложатся в большие. А мороз к ночи крепчает. И ветер леденит кожу.

Лес кончился, цепь вступила на белую равнину, поросшую редким кустарником. Болото. Владимир Петрович всё чаще останавливается, озирается, находит ему одному видимые приметы и осторожно ступает в глубокий снег. Лунный свет заливает равнину, чётко обозначая на ней тёмные фигуры людей, идущих цепью. Если у немцев есть наблюдатели по краю болота, цепь будет для них удобной, чёткой мишенью.

Где-то позади вскрикнула тоненьким голосом девочка. «Я не могу больше!» — звонко прозвучало в тишине. Зашикали. Движение цепи оборвалось... Наладилось вновь... Значит, кто-то из мужчин взял девочку

на руки, понёс.

Медленно, тяжело, безостановочно движется цепь по равнине, залитой лунным светом Только скрип валенок, только затруднённое дыхание... Сколько часов надо идти по этой равнине? Три часа?.. Четыре?. Пять?.

Все ли выдержат этот поход?.. Но те, кто выдержит, будут спасены. И эта девочка, крикнувшая «не могу больше», и грудной ребёнок, и его несчастная, стынущая на морозе мать... И шесть сотен бойцов, которые через некоторое время нанесут немцам внезапные и злые удары...

А Ольга не поспела. Не пришла. Попалась ли на обратном пути Таня? Или выдала подружка, которой Ольга легкомысленно доверилась?.. Может ли быть, что Ольгу схватили, увезли, замучили?..

Он простонал громко. Так громко, что Владимир Петрович оглянулся.  
— Ногу подвернул, — шопотом объяснил Гудимов.

\* \* \*

Ольга лежала, связанная, в холодном деревянном сарае за домом Сычихи. Всё тело ныло и горело так, что мороз не чувствовался. Рассечённая губа распухла.

За дверью ходил часовой — скрип-скрип, скрип-скрип.

Как это случилось, что Иринка выдала её?. Ведь они вместе читали доклад Сталина и вместе проносили его на станцию, и Иринка, конечно, понимала, почему Ольга так интересуется знакомством с железнодорожниками, и это она восхищённо сказала: «Молодцы!», когда эшелон с карательным отрядом полетел под откос в трёх километрах от станции... А в ночь, когда партизаны сожгли школу с немецким гарнизоном, ведь это Иринка прыгала от радости и говорила, жарко дыша: «Конец им, правда?» И когда на станции, а потом здесь, в селе, они завели знакомство с офицерами, Иринка, казалось, помогала Ольге, чем могла, пела романсы и плясала, чтобы немцы дорожили их компанией... Что же, понравилось ей жить такой весёлой жизнью? Или испугалась?.. Да, когда немцы подтянули сюда войска, оттеснили партизан в лес, окружили их, Иринка стала сторониться Ольги, вздрагивала, бледнела, боялась пускать Ольгу в дом... «Ты ночуй у тёти Саши, так лучше будет...» Когда немцы стали хватать всех, заподозренных в сочувствии партизанам, Иринка стала сама не своя и охотно напивалась в компании немецких офицеров... Значит, струсила? «Лишь бы спастись самой, лишь бы прожить?..»

Жить... Да, жить. Что есть на свете лучше и желаннее жизни?..



Но об этом не надо думать. Ослабеешь. А могут притти за мною сейчас или через полчаса, или ночью... Важнее об Ирине. Это очень важно понять. Перед войною сельская молодёжь много помогала строительству школы-десятилетки, и Ирина тоже... А комсомольский бал весною, за месяц до войны, был очень хорош, весел, наряден. Ирина тогда и вступила в комсомол. Только билет получить не успела. Так, по крайней мере, она говорит. А может быть успела, да сожгла билет, когда пришли немцы?. Пошла в комсомол потому, что на комсомольском балу было весело. И её приняли, потому что райком комсомола очень «нажимал» на процент роста организации. Я сама ездила по организациям и нажимала — плохо растёте... А в душу её не заглянули. Душу не укрепили, не воспитали. Ничего не восприняла Иринка. Ни принципов, ни идеалов, ни традиций боевого комсомола. Настал час испытания — и ничего у неё за душою не оказалось, кроме себялюбия и слабости духа...

Кто-то окликнул часового, он громко ответил.

Надо подготовиться. Говорят, они любят допрашивать по ночам. Надо ли отпираться от того, что я партизанка?. Или, наоборот, бросить им в лицо всё, всё. Сказать им, что меня они могут убить, но партизанское движение им не уничтожить никогда?.. Или лучше отказаться отвечать им, молчать, молчать, молчать... Они всё равно будут мучить. Как?. Говорят, они прижигают тело калёным железом... Только бы не это... Всё равно, я буду молчать, молчать, молчать, откушу язык, но буду молчать... Или нет — крикну им всё, что думаю. Пусть знают, каковы русские люди! Пусть знают, каковы советские девушки, пусть поймут, что Иринка — жалкий выродок, подлое, гнусное исключение., Вызывающе, презрительно крикнуть им в лицо!. Может быть, они разозлятся и застрелят сразу? Не мучая?.. Всё равно, пусть мучают, я вытерплю. Надо вытерпеть. Что бы ни было — вытерпеть...

В углу заскреблась мышь. Или крыса. Ольга содрогнулась и подобрала ноги.

— Оля!

Часовой ходил взад и вперёд — скрип-скрип скрип-скрип. Послышалось ей?..

— Оля! Олечка!

Не дыша, она поползла к задней стене сарая, на звук голоса, опираясь связанными, избитыми руками о холодную землю, покрытую мёрзлыми колкими щепками.

— Это я, Таня. Ты слышишь? — еле слышно неслось в щель.

— Слышу, Танечка.

— Ты связана?

— Да.

— Я брошу в окошечко нож. Ты сумеешь взять его?

— Сумею.

— Я обернула его тряпкой, чтоб не стукнул.

Часовой остановился. Слышно было, как он чиркал зажигалкой. Он стоял у двери долго. И всё это время Ольга не шевелилась, опираясь на занемевшие, ноющие руки.

Часовой снова зашагал взад и вперёд, пританцовывая от холода.

— Олечка! Тебя били?

— Били.

— Итти на лыжах сможешь?

— Смогу.

— Когда сарай откроют, ты сразу выскакивай и беги скорее — скорее к баньке, за банькой лыжи. И прямо к той полянке. Там тебя ждут.

— Хорошо.

— Счастливо, Оленька.

— Спасибо, Танюша.

Тишина. Только поскрипывание шагов у двери да неясные далёкие звуки патефона. Это немцы гуляют, празднуют новый год.

Тишина. Час тишины. Два часа тишины... Уже ночь. Может быть, уже начался новый год?.. И может быть, он будет и для меня. Милые, милые люди, родные... Я же должна была знать, что они меня не бросят в беде... Кто выручает меня?.. Как они уберут часового, когда по улице ходят патрули, когда в доме Сычихи стоят немцы?..

Сменился часовой. Наверное, полночь. Новогодняя полночь.

Хлопнула дверь дома. Стук топора. Кто-то колет дрова?

— Эй, солдат, небось холодно? — грубо крикнула Сычиха... Слышно было, как она приближается к сараю. — На пирога, солдат. Как-никак, новый год!

— Спа-си-ба, — сказал солдат.

Тотчас за дверью что-то хряснуло, тяжело шлёпнулось об стену. Оглушительно, под самой дверью грянул выстрел.

Сильный удар топора сшиб замок.

— Беги! — шопотом крикнула Сычиха.

Ольга выскочила из сарая, наткнулась на труп часового, перепрыгнула через него, побежала за сарай к баньке, как по воздуху несясь по сугробам. Там стояла Таня возле лыж, уже наставленных носами к лесу, с валенками, вдетыми в ремешки. Таня накинула на Ольгу шубейку, Ольга всунула ноги

в валенки и понеслась к лесу, не оглядываясь. У сарая хлопнул выстрел. Потом ещё выстрел. Ольга на секунду остановилась и побежала дальше. Что бы там ни случилось, она ничем помочь не может. И если её спасение куплено дорогой ценой, всё равно надо бежать, тем более надо бежать...

Мучительно болели ноги, руки, всё тело мучительно ныло. Но Ольга не замечала боли, не думала о ней. Дыханием свободы обжигал её морозный ветер. Прыгая в кусты, чтоб запутать след, бежала она к знакомой полянке, к тёплой груди Гудимова, распахивающего перед нею нагретую бекешу...

\* \* \*

Когда Сычиха ударила часового топором, он без крика повалился на снег. Она оттащила его от двери и замахнулась, чтобы сбить замок, но в это время часовой поднялся на локте и выстрелил. Сычиха снова ударила его топором, сбила замок и выпустила Ольгу. В эти первые мгновения она испытывала только радость и гордость собою. Но по селу уже хлопали двери, перекликались голоса немцев.

Сычиха выпрямилась, соображая, что делать. Она могла убежать. Но тогда немцы сразу хватятся Ольги и пошлют погоню. Свежий лыжный след найти не трудно. А догнать измученную девушку ещё легче.

Она подняла замок и приладила его на место. Когда немцы подбежали к сараю, они увидели старуху, которая пыталась и не могла открыть замок. Её ударили и свалили с ног. Но она поднялась, припала спиной к двери сарая и закричала во весь голос:

— Бандиты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты, убийцы! Прокляты! Прокля...

Один из солдат выстрелил в неё в упор. Она почувствовала горячий толчок воздуха в грудь и в лицо, но не почувствовала боли, и снова закричала, вцепившись руками в засов:

— Будьте прокляты, убийцы! И ваш Гитлер, и вы все, и ваши матери, что вас вскормили! Будьте прокляты!

Кровь хлынула горлом, затопила рот. И словно застлала глаза — ничего уже не видела Сычиха, только помнила — задержать, прикрыть собою дверь, задержать... Сплюнув кровь и яростным усилием удерживаясь на ногах, снова закричала:

— Всё равно, всех не убьёте!

Немец выстрелил ещё раз. Сычиха упала, но тут же приподнялась,

привалилась к двери сарая и в последний раз уже шопотом сказала:

— Всё равно...

\* \* \*

Быстро, из последних сил бежала Ольга, так быстро, что ветви шлёпали её по лицу, по ногам, снег с потревоженных ветвей падал ей на плечи, таял за воротником шубейки. Только бы добежать, добежать до Гудимова, а там всё будет хорошо...

Приземистая фигура двинулась ей навстречу. Еле приметная фигура в белом балахоне. Она подбежала, уже понимая, что это не Гудимов, и обняла незнакомца.

— Ну слава богу, — сказал он. И протянул ей флягу: — На, выпей.

Она взгляделась и узнала Антонова. Это был молчаливый, строгий мужик. Прижаться к нему, поплакать у него на груди показалось ей невозможным. Она глотнула крепкого спирту, закашлялась, с отвращением отдала флягу.

— Выпей ещё, подкрепись, путь долог, — сказал Антонов.

Она покорно выпила ещё. Жгучая влага вернула ей силы.

— Как мы прорвёмся в лагерь? — спросила она.

— Лагеря уже нет, и пойдём мы кружным путём, проскользнём у них под носом, — сказал он и протянул ей белый балахон. — Надевай, да и пойдём.

Он шёл впереди. Чтобы не отстать, она вынуждена была бежать изо всех сил. Ей хотелось попросить его идти помедленнее, но она не решилась окликнуть его, поблизости могли таиться немцы. На ветру заныла рассечённая губа. Трудно было двигать ногами и руками, больно было от прикосновения одежды к коже... Как её били!.. Даже ничего не спросив, даже ничего не требуя от неё. Избили, связали и бросили..

Они пробежали через лес и выскочили на белую гладкую равнину, тускло освещённую заходящей луной. Собрав силы, Ольга догнала Антонова и сказала:

— Передохнём. Я не могу больше. Минуточку.

— Тише, дурная, тут же немцы, — тихо сказал он, продолжая скользить вперёд. — И стоять здесь нельзя, болото под нами, провалимся — хуже будет.

Снова они бежали, не разговаривая, он впереди, она сзади. Иногда Антонов оглядывался, и торопил её:

— Иди, не отставай, нельзя!

Луна зашла, короткая предутренняя темнота легла над равниной. Вспыхнули в небе холодные звёзды.

Антонов остановился, протянул Ольге флягу:

— Подкрепись. В лесу передохнём, поедим.

Она выпила спирту, отдала флягу, снова послушно пошла, с трудом двигая ногами, тяжело наваливаясь на палки. Потом стало легче, даже совсем легко. Звёзды горели над нею, милые, хорошие звёзды, на которые они смотрели однажды с Гудимовым, шагая по лесу... «Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно..» Ноги двигались сами, тело стало невесомым и как будто летело над белой гладью равнины... Новогодняя ночь... Какие близкие звёзды...

\* \* \*

Вода стекала по шее и щекотала кожу. Ольга открыла глаза и увидела прямо над собою лицо Гудимова с тревожным и страдальческим выражением, какого она никогда не видела у него.

— Оленька! — воскликнул он и взял её руку.

Она силилась вспомнить, когда же они дошли до своих, что же случилось с нею и почему на голове у неё мокрое полотенце. Но вспоминалось только скольжение лыж по белой равнине, бесконечное скольжение лыж, короткие окрики Антонова: «Иди! Не отставай!» и новогодние, ярко вспыхнувшие, странно близкие звёзды.

— С новым годом! — проговорила она, улыбаясь Гудимову.

Улыбаться было трудно, губа распухла и болела.

— Новый год уже прошёл, Оленька, — сказал Гудимов, осторожно глядя её руку.

— Прошёл?

— Ты спишь вторые сутки. Мы уж испугались.

— Но я дошла? Я ничего не помню.

— Ты упала на болоте и чуть не провалилась. Антонов во-время оглянулся. Он нёс тебя на спине двенадцать часов.

— Антонов?..

Кто-то подошёл и заговорил с Гудимовым. Гудимов выпустил руку Ольги и сказал: «Вот, приходит в себя бедняга...» «Пусть поспит, это ей полезно», — ответил незнакомый голос. Ольга хотела сказать, что уже выпалась, но глаза сами закрылись, и она заснула с ощущением

небывалого, чудесного счастья, баюкающего её, как в детстве.

Дежурства бойцов группы самозащиты прекратились без приказа, и Марии не казалось это ни самоуправством, ни нарушением дисциплины. Она сама не могла подниматься на верхние этажи для проверки постов, значит, и другие не могли. Она сама не смогла бы выстоять несколько часов на морозе, даже закутавшись в тулуп, — как же требовать этого от других?

Вода в пожарных бочках замёрзла, ящики с песком замело снегом. Может быть, и следовало поддерживать боевую готовность на случай воздушного налёта, но на всё сил не хватало. Были дела неизмеримо важнее и неотложнее. Надо было сберечь людей, их души, их жизнь, их гордость.

Когда-то Мария испугалась назначения начальником штаба объекта. Кем она была теперь? Никакого штаба уже не было. Да и строительной конторы не было. Сизов со всеми работоспособными людьми очищал от снега железнодорожные пути из Ленинграда к Ладожскому озеру. Мария ведала полузамёрзшим домом, где с каждым днём жило всё больше рабочих семей, привлечённых сюда столовой и тёплыми трубами парового отопления. Среди всех этих людей Мария была начальником, человеком, которому жаловались, от которого требовали, просили, которому доверяли. Она вела судорожную борьбу за отопление, не хуже кочегара знала нормы расхода топлива и придирчиво растягивала остатки угля, чтобы хватило его хотя бы на январь, и ссорилась с Ерофеевым, когда он говорил ей: «И чего на месяц вперёд загадывать? Сама-то ты месяц протянешь?»

В столовую было страшно заходить. Голодные люди вызывали у Марии жалость и раздражение. Она была так же голодна, как они, и редко позволяла себе съесть свою жалкую похлёбку, приходилось делить её с Андрюшей и мамой. В столовой Марию осаждали жалобами на обвес или невыполнимыми просьбами накормить по талонам следующей декады. Она не имела права разрешить это. Да и что будут делать эти люди через несколько дней, когда у них не останется ни одного талона? Ей удалось уличить сестру-хозяйку в обвешивании столующихся. Она выгнала её из столовой, два дня хозяйничала сама, а потом упросила Сизова отдать в столовую Григорьеву. Старуха поворчала, нацепила на свою всё ещё мощную фигуру белый халат и принялась «налаживать всё с самого начала». Григорьева не могла кормить людей сытно, но стала кормить заботливее, и даже порции немного увеличились. Иногда, в нарушение всех

правил, она отпускала какому-нибудь особенно изнурённому человеку тарелку похлёбки без всяких талонов, и Мария не осуждала её, потому что тарелка похлёбки могла спасти человека, а у Григорьевой был зоркий глаз и честная душа.

Сизов возложил на Марию ещё одну тяжёлую обязанность — следить, чтобы рабочие выходили на работу. Мария с утра обходила общежитие. Если она видела рабочего, лежащего на койке, или вяло поникшего возле трубы парового отопления, она присаживалась к нему, стыдила, уговаривала, иногда приказывала, хотя особых прав на то и не имела. Почти всегда ей удавалось уговорить человека, потому что ослабели все, а работать было нужно — очищая пути, рабочие видели составы с хлебом, с горючим, с боевыми грузами, прибывающими с «большой земли».

Хотя работа отнимала очень много сил, она бодрила, наполняла существование смыслом. Домашним хозяйкам, старикам, больным нечем было отвлечься от голода и от горестных размышлений. Мария старалась всех пристроить к какому-нибудь делу, заставляла женщин убирать, мыть, наводить порядок. Они ругали её в глаза и за глаза, но Мария видела, что в глубине души они одобряют её требовательность.

Почти все бани в городе закрылись. Люди ходили грязными, вшивели.

В столовой был большой бак, нагревавшийся от плиты. Мария отделила в кухне угол и поставила там корыто. Вместе с Григорьевой она в несколько вечеров выкупала в нём всех детей, а потом понемногу стала пускать взрослых. Когда чисто вымытый, благодушно улыбающийся истощённым лицом человек выходил из ванного закута и тут же присаживался у плиты, чтобы до конца насладиться теплом, Марии хотелось плакать. Но она сурово торопила:

— Иди, иди. Помылся — и скажи спасибо.

А морозы всё крепчали. Тридцать, тридцать пять, сорок градусов показывал градусник, было жутко смотреть на коротенький столбик ртути, как бы сжавшейся в предчувствии большой беды.

Однажды вечером, зайдя в общежитие, Мария увидела на потолке быстро расползающееся тёмное пятно. Прислушалась и уловила приглушённое бульканье воды.

С быстротой, с какой уже никто не двигался в эти дни, она побежала вверх. Вода била из лопнувшей трубы парового отопления. Мария дотронулась рукою до ледяной трубы:

— Заснул, мерзавец!

И побежала в кочегарку, чтобы стругать Ерофеева и вместе с ним остановить воду. Дверь в кочегарку, против обыкновения, была



полуоткрыта и её внутренняя, влажная от испарений, поверхность успела заиндеветь. Топка зияла чёрной дырой. У котла, скорчившись, лежал Ерофеев, прикрыв рукой лицо.

— Ерофеев! — яростно закричала Мария, дёргая его за рукав. — Ерофеев, растяпа несчастная, ты понимаешь, что ты натворил! Ты понимаешь, что...

Она остановилась на полуслове. Захолодевшая рука Ерофеева безжизненно отвалилась, открывая синее лицо с закатившимися глазами.

— Ерофеич, что же ты... — прошептала Мария, боясь дотронуться до него.

Она вздрогнула от резкого шороха. Ей показалось, что Ерофеев шевельнулся. Но это была крыса, большая крыса, обезумевшая от голода. Крыса смело подскочила к белеющей на полу руке Ерофеева.

— Люди! — закричала Мария. — Люди!

Она хотела бежать, но ноги не слушались её. Крыса подняла морду, блеснув злыми глазами, и тоже не двинулась.

— Люди! — еле слышно в последний раз крикнула Мария, чувствуя, что теряет сознание.

— Ну, что тут стряслось? — раздался в дверях голос тёти Насти.

Она шагнула в кочегарку, огляделась, цыкнула на крысу, наклонилась над Ерофеевым и потрогала его лоб и щёки.

— Помер, бедняга, — сказала она и, с усилием согнув его руки, сложила их на груди.

Затем заглянула в топку и вздохнула.

— Вот ведь какую беду наделал, — сказала она, оборачиваясь к Ерофееву, — заморозил систему! Теперь надо воду спускать, пока всё к чорту не разорвало. Мороз-то какой! Э-эх, миляга, и угораздило же тебя так неслышно помереть...

Она без всякой брезгливости приподняла голову покойника и попросила:

— Марья Николаевна, возьми-ка за ноги, отнесём его пока в сторонку. Ты в этой системе понимаешь или нет?

Постепенно отходя от пережитого ужаса, Мария принялась осматривать котлы, стараясь понять, как нужно «спускать» воду.

— А я ведь перетрусил, тётя Настя, — со стыдом призналась она.

— Ещё бы! Я бы со страху померла, кабы тебя не было, — добродушно ответила тётя Настя. — Покойников я не боюсь, потому что умер человек — и всё, ничего тут такого нет. А от крыс я в мирное время на стол залезала.

После долгих осмотров и обсуждений им удалось понять, как спускают воду. Но вода шла плохо, кое-где в трубах уже образовались ледяные пробки. Когда позднее пришли с работы рабочие, Мария позвала Никонова на помощь. Она помнила Никонова бесценным работником, покладистым и умелым, и её тягостно поразил его угрюмый ответ:

— Легко сказать: проверить систему! Тут два раза пообедать нужно, пока проверишь...

— Я боюсь, как бы и водопровод не замёрз, — тихо сказала Мария и, не глядя на него, села на чью-то койку.

От усталости и огорчения она уже не могла и не хотела ни проверять, ни бороться, ни двигаться. «А сама-то ты протянешь месяц?» — спрашивал Ерофеев недавно... Что она может сделать одна, когда всё вокруг леденеет, останавливается, умирает?..

— Ну, поползём, что ли? — прозвучал рядом негромкий и насмешливый голос Никонова. — Паяльная лампа у тебя есть?

Словно возвращаясь из небытия, Мария с трудом улыбнулась ему. Ноги были, как ватные, и всё кругом было, как ватное. И звуки, и движения, и краски казались вялыми, неопределёнными. Ступишь на пол — закачается. Возьмёшься за дверную ручку — уйдёт из-под пальцев.

— Паяльная лампа в кладовой у тёти Насти, — как бы перекидывая мостик через пустоту, громко сказала Мария и ступила на пол. Пол не закачался. Взялась за дверную ручку — ручка повернулась под нажимом пальцев.

Они лазили половину ночи, проверяя трубы и прогревая их, с каждым часом убеждаясь в том, что нужен ремонт серьёзный, длительный, непосильный. Когда в тёмный час перед рассветом они, поддерживая друг друга, добрались до общежития, оба знали, что спасли отопительную систему от полного разрушения, но сегодня их усилия не помогут — отопление выбыло из строя.

Григорьева проснулась, когда Мария вошла в комнату:

— Ну что?

— Отоплению конец, — от отчаяния равнодушно сообщила Мария и села у печурки, прижав ладони к её остывающей стенке.

— Возьми съешь, я тебе сэкономила, — Григорьева подтолкнула к ней миску, в которой было немного похлёбки. — Худо будет, если водопровод кончится.

— Никогда больше не делай этого! — сказала Мария и стала есть. — А кончится, так будем воду вёдрами носить, в соседнем дворе есть, — всё тем же равнодушным голосом продолжала она. — Для столовой наносим.

Только с баней будет хуже. — Она обчистила ложкой миску и строго сказала: — А экономить для меня не смей.

— Что делаю — то делаю. Шутка сказать, всю ночь по чердакам лазить! Ложись и спи.

— Страшно мне, — вдруг тихо призналась Мария, — как же мне быть теперь?

Григорьева не расслышала, и Мария была рада этому.

Утром Мария написала записку Сизову, умоляя его притти. Записку она послала с Никоновым и до вечера ждала, полная уверенности и спокойствия, как будто приход Сизова мог что-либо изменить.

— Не было сегодня Ивана Иваныча, — испуганно сказал Никонов, вернувшись с работы. — Не вышел...

Они посмотрели друг другу в глаза и оба потупились.

— А кто же вместо Сизова заступил?

— Я.

На ночь Мария пошла домой. В комнате Марии, где жила теперь вся семья, топилась печурка, и притихший Андрюша сидел перед топкой, вытянув к огню озябшие ручки. Задумчивый взгляд его не отрывался от огня.

— Солнышко моё, — иступлённо прошептала Мария, села рядом и прижала его к себе. На этом непонимающем, тёплом и доверчивом существе скрещивались самые страстные её надежды и самые мрачные опасения.

Утром, когда Мария шла на работу, два снаряда прогудели над головой, но Марии казалось, что они не имеют к ней никакого отношения — смерть от снарядов была теперь наименее вероятной смертью...

— Водопровод замёрз, — встретили её новостью Григорьева и тётя Настя. Они возились у ворот, прилаживая к детским санкам бочонок.

— Куда вы?

— На Неву.

— А в соседнем дворе?

— У них тоже стало...

В этот день Мария два раза ходила на Неву. Было очень трудно спускаться самой и спускать санки с бочонком по обледенелому скату, и ещё труднее было втащить полный водою бочонок вверх. На льду возле проруби стояла очередь, и Марию поразило, что никто не жаловался, а многие радовались, что живут возле реки, и жалели тех, кто живёт далеко. Возможность пользоваться водопроводом вычеркнули из сознания, как будто здесь были жители большой деревни.

Мария ходила за водою в паре с Зоей Плетнёвой, и Зоя сказала громко, для всех:

— Нам-то что! А вы себе представьте американцев с их небоскрёбами, если бы им пришлось воду таскать на семидесятый этаж. Сдались бы в два счёта!

И вся очередь оживилась. Приспуская платки, закрывавшие рот и нос, женщины пытались шутить, и каждая шутка охотно подхватывалась.

Вечером Никонов пришёл к Марии и прикрыл за собою дверь. Обмороженное, с запавшими глазами лицо его горело возбуждением.

— Что? — увидев это лицо, коротко спросила Мария и собрала все силы, чтобы сдержанно принять новую беду.

Никонов положил перед нею листок, и Мария прочла:

*«Дорогой Никонов, свалило меня воспаление лёгких и больше ничего. Как поправлюсь, приду. Пока тебе одному крутиться. Лежу дома. Скажи Смолиной, если может, пусть доплетётся ко мне. Внушай всем нашим людям, что грузооборот на Ладоге увеличивается с каждым днём и очень важно держать пути в порядке, а то мы сами себе совьём верёвку. Продержаться надо ещё месяц, два. Но хлеба скоро ещё прибавят. Никонов, друг, помни, что нам с тобою нельзя ни умирать, ни унывать. Мы ещё поработаем вместе на восстановлении всего, всего.*

*Иван Сизов.»*

— Как у тебя дела? — спросила Мария тихо.

Никонов так же тихо ответил:

— Ничего. Двое сегодня не вышли. Остальные все ходят. Васильев сегодня работал, работал и упал. Думали — помер. Снесли его в дом, отогрели — ничего, отошёл.

На следующий день Мария собралась в долгий путь — навестить Сизова. Застанет ли она его в живых? Худшей беды, чем болезнь, при нынешнем голодном истощении организма, нельзя было и придумать. Устроить его в больницу? Но чем может помочь больница, когда в больнице тоже мороз и голод, больные лежат одетыми и не то что компрессы или банки — даже градусник страшно ставить!

Сизов жил в первом этаже небольшого окраинного дома. Окна его комнаты были заложены кирпичом, бойница аккуратно застеклена, и над нею висела свёрнутая сейчас шторка затемнения. У жарко натопленной печурки возилась жена Сизова. В полумраке Мария не увидела самого

хозяина, но именно его оживлённый голос встретил её:

— Машенька! Вот молодец! Раздевайся, у нас тепло.

Он лежал в постели, лицо его, освещенное отсветами огня, казалось розовым и более здоровым, чем было до болезни. Подсев к нему, Мария впервые заметила, что волосы его почти так же белы, как наволочка, — раньше она никогда не задумывалась над тем, что этот крепкий и напористый человек стар.

— Как тебе нравится мой блиндаж? — спрашивал он. — Я в нём и две блокадные зимы прозимую. Хозяюшка, покорми гостью.

На столике рядом с постелью лежал бюллетень. Мария заглянула в него — двухсторонняя пневмония, температура 39,6.

— Не разговаривай, Иван Иванович, — попросила она. — Я тебе буду рассказывать наши новости, а ты не разговаривай, тебе нельзя.

— Сперва покушайте, — сказала жена Сизова и подала ей тарелку студня, сквозь который просвечивали куски картошки и зелёные лапки укропа.

— Господи, — воскликнула Мария, сияясь отказаться и всё-таки принимая тарелку.

Дом Сизова казался ей теперь обителью благополучия, она с удивлением смотрела на усталое, обтянутое кожей лицо хозяйки, на котором выступали несомненные признаки голодания.

Студень, обильно поперченный и пахнувший отваренным сельдереем, имел странный привкус, незнакомый Марии. Стараясь есть неторопливо и нежадно, Мария всё-таки слишком быстро опустошила тарелку и откинулась в кресле, разомлев от еды и тепла.

— А теперь выпейте чаю.

Сизова поставила перед нею красивую чашку с бледным чаем и, усмехнувшись, рассказала:

— Сельдерюшку и всякую зелень я ещё осенью засушила. Второй голод переживаю, меня врасплох не застигнешь. А картошки я на фронте накопила, тогда разрешали — кто не боится. На ничейной земле набрала, под огнём. А самый студень — это Ивану Ивановичу спасибо скажите. Столярничать любил.

Она вынула из ящика рабочего стола тёмные кривые плитки столярного клея.

— А что ж? — вступил в разговор очень довольный Сизов. — Клей из костей варят? Из костей. Так мы его обратно в кости превращаем. Вредного ничего нет. Лизавета, заверни Маше парочку плиток, пусть дома сварит.

Сизов выпростал из-под одеяла руки, чтобы выпить чаю, и Марию

снова поразили истощённые, по-детски тонкие руки Сизова. Она не могла отделаться от ощущения, что в этом доме царит изобилие. Может быть, ощущение порождалось налаженностью голодного быта хозяев и тем, что вся обстановка и вид Сизова были противоположны тому, что она ожидала увидеть.

Хозяйка закрыла трубу протопившейся печи, налила мужу второй стакан чаю, на минутку присела в кресло — и мгновенно заснула, склонив набок голову. Весь её облик говорил о глубокой и бесконечной усталости.

— Ну как у тебя, Маша? — шопотом спросил Сизов.

Мария рассказывала подробно и точно, тем невозмутимым голосом, который помогал легко принимать самые тяжёлые вести и оставлял в стороне все личные переживания. Иногда она улыбалась, вспоминая какие-нибудь забавные подробности поведения людей или шутки, вроде шутки по поводу американских небоскрёбов.

— Такую блокаду, Маша, кроме советского человека никто не выдюжит, — строго сказал Сизов. И, потянувшись вперёд, чтобы заглянуть в глаза собеседницы, вдруг спросил:

— Тяжело тебе?

— Ничего, — ответила Мария.

— Не отчаялась ещё?

— Нет.

— Выдержишь, как думаешь?

— Не знаю... Думаю, выдержу.

— Отчего ты в партию не вступаешь, Маша?

Вопрос был неожидан и странен. Сейчас, среди всеобщей беды, когда все вместе тянули общую лямку и все вместе отбивались от общего врага, — какое значение имело формальное членство в партии? И разве она работала не так же, как если бы носила в кармане партийный билет?

— Сейчас? — удивлённо возразила она. — Сегодня?!

Ей казалось бессмысленным и неловким подойти сегодня к таким же обессиленным, изнурённым людям, как она, к людям, знающим о ней всё так, как она всё знает о них, и вдруг сказать им: дайте мне анкету, я хочу подавать в партию. . Будто это может что-то изменить, чему-то помочь!

Но Сизов настаивал:

— Когда ж ещё будет настолько кстати?

И Мария поняла, что Сизов для этого разговора и вызвал её к себе, и ещё — что он торопится с этим, чуя приближение смерти.

— Иван Иваныч, дорогой... — прошептала она, сжимая его горячую руку, — ты поправишься, всё наладится, тогда...

Он недовольно высвободил руку и помолчал. Сиплое дыхание его раздавалось в тишине, нарушаемой только редкими и далёкими орудийными выстрелами.

— Вот, слушай меня, дочка. — Он впервые назвал её так, и в этом тоже было предчувствие смерти. — Я думаю выжить, но, сама знаешь, это сейчас мудрено. Ты и Никонов — моя опора. Врать незачем — трудно будет ещё долго. Я боюсь за тебя, не отчаялась бы...

— Я и так не отчаюсь... разве в партийности дело?

— Силы у тебя прибавится, Маша.

Она напряжённо обдумывала его слова, пока он отдыхал от длинной речи.

— Партийность сейчас вроде груза, — снова заговорил Сизов, и оттого, что он произносил каждое слово отдельно, с передышками, слова его звучали особенно веско. — Но груз этот такой, что не уронишь и сам не упадёшь. Чувствуешь себя, будто один за всё отвечаешь и всем людям один — поддержка.

Мария видела, что он ещё не кончил, и сказала:

— Ты передохни. Я подожду.

— Ты добрая, — продолжал Сизов, передохнув. — Это для партийного человека нужно. Но есть доброта — и доброта. Партиец должен быть и жесток, когда нужно. Вот я привёл людей пути чистить. Обувь у кого какая, одежда тоже. Качаются люди.

А я им говорю: «Принимайся веселее. Работа лёгкая, это вам не землю копать». А какое там лёгкое, когда обыкновенная метла как чугунная — руки тянет! Вижу, бьются люди, а требую с них: вот тебе столько-то метров — как хочешь, чтоб было сделано, иначе домой не пуцу и талона на обед не дам. И не даю, коли не выполнит норму. Жестокость? А без неё мы все погибнем, и он первый свалится. Потому что нужно. Потому что иначе нельзя... Сможешь ты так?

— Постараюсь...

— И ещё тебе партийность прибавит зоркости. Вот ты о весне думала? Ты думала — благодать, тепло, ручейки. А ты ответственно подумай и приглядишься, что за ручейки потекут. Не для испуга, а чтоб во-время опасность учуять.

Он молча подышал, улыбнулся:

— Вот тебе моё завещание, Маша. А только скорее всего я выживу.

Когда Кочарян вышел на улицу из ворот больницы и морозный воздух проник в его лёгкие, он присел тут же, у ворот, на скамеечку и несколько минут сидел неподвижно, как человек, которому нужно отдышаться. Это не было действие воздуха — он уже не раз гулял в больничном дворе. Это не была и слабость — он чувствовал себя здоровым. Но свобода, полная свобода на целые сутки, с которой он не знал, что делать, ошеломила его.

Потом он медленно пошёл к своему бывшему дому. Тихо было на улицах — ни трамваев, ни машин. Только один грузовик обогнал его. Из-под наброшенной парусины торчали застывшие скрюченные руки и ноги. Сзади, утомлённо привалившись к трупам, сидели рабочие с лопатами. Никто, кроме Кочаряна, не проводил глазами этот страшный грузовик. Люди, неуверенно ступая, глядели себе под ноги.

Развалины его дома были присыпаны снегом. Казалось, уже века стоят здесь эти молчаливые обглоданные ветром столбы, висят посеребренные морозом балки, глядят в пустоту дыры окон с вырванными рамами.

Он зашел во двор через уцелевший проход, заваленный кирпичами. Две девочки, до глаз укутанные платками, вытаскивали из-под снега и камня расщеплённую балку. Когда они выпрямились, чтобы передохнуть, ноги их дрожали. Кочарян подошёл и взялся за балку, но старшая девочка с воплем схватила его за руку:

— Это наша! Наша! — закричала она.

Кочарян покосился на девочку и продолжал тянуть балку. Девочка отступила.

— Да, ну потяни здесь, глупая! — мирно сказал он.

Девочки послушно тянули, как он им приказывал, поглядывая на него со страхом и надеждой.

Высвободив балку, он спросил сердито:

— Далеко вам тащить?

— Через улицу, — всё ещё не веря до конца неожиданному помощнику, сказала старшая девочка.

Вторая так и не произнесла ни одного слова.

— Ну, тащите!

— Ой, спасибо вам, дядя! — сказала всё та же девочка.

А вторая вдруг заплакала и стала привязывать балку к саночкам. Кочарян отвернулся и стоял, не глядя и не двигаясь, пока девочки не



исчезли в проходе.

Он нашёл вход в убежище — раньше там был дровяной сарай. Когда он женился на Кате, он купил дрова и сам складывал их в сарае, очень гордый первым хозяйственным приобретением, а Катя сбрасывала поленья в окно сарая и, щурясь на солнце, улыбалась, стараясь разглядеть своего Левона в тёмном провале окошка. Теперь окна были заложены кирпичами. Дверь была разбита ударами топора, потолок над нею осел. Кочарян шагнул в полумрак подвала и остановился — так это здесь укрывалась Катя со Стасиком?. Здесь был её последний горький приют?..

— Надо итти, — громко сказал Кочарян, но пошёл бесцельно по двору, как арестант на прогулке — кругами, по своим же следам.

Женщина вышла из дворового флигеля, внимательно оглядела Кочаряна и не спеша подошла:

— Вы или не вы? — спросила она и покачала головой, должно быть потому, что все стали сейчас непохожи на самих себя, да и память ослабела, всё спутывает. . — Муж Кати... или обозналась?

— Да, — с дикой надеждой крикнул Кочарян. — Да, да! Что вы знаете?

Женщина кивнула на развалины и промолчала. Лицо её поскучнело — она, наверное, жалела, что затеяла ненужный и тяжкий разговор — ведь не вернёшь и не поможешь!

— Стасик в Доме малюток, вам ведь писали? — наконец, сказала она и приблизила лицо к лицу Кочаряна. — Там хорошо! Мне одна женщина рассказывала, там кормят... будто даже белый хлеб на самолётах привозят... и молоко консервированное... Она сама там работает, зачем ей врать?.. Каши дают по целой тарелке...

— Катя... дома была?

Женщина досадливо поморщилась — смерть наскучила ей.

— Не спустилась она в убежище, вот и придавило, — безжалостно сказала она. — С ребёнком разве можно лениться вниз итти?

Кочарян живо представил себе Катю, сонную и усталую, как она проводит слабой рукой по лбу и светлым волосам и говорит сама себе: «не могу я итти..» и опускается на кровать, прижав к себе Стасика и прислушиваясь к выстрелам с равнодушием смертельной усталости... Мрачное отчаяние овладело им оттого, что она, оказывается, могла бы и уцелеть, если бы спустилась в убежище...

— Где её похоронили? — спросил он.

Женщина с осуждением поглядела на него и покачала головой:

— Неужто ты пойдёшь? Ведь пешком! Тут и покойника не довести...

на улицах бросают... Ну, куда ты пойдешь? Зачем? Да и, знаешь, на кладбищах сейчас... Не ходи! — решительно закончила она и пошла, не прощаясь, к подворотне.

— Где её похоронили? — крикнул вслед Кочарян.

— Господи! — раздраженно воскликнула женщина, оборачиваясь. — Я же тебе говорю... — Она увидела горящие глаза Кочаряна и быстро проговорила: — На Волковом, милый, на Волковом... — и почти побежала через проход.

До кладбища он шёл больше часа, и чем ближе подходил к нему, тем чаще нагонял и оставлял позади пешеходов, впряженных в саночки, с покойниками, спелёнутыми туго и умело простынями, одеялами, кусками ситца и рогож. Покойники сперва казались ему детьми — потом он понял, что худоба сделала их меньше, суше. Тащили санки почти исключительно женщины. Походка их была строгой, упрямой, лица — каменными.

На улице, ведущей к кладбищенским воротам, поток саней стал густым. У ворот с двух сторон штабелями лежали трупы, частью уже занесённые снегом. Некоторые были в пальто, в шапках, и позы их были мучительно зябкими — видимо, шёл человек и присел на снег, не в силах итти дальше, сжался в комок, пытаясь согреться, да так и умер. Некоторые лежали в одном белье, раскинув руки, оскалив жёлтые десна, с выражением ужаса в глазах, увидевших смерть. У иных лица были спокойные и просветлённые.

Кочарян видел много смертей на фронте, он не раз горевал над убитыми товарищами, — но никогда смерть на фронте не будила в нём такого скорбного отчаяния, такой ожесточённой ненависти к врагу, такой ярости и жажды мести.

Он не пошёл справляться в конторе, где похоронена Екатерина Кочарян. Сейчас это казалось ему нелепостью и почти оскорблением для тех, кто лежал здесь, в пальто и в белье, в свивальниках и рогожах, — разве они меньше, чем Катя, заслужили достойной могилы?

Он низко поклонился сухим, промёрзшим покойникам и побрёл обратно. Теперь санки с трупами плыли ему навстречу, и глаза его встречали утомлённые глаза женщин. Потом сумерки скрыли от него лица встречных, а сердце его устало от муки, и мысли его впервые обратились к тому, кто жив и должен жить, — к сыну Анастасу, к Стасику.

Он пришёл к Дому малюток в полной темноте. Не найти было ни калитки, ни крыльца. Он долго плутал вокруг дома, пока не раскрылась дверь, пропуская кого-то.

— Гражданка! — обрадованно выкрикнул он, подбегая к тёмному

силуэту женщины. Силуэт метнулся назад к двери, молодым звонким голосом вскрикнул:

— Кто здесь?

Страх женщины мучительно поразил Кочаряна.

— Левон Кочарян, боец Красной Армии, — сказал он как можно мягче, — мне сына повидать... в Доме малюток...

Женщина молча впустила его в освещённую свечой переднюю и сама вошла за ним. Она внимательно осмотрела бойца, стоявшего перед нею, и вдруг светло улыбнулась.

— Вы... Стасика отец?

Они смотрели друг на друга. Тёмные глаза Кочаряна медленно наполнились слезами.

— Дети спят... — сказала женщина, — не соображу я, что с вами делать...

— Мне посмотреть, — прошептал Кочарян.

Женщина без слов ушла. Вернулась с другой — пожилой, подтянутой женщиной в белом халате.

— Вот Анна Константиновна...

— А завтра вы не можете притти? — спросила Анна Константиновна. — Дети спят... в спальню входить не полагается...

— Мне посмотреть, — повторил Кочарян.

— Пойдёмте, — решительно сказала Анна Константиновна и дала ему халат.

В белой спальне рядами стояли кровати. Стасик спал, выпростав из-под одеяла полные ручки и чуть улыбаясь. Длинные чёрные ресницы отбрасывали тени на раскрасневшиеся щёки. Этот несомненно здоровый и благополучный детский облик был самым поразительным из всего, что видел в тот день Кочарян.

Они простояли так долго. У женщин на лицах, скудно освещённых свечой, бродили странные, то горделивые, то скорбные улыбки. Стасик глубоко вздохнул и повернулся на бок, подложив ладонь под щеку. Кочарян побледнел — так спала Катя, щекою на ладони, а по утрам на щеке иногда оставалась примятая во сне морщинка.

Низко склонив голову, Кочарян повернулся и на цыпочках пошёл к двери. Женщины за ним. В передней они все сели, и Анна Константиновна вдруг начала неудержимо рассказывать, как привезли Стасика, как она долго возилась с его придавленными ножками, как он был сосредоточенно молчалив, как на вторую неделю он впервые вышел из оцепенения, обрадовавшись бубну... Молодая изредка вставляла слово, напоминая о

чём-нибудь, что забыла Анна Константиновна, и смотрела на Кочаряна с жадным вниманием. Это было их вознаграждением за упорный труд — рассказать отцу, как они выходили его ребёнка.

Когда они кончили рассказывать, Кочарян встал.

— Спасибо вам, матери... — сказал он.

Младшая вытерла слёзы и спросила:

— Куда же вы пойдёте сейчас?

— Пойду, — неопределённо ответил Кочарян.

— Вы приходите с утра, повидать Стасика, — сказала Анна Константиновна.

— Выйдём вместе, — предложила молодая.

Когда они вышли, она переспросила:

— Куда же вы пойдёте ночевать?

— Не знаю, — признался, Кочарян. — В город далеко.

— Пойдёмте ко мне, — сказала женщина, — я здесь неподалёку живу... Невесело у меня... да ведь что ж?..

Он пошёл. Эти грустные слова сделали их отношения простыми. Дома она бережно чиркнула спичкой и засветила коптилку. Маленькая комната была опрятна, — видно было, что хозяйка боролась и с копотью, и с дымом. Но когда она от коптилки зажгла лучины и сунула их в печку, набросав сверху сырых полешек, дым вырвался в комнату и поплыл в морозном воздухе.

— Сейчас вытянет. Я чайник поставлю, — сказала женщина и ушла с чайником на кухню, оставив Кочаряна у печки.

Потом она позвала его:

— Помыться хотите, товарищ? Идите сюда, я вам полью...

Он пошёл на скудный свет. В дверях кухни она неожиданно замялась:

— Постойте здесь... Я сюда вынесу...

Она выставила в коридорчик ведро, принесла ковшик воды. Полила ему. Потом они сидели у печки, слушая, как поёт, закипая чайник. Кочарян не ел с утра, с госпиталя, но и сейчас ему хотелось только пить, так пересохло у него во рту.

— Лёля меня зовут, — сказала женщина, — так уж все дети называют — тётя Леля, и взрослые тоже...

— Муж... на фронте? — спросил Кочарян, заметив на стене фотографию военного.

— Мужа убили в ноябре под Колпином, — привычно спокойно ответила она.

— И родных у вас... никого?

Она опять замялась, затем отрицательно покачала головою.

К чаю он вынул хлеб из кармана шинели, Лёля нарезала промёрзший хлеб мелкими ломтиками и ловко подрумянила их на печурке. В комнате стало тепло. Разморенный теплом и усталостью, Кочарян молча ел хлеб и пил кипяток, разделив с Лёлей кусок сахара. Она смущённо взяла сахар, но от хлеба упрямо отказывалась.

— Ложитесь, — сказала она, постелив ему постель.

Кочарян долго лежал, растревоженный и почти больной от всего, что видел и пережил за день. Конечно, в госпитале он слышал много рассказов о том, как живёт осаждённый город. Но то, что он увидел, потрясло его простотой и суровостью. Город страдал без жалоб и без слёз.

Утром Лёля разбудила его. Снова горела коптилка, но в окно, освобождённое от маскировочной занавеси, уже пробивался тусклый зимний рассвет.

— Мне на работу пора, — объяснила она. — Вместе пойдём?

Когда он умывался в коридорчике, Лёля второпях оставила его одного. Дверь в кухню была открыта, и он заглянул туда по странному побуждению — у него осталось в памяти, что Лёля, замаявшись, не хотела впустить его в кухню. На кухонном столе, тесно прижатые друг к другу, лежали два старика — мужчина и женщина. Руки их были заботливо сложены на груди, головы покоились на подушке. В застывшие пальцы были вложены веточки цветов — белых цветов, какими украшают подвенечные платья невест.

— Это мама и папа, — раздался за спиною Кочаряна дрогнувший голос. — Я думала, вам будет неприятно ночевать.

— Вы не можете похоронить? — шопотом спросил он.

— Послезавтра у меня выходной, похороню, — сказала она. — Пойдёмте.

Ему пришлось ждать в передней, пока дети умывались и завтракали. Гомон детских голосов доносился из столовой, и беспечность их показалась Кочаряну такой же нереальной, как улыбка на лице спящего Стасика.

Дети перешли в игральную комнату, и Кочаряну разрешили войти. У него перехватило дыхание, когда он вошёл в комнату, полную маленьких детей, и несколько детских голосков восторженно крикнули:

— Папа!

Какие-то худенькие, бледные мальчики и девочки бросились к нему и остановились в нескольких шагах, внимательно вглядываясь в незнакомого военного. Они все, должно быть, уже не помнили, как выглядят их папы, но знали твёрдо, что папа вот такой в военном... Стасика он не узнал — в

незнакомом вязаном костюмчике с нагрудником, по-новому подстриженный, он медленно подходил, вцепившись в руку тёти Лёли. Он был бледнее и худее, чем показался ночью, но младенческая пухлость и жизнерадостность остались.

Как и большинство детей, окружавших его, Стасик уже не помнил дома, не помнил семьи, и мир для него был ограничен Домом малюток, его нянями и воспитательницами, его садом и воротами на улицу, куда не пускают. Но другие дети закричали «папа», — о том, что придёт папа, ещё в постели узнал он от тёти Лели, и он шёл к нему, как к неизбежному, слегка пугающему и всё же, наверно, хорошему, потому что слово «папа» произносилось всеми особым, торжественным и радостным тоном.

Кочарян подхватил его, прижал к себе и выбежал с ним из комнаты, чтобы не заплакать при всех. Но мальчик вдруг сам заплакал, и Лёля догнала их и шепнула:

— Дайте ему сахару...

Они сидели в пустой спальне, Кочарян держал сына на коленях и молчал, а сын разглядывал исподтишка непонятого человека, называемого папой, сосал сахар и тоже молчал. Вдруг какая-то тень прошла по его младенческому лицу, он прижался к гимнастёрке отца и отчётливо сказал:

— Мама!

И тогда Кочарян, обезумев от горя, начал целовать его, прижимая к себе, и говорить ему, что кончится война и они будут жить вместе, и будет много сахару и конфет, и они поедут в Армению, где растут большие персики, большие яблоки, большие груши, сок так и брызнет под зубами, и небо там синее, и погода тёплая, и Стасику будет очень хорошо... Стасик не понимал и половины слов, но слушал обещающий ласковый голос и что-то вспоминал, что-то в нём оживало и радовалось... А когда отец замолк, он — доверчиво и уже совсем освоившись — стал рассматривать и дёргать ремень, пуговицы, петлицы, и в глазах его светилось мальчишеское извечное любопытство ко всему военному.

Настало время уходить. Кочарян снёс мальчика в игральную комнату, и ребята снова сгрудились вокруг него и Стасика, молча и завистливо наблюдая. Кочарян долго помнил именно эти завистливые, строгие детские взгляды. Шагая по бесконечной белой дороге к центру города, мимо изнурённых людей, мимо развалин и молчаливых, заиндедевевших домов, он впервые подумал, что кусочек детской жизни, которую обошла смерть, это тоже страдающий и воюющий Ленинград, взывающий о возмездии.

И ему стало по-новому, до конца ясно, что он будет делать на фронте. Всё, чем дышала страна, что страстно повторяли его товарищи и политруки

на беседах, и газеты, что говорил он сам себе, борясь со смертью на госпитальной койке, всё, о чём без слов кричали ему вчера и сегодня улицы и люди Ленинграда — всё это сейчас пронзило его сознание и потрясло его. И тогда из глубины души, воспринявшей с колыбели горячие чувства своего народа, из-под напластований культуры, знаний и выработанных понятий поднялось, будто из глубины веков, старинное, смертельно-страстное чувство родовой мести — ни один враг не должен остаться жив, ни один не будет прощён... И, ещё не получив боевого оружия, Кочарян стискивал пальцы, будто винтовка привычно легла между ними.

После утомительного, беспокойного дня Люба мечтала сразу лечь спать за ширмой в кабинете мужа, где они оба теперь жили, но ещё за дверью услышала голос Левитина и секретаря райкома Пегова. Мигающий свет керосиновой лампы освещал постаревшее, озабоченное лицо Владимира Ивановича и худое с тёмными впадинами на щеках, нервное лицо Левитина. Пегов сидел в глубине комнаты в кресле, загораживаясь от света газетным листом — от переутомления у него болели глаза.

— А чаю без меня выпить и не догадались, — сказала Люба огорчённо, подбрасывая дров в печурку и ставя чайник на огонь. — Тоже директор! Никакого гостеприимства!

— Мы тебя ждали, Соловушка, — Владимир Иванович подошёл к ней и с жалостью погладил её по худенькой спине с выпирающими лопатками. — Устала?

— Устала, — призналась Люба и присела у печки, прикрыв глаза. — Начали разбирать на дрова разбомблённый склад. Одну доску трое человек отдирают и отодрать не могут... — Она открыла глаза и быстро, насмешливо улыбнулась: — Лиза Кружкова говорит: «очень крепкие гвозди». А причём тут гвозди? Люди стали слабые, а гвозди как гвозди...

Чайник тоненько засвистел, потом заурчал, закипая.

— А постельное бельё ты мне достань, — строго сказала Люба. — Как хочешь, достань. Хоть одну смену на пятьдесят копеек.

— Вот тебе и начальница для стационара, — сказал Пегов, отбрасывая газетный лист и переходя к печурке. — Чего мудрить, Владимир Иванович? Ищешь, ищешь, десяток мужиков перебрал, а кандидатура у тебя под боком и уже трясёт тебя, директора, чтобы быстрее поворачивался. Постельное бельё придётся достать, а?

Левитин с интересом смотрел на покрасневшую Любу.

— Справитесь?

— Ой, не знаю. И я что-то не пойму — почему меня?

— А почему не тебя? — спросил Пегов. — Знать тебя на заводе — знают; что ты не воровка — уверены; что ты из директора всё, что нужно, выколотишь — можно не сомневаться. Заинтересована ты стационаром? Безусловно! Так чем же ты не начальник?

— Я бы лучше помогала, чем «могу, а чтоб начальником другой был, — сказала Люба испуганно. — Там ведь и продукты, и нормы, и



отчётность...

— А для чего тебя в школе учили? Считать не умеешь? Эка страсть — отчётность! Смотри, чтоб людей не обделяли, не обвешивали, чтоб кормили вкусно и ухаживали за ними с душой — вот и будешь справляться. А ответственности бояться — так какая же ты ленинградка?

— Ничего я не боюсь, — проворчала Люба. — А только помогать надо делом. Сколько дней я о постельном белье твержу?

— Ты ж понимаешь, постельное бельё всё в госпиталях..

— Будет постельное бельё — соглашусь, не будет — ищите другого, — сердито сказала Люба. — Я позориться не буду.

Подумав, она добавила, обращаясь к Левитину:

— И устраивать всё будем силами бытового отряда, и повара сами разыщем, и персонал. В таком деле надо знать, с кем работаешь. Ошибаться тут некогда.

Она налила всем чаю, пристроилась на диване, поставив рядом стакан, блаженно откинула голову на мягкую спинку дивана — да так и заснула мгновенным, глубоким сном.

Владимир Иванович прикрыл её одеялом, растерянно постоял над нею, мечтая увести из кабинета Левитина и Пегова, но не решаясь это сделать, так как они пришли по делам и комната эта была служебным кабинетом. Люба вздохнула во сне, подобрала ноги на диван и легла поудобнее. Владимир Иванович принёс из-за ширмы подушку, подложил её под голову жены и на цыпочках прошёл к печке, где тихо сидели его товарищи.

— Я категорически против её назначения, — сказал он, упрямо пригибая голову и ни на кого не глядя.

— Почему, Владимир Иванович? — укоризненно спросил Пегов.

— Потому что у неё нет ни опыта, ни деловой сноровки... — веско начал Владимир Иванович, но оборвал свою речь на полуслове, болезненно поморщился и сказал совсем другим, жалобным голосом: — Я, кажется, себя не жалею... И никогда не просил чего-нибудь для себя... А сейчас я прошу. Я хочу сберечь женщину, которая мне... которую я... — Лицо его дрогнуло. Он преодолел волнение и закончил резко, почти зло: — Можете смеяться, осуждать, но я её люблю и хочу её сберечь. Пусть это эгоизм, слабость — что ж, я готов признаться в этом!

Наступило неловкое молчание. Пегов вытащил кiset, все трое взяли из кисета табак и старательно свернули папироски. Прикурили от уголька. Три дымка струйками тянулись вниз, к топке, и заползали в неё, обвивая приоткрытую дверцу.

— Что ж тут смеяться или осуждать, — задумчиво сказал Пегов. —

Большое чувство всегда вызывает уважение... и даже зависть. Твоя Соловушка достойна большого чувства... Но почему же ты, Владимир Иванович, хочешь принизить её, а не поднять?

— Мудрено говоришь. Не понимаю, — буркнул Владимир Иванович.

— По-моему так: если любишь человека, хочешь, чтобы он развернулся во всю свою силу... Люба девочка, но в ней горят талантливость и энергия. Она ещё очень мало сделала в жизни, но может она очень много. Зачем же искусственно ограничивать её?

— Я знаю одно, — пылко сказал Владимир Иванович, — она похудела так, что косточки торчат, на ней лица нет, она, только придёт, засыпает, как убитая. Стационар съест остатки её сил. Для неё, с её впечатлительностью, это будет страшная, изматывающая работа, потому что ей придётся выхаживать истощённых, полумёртвых людей, возиться с дистрофиками, у которых голодные поносы, раздражительность, мнительность, капризы...

— И это будут, вместе с тем, лучшие люди твоего завода, — тихо закончил Пегов. — Люди, которых надо спасти, сохранить во что бы то ни стало. И которых она спасёт и сохранит, потому что они ей дороги, она росла среди них, и они её любят. Потому, наконец, что она уже сейчас, добровольно, ни от кого не получив поручения, хлопочет о постельном белье для них, о дровах, о свете...

Владимир Иванович вскочил, заходил по кабинету, потом остановился перед Пеговым, возмущённо вскинув голову.

— Демагогия! — воскликнул он. — Ты хочешь меня прижать к стенке нелепым противопоставлением: твоя жена может спасти людей твоего завода, а ты приносишь этих людей в жертву своему эгоистическому желанию сохранить жизнь жены. Но ведь свет клином не сошёлся на ней. Я сам сделаю и уже делаю всё, чтобы сберечь наши кадры, ты меня ни в чём не можешь упрекнуть! О стационаре я заговорил первый, я буду сам помогать ему повседневно, и делать из меня себялюбца и эгоиста...

— Кто вас обвиняет, Владимир Иванович? — мягко сказал Левитин. — Но вы должны посмотреть на вашу жену глазами стороннего человека... хоть на минуточку сумейте это! Вы увидите, что вы её хотите лишить не только самого трудного, но быть может и самого прекрасного подвига её жизни.

— Я хочу сберечь эту её жизнь, — с горечью сказал Владимир Иванович и отвернулся от собеседников.

Взгляд его остановился на лице жены. Печать огромной усталости лежала на её худеньком, почти детском лице.

— А я знаю другое, — так же мягко, но с увлечением заговорил

Левитин. — Сейчас человека можно сберечь только одним способом — живым делом, чтобы вся его энергия пришла в движение, чтобы ему страстно хотелось *делать*. Потому ещё и страшна остановка завода, что энергия, людей оказалась ненужной, повисла в воздухе. Поглядите хотя бы на Григория Кораблёва. Не поручи мы ему сейчас это дело с топливом, он помер бы с тоски.

— А Курбатов? — подхватил Пегов. — Вспомни, Владимир Иванович! В первый же день остановки завода он к тебе пришёл с идеей собрать по заводу весь лом, все отходы, чтобы потом, когда дадут ток, не затёрло с металлом. И ты сам тогда сказал ему — организуйте да поскорее. Потому что человеку нужно было дать цель жизни. Верно?

— А Солодухин, как узнал, что завод останавливается, заплакал... — продолжал Левитин. — Теперь и на завод не ходит. Свалился.

Владимир Иванович нервно потянулся за табаком. Лицо его выражало упрямство и досаду. Он не признавал себя убеждённым, но понял, что приостановить назначение Любы не может — и не только потому, что секретарь парткома и секретарь райкома ополчились против него, но и потому, что сама Люба станет на их сторону. И он жалел, что разоткровенничался попусту.

— Университет! — неожиданно воскликнул Пегов и задумался. Яркие отблески огня освещали его осунувшееся лицо и воспалённые глаза. Вопреки переутомлению, во всём его облике и в какой-то внутренней, почти незаметной улыбке проявлялись жадный интерес и любовь к жизни, к людям, ко всему тому, что раскрывает перед ними время. — Да. Университет! — повторил он с удовольствием. — Такую науку мы теперь изучаем, какую в обыкновенном университете не изучишь. Науку понимания людей и руководства ими.

— Дорога цена такого обучения, — буркнул Владимир Иванович.

— Тем более важно овладеть ею, чтобы цена окупилась пользой, — заметил Левитин. — Есть сейчас такая искренность и честность отношений между людьми, которую надо сохранить. И такая нетерпимость к бюрократизму, к формалистике, к казённости, которую тоже надо сохранить. Так было, наверное, в восемнадцатом году, когда вступить в партию для человека значило — итти на фронт, на линию огня...

— Я лично научился верить в способности и инициативу самого рядового человека, — медленно заговорил Пегов, видимо, тут же продумывая и обобщая то новое, что раскрылось ему. — Научился видеть скрытые возможности человека. Вот — с выдвижением кадров. Слов нет, и до войны выдвигали. Но по теперешней военной мерке — слабо, робко...

Богаты были, что ли?

— А, конечно, богаты! — оживлённо вступил в разговор Владимир Иванович, радуясь его новому направлению. — В первые дни, когда народ в армию пошёл, мы ведь за голову хватались. А потом сколько людей выдвинули! Да тот же Курбатов. Ходил себе молодой инженерик, работал с огоньком, но никаких таких организационных талантов за ним не замечалось. А поставили начальником сборки — глядите, каков оказался!

— Вот мы Левитина выдвинули, — продолжал Пегов. — Ведь как было. Пришёл он ко мне из госпиталя, время смутное, людей нету, посмотрел я на него и подумал: фронта он понюхал, хочет танки делать, понимает, как они нужны... а что, если послать его секретарем парткома на танковый, пусть своё понимание всему коллективу передаёт. А раньше разве бы я решился молодого, неопытного — так смело выдвинуть? Да ещё на такой заводище!.. В анкету много смотрели. Номенклатура! Кадр! Бывало — числится у тебя в кадрах какой-нибудь неповоротливый дядя со стажем, ты его и на бюро стегаешь, и с глазу на глаз с песочком протираешь, а всё он у тебя кочует из организации в организацию. Провалиться — не проваливается, но и радости от него никакой нету... А теперь у меня на девяносто процентов новые люди работают, и при отборе один критерий: способен человек, с душой берётся — значит, двигай его да помогай, чтоб развернулся во-всю.

— А женщины? — подхватил Левитин и оглянулся на мирно спящую Любу. — Я теперь на наших женщин во всех делах опираюсь. Сила!

— Сталин нам об этом давно сказал, — напомнил Пегов. — Да что скрывать, мы все думали: мужчине поручишь — как-то спокойнее. А теперь женщины заметнее стали, вот и убедились. А они доверие ценят, уважение ценят. Я теперь как делаю? Подходит ко мне на швейной фабрике работница и со злостью такой жалуется, что в хлебном ларьке — обвесы, воровство, очереди. Спрашиваю директора: хорошая работница? Хорошая, отвечает, только беспокойная. Ну, говорю, давай воров выгоним, а её поставим в хлебный ларёк, пусть своё беспокойство на благо людям расходует.

— Ну, и как? — полюбопытствовал Владимир Иванович.

— А вот так же, как с твоей Соловушкой, — добродушно пошутил Пегов. — И постельное бельё будет, и отчётность, и стационар образцовый на весь район. А у той и порядок, и очередей меньше, и шуметь перестала, а всё весы проверяет — чтоб не ввали.

— Что тут обо мне говорят, пока я сплю? — поднимаясь и протирая сонные глаза, спросила Люба и нежно улыбнулась Владимиру Ивановичу,

вскинувшемуся навстречу её голосу. — Я что-то всё перепутала... Приснилось мне или вы в самом деле решили меня в стационар назначить?

— Да ты уж сама себя назначила, — пробурчал Владимир Иванович, выплескивая её остывший чай и наливая ей горячего. — Постельное бельё! Постельное бельё!..

— А неужели их на голые матрацы положить? — возразила Люба и с наслаждением отхлебнула горячего крепкого чаю.

\* \* \*

Помещение для стационара было предоставлено в одном из бомбоубежищ, где отсутствие дневного света возмещалось безопасностью во время артиллерийских обстрелов. Люба вместе с комсомольцами бытового отряда побелила там стены и потолки, вместе с монтёрами провела электричество, вместе с печниками сложила несколько печек. В любой работе она участвовала сама, так как не умела командовать другими и хотела, чтобы всё делалось быстро. Сотрудников она подобрала из заводских людей, главным образом из комсомолок, активно работавших в бытовом отряде. Эти отряды возникли в те дни по всему Ленинграду. Тысячи девушек и подростков ходили по домам, навещая больных, одиноких, беспомощных людей и помогая им так, как помогли бы более здоровые и сильные духом близкие люди, — носили воду, добывали дрова, получали по карточкам хлеб. Устраивали больных в больницы, хоронили умерших. Обогревали, обмывали и сдавали, в детские дома осиротевших ребятшек... Члены бытовых отрядов не получали ни дополнительного питания, ни вознаграждения. По зову сердца, по долгу совести вышагивали они, голодные и замёрзшие, по улицам и дворам, по бесконечным чужим лестницам — из дома в дом, из этажа в этаж, из квартиры в квартиру. Люба сама работала в заводском бытовом отряде и знала, что на членов его можно положиться.

Труднее всего было с ванной и освещением. Бригада монтёров, в которой Люба продолжала работать, сумела обеспечить свет. Маленькую динамо-машину, которую все по-домашнему называли «движок», приводили в движение с помощью грузовика-газогенератора. Грузовик приподняли так, чтобы свободно вращающееся заднее колесо с надетым на него шкивом служило трансмиссией для «движка». Возни с этой своеобразной электростанцией было много — долго не могли подобрать шкив, шкив слетал с колеса, мотор капризничал. Когда впервые вспыхнули

лампочки, Люба заплакала. В тот день все ходили праздничными, возбуждёнными, убогий свет казался огромной победой.

Устроить ванну не удалось, но оборудовали душевую. Воду в баки приходилось накачивать вручную, но Люба верила, что ей и её подругам хватит сил на это, пока не разморозят водопровод. Поглядев, как Люба качает насос, Владимир Иванович с бешеной энергией взялся за водяную проблему. А Люба только подзадоривала: «Давай, давай, меня тоже не на век хватит в одну лошадиную силу работать!» К ночи она входила в кабинет мужа шатающейся походкой и падала, не раздеваясь, на диван.

Затеи комсомолок казались Владимиру Ивановичу чрезмерными, безумными. Для чего тратить силы на такой вздор, как белые салфетки на тумбочках, как кружевные занавески в столовой и читальной, устроенных не в подвале, а «на воле», в светлых комнатах, где и так застеклили наново все окна, выбитые взрывной волной!

— Ты не понимаешь, — сердито говорила Люба, — хорошее настроение — это такой же витамин, как хвойная Настойка!

Ещё не всё было сделано, ещё кухонные работницы только налаживали санки для похода на базу за продуктами, когда Любе пришлось принять первого больного.

Инженер Курбатов, обследуя один из цехов в поисках металла, поскользнулся и упал. Падая, он порезал руку о металлическую стружку. Порезы были лёгкие, потеря крови незначительна, но Курбатов уже не мог подняться. Его перенесли, в контору, вызвали врача. Врач перевязал порезы и сказал, что у больного дистрофия второй степени и непонятно, как он работал до сих пор.

Люба попросила врача обмыть Курбатова в душевой, так как Курбатов ни за что не соглашался на помощь девушек, и затем торжественно уложила его в постель, на чистые разглаженные простыни, рядом с тумбочкой, покрытой белой салфеткой.

— Как во сне, — сказал Курбатов и поманил к себе Любу. — А Солодухин-то.. — пробормотал он. — Уже неделю не является... его бы сюда... не помер бы...

— Не забудут вашего Солодухина, — сказала Лиза Кружкова, подавая ему кружку сладкого чая. Ничего, кроме чаю, в стационаре пока не было, но и чай мог подкрепить больного.

— И ещё Кораблёва надо, — умоляющим голосом продолжал Курбатов. — Он только духом держится... понос у него...

— Экие вы люди! — сказала Люба. — Молчите, молчите, пока не свалитесь! Спице-ка лучше. Никого мы не забудем. Целую ночь сидели.

Список первых пятидесяти кандидатов составлялся Владимиром Ивановичем, Левитиным и Любой почти целую ночь. Из массы изнурённых людей надо было отобрать пятьдесят самых нуждающихся и самых нужных заводу работников. Владимир Иванович настоял на том, чтобы в стационар приняли специалистов, работающих по подготовке завода к новому пуску. Им руководила жестокая необходимость, более властная, чем сострадание, — нужно было сохранить незаменимые кадры завода — инженеров, мастеров и рабочих, без которых возобновить работу нельзя. Приходилось порою переводить в список второй смены очень ослабевшего человека, ради того, чтобы немедленно подкрепить человека менее слабого, но более нужного заводу. До рассвета список составлялся и пересоставлялся. И на рассвете было решено в ближайшие дни расширить стационар вдвое, потому что и самый первоочередной список вместил свыше ста человек.

Устроив Курбатова, Люба стала собирать остальных своих питомцев — «к ужину все должны были быть на местах. Многие сидели по домам, о многих уже давно ничего не знали. Комсомолки разошлись по адресам, чтобы пешком или на саночках доставить больных в стационар.

Уже темнело, когда Люба и Лиза подошли к разбомблённому дому на одной из окраинных улиц. Там, в уцелевшей части дома, жил Солодухин. Держась за перила и друг за друга, Люба и Лиза поднялись по тёмной лестнице на третий этаж. Они жалели спички и долго шарили руками по промёрзлой стене, нащупывая дверь. И вдруг ясно услышали за дверью сердитый женский голос:

— Чтоб сейчас же наколол, ирод несчастный! Чтоб сейчас же!

Они постучались, тот же голос ответил:

— Входите, кому надо, не закрыто.

Войдя, они споткнулись на чурки дров, раскиданные по прихожей. В кухне горела коптилка. Седая старуха в ватных штанах, обкрученная серым платком, стояла посреди кухни с топором в руке.

— Ну, кто там? — недоброжелательно спросила она, вглядываясь в темноту прихожей.

— Мы с завода. К товарищу Солодухину. . к Михаилу Ильичу.

— Так! — зловеще сказала старуха. — Так, — повторила она грозно, обращаясь куда-то в угол кухни, не видный из прихожей. — Дожил, Михаил Ильич! Кланяться тебе пришли с завода! В ножки кланяться!

— Да нет, — испуганно сказала Люба. — Мы навесить..

— Вот, вот! — подхватила старуха. — Слышишь, старый гриб? Вояка несчастный! Уж лучше бы ты на самолёте улетел, птичка божья!.. — Она

вспомнила про гостей и смущённо смахнула с табуреток щепки. — Чего же вы стоите, барышни? Проходите садитесь да полюбуйтесь на своего Михаила Ильича, больно хорош!

На диване, загромоздившем половину кухни, лежал закутанный пледом Солодухин. Лицо его опухло и не выражало ничего, кроме досады, что его беспокоят. Но старуха пригляделась, узнала Любу и с новой яростью набросилась на мужа:

— Старый хрыч, директорская жена за тобой бегать должна, совести тебе нет! Остался на мою голову! Петушился, хорохорился — а где твоя прыть? Чего глаза воротишь? Погляди! Люди к тебе пешком тащились по морозу, на красоту твою любоваться. Тьфу!

Люба растерялась, но Лиза со свойственным ей равнодушным спокойствием стала говорить, что завод понимает, ценит Михаила Ильича и оставил ему место в стационаре, где будет усиленное питание, чистота и тепло. Солодухин впервые поглядел на нее и вяло сказал:

— Да что уж... помираю..

— Дурак ты, прости господи! — с сердцем бросила старуха, ушла в прихожую и загрохотала там дровами.

Лиза вышла за нею в прихожую.

— Зачем вы его так?.. Видно же, болен человек. Дистрофия у него.

— А у меня не дистрофия? — злым шопотом сказала старуха. — А у тебя не дистрофия? Ты на себя в зеркало давно не глядела, а то слегла бы тоже — «помираю!..» Так все лягут! Говорю ему — иди, старый чорт, наколи дров, разогрейся, да сходи на завод, погляди, как другие люди ходят... — Она — приблизилась к Лизе и шепнула ей на ухо: — Помирают, когда дух ослабнет... когда руки опускают. . А что, он болен — верно, болен. Так нынче кто здоров? — Она вздохнула и с робкой надеждой спросила: — А что это за стационар такой?

Люба, оставшись вдвоём с Солодухиным, под села к нему на диван и тихо сказала:

— А я к вам от Владимира Ивановича. Очень вы нужны, Михаил Ильич. Прямо беда без вас... Владимир Иванович просит, если только можете подняться, мы вас на саночках свезём...

— Зачем это я понадобился? — недоверчиво спросил Солодухин и приподнялся. В тусклых глазах его засветился огонёк заинтересованности .

— Вы же мастер... — с упрёком сказала Люба, так как не знала, что придумать.

— Я мастер, когда завод работает, — сказал Солодухин. — А что мне сейчас делать? Заместо маховика приводы крутить?



— Станки спасти надо, — придумала Люба. — Отеплять их нужно. Сейчас электричество наладили, скоро завод опять пойдёт... а мы пока станки загубим!

Солодухин закричал и спустил с дивана ноги в громадных валенках. Он слёг на следующий день после того, как остановилось производство, и слёг именно потому, что производство остановилось. Как старый верный конь, ходивший в одной упряжке и по одной дороге всю свою жизнь, он растерялся и почуял смерть, когда не стало привычной упряжки и некуда было идти.

Посидев на краю дивана, Солодухин попробовал встать, но не смог. Жалким, беспомощным взглядом повёл в сторону прихожей, где гремела дровами старуха.

— Марья! Марьюшка! — позвал он тонким, сорвавшимся голосом. И повалился назад, на диван: — Нет, не дойти мне... видно, конец Солодухину...

Но глаза его требовательно, призывно смотрели на Любу.

— Саночки у вас есть? — спросила Люба у старухи. — Мы его свезём. В стационаре отойдёт.

Старуха загремела в чулане, вытащила детские санки.

— Только вы до этого стационара встряхните его... к директору, что ли... или в цех... а то ведь помрёт... — шепнула она Любе и стала быстро и ловко собирать мужа в дорогу.

— Грязный он больно, — со стыдом сказала она. — В кухне мыла его — так это разве мытьё? Да и упрям! Который день рожу сполоснуть отказывается.

— А у нас горячий душ, — похвасталась Люба. — Мы его прямо под душ повезём. Бельё чистое у вас найдётся?

Когда Солодухина обрядили, вывели под руки во двор и усадили на санках, для верности привязав его за ноги шарфом, старуха засуетилась, завздохала, потянула Любу в сторонку:

Голубушка моя... Уж не знаю, как и сказать... Не привычен он к чужому уходу... тридцать лет я за ним, как за дитём, хожу... А ведь слаб... помирает... Можно мне с вами? Я бы там обмыла его, одела... и других, если надо, обмою... Всё, что хотите, делать буду... — Она со страхом покосилась на тёмную лестницу, по которой они спускались — По всей лестнице ни одного жильца... Ну, куда я одна? Ведь пропаду...

— В душевой работать, больных обмывать — возьму, — строго сказала Люба, вспомнив, как Курбатов отказался от ее помощи. — Только старика своего не выделяй, за всеми ухаживать равно.

Лиза и Люба впряглись в лямки саней, старуха подталкивала сзади, держа мужа за плечи. Старик был или казался очень тяжёлым. Больше часа двигались они по ухабам, по смёрзшимся колеям. Уже совсем стемнело. Старик задремал или впал в забытё. Но когда подъехали к заводским воротам, он вдруг встрепенулся и закричал с испугом:

— Стой, девушки, стой! Развязывай!

Он хотел войти в завод, как всегда, на своих ногах. И пошёл, подняв голову, даже не опираясь на предложенную ему руку.

В душевой старуха размотала платок, сняла одну тёплую кофту, потом вторую, потом третью, потом спустила ватные штаны и осталась в ситцевом платье. Засучила рукава, повязала голову белой косынкой, сама основательно помыла руки и лицо, охнула от удовольствия и спросила:

— Ну, чья очередь? Отмою, что твоя банщица!

Больных привезли уже много, Люба на-глаз определила, кто наиболее слаб, и установила очередь. Солодухин весь обмяк, послушно ждал очереди и преданно следил за каждым движением своей старухи.

Возле душевой Любу поджидал Сашок, которому было поручено собрать в стационар людей, находящихся на заводе.

— Кораблёв отказывается!

— То-есть, как отказывается?

— Наотрез отказывается. Не идёт.

Люба нашла Кораблёва на заднем дворе, где несколько рабочих и работниц распиливали на дрова брёвна и доски от разобранного склада. С ввалившимися глазами, с почерневшим лицом, Кораблёв азартно колот дрова.

— Не пойду, — сказал он, увидав приближающуюся Любу. — Во вторую смену пойду, а в первую не пойду. Больнее меня люди есть. Любого берите.

— Григорий Васильевич, это приказ директора, — сказала Люба.

— Приказ директора у меня есть: топливо обеспечить, — возразил Кораблёв и со злобою обрушил топор на толстую чурку.

Топор вонзился в чурку, но не расколол её. Кораблёв хотел поднять чурку и не мог. На глаза его вдруг набежали слёзы.

— И чего вы все ходите, душу надрываете! — закричал он, выпуская топор и чурку. — Желających много, вот и лечите. А мне сейчас в санаториях разлеживаться недосуг...

— Григорий Васильевич, директор приказал, — повышая голос, повторила Люба. — И работать вы будете. Спать и питаться в стационаре, а днём работать. Если вы не хотите подчиниться, идите говорить с

директором.

К девяти часам вечера все пятьдесят больных были обмыты, переодеты, осмотрены врачом.

Яркая лампа под домашним оранжевым абажуром заливала светом стол, покрытый белой скатертью. У каждого прибора лежал вечерний паёк — кусок чёрного и кусок белого хлеба. Официантки в белых передниках внесли ужин — по тарелке овсяной каши с жиром и по стакану соевого молока. Тарелки были маленькие — на этом настояла Люба, потому что небольшая порция каши на большой тарелке показалась бы ничтожной, а маленькие тарелки были полны.

Чисто отмытые, обогревшиеся люди смотрели кругом замороженными глазами и старались есть нежадно, неторопливо. К концу ужина подошёл Владимир Иванович, попросил себе стакан чаю, сказал:

— Ну, друзья, помирать мы не будем. Скоро дадут ток, так что давайте подумаем, как нам возродить завод.

А на тёплой кухне Люба привалилась спиной к плите, сказала поварихе:

— Я только чуть-чуть посижу...

И мгновенно заснула, покачиваясь и жалостно вздыхая сквозь сон.

Объявление было так необыкновенно, что Мария дважды возвращалась к афише и перечитывала её. Да, она не ошиблась и не приняла старую афишу за новую. 11 января в здании Капеллы состоится общегородской вечер интеллигенции, на котором выступят писатели, художники и учёные.

Мария с уважением отметила каждого участника и задержалась на одном имени. Она давно любила этого поэта, романтического и мужественного, в чьих стихах чувство всегда обогащалось мыслью и мир человека расширялся до границ вселенной. Уже во время войны она перечитала его довоенную книгу стихов о Европе. Книга показалась ей вещей и тревожной, как набат. Стихотворение «Противогаз» Мария знала наизусть и всегда вспоминала, надевая надоевшую зелёную сумку. А в последнее время ей не раз приходили на память другие строки поэта, будто написанные сегодня, о страстном упорстве ленинградцев — «но мёртвые, прежде чем упасть, делают шаг вперёд». И ей казалось, что если она и умрёт, то только так — на ходу, в каком-то последнем упрямом усилии.

За окошечком кассы, закутанная до глаз, в двойных перчатках, сидела кассирша. Мария спросила:

— Ну как, покупают?

И кассирша, оживляясь, ответила ей:

— Представьте себе, уже девяносто три билета продала. С вашими — девяносто пять.

Выйдя на улицу, Мария увидела уличные часы — они показывали половину восьмого, но верить им нельзя было — стрелки давно остановились. Во всём городе остановившиеся стрелки часов показывали разное время — время своего последнего усилия. Мария старалась не замечать их, они напоминали ей о каком-то страшном заколдованном доме, где всё умерло, всё окостенело. И сейчас она с досадой отвела взгляд, но вспомнила о купленных билетах и тряхнула головой — в вымершем доме не может быть вечера интеллигенции, дом не вымер и не вымерет... И она пойдёт на этот вечер с Каменским и, может быть, скажет ему потом: «Не уходите... Не уходи...» Он ждёт её слова, давно ждёт. Как объяснить ему, что она рада бы ответить ему от всей души, но слишком напряжены сейчас нервы, слишком изнурёно, иссушено голодом тело, слишком отягощён заботами и тревогой мозг. А любовь должна быть красивой и ясной,

страсть — полнокровной. Мы же не обречённые. Если бы я не верила в то, что всё вернётся, я бы сегодня же сказала — не уходи, Леонид... Но я знаю — всё вернётся. Подождём немного, Леонид, я всё равно скажу вам это слово..

— Леонид Иванович, я вас приглашаю на литературный вечер, — говорила она часом позднее, закрывшись в своей штабной каморке и торжественно улыбаясь телефонной трубке.

— Хоть на край света, — тихо сказал голос Каменского. — Вы это серьёзно?

Она рассказала об афише и об остановившихся часах, о девяносто пяти проданных билетах и о том, кто будет выступать.

— В том, что они здесь, есть что-то обнадеживающее, правда? — сказала она. — Было бы безопаснее, и, наверное, полезнее для искусства и науки, если бы они находились где-нибудь далеко. Но мне почему-то приятно знать, что они здесь, ходят по этим же улицам, слышат тот же свист снарядов.

— Я бы предпочёл, чтобы никто из нас не слышал этого свиста, — ответил Каменский. И, подумав, добавил: — Безопаснее — да, вы правы. Но... полезнее? Нет! Я не понимаю художника, который добровольно отказался от таких золотых россыпей материала.

— Золотых россыпей?

— Конечно! Для писателя его материал — человек. А человек никогда не раскрывается так полно, как в испытании. Сейчас всё обнажено, всё раскрыто — и подлость, и благородство. Можно десять лет прожить рядом с человеком, и узнать его по-настоящему в один месяц войны.

— Да... — обронила Мария, вспомнив Бориса Трубникова.

Воспоминание было неприятно ей.

— Да, — резко повторил Каменский, уловив её мысль и тоже вспомнив своё. — Да, всё познаётся — и к лучшему.

Они поговорили ещё о том, о сём, так как обоим не хотелось кончать разговор. Вошла Григорьева, потом вышла, через десять минут вошла снова и неодобрительно покосилась на телефонный аппарат.

— Меня ждут, — сказала Мария. Но Каменский так явно кружился вокруг какого-то очень важного для него, но трудного вопроса, что она спросила: — Вам нужно что-то сказать мне... Леонид?

Короткое молчание в трубке сменилось стремительным вопросом:

— Мне нужно спросить вас, дорогая, возьмёте ли вы к себе моего сына, когда кончится война, захотите ли вы принять его вместе со мной?

Сдерживая волнение, она прерывисто ответила:

— Да. Конечно. Вместе с вами.

Ответом было молчание. Такое долгое, что она усомнилась, слышал ли он её ответ, не разъединила ли их телефонистка, и сказала:

— Алло!

В ту же секунду она услышала его напряжённое дыхание, а затем возбуждённый голос почти крикнул ей:

— Мне необходимо увидеть вас немедленно!.. Я сейчас разобью телефон!

Оглядываясь на Григорьеву, она мягко попросила:

— Не надо разбивать его. И не торопитесь... Леонид. Подождите... хоть немного. Надо.

— Хорошо, — сухо ответил он и повесил трубку прежде, чем она успела попрощаться.

На следующее утро он сообщил ей, что срочно выезжает на фронт и не вернётся к воскресенью. Мария почти обрадовалась. Предстоящая встреча с Каменским пугала её. И невыполнимой, непосильной казалась затея с литературным вечером — собираться, выходить из дому на мороз, идти пешком и два-три часа сидеть в холодном зале, на-людях...

Но в воскресенье утром она проснулась бодрою, и собственное истощённое тело показалось ей чужим, настолько его слабость не соответствовала интенсивности мысли, необычности чувства. Мироша накормила её и Андрюшу завтраком — ломтиком хлеба с чашкой отвара из сушёных корней, похожего на крепкий бульон. Отвар не насыщал, а только согревал желудок. Но Мария подумала, что ей этого достаточно, что она может прожить так очень долго, что она научилась обходиться без пищи. Ощущение независимости и какой-то освобождённости от тела было чудесно.

Мироша одела Андрюшу, закуталась в платок и повела мальчика гулять. Ничто не могло заставить её отказаться от прогулок с Андрюшей: «Весь день в потёмках, в копоты, без питания, — говорила она, — разве можно его без свежего воздуха оставить?» И она ползла по лестнице, держа малыша за руку, и нежно болтала с ним. Если бы у неё отняли заботу о мальчишке, она, наверное, умерла бы в тот же день.

А где-то по Выборгской стороне, по тропинке, обозначающей проспект, шагает с дежурства Анна Константиновна... Она говорит, что ей помогает идти музыка. Она мысленно проигрывает знакомые вещи — чаще из своего фортепианного репертуара, иногда хорошо известные ей симфонии. Если какое-нибудь место вдруг «проваливается», Анна Константиновна огорчается и по приходе домой роется в нотах, однажды

даже села к роялю и загрубевшими, негибкими пальцами проиграла забытое место... Семь километров туда, семь километров обратно — что поддерживает её жизнь? Любовь? Гордость? Требовательность к себе?..

Быть требовательной к себе. Сначала Марии было очень трудно всегда требовать от самой себя высшего напряжения сил, потом это стало легко. В последнее время она уже не замечала трудности каждого усилия. А вчера вечером ей показалось, что она всё может, что у неё сил хватит для любого дела. Если бы она могла рассказать об этом Сизову!. Нет, ни ему, ни даже Каменскому не могла бы она рассказать, что произошло вчера. Стыдливость удержала бы слишком взволнованные слова, а иначе это и не передать.

В штабную каморку на объекте пришло трое — Никонов, тётя Настя и высокая, сухопарая работница Клавдия Смирнова, специально вызванная из-за города, с железнодорожного участка, где она руководила очисткой путей. Мария почти не знала её, в общежитии жила только пятнадцатилетняя дочка Смирновой Вера, длинноногая и тоже сухопарая девочка, говорившая с уважением: «Мать приказала держаться». Смирнова вошла в каморку, скинула платок, обтёрла тающие снежинки с седеющих волос и красивого, строгого лба, сказала:

— Здравствуй, товарищ Смолина. А где остальные?

Её присутствие внесло холодок официальности в домашнюю простоту отношений, установившихся между Марией, Никоновым и тётей Настей. За столиком, вокруг чадящей коптилки, сели все четверо, трое — как хозяева, а Мария чуть в сторонке. Никонов вывел на листе чистой бумаги: «Протокол».

— Сегодня у нас один вопрос, — сказала Смирнова. — Заявление товарища Смолиной Марии Николаевны.

Заседание пошло так, как полагается итти таким заседаниям, — Смирнова, запинаясь и держа бумагу возле самой коптилки, читала заявление и автобиографию Марии и рекомендации. Потом Смирнова сухо доложила, что все документы в надлежащем порядке, и Марии стали задавать вопросы. Хотя ни в самих вопросах, ни в голосах членов партийного бюро не было ничего торжественного, с каждым вопросом у Марии росло ощущение торжественности происходящего события. Пусть она отвечала самым деловым образом на деловые вопросы о том, как она контролирует расход продуктов в столовой, сколько лежащих дистрофиков в общежитии, как она обеспечивает противопожарную оборону дома во время обстрелов, — всё это только подчёркивало, что происходит торжественное посвящение её в члены великого братства, где труд и

помыслы, жизнь и смерть каждого подчинены единой грандиозной цели и единой, всеобъемлющей ответственности.

Потом все по очереди высказались. Никонов вспомнил о спасении отопительной системы, тётя Настя рассказала о том, как Мария организовала тушение пожара и как она помогала ослабевшим людям. Потом строгим голосом говорила Смирнова о том, что по отзывам всех рабочих, живущих в общежитии, товарищ Смолина «ведёт большую работу по поднятию духа в общежитии и против распущенности, вшивости и антисанитарии». И тем же строгим голосом, без паузы, спросила:

— Будешь говорить, Марья Николаевна?

Подчиняясь внутреннему побуждению, Мария встала и сказала:

— Я клянусь. Клянусь быть во всём и всегда коммунистом. Оправдать доверие.

— Блокаду выдержишь — вот и оправдаешь, — впервые ласково сказала Смирнова и предложила членам бюро голосовать.

Три натруженные, потрескавшиеся на морозе руки поднялись, освещённые колеблющимся светом коптилки. И Марии показалось, что никогда не было и, наверное, не будет церемонии торжественнее и значительнее, чем дружное движение этих трёх усталых, обтянутых почерневшей кожей, выносливых рук.

Медленно шагая по пустынной улице, подёрнутой морозным туманом, Мария вспомнила эти три руки, простым движением изменившие её жизнь, и снова ощутила: «Я всё могу... меня на всё хватит. .»

В полупустом зале Капеллы было холоднее, чем на улице. От промёрзших каменных стен веяло ледяною сыростью. Шубы, ватники, военные шинели и полушубки, валенки и толстые рукавицы, тёплые платки и шарфы, обмотанные поверх шапок и шляп, — всё придавало залу необычный, диковинный вид. Неужели в этот самый зал школьницей прибежала Мария слушать громовой голос Маяковского? Неужели вот на этом боковом диване она, ещё ничего не зная о страдании и о смерти, старалась понять и прочувствовать «Страсти» Баха? И неужели в этом же четвертом ряду она сидела нарядная, возле Бориса, и восторженно рукоплескала певице в белом сверкающем, очень открытом платье?..

Пар от дыхания густыми облачками поднимался над рядами. Громко никто не разговаривал, и никто не смеялся, но даже сквозь обычную в те дни замедленность движений и речей пробивалось оживление.

Притопывая валенками, Мария побродила в глубине зала среди таких же притопывающих мужчин и женщин.

Кто-то потянул Марию за рукав. По характерному выражению энергии



и насмешливости на пепельно-сером, но чисто выбритом лице Мария сразу узнала случайного прохожего, встречавшего вместе с нею Новый год.

— Опять пешком с Охты? — шутливо упрекнула она.

— Два раза подряд таким манером на банкет не попадёшь, — отшутился он. — Проголосовал на попутную машину. Со всем удобством.

— А... дочку нашли?

— Не застал уже... — отводя взгляд, коротко ответил он. — Сыночка её застал. К себе свёз. Может, и выживет.

Помолчав, он оживлённо заговорил:

— Вот, пришёл послушать. Помните, говорили тогда?.. Хочу убедиться. Должны они записывать. Всё как есть, день за днём. Как думаете: записывают?.. И художники тоже. Не знаю, может быть такая картина, чтобы всё это выразить?..

— Не знаю, — сказала Мария. — Но если такая картина невозможна, зачем вообще нужно искусство? Тогда оно бессильно.

Под звон колокольчика, возвещавшего начало, они прошли в первые ряды.

— Честное слово, Муся Смолина! — воскликнул кто-то неподалеку от Марии. Она оглянулась, узнавая голос и не помня, кому он принадлежит. Двое мужчин в меховых шапках, обмотанные шарфами, радостно кивали ей. Лица обоих были ей несомненно знакомы, но худоба и нездоровая бледность, должно быть, старили и видоизменяли их.

— Здравствуй, дорогуша, — сказал один из них, перегибаясь через кресло. — А я думал, ты где-нибудь за Уралом или в Самарканде! Как же ты, а?

— А почему ты не на Урале и не в Самарканде? — ответила Мария, стараясь вспомнить, кто это.

— Всё такая же самостоятельная и своевольная Смолина! — заметил второй, сжимая и потряхивая руки Марии. — До чего же мы умно сделали, Петро, что пришли сюда. Вот и встретились, блокадная интеллигенция!

Мария как-то вдруг признала обоих своих товарищей по институту — Петра Головань и Сеню Одинцова. Теперь ей казалось, что они мало изменились, и странно было, что не узнала их сразу. Она вспомнила, как приходила к ним в архитектурные мастерские и придирчиво рассматривала разработанные ими проекты жилых домов. Она слегка завидовала им тогда — строить дома в Ленинграде было её мечтой. А они спрашивали её о проекте санатория, и она обещала показать им проект во вторник. Но во вторник уже шла война, и встретились они только недели три спустя. Мария строила оборонительные линии, а городские архитекторы были

заняты маскировкой электростанций, заводов, исторических зданий...

— Ты что же теперь делаешь, Муся?

— Я? Не шутите со мной, — начальник объекта.

— Подумаешь! Я сам старший пожарный!

— Были мы когда-то архитекторами или не были? — с грустной насмешкой спросила Мария.

— Что ты, Муся! Самая злободневная профессия!

— Злободневная?

— А как же!

Они рассказали ей, что в мастерских города уже разрабатываются проекты восстановления разбомблённых зданий, что задание дано — не просто восстанавливать, а при этом улучшать, совершенствовать и внешний вид, и внутреннее устройство домов. После восстановления Ленинград должен стать ещё прекраснее.

На миг острая зависть опять шевельнулась в душе Марии. На миг она вообразила себя склонённую над чертёжным столом в мастерской, среди товарищей по профессии, увлечённых общим профессиональным делом... Споры обсуждения, сопоставления различных проектов... И не надо заниматься добыванием воды, топлива, не надо «бороться со вшивостью и антисанитарией», не надо ежедневно обходить лежащих дистрофиков, борясь за спасение каждого и не имея основного, что может поддержать угасающую жизнь, — питания и тепла...

— Приходи к нам, Муся, — сказал Одинцов, оглядываясь на сцену, где уже рассаживались участники вечера. — У нас людей не хватает, тебя примут с охотой. Придёшь?

— Потом поговорим, — бросила Мария и села на своё место. Три руки, три натруженные руки поднялись перед её глазами. Она поклялась быть всегда и во всём коммунистом... не значит ли это, что она всегда и во всём должна идти по линии наибольшего сопротивления?..

Её сосед, человек в полувоенной, полустатской одежде, какую многие носили в те дни, вдруг повернулся к ней и спросил:

— Вы издали пришли сюда?

Мария не сразу ответила. Не вопрос поразил её, а лицо этого человека — здоровое, с раздумывавшимися на морозе щеками.

Получив ответ, сосед Марии продолжал, будто заполняя анкету:

— А вы кто? А что вы сейчас делаете?

Мария ответила и с усмешкой спросила тем же тоном:

— Ну, а вы кто и что сейчас делаете?

— Поражаюсь, — сказал странный человек и положил не

защищённую перчаткой руку на толстую рукавицу Марии. — Нет, право, я второй день в Ленинграде и не могу притти в себя. Поразительнее всего то, что я приехал сюда размещать заказ. Заказ метро. Я не верил, что сейчас здесь заказ можно выполнить. Когда я узнал, что ленинградцы добиваются этого заказа, я думал — это бред! Теперь я верю всему. Мне рассказывали о Ленинграде много. Я был подготовлен. Но, понимаете, всё оказалось не так. Во многом здесь хуже и страшнее, чем я думал, — издали всего не представишь себе. Но общий дух города... завод, где я был вчера... этот вечер... Нет, поразительно!..

— Вы сказали — заказ метро? — живо откликнулась Мария. — Значит, метро продолжают строить?

— Вы же проектируете дома? Почему же москвичам не строить метро?

Вокруг захопала, и Мария оторвалась от разговора, чтобы приветствовать докладчика. Невысокий и очень коренастый, он бочком пробирался к трибуне, втянув крупную, приплюснутую чёрной меховой шапкой, голову в широкие плечи, обтянутые флотской шинелью. Он молча потоптался на трибуне, как бы утверждаясь на ней, оглядел собравшихся маленькими, остро-внимательными глазками и негромко бросил:

— Товарищи ленинградцы!

Марии говорили, что докладчик — прирождённый оратор, и сперва она с разочарованием слушала его однотонный, хрипловатый, даже немного вялый голос. Но после первых нескольких фраз голос как бы разогрелся и начал набирать силу и звучность. Новые интонации появлялись и затухали, чтобы возникнуть вновь с возрастающей выразительностью.

Докладчик говорил о войне, о блокаде, о сопротивлении, о немцах. Заговорив о немцах, он весь вскинулся; жгучая искра насмешки блеснула в его речи и отсветом пробежала по лицам слушателей. А докладчик рубанул воздух рукой и закричал:

— Просчитаются — и уже просчитались полностью!

В следующую минуту он скинул шапку и зажал её в кулаке, размахивая ею в ударных местах своей речи. Вялости и однотонности как не бывало. Его богатый оттенками, напористо-страстный голос завораживал.

Ещё минута — и шинель сброшена, презрительно откинута назад. Свободные и пылкие движения всего тела подкрепляют речь. В морозном зале оратору жарко, кажется, он сейчас рванёт ворот кителя... Листочки с записями, в которые он сначала заглядывал, разлетелись от стремительного

взмаха руки. Оратор небрежно смахнул оставшиеся — ему уже не нужны были никакие тезисы, речь его складывалась свободно и прихотливо по вдохновению, иногда, должно быть, неожиданно для него самого. Факты и доказательства приходили сами, не извне, а от внутреннего убеждения оратора. Он искал не мелкого правдоподобия, а большой и конечной правды. Должно быть, он и не задумывался над тем, действительно ли немцы уже сегодня полны уныния, тоски и сознания обречённости. Он хотел видеть их такими и знал, что с точки зрения большой исторической правды они обречены — значит, будем смотреть на них, как на обречённых, как победители на побеждённых!

Мария вспомнила слова Григорьевой о немцах, сказанные в новогодний вечер: «Разве немцы могут трезвыми в будущее заглядывать?» И всей душой поверила, что и Григорьева, и писатель правы.

— Не точно, — заметил кто-то за спиной Марии, когда докладчик привёл цифры военного потенциала немцев.

Мария с досадой передёрнула плечами. Точность цифр не имела для неё никакого значения. И неслыханные бедствия борьбы тоже перестали ощущаться ею. Оратор был точен в том основном, ради чего пришли сюда люди, — в настроении, в готовности сопротивляться, в уверенности, что победа будет завоёвана. Его речь всё чаще прерывалась рукоплесканиями — всеобщими, но необычно глухими: все руки были в перчатках и рукавицах. Рукоплескания сопровождалось ещё более глухим топотом — слушатели топтали валенками, выражая своё одобрение и одновременно стараясь согреть застывшие ноги.

Ощущение победы реяло в промёрзшем зале. Победу предвещало всё — и само собрание, и речи выступавших учёных и художников, и прочитанные рассказы и стихи.

К трибуне вышел высокий седоволосый человек в армейской шинели. Его глубоко посаженные светлые глаза над вздёрнутым носом и все выражение его худого, с обтянутыми скулами, лица были странно молоды, и так же молодо звучал его несильный простуженный голос. И Марии почудилось, что все собравшиеся вместе с поэтом высказывают своё настроение.

Тряси же, фашист, головою,  
Гляди, обалдельный солдат,  
Как море шумит грозное,  
Шумит грозной Ленинград!

Но всё это только начало,  
Та буря копилась давно,  
То море уже закачалось,  
Уже не утихнет оно.

Всей кровью фашистскою черной  
Той бури врагам не залить, —  
Так жги их, наш гром рукотворный,  
Гроза ленинградской земли!

По окончании вечера Мария задержалась с друзьями у выхода. Никому не хотелось расходиться.

— Нет, к вам я пока не пойду, — сказала Мария в ответ на новое предложение Одинцова. — Может быть, потом, когда полегчает. Но я сегодня же вытащу свой проект санатория, помнишь? Чтоб не разучиться...

— Ну, смотри, — недовольно сказал Одинцов. — Сейчас тебя примут охотно, людей нету. А потом труднее будет. Так и останешься — на область работать.

— На область тоже интересно, и нужно, — гордо возразила Мария.

— Всё такая же!

— Не такая же, а ещё упрямее, — подхватила Мария. — Разве ты не заметил, что блокадная жизнь развивает упрямство?

К ним подошел ещё кто-то знакомый — Мария не узнавала лица и даже не распознала сразу, мужчина это или женщина. Из-под мехового полушубка виднелись ноги в ватных штанах и добротных, обшитых кожей валенках. Шапка-ушанка задорно сидела на коротких с проседью полосах. Резкие черты уже немолодого, тронутого морщинами, лица могли принадлежать мужчине, если бы их не смягчало какое-то неуловимое, материнское выражение глаз.

— Вы же знакомы, Муся, — напомнил Одинцов.

Вглядевшись, Мария узнала скульптора Анну Васильевну Извекову, давнюю приятельницу Одинцова. До войны Мария бывала с Одинцовым в её мастерской. Марии нравилась эта маленькая, энергичная, мужеподобная женщина, царившая в большой холодной комнате среди глыб камня и мокрой глины. В замызганном комбинезоне, со своими инструментами, напоминающими о труде мастера, с силою чернорабочего в больших, испачканных глиною руках с короткими ногтями, Извекова работала много, неутомимо и размашисто. У нее всегда было несколько начатых работ —

одна основная, другая — для отдыха. Она лепила широкими мазками, грубовато, с мужской суровостью и точностью. Людей она разглядывала жадно и пристально, не стесняясь, азартно отмечая и запоминая те черты и движения, которые могли ей пригодиться. Мария ей понравилась с первого взгляда, она даже хотела лепить её, а потом смутила Марию замечанием, что в ней «слишком много неопределившейся женственности»

— А вы остались здесь? Очень, очень рада, — сказала Извекова, потрянув руку Марии и вглядываясь в её лицо пристальным, изучающим взглядом. — Я так и думала, что вы остались. И не случайно, а по убеждению.

— Почему?

— А кто его знает, почему! Понимать понимаю, а объяснить не мастерица. Было в вас и раньше что-то такое...

— От Жанны д'Арк, — подхватил Одинцов.

— Такое определение я уже слышала раз, в очень обидном, презрительном смысле.

— Значит, от дурака или от подлеца слышали, — веско бросила Извекова и мужским движением подтянула ремень, стягивавший её полушубок. — Ну, что, пошли или будем — мёрзнуть здесь?

У выхода стали прощаться. Извековой оказалось по пути с Марией, они зашагали в ногу, как два солдата, быстрым шагом, и Мария не чувствовала слабости, так хорошо у неё было на душе. Она рассказала Извековой свой разговор с новогодним прохожим об искусстве.

— Понимаю и вас, и его, — сказала Извекова. — А запечатлеть вот это наше страдание не могу... и не хочу. Художник один, друг мой большой, ходит сейчас как одержимый и рисует. Из окон домов, в булочных, даже на улице. И не только рисует, даже маслом пишет. Подышит на руки — и пишет. Я говорю: «Ведь помрёшь». А он говорит: «Помру, а это всё останется как свидетельство современника». Ну, в живописи, в рисунке — там другое. А мой материал — человек, его тело. Лепить вот таких, как мы? Истощённых, обтянутых кожей, с запавшими глазами? Дистрофиков?.. Страшно! Страшно. . и неверно. С профессиональной точки зрения это интересно. И легко. Очень скульптурно, что ли. А по содержанию — душа протестует. Мы вот ходим, пошатываемся, а я чувствую всех нас — всех! — здоровыми, могучими, прямо богатырями. Да богатыри и есть. А как это вылепить?

Помолчав, она сказала без тени сожаления:

— Материал у нас неподвижный статичный. Мёртвый. А выразить надо жизнь. Вот я лепила голову бойца. Бойца, идущего в бой, полного

гнева и решимости уничтожить врага. Передать это можно, схватив выражение. Но ведь кроме этого чувства, охватившего бойца сейчас, мне нужно передать весь его душевный мир советского человека. Что он добр и великодушен, любит труд, детей, веселье, может быть, закат над рекой или утреннюю росу на лугах... А сейчас знаете, чего мне хочется больше всего? — перебила она самое себя. — Хочу вылепить фигуру девушки — здоровой, цветущей девушки с корзиной тяжёлых, сочных плодов. Яблоки — огромные, душистые. Виноград — в больших, тяжёлых гроздьях...

Мария сбоку покосилась на собеседницу, Извекова понимающе подмигнула:

— Думаете, бред голодного?. Мечты дистрофика?. Нет. Это — утверждение жизни, если хотите. Ведь всё это будет. Вернётся. Я и сейчас леплю всё здоровые, сильные фигуры. Только трудно стало большие фигуры лепить. В мастерской — морозище, глина стылая, в руках нет силы. И спина сдаёт — а нам спина нужна выносливая, рабочая... И всё-таки начала я фигуру партизанки. Молодой, крупной, налитой, упрямой.

— У меня есть знакомая девушка, она теперь партизанка, — сказала Мария. — Оля её зовут. Молоденькая, почти девочка ещё, и даже, пожалуй, хрупкая. Очень любит стихи. А пошла партизанить. Это, по-моему самое удивительное и примечательное.

Извекова молчала, обдумывая. В её сложившееся представление должен был улечься новый образ.

— Знаете, в каждом деле есть своя логика, — сказала она, наконец. — В начале зимы я лепила маленькую группу — «Кровь за кровь». Над поверженным немцем стоит с автоматом наш боец, мститель. Боец получился. Чувствую, что получился. А немца я вылепила живым — извивается, цепляется руками за ступени, злобный оскал на лице... Стала у меня комиссия принимать, да и товарищи тоже, все в один голос говорят: разве это кровь за кровь, если немец у тебя жив? Убей его. А я умом понимаю, а чувством не могу. Понимаете? Жив для меня враг. Город окружил, лезет к нам, бомбит, стреляет, душит нас... Ещё не чувствую я его мёртвым. А не чувствую — значит и изобразить не могу.

Прощаясь на углу, где им надо было разойтись в разные стороны, Мария сказала:

— Мне кажется, скоро вы сможете. Я сегодня как-то особенно верю в победу.

Извекова тряхнула её руку, пошла прочь, обернулась, крикнула:

— А я вас всё-таки буду лепить. Обязательно буду.

Поднимаясь домой, Мария с удовольствием думала о том, что она

вытащит из пыльного угла свои незаконченные чертежи и начнёт работать, хоть понемножку, но начнёт. Нельзя разучиваться, нельзя отставать.

Она открыла дверь квартиры своим ключом и в темноте коридора наощупь добралась до жилой комнаты.

В комнате стоял серый чадный полумрак. На детском столике дрожал огонёк коптилки, и в кругу её жидкого света Андрюша, в старом пальто и вязаной шапочке, красными от холода ручонками строил башню из кубиков. Рядом с ним Мироша, прислонясь спиной к остывающей печке, штопала его рейтузы.

Мария остановилась в дверях. Она как бы впервые увидела эту убогую, бедственную картину. Андрюша радостно улыбнулся ей и что-то залопотал о кубиках. Мироша приложила палец к губам и повела взглядом в сторону дивана.

На диване, закинув назад белое, без кровинки, лицо, лежала Анна Константиновна, укрытая одеялами и пальто. На табурете рядом с нею стоял недопитый стакан чаю.

Услыхав или почуяв приход дочери, Анна Константиновна открыла глаза и забормотала несвойственным ей жалобным голосом:

— Я упала... поскользнулась и упала... на улице... стукнулась затылком... Я только немного отлежусь... Меня долго не поднимали... думали — мёртвая... А потом одна женщина... добрая душа... подняла и проводила... Мне очень холодно...

— Сейчас я нагрёю воды и поставлю тебе грелки, — сказала Мария и провела рукою по лицу, как бы снимая всё, что мешало ей вернуться в обычную жестокую действительность.

— Воды нет, — виновато сказала Мироша. — Я боялась оставить Андрюшу одного.

— Сейчас принесу, — спокойно сказала Мария и натянула на руки снятые было рукавицы.



Почти лишённый движения — без трамваев, без автобусов, без троллейбусов — Ленинград стоял запорошенный чистым, нетающим снегом. Провода, не тревожимые прикосновением, висели в воздухе толстыми белыми шнурами, как сказочное украшение. Кое-где, оборванные снарядами, они спутались в причудливые клубки. Редкие автомобили уклонялись от этих свисающих клубков, не задевая их — только струя ветра иногда взметала мелкую снежную пыль. Пустынные проспекты и улицы казались ещё шире и прямее. И стало особенно заметно, как много в городе изумительных архитектурных ансамблей — целые площади, целые улицы и скрещения улиц являли собою величественное и стройное целое, сочетаясь с туманным северным небом. В эту зиму было много снега, и деревья стояли белыми изваяниями, с корою, посеребрённую инеем, а кроны их скрывались под сплошными снежными шапками. В ранних зимних сумерках дома, поднимавшиеся над деревьями, будто висели в воздухе — не дома, а воздушные замки из далёких детских снов!

По ночам, лишённые электричества тепла и уюта, люди ценили каждый проблеск света и нередко поднимали маскировочные шторы, чтобы сквозь заледенелые стёкла проник в жилище голубой отблеск снега, освещённого звёздами, луч месяца или сияние полной луны. И не один ленинградец, прикинув к стеклу, с изумлением и гордостью вдруг видел свою улицу как бы впервые, наново открывая для себя всю строгую красоту города. И чувство восторженной любви просыпалось в самых измученных, самых суровых и сжатых болью сердцах, и говорили себе ленинградцы, говорили ещё раз и с новою силою проникновенного знания: это мой, это наш город. Его нельзя взять ни штурмом, ни запугиванием, ни измором. Устоим. Выдержим. Стиснем зубы и перетерпим.

Мария в эти январские лютые дни любила город особою, болезненною любовью. Ей приходилось много ходить пешком. С тех пор, как Анна Константиновна слегла, на Марию навалились все домашние заботы, она ходила на рынки и выменивала одно платье за другим на чашку крупы, на кусочки сахара или на ломоть хлеба. В детской консультации для Андрюши отпускали соевое молоко, за ним тоже надо было ходить. Как бы трудно и утомительно это ни бывало, долгие походы по городу доставляли Марии отраду. Шла ли она через Неву по тропинке, протоптанной среди сугробов, или малоизвестными переулками, сокращающими путь, или проходила

проспектами и набережными, где, как ей думалось прежде, она знала каждое здание, каждую линию, — всегда открывалось ей что-либо новое и прекрасное, и часто она сдерживала шаг или останавливалась на несколько минут, чтобы разглядеть и запомнить.

Прохожие, окинув её взглядом, видели усталую, ослабевшую женщину, которая остановилась, чтобы набраться сил. Да так оно и было. Ноги стали тяжёлыми и непослушными. Каждая остановка была необходимым отдыхом. Но, вопреки слабости тела, мысль работала усиленно и обострённо, все впечатления ярко отпечатывались в сознании.

Жизнь была тяжела, она была непосильна, — но, думая о своей судьбе, ставшей такой непрочной, и о судьбе вот этого томительно любимого города, Мария всё же была рада тому, что их судьбы слились в одну, что она не убежала от пытки войны, что она все это видит, вынесла и выносит вместе со своими согражданами. И только одного ей хотелось — дожить, дотянуть до конца, чтобы не унести в могилу драгоценный опыт, чтобы донести до людей — кто знает, как? — всё то, что ей открылось, почувствовалось, довелось понять. Может быть, это будет какая-то большая и очень трудная работа, которую возложит на неё партия; может быть, это наполнит новым смыслом и пониманием её творческую мысль, когда снова удастся строить на благо советским людям... А то просто — встретишь человека, и в скупом слове, во взгляде, в умении понять и помочь без навязчивости передашь ленинградское, выстраданное, выношенное в дни осады. Потому что человек, так близко увидевший смерть и страдание, силу товарищества и силу человеческой выносливости, никогда не сможет забыть, как драгоценно и как необходимо человеку счастье и тепло жизни. И когда он будет проверять самого себя наедине с самим собою, не найдётся судьи неподкупнее и требовательнее его, потому что мерилom возможного будет самое беспощадное мерило.

Так думала Мария, шагая по городу и слыша только скрип снега под своими валенками да изредка такой же скрип снега под валенками одинокого встречного прохожего. И путь казался ей короче, и ноша легче, и удавалось спокойною, невозмутимою войти в своё жилище, в его бедственный мрак.

Анна Константиновна умирала. После падения на улице она уже ни разу не выходила из дому, хотя на второй день встала и принялась за домашние дела. Силы её иссякали. Мария не сразу заметила это, было некогда, и было темно — не разглядишь лица, не заметишь движения. Потом и в полумраке комнаты она заметила, что у матери безжизненные глаза, что её движения сделались неуверенными и медлительными, что ей

стало не по силам то, что ещё недавно она делала быстро и ловко.

— Завтра пойду на работу, — каждый вечер со вздохом говорила Анна Константиновна. — Так стыдно, что я столько пропустила...

— Никуда ты не пойдёшь, — раздражённо отвечала Мария. И добавляла, обманывая и мать, и самоё себя: — Отдохни немного, отлежись, тогда пуцу.

Однажды утром Анна Константиновна не встала. К вечеру, когда Мария пришла домой, мать уже не говорила ничего, а только следила за дочерью и внуком тоскующим взглядом. Мария сварила для матери немного крупяной похлёбки, но Анна Константиновна отвела рукою ложку и еле слышно произнесла:

— Андрюше... дай...

Мария заставила себя сходить за водою для грелок. Мироша уже спала, должно быть, её силы тоже были на исходе. Борясь со сном, Мария развернула чертежи санатория и села с ними у печки... Когда она очнулась, печка давно погасла, вода в чайнике была чуть тёплой, мать спала, хрипло и протяжно дыша. Фитилёк коптилки чадил, высасывая последние капли керосина. Мария прислушалась не услышала дыхания Андрюши, подбежала к кровати — Андрюша мирно спал, обернутый ватным одеялом, как грудной младенец. Мария задула фитилёк и наощупь добрела до своей кровати.

Утром она обложила мать грелками, напоила чаем с сахаром, купленным для Андрюши. Анна Константиновна молча выпила чай и пробормотала:

— Не надо... Муся... не стоит...

А вечером Анна Константиновна уже не узнавала дочери и, видимо, не понимала её слов. Мироша испуганно сказала: «С полудня так. Только что дышит...»

Мария дотронулась до руки матери — рука была ледяная. Ни грелки, ни одеяла не могли согреть тела, израсходовавшего все силы до конца. Мария поняла, что конец близок. Но с каким-то тупым безразличием она отошла от постели матери и занялась обычными вечерними делами — накормила Андрюшу, уложила его в постель, тихонько спела ему песенку. Андрюша то смотрел на мать, то закрывал затуманенные сном глаза, иногда вкрадчиво, сквозь дрему, говорил: «мама» — Мария улыбалась ему и шептала: «Спи, моё солнышко, надо спать, спи. .»

Когда сын заснул, она прижалась спиной и заолодевшими ладонями к тёплой печке и долго не могла заставить себя посмотреть в ту сторону, где лежала мать.

Мироша стучала в кухне — готовила щепки на завтра. Стукнет раза три-четыре — и отдыхает. Когда она отдыхала, ни единого звука не раздавалось ни внутри квартиры, ни вне её. И с дивана не доносилось ни единого звука...

Мария медленно подошла к дивану. Тело Анны Константиновны уже застыло, голова была закинута назад, запавший рот приоткрыт, глаза остекленели. Мария прикрыла глаза матери и некоторое время придерживала пальцами веки, чтобы они не открылись вновь. Прикрыла рот и тоже подержала рукою челюсти, чтобы они сомкнулись. Затем всё с тем же спокойствием разыскала чистое бельё, голубое любимое платье матери, светлые чулки. С усилием приподняла уже неподатливое тело и кое-как натянула на него бельё и платье. Позвала Мирошу и жёстким голосом приказала ей:

— Помоги.

Вдвоём они завернули покойницу в простыню, вынесли в митину комнату и положили на письменный стол. В митиной комнате было морозно, как на улице. «Это хорошо, — подумала Мария, — значит, пролежит..»

— Скоро не похоронишь, — как бы отвечая на её мысль, сказала Мироша.

Вернувшись в свою комнату, Мария убрала с дивана постель матери и села у печки, завернувшись в одеяло. Мироша поставила перед нею кашу, оставленную для Анны Константиновны, и тихо сказала:

— Поешьте. Что ж поделаешь! А вам жить нужно...

Мария жадно поела и снова приникла к печке, и так просидела до тех пор, пока Мироша не уснула.

Плохая рыночная свечка быстро догорела. Больше свечей не было, и керосина для коптилки не было.

Мария задула свечу и подняла штору. Голубая волшебная ночь из детских далёких сказок смотрела ей в лицо сквозь тонко разрисованные инеем стёкла. Мария дыханием очистила кусочек стекла, протёрла его краем занавеса и увидела свой город — ночной.

затаившийся, скованный морозом и тишиной, облитый ярким лунным светом. Каменные глыбы домов, манящий просвет улицы, выходящей на набережную, бесцветные шары давно погасших фонарей, таинственно мерцающие на фоне заиндевелых зданий, — всё было мертво — ни одного проблеска света в окнах, ни одной двигающейся тени на нетронутым снегу, ни одного звука в ночи... Мария знала, что это не ночная ворожба. Остановились электростанции, прекратилась подача воды, газа, замёрзли

трубы отопления, замело сугробами трамвай... И люди истомлённые голодом, опухшие, прозябшие до нутра, люди, три месяца спокойно выносившие непрерывные воздушные налёты, артиллерийские обстрелы и непосредственную близость врага, — люди ходят из последних сил, а тысячи уже не могут ходить и умирают тихо, беззвучно, как догорают свечи — дотлела и погасла... Так умерла и мама...

«Почему я Не плачу?» — подумала вдруг Мария, с удивлением поняв, что не испытала приступа горя, не плакала над телом матери и даже не хотела плакать. «Разве я не любила её? Разве она не дорогой, не близкий, не любимейший человек для меня?»

Ответа она не нашла. Тупое безразличие было в ней, безразличие и ещё что-то, чему не подобрать определения. Она снова поглядела на город, и город сливался в её мыслях со смертью матери, с её собственной непрочной жизнью, с Андрюшей, с Леонидом Каменским — всё слилось вместе, личная судьба как бы перестала существовать. Существовал — из последних сил — Ленинград как одно целое, стиснутое со всех сторон врагами...

«Враги» — вспомнила Мария, и вдруг ненависть к ним, как живое существо, шевельнулась в её груди и потрясла её всю, до кончиков пальцев.

— Ненавижу их, — вслух сказала Мария, и тотчас мысль, единственная светлая сила в этой её недоброй ночи, поставила это страстное чувство в общую связь со всем, что наполняло и направляло её жизнь и жизнь её сограждан.

«Мы живём, стиснув зубы, — поняла Мария. — Если бы у нас было меньше ненависти и решимости, и ещё — веры в победу, мы никогда не выдержали бы. Но вот мама не выдержала? — физически не выдержала. И многим не выдержать... Так случилось с мамой, завтра так может случиться со мною, с Андрюшей... Сколько же ещё терпеть? — вдруг возропнула она. — Разве там, за кольцом, не понимают, что медлить больше нельзя?.. Неужели они не могут собрать силы и освободить нас скорее, скорее. Ведь каждый день дорог!»

«Нет, — сама себе ответила она, — значит, не могут. И там, за кольцом, не какие-то они, там тоже мы. Против кого я роппу?.. Разве мы не знаем, какая титаническая борьба ведётся за Ладогу, каким напряжением дались те лишние граммы хлеба, что нам прибавили? Сколько крови пролито в Синявинских болотах, под Волховом, у станции Мга?. А бои под Калинином, под Великими Луками — это же попытка помочь нам, освободить нас!..».

«Алёша рассказывал — непокрашенные танки прямо из заводских

ворот уходят в бой. Все средства мобилизованы, все силы собраны, удары наносятся непрерывно, то тут, то там. И уже, наверное, копится сила для решающего удара. Он будет. Сталин сказал об этом. Он никогда не говорит зря. Где он произойдёт, этот разящий удар? И скоро ли?..»

«Он произойдёт, когда будет возможно, и там, где выгоднее, — снова ответила себе Мария. В этом ночном разговоре с самой собою ей не нужен был собеседник, она чувствовала себя способною понять всё и разобраться во всём. — Будет ли это под Ленинградом?.. Может быть, и нет. Но тогда наши страдания нескоро кончатся?.. Да, тогда нескоро. Мы можем погибнуть?.. Но что значит в ходе больших битв несколько тысяч жизней? Что значит на весах войны, на весах истории жизнь моей мамы?..»

«Мы — на фронте, и тут уж ничего не поделаешь. Плохо то, что мы не воюем, что мы — мирные люди, а не солдаты. Это тяжелее всего — пассивность..»

«Пассивность?! Нет! В темноте, в холоде, без пищи, мы всё-таки работаем, работаем, каждый на своём посту. Какая же это пассивность? Всё, что нужно, делается, и город, полный смертей, всё-таки живёт, упрямо живёт! Да, тысячи людей болеют и умирают, но те, кто на ногах, выпускают снаряды и мины, ремонтируют корабли и танки, восстанавливают водопровод и электростанции, составляют проекты восстановления разбомблённых домов, пишут картины, симфонии и книги, слушают музыку, читают стихи! Когда-нибудь историк задумается: как писалась книга в январе 1942 года в осаждённом Ленинграде? Как изобретатель нашёл гениальное решение в нетопленной комнате, при коптилке? Как могли люди, падая от голода, вручную крутить машины в типографиях, чтобы выпустить номер газеты, вручную носить тысячи ведер воды на хлебозавод, чтобы во-время замесить хлеб!»

«Нет, мы не пассивны, если мы не позволяем себе плакать и отчаиваться... если мы сопротивляемся врагу во всём и держимся, держимся, держимся во что бы то ни стало».

— И мы всё-таки выдержим, — сказала себе Мария и опустила штору, потому что ледяным холодом веяло от окна. Привычно, не задевая ничего по пути, она прошла по тёмной комнате — и остановилась у двери. Ей хотелось пройти в митину комнату и взглянуть на лицо матери.

— Мама, мама, — сказала она сдавленным голосом, приложив ладони к двери и закрыв глаза. — Мама, мама, родная моя, — сказала она ещё и, почуяв поднимающееся рыдание, резко повернулась, поправила на Андрюше одеяло, перевернула на печке сохнувшие щепки, постелила себе постель. Боль растворилась в повседневных заботах. А когда Мария,

наконец, легла, особое чувство злого спокойствия владело ею. Она прижалась щекой к нагретой у печки подушке, вытянула ноги, плотно закутанные одеялами, и быстро заснула — сном без единого проблеска сознания, сном чернорабочего, весь день таскающего да спине слишком тяжёлый груз.

Дворник стоял в передней, подперев дверь плечом, и с любопытством разглядывал Марию. Он не торопился объяснять цель своего прихода. Мария заговорила первой и неожиданно робким голосом:

— Ну, что, Моргунов?

— А разве вы не звали меня? — спокойно сказал Моргунов. — Мамаша-то у вас померла... хоронить будете или как?

— Да, — коротко ответила Мария. И, набравшись смелости, начала неизбежный разговор: — Мне, Моргунов, нужен гроб... Я хочу..

Она старалась не смотреть в равнодушное лицо с алчными глазами, под которым мешками вздулись опухоли. Моргунов долго не отвечал, покачивал головою и чмокал губами. Злоба сдавила ей горло, но что она могла поделать?

— Возьмётесь вы за это?

— Расчёту мне нет, конечно... всем отказываю... Для вас уж просто из сочувствия... — Он помолчал и добавил, нагло глядя в глаза Марии: — За три кило сделаю. Для вас.

— Моргунов... — сразу ослабев, пробормотала Мария. — Вы же знаете, у меня нет столько...

— Почему же нету? Карточка её осталась, — рассудительно сказал он. — До конца месяца кило шестьсот... А зачем вам заявлять о смерти? Подождите до конца месяца, получите на неё новую карточку. Похороните, как полагается, и вам ещё останется.

Беспомощные, злые слёзы душили её. Она быстро сказала, опустив глаза:

— Этого делать нельзя. Я этого не сделаю.

Помолчали.

— А доски у вас есть?

У неё не было досок. Откуда у неё могли взяться доски? Если бы они и были, их давно сожгли бы.

— За одни доски меньше кило не возьмёшь, — сказал он. — Сами понимаете.

Снова помолчали. В тишине Мария слышала стук своего сердца и приглушённый стенами голосок Андрюши.

— Хорошо, — сказала она. — Пойдёмте на кухню. Там есть стенной шкаф.



Этот стенной шкаф она-сама когда-то придумала, и, может быть, тот же Моргунов или другой дворник сделал его по её указаниям. Она не помнила точно, во всяком случае, тот дворник, весело строгавший сухие доски в кухне, был совсем не похож на человека, сейчас стоявшего перед нею, только фамилия была, как будто, та же. Шкаф висел над кухонным столом, длинный и узкий, с дырочками в дверцах для вентиляции, выкрашенный под цвет стен в весёлую голубую краску. Всю зиму мама упорно оберегала этот удобный шкаф от уничтожения.

— Хватит?

Моргунов прикинул на-глаз, потом смерил сантиметром, видимо, припасенным заранее, и молча, не спрашивая разрешения, прошёл в комнату, где лежала покойница. Мария остановилась в дверях и старалась не смотреть, как он деловито тянет ленточку сантиметра от головы до белых окаменевших ног.

— Вот хорошо! — радостно сказал Моргунов. — Прямо в точку угадала ростом.

Мария быстро пошла в кухню, чтобы Моргунов ушёл оттуда. У него был довольный вид, а глаза его обшаривали кухню, выискивая что-нибудь, что можно выпросить.

— А гвозди есть?

— Нет, — отворачиваясь, резко сказала Мария. — Говорите цену и давайте кончать.

— Полтора кило, — сказал он мягче. — Как знакомому человеку... Сколько лет знаю вашу мамашу...

Мария вспомнила, что мать ненавидела этого Моргунова и называла грабителем, людоедом. Тогда Мария посмеивалась — ей не приходилось вести дела с дворником, дрова выменивала у него Анна Константиновна. Теперь Мария понимала, почему мать так ненавидела его.

— Хорошо. Ломайте шкаф.

Она стала вынимать из шкафа кастрюли, электрические приборы, пустые банки с аккуратными ярлыками, в которых, бывало, хранились крупы, соль, приправы... Сколько раз мама открывала этот шкаф, озабоченно выбирая то, что нужно, иногда задумываясь — класть ли лавровый лист, подойдет ли в соус корица...

— Конечно, хлеба жалко, — вслух размышлял Моргунов, невыносимо медленно разбирая шкаф. — Я понимаю... Но и то сказать, зачем тогда хоронить? Сдали в морг, и всё. Я бы до морга за полкило свёз.

— Моргунов, не говорите об этом, пожалуйста.

— Вы не расстраивайтесь. Чего уж? Теперь помереть легче, чем жить.

А мамаша у вас старый человек, жизнь прожила слава богу как, чего ж тут жалеть?

Он наконец отодрал все доски и пошёл, похвалив окраску:

— Весёленький гроб получится.

В дверях он задержался и попросил дать ему вперёд хлебную карточку.

Мария твёрдым голосом отказалась отдать карточку, пока гроб не будет готов.

— Ну, хлеба кусочек дайте.

Хлеба она дала — узкий ломтик, свой ужин, — лишь бы он скорее ушёл. Обняв Андрюшу, она старалась плакать беззвучно, чтобы он не заметил. И вдруг вспомнила, что дрова на исходе и ей придётся самой покупать дрова у Моргунова. Её охватил ужас. Этот человек будет сопровождать её жизнь, как тень. От него некуда деться.

На следующее утро она пошла на свой объект, где не была уже два дня. Григорьева заменяла её, можно было не итти и сегодня, но на работе Марии было легче, чем дома. Проходя по набережной, она увидела на льду пешеходов, бредущих с одного берега на другой. Стоит пойти вслед за ними по тропинке, потом по длинной заводской улице... войти в знакомые ворота Дома малюток... И ей без придинок выдадут карточки на февраль... ведь знают её не один год! Карточки на месяц... 200 граммов хлеба в день...

Усилием воли она отогнала позорную мысль. Что я, с ума схожу? Это всё Моргунов. Зловещая алчная тень...

Моргунов принёс гроб и повторил: — «Весёленький гроб получился!» Мария отдала карточку и уже надеялась, что Моргунов сейчас уйдёт, но вошла жена Моргунова, Дуня, «попрощаться»... Нельзя было отказать ей. Без интереса взглянула Дуня на покойницу, скучным голосом заметила: «Надо же, как исхудала!», с любопытством пощупала платье, прошептала: «Креп-де-шин... В платье похороните?» Марии хотелось закричать. Она выпроваживала их, как умела. Но Дуня упорно крутилась в передней, пока муж не вышел, а тогда схватила Марию за рукав и быстрым шопотом спросила: «За сколько с ним сговорились?» Подчиняясь, Мария шопотом ответила. «А мне сказал — за кило! — с яростью воскликнула Дуня. — Обьедала! Гроб-то я ему сколачивала!» И пошла вслед за мужем.

Через час Моргунов вернулся.

— А хоронить-то кто вам будет? — спросил он, подозрительно и жадно вглядываясь в недоброжелательное лицо Марии. — Если нужно, я за кило свезу. Дешевле всё равно никто не повезёт.

Она чуть не сказала: «Хорошо. Хороните...» Но сквозь усталость

пробился гнев — допустить этого грабителя к могиле мамы!

— Нет, Моргунов. Я похороню сама.

На миг перед нею мелькнуло видение долгого, безрадостного пути по заснеженным улицам, по обледенелым перекатам, по крутым колеям... тяжело навалившись на ляжку, она тянет, тянет, тянет сани с подпрыгивающим на них гробом..

— Мне ничего не нужно, — сказала она упрямо. — Всё уже устроено.

И она прошла весь этот многокилометровый путь. Григорьева была с нею, и ещё Зоя Плетнёва и Тимошкина. По очереди двое тянули сани, а двое подталкивали сзади. На кладбище, уже в сумерках наступающего вечера, они по очереди копали, с трудом взрезая мёрзлую, неподатливую землю. Уже стемнело, когда им удалось выкопать небольшую яму, в которую еле помещался гроб.

— Глубже не осилить, — сказала Зоя.

— Вы отдохните... я ещё немного покопаю, — тихо сказала Мария.

Деревья слегка качались и шуршали, осыпая с ветвей хлопья снега, под ними мотались неясные тени. К ночи мороз усилился, выброшенная из ямы земля тут же смерзлась.

— Я больше не могу, — призналась Мария.

Они забросали гроб землей, потом снегом. Марии хотелось чем-нибудь отметить могилу, но ничего под рукою не было. И в темноте трудно было запомнить даже место.

Обратный путь она прошла как во сне, не падая только потому, что знала: если упадёшь, уже не встанешь.

Они кое-как добрались до объекта и молча сели вокруг печки. Мария знала, что ей нужно пройти по общежитию, поздороваться с людьми, осведомиться, кто заболел, кто ходит на работу, кто перестал ходить. Позвонить в районный штаб и доложить, что она приступила к работе... Но сил не было.

— Я всё думала: если человек крепок духом, он не умрёт, — сказала она, впервые не считаясь с тем, какое действие произведут её слова на окружающих. — Но вот мама... она была очень крепка духом..

— Устала ты, вот и мысли чёрные, — неодобрительно заметила Григорьева. — Ляг-ка лучше, поспи. Утро вечера мудренее.

«Всё дело в том, что я больше не могу», — призналась себе Мария и сама ужаснулась этому. Но преодолеть это состояние безразличия ко всему на свете не сумела. «Я устала. У меня иссякли силы. Я ничего больше не хочу».

— Я её очень любила, маму, — сказала она.

Если бы удалось разрыдаться, рыдания облегчили бы её. Но слова повисли в холодной пустоте, ни горя, ни отчаяния она не чувствовала.

Кто-то постучал. Григорьева у двери сказала:

— Спит она, Верочка. Тебе чего?

— Мама передать ей велела, — сказала за дверью Верочка Смирнова, — её завтра в райком вызывают к десяти часам утра. К секретарю.

Мария поняла, для чего её вызывают. Дело о приёме Марии Смолиной в кандидаты партии пришло в райком, и секретарь хочет побеседовать с новым коммунистом, проверить, силен ли, достоин ли новый кандидат... «Как же я могла забыть об этом? И как же я пойду завтра? И для чего же я пойду, если у меня нет больше сил?»

В конце короткого зимнего дня, незаметно переходившего в сумерки, Пегов приехал на собрание коммунистов танкового завода. В этот день завод получил задание Военного Совета Ленинградского фронта — отремонтировать и вернуть в строй двенадцать сильно повреждённых тяжёлых танков. Коммунистам предстояло вдохнуть жизнь в мёртвые, оледенелые цехи.

Пегов живо помнил многолюдные собрания заводской партийной организации, когда в большом зале Дома культуры не хватало мест... Сегодня коммунисты собрались в читальне стационара. Кроме нескольких диванов и кресел, уютно расставленных Любой, туда принесли десятка два стульев, и все разместились свободно, а Солодухин даже лежал на диване, опираясь на подушки. Свет электрической лампы освещал обтянутые до костей, землистые лица. И это была вся организация — горсточка истощённых, еле двигающихся людей!

Сквозь боль Пегов всё-таки заметил, что Левитин начал собрание по всей форме, с выборов президиума, хотя за несколько минут до того они договорились провести собрание по-военному коротко. Что ж, пожалуй, Левитин и прав — привычная форма помогает людям подтянуться, войти в деловую колею... Больше месяца люди лежали по домам или в стационаре, бродили по опустевшему заводу, некоторые возились с доморощенной «электростанцией» или сносили деревянные постройки на топливо — лишь бы получить немного тепла и света. А завтра им предстоит выйти на работу и работать столько, сколько потребуется — то-есть очень много.

Видимо, все уже знали об этом. Сообщение директора выслушали спокойно и даже как будто равнодушно. Но как только Владимир Иванович кончил свою трёхминутную речь, посыпались вопросы, а затем слова попросил Кораблёв. Пегов знал, что у Кораблёва очень тяжёлое истощение организма, дистрофия второй степени, и что после ранения его мучают головные боли — он и на собрании сидел согнувшись, морщился и потирал виски. Но, попросив слова, Кораблёв встал с места и неожиданно звучным голосом заговорил о том, что в цехах найдётся много заготовок и запасных частей к танкам, так что ремонт машин не представит непреодолимых трудностей и можно обойтись заменой частей.

После речи Кораблёва обсуждение продолжалось так же деловито и даже сухо — коммунисты вносили предложения, почти не прибегая к

доказательствам. Все хорошо понимали друг друга. Трудность задачи была ясна, и поэтому о ней даже не упоминали. Говорили о расселении рабочих на заводе, потому что уходить домой с работы и некогда будет, и сил не хватит. Говорили о питании, о бане, об электрической энергии для цехов, о наборе подсобной рабочей силы и даже о том, что новых рабочих надо немедленно обучать ещё в ходе ремонта танков, так как позднее, когда завод заработает во-всю, обученных рабочих будет не хватать...

Начальник сборочного цеха Курбатов вышел вперёд, к столу президиума. На его худом, очень бледном лице большие азартные глаза казались особенно яркими.

— В предстоящей работе главная ответственность падает на мой цех, — начал он требовательно. — Поэтому мне кажутся необходимыми следующие неотложные меры по его восстановлению и обеспечению...

И он стал перечислять свои требования, намеченные не без запроса.

Солодухин тяжело заворочался на диване, роняя подушки.

— Этот своё не упустит, — буркнул он, спуская ноги с дивана.

Курбатов сверкнул глазами и продолжал говорить ещё самоувереннее и настойчивее.

После него голос Солодухина звучал совсем елейно.

— Очень, очень верно говорил здесь товарищ Курбатов, он только упустил из виду, что без моего цеха и ему делать нечего, поэтому все его толковые, верные предложения надо распространить и на мой цех. А так — что ж тут добавлять! Всё правильно... прямо в точку!

Коммунисты смеялись и перешёптывались. Пегов тоже смеялся, совершенно забыв о своём первом тягостном впечатлении. Собрание уже не казалось ему горсточкой еле живых людей. Это была сила, и этой силе можно было доверить любое дело.

Он сообщил собранию, что Военный Совет обеспечит рабочих питанием по фронтовой норме, и обещал мобилизовать по району дополнительную рабочую силу для завода. После собрания он ещё посидел со знакомыми рабочими, потом побеседовал отдельно с Владимиром Ивановичем и Левитиным. Левитин был в приподнятом настроении, а Владимир Иванович ворчал и всё старался выговорить заводу ещё какие-нибудь льготы и блага.

— Ты прямо, как Курбатов с Солодухиным, вперёд заработать хочешь, — посмеялся Пегов, уезжая, но постарался запомнить все пожелания директора, чтобы добиться кое-чего в Военном Совете.

Рано утром он позвонил на танковый завод:

— Пришли?

Владимир Иванович проворчал в трубку, что «они» уже пришли и надо быть сумасшедшими, чтобы обещать «склеить такие черепки» в такой срок. Затем он начал сердито перечислять, что сделано за ночь и за первые два часа после прибытия танков, и Пегов почувствовал, что Владимир Иванович обязательно «склеит черепки» в срок и что он, несмотря на воркотню, оживлён и доволен заданием.

На вопрос об объёме работ Владимир Иванович только крикнул:

— Я ж тебе говорю — черепки! Достаточно взглянуть, чтоб понять, в каких переплётах они побывали!

— Откуда они, не знаешь? — чужим от напряжения голосом спросил Пегов.

Иносказательно, как полагалось по законам военного времени, Владимир Иванович назвал участок фронта.

— Так... — процедил Пегов, бледнея и всеми силами стараясь вернуть себе ясность мысли и самообладание, чтобы докончить деловой и очень важный разговор. Никто ведь не обязан выяснять, не служил ли на одном из этих танков башенный стрелок Серёжа Пегов...

— Что — машины пришли с экипажами?..

— Скорее с остатками их.. — Владимир Иванович вдруг закашлялся и другим, виноватым голосом сказал — Я сейчас же выясню, чей там народ. Ты извини, я тут закрутился, ошалел малость. Сейчас же выясню.

— А насчёт рабочих ты скажи Левитину, пусть заедет, — справившись с собою, сказал Пегов. — Подкинем людей, можешь не беспокоиться.

Опустив трубку на рычаг, Пегов несколько минут сидел в бездействии, рассчитывая, сколько времени может пройти, пока Владимир Иванович пойдёт или пошлёт кого-нибудь в цех разыскать танкистов и расспросить их о Серёже. Анна Петровна просунула голову в дверь и доложила, что в приёмной дожидается Смолина, по вызову.

— Пусть заходит.

Анкета Смолиной заинтересовала его ещё несколько дней назад потому, что Смолина была однофамилицей (а может быть и родственницей) серёжиного командира, и потому, что её профессию — архитектора-строителя — мечтал избрать Серёжа после окончания военной службы. Кроме того, Смолину рекомендовал Сизов, а его рекомендациям Пегов особенно доверял.

— Садитесь, товарищ Смолина. Вы работаете начальником объекта?

Он вглядывался в её лицо — похудевшее, с начинающимися отёками под глазами, и всё-таки привлекательное, с чистым и трогательно-доверчивым выражением бледных губ.

— Официально я начальник штаба и заведую общежитием, — сказала Мария, сиюсь говорить громко и деловито.

Всю эту ночь она очень хотела и не могла уснуть. Короткое забытьё сменялось одуряющей бессонницей. К утру у неё сильно распухли ноги, и она с трудом натянула валенки. Она шла до райкома сорок минут, хотя обычного ходу было минут десять. В приёмной у неё закружилась голова, и она вынуждена была посидеть в кресле, прежде чем подойти к секретарше и назвать себя. И сейчас собственный голос казался ей далёким, посторонним, и лицо Пегова расплывалось перед глазами.

— Но ведь нас с вами интересуе фактическая сторона дела, — добродушно сказал Пегов, — Сизов всё время за городом...

— Он сейчас болен.

— Да, знаю. Вы навещаете его?

Мария вскинула утомлённые глаза, с усилием сказала:

— Я была два раза. Второй раз ходила за рекомандацией. Он сам просил меня не приходить, пока... он живёт далеко, и...

— Понимаю. Ну, как дела у вас на объекте?

Мария помолчала и вдруг с полным доверием перегнулась через стол и шопотом сказала:

— Плохо.

Он не осудил её отчаяния и не стал расспрашивать — он ясно представлял себе обстановку, в которой ежедневно бьётся эта женщина: скученность в холодных тёмных комнатах, больные и умирающие люди, с их жалобами и невыполнимыми требованиями. Он понимал, как ей трудно сохранять порядок и чистоту, сколько усилий нужно, чтобы поддержать дух людей и заставить их встать, пойти на работу, выйти на пост во время обстрела...

— Так. Но что же скажут другие, милый вы мой товарищ, если мы с вами скажем: «плохо»?

— Я же говорю это только вам.

Он слегка усмехнулся и вздохнул — десятки людей ежедневно приходили к нему и говорили ему то, что не стали бы говорить другим, уверенные, что он сильнее их, что он подбодрит, успокоит, поможет. Но в том, что они приходили именно сюда и жаловались только ему, сказывалась сила. Сила партии. И его сила...

— Знаете, товарищ Смолина, мы с вами всё-таки победим, и сотни людей вытянем, и ещё построим жизнь так, чтобы отвечать только: «хорошо!» Можете вы поверить в это сейчас, сегодня, как в самое настоящее, реальное *завтра*?



Мария посмотрела прямо в глаза Пегову и твёрдо ответила:

— Могу. Многие из нас не доживут, но это будет.

— Но то, что вы вступаете сейчас в партию, доказывает, что вы чувствуете в себе силы вести других... более слабых? Ведь не случайно вы пришли к нам сейчас, в самое трудное время?

— Не знаю, — чистосердечно ответила Мария. — Сейчас победа для меня яснее, чем, скажем, осенью, когда ждали баррикадных боёв. Но тогда всё было проще.

— Тогда тоже было непросто. Насколько я знаю, даже из ваших близких не все решили вопрос о своём месте в войне с такой гражданской честностью, как вы.

Так как Мария молчала, он сказал после паузы:

— Принимая вас в партию, мы возлагаем на вас огромную и, — я не боюсь громких слов, — страшную ответственность, потому, что отныне вы должны быть сильнее окружающих вас, здоровее их, бодрее их, неутомимее... Понимаете вы это?

— Да, конечно, — просто ответила Мария. — Мы об этом говорили с Иваном Ивановичем... с Сизовым. Я сначала думала, что сейчас не время... Поскольку я всё равно работаю, как только могу.

— В одиночку, товарищ Смолина, тянуть такую ношу слишком трудно! Партия ведь и помогает, и поддерживает. Вот у меня тяжело на сердце, я поговорю с вами, с другим, с третьим — мне и легче. Мы требуем многого, но мы и помогаем друг Другу выполнять эти требования.

Мария кивнула. Ей и вправду стало легче, и даже странным казалось, что вчера и сегодня утром она дала волю слабости и малодушию. Признаться в этом Пегову? Наверное, надо признаться.

— А всё-таки, пожалуй, будет правильнее вас эвакуировать, — вдруг сказал Пегов. — У вас маленький ребёнок. И профессия такая — для тыла более подходит, чем для фронта. И вид у вас такой... слабенький.

Мария вспыхнула.

— Говорить об этом я не хочу и не буду, — отрезала она.

— Ишь какая... — Он смотрел на неё повеселевшими глазами. — Ну, раз не будете, делать нечего. Давайте тогда держаться. Люди нам, и правда, очень нужны.

Он стал спрашивать её, что она делала до войны, что будет делать после. Испытывая бесконечное облегчение, будто ей вдруг вернули силы, и здоровье, и несомненное будущее, Мария рассказала Пегову о предложении Одинцова.

— И надо пойти, — сказал Пегов. — Ну, не сейчас, так весной. Раз

ваша специальность нужна — зачем же вам квалификацию терять? Впереди дела много. Строить и строить будем... Конечно, до весны вам людей бросать нельзя. Не поймут они вашего ухода. Скажут — нашла, где легче. А весной мы вас отпустим... если удастся, конечно, — добавил он.

На прощанье он спросил:

— Среди ваших женщин нельзя найти несколько таких, которые пошли бы на танковый завод? Рабочая карточка, дополнительное питание. Пусть даже из домохозяек. Всё равно учить надо.

— Если это очень нужно — нескольких найду.

Она была уже в дверях, когда он вспомнил и спросил, снова преодолевая томящий страх:

— Скажите, танкист Смолин, командир танка...

— Это мой двоюродный брат.

— Давно у вас были... известия?

— Давно. Недели три назад. А вы... вы что-нибудь знаете?

— Нет. У него в экипаже мой сын. Если вы что-нибудь получите...

Она поняла и торопливо обещала:

— Непременно.

Приёмный день Пегова продолжался. Сменялись люди, сменялись вопросы и заботы, но — шла ли речь о размораживании, водопровода, о подготовке допризывников, о детском доме, о переводе портних дамского ателье на пошивку ватников или о снабжении металлом примусной мастерской, выпускающей гранаты, — общим для всех было одно стремление: выдержать блокаду и обеспечить победу. Пегов с интересом и требовательностью обсуждал дела разнообразных больших и малых учреждений и предприятий своего района, стараясь направить их дела так, чтобы облегчить и ускорить победу. И в столкновении с десятками различных, по-разному думающих и чувствующих людей он не упускал из виду одной, главной цели — поддержать или создать у них душевную настроенность, помогающую решать общую задачу как можно успешнее.

Среди всех этих дел в каком-то дальнем уголке памяти держалась мысль о том, что может зазвонить телефон... Телефон звонил часто, Пегов выслушивал сообщения, что-то советовал, приказывал или отклонял. Даже с танкового завода звонили дважды, но оба раза звонил секретарь парткома Левитин». Левитин рассказал о том, что коммунисты и комсомольцы разошлись по квартирам звать на работу всех заводских рабочих, какие могут притти, что в стационаре все больные решили приступить сегодня же к работе и Курбатов с Григорием Кораблёвым уже в цехе. Вторично Левитин позвонил, чтобы пригласить Пегова выступить на митинге в шесть

часов. Пегов не решился повторить свой вопрос. До шести оставалось полтора часа, митинг будет минут десять — пятнадцать, потом можно будет поговорить с танкистами и разузнать...

В половине пятого Анна Петровна вошла в кабинет, положила свою руку на руку Пегова и сказала необычным, неслужебным, пугающим своей сердечностью голосом:

— Тут к вам лейтенант Смолин... Впустить его? Он торопится...

У Пегова сидел Начальник примусной мастерской, изготовлявшей гранаты. Как в тумане, видел Пегов его лицо, слушал его возбуждённый голос, требовавший активного вмешательства райкома в вопрос о распределении металлического лома. Вошёл лейтенант-танкист, поздоровался и сел в стороне. Пегов обещал начальнику мастерской вмешаться в распределение лома, вызвал к себе одного из инструкторов райкома и поручил ему «заняться этим делом».

Когда инструктор и начальник мастерской, наконец, вышли из кабинета, танкист встал и подошёл к столу.

Пегов смотрел на приближающегося танкиста со странным ощущением, что вот остались считанные секунды обычной и освещённой надеждою жизни, а затем наступит то — то, что он всегда ждал и отталкивал, о чём не позволял себе думать, то неотвратимое и непоправимое, перед чем самый сильный человек бессилён.

— Я о вашем сыне, о Серёже, — невыносимо медленно сказал лейтенант. — Он был в моём экипаже. Третьего дня во время рейда он тяжело ранен и получил сильные ожоги...

Поглядев в застывшее лицо Пегова, Алексей добавил:

— Он здесь, в госпитале. Я вам дам адрес, если хотите... Мы все очень любили Серёжу...

«Если хотите...» «мы все очень любили. Что это он говорит? «Очень любили..» Значит, его уже нет? Но адрес... госпиталь. . Да, да, тяжело ранен и сильные ожоги... Ожоги бывают опаснее ранений...

Он взглянул на часы. Без двадцати пять. До шести можно успеть. А в шесть митинг, надо выступить перед рабочими, вызванными на завод для ремонта танков... И того танка тоже?..

— Ваш танк на заводе?

— Да, пригнал на ремонт. Экипажи работают, я ушёл на полчаса, чтобы сообщить вам...

— Я вас отвезу к шести часам. Поедемте в госпиталь.

В машине Алексей рассказывал о том, при каких обстоятельствах был ранен и обожжён Серёжа, и Пегов слушал, плохо понимая и всё стараясь

представить себе Серёжу таким, каким увидит его через несколько минут. Но представить его себе таким не мог, а всё видел мальчиком, непомерно высоким, тоненьким, с румянцем на щеках и почему-то с удочкой и ведёрком...

Было без двадцати пяти шесть, когда Пегов и Смолин вошли в палату. Врач подвёл их к койке, на которой лежал забинтованный до глаз человек, и сказал:

— Вот он.

Пегов наклонился, стараясь узнать светлые мальчишеские глаза, не узнал и не своим голосом крикнул:

— Серёжа!..

Больной шевельнулся и сквозь бинты пробормотал:

— Пить..

Сестра поднесла к его губам чайник, осторожно, между бинтов, наклонила носик. Слышно было, как Серёжа жадно глотает воду. Потом раздался его голос:

— Спасибо...

И глаза закрылись.

— Сейчас не надо трогать его, придёте завтра, послезавтра, потом, — сказал врач недовольно. — Он слаб, волновать его вредно. Да он пока и не понимает.

Пегов оглядел холодную, неприветливую палату с железной временкой, от которой труба выведена прямо в окно, забитое фанерой. Ряды коек, на которых раненые лежат полуодетыми, прикрытые шинелями поверх одеял. Блюдечко разваренной чечевицы на тумбочке у постели тяжело раненого... Взгляд его вернулся к белому забинтованному до глаз существу, которое было Серёжей — его Серёжей, живым, весёлым, любознательным, всегда чем-нибудь увлекающимся мальчиком, единственным сыном, в которого вложены все чаяния родителей... Оставить его здесь, беспомощного, разбитого, умирающего?

— Не отчаивайтесь, — сказал врач, смягчаясь. — Организм молодой, крепкий. Вытянет.

Очнувшись от этого обращённого к нему голоса, Пегов увидел соболезнующие лица Смолина, врача, протянутый ему стакан воды в руке сестры.

— Я, кажется, и так владею собой, — сквозь зубы сказал он и пошёл к выходу.

В коридоре и на лестнице он заметил, что все встречные поспешно уступают ему дорогу. Неужели он так жалок? Неужели он разучился

управлять собою?

— Надо торопиться, лейтенант, — сказал он Смолину. — Через десять минут мы должны быть на заводе.

Увидев соболезнующий и вопросительный взгляд своего шофёра, он махнул рукой и сердито крикнул:

— Полным ходом.

Надо было сосредоточиться для предстоящей работы. Скорее бы оказаться на заводе, среди людей, быть вынужденным говорить с ними, заниматься делом...

— У меня лучший друг, Гаврюша Кривоzub, тоже тяжело ранен, — сказал Алексей, не зная, как утешить и вывести из оцепенения своего спутника. — Сначала думали — умрёт. А теперь поправляется. Его эвакуировали в тыл. Серёжу, наверно, тоже эвакуируют.

— Да, да, — проговорил Пегов. — Конечно.

Его ужаснула мысль о том, что Серёжу могут отправить из Ленинграда. Отправят вот таким забинтованным, неподвижным пакетом... и тогда уже никогда не увидет прежнего, открытого, мальчишеского лица, сияющих глаз, улыбки... И как не понимает этот симпатичный лейтенант, что об этом нельзя, не надо говорить!

— А у меня сегодня ваша сестра была, — сказал он, чтобы переменить разговор. — Пришли бы раньше — встретились бы.

Алексей обрадовался и сообщению Пегова, и тому, что найдена посторонняя тема для разговора. Пегов охотно отвечал на его расспросы, стараясь вернуться к обычному состоянию озабоченности и деловитости. Но воспоминание о Смолиной ворвалось в новый мир страдания и боли, и он слово за словом повторил себе всё что он говорил этой слабенькой, измученной женщине, вступившей лишь на первую ступеньку партийного бытия. «Мы ещё построим жизнь так, чтобы отвечать только: «хорошо»... «отныне вы должны быть сильнее окружающих вас, здоровее их, бодрее их»... «давайте держаться»... Как легко было говорить это ещё сегодня утром!

«Значит, я сам слаб и не могу перебороть боль?» — жестко спросил он себя. И, уже входя в ворота завода, ответил себе: «Нет, могу. Могу перебороть и это. Только работать. Непрерывно работать. И никому ни слова. Уйти с головой в работу».

Здороваясь с людьми, разговаривая, он сложил в уме короткую речь и в толпе рабочих подошёл к танку, который должен был служить трибуной. Левитин уже взобрался наверх и говорил первые вступительные слова. Чья-то дружеская рука взяла Пегова за локоть, чтобы помочь подняться.

— Предоставляю слово секретарю райкома товарищу Пегову! — сказал Левитин.

Голос прозвучал далеко, где-то за пределами реальности. Пегов видел только громадину танка с совершенно смятой, свёрнутой набок башней, с чёрными пятнами копоти на исчирканной осколками броне, и ещё — рыжие засохшие пятна... Ржавчина?.. Кровь?..

Его втянули наверх. Его ноги утвердились на опалённой броне, покрытой рыжими пятнами засохшей крови. Его колени упирались в свёрнутую набок, разбитую пушку. Рукоплескания смолкли, люди ждали, что он заговорит, десятки знакомых и незнакомых лиц были обращены к нему.

— Начинайте, — обеспокоенно шепнул Левитин, дотрагиваясь до его руки.

Пегов не помнил ни одного слова из приготовленной им речи. Да они и не нужны были. Он не мог говорить заранее придуманные слова, и не таких слов ждали эти сплотившиеся вокруг танка почерневшие от голода, изнурённые и всё понимающие, ко всему готовые люди — его товарищи.

— На одном из этих танков сражался мой единственный сын, — сказал Пегов. — Он очень тяжело ранен и весь обожжён. Я только что от него, из госпиталя... Я не знаю, поправится ли он.

Какая-то женщина всхлипнула, на неё шикнули.

— Товарищи ленинградцы, — продолжал Пегов, — кровь наших сыновей на этих машинах. И мы обязаны сказать им, что они отдали свою кровь, свою молодость... не зря... Что мы поправим их машины и вернём в бой. Что победы мы добьёмся. Мы, своим трудом, и те, кто должен как можно скорее принять от нас эти боевые машины, — в бою. Другого оправдания, другого смысла жизни сейчас нет и не может быть.

Алексей Смолин и раньше знал, что труд — великая сила, но только в эти дни по-настоящему понял, чем является труд в жизни человека.

Несколько десятков людей пришли в обледенелый, насквозь пронизываемый морозным ветром, полутёмный и заброшенный цех. Если бы рассматривать каждого из них в отдельности и на основе медицинских показаний и противопоказаний, — ни одного из этих людей нельзя было бы допускать к работе. Но, связанные воедино кровным блокадным родством и общему целью, все они по первому зову прибрели на завод и на коротком митинге, где ни одна речь не занимала больше пяти минут, единогласно приняли решение работать. Никакого видимого энтузиазма не было, да на него и не хватило бы сил. Люди ворчали: «лучше помереть здесь, чем дома», они говорили: «конечно, раз танки нужны, придётся», а многие больше всего интересовались обещанным усиленным питанием. Алексея Смолина даже поразила и огорчила угрюмость и бесстрастность рабочих — ведь это были те самые рабочие, которые осенью со страстью и весёлой злостью выпускали один танк за другим и о которых так восторженно рассказывал Гаврюшка Кривоzub, вернувшись с завода. Неужели у них совсем не осталось прежнего запала, прежней бодрости духа? И как же тогда сумеют они в срок отремонтировать двенадцать изуродованных машин?

Работа, предстоявшая им, была тяжела, а срок, принятый ими, как боевой приказ, короток. Что работать придётся столько, сколько нужно, не уходя с завода, — об этом даже не договаривались, это было ясно без слов. Сразу после митинга, разобрав по самокруткам весь табак, имевшийся у танкистов, и всласть покурив, люди разбрелись по рабочим местам.

Они еле-еле взбирались на танки и просили помощи, когда нужно было выбраться из танка. Никто из них не мог до конца закрутить гайку или отвернуть её, для этого звали танкистов. Но при этом рабочие стеснялись собственной слабости и чаще всего придумывали какой-нибудь предлог, чтобы передать непосильную работу танкисту. «А ну-ка, парень, отверни вот тут, пока я разберусь, что случилось...»

Располагаясь на броне или выглядывая из люка машины, они неизменно внимательно озирали цех. Алексею вид цеха казался безрадостным — скудный свет, забитые, задымленные окна, лёд и снег на полу, медленнодвигающиеся, теряющиеся в огромности цеха закутанные

фигуры рабочих, давно остановившиеся громоздкие краны над их головами — как гигантские топоры. . Но рабочие, пережив недавно дни умирания, прекращения работ на заводе, глядели сейчас иными глазами и видели то, что не мог заметить или понять впервые появившийся на заводе человек. Они вслушивались в робкий, ещё только начинающийся шум труда. Их ввалившиеся глаза оживились, на лицах появилось выражение гордости и какого-то наивного изумления — может быть, перед тем, что вот — живём, не умерли, будем жить...

Все работали не по силам много, но — странное дело! — Алексей замечал, что все при этом день ото дня здоровеют. Им выдавали теперь фронтную норму, и сами они приписывали свою поправку улучшению питания. Конечно, лишние двести граммов хлеба и тарелка горячей похлёбки играли свою роль, но люди здоровели главным образом оттого, что труд возбуждал и радовал их, оттого, что возрождение работ на заводе вывело их из состояния неподвижности, оцепенения, умирания...

Пожалуй, больше всех и быстрее всех изменился Солодухин. Первый раз он пришёл в цех, опираясь на палку и поддерживаемый женой. Сам он двигаться не мог, но сидел на табуретке посреди цеха и тонким, злым голосом указывал, что и как делать. В его цехе надо было пустить несколько станков, и, как всегда, эти станки должны были обеспечивать цех Курбатова. Но теперь всеми работами командовал Курбатов, и, как всегда Солодухину казалось, что от Курбатова невозможно добиться ни настоящего понимания, ни уважения. Выпрашивать у него людей для своего цеха было мучительно, но ещё мучительнее было докладывать ему о всяких своих затруднениях и неувязках. А затруднений и неувязок возникало множество. Именно из-за какой-то неувязки Солодухин впервые забыл, что не может ходить, вскочил, опрокинув табурет, разругался с Курбатовым и побежал через весь завод к директору. С этого дня Солодухин уже не сидел на табурете, а всё быстрее и быстрее носил по цехам своё большое, обмякшее тело и плачущим голосом ругал Курбатова, директора, рабочих — всех, кто попадался под руку. Отругавшись, он тем же плачущим голосом добавлял: «Ну, голубчик, пожалуйста, не в службу, а в дружбу...» Его неугомонная шумливость никого не раздражала, — это была смешная и привычная принадлежность заводской жизни.

Солодухин по-прежнему жил и питался в стационаре. Но так как теперь он больше всего думал о том, чтобы «утереть нос Курбатову», а кроме того, вообще умел ценить и беречь порученных ему людей, он почти каждый раз приносил кому-нибудь из своих помощников то кусок лепёшки, то стакан соевого молока, то порцию шпига. Делал он это тайком от Любы



и от своей жены, воровато озирался и краснел, как мальчишка, если вдруг появлялась его старуха. Старуха неизменно ругала его на весь цех, не стыдясь людей, а потом утирала слёзы радости и рассказывала счастливым голосом:

— А ведь бывало съест и своё, и моё, да ещё отпирается! Я ему и без того своё подсовывала, мне только обидно было — зачем сам берёт... А теперь, глядите-ко — что твой генерал! Шумный стал, самостоятельный..

Григорий Кораблёв осматривал, проверял, ремонтировал моторы во главе бригады мотористов. Тихий, в шлеме танкиста, до половины прикрывавшем глубокий шрам на лбу, Кораблёв явно пересиливал недомогание и порою, когда ему казалось, что никто не видит, утомлённо прикрывал помутневшие глаза. Но затем, особенно в тех случаях, когда мотор оказывался неисправен и установить причину неисправности не удавалось, он оживлялся, подолгу ползал вокруг мотора, щупая, выстукивая, разглядывая, и при этом что-то насвистывал сквозь зубы. Когда ему удавалось установить причину неисправности, он становился азартно весел, бойко распоряжался своими помощниками, умело распределял работу и всегда брал на себя самую трудную и ответственную часть ее. В эти часы в бригаде мотористов охотно шутили и смеялись, работа шла споро, время летело незаметно.

Среди рабочих прижилась поговорка:

— Помер бы, да помирать некогда.

А когда нужно было выполнить что-нибудь очень трудное или просто продолжить работу в то время, как на территории завода рвутся немецкие снаряды, неизменно звучало обращение:

— А ну, ленинградцы!

Смолин присматривался к ним с уважением и любопытством. Да, это были героические ленинградские труженики, слава о них уже шла по всему миру, и слава эта была не только заслужена ими, она была ещё недостаточна, потому что, не видя и не зная всей меры страданий и тягот блокады, нельзя было представить себе и всей меры героизма и выносливости. Голод и страдания развили у многих раздражительность, мелочность, подозрительность. Алексей никого не идеализировал, но он видел, как коллектив отсекал, подавлял всё мелкое, как хорошели люди под воздействием дружного и целеустремлённого труда. Перед ними была ясная и простая цель — увидеть обновленными, готовыми к бою с фашистами вот эти двенадцать опалённых, изуродованных машин. Ради этого они не жалели себя и соревновались между собою, стараясь сделать больше, лучше, быстрее. Ради этого они побеждали слабость тела, муку

голода и холода, спали урывками, где придётся. И оттого, что это были живые, обыкновенные люди, со всеми присущими человеку слабостями и недостатками, ещё ярче и победоноснее выступала в них новая и необыкновенная сущность, созданная всем строем советской жизни, — сознательная самоотверженность, искреннее и требовательное товарищество, чувство личной ответственности за порученное дело, за свой завод, за город, за всю страну.

— По фронтовикам равняемся, — говорили рабочие танкистам.

— Это нам у вас учиться надо, — сказал Алексей Смолин. — Получишь машину, созданную таким трудом, — на ней чорт знает как воевать нужно, чтобы труд ваш оправдать.

Девушка, работавшая на очистке его танка, лукаво улыбнулась.

— Чорт знает как — может быть, и хорошо, и плохо, — медленно сказала она. — Вы немцев от города прогоните, большего мы не требуем.

— А Берлин вам не потребуется? — пошутил Алексей.

— Для Берлина мы вам новый танк дадим, — тотчас нашлась девушка.

— Не обманите, я за ним приду.

Алексею нравилась эта девушка. В её бледном лице с красивыми глазами сквозь усталость и печаль пробивалось какое-то исступлённое вдохновение. Кроме производственной работы, девушка выполняла в цехе ещё и другие обязанности — то ли по собственному побуждению, то ли по чьему-то заданию. Она следила за тем, чтобы в цехе была вода для мытья после работы, ведала очередь в душевую при стационаре, где в вечерние часы могли мыться все заводские рабочие. Алексей слышал иногда, как Лиза уговаривала товарищей пойти в душевую или побриться, как она стыдила тех, кто от усталости или по распущенности не следил за собою.

Алексею нравилась её молчаливая и безропотная старательность в работе, но ещё больше понравилась страстность, с какою она однажды заступилась за свои права. Станки в цехе Солодухина были подготовлены к пуску, и Солодухин пришёл забрать несколько своих рабочих, временно работавших у Курбатова. Лиза прислушивалась — и вдруг выпрямилась, соскочила с танка и пошла прямо на Солодухина. Ноздри её раздувались, щеки горели.

— Второй токарный станок мой, и стану к нему я, — услышал Алексей её звенящий голос.

Солодухин стал спорить, он, видимо, предпочитал поставить к станку мужчину, а может быть, подобрал более опытного и умелого рабочего.

— Это несправедливо, — звонко сказала Лиза. — Спорить во время работы я не буду, но я вам говорю — это несправедливо. И я вас

предупреждаю — я своего добьюсь.

Она вернулась, гордо вскинув голову с развевающимися локонами, и молча прыгнула внутрь танка.

— Что, там работа легче? — спросил Алексей, желая поговорить с нею.

— Нет, труднее, — зло ответила Лиза и отвернулась.

Вечером Кораблёв начал разбирать мотор, и Алексей допоздна помогал ему. Лиза тоже долго копошилась в танке, потом ушла. Когда Алексей освободился, уже не имело смысла тащиться по морозу в общежитие, где устроили экипажи прибывших танков. Алексей в поисках-тёплого угла забрёл в цеховую конторку, где обычно грелся кипятик. В конторке было темно, только красноватые отблески догорающего в печурке огня падали на пол из приоткрытой дверцы.

Алексей присел возле печки, поддел щепкой уголёк и закурил. Кто-то зашевелился в темноте на скамье и вздохнул. Алексей быстро вскинул голову, вглядываясь в темноту.

— Это я, Лиза, — сказал девичий голос. — Работаю на вашем танке.

Он сильно затянулся, пытаясь в скудном свете вспыхнувшей папиросы увидеть её лицо.

— На заводе и спите?

— А где же?

— У вас никого нет в городе?

— Есть, да ходить далеко. Я в центре живу.

— Д-да... — протянул он. — Мне вот тоже надо бы в центр смотаться до утра, сестру навестить. Да итти неохота. Тьма, мороз. А главное — глядеть страшно. Страшнее, чем на фронте, вы тут живете.

Лиза знала фамилию танкиста и давно догадывалась, что это двоюродный брат Марии Смолиной, но ей не хотелось завязывать знакомство. Ни к чему.

— Какая жизнь! — вяло откликнулась она.

— Это скоро кончится, — виновато сказал он. — Вот увидите. Сейчас на Ладоге с каждым днем грузооборот увеличивается...

— Не утешайте, — оборвала Лиза. — У меня там сестра. Знаю.

— Починимся, — смущённо сказал он, — опять воевать пойдём. И ваше требование выполним. Хотите я в вашу честь в первый бой пойду?

Она не ответила.

— Я всё хочу вас развеселить немного, — ещё смущённо пробормотал он. — Кончится это всё. Вы ещё молодая...

— Ну, и что? — со злостью спросила Лиза.

— Поправитесь. Отдохнете. Будете булку с маслом есть.

— Было бы хлеба вволю, — отмахнулась Лиза.

Он помедлил, прежде чем нашарить в кармане завтрашний хлебный паек. Потом вытащил легкий, плоский сверток, переломил хлеб пополам, половину сунул обратно, а половину переломил еще на две неровные части и больший кусок протянул Лизе.

— Кушайте.

Девушка не шевельнулась и не ответила.

— Ну, берите, — сказал он грубовато и наугад ткнул ломать хлеба туда, где должны быть её руки.

Рука высвободилась из-под пальто и приняла хлеб. Алексей слышал, как медленно жевала девушка, тяжело дыша.

— Вот и веселее на душе, — сказал он, улыбаясь в темноту, легкомысленно разом проглотил свою долю.

— Спасибо, — наконец, сказала она. — Вы теперь сами без хлеба остались.

— Ничего подобного, — возразил он и щедро вытащил оставшийся хлеб. — У меня, видите, с запасом. Тяните!

Он протянул хлеб, рассчитывая, что Лиза отломит половинку, но Лиза не поняла и взяла весь. Взяв, застыдилась:

— А у вас, честное слово, завтра ещё есть?

— Говорю же я вам, вот какая! — рассердился он и отвернулся, стараясь не слышать, как она снова медленно, с наслаждением двигает челюстями. Теперь его мучила злость — расчувствовался, а завтра работай голодным. Идиот!

— Боже мой, — вдруг сказала Лиза, — боже мой!..

— Чего вы? — хмуро спросил он.

— До чего мы все дошли... — прошептала она. — Жалкие стали...

Злость его мгновенно прошла. Ему стало жаль девушку, — в темноте не видно, но она, наверное, покраснела от стыда. Конечно, она не ошиблась, а сознательно взяла вместо половинки весь хлеб.

— Ну что теперь каяться, — буркнул он. — Насытились хоть немного?

— А я не знаю, можно когда-нибудь насытиться или нет, — всё тем же вялым тоном ответила Лиза. — Кажется, всё ела бы и ела. А зачем — неизвестно.

— Да что вы в таком упадочном настроении? — возмутился Алексей. — Днём гляжу на вас — молодец, за себя постоит. И девушка — как девушка, даже локончики завиты, верно? А послушать вас — как будто панихиду служите.

После паузы Лиза строго сказала:

— Вы лучше то поймите, что меня на заводе уже два года с локонами видят. Привыкли. Я других заставляю — мойтесь, брейтесь... Если они меня увидят нечёсаной — нехорошо. Вот и всё насчёт локончиков.

Так как он не отвечал, она резко спросила:

— Понятно?

— Ага, — добродушно ответил он. — Только я ведь всей душой за локончики и прочее. Я к тому говорил, что всё пройдёт. Поправитесь... повеселеете... дружка заведете... или уже есть?

Она перестала дышать, потом отрезала:

— Был, да убили.

Приподнялась, уронив на пол пальто, с исступлением выкрикнула:

— А вам так просто кажется рассуждать!

Он поднял пальто, помог ей снова закутаться, подбросил в топку две щепки и подул, чтоб они разгорелись.

— Где-нибудь поблизости есть ещё щепки или дрова какие-нибудь?

— Поищите, — коротко ответила Лиза.

Он долго бродил по холодному цеху, обшаривая все углы лучом ручного фонарика. Фонарик уныло жужжал. «Неладно вышло... И правда, со стороны легко рассуждать. А ещё подумал, что она нарочно взяла весь хлеб! Ей, может быть, и не до того было, чтобы глядеть...»

Разыскав грязную обледенелую доску, он расколол её и притащил дрова к печке. Пламя разгоралось медленно, неохотно, лёд таял и шипел.

— Была на фронте девушка, — тихо заговорил он, не глядя на белеющее в темноте лицо Лизы. — Собственно говоря, не на фронте, а на заводе, где стал фронт. Она с отцом была в рабочем отряде. Они здорово дрались и сами отбили первые атаки немцев, мы уж потом подошли. Её звали Шура...

Он умолк. Слёзы вдруг обожгли глаза, и стало трудно дышать.

— Да? — подождав, сказала Лиза.

— Она стреляла из винтовки и нескольких немцев убила. А призналась мне, что война ей противна... Очень мне понравилось тогда, что не хвастается. Не притворяется...

Так как он умолк, она чуть слышно поторопила:

— Ну?

— Тоже убили...

Лиза уткнулась лицом в ладони, ничего больше не спрашивала. Прошло очень много времени, прежде чем он окликнул её, но Лиза не отозвалась. Должно быть, её сморили усталость и тепло от разогретейшей

печурки. Тогда Алексей раскинул кожанку на столе и лёг. «Надо подкинуть ещё дров, чтобы ей было теплее», — подумал он, но это была его последняя мысль.

Мороз, просачиваясь в щели, быстро выстуживал комнату и ползком подбирался к спящим.

\* \* \*

Когда Алексей проснулся, Лизы уже не было. В сером утреннем свете все предметы казались тронутыми пеплом. Из цеха доносились постукивания молотков и шипение автогена.

Окоченевший и голодный, Алексей поспешил к своему танку. Он поискал глазами Лизу, но её не было, вместо неё работал худенький парнишка, которого все в цехе звали Сашок.

— А молодец Лиза, — сказал Сашок другой девушке. — Настояла на своём!

Значит, Лиза вернулась на станок в цех Солодухина. Алексей одобрил её настойчивость, но испытал лёгкий укол досады, что она ушла с его танка.

Стоял тридцатиградусный мороз. Яркое февральское солнце клонилось к закату в венчике золотого тумана. Сверкающий снег сухо скрипел под ногами двух женщин, медленно пробиравшихся по тропинке через занесённый сугробами больничный двор.

Человек неопределённого возраста, с отёкшим лицом, шёл им навстречу, бормоча себе под нос:

— Я больной, они обязаны положить меня, я больной, я больной...

Девочка в огромных валенках прошла к моргу, волоча по снегу лист фанеры с привязанным к нему, зашитым в простыню трупом.

У крыльца родильного отделения женщина колола дрова. Взмахнёт топором, топор тихо стукнется о полено, а женщина, распрямившись, задумается, глядя поверх всего, куда-то в пустоту. Потом снова взмахнет топором, и снова топор тихо стучается о полено, не причиняя ему вреда, а женщина распрямляется и задумывается, глядя в пустоту...

— Там всё-таки, очевидно, топят, — подбадривающим голосом сказала Зинаида Львовна.

— Это здесь? — беспомощно спросила Вера Подгорная и остановилась возле женщины с топором. То резкие, то тягучие боли почти не отпускали её.

— Рожать пришли? — укоризненно вздохнула женщина и сердито взглянула сперва на роженицу, потом на её спутницу. — Преждевременные?

— Нет. Почему же? — испуганно сказала Вера. — Нормальные...

— А простыни принесли?

— Нет.

— Тогда принесите. Мы со своим бельём принимаем.

Она увидела истомлённое болью лицо Веры и уже мягче добавила:

— Пройдите в приёмную, полежите пока. Может, ваша родственница принесёт?

Зинаида Львовна охнула и вся съёжилась. В своём изящном манто и пёстром капоре она была похожа на озябшую южную птицу, грубо кинутую в мороз, в снега севера. Капризные губы её задрожали, ей очень не хотелось итти домой и снова сюда, да ещё с ношей.

— Конечно, принесу, — чуть не плача, пробормотала она и пошла обратно по тропинке, засунув руки в широкие холодные рукава.

Когда в сумерках она прибрела в больницу, ей уже не удалось повидать Подгорную.

— Давайте скорее, — сказала вышедшая к ней навстречу сестра в нечистом халате, натянутом поверх шубы и платков. — Сейчас родит.

— Я подожду, — сказала Зинаида Львовна, так как у неё не было сил на обратный путь.

Сестра ушла. Сквозь стеклянную дверь виден был длинный коридор, скудно освещённый свечою. Слышался слабый детский писк, глухие голоса, чей-то долгий стон. Кто-то прошёл по коридору, от закачавшегося пламени свечи по стенам заметались тени.

— Кто здесь Подгорную ждёт? — спросил хриплый мужской голос.

Зинаида Львовна очнулась от сна, встрепенулась, пискнула:

— Я.

— Девочка, — сказал тот же голос. — Роженица чувствует себя сносно. А ребёнок... Ребёнок, возможно, выживет, — с некоторым удивлением добавил голос. — Сможете вы приносить хоть немного пищи для роженицы?

Зинаида Львовна замялась. Она не могла объяснять чужому человеку, что роженица не сестра, не родственница, что мужу только что дали академический паек, но мужа надо кормить и кормить, так он истощён... Да и что же теперь делать, если Подгорная родила живую девочку и девочку нужно кормить, а у Подгорной погиб муж и нет ни одной родной души?

— Конечно, я завтра принесу чего-нибудь, — сказала Зинаида Львовна. — Вы ей скажите, что я принесу. И приду за нею. Пусть не волнуется.

Вера Подгорная лежала в пустой, холодной палате и смотрела на скользкие по дверному стеклу блики тусклого света. После страшной боли и долгих усилий она совсем перестала чувствовать своё тело, и в её то угасающем, то вспыхивающем сознании проносились мысли и образы, далёкие от убогой и жуткой обстановки, в которой она находилась. Ей виделся Юрий, живой и взволнованный, наклоняющийся над нею с нежным вопросом: «Устала?» Благодарность и любовь светились в его больших, печальных, неожиданно исчезающих во мраке глазах. Она тянулась за ними во мрак и говорила: «Посмотри же... дочка... ты хотел дочку, помнишь?...» Потом ей вспомнился пойманный ею ракетчик, страшная схватка с ним возле дубовой вешалки и безумное желание задушить его своими руками... И она, снова переживая тот гнев и ту злобную радость, усмехалась навстречу ненавистному лицу и шептала: «Ну



что? А я всё-таки родила. И ничего ты мне не сделал...» И вдруг страх за жизнь рождённого ею ребёнка возвращал ее к убогой и жуткой обстановке блокадной больницы, ей хотелось немедленно убедиться в том, что ребёнок жив, не замерз, не забыт в темноте, и она звала слабым, еле слышным голосом:

— Сестрица... няничка... сестрица...

\* \* \*

В этот вечер на территории завода и вокруг него в течение часа рвались снаряды. Но из цеха никто не ушёл. И, пожалуй, никто в этот вечер не боялся за себя. Танки! Только что отремонтированные, с опробованными моторами, возвращённые к жизни танки! — о них тревожились люди, прислушиваясь к унылому свисту и гулким разрывам снарядов. «Только бы не сюда!» — думали люди, радуясь каждый раз, когда снаряд разрывался за пределами цеха. И если бы им сказали, что снаряд попал в их жилище, всё равно каждый в эту минуту сказал бы — «хорошо, что не сюда»... потому что не было для них сейчас ничего драгоценнее этих громадных машин, готовых к бою.

А когда раздались ревущие голоса наших батарей, от которых содрогались стены и певуче звенел металл, в цехе начался митинг, короткий и необыкновенный, — никто не произносил речей, а все по очереди — танкисты, рабочие, инженеры — выходили вперёд и говорили друг другу то, чем полна душа, — слова благодарности и гордости, и крепкой дружбы, и напутствия, и пожеланий.

И всем казалось естественным, что немцы смолкли, а в небе гудит свой, родимый разведчик, охраняющий труд и сон ленинградцев. Ворота цеха распахнулись в ночную тьму, зарокотали двенадцать мощных моторов, первый из двенадцати танков задрожал всем корпусом, сдвинулся с места и пошёл, грузно переваливаясь, к воротам.

На его броне, рядом с Григорием Кораблёвым, сияя всем своим худеньким, но уже поздоровевшим лицом, сидел Сашок. Подаренный танкистами шлем наезжал ему на глаза, планшет и солдатская фляга болтались у него на боку. Он не страшился того, что ему придётся мёрзнуть на ветру весь долгий путь от завода к той загородной местности, где будут проходить испытания машины. Его не смущало то, что его имени нет в списке заводских работников, отправляющихся на сдаточные испытания, и что, следовательно, кормить его там не обязаны. И в этой машине, и во всех

других находились его друзья, он знал, что нигде с ним не пропадёт. А это была такая честь и такая ни с чем не сравнимая радость — прокатиться на танке через весь город и участвовать в сдаточных испытаниях рядом с настоящими заводскими мастерами!

Григорий Кораблёв обнял его за плечи и крикнул, пересиливая грохот гусениц и шум мотора:

— Ну что, парень, дожил до светлого дня?

И хотя глухая тьма встретила их за воротами и ни одно из бедствий блокады ещё не осталось позади, Сашок кивнул и важно ответил:

— Факт, дожили!

Солодухин и Курбатов стояли рядом, провожая глазами каждый танк. Сами не замечая этого, они обнялись и поддерживали друг друга — кто кого, трудно было бы определить, так как у обоих от долгого переутомления подгибались ноги.

Лиза подбежала к самым воротам и остановилась там, прижав к груди выпачканные машинным маслом руки. Она только что сказала Любе своим невозмутимым голосом: «Вот проводим, и завалимся спать на целые сутки» — но, вопреки этим словам, ни желания спать, ни даже усталости не ощущала. Такую же лёгкость и приподнятость она испытывала порою при выполнении самых трудных и мучительных поручений бытового отряда. Но испытываемое ею сегодня чувство было лишено всякой примеси страдания и самоотрешения, это было прежде неведомое ей счастье достижения цели.

Из люка проходящего мимо танка перегнулся к ней танкист Смолин.

— До свидания, девушка! — крикнул он. — Готовьте — новый танк — для Берлина!

Она подбежала и, шагая рядом с грохочущим танком, выкрикивала:

— Обязательно! А первый бой — в мою честь! Помните?

Прежде чем Смолин исчез в чёрной пасти ворот, она успела увидеть его ответную улыбку.

\* \* \*

Пегов сидел в покойном кресле в большом кабинете, казавшемся очень уютным оттого, что горела только настольная лампа. Деловой разговор, ради которого он пришёл сюда, был уже закончен, но Пегову не хотелось уходить. И его собеседнику, видимо, тоже не хотелось отпускать его — это была короткая передышка между делами. Пегов неторопливо, вразброд

рассказывал разнородные впечатления последних дней, и его собеседник не прерывал его и только иногда делал короткую запись в блокноте, может быть записывая самый факт, рассказанный Пеговым, может быть — мысль, попутно пришедшую в голову.

Только одно, самое страшное впечатление старательно обходил Пегов — ни слова не сказал он о сыне, о молчаливом отчаянии жены, о её бессонном и бессменном дежурстве возле забинтованного до глаз мальчика, который не откликался на зов, не узнавал, не жаловался и просил только одного: «пить...»

Но собеседник Пегова вдруг внимательно посмотрел ему в глаза и быстро спросил:

— Сегодня вы навещали сына?

Пегов пробормотал удивлённо:

— Нет, Андрей Александрович. Там жена...

— Вы не отчаивайтесь, — сказал Андрей Александрович. — Я подробно расспрашивал главного хирурга. Положение серьёзно, но мальчик поднимется. Электrolечение и лечебная физкультура могут восстановить подвижность мускулов. Следы ожогов на лице останутся, но постепенно их можно уничтожить. Сейчас хорошо делают пластические операции...

Помолчав, он спросил:

— Как вы смотрите на то, чтоб отправить его в тыл вместе с матерью? Там можно обеспечить хорошую клинику и всё прочее.

Пегов вскочил, прошёлся по кабинету. Слёзы душили его. Спустя несколько минут он справился с собою и сумел ответить:

— Конечно, Андрей Александрович. Я вам очень благодарен.

— А скрывали зря. Что же вы меня в такое положение ставите, что я должен сам разузнавать, расспрашивать, выпытывать? — шутливо проворчал Андрей Александрович. Он порылся в бумагах, протянул один листок Пегову. — Прочитайте и скажите своё мнение.

Пегов внутренне подтянулся, сел, стал внимательно читать проект постановления. И хотя вопрос об уборке и очистке города был для него нов и он ждал подобного решения, прочитанный им проект смутил и испугал его и сроками, и размахом работ. Он представил себе рабочих и служащих своего района — голодных, измученных, работающих на пределе сил... и домохозяек, школьников, пенсионеров, всех тех, кто получает «иждивенческие» карточки и является бедствующим населением промёрзших, слепых домов, где дворы обросли горами мусора, нечистот, грязного льда, где лестницы обледенели, где целые квартиры вымерли, а в немногих жилых комнатах, среди копоты и мрака, теплится скудная,

невесёлая жизнь... Какая сила поднимет всех этих людей и заставит их выйти на мороз с лопатами и ломami для многодневного непосильного труда?!

Он сам знал имя этой силы. Он приводил её в действие и управлял ею. Но сейчас он усомнился в том, что новое напряжение усилий возможно, в себе самом усомнился — подниму ли? сумею ли осилить?

— Не знаю, Андрей Александрович, — сказал он утомлённо. — Люди истощены. Трудно им вытянуть такое дело...

Сказав это, он вопросительно посмотрел на своего собеседника. В глубине души он знал ответ. Но кому ещё смел он высказать своё сомнение, перед кем ещё он мог себе позволить хотя бы минутную слабость?

Андрей Александрович откинулся на спинку кресла, укрыв лицо в тени. Десятки партийных, военных, советских, производственных работников приходили к нему ежедневно с самыми острыми вопросами, с самыми тайными сомнениями. Уверенные, бодрые, спокойные перед тысячами людей, с которыми они соприкасались, которыми руководили, перед ним они имели право раскрыть свои тайные опасения, свою загнанную внутрь тревогу. Они приходили к нему за помощью, за укрепляющим душу словом, за исчерпывающим советом, а порою и за приказанием, которое перекладывало всю ответственность на его плечи, на его совесть, на его сердце. Время было крутое, борьба шла насмерть, для того чтобы победить, приходилось применять и страстное убеждение, и жесткое принуждение. Что ж, он готов был отвечать за всё и принять на себя всю тяжесть. Ему некому было сказать: «устал». Не перед кем усомниться: «вытянем ли?» Только одному единственному человеку в стране мог бы он высказать всё, как отцу, как другу, как наставнику. Но именно этому одному человеку он никогда не говорил, что ему тяжело. Потому что когда он прилетал к этому человеку в Москву или слышал в телефонной трубке его голос — голос то встревоженный, то отечески ласковый, то усталый, но всегда сдержанный — всё самое лучшее, смелое и сильное поднималось в его душе. И он сам находил в себе и силы преодоления, и главное — беспредельную готовность работать, бороться, добиваться, за всё отвечать, вести за собою других и быть всегда до конца требовательным к самому себе.

Он помолчал, разглядывая постаревшее, усталое лицо Пегова, затем жёстко спросил:

— А вы знаете другую возможность?

— Нет, — ответил Пегов. Ему хотелось сказать: «силы армии, флота, ПВО» — но они тоже были перечислены в проекте и они не могли

справиться со всей задачей целиком.

— Потепление ожидается через две-три недели, — сказал Андрей Александрович. — Как вы думаете: ради этих же истощённых голодом людей, которых вы жалеете, имеем мы право пустить в город заразу?

Вы себе представляете, как инфекция, набросившись на истощённые организмы, начнёт косить людей?

— Да нет, я же... Я только сказал...

— Как же ты так рассуждаешь — не вытянуть! — сердито бросил Андрей Александрович. И ребром ладони стукнул по столу: — Надо вытянуть. Значит — вытянем. Для нас это сегодня — самый главный фронт.

Пегов хотел сказать, что принимает эти слова как приказ и выполнит его с полной уверенностью в успехе, но сигнал телефона помешал ему.

Андрей Александрович взял трубку, и по особому выражению его лица и голоса Пегов понял, с кем он говорит.

— Да, да, — сказал Андрей Александрович и, подтянув к себе заранее заготовленный листок, стал без пояснений называть цифры.

Пегов догадался, что это цифры грузооборота на Ладожской трассе за последние трое суток. Цифры показывали рост, Андрей Александрович называл их с удовольствием и гордостью.

— Да, — сказал он затем другим, озабоченным голосом. — Потепление ожидается недели через две-три. Вот мы сейчас об этом и толковали с товарищем Пеговым, — Андрей Александрович с лукавой усмешкой покосился на Пегова, и у того ёкнуло сердце при мысли, что Андрей Александрович расскажет о его сомнениях. — Конечно, Иосиф Виссарионович, раз надо вытянуть — вытянем. И он так же думает.

— Работа идёт прекрасно. Сегодня в ночь начинаются испытания.

Пегов понял, что речь идёт о танковом заводе и об окончании ремонта двенадцати тяжёлых танков.

— Хорошо, Иосиф Виссарионович, передам немедленно. До завтра.

Он опустил трубку на рычаг и встал, улыбаясь Пегову просветлёнными, будто отдохнувшими глазами.

— Иосиф Виссарионович просит передать коллективу завода привет и благодарность. Поезжай скорее, порадуй людей.

**Глава седьмая**  
**Весна**



Однажды утром Мария осторожно спустилась по сумрачной лестнице своего дома, вышла на улицу, оглянулась — и замерла.

Ещё ничего как будто бы не произошло — всё так же громоздились посеревшие от копоти сугробы, мертвенная тишина висела над пустынной улицей, медленно, через силу, брели одиночные пешеходы, но всё казалось иным в щедрых и тёплых лучах солнца. Мария закинула голову — и словно ласковые, тёплые ладони коснулись её лица. Она зажмурилась и сказала себе с радостным удивлением: «Дожили. Весна».

Да, это была весна. Зрением, слухом, обонянием отмечала Мария её первые несмелые, но явственные приметы. Сугробы отяжелели и осели — пока еле заметно, но уже осели. Деревья сбросили снежные шапки и вытянули к солнцу мокрые, блестящие, кое-где перебитые снарядами ветви. На крышах, пригретый солнцем, подтаивал снег, и тяжёлые капли срывались и падали, глухо ударяясь о снежный наст. Первая, робкая весенняя капель! — «Кап!..» Потом, после передышки: «Кап-кап!..» и снова, как бы в задумчивости: «Кап... кап... кап...» Тишина, медленное набухание искрящейся крупной капли, и снова глухое «кап!», и вдруг где-то рядом, победною скороговоркой. «Кап! Кап! Кап!..»

А воздух напоён такой влажной свежестью и неопределёнными пьянящими запахами, что раздуваются ноздри, дышится жадно и глубоко, на лицах бродят улыбки.

Ещё вялы и слабы мускулы, опухшие ноги плохо слушаются, и плечи зябко ёжатся под тяжестью многих зимних одежек, — но уже хочется распрямиться, шагать быстрее, говорить громче и даже смеяться, так

властно ощущение возрождающейся, торжествующей жизни.

Проходя мимо Дома радио, Мария скользнула взглядом по знакомому циферблату уличных часов — много недель они отмечали четверть четвёртого. Ей показалось, что часы весело мигнули ей. В репродукторе что-то щёлкнуло, и низкий женский голос сказал:

— Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. Сейчас девять часов тридцать одна минута. Начинаем литературную передачу...

В лад словам минутная стрелка дрогнула и передвинулась на одно деление, отметив тридцать одну минуту десятого. Часы ожили.

— Да, это весна! — повторила Мария и прибавила шагу.

Пересекая проспект, она с интересом поглядела на другие уличные часы — не произошло ли и с ними чудесного превращения? Но для чуда не было электрической энергии, питавшей их движение. А в Дом радио дали свет в первую очередь, наравне с цехами, производящими снаряды...

И сейчас живой человеческий голос звучал над улицами, как верный спутник, и Мария с удивлением вспомнила: «А раньше я не» любила радио! Выключала его, как только приходила домой! Что бы мы делали теперь, в блокаде, без радио? Верный, неусыпный друг!»

Радио вело Марию от перекрёстка до перекрёстка, то затихая, то приближаясь. Оно говорило на каждом углу, для всех и о том, что было важно людям сегодня, сейчас. Женский, чуть задышающийся, мечтательный и убеждённый голос читал стихи:

Настанет день — и радуясь, спеша,  
Ещё печальных не убрав развалин,  
Мы будем так наш город украшать,  
Как люди никогда не украшали.

То, что должна была делать Мария сегодня, не было похоже на украшение израненного города, но она восприняла слова поэта как напоминание о своих заботах и опасениях, не поверила опасениям и сказала себе: соберутся, сделаем.

Три дня назад её вызвали в райком. Пегов вручил ей кандидатскую карточку и поздравил её. Она была взволнована и не нашла подходящего ответа. Пегов усадил её в кресло, сел напротив.

— Как вы себя чувствуете теперь?

— Хорошо, — быстро ответила Мария. И, так как Пегов выглядел постаревшим и очень усталым, озабоченно спросила: — А вы?



Он улыбнулся, должно быть не привык, чтобы его об этом спрашивали.

— Так вот, дорогой товарищ, — сказал он, не ответив на вопрос, — получайте первое и очень важное партийное поручение. Вы представляете себе границы вашего квартала?

Дальнейший разговор был будничным — о дворах и лестницах, о лопатах и ящиках для вывозки снега, о числе жильцов в домах квартала и о том, как добиться их выхода на работы.

— Я уверен, что вы справитесь, — сказал Пегов напоследок.

И вот Мария торопилась к началу работ после трехдневной напряжённой подготовки. В четырёх незнакомых домах, с четырьмя незнакомыми женщинами, управляющими домами, она тщательно проверяла списки жильцов, подлежащих мобилизации на работы. Сотни грустных повестей вставали перед нею. Жёны, потерявшие мужей, матери, разлученные с детьми, увезенными на Урал, старухи, проводившие на войну всех сыновей, подростки, познавшие сиротство в обстановке тягчайших лишений, женщины, судорожно борющиеся за жизнь близких... Управдомы угрюмо перелистывали списки, ставили птички и кружочки, дополняя их короткими замечаниями: «Не сможет. Не вытащишь. А уж эта плоха — где ей!» Мария выписывала фамилии тех, кто вызывал сомнения, и шла с лестницы на лестницу, из квартиры в квартиру. Грустные повести оживали. Всё было так, как рисовало воображение, и в то же время совсем иначе.

Мало кто спорил с Марией, мало кто отказывался. Угроза была осознана давно — когда в лютые морозы, в темноте, опоражнители ведра где придётся, когда выбрасывали мусор прямо на лестницы, не имея сил спускаться по бесконечным ступеням. Тогда уже знали: придёт весна, страшные эпидемии могут вспыхнуть среди изголодавшихся людей. Но казалось — ещё не скоро! дожить бы! А там всё приберём, все очистим... И вот весна надвигалась, новая опасность встала перед людьми — опасность страшнее бомб и снарядов. И опять — в который раз! — всё зависело от самих ленинградцев.

— Что ж делать. Нужно! — говорили Марии те люди, про которых управдом заявлял: «не сможет». — Работник из меня плохой, но потихоньку постараюсь.

Случалось, Мария входила в тёмное жилище, всматривалась в измождённое лицо человека, который напоминал мертвеца, робко заговаривала с ним о работе, готовая отступить, сказать: «не надо вы уж не ходите»... и вдруг во взгляде этого человека, в слове, в улыбке блеснёт

такая мужественная гордость, что слова снисхождения и жалости кажутся неуместными, постыдными, и вместо них само собою произносится:

— Значит, в десять. Там увидимся. До свиданья, товарищ!

Попадались и такие, что всячески изворачивались, стараясь отсидеться, пережить беду за спинами других. Они тоже голодали, тоже болели, но к ним у Марии не было жалости.

Одна, ещё молодая женщина встретила её злыми упрёками и уверениями, что работать не в силах. По обстановке, по запаху еды, царившему в комнате, по лицу самой хозяйки Мария видела, что в этой комнате зимовали не так страшно, как в большинстве других. Сдерживая раздражение, Мария попробовала убеждать.

— Да что вы меня уговариваете? — со злостью воскликнула женщина. — Небошь, приказ военного времени! Хочешь — не хочешь, больна — не больна, а иди!

— Нет, зачем же, если вы больны, — сказала Мария, — сходите к врачу, возьмите бюллетень. А потом, если тифом или холерой заболите, опять бюллетень. Так до смерти и проканителитесь бездельницей. Авось другие за вас поработают!

— Мне ничего не нужно! — крикнула женщина.

— Врёте, — с ненавистью сказала Мария. — Врёте, всё вам нужно, больше всех нужно, на даровщинку выжить хотите, чужими руками спасаетесь. Только не выйдет!

— С милицией потащите помойки чистить?

— С милицией потащу, — усмехнувшись, согласилась Мария. — По закону военного времени.

В одну из квартир Мария долго стучалась. Наконец, ей открыла дверь старуха в грязном, засаленном, закопчённом тряпье, с нечёсаными вихрами чёрных волос, свисающих на лицо из-под платка. «Как ведьма», — подумала Мария, неохотно переступая порог. Квартира напоминала о былом достатке, но всё в ней было захлавлено, запущено, загажено. Тяжёлый запах вызвал у Марии головокружение.

Узнав о цели прихода неожиданной гостьи, старуха стала стонать и жаловаться на болезнь.

— Грязи у вас больше, чем болезни, — резко сказала Мария. — Опустились вы, человеческий облик потеряли. Сегодня же уберите квартиру, вымойте всё и сожгите мусор, иначе оштрафую и отдам под суд.

А рядом с этой старухой, на той же площадке, жила вдова с тремя ребятами. По пустоте квартиры было заметно, что многое из неё продано или сожжено, сама женщина была худа и явно больна, но аккуратность и

заботливость сказывались во всём — и в одежде худеньких ребятишек, и в чистоте постелей, и даже в том, как были сложены у печки части расколотого на дрова стола.

Этой женщине Мария сама предложила освобождение от работ.

— Нет, — сказала женщина. — Не надо. Сколько смогу, поработаю. Ребятишки со мной пойдут. Гулять с ними сил нету, а так, заодно, и они погрееются на солнышке.

После трёх дней подготовки Мария верила, что большинство жильцов её квартала выйдет на работу. Но как они будут работать? Много ли они наработают? Объём задания и сроки пугали.

Мария шла по улицам, и первые признаки оживления привлекали её внимание. Вот тащится процессия — люди по-трое впряжены в лямки саней, а на санях — лопаты. Вот у разбитого снарядом подъезда собралась небольшая толпа, девушка в стёганных штанах звонко выкликает фамилии по списку, и тихие голоса отзываются: «здесь!», «здесь!», «здесь!». А над солнечной улицей, над серыми оседающими сугробами, над впряжёнными в санки людьми звучит из репродуктора женский чуть задышающийся, согретый любовью голос:

Сестра моя, товарищ, друг и брат,  
Ведь это мы, крещённые блокадой.  
Нас вместе называют — Ленинград,  
И шар земной гордится Ленинградом.  
Двойною жизнью мы сейчас живём.  
В кольце, во мраке, в голоде, в печали  
Мы дышим завтрашним, счастливым, щедрым днём,  
Мы сами этот день завоевали.

Мария вошла в парадное своего «объекта». Здесь уже собрались жильцы общежития, плотно закутанные, в валенках и рукавицах, не верящие теплу, но возбуждённые предстоящей совместной работой. Тётя Настя выдавала им лопаты.

В дверях библиотеки стояла Зоя Плетнёва. Даже в толстом ватном костюме она казалась очень тоненькой — маленький тёмный силуэт на фоне залитой солнцем комнаты. Солнечный луч лежал на её плече и пронизывал лёгкие волосы.

— Вы слышали стихи? — спросила Зоя. — Про нас!

— Кипятильник затопила, — донёсся из библиотеки голос

Григорьевой, — кто замёрзнет, посылай кипяток пить. Без отказа будет.

Всю зиму Зоя не закрывала библиотеку, только перебралась из большого читального зала в маленькую комнатку, где установили кипятильник. В этой тёплой клетушке Зоя принимала прочитанные книги и собирала заявки, а потом отправлялась с фонарём в холодное книгохранилище, радуясь, что люди продолжают читать. У неё всегда собирались по вечерам читатели, а те, кто приходил только погреться и попить кипятку, постепенно становились читателями.

— Кроме двух старух, все выйдут, — сообщила Зоя. — Одна из старух тоже обещалась выйти, Васильева.

— Пусть лучше за ребятами присмотрит, — сказала Мария.

— Ребятишки тоже собираются на улицу. Ведь солнышко!

Зоя оглянулась на свою залитую солнцем комнатку, в ярком луче её волосы вспыхнули золотыми искрами.

— Греет... — прошептала она.

— Весна, Зоенька! Весна...

— Решили дожить — и дожили, — сказала Григорьева.

Пять минут спустя, расставив людей, Мария взяла лопату и подошла к наросшей до окон первого этажа куче смёрзшегося, обледенелого мусора. Вонзила острие лопаты в кучу. Дёрнула. Маленький кусок отвалился от кучи. Передохнув, Мария повторила движение. Ещё кусок отвалился. Она в третий раз навалилась на лопату, удивляясь её тяжести, вздохнула и оглянулась.

Вдоль всей улицы, сколько видит глаз — люди. Неподалеку от Марии тётя Настя ломом упорно долбит лёд. Рядом с нею Тимошкина, с бескровным почерневшим лицом, медленно втыкает лопату в сугроб и с усилием бросает слежавшийся твёрдый снег в ящик, укрепленный на санках. А с другой стороны санок работает Зоя, спустив на плечи платок; при каждом взмахе лопаты в её взлетающих волосах вспыхивают искры. Голосов не слышно, работа поглощает все силы. Но то тут, то там кто-либо поднимает лицо к солнцу и блаженно зажмурится, и все окружающие на миг оторвутся от работы, чтобы ещё раз почувствовать — да, пришла весна! И вдруг — короткий звучный смех. Это Верочка Смирнова выронила лопату. Она тоже без шапки, по-весеннему; туго заплетённые косички вздрагивают при каждом её движении, тонкие ножки кажутся непрочными — вот-вот переломятся. Но её движения уверенны и чётки.

А дальше, у соседнего дома, Мария видит и вчерашнюю ворчунью, не желавшую работать, и старуху, похожую на ведьму, — обе ковыряются в снегу, пусть неохотно, но и они что-то сделают. А вон и вдова с тремя

ребятишками. Сидя на ступеньке крыльца (должно быть, не держат ноги), она топориком скалывает со ступенек лёд. А ребятки, подражая взрослым, возятся с игрушечными лопатками и тачками, на их бледненьких личиках сияет радость.

«Нас вместе называют — Ленинград», — вспомнила Мария и снова вонзила острие лопаты в неподатливую кучу.

Григорьева уже собиралась ложиться спать, когда за дверьми раздались необычно громкие шаги и возбуждённый голосок Верочки Смирновой:

— Сюда, сюда! Вот хорошо-то! Вот радость-то! В эту дверь стучите, она дома!

Григорьева поднялась, мертвея в ожидании невероятной, невозможной радости.

Красноармеец в овчинном полушубке рывком распахнул дверь, взгляделся в полумрак и звонким, сорвавшимся голосом сказал:

— Это я... мама!..

Григорьева шагнула вперёд, глотнула воздух, топотом крикнула:

— Миша!

Сильными руками он подхватил её прикившее к нему, крупное, вздрагивающее от рыданий тело, пробормотал растроганно и смущённо:

— Ну, что ты... мама... ну, что ты...

Она откинулась, повернула его к свету, упиваясь видом возмужалого, обветренного и всё-таки прежнего, мальчишеского лица, ненасытными руками погладила его щеки, волосы, его широкие плечи.

— Живой! — только и сказала она, прежде чем оторвалась от него, чтобы позаботиться о том, о чём заботятся все матери мира, встречая сыновей.

Побаловать его Григорьевой было нечем, она только раздула угольки и развела огонь, подвинула на жаркое место чайник. Но сын уже скинул вещевой мешок с плеча, вытащил из него хлеб, шпиг и сахар, поднёс матери:

— Кушай, ленинградка.

Он дал усадить себя в единственное кресло и взрослым баском отвечал на сбивчивые расспросы:

— Прибыл к вам с новой техникой. На Ленинградский фронт. Куда пошлют, не знаю. А техника эта, мама, такая, что немцы от неё сами не свои делаются. Как мы дадим свой залп, всё небо будто в огненных стрелах...

Мать смотрела на него с гордостью и почтительно спрашивала, невольно переходя на «вы»:

— Как же это вас чести такой удостоили? Из пехоты да на такую

технику?

Сын придвинулся к огню, новенький орден Красного Знамени блеснул на его гимнастёрке.

— Просил командование. За боевое отличие уважили.

— Где же ты так отличился, Мишенька? Ведь это очень большая награда, сынок?

— Под Тихвином... — Он уже не хвастал и не радовался, а весь съёжился, испуганно глядя на мать, тихо добавил: — А Ваня наш... погиб, мама.

Григорьева выронила сковородник. Наклонилась, подняла его, подбросила на сковороду шипящие ломти сала и начала укладывать на сковороду мелко нарезанный хлеб.

— Под Тихвином? — после молчания спросила она.

— В самом Тихвине. Уж мы взяли его, последние остатки выбивали. В грудь навывлет.

Она стояла спиной к сыну, он видел только её размеренные движения и напряжённо вытянутую шею под узлом седеющих волос. Она молчала, пока жарился хлеб, не забывая переворачивать ломти. Потом она подала сковороду на стол, сын увидел её посуровевшее лицо и остановившийся, будто в себя обращённый взгляд потемневших бесслёзных глаз.

— Ешь, Мишенька. Небось, проголодался с дороги.

Он исподлобья поглядывал на неё, не доверяя её спокойствию. Она заметила это и повторила:

— Ешь...

И такой она вдруг показалась ему большой и сильной, что он, запинаясь, пробормотал:

— Если вы будете... Вместе с вами. Вы тут хуже фронтовиков натерпелись всего...

И снова мать ответила так, что он не узнал её:

— Так ведь нас всё равно не скоро насытишь. А тебе воевать. Ты надолго?

— До утра, мама.

— До утра!.. — чуть слышно ахнула она.

Оцепенение горя прошло. Сын, третий и теперь единственный, через несколько часов опять уйдёт туда, откуда не вернулись двое старших. Глядя на него преданными, любящими глазами, забыв обо всём, кроме вот этого кровного меньшенького, последнего, она подкладывала ему самые сочные ломтики сала и хлеба, подливала в чашку чаю, щедро накладывая сахар, и расспрашивала робко и жадно, как же он там воевал, как отличился, трудно

ли ему было, холодно ли, страшно ли...

Увидев, что его глаза слипаются, она поспешно постелила ему свою постель, а сама устроилась на диванчике Марии Смолиной. Долго не тушила свет, разглядывая лицо спящего сына, слушая его тихое, как у ребёнка, дыхание. Коптилка начала чадить, пришлось задуть её. И тогда в ярком пронзительном свете памяти возник тот, другой, ещё не оплаканный... Первенец, выпрастывающий из пелёнок розовые толстые ножки... Его разрумившееся курносое личико и жадный ротик, хватающий сосок... Первенец, делающий свои первые самостоятельные шаги от колен отца к коленям матери!.. И он же в последнюю встречу на вокзале, в суতোлке перед отправкой эшелона — рослый, обросший бородой, пропахший потом и табаком, морщинистый, посеревший, почти старый... Его голос: «Прощайте, мама, теперь, когда свидимся — неизвестно...»

Отчаянный стон рвался из её груди, она задерживала дыхание, чтобы не дать ему вырваться наружу, стиснув зубы, смотрела в ночную тьму — и снова в пронзительном алом свете возникал перед нею сын, бегущий с винтовкой по снежным сугробам... И злое, ненавистное лицо немца, нацеливающего свой автомат...

Утром, открыв глаза, Миша увидел мать хлопчущую у печки. Щёки её запали, губы горько опустились. Потухший взгляд, не видя, смотрел перед собою. Но стоило Мише шевельнуться, как взгляд ожил, губы улыбнулись.

— Вставай, сынок, я тебе лепёшек напекла.

Когда он стоял у двери, готовый уйти, она вскинула руки в стремительном удерживающем движении, но не завершила движения, а только коснулась его плеч и прошептала:

— Ты пиши... почаще...

Он ответил ей наивной солдатской ложью:

— У нас неопасно. Ты не беспокойся.

Она сказала, чуть усмехнувшись:

— Я и не беспокоюсь. Ты только... пиши.

Весь этот день она работала, как обычно, а вечером пришла к Марии и сказала со страстной мольбой:

— Не могу больше, Маша. Отпусти.

Мария взглянула в её лицо и торопливо ответила:

— Хорошо. Конечно.

После того как Мария по заданию Пегова завербовала нескольких женщин на танковый завод, Григорьева время от времени возобновляла



свою просьбу отпустить её на производство. Григорьеву тяготила возня на кухне, ей хотелось работать непосредственно для фронта, так, чтобы ежедневно видеть результат своего труда. Сегодня она ухватилась за эту возможность как за возможность устоять на ногах и переспорить неуёмную боль сердца.

Но два дня спустя, отправляясь на завод, она почувствовала себя старой и немощной, очень усталой и неспособной привыкать к новым людям, учиться новому делу. «Мне бы бабушкой быть, — подумала она с горечью. — Ну, куда я? Куда? В ученицы на пятидесятом году...»

Она издали увидела широко раскинувшийся завод, и сердце её сжалось. Как после землетрясения или гигантского урагана, стоял он весь в трещинах и дырах, с обвалившимися во многих местах стенами, с сорванными крышами. Бурые и зелёные полосы маскировочной окраски, намалёванные на фасадах окна и балкончики придавали зданию диковинный вид. И, словно довершая общую картину бедствия, воющий свист снаряда возник в воздухе и завершился гулким взрывом. Эхо взрыва ещё не отзвучало между заводскими корпусами, когда возник новый свист...

Григорьева шла навстречу обстрелу, равнодушная, гордая в своём презрении. Осколок или камень взвизгнул возле её уха. На какой-то миг смерть показалась ей естественным избавлением от всего сразу — от усталости, от боли, от непосильной, пугающей перемены, которую она сама затеяла. Но в следующий миг лютая злоба охватила её. «Что, поддаться им? Помереть ради их удовольствия?»

Согнувшись, втянув в плечи сидящую голову, она пошла дальше вдоль заводского забора, настороженно прислушиваясь к свисту снарядов и приседая, если опасность приближалась к ней.

Сторожившая ворота старуха с винтовкой показала ей дорогу в отдел кадров и понимающе улыбнулась:

— К нам? То-то!

У входа в заводоуправление тротуар был засыпан битым стеклом и кусками штукатурки. Серая пыль ещё клубилась в воздухе. В коридоре несколько испуганных служащих обменивались впечатлениями. Провели девушку, раненную в лицо, она прижимала к лицу окровавленный платок и всхлипывала.

Но когда Григорьева вошла в комнату отдела кадров, её сразу захватило царившее здесь настроение ожидания и надежды. Люди, собравшиеся тут, будто и не находились в десятке метров от «очага поражения», будто и не слышали свиста и гулких разрывов, — казалось,

война для них стала делом прошлым, а в настоящем существуют только задачи возрождения, восстановления. Здесь были всё те же ленинградцы конца блокадной зимы — почерневшие, неестественно худые или болезненно опухшие, закутанные во всё тёплое, что нашлось под рукой. Но они оживлённо обсуждали, в какой цех лучше проситься, какую специальность легче изучить, какие цеха будут размораживать в первую очередь. Было здесь человек тридцать, главным образом женщины — и молодые, и одних лет с Григорьевой, и даже старше её. Тут же сновало несколько подростков, среди которых Григорьева с радостью узнала Колю, работавшего вместе с нею на строительстве баррикад и в аварийно-спасательном отряде.

— А приятель твой где? — спросила Григорьева, вспомнив, как этот мальчик обожал своего более взрослого, щеголеватого, самоуверенного друга Жорку.

— Умер, — омрачившись, ответил Коля.

Но тотчас оживление пробилось наружу, и он стал рассказывать о том, что поступает в сборочный, где ремонтируют танки и где уже работает их общий знакомец Сашок.

В это время в комнату шумно ворвался толстый человек в очках, сидевших на самом кончике крупного носа, и с большой палкой, какие носили в эту зиму многие ленинградцы. Только на палку он не опирался, а держал её подмышкой, так что она не помогала ему, а обременяла. Человек этот внимательным взглядом поверх очков оглядел собравшихся, поднял руку, чтобы водворить тишину, и зычно выкликнул:

— Каменщики, плотники есть?

Из окошечка, где оформлялись документы, высунулось недовольное лицо:

— Товарищ Солодухин, опять вы без очереди и без заявки? Директор категорически...

— Всё, всё есть, сейчас покажу! — отмахнулся Солодухин и повторил вопрос.

Настойчивый начальник понравился Григорьевой, и она выступила вперёд, сказала, что работала каменщиком на оборонительных, правда, там кладка была несложная...

— А немецкие дырки латать разве сложно? — возразил Солодухин и стал зазывать к себе других работниц, обещая потом обучить, поставить на станок, довести до седьмого разряда.

У завербованных им женщин он тут же отобрал паспорта и с паспортами в руке пошёл за перегородку объясняться. Григорьева слышала,

как он ругался и просил, яростно стучал телефонной трубкой, а затем доказывал директору, что ему нужно немедленно получить наряды на семь человек, это «его люди» и ни в какой другой цех итти не хотят.

Через полчаса Григорьева уверенно вошла в цех Солодухина, осмотрела две пробоины и отправилась получать материалы.

Она работала размашисто, как всегда — иначе она не умела. Боль и тоска ныли в глубине сердца. Если бы дать им волю, не хватило бы сил работать и жить. Стоило перестать сдерживаться — брякнулась бы на землю, закричала бы. Может быть, и полегчало бы. Но, как внутренний страж, держала совесть. Нельзя. Не время.

В этот же день Григорьева встретила с Лизой Кружковой. Лиза обходила работающих и опрашивала, кто хочет пойти на пятидневные курсы огородников.

Григорьева обрадовалась знакомой, окликнула её. Как два человека, не видавшихся всю эту тяжёлую зиму, они испытующе оглядели друг друга.

— А вы почти такая же..

— И ты, Лизанька, молодцом. Я не знала, что ты теперь в цехе... Ну, как живёшь-то?

Первым побуждением Лизы было сказать: «Хорошо». С тех пор как завод начал оживать, она находилась в приподнятом и деятельном состоянии. Она не сознавала того, что обрётённое ею в самые трудные дни настроение жертвенной отрешённости давно вытеснено реальной жизнью, где всё просто, сурово, трудно и вместе с тем радостно — радостно потому, что, несмотря на невероятные лишения, у людей остались труд и удовлетворение сделанным, дружба и ощущение своего места в бою. Отношения с людьми, окружавшими её, интересы постепенно возрождавшегося завода, свои маленькие задачи, казавшиеся ей очень большими, давно стали основным содержанием её жизни. Это пришло не сразу. Открытие стационара было первой победой, в которой участвовала Лиза. Затем пришло счастье делания, счастье достижения цели, испытанное ею в ночь, когда партия танков уходила с завода. И вслед за тем митинг: благодарность Сталина. «Это и мне. И мне тоже. Сталин благодарит меня». С того дня её не покидало приподнято-счастливое настроение. Только иногда она вспоминала — именно вспоминала, — что у неё есть горе. И сейчас, после вопроса Григорьевой, когда естественно было ответить: «Хорошо!», она вспомнила о своём горе, потускнела, уныло повела глазами и сказала:

— Да разве я живу...

Григорьева не удивилась, а с чуткостью страдающего человека

догадалась, в чём дело, и тихо спросила:

— Али с женихом беда случилась?

— Убит, — чуть слышно ответила Лиза. И вдруг рассердилась и на себя, и на свою собеседницу, со злобой выкрикнула: — Пусть бы и мне уж скорее конец!

Григорьева смотрела с сочувствием. Ей ли не понять было острую боль, когда смерть кажется единственным успокоением! Но тут же она вспомнила, что ни на один день не дала себе воли погоревать и что давать себе волю сейчас нельзя, и что горе молодой девушки никогда не может быть таким отчаянным, безысходным горем, как горе матери, потерявшей сыновей. И она сказала недоброжелательно:

— Глупости, девушка! Разве ж так можно?.. У меня двоих сыновей... двоих сыновей убили... так что же мне-то... мне-то что тогда говорить!..

Лиза раздражённо передёрнула плечами, бросила:

— Каждый по-своему чувствует...

И ушла.

Чем убедительнее звучали для неё слова, зовущие к жизни и к преодолению горя, тем мрачнее и злее думала она о самой себе и о том, как скоро она изменила своему решению отказаться от надежд и ожидания счастья. Ей становилось противно, что она живёт, дышит, смеётся, и она упрямо бередила затянувшуюся рану и внушала себе: «Я не живу, это только так, для виду, потому, что иначе нельзя, — а для себя я ничего не хочу и не жду...»

Журчали ручейки, весело струясь вдоль тротуаров и образуя маленькие водовороты возле нагромождений сколотого, но ещё не вывезенного льда. Их нежное журчание сопровождало Марию вместе со звуками труда — звяканьем лопат, постукиванием ломов, шарканьем фанерных листов и скрежетом полозьев по мостовой. Мария шла через весь город навестить Сизова и на всём долгом пути видела те же картины весеннего оживления.

И ей страшно было думать, что сейчас она войдёт в уютный «блиндаж» Сизова и может услышать горькую весть. Три недели назад Сизов был очень плох, еле говорил, ослабевшая рука не могла удержать перо... Жена потихоньку утирала слёзы и на прощанье шепнула Марии: «Бодрится он при вас, а ведь в чём душа держится?..»

Вопреки тревожным впечатлениям последнего свидания, Мария не хотела верить в возможность смертельного исхода. «Мы с ним живучие, — думала она. — Он поскрипит-поскрипит и встанет. Весна ведь! Вон как греет солнце, даже через ватник. Выживет он. Не может быть...»

И действительно, подходя к знакомому дому, она ещё издали увидела Сизова. Сидя на крыльце, в шубе и шапке-ушанке, завязанной под подбородком, Иван Иванович держал в руке топор и с любопытством поглядывал вверх на крутившегося в небе немецкого разведчика.

— Вот это гостя! И в самое гостевое время! — воскликнул Сизов. — Славно-то как?!

— Весна.

— Весна-красна. А ты говорила — не доживём.

Он привстал, отвернул конец ковровой дорожки, на которой сидел, как на подушке, и пригласил сестр Марию. Стукнул топором, осколки льда брызнули во все стороны, искрясь на солнце.

— Вот, балуюсь полегоньку, лёд скалываю и заодно себя проверяю: есть ли ещё силушка в жилушках? Выходит — есть. — Он отложил топор, вытащил кисет и стал сворачивать папиросу, закладывая в бумажку щепотки какого-то странного чёрного, с зеленоватыми крупинками, месива. — Говорят врачи — не курить табаку. А разве это табак? Вальс «Осенние листья», а не табак.

В вышине немецкий разведчик увёртывался от зенитного огня, но упорно кружил над городом, не желая уходить. Мария с тоскливым

предчувствием посмотрела на этого злого предвестника.

— Иван Иванович... неужели снова начнётся, как осенью?

— Всё возможно.

— Ох!..

— А ты не охай. С воздуха город не возьмёшь, как ни бомби, да и не очень-то мы их пускаем в воздух. Осенью у них ещё были шансы, а сейчас — куда там!

— Ты думаешь, сейчас нет опасности штурма?

— Опасности? Опасность большая...

Он видел, что Мария жадно ждёт продолжения, но не торопился. Он много и обстоятельно размышлял в эти недели болезни и теперь радовался слушателю.

— Опасность, дорогуша, будет, пока мы их в Прибалтику не отгоним. Они, конечно, к штурму, готовятся. Из одного самолюбия не может Гитлер допустить, чтобы Ленинград ушёл из его рук. На весь мир разрезвонил: «Падение Ленинграда — дело дней», а глядишь, семь месяцев у окраин топчется — и ни с места.

— Семь месяцев!.. — Марию поразило простой факт, что блокада продолжается уже семь месяцев.

Время, прожитое в блокаде, показалось ей пролетевшим очень быстро, но вместе с тем доблокадная жизнь вспоминалась, как что-то далёкое, призрачное.

— Или не заметила, как прошли? — усмехнулся Сизов. — А я, золотко, каждый день присчитываю — вот вам, подлецы, ещё минус, а нам ещё прибыль. Время-то на нас работает. Хотели нас уморить — не уморили. Сами закопались. И не они нас трясут, а мы их. Как же Гитлеру не сердиться? Им пока лезть несподручно. Распутица, бездорожье, болота раскисли. Надо, ждать лета. К лету они, надо думать, и готовятся. Так ведь мы не зря всю осень и зиму ковырялись. А скоро опять начнём, дай только в городе прибраться.

Он хитро покосился на Марию.

— Думаешь, я только небо копчу да паёк жую? Я уж полегонечку, пока моя старушка снег возила, прогулялся до телефона, поговорил, с кем надо... Большие работы предстоят. Ещё денька три погрею кости и поплетусь.

— Куда?

— Разворачиваться пора. Вот ты спрашиваешь — штурм... В сентябре нас штурмовали — вот где была опасность! В октябре — тоже. А сейчас мы говорим — город-фронт, город-крепость. Думала ты, что это значит? Вот,

смотри. Здесь Ленинград. Так? — Он топором начертил неровный квадрат на спекшемся снегу, ткнул топором в бегущий по канавке ручеёк: — Это Нева. А вон те лужицы, тот битый лёд — немцы. Сидят себе в мокрых блиндажах. Мокро, кисло, скучно, и с каждым днём мокрее и скучнее. Потому что Гитлер обещал им блицкриг, а получили они кукиш.

Он сердито поворошил крошево битого льда, обозначив расположение немцев.

— Близко, а?.. Но пусть-ка они теперь сунутся! Вот, скажем, наш передний край. — Он закруглённой чертой обвёл южную часть «города». — Урицк, Пулково, Колпино — и до Невы... Неплохой рубеж. Всё пристреляно, минировано. Проволоки, ежей, надолб и прочего нагорожено. Доты, дзоты — ну, сама знаешь. Сунутся они сюда? Допустим, сунутся. Но разгрызть такой орешек — не скоро разгрызут.

— Иван Иванович, — мягко прервала его Мария. — Я очень хочу, чтобы так и случилось. И я верю — просто верю в то, что мы отобьёмся. Но ведь наши прорвали когда-то линию Маннергейма? Значит, можно?

— Наши? Так то наши! — Он усмехнулся и сам себя поправил — Ну, допустим. Конечно, нескольких дивизий они при этом недосчитаются. Но допускаю. Прогрызли. И на что же они наткнулись? Пожалуйста! — Он провёл вторую закруглённую черту внутри первой. — Пожалуйста, второй пояс укреплений по внешнему обводу окружной железной дороги. Шушары, Лигово, Мясокомбинат, больница Фореля вплоть до Торгового порта и южной дамбы Морского канала. Узлы обороны, отсечные позиции... Новый орешек не по зубам! Скольких дивизий они тут недосчитаются?..

— Это уже город...

— Ми-ла-я! Когда он к Стрельне подходил, мы тоже говорили: это уже город. А города ему, как своих ушей, не видать! Но допустим, допустим, — покладисто забормотал он, — допустим, что он и тут кое-где прорвётся. И что же? Шагай по проспекту? Извините-с! На этот случай подготовлен третий рубеж. — Он провёл ещё одну закруглённую линию, уже внутри городской границы. — Тут мы с тобою строили да городили, знаем. Будьте любезны, опять всё сначала! От Угольного порта и до фарфорового завода — третий мощный пояс укреплений. Ещё дивизий недосчитаются! А ты думаешь, у Гитлера они без счёту?

— А знаешь, Иван Иванович, не будет этого, не прорвутся они никогда ни до второго, ни до третьего пояса. Доказать не могу, а чувствую.

— Экая ты! Сперва раздразила, а потом — «чувствую!».. Ты подожди, тут расчёт и обоснование нужны, а не чувства. Д-да... Так вот,

прорвал он все три пояса, захлебнулся от радости и — хлоп! — расквасил нос о внутреннюю оборону города. Напрасно мы с тобою возились, что ли? Внутри города только и начнётся для него морока. Четыре промежуточных рубежа тут преодолеть нужно, пока он к центру дорвётся. По окраине, примерно, где танковый завод да товарные станции — раз! По Обводному каналу — два! По Фонтанке — три! По Неве от Галерной гавани до Уткиной заводи — четыре! Баррикады, бойницы, дзоты, каждый дом с боем брать надо, каждый этаж... То-то, дорогуша! Вот это и значит город-крепость! А ко всему этому есть и ещё одна, наипервейшая линия обороны..

— Наипервейшая?

— Да, золотко. Наипервейшая и наипрочнейшая. Это — мы с тобой. Мы и все прочие. Ленинградцы... И вот тут ты права насчёт «чувствую». Правильно чувствуешь. Не прорвутся они ни ко второй, гни к третьей линии.

Мария смотрела на Сизова сияющими глазами.

— Ты очень хорошо сказал это, Иван Иванович. Знаешь, на днях по радио стихи передавали: «нас вместе называют Ленинград...»

— Вот, вот. Именно — вместе! В отдельности взять человека — ничего особенного как будто и нет, и хорошее в нём есть, и худое... А возьми его в коллективе, возьми всю массу да проследи, что её ведёт, что определяет — и есть чем погордиться, чему изумиться даже. Я всё думаю, Маша... Лежу и думаю. Сижу и думаю. Лед скальваю — опять думаю. Великий мы народ, Маша, советские люди. Удивительный народ!

— И даже в отдельности, — улыбаясь, поправила Мария. — Право, Иван Иванович. Всем нам приходилось в ком-либо разочароваться, от кого-либо отшатнуться с гадливостью. Но сколько оказалось людей таких, что с ними и воевать весело, и работать, и голодать можно, и опасность встречать без дрожи!

— Да, первая линия обороны. Эх, Маша-Машенька! До чего люди ясны стали, а? Тут ошибки быть не может. Тут словами не прикроешься, не сыграешь и в сторонке не останешься. Остаться в сторонке — тоже проступок, верно?

Мария задумалась. Она вспоминала десятки людей, с которыми её свела война, их слова и поступки, своё отношение к ним и к их поступкам.

— Только не забудь, что люди меняются, — сказала она. — Вот хотя бы Тимошкина. Изменился человек у нас на глазах! А может быть, приподнялся над самим собою...

Она вдруг засмеялась и рассказала:



— Стоим мы с нею на-днях на парадном во время шквального обстрела. Стоим и ёжимся — страшно. Перекинемся словом — и опять ёжимся. Она всё вскрикивала: «Ой, страсть какая!» Снаряд в дом напротив ударил, она охнула, поглядела, как дым и пыль оседают, и вдруг говорит вполголоса: «Нет, не верю я Черчиллю...» И опять: «Ой, страсть какая!»

— Ишь ты, молодец! — удивился Сизов. — Думает, значит, о международной политике?

Он снова закурил, чёрное месиво в его папиресе чадило, шипело и порою разлеталось с кончика папиросы дымящими искрами.

— Трассирующим табаком его на фронте называют, — заметил Сизов и, не докурив, отложил папиросу. — Читаешь ты газеты, Маша? Я всё вчитываюсь и в строчки, и между строчками. И как ни читай, выходит, нам одним надо выдюжить. Не торопятся союзнички. Мы их освободили от бомбёжек, все силы на себя приняли. А они не торопятся... Пускай, думают, советский народ поослабнет, порастратит силушку, тогда будет легче шкуру делить...

Мария сказала звонким от волнения голосом:

— Мы не ослабнем! Сколько нас вымерло в Ленинграде, какие мы истощённые... а разве Ленинград ослаб?

Сизов кивнул, наклонился к Марии и таинственно понизил голос:

— А что в мире делается? Во Франции — партизаны, на Балканах, в Чехословакии — везде сопротивление... и отовсюду смотрят на нас с надеждой, с ожиданием... И это, Маша, нескоро забудется. Так что, может быть, и правильнее, с исторической-то вышки, что нам придётся одним выдюжить...

Всё осталось позади.

Проваливаясь в метровые сугробы, подталкивая тяжёлые сани, прислушиваясь к каждому шороху, в этой дикой лесной тишине, где скрип полозьев казался невыносимо громким, а ржание коня — оглушительным, партизаны вывели обоз на лесную тропу. Тропа ничем не отличалась от прежних, по которым они вели обоз уже много дней. Так же неподвижен, глух и тёмн дремучий лес. Так же глубоки и нетронуты сугробы. Так же хмуро смыкаются над тропою давно перепутавшиеся ветви. И такая же стоит тишина, нарушаемая только отдалённым ворчанием канонады... Но Гудимов сказал:

— Перешли, товарищи!

И это значило, что вокруг уже не оккупированная немцами, опасная, полная ловушек территория, а своя, милая «Большая земля», где живут свои, родные люди. Ольга осматривалась, и лес ей казался приветливым, и шатёр над головою — пронизанным светом, весёлым, и сугробы — лёгкими, и тишина — дружелюбной, таящую радость... Радость пришла в облике четырёх красноармейцев. Партизаны окружили их, обнимали их, целовали, разглядывали, снова обнимали и целовали. Разведчики смеялись и вытирали глаза, что-то наперебой спрашивали и рассказывали. И хотя партизаны знали, что Красной Армии приходится тяжело и страна напрягает до предела свои силы, чтобы остановить и опрокинуть врага, у всех партизан было ощущение, что дела на фронте хороши и победа обеспечена. Разведчики не прикрашивали положения, не скрывали того, что каждый малый успех достаётся в тяжёлом бою и дорогой ценой, но сами эти бойцы были так жизнерадостны, уверены и непохожи на тех, что отступали под напором немцев прошлой осенью! По ним учуяли партизаны разительную перемену в войне.

Обоз вышел в расположение пехотной дивизии. Партизан встретили торжественно и любовно, сводили в баню, накормили, уложили отдохнуть. Ольга легла в настоящую постель, сказала себе, что уснёт мёртвым сном, улыбнулась удивительному чувству безопасности и уюта, приоткрыла глаза, желая убедиться, что удобный блиндаж — не сон, не мечта... и не заснула.

Она была среди своих, на «Большой земле». Всё пережитое за последние месяцы осталось позади: страшные скитания по лесам и

неравные бои с преследующими по пятам карательными отрядами, голодная мучительная жизнь в лесных чащах, в наскоро отрытых землянках, где вперемешку с партизанами ютились сотни женщин и ребятишек. Рост отряда, встреча с другим партизанским отрядом и создание партизанской бригады... Крупный налёт на концлагерь и освобождение нескольких сотен советских людей, томившихся в плену... Дерзкие налёты на большие гарнизоны, на железнодорожные станции, на продовольственные и военные склады... Бригада росла, расширяла свои операции, хорошо вооружилась, держала постоянную радиосвязь с командованием фронта.

В одной из операций Ольга бросила связку гранат в окно знакомого дома, где происходила офицерская попойка, а потом видела трупы убитых ею эсэсовцев, и среди них — опалённый труп полураздетой, растрёпанной Иринки... Даже по мёртвому, искажённому предсмертным ужасом лицу Иринки можно было понять, что она была совершенно пьяна. Её зарыли в лесу, в одной яме с немцами. Худшего позора и возмездия Ольга не могла себе представить, она убежала тогда, чтобы не видеть, и ей вспоминалась прежняя Иринка, легкомысленная и несмелая, но как будто обычная девушка, и она всё старалась до конца понять — как же это случилось, что Иринка изменила, продалась...

Но и это осталось позади. Остались позади и дни, когда партизанский край решил помочь осаждённым ленинградцам и по всем селениям пошёл сбор продовольствия. С какой щедростью доставали крестьянки припрятанные запасы, с какой готовностью резали скот, чтобы послать ленинградцам мяса, с какой заботой зашивали мешки и упаковывали ящики! Были они в этих сборах и хлопотах как матери, собирающие гостинцы для своих детей. И старики возились тут, как деды, радеющие о внуках, старались сделать всё особенно добротнo — заколотить основательно, увязать накрепко. Потом настал день, когда на сходках читали письмо, посылаемое от партизан и колхозников товарищу Сталину, и те же женщины и старики не спеша, соблюдая очередь, подходили к столу и ставили свои подписи, зная точно, что тетрадки с подписями пойдут опасной дорогой через фронт и могут в недобрый час попасть в руки немцев, а тогда всем подписавшим — смерть... Но женщины и старики разборчиво подписывались и выглядели уже не матерями и дедами, а гражданами и бойцами, исполненными непримиримости и высокого человеческого достоинства.

Ольга знала, что делегаты доставят обоз с продовольствием в осаждённый Ленинград, и она завидовала счастливым, и мечтала о

Ленинграде, и возможность пойти по улицам Ленинграда, пожать руки ленинградцам, заглянуть в их обстрелянные дома казалась ей совершенно сказочной. А когда Ольгу выбрали делегатом, она всё боялась, что в последнюю минуту что-нибудь изменится, сорвётся, что вместо неё пошлют другого... Товарищи по отряду приносили ей письма, адресованные «туда», Юрий Музыкант принёс даже посылку для жены и умолял Ольгу обязательно отнести ей лично. Ольга обещала, принимала письма, записывала адреса, а сама не верила, что всё это правда... Иногда в её мозгу мелькала мысль о брате, о Марии и её семье, но Ольга отгоняла невозможную надежду. Конечно же, Борис сразу увёз в далёкий тыл и Марию, и Андрюшку. Но, может быть, Анна Константиновна осталась? Увидеть её, обнять и всё рассказать ей, как матери!.. Она тотчас останавливала себя — нет, это слишком хорошо, не может быть...

Но вот уже промелькнули десятки станций и полустанков с толпами встречающих, промелькнули тысячи дружелюбных лиц, отзвучали сотни приветственных речей и возгласов. Позади осталась Кабона, ещё недавно — простое приладожское село, а теперь — огромный порт, где круглые сутки выгружаются из вагонов и нагружаются на машины тысячи тонн грузов, где грузовики наполняют воздух дребезжанием, гудками и запахом бензина, где при свете дня и в темноте, при свете включённых фар, колонны грузовиков сползают с берега на лёд и уходят туда, в морозную, беспокойную даль озера, за которую — край ленинградской земли... а другие колонны грузовиков ползут навстречу им, из этой беспокойной дали, и всползают на берег, нагружённые станками или заполненные до отказа людьми, вывезенными «оттуда»... Ольга всматривалась в их изнурённые, потемневшие лица — лица выходцев «с того света», и читала в их пристальных глазах отсвет какого-то глубокого знания, неведомого ей. Стыдясь своего незнания и своего здоровья, она ходила среди приехавших, желая и боясь встретить знакомых, и робко спрашивала обо всём, что они перенесли. Но они быстро узнавали, что она делегат партизанского края, и сами начинали спрашивать её с интересом и с бесконечным уважением к её боевой судьбе, и тогда у Ольги исчезало ощущение необыкновенности этих людей — как боец повстречалась она с бойцами. Позднее, после встречи и бесед с ленинградцами в самом Ленинграде, она окончательно поняла, что у партизан и у ленинградцев есть истинное душевное родство — потому что и в блокаде, и в немецком тылу борьба забирала всего человека, требовала крайнего напряжения сил, чистоты и смелости духа...

И вот она шла по Ленинграду, взволнованная и потрясённая всем, что

узнала, всем, что видела. Кого она найдёт? Кого уже не найдёт никогда?..

Ей нужно было в Петроградскую сторону к жене Юрия Музыканта, но ноги сами повернули на знакомую улицу, к знакомому пятиэтажному дому. Ей вспомнилось, как она приезжала сюда на каникулы или по делам, на комсомольские конференции и совещания и как ей нравилось останавливаться у Смолиных. С десяти лет Ольга не имела семьи, скиталась вместе с братом из одного города в другой, девочкой привязалась к его первой жене, тягостно переживала его развод, потом всей душой полюбила и Марию Смолину и, особенно Анну Константиновну. Но, пожалуй, только в дни войны она по-настоящему оценила силу чувства, связавшего её с ними. Сколько раз она думала о том, что потеряла брата и что больно и горько потерять вместе с ним двух самых близких женщин, ставших матерью и сестрой... Догадалась ли Мария, что он поступил недостойно? Оправдала ли она его? Или отшатнулась от него? И что подумала, что сказала, как поступила Анна Константиновна?..

Ольга остановилась против знакомого дома и подняла глаза к окнам пятого этажа. Окна были частично заколочены, зачем-то приделанные дощатые ставенки поскрипывали на ветру. Для чего ставенки? Чтобы предохранить стёкла при обстрелах?.. Но тогда, значит, кто-то позаботился навесить их? И кто-то открыл их поутру, впуская в комнаты дневной свет?..

Она взбежала по лестнице, привычно позвонила, потом сообразила, что звонок не действует, и начала стучать. Совсем просто, как в любой мирный день, за дверью возникли шаги, звякнула цепочка, щелкнула задвижка — и в раскрывшейся двери появилась Мария. В первое мгновение Мария показалась Ольге совсем прежней — те же серьёзные блестящие глаза, то же светлое лицо под зачёсанными назад волосами, обнажающими высокий, гладкий лоб.

Мария, не узнавая, смотрела на девушку в тулупчике и меховой шапке с красноармейской звёздочкой.

— Вам кого? — доброжелательно спросила она.

— Маша! — пробормотала Ольга. — Это я!..

Мария вскрикнула и отступила от двери. Радость, смятение, какое-то горькое воспоминание и снова радость, побеждающая все другие чувства, отразились на её лице. Она вскинула руки и не обняла, а только схватила Ольгу за плечи и притянула к себе, Ольга увидела слёзы в её глазах и сама заплакала, прижимаясь лицом к плечу Марии.

— Ну, вот, разревелись, — сквозь слёзы, шутливо сказала Мария и втянула Ольгу в переднюю. — Ну, входи же, входи... Оленька, откуда?

— Дай сперва поглядеть, какая ты, — говорила Ольга, размазывая

слёзы по щекам. — Я с партизанами... с обозом... ты, может, слышала... А где Андрюша?.. Господи, неужели это всё правда?..

Она сняла тулупчик, шапку. Радостно вскинулась, уловив шаги в глубине квартиры.

Незнакомая пожилая женщина выглянула из кухни. Андрюша, выросший и похудевший, держался за её юбку.

— Андрюшенька! — позвала Ольга, подбегая и опускаясь на колени перед ребёнком. — Андрюша... Малыш...

Мальчик поздоровался с доверчивой готовностью, но смотрел на Ольгу, как на чужую. Ольге не надо было спрашивать, она уже почувствовала, что другой, самой желанной встречи не будет.

Мария объясняла чужой женщине:

— Ты знаешь, кто наша гостья, Мироша? Это партизанка, обоз с продовольствием привезла к нам через фронт...

Ольга поняла, что этим представлением Мария как бы отгородилась от прежней родственной близости.

В комнате Марии, среди многих перемен, Ольга прежде всего заметила пустое место над столом, где раньше висел портрет Бориса. На столе, прислонённая к чернильнице, стояла небольшая фотография. Ольга невольно подошла и разглядела красивое мужское лицо, шпалу на петлице военной гимнастёрки... Она оглянулась, стыдясь своего нескромного любопытства.

Мария стояла посреди комнаты, подняв брови, с потухшими глазами. Теперь Ольга видела, что Мария очень изменилась — лицо резко осунулось и потускнело, припухлости под глазами странно исказили прежде чистые черты, незавитые волосы лежали на голове бессильные, будто поникшие. И столько разом возникшего страдания проступило в этом изменившемся облике, что Ольга с жалостью и стыдом вспомнила, что она — сестра Бориса, смущённо обняла Марию и шепнула:

— Маша... ты мне только не говори ничего... я всё понимаю... я бы так хотела...

Глаза Марии блеснули, горькие морщины разгладились.

— О чём ты, Оля? — Она усадила Ольгу на диван рядом с собою, нежно поцеловала её. — Ты мне лучше о себе расскажи. Я догадалась, что ты с Гудимовым пошла. Я столько раз думала о тебе... Девушка, в лесах, в землянках, в походах... Это очень страшно, Оля?

— Иногда, — призналась Ольга, — но в общем привыкаешь. И потом кругом люди. Товарищи. Когда одна — страшно. Но вот мы уже второй день здесь — нет, Маша, не нам страшно. После того, что я здесь увидела,

что нам рассказывали... я не знаю, что ещё может быть страшнее! Я в плену была. Меня били. Я бежала зимой через болото, пока не упала без сознания... Но это борьба. Действие. А вот так месяцами жить, как вы... умирать, как вы... не знаю, как бы я сумела выдержать...

И вдруг просто спросила:

— Мама умерла?

Мария кивнула головой и сурово сказала:

— Всё дело в том, что у нас тоже борьба. И действие. И потери, как в бою.

— Скажи мне, Маша...

— Что, Оленька?

Но вопрос не произносился. Никакие усилия не могли заставить губы прошептать этот вопрос.

— Ну, так я тебя спрошу, — ровным голосом сказала Мария. — И ты мне ответь всю правду. Мы ведь заслужили право честно разобраться во всём и не лгать друг другу. Даже если это тяжело. Скажи мне. Оля... Тогда, когда всё решалось... Трубников разыскал тебя или нет?

— Я бы всё равно не уехала!

Мария молчала, горько сжав губы.

— Нет, он не разыскал меня, — сказала Ольга. — Я была в отряде, мы получили винтовки и учились обращаться с ними. А он торопился... — Она припала к Марии и всхлипнула. — Маша, мне так... мне так... Ты можешь забыть, что я его сестра?..

— Я не хочу ничего забывать, — строго сказала Мария и поцеловала Ольгу в мокрый глаз. — Я рада, что есть Оля Трубникова, партизанка и молодец. Что в семье человека, которого я любила, есть настоящие люди. Ты это понимаешь?

— Теперь я спрошу, Маша. А потом мы больше не будем об этом. Маша... он был очень противен, да?

— Нет, — подумав, сказала Мария. — Нет. Или, может быть, одну первую минуту, когда ввалился в квартиру... Он... как бы тебе объяснить... он не терял вида. Держал себя в руках. Рассуждал. Со стороны, пожалуй, и не заметно было...

— Ты не знаешь, где он?

Мария выдвинула ящик стола, вынула пачку писем.

— Если ты хочешь знать, как может человек оправдываться... как» он может лгать себе, своему прошлому, своей совести...

Она подержала в руке и бросила письма обратно в ящик.

— Сейчас он, видимо, много работает в тылу. И если бы у него

хватило честности написать мне: «я струсил, растерялся, мне стыдно»... я бы простила. Нет, не то. Я бы поняла. У каждого из нас были минуты страха. Одни подавили его в себе, другие не смогли. Это можно понять. Я не знаю, так ли было у вас, у партизан, но здесь я столько видела людей, менявшихся изо дня в день... Слабый становился сильным. Неужели мы будем казнить тех, кто растерялся в первые трудные дни, а потом устыдился и выправился? Я бы всё поняла. Но ложь... зачем? Он же знает, что я всё понимала!

— И он оставил вас с Андрюшей, а сам уехал?

— Он уговаривал...

— Ах, Маша... я не сомневаюсь, что тебя-то он уговаривал! Но он уехал.

Они помолчали. Ольга, не таясь, подошла к столу и наклонилась, разглядывая фотографию, прислонённую к чернильнице.

— Какое хорошее лицо, — сказала она. — Он очень смелый, да?

— Не знаю. Я не представляю себе, чтобы он мог бояться, а он говорит, что часто боится.

— Все боятся, — подтвердила Ольга. — Гудимов тоже признавался мне, что иногда боится..

Она вдруг покраснела, покосилась на Марию и прижалась к ней, пряча лицо.

— А Гудимов приехал?

— Да...

— Почему же ты не привела его? Почему вы не пришли вместе?

— Мы придем... можно?

— Ты его очень любишь, Оленька?

— Да... нет, не знаю... может быть, вообще не так любят...

— Любви «вообще» не бывает, Оля. Каждая большая любовь по-своему нова и по-своему необыкновенна.

Ольга отодвинулась подняла порозовевшее лицо.

— Мне всегда казалось, любить — это так стремиться к человеку, что без него свет не светит и птицы не поют, — сказала она. — Так заполнить душу человеком, что ни для чего другого места нет...

— Ну, и...

— Ну, и всё не так. Я уйду на задание иногда на две, три недели — и с охотой иду, понимаешь?.. Иду на неизвестность, часто бывает очень страшно, а свет светит и птицы поют, и ничего не жалко... Он меня посылает на смерть, а я горда... и мне только нужно, чтобы он был доволен мною. Я могу с ним не видаться подолгу... я с ним разговариваю за



двадцать вёрст, понимаешь? Ведь это и есть любовь, да?.. Но я всегда думала, что любить — это значит быть с человеком такую, какая ты есть. Не притворяться ни сильной, ни смелой, ни умной, а быть самой собою и чтобы он любил тебя за то, что ты есть. И слабость твою любил, и недостатки твои прощал... А с ним я никогда не бываю самой собою... Он не хочет видеть ни слабости, ничего... Я при нём всегда скована и всегда тянусь быть сильнее, чем я есть... Может из этого что-нибудь выйти?

— По-моему, из этого может выйти самое чудесное... Но я хочу увидеть вас обоих вместе, Оля.

— Ой! Только ты даже виду не показывай, Маша, что ты знаешь... Мы с ним никогда не говорили ни о чём и, наверное, никогда не поговорим... И вообще из этого ничего, наверное, не выйдет...

— Наверное, выйдет то, что после войны вы поженитесь и он будет беречь тебя и прощать тебе твою слабость — если у тебя действительно есть слабость, Оленька!

— Ты так думаешь?

Она встала, прошлась по комнате. Посылка лежала на столе, её надо было отнести жене товарища. И надо было возвращаться в общежитие при Смольном и ехать выступать на завод, и в воинскую часть, и у зенитчиков. Рассказывать ленинградцам о партизанской борьбе. Каждый день — несколько выступлений, сотни встреч с прекрасными, сильными, храбрыми людьми... Разве это не самое главное, что таких людей очень много и она — один из них? Сколько бы ни было страха и слабости внутри, она же не даёт себе воли и старается быть такую, как они, такую, как надо... И она вернётся в партизанскую бригаду и будет ходить в разведку, участвовать в операциях, изредка встречаться с Гудимовым... и всё.

— Ну, я пошла, — сказала она с девической угловатостью. — И, знаешь, — сейчас не время для таких разговоров. Вредно думать, ждать... Сейчас нужно забыть себя.

— Но зачем же, Оля?

Ольга хотела ответить так же строго и резко, но вдруг жалобно улыбнулась и сказала:

— Размякнуть боюсь.

Уходя, она обняла Марию и жарко зашептала ей в ухо:

— Мы придем вместе. Ты ничего, не спрашивай, ты только присмотришься и потом шепни мне... как тебе покажется... любит он или нет?..

Ольга осторожно постучала в указанную дверь, сдерживая улыбку, чтобы не сразу, не слишком внезапно обрадовать Веру Подгорную известием о муже.

— Да, да, входите, — раздался негромкий голос.

В комнате стоял полумрак — половина окна была забита фанерой, а уцелевшие стёкла по-осеннему замутились, словно за окном лил безнадежный дождь, а не сверкала, не журчала, не веяла весёлым ветром весна. Ольга шагнула в комнату и разглядела на кровати закутанную в платок женщину. Женщина неохотно и вяло поднялась с кровати, бережно поправив маленький свёрток, лежащий рядом с нею. По радостной белизне свёртка Ольга догадалась, что в нём ребёнок.

— Товарищ Подгорная? — неуверенно спросила Ольга.

Это не могла быть Вера Подгорная — в измождённом лице, в сгорбленной под платком фигуре не было ничего от той красивой статности, которую воспевал Юрий.

— Это я, — сказала Вера и провела рукой по лицу. — Вы простите, я прилегла и заснула. Так мало удаётся спать. Вы откуда?

Она без любопытства смотрела на незнакомую гостью, стараясь незаметно прибрать комнату. Ольга заметила разбросанные пелёнки, невымытые тарелки и чашки, гребёнку, лежащую на стуле.

— Я из военкомата, — сказала Ольга первое, что ей пришло в голову, — пришла узнать, как вы себя чувствуете и чем вам помочь.

— Спасибо, — сказала Вера и выпрямилась. В измождённом лице вдруг мелькнула непобеждённая гордость. — Спасибо, — повторила она. — Мне ничего особенно не нужно, но я рада человеку. Я почти не выхожу и немного одичала здесь сама с собой.

— Вы живёте совсем одна?

— Одна? — Вера поглядела в сторону белого свёртка, и молодое материнское счастье преобразило её лицо, сквозь морщины и одутловатость проступила замученная, но неисчезнувшая молодость — Нет, не одна. Вдвоём. С дочкой.

— Ну, и как она... здорова?

— Ничего, — ревниво и словно нехотя ответила Вера. — Конечно, родилась она очень маленькая, шести фунтов Но здоровая. Теперь стала прибавлять в весе. Теплее будет, начнём гулять...

— Пока ещё не гуляете?

Вера села перед Ольгой и долгим, изучающим взглядом осмотрела её.

— Вы приезжая, да?

— Да, — покраснев, сказала Ольга. — А почему вы поняли?

Вера усмехнулась.

— По вопросам вашим. Если бы сейчас по холоду ещё гуляла... я до консультации еле-еле хожу... Она меня высасывает, а восполнить нечем... Для наших это всё понятно... Вы не думайте, я не для упрёка. Просто смешно стало. Вы недавно приехали?

— Вчера.

— Да что вы? Ну, расскажите же, расскажите, что там, на «Большой земле»! Вы как же ехали? По Ладогге? Она уже начала таять, мет?..

С молодой энергией Вера бросилась к «буржуйке», поднесла спичку к припасённым лучинкам.

— Сейчас будем пить чай!

— Да нет, зачем же...

— И не спорьте, пожалуйста! Наш блокадный кипяточек. Мне полезно побольше пить, а для вас это ещё и экзотика, правда?

Когда Вера усмехнулась, лицо её помолодело. Она распрямилась, откинула платок, и простое домашнее платье, свободно висящее на её высокой, похудевшей фигуре, напомнило о другом времени, о другой жизни — жизнь эта бродила где-то рядом, готовая вернуться.

— Вы, наверное, заметили, что у меня беспорядок, — с досадой сказала Вера, оглядывая комнату. — Мне самой бывает стыдно. Но иногда так устанешь, что просто сил нет сразу за собой прибрать. Накормишь дочку, укачаешь — и сама рядом уснёшь...

Она торопливо убрала пелёнки, раскинула маленькую вышитую скатерку и поставила чашки, хлеб, кусочек сахара на блюдечке. Ольга застенчиво протянула посылку, которую до того держала на коленях, не решаясь передать.

— Это что такое? — строго спросила Вера.

— А вы разверните. Это вам и через вас — дочке.

Вера развернула, — масло, деревенское, жёлтое, пахнувшее давно забытым неуловимым запахом...

— Кто вы? — спросила она, задыхаясь, и прикрыла масло бумагой, чтобы не видеть его, — это как в сказке какой-то... с феей... только фея в тулупчике и гимнастёрке... Боже мой, кто вы такая?

— Будем думать, что я и есть фея, только в гимнастёрке, — сказала Ольга, — а вы, пожалуйста, намажьте сразу кусок хлеба и съешьте... ну,

прошу вас... я же понимаю, как давно вы этого не ели... Там ещё хлеб и сало, и всякая всячина...

Вера пересмотрела все свёртки, и видно было, как она сдерживается, чтобы не заплакать. Она не намазала хлеб маслом, а стыдливо отошла к печурке, потом поглядела на спящего ребёнка, снова наклонилась к печурке, поправляя дрова.

— Знаете, фея, — тихо сказала она, — от нашей жизни до сказки очень далеко. Так далеко, что мы, кажется, перезабыли все сказки. Но одно мы узнали так крепко и верно, что и в сказках не бывало: очень много на свете хороших людей. Вас прислали хорошие люди. И у меня кругом хорошие люди. Такие, что с ними и голод не так страшен. В самое тяжкое время приходили ко мне. Ломтик хлеба... тридцать граммов... вот такой крохотный... а знаете, сколько весит на человеческих, на сердечных весах вот такой — принесенный товарищем ломтик?..

В бликах пламени, освещавших её, она порозовела, и Ольга вдруг увидела в ней ту Веру Подгорную, о которой рассказывал Юрий Музыкант, и поверила, что Музыкант не преувеличивал.

— А Бобрышев, — ещё тише сказала Вера, глядя в огонь, — сержант Бобрышев... он приходит раз в неделю с вязаночкой досок, щепок, и всегда у него в кармане что-нибудь — вот сахару немного (она кивнула на стол, где белел на блюдечке маленький кусок) или ломтик сала... раз компоту принёс половину баночки... А кто я ему? По-старому сказать — посторонний человек.

— Кто это Бобрышев?

— Сержант... товарищ моего покойного мужа.

Сейчас надо было сказать, сейчас, этой возродившейся, прежней Вере Подгорной можно было сказать, — но Ольга не нашла слов, которые помогли бы сделать это безболезненно, испугалась своего неумения и пробормотала неестественным голосом:

— Почему вы так говорите? Ваш муж пропал без вести... он может найтись..

Вера вскинула голову. Её покрасневшее лицо дышало теперь силой и страстью.

— Нет, — властно прошептала она, — молчите. Нет. Этого не может быть. Вы не знали Юрия. Его всё равно растерзали бы за непокорность, за гордость, за одни его непокорные глаза...

Она закусила губу, вся содрогнувшись от того, что в тысячный раз рисовало ей воображение.

— Но он мог попасть к партизанам, — выговорила Ольга, совершенно

растерявшись, — так бывает... я знаю случаи...

— Нет, — сказала Вера, — я думала. Нет. Он был ранен. Он упал раненный. В бою. Они нашли его мёртвым или прикончили... Там не могло быть партизан.

— А я знаю столько случаев., — настаивала Ольга. — Один мой приятель был тоже ранен... его сочли убитым... а ночью он с товарищем пополз в лес... они пришли к партизанам...

— Зачем вы мне это рассказываете? — резко спросила Вера и поднялась. — Ну, давайте чай пить.

Она налила чаю в чашки и опять подошла к кровати взглянуть на дочку.

— У неё, отцовские непокорные глаза, — сказала она, возвращаясь к столу и стараясь вернуть хорошее настроение. Но разговор о Юрии расстроил её, и она пугливо съёжилась: — Когда она спит, вот так тихонько, как сейчас, мне иногда страшно... я подхожу и слушаю — жива ли она?.. А когда она смотрит этими глазами — я знаю: выживет...

Ольга намазала хлеб толстым слоем масла и протянула Вере.

— Кушайте, а я вам расскажу... не о большой земле, нет... я её не знаю сейчас... так же, как вы... — Она запнулась было и вдруг поняла, что не надо хитрить, не надо искать окольных путей. — Я ведь сама от «Большой земли» далеко. Дальше, чем вы. И шла я к вам через фронт, через огонь... И это масло, и это сало — через фронт... от хороших людей, от особенно хороших людей...

Вера ела хлеб с маслом. — Маленькими кусочками, подставляя ладонь, чтобы не просыпались крошки, она ела хлеб с маслом, и в напряжённом лице её было блаженство узнавания. Она была так поглощена этим узнаванием давно забытого вкуса и ощущения, что слова Ольги скользили мимо её сознания. Ольга поняла это и смолкла, опустив глаза в чашку, чтобы не смущать Веру. Кончив кусок, Вера помедлила, отрезала себе второй кусок, намазала его и виновато взглянула на гостью:

— Не удержаться, — сказала она. — Вы уж не обижайтесь...

Она поднесла было хлеб ко рту, но вдруг память её повторила и донесла до сознания слова гостьи. Побелев и опустив на стол хлеб, она пристально вглядывалась в лицо Ольги. Потом стремительно взяла её за руку и прошептала:

— Если у вас есть что сказать мне... если вы пришли... я вас умоляю, скажите мне сразу...

— Я из партизанского края, — сказала Ольга и потянулась к карману тулупчика, где лежало письмо Юрия Музыканта.

Но прежде чем она дотянулась, Вера перехватила её руку своей неожиданно сильной рукой и потянула к себе.

— Юра? — выговорила она одним коротким дыханием, зажмурив глаза.

И Ольга сказала:

— Да.

Ольге хотелось увидеть лицо Веры, но слёзы мешали ей. А Вера стояла неподвижно, закинув голову назад и глядя перед собой недоуменными, широко раскрытыми, ещё не видящими счастья глазами — ей надо было освоиться, привыкнуть наново к возможности того, что входило сейчас в её жизнь.

Ольга, наконец, посмотрела и испугалась непонятого, недоумённого выражения на лице Веры, и быстро заговорила, чтобы отвлечь Веру от её сосредоточенного недоумения. Она стала лихорадочно рассказывать, как принесли в отряд тяжело раненного, как не понимали сперва, что Музыкант — фамилия, а не профессия раненого, как он потом поправился, как он принёс письмо и страшно волновался, жива ли Вера, родился ли ребёнок..

Вера слушала всё с тем же выражением недоумения и сосредоточенности. Её порыв был неожидан и мгновенен, Ольга увидела её уже на коленях у кровати — Вера обнимала руками белый свёрток и повторяла в исступлении:

— Дочка... дочка... доченька... дочка...

Ребёнок проснулся и запищал. Очнувшись, Вера взяла его на руки и села с ним к столу, и заплаканное, измученное лицо её было таким необыкновенным, не похожим на прежнее, таким преображённым и прекрасным, что Ольга уронила голову на руки и заплакала от жалости и умиления, и вся её тревожная, трудная, неженская жизнь последних месяцев показалась ей по-новому красивой, устремлённой вот к такому возвращённому людям счастью, и она плакала уже о себе, о своей любви, скрытой ото всех, о трудности самоотречения и радости его.

— Покажите мне его почерк, — сказала Вера, не замечая слёз гостьи, покачивая на руках дочь и жадными, требовательными глазами следя за рукою Ольги, снова потянувшейся к тулупчику.

Ольга достала письмо и положила на стол перед Верой. Вера смотрела на самодельный конверт и продолжала укачивать ребёнка.

— Я пойду, — сказала Ольга, вставая, — я ещё приду к вам позднее. Может быть, завтра.

— Да, да, — пробормотала Вера, не отрывая глаз от знакомого почерка на конверте.

К телу прилиwała жизнь. Все чувства Лизы обострились, её внимание касалось всех предметов, прежде ничем для неё не примечательных, и возбуждённо отмечало и упругую лёгкость окрепших мускулов, и нежную голубизну весеннего неба, и пряную свежесть воздуха. Она уходила с завода домой и шла пешком, наслаждаясь ходьбой и видом оживающего города. Путь был долог, но она выходила ещё на набережную и бродила, вслушиваясь в шорохи льдин и в журчание волн у ступеней гранитной лестницы, и ей хотелось спуститься к самой воде, поймать крошечную льдинку и держать на тёплой ладони, пока льдинка не растает... Всё пело в ней и кричало: живу!

Однажды она поддалась искушению, спустилась по ступеням и стала над высоко поднявшейся водой, слушая и наблюдая, внимательная и рассеянная одновременно. Вода струилась и струилась у её ног, увлекая с собою серые, набухшие водою льдинки. Река уносила их в море. В море им суждено растаять и слиться с массами холодной воды, раскачиваемой ветром над чёрной глубиной, где навсегда схоронен Леонид Гладышев. «Пусть море примет меня в последний раз»... Лёня встал рядом с нею — большой, застенчивый, от застенчивости то развязный, то угрюмо молчаливый. Она давно уже не припоминала его живым, почти осязаемым, так, что слышится дыхание и угадывается слово, которое он хочет сказать...

Она взбежала по ступеням и быстро пошла прочь от реки, задыхаясь от горя. Но и в этом было возвращение жизни...

Вечером, слушая сонную болтовню Андрюшки за стеною, Лиза впервые с осени разрыдалась, уже не над Лёней, а над собою, потому что она была одинока и молода, жизнь вернулась к ней, молодость и красота вернулись, но некому полюбоваться ими, некому отдать их... Большая жизнь, предстоявшая ей, показалась пустой и страшной.

Зимой, перед общей большой бедой, в непосильной, мучительной работе было так просто найти забвение и отраду. Тогда Лиза требовала от своего тела только выносливости, чтобы подниматься по лестницам чужих домов, таскать воду и дрова, чтобы тянуть санки с больными и не упасть, дотянуть. Природа не существовала для неё иначе, как враг или помощник — мороз был убийцей, наступающая весна — спасительницей или новым коварным врагом, если сама Лиза вместе со всеми не сумеет во-время

очистить город... Луна, как бы таинственно и приветно она ни светила, была только осветительной лампой, демаскирующей город.

Потом началось возрождение завода. Разве не пережила она недель душевного подъёма, когда весь смысл жизни заключался в том, чтобы увидеть отремонтированные машины выходящими через цеховые ворота — на фронт?..

Так недавно это было! И вдруг оказалось, что весенний ветер по-прежнему что-то шепчет и солнце ласкает кожу, и остаётся время тосковать по ласке, и силы, как их ни расходуешь в труде, ещё остаются для того, чтобы томить душу и тело. Вдруг оказалось, что весна — это просто весна, и молодость — всё та же жадная молодость, и можно быть занятой почти целые сутки — всегда найдётся минута понять, что одиночество остаётся одиночеством.

В один из таких одиноких дней появился Лёня Шевяков. Он рассказал, что его батарея сбила четыре немецких бомбардировщика. На его груди красовался орден Красной Звезды. Лиза поняла, что он пришёл похвастаться наградой. В этом не было ничего плохого, но Лиза оскорбилась и не поздравила его.

— Знаете, открылись кинотеатры, — сказал Лёня. — Почему бы нам с вами не сходить в кино?

Лиза даже зажмурилась, так это показалось необыкновенно. Войти в знакомый зал, увидеть яркий луч, дрожащий над головой и заливающий волшебным светом экран... увидеть развёртывающуюся на экране чужую, мирную жизнь... услышать музыку, совсем такую же, как до войны, до блокады, до танков...

Они вошли в очень холодный, скудно освещённый зал. Зал быстро заполнялся. Армейские и флотские шинели перемежались с ватниками и шубами женщин. Зал был обшарпанный, и лица — исхудалые, но непривычный электрический свет придавал собранию почти сказочную праздничность.

И вот луч яркого света осветил экран, и возникла чужая, мирная жизнь. Фильм оказался комедией, которую Лиза уже видела до войны. Но теперь она смотрела на оживших перед нею старых знакомцев с удивлением и раздражением. Их волнения показались мелки, они суетились попусту, их страсти оставляли её равнодушной. Почему они не понимают, что жизнь проста, что жизнью и счастьем надо дорожить, что глупо мешать друг другу?.. Почему среди всей этой массы людей не нашлось хоть одного умного человека, чтобы сказать этим горе-влюблённым: «Чудаки! Ну, чего вы терзаетесь? Не надо выдумывать преграды, когда их нет!» При мысли о



том, что без выдуманных преград не было бы и фильма, Лиза развеселилась и подобрела. Посмотрим, решила она, как они будут выпутываться, раз умного человека не нашлось! И она уже охотно смеялась над смешными зюкключениями героев фильма и даже пожалела, когда влюблённые, наконец, устали сомневаться и поцеловались, а в зале вспыхнул свет, вернув её к действительности.

В тёмном дворе кинотеатра Шевяков взял её под руку.

— Не споткнитесь, — сказал он, чуть сжимая её локоть.

На улице было светлее, из-за домов выползала луна.

— Вот занятно, при луне ваши волосы кажутся голубыми, а глаза чёрными, — сказал Шевяков, наклоняясь и заглядывая в её глаза.

Она почувствовала себя красивой и необыкновенной и не нашлась, что ответить Шевякову, — так непривычны и приятны были его слова.

— Я тут в штабе на трёхдневных учениях, — сказал Шевяков, прощаясь с ней у подъезда. — Можно зайти к вам завтра вечером?

— Завтра не выйдет, я работаю до восьми, — солгала Лиза.

— А что, если я вас встречу у завода и провожу домой? И вы меня напоите чаем? Вы не поверите, как хочется выпить чаю в домашней обстановке!

— Хорошо... Если не будет сверхурочных, я выйду в восемь.

Поднявшись к себе, Лиза села в тёмной комнате у окна. Луна уже совсем взошла. Лиза накрутила на палец локон и подняла его, чтобы посмотреть, действительно ли он кажется при луне голубым. Да, он казался голубым. Она выдернула палец, больно дёрнув при этом запутавшийся волос и сквозь зубы сказала себе: «Дрянь!»

На следующий день она кончила работу в шесть, но осталась поработать ещё часок, а потом сидела в комитете комсомола и злилась на себя. Почему она догадалась солгать насчёт работы, но не собралась с духом прямо отказать ему? Может быть, уйти сейчас, пока его ещё нет, он потопчется и поймёт?..

В пять минут девятого она вышла за ворота и сразу увидела его высокую фигуру в щегольской шинели и в щегольской, с острыми краями, фуражке. Сердце её дрогнуло. Тёмный силуэт Шевякова до странности напоминал другой, любимый.

Она отшатнулась, когда Шевяков хотел взять её под руку.

— Нельзя? — огорчённо осведомился он. И тут же добродушно заговорил: — А я хочу рассказать вам одну смешную историю... Вы не упадёте в потёмках?

Она, конечно, споткнулась, и кончилось тем, что он взял её под руку и

стал рассказывать свою историю, и домой они пришли в самом весёлом настроении.

Они пили чай с бутербродами, принесенными Шевяковым, и Лиза лениво молчала, накручивая локоны на пальцы.

Было уже поздно, Мироша вздыхала и зевала на кухне, но Лиза не решалась прогнать своего гостя. А он заговорил о своём одиночестве, о том, как он счастлив эти два вечера в её обществе и как ему легче и веселее будет работать, зная, что в свободный час он может навестить её, если она позволит.

— А я люблю своё одиночество и ничего не хочу менять в своей жизни, — вспыхнув, со злостью сказала Лиза. — Вы!.. Вы, друг Лёни!.. Вы так быстро забыли его, что смеете!..

Он покраснел и начал оправдываться, но она со слезами в голосе напала на него:

— Да! Да! Вы думаете — погоревала и забыла! Это гадко! гадко! Вы два вечера со мной, и вы даже ни разу не вспомнили Лёню! Неужели вы думаете, что я стала бы встречаться с вами, если бы я не думала, что вы разделяете со мною... что вы уважаете... что вы...

Она расплакалась и закричала:

— Уходите! Уходите! Я не могу вас видеть... друг называется!

Он оправдывался, как мог. Она постепенно успокоилась и почти помирилась с ним. Уже у двери он сказал ей:

— Вы простите меня, Лиза. Я не хотел обидеть вас. Я не забыл Лёню. Но я думал, что жизнь берёт своё. Я хотел...

— А я ничего не хочу! — страстно сказала Лиза. — Понимаете? Ни-че-го!

«Я не хочу», — внушала себе Лиза назавтра, стараясь не глядеть по сторонам на оживающий мир. «Мне ничего не нужно. Я не хочу.»

Но она хотела. Она жила. Её ноздри против её воли втягивали запахи талого снега, солёного ветра и разогретой прелой земли. Глаза видели солнечный свет, искрами вспыхивающий в журчащих ручейках, набухшую влагой землю, готовую выпустить первые зелёные ростки. Её кожа горела на ветру. Её слух ловил многоголосый звон капли...

И вдруг она увидела воробья. В городе, покинутом птицами, она увидела обыкновенного взлохмаченного воробья, который вприпрыжку пересекал набережную. Она остановилась. Воробей покосился на неё блестящим глазом, вспорхнул, перелетел подальше и снова запрыгал, ероша перья. Она шагнула к нему, но воробей снова вспорхнул, сделал круг над мостовой и сел на карниз. Крылышки его вздрагивали от падающих с

крыши капель.

Значит, жизнь несомненно возвращается! Новые птицы прилетели, ничего не зная о тех, других... И в теле её билась кровь, пульсировала в висках, подступала к щекам, горячила губы — не потому ли так свеж казался ветер?..

Громкий скрежет привлёк её внимание. Во втором этаже полуразрушенного дома распахнулось окно. В тусклом, закопчённом стекле милостиво блеснуло солнце. Две тощие руки закрепили крючки, и вслед за тем сам человек перегнулся через подоконник и свесил голову, озирая набережную. Лицо было не молодое и не старое — кто его знает, сколько раз оно встречало вот так весну! Оно было вне возраста и вне жизни — заострённое, с глубокими впадинами на щеках, с синевато-чёрными пятнами отёков под огромными глазами.

Лиза не могла отвести взгляда от этого полувидения-получеловека. «Выжил-таки», — подумала она с недоверием. В это время лицо широко улыбнулось ей, став весёлым, простым и совсем человеческим, одна бровь озорно поднялась, глаз заговорщицки подмигнул, и обыкновенный мягкий голос крикнул ей:

— Красота!

Она с улыбкой кивнула, невольно замедлив шаг.

— Живём! — снова крикнул человек и засмеялся, щурясь, подмигивая, шевеля подвижной озорной бровью.

Лизе стало ясно, что человек этот молод и отёки пройдут, тело нальётся соками жизни и восстановит прежнюю силу.

— Живём! — крикнула в ответ Лиза, чтобы не убивать радость этого воскресшего из мёртвых, и ускорила шаг. «Да... да... Я тоже живу... И радуюсь тому, что не умерла... И хочу солнца, радости, любви... И любви тоже... Куда деваться от самой себя?»

У Шевякова кончались штабные ученья. Завтра он должен был вернуться на корабль. Она не рассердилась, когда он позвонил ей по телефону и, запинаясь, попрощался. Ей хотелось встретиться с ним и услышать снова его хороший голос: «Вот забавно, у вас волосы голубые, а глаза чёрные...» Но она сухо сказала:

— Желаю успехов.

— Вы не сердитесь, Лизанька? — глухо спросил он.

Чуть не плача, она тихо ответила:

— Нет, нет. Прощайте, Лёня.

И повесила трубку, но ещё долго сжимала её нагретую ручку в ладони, как будто ожидая, что телефон вот-вот позвонит.

Пятитонка уже мчалась полным ходом по шоссе, а Соне всё ещё мерещились торосы и разливы мутной воды, и всё хотелось приоткрыть дверцу, чтобы успеть выпрыгнуть, если случится беда. Этот последний рейс по тающему льду Ладоги был на редкость тяжёл даже для выдавших виды ветеранов ледовой трассы. Дорога «поплыла». Почти на всём её протяжении поверх непрочного, прогибающегося льда выступила вода, и машины шли в ней, поднимая буруны, как торпедные катера. Сильный ветер рябил воду и гонял её волнами, Соне казалось, будто грузовики плывут по морю. Когда машина застряла, она выскочила на лёд и оказалась в воде по колени.

Самые выносливые шофёры взмокли от пота, — такого напряжения требовал этот рейс. Соню бросало то в жар, то в холод. Открыв дверцу, она до рези в глазах вглядывалась в дорогу, в её смутные приметы, и не выпускала из виду машины, идущей впереди, следя за каждым маневром её водителя.

Когда озеро осталось позади и пять машин последнего эшелона понеслись по шоссе к Ленинграду, Соня почувствовала себя измочаленной, ни на что не способной — хоть плачь! Ветер пронизывал её насквозь, леденя мокрую одежду. Глаза болели. Соня время от времени закрывала их и вела машину вслепую, но тогда перед нею начинали рябить волны и взлетать брызги бурунов, и она испуганно вздрагивала, чувствуя, что засыпает.

Подбадривая себя, она думала о том, что уже близко Ленинград, в котором она не была с середины зимы, и что автобат теперь перебазирован куда-нибудь на Ленинградский фронт, а пока, наверное, будет передышка и можно будет выпросить увольнение домой. «Домой!» — повторяла она вслух, обретая новые силы от одной мысли, что попадёт домой. Она не мечтала о встрече с сестрой или Мирошей, она даже не думала сейчас о них, ею владело одно простое желание — скинуть комбинезон, сапоги и всю свою грубую, мокрую, пропахшую потом одежду, вымыться с головы до ног, надеть халатик и домашние туфли, на полчаса сесть в кресло и выпить чаю из домашней голубой чашки...

Чтобы не заснуть на ходу, она заставляла себя обдумывать, как всё это осуществится, что она скажет своему лейтенанту и что ответит лейтенант. Она убеждала себя, что он неплохой парень, этот лейтенант, хотя и

нагловат, и любит показать свою власть. Мысль о лейтенанте привела её к воспоминанию, доставлявшему боль, и она постаралась отвлечься от всяких мыслей вообще и стала громко, сердито петь, чтобы разогнать сон. Но голос хрипел и не слушался, слова песни забылись. А воспоминание шевелилось в мозгу и вызывало острую боль...

После трёх недель мучительного ожидания, тоски и страха она решила попросить однодневный отпуск, чтобы съездить в полк, где служил Мика, и узнать на месте, что с Микой случилось и куда его увезли. Лейтенант был не в духе и заорал на Соню, что она сошла с ума, что она не комсомолка, а баба, и толку от бабы не будет, он знал это с первого дня. Соня ушла оскорблённая, потому что работала в комсомольском эшелоне, совершавшем не меньше трёх рейсов в сутки и ежедневно перевыполнявшем план перевозок. На её личном счету было тогда уже двести пятнадцать тонн перевезённых грузов, чем могли похвастаться далеко не все водители. Она вывела машину в очередной рейс и половину дороги плакала от обиды, от страха за Мику и от ненависти к лейтенанту. Но на следующий день лейтенант срочно вызвал её и ещё издали закричал: «Собирайтесь скорей, сейчас идёт аэродромная машина, вас подвезут, я договорился!» И она не успела опомниться, как уже машина везла её к аэродрому и два её попутчика, оказавшиеся техниками, давали ей советы, к кому обратиться в полку и кого из «стариков» она может найти. «Старики!» Так они называли лётчиков, которые служили вместе с Микой.

Она повидала и комиссара полка, и командира, и многих микиных товарищей — их было не так мало, хотя они уже терялись среди новичков. Ее утешали и успокаивали, наперебой уверяли, что Мика ранен неопасно и, конечно, поправится и даже вернётся в строй... Соня старалась верить тому, что ей говорили, но сердце её холодело от отчаяния. Никто ничего не знал точно: Мику подобрали и отправили в госпиталь пехотинцы. И сколько бы её ни успокаивали, она не могла поверить, что Мика жив, не при смерти и всё-таки не пишет ей ни слова. .

Так она и жила с тех пор — внутренне сжавшись и похолодев от тоски. Она по-прежнему старательно водила машину, всеми силами, стремилась сделать три рейса, а иногда и четыре, соревновалась с другими шофёрами и отвечала им на шутку — шуткой, на доброе слово — добрым словом, на резкость — резкостью. Её любили за весёлость, за упорство, с каким она работала, держась наравне с мужчинами, и она осталась и упорной, и весёлой: это помогало ей, — да и что было бы, если б среди тяжёлого труда, лишений и смертей каждый выносил свои переживания на люди?

Случались и радости в её трудовой жизни. Комсомольцы создали

ударные комсомольские эшелоны, и эшелон, в котором работала Соня, вышел на первое место в соревновании. На её личном счету теперь значилось уже триста восемьдесят три тонны. Лейтенант шепнул ей однажды, что командование представило её к медали «За отвагу». Из всех возможных наград Соню больше всего привлекала эта медаль; взглянув на неё, каждый должен был понять, что Соня вела себя храбро. Но и в радости присутствовал едкий привкус горя. От Мики не было вестей, даже написать ему было некуда, и небо над трассой стало пустым — сколько бы ни было в нём самолётов, не хватало одного, самого нужного, заполнявшего прежде сонину жизнь тревожной радостью и гордостью..

Машины вошли в город.

Соню уже не клонило ко сну. Она смотрела по сторонам, стараясь уловить сущность перемены, происшедшей в городе. Машины проносились мимо развалин и мимо целых домов, исчирканных осколками снарядов, мимо колонок, где горожане набирали воду, и мимо трамвайных остановок, где стояли кучки людей. Всё было буднично, привычно. Люди выглядели получше, покрепче — Соня с радостью отметила это, она знала, что есть и её доля труда в том, что ленинградцы уже два месяца получают 600, 500 и 400 граммов хлеба, а рабочие оборонных предприятий — даже 700 граммов! Но этой перемены она ждала, а другую никак не могла уловить. Что-то произошло с самим городом... И вдруг она увидела женщину в белом фартуке, деловито подметавшую мостовую, — женщина посторонилась, пропуская машины, но из-за угла вышел трамвай, и женщина вся застыла в узком пространстве между трамваем и машинами, заметила, что Соня сочувственно замедлила ход, и улыбнулась ей. И тогда Соня поняла, что поразило её в облике города — город лежал прибранный, трогательно чистый, как под праздник, и в нём снова ходили трамваи. Ленинградцы восстановили трамвай! Эта новость ещё не успела дойти до Ладоги...

Во временную казарму автобата попали только к вечеру. Соня вышла доложить лейтенанту, и лейтенант приказал ей подготовить машину к ночи, значит предстояла новая поездка. Неужели автобат перебазируется в эту же ночь? Соня была так утомлена и удручена, что даже не попросила увольнения и коротко спросила:

— Разрешите исполнять?

Но лейтенант сам спросил:

— А домой не хотите?

— Ой, конечно, хочу! — воскликнула Соня.

— Дать вам увольнение, Сонечка, я не имею права. Сегодня! —

многозначительно сказал лейтенант. — Но вот вам пакет. Снесёте по адресу. Если вам повезёт с трамваем, у вас выкроится часа два для личных дел. Идёт?

— Ещё бы! Разрешите бежать?

— Беги, раз ноги бегут.

Дома Соня застала только Мирошу с Андрюшкой. Но она даже не поздоровалась с ними как следует, потому что глаза её разглядели знакомый треугольничек письма, засунутого под раму зеркала, и на этом треугольничке — знакомый почерк с завитушками и росчерками.

— Я уложу спать Андрюшеньку и приду, — сказала Мироша, испуганно косясь на письмо: в эти военные дни каждое письмо казалось ей вестником беды.

— Ладно, — рассеянно ответила Соня и торопливо закрылась в комнате.

Было полутемно, но в окно ещё струился блёклый вечерний свет. Соня развернула у окна треугольничек бумаги и помедлила, собираясь с силами, чтобы принять всё, что там таится. Обращение было простое и весёлое, первые строки — бодрыми и незначительными, как будто это было не первое и единственное письмо за четыре месяца, а одно из многих писем. Так оно и оказалось, Мика сетовал на то, что не получает от Сони ответа, и высказывал опасение, что он напутал с номером её полевой почты. Соня опустила на колени письмо и несколько минут молча осваивалась с той простой истиной, что Мика — жив, что у Мики всё в порядке, что её опасения не оправдались. А потом жаркая, весёлая надежда заставила её схватиться за письмо. «Что касается меня, — писал Мика, — то починили меня полностью, и сегодня я выезжаю со своими новыми приятелями поближе к тёплому морю. Сама понимаешь, отдыхать не собираемся, хотя места и курортные».

Соня несколько раз подряд перечитала эти строчки, мертвея от ещё не до конца осознанного смысла их. Потом она прочитала дальше: «Как только определюсь, пришлю тебе номер почты. Очень беспокоюсь о тебе и о родном городе. Когда-то теперь увидимся!» Она опять вернулась назад, к ужаснувшему её строчкам, и поняла всё до конца. Из госпиталя Мику направили в новую часть и «с новыми приятелями» отправляют куда-то к Чёрному морю, «в курортные места», может быть, на Керченский полуостров или в Севастополь... куда-то, где идут большие бои, — «отдыхать не собираемся...»

Конец письма был нежный, но сдержанный. Соня угадала, что Мика вполне поправился и даже отдохнул, и сейчас он в боевом настроении, но

раздосадован назначением на далёкий южный фронт и поэтому взбадривает себя бойкими, весёлыми словами.

Строчки письма растворились в полумраке. Соня смотрела прямо перед собою в окно, за которым густели поздние сумерки. Она не видела и не чувствовала ничего, кроме пустоты. Огромной пустоты пространства и времени, отделявших её от Мики.

Мироша приоткрыла дверь и робко спросила:

— Ты где, Сонюшка?

Соня вздрогнула, огляделась, увидела себя сидящею в темноте и подскочила в испуге:

— Который час?

— Да, уже начало одиннадцатого, наверно...

— Одиннадцатого?!

Соня бросилась к двери, на ходу запихивая в карман микино письмо. Она даже не простилась толком с тёткой, что-то невпопад ответила ей, через три ступеньки понеслась вниз по лестнице. Сапоги её подсохли и больно сжимали распухшие ноги. Но она всё-таки бежала всю дорогу и опоздала лишь на шесть минут. Подмигнув дежурному, скользнула в гараж к своей машине, взяла тряпку, чтобы обмыть её, да так и села с грязной тряпкой в руках на подножку грузовика.

В огромном холодном гараже рядами стояли обшарпанные, тоже по-своему усталые и до предела заезженные машины. Как они скрипели и дребезжали, бедняги, когда их снова и снова заводили в долгий путь!

Соня сочувственно и грустно оглядела ряды машин, потом себя — замызганный, в тёмных пятнах полушубок, промасленные ватные штаны, покоробившиеся солдатские сапоги и загрубелые шершавые руки. В потрескавшуюся на морозе кожу, въелась маслянистая грязь. Не скоро отмоешь теперь! Да и не скоро придётся отмывать добела!.. Должно быть, сегодня же или завтра автобат тронется на новое место, и снова пойдут дни и месяцы опасных, утомительных поездок с короткими передышками, во время которых только и думаешь, как бы поплотнее поесть да поскорее завалиться спать. Это и есть война. Суровая, простая и жестокая война, через которую надо пройти, не ослабев. Впереди долгие месяцы — а может быть, и годы?.. — разлуки, грубого фронтового труда, мытарств, тревоги, редких писем, а порою страшных недель полной неизвестности, ожидания, страха. Сколько дорог надо изъездить до встречи?. И может быть, самое плохое случится с Микой или с нею, или с обоими прежде, чем всё кончится победой?..

Кто-то шёл по гаражу. Соня вскочила, скосив глаза в ту сторону, откуда



приближались шаги.

— Эге, Сонечка явилась! — приветствовал её один из товарищей. — Ну, что, нагулялась?

— А как же! — бойко откликнулась Соня. — Шесть минут лишних прихватила. Уж гулять так гулять!

Предполагалось, что на танковый завод поедут Гудимов, Ольга и «дед» Владимир Петрович. Но в последнюю минуту Гудимова вызвали к члену Военного Совета Ленфронта, и Ольге пришлось выступать вдвоём с «дедом».

На таких собраниях Ольга обычно рассказывала о том, как её поймали немцы и как Сычиха спасла её ценой собственной жизни, а «дед» рассказывал о ночном переходе тысячи человек по охотничьей тропе через болото.

Стоя на трибуне перед несколькими сотнями притихших слушателей, Ольга начала свой рассказ. Но сегодня он не удовлетворял её. Ведь какие люди слушали её! Рабочие прославленного завода, герои небывалого сопротивления! Они знали толк в героизме и выносливости. Если бы здесь был Гудимов! Он умел просто и даже весело рассказать о множестве людей и событий так, что слушатели получали ясное представление о самом главном — о народности партизанского движения, о трудности условий и о героическом упорстве партизан. Его выступления были убедительным отчётом перед взыскательным судьей — народом. А Ольга не умела собрать воедино и связно обобщить свои наблюдения и, чувствовала, что проходит мимо главного, что от волнения её мысли разбегаются.

Но собравшиеся слушали её, затаив дыхание, с нежностью и уважением разглядывая худенькую, очень молоденькую девушку, испытавшую так много. Слушал Григорий Кораблёв, с горечью думая о том, что ранение слишком быстро вывело его из строя и что он мог бы принести у партизан куда больше пользы и как боец, и как мастер. Слушала Лиза, с благоговением повторяя себе, что вот это и есть настоящая борьба и что только так стоит жить. Слушал Солодухин, ворча про себя: «А я-то, старая развалина, всё ругаюсь, всё жалуясь, сам себя в герои записал, что не помер. А вот они — настоящие-то люди!» Слушал Сашок, мысленно переживая всё, что рассказывала Ольга, но мгновенно дополняя и на свой лад улучшая события, — ножом, брошенным в окошко, он сам убивал часового, спасая Сычиху от гибели, он хватал автомат убитого немца и короткими очередями скашивал всех, кто пытался подойти, он устраивал засаду и ловил эсэсовского генерала... Рядом с ним Григорьева утирала слёзы, жалея молодость Ольги, и думала: «Меня вот, старую, уже не жалко, жизнь всё равно на исходе, мне бы напоследок отомстить проклятым за

Гришутку, за Ванюшку, за все наши слёзы! Я бы сама под поезд легла, лишь бы они, душегубы, полетели под откос. Мне бы, мне бы такое утешение, такую последнюю отраду!» Слушал Владимир Иванович, из президиума собрания поглядывая то на Ольгу, то на возбуждённое отчаянное лицо Соловушки в первом ряду и раздумывая о том, что эти советские девушки, полные жизнелюбия и жажды самоутверждения, никогда не удовлетворятся узкими интересами своего дома и семьи, что они идут с мужчинами вровень даже в воинском труде. А в это время Люба мысленно умоляла мужа: «Отпусти меня, Володечка, отпусти меня с ними! Я не попадусь немцам, как она, я буду хитрой, осторожной и ловкой, я и стрелять умею отлично, и на лыжах бегаю превосходно, и ничего не побоюсь. А мне так хочется пожить этой удивительной, страшной, интересной жизнью! Отпусти, Володечка, я буду так любить тебя за это!..» Левитин, слушая Ольгу, думал о том, как много чистых, замечательных людей проявила война и как легко будет с ними работать после победы, лишь бы они уцелели... Лишь бы побольше их уцелело..

А Ольга, не уловив ни благородной зависти, ни волнения слушателей, почувствовала себя напряжённо, как на экзамене, — причём отвечала она на этом экзамене не только за себя, но и за всех своих товарищей.

— Мы стараемся быть такими же стойкими и выносливыми, как вы, — сказала она. — Мы учимся бороться у ленинградцев и хотим заслужить право называться ленинградцами.

На многих лицах промелькнуло удивление. Солодухин даже головой покачал: «ишь ты, как возвеличила нас!» Сашок приосанился. Люба оторвалась от своего мысленного спора с мужем и призадумалась.

Ольга заметила движение, вызванное её словами. Да, ленинградцы ещё не понимают величия своего подвига! Ей стало легче. Робеть нечего, не для того они приехали, чтобы считаться подвигами, их встреча — это встреча боевых соратников для взаимной поддержки, для обмена опытом. Она так и сказала, вызвав дружные рукоплескания, и затем неожиданно для самой себя заговорила о предательстве Иринки. Волнуясь, она подробно рассказала всё, что знала об этой девушке, как будто присутствующим было так же важно понять причины падения Иринки, как это было важно Ольге. По воцарившейся в зале томительной тишине она увидела, что это действительно важно всем.

— И вот, товарищи, я виню себя, — сказала Ольга решительно. — Ведь она была рядом со мною. А я не заглянула в её душу. Она же три месяца подряд видела нашу работу, иногда тянулась к нам, иногда в страхе шарахалась. А я прошла мимо её слабости, её неустойчивости. Почему я не

поговорила с нею в открытую? Не предупредила её, что нет среднего пути? Не укрепила её душу? Ведь ей было двадцать лет! Она не устояла, сдалась, но я в этом сама виновата. Да, виновата! — страстно подтвердила Ольга, отмахнувшись от протестующего возгласа «деда». — Человеку в тех условиях надо доверять много или ничего. На полпути останавливаться нельзя! Если бы я внушила ей доверие к её собственным силам, заставила её принять решение и перешагнуть через свой страх и легкомыслие... Да ведь мы все хоть раз в жизни перешагнули через свой страх, разве неверно?

Она передохнула и с такой же страстностью продолжала:

— Я говорю об этом потому, что это — часть моего боевого опыта. И этот опыт важен всем. Нельзя быть равнодушными к другому человеку, к его слабости. Надо бороться за каждую душу, говорить с каждым прямо, внимательно и требовательно! — Она посмотрела поверх голов слушателей, улыбнулась возникшему перед нею образу и сказала: — Я хочу рассказать вам, как наш командир воспитывает всех нас. Он нам доверяет, товарищи. Это, по-моему, главное. Он верит в наши силы и заставляет нас верить, что ты всё сможешь, всё выдержишь, со всем справишься.

Она вдруг всем корпусом повернулась к раскрывшейся возле подмостков двери, вспыхнула и произнесла с восторженной и безоглядной любовью:

— Да вот он сам приехал, наш командир!

Гудимов и Пегов поднялись на подмостки. Они только что приехали из Смольного, и на лице Гудимова ещё держалось серьёзное, озабоченное выражение. Его встретили рукоплесканиями, он тряхнул головой, оживился и охотно вышел к трибуне.

Ольга уже несколько раз за последние дни слушала его выступления перед ленинградцами. Но сегодня она уловила в его речи какую-то новую, суровую интонацию.

— Нас ушло в лес семнадцать человек, и один испугался, убежал. Но остальные знали, что страна надеется на нас, что Сталин верит нам. Мы были тогда очень слабы, а теперь против нас посылают дивизии карателей с артиллерией и самолётами, и всё-таки не могут уничтожить нас. И не уничтожат! Хотя, быть может, нам ещё придётся очень туго. Мы обещаем вам, ленинградцам, что выдержим самый жестокий напор, но превратим немецкий тыл в ад для врага!

Так закончил Гудимов. В этой концовке не было ничего необыкновенного, но за обычными словами Ольге почудилась внутренняя тревога.

— Что случилось, Алексей Григорьевич? — спросила она, как только

они сели в машину.

— Ничего, Оленька, ничего, — ответил он, стиснув её руку. — Я договорился насчёт машины — завезём деда, а потом — к Маше Смолиной. А то и не соберёмся к ней до отъезда.

— Уезжать-то скоро будем? — спросил Владимир Петрович, которого ежедневные выступления утомили больше, чем любые партизанские скитания.

— Погостили — пора и честь знать, — ответил Гудимов.

\* \* \*

Мария бродила по своей квартире, то бесцельно перекладывая и переставляя вещи, то рассматривая своё отражение в зеркале испытующим, недоверчивым взглядом, то останавливалась в передней, чтобы послушать, не слышны ли шаги на лестнице. Она сказала Каменскому, что будет дома с восьми, но пришла гораздо раньше и уже успела придать своей запущенной за зиму комнате довоенный уютный вид, уложила спать Андрюшу и надела единственное, уцелевшее от обмена на хлеб, темно-вишнёвое платье. Сначала она сама себе понравилась в этом платье. Но прошёл час, прошло полтора, стрелка часов приближалась к десяти, а Каменского всё не было. И теперь, заглядывая в зеркало, она недоброжелательно, безжалостно судила себя — она заметила и отёчную припухлость нижних век, и морщинки возле рта, и сероватую бледность щёк...

Утром Каменский позвонил ей и сообщил, что добился назначения на фронт и получает свой прежний полк. Он был очень доволен, а Мария только тихо спросила:

— Когда?..

— Приказ ещё не подписан, но вопрос решён. Надеюсь, что дня через два-три смогу принять полк.

Она заставила себя поздравить его. Ей показалось, что он обрадовался её приглашению меньше, чем обычно. Он весь захвачен новыми заботами и надеждами. И через два-три дня он уедет.

«Я люблю его, — говорила она себе, бродя по квартире. — Я люблю его, и он мне необходим... А он? Он даже не подумал о том, что отъезд в полк — это разлука! Любит ли он? Наша любовь началась не так, как надо... Горькие впечатления врывались в каждую из встреч. Отношения стали братскими, дружескими ещё до того, как победила любовь. Может ли теперь стать иначе? Не поздно ли?..»

«Может», — сказала она себе, услышав стук на парадном и побежала открывать дверь, сама не зная, что сделает и что скажет, зная только, что не будет ни таить, ни сдерживать любовь.

Но это были Ольга и Гудимов.

Мария желала и боялась встречи с Гудимовым. Она предвидела тягостный, но что-то до конца решающий разговор о Борисе. Что скажет Гудимов?

Они расцеловались, как старые друзья. Гудимов расспрашивал Марию, Мария расспрашивала Гудимова и Ольгу, беседа перескакивала с одной темы на другую, в середине её пришёл Каменский, обрадовался интересной встрече, сразу подружился с Гудимовым и Ольгой, беседа потекла ещё оживлённее — и никто не заговаривал о Трубникове, все забыли о нём, Трубников уже не существовал для них.

Вспомнила только Мария — мельком, чтобы сказать себе, что прошлое отброшено навсегда. Она села на ручку кресла возле Каменского, коснувшись рукой его плеча. Он поглядел на неё снизу вверх, благодарным взглядом, и она поверила, что он любит её. Ей хотелось громко признаться: вот он, человек, которого я люблю.

Но Гудимов вдруг повернулся к Марии и, сделав над собою мучительное усилие, проговорил:

— Маша, вы сможете приютить у себя на несколько недель вот эту девушку? Её оставляют в Ленинграде.

\* \* \*

Два часа назад член Военного Совета Ленфронта показал Гудимову радиограмму штаба партизанской бригады и сводку разведывательных данных. Немцы снова стягивали силы вокруг партизанского края, намереваясь на этот раз плотно блокировать и разгромить партизан. Вчера были отбиты первые вылазки, предпринятые немцами. На большой станции несколько смельчаков вызвали крушение большого эшелона карателей. Немцы подвезли артиллерию, но один из складов со снарядами в первую же ночь взлетел на воздух. По примерным подсчётам, вокруг партизанского края сконцентрировано до двух дивизий и две эсэсовские карательные группы...

— Надо возвращаться, — дочитав сводку, сказал Гудимов.

Теперь, когда он был далеко от своей бригады, полученные известия пугали его гораздо сильнее, чем если бы он получил их на месте. Он

предвидел все меры, которые сейчас предпринимаются, и все меры, которые надо предпринять... Догадаются ли там без него? Сумеют ли?..

— Разрешите вылететь сегодня же?

— Такой крайности нет, — сказал член Военного Совета. — Сейчас распутица, немцы не полезут, пока не подсохнет. А здесь вы делаете очень важное дело. Ваш приезд — большая поддержка для нашего народа.

Они всё-таки договорились сжать план выступления партизан и ускорить отъезд группы. Всё было решено. Гудимова ждал Пегов, чтобы ехать вместе на танковый завод. Но Гудимов медлил, не решаясь высказать просьбу, горевшую на губах.

— Ну, всё? — спросил член Военного Совета.

— Есть ещё личная просьба.

— Давай, давай, сделаем.

— Я бы хотел... оставить здесь одного человека.

Член Военного Совета вопросительно вскинул глаза, увидел побледневшее лицо Гудимова и мягко сказал:

— Ладно. А... что она может делать, если оставить её в партизанском центре?

— Всё, — уверенно сказал Гудимов. — Она грамотная, способная девушка, комсомольский работник, ей можно доверять полностью.

— Идёт.

Разговор был окончен, но оба задумались. Потом член Военного Совета спросил равнодушным голосом, но со странным выражением тревоги и сожаления на лице:

— А она согласна остаться?

— Не знаю, — угрюмо ответил Гудимов. — Думаю, что заставить её согласиться будет нелегко. Мне хотелось бы так поставить вопрос, что её оставляют.

После паузы оба встали, и член Военного Совета спросил, прощаясь:

— А тебе... не очень трудно оставить её здесь? Может быть, не стоит?

— Трудно. Но ещё труднее посылать её на задания, на операции.

— Так не посылай. Держи её при себе, в штабе. Конечно, и там риск, но...

Гудимов горько усмехнулся.

— Это невозможно. И она никогда на это не согласится, и я — не имею права.

— Ох, Алексей Григорьевич, какие задачи жизнь перед большевиками ставит!

Гудимов вздохнул было, но тут же задорно улыбнулся:

— Однако и мы ставим перед жизнью немалые задачи!

И вот теперь он должен был договориться с Ольгой. Он нарочно затеял поездку к Марии Смолиной. Здесь он и оставит Ольгу, когда уедет. Может быть, уют домашней обстановки после стольких мытарств и лишений соблазнит её, поможет смириться?..

Не решаясь заговорить с Ольгой, он обратился к-Марии. В комнате наступила тишина, и в этой тишине прозвучал резкий вопрос Ольги:

— О ком речь, Алексей Григорьевич?

Твёрдо глядя в сверкающие гневом глаза Ольги, Гудимов объяснил, что её оставляют на несколько недель для работы в партизанском центре. Так нужно для дела, через несколько недель её сменит Коля Прохоров или ещё кто-либо. Она будет работать по связи с бригадой.

— Это несправедливо! — звонко выкрикнула Ольга. — Они не имеют права! Почему вы не сказали им, что я ни за что не останусь? Я до Жданова дойду, до Сталина дойду!

— Девушка! — примирительно вмешался Каменский, не понимая толком, что тут происходит, но желая поддержать Гудимова из мужской и командирской солидарности. — Приказ есть приказ, и если вам приказывают остаться..

— Этого не может быть, чтобы мне приказали... — прошептала Ольга.

Ей живо представились друзья, оставленные в бригаде, землянка, где она жила, землянка, где стояла рация Коли Прохорова, штаб, куда она ходила за новыми заданиями и где было так отрадно хоть издали увидеть Гудимова... долгие беседы с Колей Прохоровым — он один догадывался о её любви и грустно сочувствовал ей... ожидающий вестей Юрий Музыкант... молчаливый и строгий Антонов, тащивший её на спине двенадцать часов... тётя Саша и Таня, доверчиво и самоотверженно помогавшие ей во всём... Не вернуться к ним?! Это было невыносимо. Она вспомнила первую диверсию, своё прощание с Трофимовым и Женей Орловым, и минуту, когда, услышав страшный взрыв, выбежала к реке и увидела в отсветах пламени медленно, как бы задумчиво падающие в воду чёрные переплёты взорванного моста... и долгое ожидание, и рассвет, и напряжённый голос Гудимова: «Доблестная, славная смерть!» Она вспомнила многих других товарищей, которых уже нет, вспомнила старую Сычиху, её шопот: «Беги!» и те два выстрела, что прозвучали в ночной тишине... Обмануть этих людей? Никогда!

— Такого приказа не может быть, — повторила она. И вдруг догадка осенила её, догадка, подтверждаемая той внутренней тревожной озабоченностью Гудимова, с которой он приехал из Смольного. — Вы



скрываете от меня правду, Алексей Григорьевич. Какие новости вы узнали сегодня? Плохие, да?

— Неважные.

И Гудимов начал рассказывать, ничего не утаивая, даже сгущая краски в надежде, что Ольга, быть может, ужаснётся и поймёт — лучше остаться. Скрыть от неё надвигающуюся опасность было выше его сил.

Оставшись здесь, она никогда не простила бы ему обмана. А если он пообещает вскоре, когда угроза пройдёт, вызвать её обратно — может быть, она и смирится?

В тревоге за товарищей забыв о себе, Ольга расспрашивала, высказывала свои предположения, кто были те смельчаки, что вызвали крушение эшелона, придумывала новые диверсии, волновалась, придут ли они в голову другим, жалела, что её нет там сейчас — её, имеющей такие верные связи и среди железнодорожников, и в деревнях... Когда она снова вспомнила о себе и о желании Гудимова оставить её, она уже не возмутилась, а подошла к Гудимову и заглянула в его глаза:

— Вы хотите уберечь меня, Алексей Григорьевич?

Мужская, горькая, долго сдерживаемая тоска прорвалась в его коротком ответе:

— Хочу!

И тогда Ольга порывисто схватила его руку и прижалась к ней лицом.

— Если вы хотите, Гудимов... если вы хотите сберечь меня — не оставляйте! Не оставляйте никогда. Понимаете? Никогда!

Оторвавшись от его руки, она бросилась на диван и зарылась головой в подушку.

Гудимов дрожащими пальцами доставал папиросу.

— Здесь Андрюша спит, нас выгонят, — сказал Каменский, увлекая его к двери. — Пойдёмте курить на кухню.

— Чорт, — сказал Гудимов, так как папироса сломалась в его пальцах, и вытащил другую. Уходя, он с мольбой шепнул Марии: — Уговорите её, Маша.

Ольга и Мария долго молчали. Марии был понятен страстный отказ Ольги, но ей хотелось помочь Гудимову, да и сама она боялась отпустить Ольгу туда, где её подстерегает смерть. Ольга всё ещё прятала лицо в подушке. Мария потянула её за плечи и спросила с улыбкой:

— Ты всё ещё не веришь, Оля, что он тебя любит?

Ольга не ответила, но насторожилась.

— А ты ещё говорила, что он не бережёт тебя... не считается с твоей слабостью!..

Ольга упрямо мотнула головой и буркнула в подушку:

— И лучше бы не берёг!

Мария с силой оторвала её от подушки, села рядом.

— Подожди, Олечка. Не горячись. Я не хочу вмешиваться... Но ведь это на несколько недель. И тебе предлагают работу нужную, ответственную, полезную твоим товарищам...

Ольга вырвалась, вскочила, прошлась по комнате и остановилась напротив Марии.

— Чтобы их пока убили? Выждать, пока минует опасность? Спасать свою шкуру?! И это советуешь мне ты? Ты!

В комнате горела одна настольная лампа. Ольга стояла спиной к свету, Мария не видела её лица, только светлый контур обрисовывал её вскинутую голову и узенькие плечи. Мария даже заслонилась рукою, так ярко встал в памяти другой вечер. Вот так же горела настольная лампа, освещая сзади безвольно опущенные плечи и упрямо пригнутую голову Бориса. Как он сказал тогда? «Фанатик... Жанна д'Арк... В конце концов я не хочу быть лишней жертвой в кровавой бане, которая будет на днях...» А его сестра требует, чтобы ей разрешили вернуться к товарищам и разделить с ними смертельную опасность.

— Прости меня, Оля.

— Ты же понимаешь! — обрадованно сказала Ольга, обнимая Марию. — И знаешь, Маша, сейчас... я поеду туда — даже если его оставят!

\* \* \*

Мужчины молча курили в кухне, смущённые недавней сценой. Докурив папиросу, Гудимов прикурил от неё вторую. Каменский примял свою и сказал:

— Простите, что я вмешиваюсь в ваши дела. Не оставляйте её. Обоим будет лучше.

Гудимов поморщился. Выражение беспомощности было странно на его лице, но оно только промелькнуло.

— Если бы она... относилась ко мне иначе, — сказал он, — мне было бы не так трудно. А вечно бороться с собою... И уж очень она хорошая. Ей жить. После победы жить.

— Я тоже очень хотел отправить Марию Николаевну в тыл, — сказал Каменский. — Но имеем ли мы право навязывать им путь, который сами

отвергаем?

— У-ух, эта война! — со злобою процедил Гудимов. — Ненавижу!

Вошла Мария, оба обернулись к ней.

— Дайте папиросу, Алексей Григорьевич, — попросила Мария и жадно закурила, стараясь унять волнение. — Я ничего не достигла, — быстро сказала она, — Оля права. Не мучайте её.

— Она права, — утомлённо согласился Гудимов. — Но вы-то понимаете, Маша, что я не могу, не имею права беречь её там... больше, чем других?

— Понимаю, — так же быстро сказала Мария. — Но я верю в силу любви.

— Любви?

— Да, — подтвердила Мария, глядя на Каменского с торжественной убеждённостию. — Любовь должна хранить человека. А если и не сохранит, то даст счастье перед смертью.

Гудимов взял её руки в свои и крепко пожал их.

— Вы уверены, Маша?

— Конечно, — легко ответила Мария. — Идите к ней, идите же!..

Гудимов ещё прикрывал за собою дверь, когда Каменский шагнул к Марии.

— Какие слова! — сказал он со страстным упрёком. — Почему вы не сказали их мне, Марина?!

Она рассмеялась, исподлобья глядя в его возбуждённое лицо:

— Разве вы не поняли, что я говорила это и вам?

Последнюю посадку перед Ленинградом самолёт совершил в Хвойной, откуда его должны были сопровождать истребители. По краю поля бродили пассажиры, ожидая отправки самолётов на Ленинград, на Москву, на Урал.

Василий Васильевич Кораблёв потолкался среди пассажиров, прислушиваясь к их разговорам и охотно завязывая знакомства. Тут были партизаны, возвращавшиеся из Ленинграда к себе в леса Ленинградской области — им предстоял ещё сложный путь. Были командиры армейские и флотские, но больше всего было всяких штатских «командировочных», летевших из Ленинграда и в Ленинград по разным делам. Василию Васильевичу очень понравилась обстоятельность, с какою жил в осаде его родной город — немцы на шоссе Стачек, а в городе готовят научные диссертации, волнуются о штатных ассигнованиях и ставят спектакли! Приятно было и то, что никто из людей, направлявшихся в Ленинград, не боялся и, видимо, не думал об опасности. Летят себе и летят, будто нет ни блокады, ни обстрелов, ни немецких истребителей, охотящихся за транспортными самолётами. И вновь прилетающие задают только один тревожный вопрос:

— Новой сводки не слышали? Что в Керчи?

И тогда оживлённые лица становятся озабоченными, и кто-нибудь коротко отвечает:

— Пока отбиваются.

Пилот прошёл к самолёту и через плечо бросил своим пассажирам:

— Давайте, поехали.

В сумерках северной ночи под крылом открылась Ладога — тусклая гладь воды с блестящими на ней последними льдинами. На одной из льдин зоркие глаза Василия Васильевича разглядели скорченный труп бойца, упавшего вниз лицом. На другой промелькнули какие-то обломки — может быть, от разбитого грузовика или от самолёта.

Через полчаса Василий Васильевич ступил на сырую, мягкую землю и всем существом ощутил, что это не простая земля, а ленинградская, желанная, родная.

— Ну, как тут, в Ленинграде? — спросил он у встретившегося ему авиатехника.

— Ничего, — лениво ответил техник. — Киоски вот открывают.

— Какие киоски? — не понял Василий Васильевич.

— Обыкновенные. С водами и сиропами, как полагается приличному городу.

И техник подмигнул старому мастеру с таким задором, что Василий Васильевич понял — никакой лености в этом милом человеке нет, а просто недосуг ему рассказывать, да и трудно отвечать на слишком общий вопрос.

— А вы чего же, папаша, приехали? — спросил техник, косясь на седины Василия Васильевича.

— Для консультации, — проворчал старик. — Со своего завода на свой завод. Понимай, как знаешь.

— Очень понятно, — сказал техник и снова подмигнул.

Старенький автобус повёз пассажиров по бесконечной тёмной дороге в город. Василий Васильевич прижимался лицом к стеклу, но городская окраина, которою они ехали, тонула во мраке, и впереди тоже не проблескивало ни одного огонька, хоть именно там лежал громадный населённый и работающий город.

Пассажиров выгрузили на Литейном и предложили им ночевать в здании. Аэрофлота. Хождение по городу ночью без специальных пропусков было запрещено, но Василий Васильевич решил рискнуть.

Перекинув через плечо чемодан и посылку с гостинцами для сына, он уверенно зашагал по знакомым улицам. Всё казалось ему прежним, не изменившимся. Изредка попадались развалины, вырисовываясь острыми линиями на светлеющем небе. Василий Васильевич гневно осматривал их и старался запомнить улицу и номер дома.

Заметив патруль, он шёл к нему навстречу.

— Пропуска у меня нет, — говорил он, вытаскивая бумажник. — Может, вот эти бумажки подойдут...

Бойцы разглядывали его командировочные документы, понятливо улыбались:

— Домой?..

И он шёл дальше, внимательный, радостный. А небо над ним быстро светлело, и по-весеннему ранняя заря позолотила город. Теперь уже не только развалины, но каждую дыру в стене, каждую щербину от осколка видели глаза старого ленинградца, и было их так много, этих дыр и щербин, что Василий Васильевич перестал останавливаться и запоминать. Заговорило радио.

Ровный, сдержанный голос диктора читал утреннюю сводку:

«...на Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои и, отбивая контратаки противника, продвигались вперёд».

— Так, — сказал Василий Васильевич, несколько встревоженный сообщением о контратаках, потому что подобное упоминание было первым с начала наступления на Харьковском направлении. «Значит, немцы подбросили туда силы и пытаются во что бы то ни стало остановить нас?..»

Тем же ровным голосом диктор продолжал читать сводку:

«В направлении Изюм — Барвенково завязались бои с перешедшими в наступление немецко-фашистскими войсками.

На Керченском полуострове продолжались бои в районе города Керчь...»

— Так, — со вздохом произнёс Василий Васильевич и зашагал дальше, бормоча себе под нос: — Ну, погодите, погодите! Дайте срок!

Он по-прежнему смотрел по сторонам, отмечая все раны на знакомых улицах, но мысли его унеслись далеко от родного города, на Урал. Подходил час, когда там, в посёлке, похожем на лагерь погорельцев, из всех барачных землянок и вагонов выйдут рабочие, устремляясь к заводу. Рабочие войдут в цех и станут на свои места. Всё ли там подготовлено сегодня для бесперебойной работы конвейера? Не затёрло ли опять с термической обработкой? Справляется ли заместитель? Золотой он парень, но мягко-ват... Поправился ли начальник смены или всё ещё ходит с температурой, в двух фуфайках и кричит простуженным голосом?.. Эх, не напутали бы там, не сбили бы налаженного темпа...

С этими тревожными мыслями он подошёл к любимой площади и увидел триумфальную арку, увенчанную колесницей. Горячие кони рвались на запад, туда, где за утренней дымкой скрывалась линия фронта, туда, где за колючей проволокой таился враг... «Погоди, мы рванёмся! — пригрозил ему Василий Васильевич. — Не на конях рванёмся, а на могучих уральских танках... тысячи танков пошлём на тебя, проклятый. . много тысяч...»

Часом позднее он сидел в кабинете директора, деловито обсуждая, что нужно делать, и когда Владимир Иванович, хитро прищурясь, спросил его:

— Как, Василий Васильевич, не ругаете меня, что поехали?

Василий Васильевич только руками развёл:

— Толк вышел, так жалеть не приходится.

— Долго у нас пробудете?

Ещё на Урале, узнав о командировке, старый Кораблёв старался выговорить себе срок побольше. В дороге он даже мечтал — остаться бы в Ленинграде совсем. Но, поговорив с Владимиром Ивановичем и разобравшись в том, что блокадные условия не позволят развернуться широко, сравнив масштабы производства здесь и на Урале, он сурово отказался от своей мечты.

— Долго не могу, — ответил он. — Да и не нужно. Вы мне дайте под начало моего Григория и ещё пяток знающих людей, я их проинструктирую, сами сумеют. — Он помолчал и признался: — Боязно мне, Владимир Иванович, как бы там темп не снизили... А на фронте-то, видите, как оборачивается...

Потом он пошёл по заводу, то и дело останавливаясь, как вкопанный, перед страшными разрушениями. Из иных полуразрушенных цехов нёсся задорный звон и скрежет металла, шипение работающих резцов, стук молотов, голоса. Василий Васильевич устремлялся туда и разыскивал среди незнакомых женщин и подростков знакомых «стариков» — и с ними забывал о горечи этого свидания с еле дышащим заводом, потому что «старики» верили, что всё восстановится, вернётся.

Он вздрогнул от радостного удивления, увидав в пролёте сборочного цеха знакомые фигуры Курбатова и Солодухина. Всё таким же иронически спокойным выглядел Курбатов, так же рыхло и массивно было подвижное тело Солодухина, так же съезжали на кончик носа его очки — но, самое главное, старые приятели всё так же спорили, и совсем по-прежнему, петушком налетал на Курбатова Солодухин.

— Будто я и не уезжал, — сказал Василий Васильевич, подходя к ним.

После первых объятий и расспросов Курбатов пожаловался, любовно косясь на Солодухина:

— Всю душу выел мне толстопузый. Прямо сладу нет.

А Солодухин виновато и нежно пробурчал:

— Ладно, не жалуйся, Василий Васильевич знает, что ты за птица.

— В ваши споры мешаться, что мужа с женою судить, — отмахнулся Василий Васильевич. — Сам же и виноват окажешься... Сын мой здесь?

— Господи, дураки мы! — вскричал Солодухин и рысью побежал по цеху, крича во весь голос: — Гриша! Ко-раб-лёв!

— Пойдём к нему, — предложил Курбатов.

Они застали Григория за разборкой мотора. Помогал ему круглолицый паренёк лет пятнадцати-шестнадцати, и старый Кораблёв с одного взгляда определил, что паренёк работает толково, со сноровкой. А Гриша осунулся, пожелтел, постарел, розовый бугристый рубец, пересекавший его лоб, странно изменил его.

— Отец! — изумлённо вымолвил Григорий, поднимаясь.

Паренёк тоже почтительно поднялся и сказал, деликатно отводя глаза.

— Здравствуйте, Василий Васильевич.

Его робкое приветствие помогло Василию Васильевичу справиться с собою.

— Ну, здравствуй, мастер, — сказал старик. — Ты чей такой, что знаешь меня?

— Кто же вас не знает...

— Аверьянова сынишка, — объяснил Григорий. — Помощник у меня, правая рука.

— А-а, то-то я смотрю, сноровка у тебя. В отца значит. Зовут как?

— Александр.

— Выходит, Александр Николаевич. Ну, ну, работай, Николая Егорыча Аверьянова сын должен в первоклассные мастера выйти.

Он повернулся к Григорию и почувствовал, как мучительная отцовская жалость слезами подступает к глазам.

— Эк тебя скрутило, Гриша. Половина осталась... Пойдём куда-нибудь поговорим, или не можешь?

— Идите. Григорий Васильич, я сделаю, — сказал Сашок.

— Сделает, — с гордостью подтвердил Григорий. — Если так пойдёт, я его скоро бригадиром поставлю. Королём мотористов будет!

Отец и сын прошли в пустую конторку и сели рядышком на скамью. Много хотелось им рассказать друг другу и о многом расспросить, но в эти первые минуты свидания всё смешалось в голове и всё казалось не тем самым главным, о чём следует поведать. Потом Василий Васильевич сказал:

— Что ж, Гриша. Вижу, постоял ты за всех нас... А я вам тут новинку одну привёз, интереснейшее, понимаешь, дело...

Кончился рабочий день, давно разошлись рабочие, уборщицы подмели цех и погасили свет, а старый и молодой Кораблёвы всё сидели в конторке. Старик чертил на клочках бумаги, самодельными чертёжиками подкрепляя устные объяснения. Сын вглядывался в рисунки отца, кивал головой и старался точнее схватить суть важного и остроумного усовершенствования, до которого додумались конструктора и рабочие на далёком Урале. Время от времени старик гордо спрашивал:

— Понял, какая от этого выгода? Понял, до чего тонко?

И тут же, увидев перед собою худое, бескровное лицо сына, подталкивал к нему распакованные и разложенные на столе гостинцы:

— Ты ешь, ешь!

В это время Сашок, окрылённый похвалой своего учителя и многозначительными словами старого Кораблёва, несся по улице на самокате и мечтал о том, что скоро его поставят бригадиром, а мать выйдет, наконец, из больницы, и он скажет ей, как глава семьи: «Вот что, мать, работать я тебя больше не пущу, отдыхай и поправляйся, моего заработка



на двоих хватит».

Улица была пустынна, только один пешеход шёл навстречу Сашку, поскрипывая новыми сапогами. Поздняя вечерняя заря розовым светом освещала приближающуюся невысокую, но коренастую и ладно одетую фигуру подростка-бойца. Сашок резко затормозил и соскочил с самоката, завистливо разглядывая новенькое и хорошо пригнанное обмундирование, блестящие сапоги и ремни, щегольскую пилотку, надвинутую на одну бровь...

— Андрей Андреич! — вдруг вскрикнул он, роняя самокат.

Да, это был Андрей Андреич, его сверстник и приятель по школе, шуточно прозванный так за своё мощное сложение и недетскую силу. Это был Андрей Андреич, с которым они виделись в последний раз осенью на строительстве баррикад и о котором ребята говорили, что бедняга, верно, погиб, так как пропал без вести — в школу не явился, в аварийно-спасательный отряд не явился, а квартира заколочена. И вот он живой, невредимый — да и каким молодцом выглядит! Шуточное прозвище уже не произносилось, и Сашок спросил, замирая от уважения:

— Андрей, ты где же теперь?

Андрей обрадовался Сашку и по-приятельски тряс его руку, но отрапортовал гордо и даже хвастливо:

— В гвардейском гаубичном полку подполковника Жданова.

— Ух, ты! Как же ты попал?

— С осени служу, — важно сказал Андрей. — К медали представлен.

— За что?

— Было одно дело...

— А с возрастом-то как же? — мучаясь завистью, допрашивал Сашок. — Зачислили по всей форме или как?

— Ясно, по форме, разве не видишь? — небрежно ответил Андрей. Но желание похвастать удачей пересилило желание поважничать, и он рассказал, как однажды на улице его швырнуло воздушной волной, а проходившие артиллеристы подняли его и привели к себе «очухаться», как он подружился с ними и остался на батарее, сперва просто так, а потом заменил раненого подносчика снарядов и был — зачислен приказом...

— Ну, а ты? — спросил он снисходительно. — Всё в школе?

— Ещё чего! — огрызнулся Сашок. — В заводе я. Давно уже.

— Учеником?

Сашок презрительно повёл плечом и с достоинством обронил:

— Бригадиром. По моторной группе.

— Вот оно как! — удивился Андрей. — Это какие же моторы?

Танковые?

— Всякие, — подчеркнуто туманно сказал Сашка. — Завод номерной, сам понимаешь...

Он был очень доволен, что не ударил лицом в грязь перед удачливым приятелем, но зависть всё-таки томила его. Уж очень молодежато выглядит Андрей, и одет шикарно, и к медали представлен... А тут ещё под ногами самокат валяется, глупое ребячество!.. И повстречайся Андрей с другими ребятами, работающими на заводе, — они же скажут Андрею, что никакой он пока не бригадир, а так — «правая рука» четвёртого разряда...

— Ну, мне надо в полк, — сказал Андрей, протягивая руку. — Ты вот что, Саша. Если хочешь, приходи к нам. Есть у нас один огневой взвод, где все пожилые подобрались. Они и меня к себе сманивали. Приходи, а? Устрою...

— В гости приду, когда время будет, — солидно ответил Сашок. — А так — что же мне специальность терять? Да и сейчас вот новую технику осваиваем, на кого же я всё это брошу?

Андрей удалялся по улице, поскрипывая новыми сапогами, а Сашок смотрел ему вслед, завидуя ему, стыдясь того, что прихвастнул, но всё же ясно чувствуя, что у него появилось в жизни своё собственное направление и оно ему дорого и важно.

Рыхлая, напоенная влагой земля вызывала чувство, прежде совершенно чуждое Лизе. Хотелось прижать к этой земле ладони и через них принять ток вечной, благодатной земной жизни. Равное этому ощущение давали только звёзды в ясную ночь, когда раскинувшийся над головою звёздный мир рождал представление о вечности и огромности вселенной. Но, глядя в большое небо, Лиза чувствовала себя маленькой, ничтожной, а влажная дымящаяся земля была родной, близкой, тёплой, приобщающей к самой основе жизни.

Немцы стреляли с утра, но снаряды пролетали высоко над головами — в город. Здесь, на прифронтовом огородном поле, было спокойно. То тут, то там виднелись склонённые над грядками женщины в цветных косынках и тёплых платках. Тёплых платков было больше, ленинградки всё ещё мёрзли и не доверяли вернувшемуся теплу. Под платками выдавались худые лопатки. Но с лиц уже сошли опухоли и зловещая синева. Натруженные чёрные руки нежно и тщательно высаживали в дымящиеся на солнце ямки рассаду капусты.

И вот над этим мирным полем раздался знакомый воющий звук. Прежде чем сознание объяснило его, Лиза уже припала всем телом к земле, стараясь слиться с нею. Взрыв на излёте, снаряд врезался в край поля, и чёрный столб земли, окутанный дымом, взлетел высоко на поле.

Вскочив, Лиза побежала к щели, настороженно лоя звук приближающегося снаряда, и в нужную секунду опять припала всем телом к земле. Снаряд упал в том месте, где она только что высаживала капусту.

Забившись в защитную щель, выкопанную ими ещё ранней весной, женщины обругали немцев крепкими словами и уселись на сыром земляном срезе, плечом к плечу, переждать обстрел.

— Заметили нас, — говорили женщины. — По огородам и то бьют, сволочи!

— Время-то идёт, — вздохнула Григорьева. — Час просидим ни за что до темноты не высадим.

— Откуда час? — откликнулась Лиза. — Ишь, шквальным шпарат! Шквальный долго не бывает.

Земля ухала от взрывов, на плечи женщин скатывались комья земли и мелкие камешки. Но страшно никому не было. Здесь, под землёй в темноте, женщины чувствовали себя в безопасности, хотя безопасность была

обманной.

— А вдруг в капусту угодит? — вскрикнула одна из женщин, прислушиваясь, и всем показалось, что снаряды рвутся как раз в той стороне, где один к одному поставлены ящики рассады.

— Рассредоточить их надо, — сказала Григорьева и поднялась. — Сидеть да волноваться — это хуже смерти.

— Затихает, — добавил кто-то.

— Определённо затихает. Влево перешло.

Женщины сгрудились у выхода, не решаясь выйти, но и не желая сидеть в душной щели. Все выглядывали в ту сторону, где стояла драгоценная рассада.

— Кажется, целы... Вон белеют...

Григорьева вышла первой и решительно зашагала к ящикам.

Лиза последовала за нею.

Григорьева вдруг взмахнула руками и побежала, тяжело переваливаясь. И Лиза побежала тоже, охваченная предчувствием несчастья.

Часть ящиков раскидало взрывом; они лежали опрокинутые, расщеплённые, и нежные ростки были размётаны далеко вокруг, засыпаны, придавлены.

Ни слова не сказав, Григорьева присела на корточки и стала бережно высвобождать из-под земли нежно-зелёные поникшие стебли. Лиза молча присоединилась к ней. Злоба и жалость душили её. Как беспомощно никли маленькие стебельки! Как они жаждали влаги и тепла, чтобы жить! И каждый из них словно просил: «Спаси меня, я пушу корни в землю и поднимусь для тебя пышным сочным кочном, я накормлю вас всех и помогу вам перенести вашу вторую военную зиму. Спаси меня — и я спасу вас...»

«Выжил, милый», — шептала Лиза каждому уцелевшему ростку — и вдруг сообразила, что смерть была в нескольких метрах от неё, и подумала: «И я выжила, ещё раз выжила!» Жизнь, бьющаяся в её окрепшем молодом теле, показалась ей такой несомненно прекрасной, слитой со всем, что есть на свете живого, крепкого, не поддающегося уничтожению, что она вздохнула, зажмурилась и засмеялась про себя. И впервые мысль о постыдности и ненужности этой радости не пришла ей в голову.

\* \* \*

Танкисты ввалились в квартиру шумно и бестолково, как обычно

вваливаются в дом отвыкшие от домашней обстановки фронтовики. Мария, Андрюша, Мироша вышли к ним в переднюю, и начались рукопожатия, возгласы, поцелуи, быстрые вопросы, остающиеся без ответа, сбивчивые рассказы о причинах приезда.

— А ну, герои, довольно в передней топтаться, — сказала, наконец, Мария. — Раздевайтесь — и марш в комнату. Мироша, у нас есть чем угощать?

Мироша засуетилась, пошептала с Марией и побежала греть самовар. Алексей подошёл к зеркалу и вынул гребень — причесаться, когда дверь одной из комнат раскрылась, и Алексей увидел девушку, которую меньше всего ожидал увидеть здесь.

Лиза вышла в коридор с полотенцем на плече, привычно накручивая на палец распутившийся локон. Алексей покраснел и растерянно вкось рванул волосы гребнем.

— Лиза! — чуть улыбаясь, позвала Мария. — У меня дорогие гости с фронта, ты к нам присоединишься?

Лиза подала руку разлетевшемуся с приветствием Кривоzubу, перевела взгляд на Алексея и замерла.

— Узнаёте? — пробормотал Алексей и снова рванул волосы гребнем.

Лиза так смутилась, что не ответила, не улыбнулась, не подала руки. Алексей Смолин обрадовался её смущению, засунул гребень в карман и стал снова знакомить Лизу с Гаврюшкой Кривоzubом, объясняя Лизе, что Гаврюшка только что из госпиталя после ранения и что нет на свете более замечательного танкиста и человека.

— Мы с ним жизнью и смертью делимся, — сказал Гаврюшка, разглядывая Лизу. — Только девушки врозь.

Лиза впервые улыбнулась и легко, с необычной резвостью побежала мыться.

— Я с огорода, — крикнула она, — сейчас отмую руки!

Она долго освежала лицо холодной водой. Оттого, что она провела весь день на воздухе и первый загар тронул её кожу, лицо горело и кровь прилиwała к щекам. Работа на огороде была непривычна и утомительна, но Лиза чувствовала всё тело обновлённым, лёгким и свежим. И её волосы, ставшие за зиму вялыми, послушно свились на её пальцах в локоны, как будто за день в них прибавилось силы.

— Я изменилась? — спросила она Алексея Смолина, садясь за столом напротив него и требовательно глядя на него блестящими глазами.

— Очень, — восхищённо сказал Алексей. — Я бы вас и не узнал, если б и тогда не представлял вас себе вот такой.

— Какой?

— Сами знаете, — весело буркнул Алексей. — Что ж мне при всех комплименты говорить.

Ни он, ни она уже не испытывали давешнего смущения. Как два путника, истомлённых жаждой, они открыто стремились к обновляющему источнику, ещё не зная, что их ждёт, как не знает путник, склоняясь к воде, будет ли она вкусна и холодна, хотя заранее жадно раскрывает пересохшие губы.

Лиза с удовольствием пила чай. Это был только чай, но весёлое опьянение кружило ей голову. Когда она встала, чтобы проверить, действительно ли начались белые ночи, её слегка покачивало, как после вина.

Алексей пошёл за нею к окну и сказал, близко заглядывая в её возбуждённые глаза:

— Здесь мы ничего не увидим со свету. И постовой засвистит. Может, выйдем в переднюю?

В тёмной передней они подняли маскировочную штору и увидели призрачную белесую мглу северной весенней ночи.

— Муся вам показывала моё письмо?

— Какое? — протянула Лиза, хотя прекрасно помнила письмо, в котором Алексей рассказывал сестре о встреченной на заводе девушке Лизе.

Марии очень хотелось, чтобы Лиза оказалась той самой девушкой, что «запала в душу» Алексею. Но Лиза пренебрежительно сказала, что так бывает только в романах. «Всё та же ниточка, чтоб ухватиться... Посошок, чтоб легче шагать», — определила она тогда своё желание откликнуться, признаться, дать адрес. «Но ведь надо жить и хочется жить», — решила она теперь.

— Я о вас вспоминал, — сказал он и нашёл в темноте её руку.

Тёплая волна прошла по её телу от этого прикосновения, она на миг вспомнила Лёню Гладышева и отдернула руку и с сожалением почувствовала, что Смолин без сопротивления выпускает её пальцы. Но в то же мгновение он с неожиданной для него самого грубоватостью притянул Лизу к себе, и губы его нашли её послушные губы. «Что же мне делать?» — мысленно вскрикнула она, не отталкивая его и не отвечая на его поцелуи. Кровь молоточками стучала в висках — «Жить! Жить! Жить!» Лиза почти не знала этого человека и сейчас в неверном сумраке белой ночи не узнавала его лица. Чужие руки торопливо ласкали её, чужие губы целовали её, спеша насытиться, а ей было и страшно и радостно, и до

отчаяния горько, и хотелось, чтобы это продолжалось, продолжалось без конца.

Скрипнула дверь, где-то близко раздался голос Мироши, на пол лёг косо́й четырёхугольник света из раскрытой двери столовой.

Лиза вырвалась и скользнула в свою комнату. Бросившись на диван, она всхлипнула, улыбнулась и прислушалась.

В столовой громко разговаривали, смеялся милый парень Кривоzub, и Мария тоже смеялась. Над чем это они?.. Ещё один голос донёсся до Лизы, голос размягчённый и одновременно рассудительный, напоминавший, что пора ехать. Этот незнакомый голос был голосом Алексея Смолина. Значит, он заторопился уходить?.. Ну, и пусть... Пусть...

Униженная этим предложением, она решила ни за что не выходить из комнаты, пусть уезжает, пусть никогда больше не приходит, тем лучше.

— Погоди, Гаврюша, — прозвучал голос Алексея.

Несмелые шаги остановились у её двери. Он стоял и прислушивался так же, как она. Потом постучал и приоткрыл дверь.

— Нельзя, — испуганно вскрикнула Лиза, придерживая дверь.

— Почему, Лиза? — удручённо пробормотал Алексей. — Я хочу проститься с вами. Мы должны попасть на штабную машину в два часа... Разве вы не можете впустить меня? На минутку?

Она молчала, упираясь руками в дверь, на которую Алексей тихо, но упорно нажимал с другой стороны.

— Разве я обидел вас, Лиза? — Он вдруг очень ласково усмехнулся и просунул в щель руку. — Ну, дайте лапку и не сердитесь. Я ведь очень хорошему..

Она отпустила дверь, он вошёл и сам прикрыл её за собою. Она прижалась к этому чужому, желанному человеку и заплакала, а он виновато шептал, подхватывая её слёзы мягкими и теперь только нежными губами:

— Ну, вот... я же любя... и постараюсь скоро приехать... и буду писать... это же хорошо, что я тебя нашёл...

Алексей приглаживал её растрепавшиеся волосы и с волнением сознавал, что эта почти незнакомая девушка, которую он почтительно идеализировал издали, вдруг оказалась очень близкой, земной и, должно быть, по-прежнему несчастливой, и что такая — она бесконечно дорога ему.

— Береги себя, — прошептала Лиза, вздрогнув от промелькнувшей тревожной мысли.

— Ну, вот! Мне теперь тебя беречь нужно... А значит — воевать.

— Когда это кончится, боже мой! — со злостью сказала она.

Мимо двери прожужжал карманный фонарик, Кривоzub вздохнул под самой дверью:

— Кажется, мне придётся возвращаться одному.

— Да, ваши ряды поредели на пятьдесят процентов, — сказала Мария.

— Иду, иду! — крикнул Алексей и в последний раз с острой тоской поцеловал Лизу.

Она вышла проводить его, счастливая, грустная, с подпухшими губами. Кривоzub метнул было в её лицо луч фонарика, но тотчас отвел его и забыл приготовленную шутку.

— Береги себя, — повторила Лиза.

Ей было совершенно безразлично, что её слышат и видят другие.



Добираться до батальона Самохина можно было только ходами сообщений, где после недавних дождей нога уходила в грязь по щиколотку, или под покровом темноты. На этой проклятой равнине все просматривалось и простреливалось насквозь.

Каменский дождался начала короткой северной ночи и со своим связным пошёл к Самохину напрямик, по дымящемуся испарениями полю, взрытому снарядами. Итти было легко, и тёплый сырой воздух был приятен.

Они подходили к железнодорожной насыпи, когда немцы начали кидать мины.

— Товарищ майор, переждать бы, — сказал связной.

Новое звание было ещё непривычно и веселило Каменского. Он ответил шутливо:

— Роса большая, товарищ Егоров, сидеть мокро, а стоять скучно. Может, доберёмся?

— Оно, конечно, правильнее переждать, но можно и добраться, — сказал связной и, пригнув голову, пошёл вперёд уверенной походкой охотника, привычного к ходьбе без дорог.

Связной нравился Каменскому и возвращал его к заботившим его мыслям о полученном пополнении.

Пополнение состояло из ленинградцев (отчасти вновь призванных, отчасти вернувшихся из госпиталей) и из новобранцев-сибиряков. Ленинградцы были физически слабы, на всех в большей или меньшей степени сказалась голодная зима. Но у них выработались те незаменимые для бойца душевные качества, которые Каменский коротко определял словами «ленинградская школа». Сибиряки никогда не видали фронта, войны, бомбёжек, но зато были здоровенными людьми, силачами и хорошими работниками, выносливыми ходоками и меткими стрелками. Из них получались ловкие разведчики и прекрасные снайперы, да и к любому другому делу они принаравливались быстро. Беда была в том, что учить новых бойцов методам современного боя приходилось на ходу, в боевой обстановке, а предстоявшие бои на этой проклятой болотистой равнине против врага, построившего за зиму основательные укрепления, требовали не только смелости, но и умения. Приняв полк, Каменский с первого дня направил все силы своих офицеров на обучение бойцов и с особым

пристрастием «вцепился» в младших командиров. Именно их умение и сообразительность определяли исход любой, самой продуманной и хорошо руководимой сверху операции.

— Товарищ майор, тут скорее надо бы, — почему-то шопотом сказал связной у насыпи.

Пригнувшись, они вскарабкались наверх и скатились вниз. Каменский слышал, как вокруг посвистывали пули, ввинчиваясь в песок.

— И чего он пули тратит втёмную? — возмутился связной. И предложил: — Давайте-ка теперь в траншею. Вернее будет.

Мины рвались бессистемно, то ближе, то дальше. На равнине, даже в сумерках, человек чувствовал себя открытой мишенью. Добежав до хода сообщения, они спрыгнули в месиво жидкой грязи.

— Ничего, теперь недалеко, — утешал связной. — Шагайте по моему следу, товарищ майор, может, легче будет.

Мина разорвалась совсем близко, осколки провизжали над их головами.

— Накрылись бы мы наверху, — сказал связной. — Лучше уж грязь месить.

— И верно: лучше, — согласился Каменский. — Жизнь ещё пригодится.

Как всегда, когда смерть пролетала мимо него, он с томительной и благодарной нежностью вспомнил Марию. Ему казалось, что он очень долго ждал её, так долго, что любовь её пришла к нему, как нечаянный подарок. Всего три вечера и три ночи они провели вместе... Как она побледнела, узнав, что он наутро уезжает в полк! А простилась с ним легко, будто он уезжал не на фронт, а в мирную командировку..

— Пришли, товарищ майор, — сказал связной. — Знатный блиндаж у комбата Самохина, лучше вашего будет.

— Я в своём задерживаться не собираюсь, — ответил Каменский. И добавил, указывая в сторону немецких укреплений: — Мой новый блиндаж будет там.

Он знал, что эти слова сегодня же полетят по «солдатской почте» во все землянки и окопы и сослужат ему не меньшую службу, чем специальные беседы, призванные развить у бойцов наступательный дух.

Самохин был предупреждён и ждал Каменского с тем смешанным чувством тревоги и радостного ожидания, с каким всегда ждут любимого, но строгого командира. Блиндаж у него был сработан сибиряками и, действительно, отличался надёжностью, удобством и даже уютом. Каменский заметил, что на печурке стоят прикрытые крышками котелки, а

на краю стола, под белой салфеткой, приготовлена посуда.

— Ничего живёшь, хозяин, — сказал Каменский, оглядывая обитые фанерой и покрашенные «под дуб» стены, аккуратно застланную кровать за занавеской и умывальник с зеркалом над ним. — Жениться можешь с такой квартирой. Любая пойдёт.

Самохин покраснел и яростно замахал руками на вестового, сунувшегося было в дверь с подносом. Впрочем, через минуту он спросил уверенным и отнюдь не виноватым голосом:

— Вы считаете это излишним, товарищ майор?

Каменский, не отвечая, заглянул под салфетку и увидел чашки, стопки, открытую банку консервов, графинчик разведённого спирта.

— Уверяю вас, товарищ командир, что «блиндажных настроений» у меня нет, — горячо сказал Самохин. — Обо мне можете не тревожиться.

— Нету — и хорошо! — сказал Каменский. — Пойдем-ка тогда, дружок, прогуляемся в роты.

Он не собирался ходить по ротам, решение пришло сейчас и было вызвано лукавым желанием погонять как следует Самохина.

Выходя, Каменский услышал голоса бойцов во второй половине блиндажа. Он задержался.

— Блиндаж не метро, чтоб стены расписывать, — разглагольствовал связной. — «Наш» насчёт этого строг. У него такой, значит, генеральный план, чтоб новый блиндаж оборудовать вон в том лесочке, что напротив вас. И опять-таки стенки расписывать некогда, потому что оттуда у нас будет новый прицел, и так до самой германской границы...

— А мы и до Берлина не успокоимся, — вызывающе ответил другой голос. — У нашего комбата уж и адресок намечен — Гитлерштрассе...

— Мой-то вашего переплюнул! — не преминул подметить Самохин.

— Дошли бы мои батальоны до Гитлерштрассе, а я как-нибудь за ними поспею! — нашёлся Каменский. И уже серьёзно добавил: — А «блиндажные» настроения, Самохин, подкрадываются незаметно. Закопался, оборудовался, уют завёл, над головой шесть накатов, до города рукой подать — а бои всё мелкие, неблагоприятные, славы не делают, за каждую сотню метров зубами грызться надо... стоит ли? Охота ли?

На воле после тёплого блиндажа показалось холодно и мокро. Поднялся ветер, гнавший в лицо мельчайшую водяную пыль. Темнота сгустилась, сапоги вязли в клейкой грязи.

— Далеко пойдём? — осведомился Самохин.

— Давай по всему маршруту, как ты сам пошёл бы.

— Добре! — отозвался Самохин и повёл своего командира из роты в

роту, из землянки в землянку, из окопа в окоп.

Он был хорошим, придирчивым командиром и своё большое хозяйство показывал с удовольствием, а людей своих любил и многими гордился. Зная, что Каменский особенно интересуется младшими командирами, он их представлял ему и заводил с ними разговоры, позволяющие оценить их самые сильные стороны.

За ночь они исходили много километров, сбили ноги и порядком устали, но оба были довольны и старались не уступать друг другу в выносливости.

Когда они вернулись в уютный блиндаж комбата и заспанный вестовой бросился разогревать ужин, Каменский положил руку поверх салфетки, прикрывающей спирт и закуску, сурово кивнул на табурет и сказал:

— А теперь давай поговорим.

Мечтавший об ужине Самохин сразу подтянулся и приготовился слушать.

— Ты мне чем хвастался сегодня? Павлюков у тебя хозяйственный мужик, а Грибов лихой, а Моргачев к технике пристрастие имеет... так? Мне же нужно, Самохин, сочетание всех этих качеств. И тебе нужно. И родине нужно. Так вот на боевую подготовку у Павлюкова надо приналечь, а Грибова учить не лихостью побеждать, а умением и техникой. А почему Моргачев у тебя не заботится о том, чтобы пришедшие из секрета бойцы обсушились как следует? Парадную сторону мы с тобой генералу показывать будем, и то если генерал попадётся неважный... Ну-ка, доложи, что у тебя с боевой подготовкой намечено.

Они просидели час, забыв об усталости, как забывают о ней все настоящие работники, любящие свою работу, — пока их беседу не прервал радостно-взволнованный голос:

— Товарищ майор, разрешите обратиться к товарищу капитану?

Каменский понял — случилось что-то важное и хорошее, чем хотят похвастать именно при нём.

— Что у вас?

— Разведка вернулась, товарищ командир. С языком.

— С языком?! Тащите их сюда живенько! Очень, очень кстати.

Разведчики были, видимо, за дверью. Они сразу же ввалились в блиндаж, толкая перед собою здорового немца с синяками на лице.

— Вот так встреча! — воскликнул Каменский, подходя к разведчикам и пожимая их мокрые, грязные руки. — Вот это встреча!

Перед ним, брезгливо сторонясь немца, стояли Митя Кудрявцев и Кочарян.

— Вы от него подальше, товарищ майор, — сказал Митя, с детским отвращением выпячивая губы. — Он вшивый.

— Да ну? — рассмеялся Каменский. — А я думал, это у нас для агитации говорят — вшивые фрицы!.. Идите сюда, герои, выпейте сто граммов вне очереди и выкладывайте, как вы попали в разведчики и как вы его словили.

Поздно вечером Митя и Кочарян пошли выбирать себе новые снайперские позиции, а для этого «немножечко углубились»; фриц же выполз сам из землянки и пошёл не в ту сторону, в какую ему следовало идти. Был он пьян, но по дороге сюда протрезвился от страха. Дрался здорово, как боксёр. Митя, знавший немецкий язык, уверял, что немец глуп и неразвит.

Допрос, кратко учинённый тут же, подтвердил определение Мити. Солдат охотно рассказывал всё, что знал, но знал немного. Только одно интересное сообщение получил от него Каменский: немец со своим батальоном прибыл на этот фронт месяц назад.

— Месяц назад! — повторил Каменский, когда Митя и Кочарян увели пленного. — Ты вот говоришь — «топчемся, топчемся», а от нашего топтанья немцы вынуждены сюда свежие силы подбрасывать. Чуешь?

Он решительно откинул салфетку и сам расставил на столе стопки, спирт, консервы, тарелки.

— Давай, мечи на стол всё, что есть! А то ведь голодом заморил, хозяин!

Они весело поужинали, выпили и по стопке, и по второй. Каменский поддерживал незначительный, приятельский разговор, выжидая, чтобы Самохин наелся, подогрелся спиртом и сам потянулся к откровенной беседе. А такая беседа нужна... Как бы живо ни интересовался Самохин своим батальоном, как бы живо ни готовился он к предстоящим боям, какое-то недовольство или сомнение жило в глубине его души, и Каменский это почувствовал.

— А ведь я вам не жаловался, что топчемся, — вдруг заговорил Самохин, отталкивая тарелку и выкладывая на стол табак и бумагу. — Почему вы знаете, Леонид Иванович, что я так думаю?

— А ведь думаешь?

— Думаю. А вы не думаете?

— Нет.

— Неправда, Леонид Иваныч, говорить вы этого не хотите, потому что меня должны наставлять... а про себя и вы думаете: на кой чорт стоит армия и мелкие прорехи затыкает да врагу мелкие царапины наносит! На

кой чорт мы топчемся на этом болоте и если шевелимся, то в масштабе батальона или, в крайности, дивизии?.. — Он неверными движениями закурил, и Каменский увидел, что хмель ударил ему в голову. Сам Самохин тоже почувствовал это, прошёлся по блиндажу, окатил голову холодной водой, пофыркал от удовольствия и вернулся к столу, глядя на Каменского прояснившимися глазами. — Леонид Иванович, вы мой командир и учитель, скажите вы мне ради бога: всерьёз вы нас готовите, к наступлению готовите, или опять так — в стенку лбом, шишку набить и восвояси?

Он добавил, заметив движение досады на лице своего командира:

— Я волнуюсь, но я не пьян, Леонид Иванович. Душа у меня горит, а водка мне язык развязала, вот и всё. Будем мы наступать или нет?

— Будем, — сказал Каменский серьёзно.

— Всей армией?!

— Всем полком, дружок, всем полком и даже дивизией.

— А-а! — с горечью отмахнулся Самохин и продекламировал, подражая бесстрастному голосу радиодиктора: — «Наши части, действующие на одном из участков Ленинградского фронта, в результате боёв местного значения, несколько улучшили свои позиции, уничтожив девять вражеских землянок, три станковых пулемёта, пять повозок..

— Не ври! — крикнул Каменский и стукнул кулаком по столу.

Самохин разорвал в пальцах папиросу, сел и стал скручивать новую, кусая побелевшие губы.

— Экой ты кипяток, а ещё сльвёшь хладнокровным командиром, — с любовью сказал Каменский. И тоже свернул папиросу, готовясь к разговору. — Откипел? Так слушай. Ты себе представляешь общую военную обстановку?

— Тем более надо бить всем фронтом!

— Тем более, тем более! Ты сперва разберись! Керченский полуостров пал. А это значит — и Севастополю задыхаться! За зиму мы немцев пощипали неплохо, на Харьковском направлении попробовали развить наступление, помогая Керчи. А они ответили на Изюм — Барвенковском, потом на Харьковском, активизировались по всему югу. И, видно, сил у них ещё порядочно... Взгляни на карту и сообрази, куда они целят; Я тебе подскажу: через Кубань на Грозный — Баку — раз! К нефти... И к Волге — два! К Волге! Где сейчас судьба страны решается? Да не только страны — всего мира? Там! Всю технику, боеприпасы, резервы — куда бросать нужно? Туда!

Самохин сказал умоляющим голосом:

— Да разве я не понимаю? Мне только кажется, Леонид Иванович, что

мы бы помочь могли. Нам бы действовать крупнее, решительнее, масштабнее. Почему мы всё на отдельных участках да малыми силами?.. Рвануть бы...

— А если ты рванёшься всей силой, да тебя разгромят? — жёстко спросил Каменский.

У Самохина вспыхнули в глазах злые огоньки.

— А вспомните, как вы сами рассуждали осенью, под высотой, и как своего добились. Не разгромили же вас!

— Так, милый мой, ведь тогда всё на волоске висело — или пан, или пропал! А потом, дружок, ведь и тогда мы действовали малыми силами и отбили всего два километра... а результат-то был большой!

Он встал и подошёл к карте, припиленной над кроватью.

— Флажки ты переставляешь, Самохин, а думаешь над обстановкой мало. Ты погляди на наш Ленинградский фронт. Слышал, что Гитлер провозглашал зимой? «Ленинград упадёт к нашим ногам, как спелый плод». А мы не упали, и нависаем над всей его северной группировкой не как плод, а как бомба. Кто кого осаждают — Они нас или мы их? Сколько мы сил на себя оттягиваем? Не будь нас, они бы отрезали север и охватили бы Москву с севера. Так? А мы не позволяем. Держим. Ленинград они не взяли? Тихвин не удержали? С финнами так и не соединились? Надо же это понимать!

— Это ясно, — упрямо сказал Самохин. — Но меня тут что злит? Вот эти ваши приставки «не» — не взяли, не удержали, не соединились... Ведь это всё пассивная оборона, а не активное контрдействие. Когда же у нас будет — побили, погнали, опрокинули к чорту?!

— Не понимаю, как ты, участник всех зимних и весенних боёв, мог забыть о том, что наша оборона всё время была активной — даже тогда, когда боец шёл в бой голодным? Сколько ты друзей схоронил в этих боях?

— То и горько, Леонид Иванович, — промолвил Самохин. — Схоронили народу много, а всё на тех же кочках сидим и через ту же насыпь ползаем...

— Ты ещё на Невском пятачке не был, друг. А я был. Всего сутки был, а и то удивляюсь, что невредим остался. Вцепились мы в эти восемьсот метров и держимся — дальше пробиться не можем и себя опрокинуть не даём. По-человечески думаешь — зачем это? Людей пожалеть бы... А по правде, по большой, выходит — оттого и миллионы спаслись. Взяли бы мы обратно Тихвин без этой борьбы за восемьсот метров на правом берегу Невы? Пожалуй, не взяли бы. Огромные силы мы сковали этим пятачком! Или вот здешние бои. Понимаю тебя, хотелось бы успеха покрупнее, славы поярче. Думаешь, я славы не хочу? А только, друг, слава нам будет всем и

на весь мир, если мы немца разобьём... А здешние наши «местные» бои тоже немцам жить не давали. Да вспомни сегодняшнего пленного! Месяц назад их пригнали. А откуда? С Волхова. Значит, «местные» бои заставили немцев ослабить напор там, чтобы крепить здесь?

Он встал и ласково обнял Самохина.

— Будем мы с тобой наступать, душа, будем! Вон в тот лесочек ворвёмся, вдоль шоссе, на Ульяновку, на Тосно... а это тылы мгинской группировки, значит, у Мги нашим полегчает, значит, ленинградцам угрозы меньше... А потом будут и побольше дела, самые большие будут дела — побить, погнать, опрокинуть к чорту!

— Скорее бы...

— А чтоб скорее, давай наши малые дела выполнять, как большие. И ещё вот что, командир батальона, — сказал он другим тоном. — Помните, что эти малые бои для вас — боевая учёба. Боевая подготовка к походу на Берлин, где ваш связной вам квартиру обдумывает. Ясно?

Он выглянул из блиндажа. Сияющее солнечное утро ослепило его светом и обласкало парным теплом воздуха, пропитанного запахами мокрой земли и травы.

— Чортушка! Заговорил меня, а теперь мне на полном свету переть через твою насыпь да по твоим пристрелянным кочкам!



Бревно с треском оборвалось и покатилося вниз. Зоя Плетнёва, в штанах и спецовке, подпоясанной ремешком, сидела верхом на гребне полуразобранной крыши, бойко орудуя топором, и когда бревно летело вниз, задорно кричала:

— Э-ей, берегись!

Женщины отбегали от дома.

— Есть! — тихо говорила Тимошкина, бралась за упавшее бревно и волоком оттаскивала его в сторону.

«Сухое-то, чисто порох! — растроганно бормотала она, заранее представляя себе, как славно вспыхнет и запоёт в печи огонь. И будущая зима казалась ей нестрашной.

Тяжёлый зной повис над городом. В неподвижном воздухе чётко разносились звонкие удары топоров по сухому дереву, скрежет отдираемых рам, стук падающих брёвен. В перерывах между этими близкими звуками можно было расслышать далёкий, глухой рокот канонады. Уловив его, Мария выпрямлялась и слушала со стеснённым сердцем. Она, знала, что означает этот рокот, и губы её беззвучно шептали: «Только бы удалось ему... только бы остался невредим..»

Но канонаду заглушали близкие звуки труда, раздававшиеся по всей этой маленькой окраинной улочке, которой суждено было исчезнуть ради того, чтобы выжил город. Тётя Настя сильными ударами топора отбивала ветхие ступени, исхоженные сотнями ног. Мария отдирала наличник двери, старенький, облупившийся наличник, хранивший целую лесенку зарубок, которыми любовно отмечали рост ребёнка... «Кто здесь жил? — думала Мария с грустью. — Вернутся ли когда-нибудь хозяева этого домишки к его заросшему травой фундаменту?.. Или некому возвращаться?.. Конечно, эти деревянные домишки в современном городе — нелепость, пережиток старины. .»

— Я бы хотела спроектировать дома для этой улицы, — сказала она тётке Насте, чтобы утешиться. — Очень удобные, уютные дома.

— Да, — вздохнула тётя Настя, поддев топором доску и пытаясь отодрать её. — Тяжело чужое жильё рушить. Понимаешь, что надо, а тяжело...

Немного погодя она сказала уже веселее:

— А ты попроси там, на новой-то службе. Может, и разрешат? Как

окончится вся эта заваруха, будут же здесь отстраивать!

— Шабаш! — крикнула Зоя.

Она метнула топор так, что он вонзился глубоко в землю, и соскользнула вниз.

Все уселись на брёвнах, в тени, утомлённые не трудом, а зноем.

— Холод нехорошо и жара нехорошо, — сказала Тимошкина удивлённо. — Думали, век не отогреемся, а теперь, гляди-ка, разомлели... — Поколебавшись, она робко высказала томившую её мысль: — И неужели всё-таки придётся вторую зиму зимовать в блокаде?

— Такой зимы не будет, — убеждённо заявила Зоя.

— До чего приспособливается человек ко всякому горю, — сказала тётя Настя. — Вот ведь и к блокаде приспособились.

— Прогадали немцы! — подхватила Зоя. — Думали — за самое горло взяли, так нам и конец. А мы живём и хлеб жуём. И правда ведь! Огороды развели. Дрова запасаем. Говорят, электростанции чинят... И со снарядами хорошо стало — зенитчики раньше каждый снаряд считали, а теперь заградительный огонь дают.

— Кто о чём, а наша Зоенька всё о зенитках...

«Да, приспособились ко всему, — думала Мария. — Жизнь наладилась — трудная, опасная, но всё же как-то упорядоченная жизнь... Иначе разве отпустил бы меня Пегов работать по специальности?»

Итак, возвращение к работе по специальности — правда. И оно произойдёт в самые ближайшие дни. Но сумеет ли она? Не очень ли она отстала? Мозг так загружен заботами и тревогами... удастся ли сосредоточиться для спокойного творческого мышления? Она недоверчиво посмотрела на свои руки — грубые, покрытые мозолями, — смогут ли они держать перо, карандаш?

— Глядите-ка, Иван Иванович бежит! — воскликнула Зоя.

Сизов семенил по улице, бойко постукивая палочкой. Несмотря на жару, неизменный красный шарф болтался на его шее.

— Здравствуйте, бабоньки, — провозгласил он. — Отдыхаете?

— Отдыхаем.

— Так, так... А ты что же, Маша, не поступила ещё?

— Завтра иду к Одинцову оформляться.

— Так, так... Ну-ка, Маша, проводи меня немного, есть у меня одна секретная тема.

Они отошли вдвоём к тому месту, где ещё недавно была калитка, и остановились. Женщины с любопытством поглядывали в их сторону, стараясь догадаться, зачем пожаловал Сизов. Они видели, как Мария

встрепенулась и затем вся поникла, как огорчённо убеждал её Сизов, как она тряхнула головой и пошла назад с невесёлым лицом.

— Пожалуй, продолжим, — сказала Мария как ни в чём не бывало, но не подняла свой топор, а сама села на траву и стала разглаживать примятые травинки.

— Мария Николаевна, вы уже завтра идёте? — спросила Зоя.

— Да, — рассеянно ответила Мария. — Нет, — поправилась она, поняв вопрос.

— А когда?

Мария жалобно усмехнулась.

— Ой, Зоенька, нескоро. Мобилизуют меня. На оборонительные. Начальником участка.

Тётя Настя возмутилась:

— Это Сизов наколдовал тебе! То-то он при людях засовестился! Я бы ему в глаза сказала нехорошо! Раз уж сам Пегов разрешил...

— Что ж делать, Настя. Надо.

— Всё надо! — буркнула тётя Настя и поднялась. — А наново отстраивать не нужно будет? Рубишь, рубишь, будто по живому телу...

И она пошла, замахнулась топором, с сердцем рванула доску.

— Я пойду в город, девушки, — сказала Мария. — Меня Пегов вызывает. И Одинцова предупредить нужно...

Она вышла к проспекту, поглядела, не идёт ли трамвай. Трамваи не ходили, всё было тихо, только в стороне фронта рокотала канонада, будто река ворочала камни, да в центре города глухо рвались снаряды. Мария пошла пешком, мысленно повторяя разговор с Сизовым. Она не была в обиде на него. Он не заставлял её, а просил. «Понимаешь, золотко, до зарезу не хватает толковых людей. Я тебе дам участочек, ты его сработашь — и свободна». И ещё он сказал, как бы мимоходом: «Говорят, они из-под Севастополя осадную артиллерию сюда перекидывают» Она помнила весенний разговор на крылечке, когда Сизов нарисовал ей на талом снегу схему обороны города-крепости. Он, конечно, подберёт ей такой каверзный «участочек», что скоро не разделаешься. Только бы договориться с Одинцовым, чтобы её приняли позднее, осенью.

Разрывы ухали впереди, в центре, Мария шагала навстречу снарядам. «А Андрюша там... Спустилась ли с ним Мироша, или сидит наверху, надеется на счастье?... Это ещё не осадные пушки. Пока. А потом будут и осадные...»

Кто-то нагонял её, шумно дыша. Мария оглянулась и увидела скульптора Извекову. Извекова была в синем комбинезоне, в сандалиях на

босу ногу, в лихо заломленном набок берете, из-под которого копной вырывались короткие с сильной проседью волосы.

— А я гляжу — Смолина или не Смолина? — пересиливая одышку, радостно говорила Извекова. — Глаз-то у меня памятный. Уф, зашла совсем!

— Да как вы сюда попали, на край земли?

— Домишко на снос получили, дрова заготовляем, — с удовольствием рассказывала Извекова. — Хорошо на воздухе! Третий день живём здесь, тут и едим, тут и ночуем. Вроде дачи. Парни наши и сейчас работают, а я решила в город смотаться, за альбомом.

— За альбомом?

— наших парней рисовать буду, — объяснила Извекова. — Вы замечали, как труд меняет человека? Вот ведь вижу их, слава богу, в союзе художников каждый день. Примелькались все и даже надоели. А поглядела я на них в эти дни — до чего же хороши стали! Знаете, очень красив человек после физического труда! Ноги тяжёлые, руки тяжёлые, а голова лёгкая и лицо свежее.

Она вдруг заглянула в лицо своей спутницы:

— А вы чем-то озабочены?

Мария медлила с ответом. Впереди, в центре города, рвались снаряды — там был Андрюша... А позади, на близком фронте, глухо рокотали орудия — там штурмует немецкие укрепления полк Каменского. Где-то там, среди наступающих бойцов, находится Митя... Где-то там, поддерживая пехоту действиями своих танков, сражаются Алексей и Гаврюша Кривоzub..

Она ни слова не сказала об этом Извековой. В такой тревоге живут и будут жить все — до последнего дня войны. О такой тревоге лучше молчать.

— Я собиралась работать в архитектурных мастерских, — сказала Мария, — а сегодня выяснилось, что не придётся.

Узнав, что Марии нужно говорить с Одинцовым, Извекова предложила:

— Пойдёмте ко мне в мастерскую. Я позвоню Одинцову. А вы пока мои работы посмотрите.

— Пегов вызывает к шести. Пожалуй, успею.

Они шли уже по центральным улицам города, когда Мария попросила:

— Сделаем небольшой крюк, мимо моего дома, хорошо?

Они сделали крюк, и обе с тревогой посмотрели на дом, где жила Мария. Дом был цел, ставни на пятом этаже были раскрыты, приветливо

впуская солнечные лучи в комнату, где играл маленький мальчик, привыкший к звукам артиллерийских разрывов.

В мастерской Извековой все стёкла были выбиты и на скульптурах, на глыбах камня, на кучах глины лежал белый налет пыли.

— Ишь ты! — сердито бурчала Извекова, осматривая окна. — Те, верхние, стёкла ещё весной вышибло, а вот эти были целы. Уж не сегодня ли их трахнуло? Ну да, вот и осколки на полу. Черти поганые! Девушку-то мою ранили!

По середине мастерской, лицом к свету, стояла законченная фигура девушки-партизанки. Зеленоватая глина, обработанная крутыми, широкими мазками, жила и, казалось, дышала. Крепкие плечи и сильную налитую грудь облегла шинель, стянутая в талии и свободно распахнутая в шаг. Девушка шла, с винтовкою за спиной. Лицо её было сосредоточенно, спокойно и решительно. Слегка прищуренные глаза смотрели в даль — может быть, девушка прислушивалась к чему-то, а может быть, мысли её улетели далеко вперёд, к будущему, за которое она сражалась. Чистый лоб, немного вздёрнутый нос, красиво очерченные губы и овал лица были нежны, как бывают нежны черты лица только в ранней молодости. Но эта нежность черт одухотворялась и как бы оттачивалась выражением суровой недевической силы.

Несколько осколков стекла впились в грудь и в бёдра партизанки.

— Вы меня зимой чуть не сбили рассказом о своей знакомой, — говорила Извекова, осторожно выдирая из глины осколки и разглядывая свою работу пристрастным и неуверенным взглядом. — Лицо у меня было задумано грубее и мужественнее. Пришла я тогда, смотрю новыми глазами и думаю: ей же двадцать лет, она стихи любит, она, быть может, ещё и первого поцелуя не испытала... Воин она, это так, но воин по необходимости, из гнева, из любви к родине, к жизни — и даже к стихам. Мужество её — от преодоления нежности и слабости. Получилось это теперь, как вам кажется? Как вы её чувствуете?

— А моя знакомая приезжала сюда с партизанской делегацией, — сказала Мария, отходя от скульптуры, чтобы лучше рассмотреть её и вернее понять своё впечатление.

— Ну, ну? — волнуясь, торопила Извекова.

В скульптуре не было никакого сходства с Ольгой. У Ольги плечи уже, стан тоньше и гибче, в лице больше мягкости и мечтательности. И всё-таки...

— Я узнаю, — сказала Мария. — Не по внешности, а по душевному содержанию, как я его поняла.

— Да?!

Извекова обрадовалась и с проворством мальчишки полезла по стремянке на антресоли.

— Я вам хочу одну штуку показать, о которой мы говорили! — крикнула она оттуда.

Мария смахнула с подоконника осколки и села на него, высунув голову и лоя разгорячённым лицом слабое дуновение ветерка. Никакие шумы не нарушали тишины, и в этой тишине Мария услышала очень далёкую, невнятную канонаду.

— Вот она! — сказала Извекова, спрыгивая со стремянки.

Небольшая композиция изображала красноармейца в плащ-палатке, распрямившегося над поверженным врагом. Образ красноармейца был плодом того душевного взлёта, того подъёма творческой, вдохновенной силы художника, когда осуществление точно выражает замысел и каждый штрих живёт, дышит, играет, послушный воле своего создателя.

Станным противоречием этому живому и конкретному образу выглядела поверженная к его ногам фигура немца. Скорченное тело, цепляющиеся за ступени руки, приподнятая голова с ощеренным, злобным лицом были вылеплены по всем правилам. Но образ в целом был условен.

— «Кровь за кровь» — так я её назвала тогда, — напомнила Извекова. — Не получился немец, да? Я теперь и сама вижу. Надо было убить его, а он не убивался! Замысел был такой, что я его наземь бросила, а сама-то я его чувствовала иным — прущим вперёд с автоматом, злорадным, по-звериному здоровущим..

Она села рядом с Марией на подоконник и оттуда продолжала разглядывать свою полузабытую работу, стоившую ей такого большого душевного напряжения.

— А знаете, — с изумлением сказала она, — теперь, пожалуй, я могу вернуться к ней. И убить немца. Понимаете? Он ещё силен, лезет на Кубань, на Волгу... Но после того, что мы выдержали, после того, как мы, Ленинград выстояли, — знаю, верю, что так будет и со всей страной. Со всем народом. И немца я чувствую обречённым.

— Так и есть, — сказала Мария, — но мне кажется, что до победы ещё долгий-долгий путь. Много испытаний, много жертв... А так хочется дожить до конца...

Она постаралась представить себе долгие месяцы, а может быть, и годы, полные лишений, труда, опасности и тревоги, — не испугалась, но почувствовала оцепенение усталости — сидеть бы вот так, никуда не итти, даже не думать ни о чем...

Она резко поднялась.

— Пойдём звонить Одинцову. Мне в райком пора.

Одинцов выслушал её сбивчивое объяснение и сердито проворчал:

— И очень плохо. Ты бы поговорила с Пеговым начистоту. Что, на тебе свет клином сошёлся? Я уже договорился, а к нам сейчас, знаешь, сколько архитекторов просится? Порастерялись люди, а теперь все к делу тянутся.

— Я как раз к Пегову иду, попробую отбиться, — обещала Мария.

— Обязательно! И не робей, а режь прямо: отказываюсь — и точка.

Пока она шагала через город на прифронттовую окраину, снова начался обстрел. Но разрывы звучали где-то в стороне. А на окраине было тихо, безлюдно. На заросших травой баррикадах желтели полевые цветки.

Милиционер в вестибюле райкома не хотел пропускать Марию, пытался загнать её в бомбоубежище. Мария отмахнулась:

— Меня Пегов ждёт.

В секретариате ей сказали, что Пегов поднялся на вышку.

Стараясь не растерять решимости, внушённой советами Одинцова, Мария прошла длинным коридором в запущенное, полуразрушенное крыло дома и стала пробираться по засыпанным штукатуркой лестницам и переходам наверх, на вышку. Всё здесь было мертво и покрыто серым налётом пыли. Сквозной ветер гулял по этажам и шелестел обрывками старых бумаг.

Когда Мария останавливалась, чтобы передохнуть, её знобило от холодной сырости, а может быть, и от мрачного запустения, царившего вокруг. Наверху её ослепили солнце и яркая голубизна открытого неба.

Пегов стоял у края вышки, опираясь ладонями о перила.

— А-а, Смолина! Пришла! — приветствовал он Марию и, не здороваясь, широко распахнул руки, как бы открывая перед нею облюбованную им картину.

Под высоким небом простирался бесконечный мир домов. Крыши, крыши, крыши уходили в даль, затянутую дымкой испарений, и уже в этой дали из тумана, как из пены, вздымался тёмный купол Исаакия. Огромен и плотен был раскинувшийся на десятки километров мир домов, но в самой огромности и плотности его выступал обдуманый порядок, определялся чёткий рисунок улиц и площадей, то тут, то там перемежающихся зелёными пятнами садов. И над всем этим порядком господствовали кирпично-бурые заводские и фабричные корпуса, вознося над собою чёрные трубы.

— А ведь уцелел? Город-то? А? — воскликнул Пегов. — Бьют-бьют, бомбят-бомбят, а он стоит! Дыр, конечно, много... да ведь что дыры?

Людей вот не вернёшь... А это всё отстроим.

— Вот и хочется строить, — вставила Мария.

Пегов быстро усмехнулся и кивнул головой.

— Дела-то сколько будет, — помолчав, сказал он.

Отсюда, с высоты, было отчётливо видно, что на покатых плоскостях крыш много рваных дыр, но ещё больше свежих, непобуревших заплат. Сколько жизненного упорства вложено в эти заплаты! Вон на том большом доме тщательно залатали крышу, а назавтра три снаряда пробили её. Тогда Зоя Плетнёва сказала кровельщицам: «Назло починила бы снова!» И починили... Но, может быть, сегодня или завтра её вспорет новый снаряд?..

— Смотрите, наши контрбатарейную начали!

Мария оглянулась. В пронизанном светом воздухе вспышки выстрелов казались бледными, робкими огоньками, а гудение тяжёлых снарядов было неожиданно мощным, басовитым.

— Сколько я выстоял здесь обстрелов! И каждый раз будто тебя самого на части рвут, — признался Пегов, не глядя на Марию. — Вон там, где развалина, — помните, какой домина был? Мы там образцовое ателье открывали. А теперь скоро и кирпичей не останется, растащат помаленьку... А вон там одна стена торчит — мы тот дом строили для рабочих танкового завода, я неделю с новоселья на новоселье ходил... И вот я думаю иногда: придёт ли мне — понимаете, мне лично — дожждаться часа, чтобы всё это поднять из праха?

Он простёр руку над городом.

— Видите ту развалину? Уберём! Две улицы соединим в одну. Во всю длину деревья насадим... Клумбы. Скамейки, песочные кучи для ребят, зимою — ледяные горки. А на месте разобранных деревянных домишек — помните, как они лепились возле новых домов? — прекрасные дома построим, с центральным отоплением, с ванными, с газом. И балконов побольше, окна пошире, чтоб солнце... Можно так спроектировать, товарищ Смолина? Почему-то кажется, что после победы солнца должно быть много.

Он взглянул на оживившуюся Марию и ласково коснулся её руки.

— То-то, дорогой мой товарищ. Хорошая штука — архитектура, но её ещё отстоять надо. Окончательно отстоять. Сделать Ленинград таким неприступным, чтоб никакие штурмы... Да ты сама понимаешь.

— Да, — коротко сказала Мария.

— Участок тебе даём ответственный. А работать — женщинам да школьникам. Навалили на них много, и управлять ими надо душевно, с пониманием. У тебя получится. Потому и задержали тебя. А потом,



дорогая, когда справимся да победим — строй! Много строить будем, — и хорошо строить, красиво, удобно, лучше, чем раньше. И ты, Марья Николаевна, обязательно для нас строить будешь, и потребуем мы от тебя всего твоего таланта и души, и умения. Придирчиво потребуем, потому что своя.

Солнце било в лицо. Сквозь смеженные веки Мария смотрела на широко раскинувшийся город, и глаза её видели одновременно и испорченные снарядами крыши, и уродливые нагромождения обрушенных зданий, и одинокую девочку, прыгающую на одной ножке возле баррикады, — и то, чего ещё не было: просторный бульвар с цветущими клумбами и кучами золотого песка, на которых возятся ребятишки, и окружённые зеленью новые дома, опоясанные балконами и отражающие солнце сотнями зеркальных стёкол.

— Бледная ты какая, — вдруг озабоченно сказал Пегов. — Пожалуй, тебе сперва надо бы немножко отдохнуть?

— Да я не устала, — ответила Мария, думая о другом.

***Январь 1942 г. — октябрь 1946 г.***

***Ленинград***

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)